Дмитрий Балашов

4

Дмитрий Балашов
4

Дмитрий
Балашов

Дмитрий Балашов

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
В ШЕСТИ ТОМАХ

Москва «Художественная литература» 1992

Дмитрий Балашов

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

ТОМ ЧЕТВЕРТЫЙ

Симеон Гордый

РОМАН

Москва «Художественная литература» 1992

ББК 84Р7
Б 20

Оформление художника
Ю. БАЖАНОВА

Б $\frac{4702010201-007}{028(01)-92}$ Подписное

ISBN 5-280-02037-0 (Т. 4)
ISBN 5-280-01602-0

Симеон Гордый

роман

ПРОЛОГ

В последний раз совершив крутой поворот, река, ударяясь в подмытые кручи Воробьевых гор, на которых нерушимо высят сосновые красные боры, вновь и опять устремляет к востоку и, вырвавшись наконец из лесных объятий, пологим серповидным излуком огибает широкую, всю залитую солнцем, сияющую и зеленую, с крохотными издали коневыми и скотинными стадами луговую равнину Замоскворечья. По ней кое-где сереют избы под желто-бурой соломой кровель, островато высятся церковные маковицы и верхи старого Данилова монастыря. Приметно густеют близ городского наплавного моста ряды лабазов, анбаров, лавок; курят белыми дымками далекие деревни; пестреют пашни; муравьиною чередою снуют верхоконные; тянутся обозы, далеко разнося в весеннем воздухе скрип тележных колес, и все-таки равнина, окаймленная синею грядою лесов, все еще манит и блазнит неведомой далью простора и, мнится, уходит прерывистой чередою туда, на юго-восток, смыкаясь с великою степью, куда уплывают караваны напоенных влагою облаков и откуда, облачной тенью, находят на Русь тревожные беды...

На этом, высоком, берегу постройки густеют непрерывною вереницею, в путанице дорог, огородов, садов тянутся вдоль Неглинной, перегороженной мельничными запрудами, растекаясь по всему Занеглименью, а выше по реке, в кузнечных слободах, вспухают едким чадом железных варниц. От Боровицкой горы, по Подолу, вереницы хоро́м уходят ремесленным окологородьем вплоть до Яузы, к Крутицам, и по речному

берегу и стороною, вдоль коломенского пути. Звоном и шумом торга, криками петухов, мычаньем и блеяньем стад встречает город приезжего путника, радует человечьим кишением, грудами товаров в торгу, задорными окликами зазывал. Крепость на горе — Кремник, сердце города — нынче обновлена и украшена чередою дубовых рубленых костро́в с пряслами, еще не потемневших от дождей и осенней сыри, еще задорно сияющих в потоках весеннего света. Отовсюду лезет острая молодая трава; стиснутые ею разъезженные дороги, петляя, карабкаются вверх по склонам, уходя в нутра проездных башен; по ним бредут, осклизаясь на непросохшей земле, странники и странницы, деловито проезжают комонные, с надрывным стоном осей втягиваются в нутро Кремника груженные доверху возы. На мосту перед Боровицкою башней вечное толпление черни, да и в самом Кремнике от постоянной толпы горожан, холопов, дружинников, монахов и мирян, нищих и богомольцев, от многочисленных боярских возков, конной сторо́жи, купцов, татарских гостей, персиян в полосатых халатах и фрягов в коротком немецком платье, вездесущих тверян, сноровистых новогородцев и разбитных купцов-московлян порой не пробиться и к теремам. Ратным приходится древками копий грубо расчищать дорогу княжому поезду. Тут молодые княжичи, выехавшие налегке, в простом платье и с немногою дружиной, редко остановят на себе взор прохожего простолюдина, и почти незаметен проезжающим подъехавший от Неглинной к излому Боровицкого холма молодой князь в долгом дорожном вотоле, что, мановением руки остановя спутников своих в отдалении, молча и задумчиво смотрит сейчас со въезда на свой, обновленный родителем, город. Город, в котором еще покойный дядя Юрий раздумывал, жить ли ему, а нынче для него, Симеона, уже безотрывный от сердца, свой, со всем, и плохим и хорошим, и с тем, от чего жестко сжимает рука рукоять дорогой княжеской плети, и с тем, от чего почти уже слезы на ресницах и сердца боль.

Семен Иваныч нерешительно взглядывает под ноги коня, на непросохшую, глинистую, такую манящую землю (по-детски хочется ступить на нее, ощутив скользкость и влагу весны), но не решается спрыгнуть с седла — не достоит князю дивить дружину непонятным,— круто подымает светлую кудрявую бороду, трогает повод. Конь сторожко переводит ушами, красиво

подымает ногу, на какой-то незримый миг зависающую в воздухе, решась, опускает кованое копыто на мягкую твердь, легко, без натуги, волнисто изгибая атласную спину, трогает в гору...

В эти ворота въезжал он, растерянный, весь в дорожной грязи, меньше месяца тому назад и еще совсем не думал и не гадал, что на плечи его отныне ляжет, и уже легло, тяжкое бремя власти и всего, содеянного на этом пути.

...Он скакал тогда из Нижнего в Москву, чая застать в живых умирающего отца. Был самый конец марта, та непроходная и непроезжая пора, которую лучше всего пересидеть дома, у печки, дождавши, когда схлынут озера талой подснежной воды, когда проглянет, горбатясь, земля и конь перестанет проваливать по грудь в снежную кашу. Но ждать он не мог и скакал, губя и загоняя коней, теряя по дороге отставших дружинников, скакал с бешеным отчаянием, не зная еще, что ждет его напереди.

И тряпошную старуху у костерка на обочине почти не узрел, не заметил, когда взял, спрямляя путь, по протоптанной твердой тропинке вдоль опушки бора; и не понял сперва, почему его конь не идет, а пляшет, дико задирая морду, и храпит, и бьется в удилах, и встает на дыбы, и пятит, невзирая даже на загнутые железные остроги, коими Семен безжалостно увечил бока скакуна. Он мельком глянул вперед, узрев на темной зелени ельника странное черное пятно, словно бы прячущееся под пологом леса, размытое по краю и слегка дрожащее в воздухе. Или у него самого отемнело в глазах? Да так и подумал: от устали, верно! Неясное, зыбкое, готовое исчезнуть... Но конь, слепо поводя кровавым глазом, дико храпел и дрожал всею кожею, вспотевши от ужаса, и опять, и опять вставал на дыбы, не слушаясь властной руки седока. Семен, почти разодрав удилами губы скакуна, заставил его все же идти вперед, но жеребец, сделав два-три танцующих шага, вновь начал у́ростить. Ужас коснулся тогда и самого Симеона, ужас еще неясного ожидания чего-то непредставимо страшного.

Дружинники, нагнавшие тою порой своего князя, окружили его, ничего не понимая, когда со спины донесся пронзительный каркающий голос бабы:

— Пустите молодца!

Ратники расступили посторонь. Старуха, неведомо как подошедшая близ с горящею ветвью можжевельника в руках, ударила веткой по княжескому коню, осыпав скакуна и Семена роем огненных брызг. Семен задохнулся на миг от едкого запаха дыма, прижмурил глаза, а когда открыл их, никакого пятна не было и ровный ельник ярко зеленел на солнце.

— Счастлив ты, князь, что меня встретил! — примолвила баба, покачивая головой.

— Отец умер? — хрипло спросил Семен, натягивая повода. (Мокрый конь мелко дрожал, отходя от пережитого ужаса.)

— Ищо нет. Но ты его не узришь, княже!

Она поглядела, твердо поджавши морщинистый рот, выставя костистый подбородок в седых старческих волосках.

— Да и сам бы погинул тута! — примолвила негромко, но властно.

— Что это было? — вопросил Семен, проводя рукой по лицу и словно бы просыпаясь от тяжкого сна.

— Нечего тебе, князь, много знать. Доедешь до церквы, помолись! — возразила старая.

— Ты колдунья? — спросил Симеон, прихмурясь.

— Да, так зовут...— с неохотою протянула она.

— Как звать-то тебя? — полюбопытствовал Симеон, снимая с пальца золотой княжеский перстень.

— Кумопа! — отмолвила та и, протянув сухую, точно воронья лапа, скрюченную руку, цепко схватила княжеский дар.

— Когда стану тебе нужна, приду! — прокаркала она, пряча перстень в лохмотья.— Скажи твоим,— она махнула рукою в сторону расступившихся дружинников,— пущай меня пропускают к тебе вот по етой памяти! — Перстень на мгновение вновь мелькнул в ее скрюченной птичьей лапе.— И поезжай, опоздашь!

Семен еще помнил, что хотел было осенить себя крестным знамением, и — не сумел. Рука словно бы налилась свинцом... Уже потом, позже, после того как доскакал до Москвы и уведал про смерть родителя-батюшки, он вспомнил, что́ именно с таким ужасом сожидал и боялся узреть в тот миг рядом с черным колеблющимся пятном,— то была отрубленная кровавая голова убитого в Орде тверского княжича Федора, который в ночь перед казнью бешено колотился к

нему и осыпáл его проклятиями, а он, Симеон, молчал, стоя внутри, за запертой дверью, положив ледяные руки на дубовый засов, молчал, зная, что отныне и навсегда проклят.

Господи! Ты еси благ и премудр! Наставь, о чем умолять мне в молитвах моих? Жизни ли попрошу у тебя, жизнедавец? Счастья ли? Все то будут просьбы неисполнимые, ибо проистекут от лукавства и лености раба твоего. Попрошу одной справедливости! Крест мой и судьба моя да не минуют мя!

ГЛАВА 1

Тяжкое наследство оставил после себя Иван Данилович Калита. Его невзлюбили все: суздальцы и тверичи, ярославцы и ростовчане. О смерти его молились многие. Новгородские бояре не чаяли, как установить твердые уряженья с Москвой, потому что, сколько ни платили они Калите, все было мало и мало. Псков метался, чая найти заступу себе у литовских князей, и только разница вер мешала псковичам поддаться Гедимину... И попрежнему давила, требуя дани, Орда, и по-прежнему грозен был наступающий на Византию и Русь католический Запад.

Но и все-таки что-то уже невестимо изменилось в мире, что-то сдвинуло и потекло, словно бы тяжкая грозовая туча в немом блеске далеких молний, надвинувшая на землю и холодом сизых своих громад застившая свет, начала проходить, сваливать за окоем неба, так и не разразившись погибельною грозой. Натиск на Псков остановился, как бы завис на стремительном взъеме своем,— не то чтобы наступило затишье, война продолжалась, и даже еще более жестокая, орденские немцы строили замки на рубежах Псковщины, приглашали новых и новых кнехтов, крепили военные договоры со свеей (шведами), но исчезла в них та гордая уверенность, о которой еще недавно писали иноземцы, что ежели бы не войско великого хана, то божьи братья овладели бы Псковом и Новгородом с тою же легкостью, с какою завоевали они и уничтожили перед тем литовскую Пруссию. Нынче псковские лазутчики перестали встречать на землях эстов лотарингских, франкских, английских рыцарей. Католическая Европа продолжала набухать военною силой, но ее армии и

флоты устремлялись уже не на Восток, а сражались на берегах Нормандии и Кента, на полях Фландрии и Аквитании — начиналась Столетняя война.

Натиск на православный Восток продолжала одна восточная половина католического мира. Германия, сама раздробленная на части, слала и слала новые подкрепления Ордену; чешские Люксембурги, венгерские Анжуйцы и даже польские Пясты стремились теперь подчинить Литву, откуда была прямая дорога на Русь. Шли, накатывая настойчивыми железными волнами и... терпели поражение за поражением. Почему? Не только вследствие военного гения Гедимина. После его смерти Литва, разделенная меж его сыновьями на семь частей, продолжала оказывать такое же сопротивление Западу, какое — проявись оно на сто лет ранее — могло бы вообще остановить движение немцев в Прибалтику. Литовские витязи наносили крестоносцам такие удары, что рубеж меж восточной, православной, и западной, католической, Европою, казалось, восстановился вновь.

Но и с тем вместе, и именно потому, новая грозная опасность коснулась Руси Великой. Еще недавно раздробленная, лишенная городов и единой княжеской власти, плохо вооруженная и малолюдная Литва проснулась, обретая и выказав мощь пассионарного взлета. Полоцк, Минск, Туров, Волынь и Галич не нашли в себе сил, чтобы сдержать внезапно возникший напор Литвы. И это была древняя, исконная, Черная и Белая Русь, днепровское правобережье, Русь, хранившая византийское христианство с пышным обрядом, развитым богословием, с высокою грамотностью и изысканной книжной культурой. И вот теперь древние земли и грады русичей почти без боя сдавались и отдавались под руку Литвы. Это было даже не завоеванием. Многие литовские князья, покоренные очарованьем высокой культуры, крестились, принимали — кто лицемерно, кто искренне — православную веру, женились на русских княжнах, зачиная литовско-русские династии на захваченных землях. И мало кто из них, подобно сыну Гедимина Кейстуту, продолжал свято хранить древнюю языческую веру свою. Творилась пышная свадьба двух народов, казалось, научившихся жить рядом и в мире, и малого не хватало уже, чтобы Литва, а не Русь стала во главе православной восточной Европы. И это для Залесья, Заволжья и Поднепровья, для Владимирской, Новогородской, Чернигов-

ской, Северской, Рязанской Руси было страшнее всего. Кто победит, кто одолеет в этом споре без спора? И многие, очень многие книгочеи и мудрецы, наблюдавшие в ту пору стремительный рост Великого княжества Литовского, думали и утверждали, что победит Литва.

А в это время Восток, казалось бы сильный и непобедимый, начал разваливаться, как кит, выброшенный волнами на каменистый берег океана. Империя великого хана в Китае зашаталась, в южном Китае затеивалось уже восстание против монголов. Распадалось государство персидских Чингисидов, декхане Хорасана с боевым кличем «сарбада́р!» (лучше смерть) выгоняли монгольских чиновников и нойонов. Военная тирания породила развал и анархию в захваченных странах, которые оказалось легче завоевать, чем удержать. По сути дела, антимонгольским был переворот 1312 года в Золотой Орде, совершенный Узбеком, который погубил своих родичей, опершись на купеческие, сартаульские круги торгового и богатого Поволжья.

Грозная Золотая Орда стала колоссом на глиняных ногах и держалась угасающей традицией старины, до времени спасавшей наследие Бату-хана от распада, да еще русским серебром, с помощью коего Иван Калита, опираясь на хана, медленно объединял, склоняя под руку свою, залесские княжества.

Это тяжелое наследство и получил юный Семен Иваныч, московский князь Симеон, коему предстояло решать задачи, поставленные его покойным отцом Иваном, и те новые, что выдвигало днешнее переходное время, ибо грозно сдвинулось, содеялось шатким бывшее прочным еще вчера. В 1340—1342 годах друг за другом умирают люди, чьею волею творилась тогдашняя история Руси и восточной Европы: Иван Данилович Калита, великий князь владимирский; волынский князь Юрий, после которого Галич с Волынью отошли под руку Литвы; великий князь литовский Гедимин и хозяин русского улуса, всесильный хан Золотой Орды Узбек, смерть которого разрушала старые связи Москвы и Сарая, с таким трудом налаженные Калитой.

ГЛАВА 2

Не пришлось даже справить сороковин по отцу. Торопили бояре. Тридцать первого марта скончался батюшка, а второго мая намерили выезжать в Орду. Вместо

приличной случаю скорби — суета сборов. И пождать некак — это понимал и сам. Заслышав про смерть родителя, в Орду, к хану, устремились все владетельные владимирские князья: оба его зятя — Костянтин Ростовский и Василий Давыдович Ярославский, а с ними и Костянтин Михалыч Тверской, и Костянтин Василич Суздальский, старейший всех и потому наиболее опасный его соперник. И каждого чем-то обидел отец, и каждый — ежели ему, Симеону, умедлить в дорогах — может выпросить у больного Узбека ярлык на великое княжение владимирское. А тогда все дела и заводы батюшковы дымом, ничью ся обратят!

Старые отцовы соратники хлопочут сейчас, собирая дары и припас в дорогу. У вымола, под горою, наново смолят корабли. Сорокоум с Михайлой Терентьичем и со старым отцовым казначеем не выходят из погребов, а он только глядит обрóшенно, как, пересчитывая, выносят тяжелые кожаные мешки с серебром, увязывают в кошели узорные цепи, пояса, достаканы и чаши, как готовится уплыть в Орду тончайшей работы златокузнь и серебряная перевить; смотрит, как грубо, безлепо ворошат сейчас отцово заповедное, чего и трогать после смерти родителя непристойно; и было знатьё, что надобно так, что сам покойный батюшка не повелел бы иное что, и так же, при нем самом, выносили бы и торочили береженое княжеское добро. И было острое чувство невосполнимой пугающей утраты, когда, казалось, у всякого должны опуститься, ослабнуть руки. Но ни седой Сорокоум, хрипло и отрывисто перечислявший содержимое кошелей, ни дьяк, вдумчиво заносивший на вощаницы перечень даров хану Узбеку, ни Михайло Терентьич, что, присев на край ордынского сундука, отирает сейчас красным платом лицо, удовлетворенно следя за тем, как молчаливо-сосредоточенные кмети бережно выносят из погребов драгоценные тяжести,— никто из них не кажет себя ни угнетенным, ни ослабшим или растерянным.

Он выходит на глядень, следит, как в крутую, всю в кованой солнечной парче неуемную синеву спускают смоленые бокастые учаны, как густо вскипает пена под тяжелыми носами кораблей, как стремительная сила весенней воды разворачивает качающиеся суда носом по стрежню, струнами натягивая пеньковую паутину чалок, как в причаленные к вымолу и уже

оснащенные паузки носят кули, бочки, поставы дорогих сукон, зашитые в рогожу и просмоленный холст, берестяные туеса с медом, заводят повизгивающих охотничьих хортов и коней, что, фыркая, пугливо косят глазом в бегучую холодную круговерть, как под радостный визг мальчишек-глядельщиков взволакивают на корабль по сходням в тесных дубовых клетках двух порыкивающих больше со страху, чем от злобы, закованных в серебряные цепи медведей, как проводят в дар хану двинского, дымчато-голубого, под шелковою тканой попоною жеребца... И как же он завидует сейчас безмысленной вездесущей ребятне!

Странные мысли тогда шевелятся у него в мозгу. Зачем это все? К чему? Упорная борьба за власть, и дары, и подношения хану, тайные доносы и жалобы... Для чего? И на какой тонкой нити держится все, творимое тут и теперь? А мор? А война? А иная, по приключаю, смерть? Сколько веры у них у всех в то, о чем, пред лицом господней воли, смешно даже и говорить! Суета сует и всяческая суета! Пройдет немного лет, и он, в свой черед, уйдет туда же, вослед родителю своему... Зачем? И почему, понимая все это, он все равно поплывет послезавтра в Орду и будет обивать пороги всех сильных вельмож Сарая, льстить Узбеку, покупать подарками милость хатуней, ханских жен, и благосклонность татарских вельмож? Почему не устоял древний лествичный порядок наследования, когда княжили все в свой черед, сперва братья, по старшинству, затем племянники, опять начиная с сыновей старшего по роду князя... И каждый перебывал в свой срок на столе, и каждый был не обижен... Был ли? Старшие племянники никогда не хотели ждать, когда откняжат младшие дядевья, зачиналась резня и свара, так Изяслав Киевский всю жизнь дрался с Юрием Долгоруким. И с каким трудом удерживал землю от распада последний великий князь киевский Владимир Мономах!

И все одно: уже скоро два с половиною века тому, как на Любечском съезде урядили: «каждый да держит отчину свою»; и с той поры передавалась, переходила одна только вышняя власть. А за великий стол, за право началовать в русской земле, спор не стихает и доныне. И даром что от Золотой Руси Киевской ныне осталось одно Владимирское залесье. Рязань и северские грады уже неподвластны ему, неподвластен Смоленск, почти отделился Новгород, а в Черной Руси и на Волыни

укрепилась Литва,— все едино: и здесь, и в Залесье нет мира между князьями и за владимирский стол идет непрестанная, часто кровавая борьба... И вот он, в свой черед, едет драться за великий стол владимирский. Надобно ли то ему? В силу ли? Ему, быть может, и нет. А земле? Боярам? Дружине? Им, ежели он отречется от стола, придет терять села, земли и власть, переезжать за князем своим из города в город... Ради покоя, ради прочности бытия, ради распаханных нив и устроенных хором будут они драться за князя своего, за его род, за власть, родителем-батюшкой устроенную. И он должен, обязан, повязан! С него перед миром спрос. Жизнь — усилие. Отказ от борьбы возможен лишь для того, кто хочет, да и возможет, прожить без усилий. Но устроение власти — это и подавленье других! Это грабеж Ростова и резня с Тверью... И на какой тонкой нити, на нити его бренной и временной жизни висит это все!

Возвращаясь к себе, Симеон, походя приласкав дочь, молча садится за трапезу. Настасья, присев на краешек скамьи прямь него, почти не притрагивается к блюдам. Лицо ее, то заплаканное, то сияющее гордостью за супруга, кидается в очи, вызывая в нем и жалость, и смутную неприязнь. Всегда, с первого дня, с первого того памятного пира, ожидает от мужа лихой удали и ратных подвигов. А ему — какие сечи! И раз, и другой, и третий — ордынская подстерегающая западня. А хотел ли? Спросила ли о том хотя раз? Уйти ото всех, в лес, в пустынь! Чтобы снега, тропинка к замерзающему ручью и тишина, покой... Не выдержал бы! А как же выдерживал отец? Или для него эта стезя была неотрывна от сердца?

Да, жена! Могу и в сечу, и в ярость гнева, могу и молчать, как тогда молчал, оплеванный Федором, оплеванный и проклятый мертвецом. Молчал за запертой дверью, и не открыл, и смирил братьев, плакавших затем в постеле... Такого ли надобно тебе? Пойми, я не воин! Мне трудно, мне страшно порою, это пойми! Пожалей, как жалеют простые бабы своих мужиков, мне надобно это теперь! Прими такого, каков я есть в глубинах души, и не гордись моей силой и тем, что досталось мне от предков по праву рожденья на свет!

Он хмурит брови, судорожно подрагивает светлая борода. Настасья-Айгуста смотрит на мужа с немым от-

чаянием. Чем ему помочь, Господи?! Давно уже (и забыла, когда!) перестала мечтать о могучем рыцаре на белом коне, а он, как находит беда, все бычится, словно чужой, и не скажешь ему, не объяснишь... Да ведь готова с тобою в леса, в изгнанье, сама носить воду, варить и стирать, но ты же сам не возможешь, не бросишь, будешь мучать себя и других, а не уступишь никому и содеешь то и так, как решил и замыслил. Я же знаю тебя лучше тебя самого!

Она глядит ему в спину и, дождав, когда за князем захлопнет тяжелая дверь, прячет лицо в ладони, неслышно плачет: не понято, не понять, не поймет, никогда не поймет! Или у нее, литвинки, не хватает ласковых русских слов для мужа своего?

От княжеского двора до терема Протасия, старого тысяцкого Москвы, два шага. Пройти бы пешком, но нельзя — честь! Он едет на коне, спешивается, кидает не глядя повод в руки стремянного.

Протасий-Вельямин, великий старец, спасавший Москву не раз и не два, соратник отца и деда, легендарного князя Данилы, один, мнится ему, может сейчас понять, вразумить и успокоить своего молодого господина. Он видел, знал, как зачиналась Москва, он дрался с Михайлой Святым при князе Юрии, он должен объяснить: зачем и к чему это все?

Но Протасий лежит. Симеона встречает его седатый сын, Василий Протасьич, и, почтительно поддерживая под локоть, проводит по тесовой крутой лестнице в верхние горницы высокого изузоренного терема московского воеводы.

Здесь пахнет ладаном, пахнет старостью, нежилым, уже кисловатым духом большого распростертого тела. И глаза, обращенные к князю, уже там, за гранью днешней суеты. Протасий зримо отходит, уходит в прошлое, а с ним отходит, исчезает живая связь времен, и то, что было живым и трепетным когда-то, становится, станет вскоре глухим далеким преданием, изустною легендой, напоминаемой изредка, но все тише, все реже, пока ото всего не останут одни немногие и скупые слова летописца владимирского, за коими уже не узреть живого человечьего лица, но виден лишь уставной княжеский образ, скорее икона, чем зримое отражение минувшего бытия.

Симеон сидит, смотрит в замшелый, полумертвый лик, кивает, слушает медленные старческие слова,

просьбу поддержать, оберечь сына от происков ненавистного Алешки Хвоста-Босоволкова...

Выходит он на цыпочках, пятясь. Почему умирающему Протасию надобно все это?

Да, сын должен продолжить дело отца! Да, именно там, где было родовое место (хотя бы и пепелище или высокая злая крапива, жадно пожирающая трухлявые остатки нижних венцов). Все равно! Хоромы родителя остались в мысленных очах потомков и потому возрождаются вновь. Стучат топоры. Рало, царапая землю, подымает древнюю, затравенелую пашню... Чем именно этот кусок земли (этот город, это поместье, княжество) так дорог, так неотрывен от сердца? Муравьиной работе поколений, медленному приращению или упадку родового добра обязан человечий род бытием своим. Работе рук и памяти сердца. Дорогим могилам предков своих!

И он тоже обязан памяти своего отца. Обязан этому растущему городу, крепнущему княжеству; обязан им всем, и живым и мертвым,— мертвым паче всего! Обязан заменить отца братьям своим, а боярам, земле — заменить их усопшего князя... И как же он одинок в эти последние, суматошные дни!

ГЛАВА 3

Близит вечер. Семен сидит один, тяжело опустив плечи. Нету сил ни встать, ни подумать путем, как это начнет у него в Орде: с кем ему предстоит хитрить, с кем поссорить и кого подкупать? Батюшкова лица, как ни пытается он, не вспомнить. Вместо того окровавленный лик Федора вновь и вновь блазнит ему в очи. Сумерки сгущаются за окном. Темнеет. Свеча едва озаряет лики святых, упрятанные в жемчуг и серебро божницы.

Настасья, опрятно постучав, просовывает голову в раствор дверей.

— Ладо! К тебе какая-то старуха, тамо, внизу, требует тебя позрети!

— Впусти! — встряхивая головой, глухо отвечает Семен. И почти не дивит, когда перед ним возникает Кумопа, колдовка, месяц назад встретившаяся ему на пути.

Он глядит на эти ветоши, столь неуместные здесь, в роскоши княжьих хором, на ее ноги в стоптанных лаптях, попирающие ордынский ковер... Досадливо вспо-

минает подаренный старухе золотой перстень. За какою корыстью приволоклась нынче старая?

— Князь, ты можешь не дожить до утра! — Каркающий голос колдовки сух и строг.— На, возьми! — Темная от грязи худая лапа протягивает ему пучок сухих можжевеловых веток.

Князь смотрит с сомнением. Там, на дороге в лесу, это было прилепо, но здесь, в изузоренных покоях, где иконы в дорогих окладах, где рядом домовая церковь?..

— Что делать мне с этим? — спрашивает Семен недоуменно, принимая из темных потрескавшихся рук колкий сухой пучок.

— Почуешь, што смерть подошла, зажги! — возражает старуха, без робости и жадного блеска в глазах озирая княжеский покой.

— Ты опять спасаешь меня! — говорит, помедлив, Семен.— Чем мне отблагодарить тебя?

Старуха небрежно машет рукою:

— Не нать мне твово серебра! — Помолчав, пожевав морщинистым ртом, добавляет: — Рощу охрани святую, где Велесов дуб, знашь? Пущай не рубят!

(О роще той, припоминает Семен, вот уже колькой год идет пря с самим митрополитом Феогностом.)

— Не веришь? — вдруг спрашивает старая.— Крепче держи!

Он вздрагивает, глядит на пучок можжевельника, переводит взгляд туда, где только что стояла старуха, но Кумопа уже исчезла, не скрипнув дверью, только ее дух, дух грязной ветоши и дорожный запах старого человека, еще держится в княжом терему.

Он оглядывает на окна и видит, с невольным содроганием, как проходит сквозь синеватые пластины слюды давешнее неясное черное пятно. От устали или с великой дрёмы темнит у него в глазах?

Семен встряхивает чубом, проводит ладонями по щекам, ударяет в медное било. Как-то вдруг и скоро отворяется дверь, входит знакомый гридень, Игнашка Глуздырь. Негромко, картавя, прошает:

— Што прикажешь, княже?

Семен его не звал, да и место гридня не у дверей княжой опочивальни, а на нижних сенях, и потому медлит, с сомнением оглядывает молодца. Спрашивает наконец:

— Проводили старуху?

Гридень как-то нелепо подмигивает, помаргивает ресницами. Спрашивает в свою очередь:

— А тебе, князь, тута не страшно?

Семен стоит около высокого стоянца, по-прежнему сжимая в руке забытый пучок можжевеловых веток. В нем закипает раздражение на этого некстати ворвавшегося в покой дурня.

— Чего мне страшить? — отвечает Семен, пренебрежительно вздергивая плечо.— Я же не один.

Гридень вдруг наклоняет к нему, вытягивая улыбающуюся морду, и шепчет тихо:

— А ты уверен, что ты не один?! — И приближается, неслышно огибая княжеское точеное креслице, а глаза, глаза на улыбающемся лице — совершенно слепые, мертвые. И в этом — ужас.

Семен, даже не успевши додумать еще ничего, судорожно сует ветки можжевельника в пламя свечи. Треск загорающейся хвои, шум... И последнее, что успел заметить, падая в обморок, как, лязгая, отворяются двери и вбегают люди в покой.

Семена тотчас подняли. Он еще держал, не разжав ладони, полуобгорелую ветку в руке. Спросил резко, оглядев рожи прислуги:

— Где Игнат?

В голове шумело, все еще двигалось и мрело в глазах. В двери вскочил, волоча саблю, старшой дворцовой сторожи, боярин Остей.

— Какой Игнат, батюшка-князь?

— Игнашка Глуздырь! — кричит Семен, сводя брови.

— Он... ево нетути... Нетути, княже! Даве до дому отпустил...— бормочет Остей, с тревогою вперяясь в незнакомо-бледное лицо молодого князя.

— Вызвать немедля! Иди, проверь! — горячечно бросает князь.

Остей скрывается. Слуги хлопочут, под руки доводят до креслица, усаживают, кто-то подносит холодного квасу, и Семен пьет жадно, обливая руки и бороду... Меж тем в покой вбегает Настасья, начинаются домашние бабьи хлопоты. Семен бормочет:

— Не нать, ничего не нать! Не спал, почитай, всю неделю, дак потому... (О том, что было, ему сейчас стыдно даже и сказывать.)

А между тем в успокоившемся было тереме начинается опять какое-то смутное шевеление, шепоты, задышливая беготня. Прежний боярин вползает в

покой с поклонами, глядит потерянно, на нем нету лица:

— Князь... Князь-батюшка... Не вели казнить... Счас повестили, Игнашка-то зарезан тово! Горло... В улице нашли...

Семен смотрит, отемнев и закипая. Медленно молвит, еще сдерживая слепую ярость:

— У тебя... тати невозбранно убивают княжеских слуг на Москве! — И, возвышая голос почти до крика: — Немедленно найти убийц! Казнить без милости! Головой ответишь, смерд!

— Князь, князь-батюшка...— пытается пояснить, выговорить Остей, но Семен уже не владеет собою. Почти отшвырнув жену и топая ногами, орет:

— Разыскать немедля! Прочь!

ГЛАВА 4

Наступает наконец день отъезда. Трезвонят колокола. Сам Феогност, духовный глава Руси, благословляет отъезжающего князя.

В последний миг Настасья, не выдержав, повисла у него на плечах (давеча крепилась, а тут завыла в голос). Оторвал от себя, как мог успокоил. Обняв, трижды перецеловал братьев: младшего, рослого Андрея, и стройного, похожего розовою нежностью щек на девушку Ивана. Еще раз наказал обоим поспешать следом за ним. Выйдя на сени, к ближним боярам, еще раз выслушал заверенья Василия Протасьича, коего оставлял постеречи Москву, что все будет в спокое и порядке. Еще раз, с высоты, озрел отцов Кремник, подумав с мгновенною горечью, что вот он сейчас, пока не получен ярлык ханский, даже и в дому своем ничто! Ни власти, ни права не дадено ему никакого! Подумалось — и ушло. Он вдел ногу в стремя. Не оглядываясь, шагом, тронул коня. Впереди была Орда, Сарай и Узбек — впервые без батюшковой заступы и умного руковожения!

Подъехав к причалам, спешился. Ступил на колеблемые сходни. И — не утерпел. Еще раз оглянул на покрытый народом пестрый, машущий платками и шапками берег. Все-таки для них он уже теперь — князь прямой! Оглянул, подумал: не махнуть ли рукою! Вместо того осенил себя крестным знамением и, заботливо подхваченный под руки, ступил на корабль. В нос ударило

острыми запахами смолы и речной свежести. Лодейные посбрасывали концы чалок, дружно упершись шестами, отвалили грузный учан от вымола, направив его на стрежень бегущей воды. И — двинулось, потекло: и золото-пестро-цветной берег, и рубленые городни, и маковицы церквей над ними, и нежный колокольный звон, и пухлые белые облака на промытом, ослепительно-голубом ярком весеннем небе... Тронулось, потекло, поворачиваясь и разворачиваясь, вместе с речным изгибом, отдаляясь и уходя. И батюшка, недвижный, зарытый и закрытый каменною плитой, тоже, верно, волнуется там, в горнем мире: как-то справит первые княжеские дела свои любимый сын его, Симеон?

Оставшись наконец один в беседке, он, смежив вежды, попытался представить себе, как это все будет там, в Орде, и вдруг до ужаса, до мгновенной судороги в горле понял, постиг вновь и опять, что он — один, что не будет отцовского настойчивого шепота, ни тайных посылов, ни мгновенных решений ночных, когда гонцы неслись словно тени по сонным улицам Сарая к кому-то еще с новыми дарами и посулами. И до боли — под хлюпанье воды, стремительно обегающей бока учана,— облило варом раскаянья: как смел он с высоты малых своих щенячьих лет судить и виноватить родителя в его многотрудных делах ордынских! Вот теперь ему предстоит пить из тоя же чаши... Отрекись! Отринь от себя великое княжение (еще ведь и не полученное!), бремя власти и забот господарских, уйди в монастырь или в тихую поместную жизнь... Смешно и помыслить такое! Не уйдет, не отринет, станет ратовать за эту власть с целым миром и с силами зла, дарить дары и — вздрогнул, охолодев,— подсылать убийц?! И помыслил, и не сумел враз отвергнуть такое, понял, сколь может быть тяжек крест, вздетый им ныне на рамена своя!

Новыми мысленными глазами озрел он великих бояринов своих, для коих он (двадцатипятилетний!) отныне — князь-батюшка, глава, заступа и оборона. Вспомнил и по-новому почтительный лик молодого Вельяминова, и просьбы его отца: удержать Хвоста-Босоволкова... Вот уедет он, застрянет в Орде, и старая рознь дедовых приведенных бояр с принятыми рязанскими и местными московитами вспыхнет с новою силой. Как их всех умел держать покойный батюшка в одном кулаке?

От тягостных мыслей отвлек Михайло Терентьич, посунувший, приотворив дверь, заботный лик в беседку: не надо ль чего князю-батюшке? Семен почти с радостью поманил старика. Привстав с ложа, застланного курчавою овчиной, усадил боярина. Покорно кивая, выслушал отчет о снаряде лодейном (без него знали, как и что надобно содеять, могли и не долагать вовсе, так уж... честь блюдут!). И, поддерживая уставную игру, склонял голову, хмурил чело, хотя и прошать и слушать хотелось ему теперь совсем о другом и ради другого зазвал он к себе старого боярина отцова (душа скорбит, утешь, успокой, коли мочно сие!). Михайло вроде понял. Помолчал, вглядываясь в лик молодого господина, осторожно посетовал, что батюшка не в срок опочил:

— Оно бы, вота бы... Одиначе и всем нам предстоит, часа своего не вемы... А княжество доброе оставил Иван Данилыч, добрей некуды! Ныне б суметь сохранить токмо...

— Почто...— хрипловато, не справясь с собою, вопросил Симеон,— почто схиму принял?.. Таково вдруг?

— То не вдруг! — возразил, покосясь на Симеона, старик.— Не вдруг... Еще в те поры, как жив был прежний митрополит Петр, батюшке твому содеялось видение о горе высокой, снегом укрытой...

— Знаю! — нетерпеливо перебил Симеон.— Снег сошел — то к смерти преосвященного Петра показало, а гора высокая — к успехам батюшковым...

— Дак всего-то, верно, и не знашь, княже! — возразил Михайло.— Еще и то было спрошено им у Петра: когда, мол, умру? И святитель ответил ему: «Когда приидет старец!» И батюшка твой старца того всюю жисть сожидал. А токмо не баял о том никому. А тут, в последние-то времена, уже хворым лежучи, единожды постучали в вороты; челядь кинулась прошать: «Кто?» А там, за воротами: «Старец!» — отмолвили. Ну и доложили князю-батюшке, мол, старец пришел, пустить ли? Иван-от Данилыч встрепенулси: «Зови!» Ан за воротами и нету никого... Ну тут он и понял, Данилыч-от наш, и постиг... И в одночасье схиму на себя положил. Токмо чаял тебя, господине, узреть перед своею кончиною... Не довелось.

Боярин опять косо поглядел на молодого князя. Симеон лежал, смежив вежды, словно бы спал, и только предательски проблеснувшая из-под ресниц слезинка выдала, сколь тяжка была для него правда сия. Михай-

ло Терентьич поднялся, досадуя на себя, что расстроил не ко времени господина, а и умолчать было непристойно. Должон знать, потому — сын! Пятясь, покинул тесный покачивающийся покой. Симеон покивал уходящему, хотел вымолвить слово, да голос отказал, вновь судорогою свело горло. Каково же было батюшке знать о конце своем и все еще надеять, сожидать встречи... Последней. Так и не состоявшей... Из-за меня, токмо из-за меня! И теперь, когда боярин ушел, стало мочно дать волю слезам и сдавленному беззвучному рыданию. Все равно... Все одно... Прости меня! Прости хоть там, в мире горнем!

Холоп влез было с трапезою. Симеон только свирепо рыкнул на него: «Уйди!» А между тем надо было принять трапезу, надо было выйти к боярам... И надо было додумать до конца горькую некую истину, открывшуюся ему в эти последние дни, о коей не сумел (или не восхотел?) поведать ему покойный родитель. Надо было... Надо было... надо... Лодьи уже подходили к Мячкову, а он все лежал, не в силах заставить себя встать, выйти, явить холопам и дружине «лик ясен и образ леповит» — как то пристало и пристойно было грядущему великому князю Руси Владимирской... Хоть и то знал, что переломит себя обязательно: встанет, выйдет, явит и все должное произнесет. А пока: «Господи! Пройдут года, и века пройдут, и минет все сущее днесь, и ты, великий, невестимо для меня возвеличишь, прославив, или сотрешь в персть родимую Русь. И ежели прославишь и утвердишь — помяни меня, Господи! Попомни, что и я отринул свое от себя для того, чтобы оберечь землю народа своего, что и я, малый, жил и мыслил ради великого и всечасно смирял и смиряю гордыню свою пред тобою! Прими лепт мой в сокровищницу свою и не отринь от престола славы нижайшего раба твоего!»

ГЛАВА 5

Кто стоит в церкви, и тяжко вздыхает, и бьет поклоны зёмно, склоняя выю, и плачет о гресех своих, и кает на исповеди духовнику своему? Тать ли ночной? Кровопивец несытый? Нет! Простой людин, ремесленник, землепашец, воин али купец. Днем еще обманывал и обвешивал, сбывал лежалый, гнилой ли, подмоченный товар, таил подати, тиранил жену, блудил ли непутем, таясь от

супружницы своей, обманывал себя, людей или князя и вот просит пощады и милости от небесного царя, целует нагие стопы распятого сына божия, к нему, отцу бедняков, прибегая в сиросги и наготе души своея... А после, а завтра? Опять и снова в делах вседневных придет ему забывать Господа и обманывать, тиранить ли ближнего своего?

Да и можно ли совместить жизнь сию и заветы Христовы? Или уж бросить все и нагим уйти в пустыню, в леса дремучие, в монастырь потаенный? Или так и кочевать меж грехом и краткими, в час молитвы во храме, покаяниями во грехах?

Вот ему, князю, в делах его многотрудных, можно ли? Или уж должно обманывать, лгать и предавать, имать и тиранить, чая высшего искупления, как всю жизнь вершил и деял покойный родитель, единым — служеньем земле своея оправдывавший всякое тайное и явное злодеяние противу князей супротивных? Что посеял он и что взойдет после него на этой земле?

Но можно ли дела государства вершить по Христовым заповедям?

Или дела господарские всегда грязь и кровь и иными быть не могут? Да, верно, так и есть, по времени токмо грязь и кровь, но всегда ли?! Та ли чаша суждена судьбою ему, Симеону, вершителю посмертной воли отца своего?

Или жизнь сия — сплошное зло, царство диавола, как учат болгарины-богумилы, и должно губить зримый, тварный мир, освобождая плененный им дух божий? Или вся украса мира, и солнца свет, и трав и цветов прозябанье, и девичий смех, и лепет дитячий — один лишь обман, одна лишь прелесть змиева?

Но и умом, и чувством, и тем, что выше и ума и чувства,— тайною глубиною сердца своего знал он и видел: прекрасен сей мир истинно и отнюдь не диаволом сотворен, а значит, должно и можно здесь, в мире сем, исполнять заповеди божьи: любви к ближнему и почитания высшей правды — «паче самого себя».

Господи! Вот он едет в Орду поганую, и от первого шага его там, в далеком Сарае, от первых посылов и посулов сложит и потечет так или иначе вся его последующая жизнь. Господи! К тебе взываю и тебя молю и требую — коли ты князем и главой меня сотворил,— требую от тебя: научи! Научи тому смутному, неясному, словно облачная тень на земле, о чем мечтал и просил

я всегда в самых жарких молитвах своих: дай мне творить дела княжеские, не сотворяя зла ближнему своему! Останови и удержи мя от гнева и дел неправедных! Дай нести бремя сие по-божьи, и враз обещаю тебе: не стану роптать, даже и на Голгофу ведомый, ежели ты укажешь мне един этот путь!

Трапезовали. Ели хлеб и холодную рыбу, запивали квашеным молоком. В откинутые полы шатра вливался бодрый весенний дух расцветающих берегов (его берегов!), крики ратаев на пашнях, милые запахи земли и дыма, вдруг, поверх речной прохладной сыри, доносимые до кораблей шалым весенним ветром.

И Симеон, косясь, замечает, как холоп, с гордостью перед прочими, подает ему серебряную тарель. (При живом родителе так вот, истово, подавали только отцу.) А не утверди его царь ордынский, и куда исчезнет нужная почтительность холопов? И не дай Господи поверить когда, что так и должно, что не ради места княжого, а ради меня самого, такого, каков я есть, творится все это: и уставное подношение блюд, и забота кравчего, и поклоны, и сугубое внимание сотрапезующих... Не дай Боже поверить, что от Бога сие мне, смертному! Не мне, а токмо главе земли в лице моем! И должно мне самому, как учил родитель-батюшка, быти на высоте княжеского звания своего и не ронять оное нигде, ниже́ и здесь, за столом сидючи и вкушая рыбу и хлеб с кислым молоком, именно и сугубо вкушая!

Он, вздохнув, распрямляет плечи, опрятно подымает кусок рыбы двоезубою, с костяной рукоятью, вилкой. Напоминается, как в детстве выговаривали ему сидеть прямо, не клоня главы, не роняя кусков на столешню. Упрямился, гневал даже. А теперь — постиг. Вот идет застолье, и в этом застолье он — князь. И всюду теперь князь. И всюду и во всем — пример и поучение супротив сидящим. Даже и в еде, и в том, как надобно держать вилку и ставить тарель, как пристойно вытирать уста платом, разложенным на коленях. Ибо он — глава, заступа, судия и учитель; одним словом — князь.

Трапезовали. Кормили зверей в клетках. А в душе, неотрывное, вызванивало все то ж и опять: как совместить право и правду?

ГЛАВА 6

Ночью, когда подходили к Коломне, его, показалось, озарило прозрением. Да! Можно и должно помирить суровые заветы родителя с тем смутным, словно застарелая боль, а порою нежданно острым чувством справедливости, «праведности», которое так мучило его во все протекшие годы, так не давало забыть предсмертные проклятия Федора, Александрова сына, ровесника и ворога своего, который, повернись иначе судьба, мог бы стать другом его отроческих игр и забав.

Он же им всем, братьям-князьям, ровня, шурин и брат, а Костянтину Василичу Суздальскому так даже и племянник троюродный! И по господню завету, и по счету родства, и по смирению, достодолжному всякому христианину, не вправе он величаться пред ними. Со всеми надобно замирить, ко всем явить дружество, стойно покойному Михайле Тверскому, что привлекал союзных себе князей, давая им часть в делах господарства своего и в доходах великого княжения, а суздальскому князю и уступить в чем-то, не потеряет он, Симеон, ни чести, ни гордости своей! Но зато, любыми судьбами, насилу и свыше силы, должно всех их заставить, уговорить, умолить идти вкупе с ним в затеянный родителем новогородский поход. Пущай батюшка пребудет в спокое там, у себя... Сие исполню! А из двух зятевьев паче всего удоволить должно того, который был не то что изобижен излиха, а наипаче обиды не стерпел,— ярославского Давыдовича, в коем татарская разгарчивая кровь еще, поди, и о сю пору бушует за то, неудавшее родителю нятье на Волге, по дороге в Орду. Что ж! За разбойное нападение и заплатить бы не грех, но как? И чем?

Прикрыв глаза рукою (одинокая свеча покачивала язычок огня прямо перед лицом), он стал в мельчайших чертах и подробностях вспоминать весь облик ярославского зятя, его широковатую стать, скуластые, что у Василья, то и у брата Михайлы, крепкие лица, крутые лбы, упрямые, со степною раскосинкой, очеса... И не тесно им сидеть вдвоем на одном-то ярославском столе? Подумалось, и, стойно родителю-батюшке, худо подумалось сперва: не удастся ли стравить братьев между собою? И тотчас ожгло стыдом. А после того как словно молоньей высветило: а ведь коли Михайлу-то Давыдовича позвать на хлебное место?.. Да хоть и в но-

вогородский поход... Уже не в Новгород ли Великий наместничать? И старшего брата, Василья Давыдыча, тем удоволить? Симеон с маху сел на постеле. Нужда настала смертная сей миг, тотчас поднять, позвать, посоветовать с кем из бояринов думных об этом (первом в жизни!) княжеском замысле своем. Михайлу Терентьича, что ли? И уже пихнул было в бок слугу, что храпел на сундуке, да пожалел боярина: спит старик, уходился за хлопотный день, да и укачало водою, поди... Сорокоума? Феофана Бяконтова? Спят вси! Понурил голову. Может, и не то, и не так надумал? Срыву-то... «Охолонь!» — повелел беззвучно самому себе. Лег. Посопел, ворочаясь. Привставши, дунул в сердцах на свечу. Но и во тьме не спал, ворочался с боку на бок, слушая всхлипы воды, протяжные оклики корабельных да далекое петушиное пение с берегов. Так и проворочался до зари, до свету, до самой Коломны.

А из утра некак было кого ни то и повестить. Чалились. Под руки выводили его на покачивающийся берег. Пол-Коломны, почитай, высыпало встречу князя под колокольный звон. И опять уставно кланялись; торговые гости, туголицые купцы-сурожана уставно дарили дары — ему и, через него, Узбеку. Радошно, но и требовательно заглядывали в очи, мол, мы тебе, а ты нам, не обессудь, княже! Стояли службу. Трапезовали в наместничьем терему. Но и запивая севрюжью уху красным фряжским (как ни мало вкушал хмельного, здесь не дозволили-таки отказаться), все об одном, удуманном ночью, токмо и мыслил, так и эдак прикидывал, но не казал себя худым ни с какого боку давешний замысел ночной!

Сесть с боярами удалось токмо ввечеру. Собрались в тесовой палате наместничьих хором, расселись по лавкам. Старики и те, кто повозрастнее, в первом ряду. Сорокоум, Михайло Терентьич, Афиней, Мина, Василий Окатьич, Феофан и Матвей Бяконтовы, Федор Акинфич с Александром Морхининым... Еще не было тут Дмитрия Зерна, усланного наперед, к хану, не было и Вельяминовых, оставленных с Андреем Кобылой постеречи Москву. Зато кое-кто из председящих — Мина, Матвей Бяконтов да и оба Акинфича — первый раз, почитай, и заседали в думе государевой. (Ежели он будет еще государем, сиречь князем великим; ежели это заседание мочно почесть думою, а не военным со-

ветом перед боем, боем без оружия и броней, и тем более смутно-неясным по исходу своему.)

Все присутствующие были кто на десять — пятнадцать лет, кто и вдвое старше Симеона. И лица были серьезны не уставно, не для-ради торжественности заседания пред князем великим. Ибо понимали все, что от их нынешней совокупной воли как раз и зависит, будет ли Симеон великим князем владимирским, а они — боярами великого князя.

Симеон неволею вспомнил отцово умение слушать, как бы исчезая, как бы растворяясь в палатных сумерках, слушать так, словно его воли и слова и нету здесь и не при нем и не про него ведется молвь...

Хотел разом и повестить давешнее и вдруг кожей почуял, что достаточно ему днесь сказать — даже не повелеть, просто сказать что-нибудь безлепое — и замолкнут (и станут исполнять!), но отодвинут, отдалят от него. И все же, помыслив так (сказались двадцать пять годов возрасту!), не выдержал, высказал-таки свое ночное. И — вперился взглядом в лица. Михайло Терентьич раздумчиво покачал головой:

— Поход-от ищо будет, нет ли! А и приберечь новогородское наместничество не грех, великоват кус для князя моложского!

Как так: будет, нет ли? Симеона облило гневом, обидою, почти детскою, едва не сжал кулаки. Вот вы все как мыслите о юном князе своем? Будет поход! Вопреки и вперекор всему — будет! И не ты, старик, поведешь те рати, не тебе придет собирать... Все это мутью поднялось в душе и не сказалось — к счастью, не сказалось,— умерло нéмо в запертых устах. Лик боярина был хмур и добр, и не ради глума над ним, Симеоном, сказано было Михайлой правдивое слово.

Опомнясь, Симеон стал внимательно вслушивать в раздумчивую речь боярина. А ведь прав! Захотят, очень могут... Синицу в руки вместо журавля в небесах... Внимая, почуял уважение к мысли старика, что прямо и не отклонял затею Симеонову, но как-то поворачивал — укладывал ее погоднее. И вот уже ясно стало, что на новогородское наместничество никак нельзя, а послать ежели с княжеборцами в Торжок, оно и враз прибыточно, и не так истомно казне князевой...

Михайло Юрьич Сорокоум почти перебил, пристукнув посохом, рек хрипло:

— Преже достоит помыслити о суждальстем князи!

Сколько его помнит, все так же Сорокоум и стар, и сед, и так же хрипло говорит, взбрызгивая слюною, и так же неуступчив, и верно, по делу любил его и слушал отец (и села те, что обиняком давно уже просит Сорокоум, дабы без потерей разделиться с братом Иваном, придать ему надобно!).

Михаил Юрьич изрек главное. И зря он, Симеон, выскочил наперед со своими незрелыми замыслами. В самом деле, кого могут избрать в Орде на великое княжение заместо него? Не обедневшего ростовского зятя и даже не ярославского! Костянтин Тверской и доныне не был соперником Москве, век ходил на привязи у родителя, тверские великие бояра его не любят, а чада Александровы покуда еще не подросли... И остается, само лезет в очи: суздальский князь! Усилившийся премного с ростом Нижнего Новгорода, торговый и ратный, старейший среди них всех, русских князей владимирских, наделенный правами многими, понеже батюшке приходило некогда делить великий стол с прежним, покойным, князем суздальским... Как он забыл о том! А значит, и права Костянтина Васильича на великий стол бесспорны!

Вот и вылезла правда. Главная правда. Суздальский князь. Костянтин. А ежели еще малые князья, стародубский, юрьевский, или все те, обиженные, на чьи княжества отец скупал ярлыки у хана Узбека — белозерский, галицкий, дмитровский, ростовский, потребуют себе в старейшие вместо него, Симеона, маститого годами князя суздальского?!

И еще помыслить, что так же сейчас бояре суздальские толкуют о правах господина своего и строят ковы противу Москвы...

И еще подумать: возня отца с ярлыками не отучила ли от представлений о праве и правде? Как там по лествице надлежит, нынче и спросят навряд... Да и по лествице, по древнему уложенью княжому, суздальскому князю, а не ему, Симеону, власть великую имать надлежит!

Словно в тумане, услышалось: Нижний! Да, конечно, вновь правы Сорокоум с Михайлой Терентьичем: не лезть пока в нижегородские дела, уступить град Костянтину безусловно, а тогда... Но ведь получи Костянтин Василич великое княжение, и им, московским князьям, самим не усидеть в Нижнем ни дня, ни часу! Как еще качнут ордынские весы! И прав, по-страшному

прав отец: Товлубий, вот кто возможет! Убийца тверских князей, кровавый союзник отца. И еще Черкас. Черкас, о коем и думать соромно... И дары, дары! И сам Узбек. Тяжко ли болен повелитель? При конце ли он дней своих? Сыновья, поди, ждут, и точат ножи друг на друга! Подумал — и стало страшно. У них, у него с братьями, к великому счастью (а тоже заслугой родителя, его раченьем!), ничего похожего не сотворит... Иван? Нет, никогда! Андрей? Нет, тоже нет! Однако надобно подторопить, пущай едут за ним скорее! И надобен договор (это потом!). Не то, сами не додумают, бояре подскажут. Пришлые. Тот же Алексей Хвост...

Он уже не пытался встревать в говорю своих бояр. Слушал яко молодший, коим и был по опыту и возрастию своему. А они и Товлубия с Черкасом помянули, и неравнодушие Товлубега (Товлубия) к соколиной охоте (по пригожеству придут терские красные соколы!), и любовь Черкаса к полонянкам с золотистыми волосами... «Есть одна!» — Сорокоум кивнул. Афиней с Миною переглянули. Симеону вдруг до боли стало жаль эту дважды проданную четырнадцатилетнюю девчушку (он видел ее мельком), которая, может, и сама не против того, чтобы попасть теперь в гарем всесильного бека ордынского, ходить в шелках, объедаться сластями да сплетничать со скуки с прочими женами и наложницами татарина. И все же... И все-таки. Соромно сие. И ни в какую грамоту не впишется, потому — сором, стыд. Муж, воин, на рати должен оборонять оружием от вражья глаза девичью красу, а не торговать ею на ордынском базаре. И все одно нельзя инако. Нельзя выпускать Черкаса из бережных, покойным родителем, устроенных, объятий Москвы.

Но и за всем тем, и сверх, и посверх того — хан Узбек! Всем женам которого — дары; беглербеку — дары сугубые; хранителю печати — тоже; главному кадию — тоже, и сугубо, не оскорбляя веры врага! И за всем тем — ждать милости или опалы, и ежели последнее — все дары и подарки ни во что ся обратят!

А брата ярославского князя, и верно, уместно созвать в новогородский поход... Ежели поход состоит, ежели новгородцы сами не дадут бора по волости и отцовых, все еще не востребованных, двух тысяч сере-

бра, ежели, ежели, ежели... И всего наипаче, ежели хан Узбек утвердит его, Симеона, великим князем владимирским!

ГЛАВА 7

Проходят, неторопливо разворачивая бахромчатую красоту вознесенных над кручами боров, зеленые берега. От реки, понизу, струит не истраченным еще зимним холодом. Давеча Симеон вышел было в одной шитой рубахе, постоял и издрог, пришлось-таки вздеть зипун. А хорошо! Хорошо гляделась весенняя, устроенная русичами, веселая, обжитая земля! От солнечного огня Ока сверкала и плавилась. Серо-белые и красные коровы подходили к самому берегу, долгим мычанием провожали расписные княжеские суда. Вода стремительно облизывала затравеневшие берега, мыла осыпи, оплескивала круглые камни и замытые в песок, изъеденные и изгрызенные временем и влагою бревна, убегая вперед и вперед, туда, в объятия Камы-реки, после чего, ополнев и усилясь, триединым могучим волжским разливом понесет их еще дальше, в дали дальние, в дикую степь, в Орду.

Ах, не скоро станешь ты, Волга, до пределов своих великою русской рекой! Еще не возникли города, еще не выросли храмы на кручах твоих. Где там, за Нижним, за Сурой поганою, проглянет Русь? Разве полоняники пастухи поглядят с обрыва на проходящие родные лодьи да смахнут непрошеную слезу с выгоревших ресниц... И Симеон, прикрыв глаза, вновь и вновь проходит думою эту дорогу, долгий путь в далекую, грозную Орду. (А тогда была осень и мерзкий морок и хлад и Федор бешено колотил в ворота... Нет, не надо, не надо сейчас! Еще вспомню тебя, там, в Сарае!)

Власть. Вот он плывет за властью! Власть не просят, берут. Всегда ли? Ныне на Руси ее просят у чуждых стране насельников. Где твоя слава, Русь? Где величие твое, родина? Кому отдала ты свою неземную красу?!

И, ежели подумать строго и честно, чем лучше он, на коем несмываемая кровь и предсмертное проклятие Федора, чем лучше их всех, родичей, свояков и соперников своих? И ему ли говорить днесь о христианской любви и дружестве русичей перед лицом

хана? Где тот, кто чист пред Господом, пред кем можно пасть на колена и молить о милости и снисхождении? Где обещанный Алексием святой? Или, как тот отцов пугающий старец, придет к нему токмо перед последним днем, придет, дабы принять последний вздох или, напротив, взглянуть с укоризною в очи? Как и умереть тогда и с чем умереть?

Его вновь стала пробирать дрожь. Он встал с раскладного стульца и тут же позавидовал судовому мужику, что стоял у тяжелого правила засуча рукава, с голою грудью,— распаренное чело лоснится и блестит на солнце. Сесть бы за весла, поделать бы что! Нельзя. Он плотнее запахнул зипун, с сожалением глянул на плывущие зеленые берега, толчком отворил дверь тесной княжеской горенки, полез в безветренное тепло. Еще целых два дня плыть по Оке до Нижнего!

В эту ночь он думал о том, что бояре его, везущие своего молодого князя в Орду, по-своему правы. Грех, ежели он есть, лежит на нем, на самом Симеоне, а не на всей русской земле. (А Новгород, на который он поведет рати, а Тверь, а Нижний, Ярославль, Ростов и прочие грады, ограбленные родителем,— не та же ли русская земля?) Почему же они столь тверды и бестрепетны, бояра его государевой думы? Или возложили все на него одного? А ежели не возможет он? Изберут другого и тоже повезут ставить великим князем владимирским?! Так же вот, совокупною волей. А грех на мне одном? На тебе одном! Виждь и поклони земно родителю твоему, он понимал это лучше тебя. И, верно, всю жизнь понимал, сызмладу. И выбрал путь. А он? Ему путь был предназначен батюшкой, не им самим. Но и он тоже выбрал. Когда же? Тогда. В Орде. Когда сын Александра Михалыча Тверского, Федор, предсмертно колотился в ворота, а он, Симеон, не открыл ему. И обрек на смерть. И едет теперь получать ярлык на великое княжение владимирское.

А в чем вина его бояр? Боярам от его господарства корысть немалая! А виноваты ли смерды? Что им, смердам, в том, будет ли он, Семен Иваныч, главою Владимирской Руси? Им — тишина, от ратей и послов бережение, в лихолетье защита и оборона. А холопам? Этим вот лодейным мужикам? Им сытный кус и гордость: мол, не простые мы, великокняжеские! И вот —

совокупная воля земли. А грех? А грех на мне одном! А рать, раззор, скудота? То — на всех ляжет. И на смердов паче других. Стало, надобна была и им смерть Федора? Стало — так! А грех? А грех неделим. Он на князе. Почему, Господи? Потому, что решает князь, глава. Прежде всякого дела — слово, волевой посыл. И слово исходит от него. И он должен дать ответ Господу своему. Один. За всех. А ежели он будет мерзок, подл и слаб и от него погинет земля? Земля, погинув, получит тем самым воздаяние свое. Сгорят избы, осиротеют поля, жен и детей повлекут во вражий полон, бояр расточат и предадут казням, кмети погинут на ратях... Земля, приявшая себе главу недостойного, будет паки наказана недостойным повелителем своим, наказана паче грозы господней! А грех пред Господом будет все одно токмо на нем одном, на главе, на князе. С ним, с князем, которого в земном бытии будут все едино спасать, лелеять и холить, каков бы он ни был, разочтется Бог. В этом ли, загробном бытии — не важно. И тут вот — ужас власти. И искус великий: не поверить в господень суд! Да, ты прав, батюшка, и крестник твой, Алексий, прав сугубо: нужен святой! Земле, языку, боярам и паче всего ему самому, московскому князю Семену!

Вздыхала и хлюпала вода, струисто обтекая смоленые борта. Река полнилась туманом. Небо светлело. Протяжно перекликались кормчие на судах. Близил рассвет.

В Нижнем догружали корабли. Город возник на горе светлым видением, веселый, уже охваченный солнцем. Внизу, по берегу, тянулись нескончаемыми рядами анбары, лабазы, лавки, целые хороводы судов, лес мачт, цветные и рыжие паруса, и гомон гомонился, утренний гомон словно бы и вовсе неусыпавшего торга.

Симеон стоял, ежась от веселого пронизывающего утренника, завистливо любуясь раскинувшейся красотой. Вон там он поставил бы свой двор, вон там, на самый глядень, вознес храм Богоматери... Вот эдак глядючи, без слова понятно, почему столь долгая пря идет за этот казовый город!

Солнце, омытое утреннею росою, уже поднялось,

выстало, достигло воды, и река вся заиграла голубыми атласными переливами.

Вот и берег. Сейчас крашеный набой тупо стукнет о бревна причала. В этот миг ему в очи бросились двое верхоконных, что стремительно, насколько позволял крутой спуск, спешили с горы к московскому вымолу. Передовой, левой рукою натягивая поводья, правою, сняв шапку, махал им издалека.

«Гонец! — Нехорошее предчувствие кольнуло Семена.— Что там у них стряслось? Какая беда?» Он недовольно сдвинул брови. Учан шатнуло от удара о берег. Подали чалки. Кто-то спрыгнул на вымол, кто-то, ухватясь за поручни, лез наверх. Гомонили бояра за спиною, а Семен уже весь напрягся, устремил взор туда, где, расталкивая толпу, пробивались к вымолу (он не обознался-таки!) московские вестоноши.

Радости уже не было. Он хмуро перетерпел уставную суетню, принял наконец свиток из рук боярина и, удалясь в корабельный покой, развернул и медленно, дважды, перечел, обмысливая каждое слово. Шевельнулось и тут же загасло суматошное желание пасть на коня, скакать в опор в Москву... С пути не ворочают. Он свернул свиток, бережно опустил в ларец с грамотами. Задумался.

В грамоте, привезенной примчавшим опрометью гонцом, сообщалось, что умер великий боярин, старый тысяцкий Москвы, Протасий-Вельямин Федорыч. И эта смерть, вторая после отцовой, совершилась без него! И не можно воротить, отдать последний долг соратнику и другу отца и деда Данилы, такого далекого, древнего до ужаса, которого, однако, старый Протасий помнил еще живым и даже — что особенно удивительно и непонятно — юным.

Семен перекрестился. Кивнул слуге — созвать бояр. Следовало отослать в Москву грамоту, подтверждающую права молодого тысяцкого, Василья Протасьича, и другую, дабы паки подторопить братьев. Ночевать в Нижнем отдумали. Смерть старого Протасия что-то сдвинула, подтолкнула, напомнив о бренности и непрочности земного бытия, заставила сугубо спешить, словно со смертью этой на плечи всех упал некий добавочный груз. Весь день и полночи догружали суда, и первые лучи утреннего солнца уже осветили плывущий по Волге караван. Прощай, Русь!

ГЛАВА 8

Старый Протасий умирал истово и спокойно. Он дожил до того редкого возраста, когда смерть уже не страшит, не пугает, а приходит как отдых, как заслуженный после тяжких трудов земных покой и сон.

В палатах жарко. Мерцают свечи. Окна завешены, и не чуется, что на дворе весна, голубой, пьяный от солнца и ветра сияющий май. У мужиков — седатого сына с ражими молодцами-внуками, у старшего ключника, конюшего и двоих посельских, что каменно застыли на лавках, сложив тяжелые руки на коленях и недвижимо уставя взоры в колеблемое свечное пламя,— на строгих насупленных лицах росинки пота. Ради смертного часу торжественного вздели суконные охабни: кто в белом, а кто и в черном, стойно монашескому, одеянии. И вот молчаливо преют, перемогая духоту. И так же молчаливо переминается толпа на сенях и во дворе боярского терема: холопы и вольные слуги, оружные кмети, старосты ремесленников и купцы, всяких чинов и всякого звания люди, сошедшие сюда, заслышав о кончине великого тысяцкого Москвы, коего знали все, при коем рождались и умирали, коего мнили почти бессмертным, вечным хранителем родимого города.

Жонки неслышно входят и выходят (обе старухи дочери споро приволоклись, прослышав о близкой кончине отца). Сейчас шепотом переговаривают между собой и тем же хриплым шепотом строжат слуг. Священник с дьяконом уже отошли от постели, причастив и соборовав, даже с некиим страхом душевным, маститого держателя Москвы. Прочтены духовные грамоты. Богоявленскому монастырю, в коем стараниями Протасия возведен каменный храм, отходят по душевой село Вельяминово с мельницею на реке Лихоборке и деревней Марфиной близ Москвы. Прочие села, поля, угодья, заводы, необозримые стада конинные и скотинные, обширная вотчина в Манатьином стану, на полдороге к Дмитрову, на реке Черной Грязи, и вотчина на Яхроме, и села по Уче: Федоскино, Даниловское, Семенищево и прочие, и вотчина под Вереей, в Гремичах на Протве, и вотчина под Коломною в Левичине стану, в коей десятки деревень, и земли под Лопаснею, и села под Волоком Ламским (сказочно богат тысяцкий града Москвы!) — то все достается

сыну Василию с внуками. Ему же, за выделом того, что отходит по смерти замужним дочерям, вручаются порты многоценные, золото и серебро, драгая посуда, кованые блюда и чаши, брони и колонтари, куяки и пансыри, шеломы, мисюрки, рогатины, сабли и сулицы — весь обширный боевой запас, коим можно оборужить и окольчужить целый полк ратников, коли придет к тому грозовая нужа. От долгого чтения, от бесконечного перечня утвари и одежд у внимающих кру́гом пошли головы: едва ли не богаче оказывал Протасий-Вельямин великого князя самого!

Но вот и с этим покончено. Все земное устроение содеяно по правде и по закону. Никто не обижен, никто не обнесен, и из старых слуг, холопов верных, всякому дана награда: серебром ли, портами, али скотом — каждому по его достоинству и выслуге. И теперь последнее остает пред тем как покинуть мир — передать сыну слово напутное.

Глухой, приглушенный ковром ордынским топот ног: лишние, пригибаясь в дверях, выходят из покоя. Протасий слегка приподымает плохо повинующиеся веки. Озирает изложню. Одним движением глаз зовет сына. Василий — сыну уже шестой десяток лет — старик! Старшему внуку, тоже Василию, и то за тридцать.

— Васюту оставь! — шепчет задышливо старец.

Василий Протасьич кивает, и рослый, в породу, старший сын, склонив голову, подходит к постели умирающего деда. Старый Протасий словно бы ищет кого-то, зрачки беспокойно бегают.

— Никого нетути, батюшка! — поняв отца, отвечает Василий Протасьич. Старик слегка кивает, прикрывает глаза, глубоко дышит, отдыхая.

— Ноги! — шепчет.— Не чую уже ног...

Внук готовно наклоняется, толстыми дланями, прихмуря чело, подымает глиняный горшок с кипятком, устраивает в ногах у деда, отгибая край собольего одеяла. Протасий молчит, потом слегка раздвигает морщины щек в намеке на улыбку. Добро, проняло, кажись!

Он подымает веки, зорко оглядывает двоих мужей — наследников, хранителей и держателей дома. Замечает седины сына, темный румянец мужества на лице внука (уже и правнуки растут, Ванята с Микулою, шустрые пареньки!). Разымчивая нежность чуть трогает

старое сердце. Каменное лицо старика добреет и отвердевает вновь.

— Грех на мне!

— Што ты, батя? — не понимая, Василий Протасьич наклоняется над ложем.

— Грех на мне! — повторяет умирающий тверже.— Юрия Данилыча покойного,— шепчет с одышкой,— я посадил, а Михайлу Святого отверг...

Старый ум мешается уже: не Михайлу, а Александра Данилыча, тоже покойного. Сын знает всю эту, уже древнюю, быль и хочет поправить отца:

— Лександра Данилыча?

Старик, отрицая, поводит челом.

— Нет! Михайлу нать было! — повторяет с упорной настойчивостью.— Михайлу! Тогда бы Тверь выстала... А ныне — Москва!

Умирающий смолкает и, переводя взгляд с одного на другого, проверяет: дошло ли до них? Вняли? И видит хмурь на челе сына, а в глазах внука недоумение. И потому, отдышась, вновь повторяет с упорною настойчивостью (не сказать нынче — и никогда не сказать, и Господь не простит того, у врат рая спросит: «Сказал ли, старый?»):

— Грех принял я на душу свою! Ради Москвы, ради люда московского, ради вас всех... Не ведаю, к худу то али к хорошу вышло? Данилушку на бою прибрал Господь. Чаю, за грех мой! Думал, навовсе, ан нет, теперича блазнит, не вовсе расплатилси! Ищо придет на нас беда... Дак тово... тово...— Умирающий смотрит на двоих у постели с промельком страха: мысли мешаются, и неужели, неужели он не сумеет, не скажет им всего, что должно сказать ему, прежде чем покинуть сей мир? — Москва! — одолевая себя, шепчет, призакрыв веки, лишь бы не сбиться, не утерять мысленную нить.— Землѝ устроение... Это от нас, наше... И грех, и воздаяние — нам! Тебе, сын, и тебе... Берегите! Помните: мог! Я мог! Все переменить. И не было бы Москвы. В роду нашем... Не упускайте! И князи московские власть свою получали от нас, от Вельяминовых. Вам и держать! Ныне и впредь... Не забывай! Помни про грех отца и про воздаяние помни! Правды... Правды не изменяй! За правду не накажет Господь...

Голос старика потишел, пресекся. Скупая слеза осеребрила краешек глаза. Василий Протасьич осторож-

но опустился на колени. Внук, помедлив, встал рядом с отцом.

— Не ведаю,— шептал старик.— Тяжко будет... Босоволковых берегись... Наша слава пришлым — што бельмо в глазу. Семен Иваныч праведный, а как ищо в Орде повернет? Бяконтовых не отпихни, не остуди чем. Алексий, чаю, станет митрополитом. С ним... И паче всего стой за правду! Грех... искупить... Я там буду молить за вас, дети мои.

Василий Протасьич забрал в ладони холодные, уже почти неживые пальцы отца, и внук, Василий Васильич, заботно заглянув сбоку в склоненный лик родителя, увидел, что отец плачет. У него самого невольно жарко заскорбело в глазах и от горя отцова, и от гордости — так понял он высказанные умирающим слова о том, что они, Вельяминовы, поставили князей Данилова дома и утвердили Москву, содеяв ее первым градом Залесской Руси. О грехе (старом, дедовском, да и грех ли то был? Не стало б Москвы тогда!) Василий Васильич не помыслил в сей час, а зря! Умирающий дед понимал то, что ему, ражему, на возрасте мужику, еще и не блазнило в очи...

И, задумав, замечтав, Василий Васильич почти не услышал того, что шептал умирающий его отцу. А тот, передохнув, снова и слабо и сладко чуя свои ладони в сильных сыновьих руках, вновь повел о грехе, давнем, непростимом:

— Чем паче грех, тем позже и тем страшнее карает Господь! Помни! Может, и не тебе отвечивать перед престолом вышнего, а ему, внуку, али правнуку...

И еще об одном, совсем тихо, прошептал:

— Рот мне закрой, как помру! Пристойно чтоб...

Умирающий смежил глаза, задышал тише, тише... Вот бледный окрас жизни начал уходить с костистого чела, широко открылись глаза и начали леденеть, и челюсть безвольно отвисла было, но Василий Протасьич вовремя подхватил, не забыв просьбы отцовой, а другою рукою закрыл глаза родителю, и сам, не в силах смотреть, смежил очи, шепча молитву.

— Отходит? — спросил вполголоса внук.

Василий Протасьич кивнул, двинув кадыком. Справясь с голосом, повелел:

— Позови кого ни то! Жонок... Пелагею, тетку твою, она тут, за дверьми... И Феону тож! — возвыся голос, договорил в сыновью спину.

И, пока не вошли, не завыли, не начали прибирать мертвеца, бережно приложился губами, щекою, седой бородою своей к лику родителя. Всю жизнь держал про себя, что любимый был не он, а тот, покойный, первенец Данила, убитый на бою под Москвой. Всю жизнь отец держал его в требовательной суровой строгости, словно испытывал: возможешь ли заменить того, мертвого? И только сейчас вдруг почуялось, что отец — свой, близкий ему и любимый, а он, хоть и седой и старый уже, а ма-а-ахонькой сейчас! Словно тот, давешний детеныш, коему так хотелось порою (и так страшно было!) прижаться, приласкаться к своему великому, грозному, для него и для многих грозному и праведному в ровной суровости своей отцу.

А за окнами, на дворе, и на сенях, забитых народом, уже восставали плач и голошение жонок, вызнавших у прислуги о кончине великого тысяцкого Москвы.

ГЛАВА 9

Близит Сарай. Позади остались осыпи белых гор, леса и разливы, и уже ровная степь протянулась до окоема, ежели выстать на любой берег великой реки. Зверей, что везут в клетках, укачало, и слуги суетятся, обихаживают бедных медведей: довезти бы целыми до Орды! Близит Сарай и тяжкий разговор с Узбеком, а он все в мелких мыслях, все блазнит: как там, дома? Да скоро ли прибудут братья? Да все ли благополучно на Москве? Отвлекись, забудь! Помни одно, то, что ныне там, впереди! Думай о том, что решит властный и капризный хозяин улуса русского! Соберись, как собирал всего себя отец, подплывая к ханской столице! А — не думается. Не текут, не копятся мысли. Весенний ветер шевелит волосы, не дает забыть, что тебе всего двадцать пять лет! И рабыня, золотоволосая девочка, что везут Черкасу на постелю, которая сейчас, застенчиво взглядывая на молодого московского князя в красивом травчатом белошелковом зипуне, стоит, опершись о поручни, и то поглядит в бегучую синюю воду, то, сощурясь, в ширь дальней луговой стороны, а то вновь, чуть вспыхивая ждущим, раскованным взором юной женщины, на молодого князя

московского, который нравится ей куда больше далекого и страшноватого (верно, старик, толстый и злой!) татарского бека, который — когда еще будет! И князь тоже вспыхивает, гневает, закусывает губу, стараясь не глядеть на девочку, обряженную в иноземные шелка и парчу... (Ежели бы *это* произошло, после отдать ее Черкасу вдвойне позорно! И как все будут глядеть на него? Сорокоум скажет, отводя глаза: «Дело житейское!» И как он посмотрит потом в глаза Настасье... Нет, нет и нет!) А она вздыхает, чуть разочарованно опуская синие очи... Вот так бы и плыть. Бесконечно. В далекую даль, туда, куда спешат легкие волнистые облака по безмерному окоему неба. И смотреть, как идут друг за другом, уменьшаясь в отдалении, распустивши расписные паруса и изредка вспенивая воду, паузки, учаны и насады княжого поезда, и чуять на себе зовущие тревожные взгляды золотокосой красавицы, и никогда-никогда не довезти ее до места, до душного гарема знатного татарина ордынского! А Сарай близит, и надо что-то решать. Впервые самому, без батюшки. И все иное забыть. Даже и девочку эту, что пойдет в тяжкой ордынской игре наравне с конями, серебром и медведями в клетках...

Нет! И здесь, под безмерным окоемом незнакомого неба, вдали от родины, он несвободен так же, как и там! Незримый гнет батюшковой воли держит его словно в когтях. Гнет власти, врученной ему (и еще не полученной!), бремя навычаев родного народа, от коих освободясь он перестанет быть тем, что он есть, и сделается совсем другим людином, вовсе без корней, словно перекати-поле, и потому он и сам не хочет избавить себя от этого бремени! И от власти, и от заветов предков, и от своей почему-то так и не сложившейся семьи, и от державных забот — не хочет он избавленья!

И будет стоять, вдыхая воздух воли. Воли, которая ему не нужна. И синеглазая девушка с золотыми волосами, что зазывно взглядывает на него, чая хотя короткой дорожной любви, мимолетной ласки припутной, так и пойдет, не тронутая им, в гарем убийцы Черкаса... Воля! И ничего не можно, нельзя и не хочется даже изменить!

Солнце низит над степью. Пахнет далеким дымом. Неотвратимо близит Сарай, столица Золотой Орды.

Шалый, с весенними бездонными глазами, Симеон спустился в тесноту корабельного чрева. Отбросил дверь, и жарко овеяло стыдом. За низким стольцом сидели его бояре. Михайло Терентьич неспешно писал большим лебединым пером. Запасные перья торчали в устье узорной медной чернильницы, ждали своей очереди, вбирая бурую железистую жидкость. Сорокоум с Афинеем и Феофан Бяконтов столпились со сторон, подсказывая и споря. Александр Морхинин, сидя прямь писца, громко перечислял порубежные тверские села — видимо, толковня шла о князе Костянтине Михалыче. Пока он там предается безделью и греховным помыслам, его бояре трудятся не разгибая спин, верно обмысливают очередную хитрую уловку, дабы улестить, остеречь или удоволить чем возможного тверского соперника.

Александр Морхинин первым увидел князя, бояре завставали было, но Симеон торопливым движением руки вновь усадил их по местам. Михайло Терентьич глянул скоса, хотев что-то прошать, но, видно, понял по лицу молодого князя, по шалым его глазам, что прошать не стоит, ухмыльнулся едва-едва, молвил:

— Дела, вишь!

— Да, дела...— отмолвил Семен с растерянною улыбкой.— А я...— хотел покаяти в безделии своем, но сдержал слово. Князю невместно. Строго свел брови. Попытал вникнуть в то, что почали объяснять ему в два голоса Сорокоум с Морхининым. Слушал, кивал, а не понимал ничего. В глазах все мрела приманчивая синева, покамест жаркая волна гнева на себя не заставила стряхнуть наваждение. Он крепко сел на скамью, повелел в уме: «Внять!» Попросил, залившись нервным румянцем, повторить сказанное. Михайло Терентьич одним еле видным прищуром глаз одобрил молодого князя. Сорокоум посопел (не любил, когда его плохо слушали).

— Софья Юрьевна, толкую, не ко времени умерла, царство ей небесное! Московской узды на Костянтина не стало! Дак вот, смекаем тута, с племянником у их не все ладно, со Всеволодом, да и кашинский князь тово... Словом, понимай сам, княже!

(Кашинский князь, Василий Михалыч, самый младший из сыновей Михайлы Святого, замученного в Орде, жил до недавней поры в Твери. И теперь что ж? Надобно ссорить его с родным старшим братом Костян-

тином? Возможно ли сие? Тем паче без тетки Софьи? И само-то оно таково пакостливо, брр!)

Спросил отрывисто:

— Кашинский князь тоже в Орде?

— То-то и оно, что нет! — раздумчиво протянул Сорокоум.— В Орде-то их свадить не дорого б стало...

Вновь началось то, из крови и грязи сотканное, что именуют делами, трудами и заботами господарскими, а позже назовут греческим словом «политика», и смысл чего — борьба за земную власть.

ГЛАВА 10

Мелкая речная волна лижет истоптанный песчаный берег, упорно замывает отбросы и сор, все, что накидали тут походя, словно хочет смыть поскорее с себя людскую скверну земли. Татарские курдючные овцы стоят и глупо смотрят, уставясь на пристающие суда. Тут бы и сказать, к слову: как бараны на новые ворота! Он невесело усмехнулся. Утрело. Над огромным ордынским городом разгоралась заря. Какая-то уже не такая, как дома. Не было медленного чуда преображения: червонного светоносного меча над лесом, яснеющих далей, мягкого золота первых лучей. Тут вмиг охватило полнеба рассветным пожаром, и вот уже кратко вспыхнули дальние берега, и полированной сталью одело Итиль, и прошло, промелькнуло, окончило. И горячее солнце уже высоко зависло над землею. Степь! Все тут иное... И как пуст теперь этот глиняный город с яркими пятнами бирюзы — ордынской голубой глазури! Как пуст без отца, без князей-соперников, Александра с Федором... Словно выжгло, выгорело, и осталась одна сухая скорлупа...

Вон! Уже встречают! И наши, и ордынцы... Никак сам Товлубег? И снова будет золотой трон, и стареющий Узбек на троне в окружении жен и вельмож... Что скажет ему Узбек? Что он сам ответит Узбеку? («А ведь и не знаю!» — как-то вдруг остро и беспокойно вспыхнуло в мозгу и пробежало неприятной дрожью, или то ночная уходящая сырь так пронзила его, пока он стоял тут, и глядел, и думал недвижимо.) И сказать надо уже теперь, особенно ежели Товлубий... Нет, не Товлубий, кажется! Да уж не Черкас ли сам? Нет, и не Черкас... А, видел, знаю! Знакомец старый! И уже

машет, щурясь приветно, словно умильный кот. Как же его? Айдар? Ибрагим? Да, кажется, Ибрагим-бег! (Не ошибиться бы только при встрече!). Надо прошать Сорокоума! Но старый боярин и сам не умедлил, уже подсказывал, стоя за плечом:

— Князь ихний. Послали встречать. Величают! Кабы только потом... Мягко стелют ежели...

Не дослушивая ворчаний старика (верно, и тут прав, недаром Сорокоумом прозван!), твердо соступил на сходни. Склонив голову, по-восточному прижал руки ко груди, отвечая на приветствие. Потом прямо глянул в веселые (и верно, насмешливые!) глаза татарина. Сказал татарское, заученное: «Здравствуй!» Выслушивая многословное цветистое приветствие, опять опустил глаза. (Спросить про Узбека? Нет! Да и... здесь ли Узбек? И вообще — жив ли Узбек?! Не потому ли так весел и цветист татарин, что его, Симеона, ожидает беда?)

Вмешались бояра. Феофан Бяконтов, отвечая на восточную лесть украшенным византийским славословием, велеречиво осведомился о здоровье «повелителя вселенной». Тут только и вызналось, что угадал: Узбека не было в Сарае. Уехал на летние кочевья — так было, во всяком случае, сказано — и сожидает урусутских князей к себе. Однако нет худа без добра. Русские князья еще не покинули Сарая, и открывалась возможность потолковать с каждым из них в особину, допрежь ханского (возможно рокового) решения.

Все это уяснело ввечеру. День же был хлопотлив и суматошен. Сгружались. Волокли, расталкивая толпы любопытных, клетки со злосчастными зверьми на подворье, сводили коней, тоже словно пьяных после водяного странствия, бережно несли сомлевших терских соколов и чилигов, возили поставы сукон, кули, бочки, кожаные кошели с разноличным княжеским добром. Устраивались, топили баню. Михайло Терентьич с Федором Акинфовым тут же, не стряпая, отправились покупать татарских коней в дорогу, ладить телеги, на что потребны были местные русские мастера.

К первой выти все были умучены всмерть. Не ели — жрали, почти не разговаривая. Семен, коего труды дорожные задели боком,— опытные бояра все делали сами, без него,— сидел сейчас во главе стола и озирал свою посерьезневшую дружину, с сугубым вниманием вгрызавшуюся в курящую паром баранину, с хрустом

и чавканьем уминавшую гречневую кашу, запивая варево квасом и огненной рыбной ухой... Сидели не в хоромах, а прямо во дворе, вытащив, ради летнего жаркого дня, столы и лавки наружу. Тут — старшая дружина боярская, а там, за теми столами,— простые кмети и молодшие: конюшие, детские, лодейные мужики, холопы, дворовые и прочая московская чадь. Старики вкушали вдумчиво, и Михайло Терентьич, облизывая узорную, с рыбьим хвостом новогородскую ложку, толковал Сорокоуму про какого-то дивных статей тоурменского жеребца, виденного им в торгу. И значило это, что все идет ладным побытом, не то бы Михайло Терентьич пасмурно молчал и сидел бы, строго уставясь в мису с едой, не глядючи ни на кого. Смекнув, что уже изучил иные повадки старика, Семен невесть с какой радости великой повеселел и сам. От сердца отлегло немного. Вот все они тут, и молодшие и старейшие, с завтрашнего дня станут хлопотать о нем, о его успехе у хана, суетиться, недосыпать, выдумывать все новые и новые затеи. (А ту, золотоволосую, уже завтра передадут Черкасу, и он только мельком узрит ее в волоковое окошко верхних хором, и все. И ничего больше... Знала бы Настасья, о чем он думает днесь!) А степь цветет, и даже сюда, сквозь запахи навоза, пыли, чадящего кизяка, доносит томительный, с легкою полынною горечью, аромат...

Ростовский зять приехал в Сарай вместе с женою, Семеновой сестрой, что очень помогло и разговору, и родственному неотяготительному свиданию. Встретились в тот же вечер, после бани, и Маша первая кинулась Семену на шею: «Сема!», этим детским именем враз разорвав кольцо трудного, сложившегося за прошедшие годы господарского нелюбия. Потом, конечно, и ссорились, и даже кричали друг на друга — по-родственному.

Сестру Симеон не видел давно. Она раздалась, огрузнела, немного словно бы уже и отцвела. Гляделась не прежнею девочкой с узкими прохладными ладошками, а зрелою женщиной, женой, и только во взоре нет-нет и вспыхивало прежнее, озорное, и тогда только он вспоминал, как бегали с нею вместе в горелки, как лазали, обдирая колени и локти, по пыльным чердакам княжого дворца...

Сидели в горницах. В отодвинутые окошка задувало — чужой Итиль нес сюда запахи рыбы и гниющих водорослей,— и потому было не жарко. Неспешно вкушали, от разварного осетра, баранины и сорочинской каши с изюмом уже перейдя к вяжущим восточным сладостям, сушеной дыне, изюму и орехам. Умеренно отпивали русский, настоянный на травах, мед. Избранные бояре, человек десять с той и другой стороны, переговаривали о делах. (От московитов были Михайло Терентьич с Сорокоумом, Феофан Бяконтов, строгий Александр Морхинин и осторожно-внимательный Дмитрий Зерно.)

Бояре уже успели перетолковать о порубежных селах, о данях, что брали допрежь непутем, о татебном, мытном и весчем. Маша уже успела накричаться, укоряя покойного батюшку за лихое самоуправство в ростовской земле. Возмужавший Костянтин почти весь вечер молчал, коротко взглядывал на московского шурина, прикидывал, решал что-то про себя... Тут, наконец, когда дошло дело до ордынских выплат, и он решился подать голос. Симеон было вскипел, Сорокоум остерегающе глянул на него со своего места, но князь уже и сам сдержал себя. Только брови свело татарским излучьем.

— За ярлык, Костянтин, плачено московским серебром! А выход надо давать в срок все одно! Что ж ты, хочешь сам грабить свою землю?! — И подчеркнул, возвыся голос, слова «сам» и «грабить». Те и другие бояре полуобернулись, тревожно поглядели на княжеский конец стола.— Бремя сие не легко и для меня,— домолвил Симеон тише,— но пременить батюшкову волю теперь нельзя! — Слово «теперь» он произнес с легким нажимом, а «батюшкову волю» было сказано для сестры.

— Ярославль...— начала было Маша.

— Ярославль — да! — прервал ее Симеон строго.— Торговый город! А вам самим выхода в срок не справить!

Сестра с тревожною неуверенностью переглянулась с мужем. Костянтин поднял обрезанный взор:

— А вам, значит, грабить Ростов мочно?

— Нас и проклянут! — мрачно отмолвил Симеон.

— Брат,— вдруг спросила сестра очень негромко, дабы не услыхали бояре в конце стола,— ты порешил взвалить на себя батюшкову ношу, да?

— Да.

— Не сломишь ся?

— Не ведаю, Маша. Это мой крест, подвиг и долг.— Он помолчал и присовокупил, опустив очи: — Передо всею землей!

«Земля» в лице избранных бояр своих сидела тут же, в одном застолье. И толковня на том конце стола продолжалась прежняя. А тут стало тихо. Костянтин в задумчивости катал хлебные шарики. (Перекупить ярлык? Не на что! Спорить о ярлыке перед ханом? Поддержать Костянтина Суздальского? Опасно. Костянтин Василич, того и гляди, учнет ратиться с Ордой! И Мария... как она...) Он уже уступал, отступал перед мрачной решимостью московского шурина. И Калита еще так недавно умер, еще и понять освобождающее значение смерти сей было не мочно!

— Я верю тебе! — говорит Маша вполголоса вздрагивающим голосом.— В память нашу с тобой, в память отца... Пусть все по-прежнему! И поход новогородский, и ярлык... Токмо от лиходейных дел своих московитов ты нас опаси!

— Знаю. О том у моих бояр с вашими говорка была. Афинеевых и Мининых молодцов отзываю, пошлю кого потишае. И ты верь мне, сестра!

Бояре на конце стола тоже, видимо, поладили наконец друг с другом. Послышались шутки, смех. По разрешающему знаку Симеона впустили в горницу певца и гудошников. Кто-то предложил выйти под звезды, в теплую южную ночь, продолжив застолье в саду, и там уже слушать скоморохов. Поднялась суета, слуги понесли столы, скамьи и блюда. Симеон, выходя, поймал Машину ладонь и молча пожал, благодаря за все. И она чуть повела головою в ответ, тихо зазвенели серебряные кольца: знаю, мол, не боись, не изменю!

Ночь была бархатная, дышала сухим теплом. Засыпающий огромный разноязыкий Вавилон приутих, открыв очеса мерцающему величию вселенной... Ветви яблонь, привезенных сюда из Руссии, черным прорезным узором лежали на глубокой восточной синеве темных и чуждых небес. И голос родного певца звучал непривычно и странно под бесерменскими звездами.

Прощаясь, Симеон вновь облобызался с Машею, а затем, помедлив, они крепко, по-мужски, обнялись и

расцеловались с зятем. В конце концов Костянтин и сам должен был понимать, что в борьбе за великий стол он уже не соперник Москве.

ГЛАВА 11

Ехать в степь — надобны возы, кибитки, разборные вежи, целый табун лошадей, ордынская охрана, наконец. (Впрочем, ханский ярлык, или «опас», проездную грамоту для урусутского князя, Узбек изготовил заранее.) Медведей, посовещавшись, решили в степь не везти, ограничившись одним балованным и совершенно ручным медвежонком. Но и для ловчих соколов, собак и коней тоже нужна была немалая свита. А тут — раздача подарков вельможам, кто не уехал вослед царю, а тут опросы слухачей, тайные, как при отце, ночные пересылы. Кабы не бояре, Симеон разом запутал бы и погиб во всей этой ордынской возне. За суетою никак не удавалось потолковать келейно с прочими князьями-соперниками. Костянтина Михалыча Тверского дак, попросту рещи, пришлось ловить. Он поначалу явно уклонял от прямой встречи с Симеоном. Едва уломали.

И вот они сидят за пиршественным столом, два князя, главы городов-соперников. Костянтин, заметно постаревший, сухо-поджарый, почти ничего не ест (мается печенью). Симеон тоже едва притрагивает к закускам. В нем все кипит и напряжено до предела. Костянтина Тверского он втайне презирает — за дряблый норов, за трусость перед покойною женой и отцом — и гневает ныне тем паче, что нынешнее упрямство Костянтина также не свое, а заемное, по явному, как можно предполагать, наущению суздальского соперника! Тверич мямлит, митусит, смаргивая, то глядит, то не глядит... Но, чуется, уже поговорил кое с кем. Или с ним кто переговорил допрежь? Толкует о Новгороде, доходах... «Жаль, что батюшка твой не возмог»...— бросает он походя Симеону.

— Новогородский поход не отменен! — нарушая все правила вежества, рубит сплеча молодой московский князь.— И лучше тебе, Костянтин, с Москвою идти на Новгород, чем с Суздалем противу Орды! Забыл Шевкалову рать?!

И Костянтин, решивший было до поры не говорить ни да ни нет, тут, поглядев в неумолимые глаза Симеона, отступает, струсив, как трусил о сю пору перед его

отцом, Калитой, и, мало поупиравши еще, соглашается возобновить ряд с московитом и подтвердить старые порубежные грамоты. Бояре шепчут остерегающе, но он уже сдался, уже махнул рукою и согласен на все, что потребуют от него москвичи. Согласен дать клятву, что не станет просить великого стола под Симеоном даже и для суздальского князя. (Повернет по-иному судьба — станет! Порушит и клятву!) И все-таки это победа, вторая победа, и немалая по днешней неверной поре!

Самым трудным ожидался третий разговор — с Васильем Давыдовичем, ярославским зятем, коего отец оскорбил до зела, до взаимной при перед ханом. Обид накопилась тьма, почему толковня предстояла тяжелая.

Давыдовича, впрочем, также сумели зазвать к себе. Дома, как известно, и стены — помога. Семен во все время трапезы всматривался в полузабытые черты зятя, стараясь определить, в духа́х ли упрямый родич и с какого конца начинать с ним княжескую толковню. Он больше помнил Василия татарином. Теперь же узрелось, что в зяте татарского — чуть, черты лица были русские; не зная об ордынской бабке, не можно было бы и сказать, что в ярославском князе монгольская кровь.

Василий, приметив сугубый Семенов пригляд, усмехнул криво (и в усмешке выказалось вдруг степное, чуждое).

— Што вглядываисси? Да! Мы татары! — сказал, и в голосе просквозила, в обиде явной, тайная гордость и надежда на милость ханскую.

— Да нет! — возразил Семен, покачивая головой.— Супротив того, гляжу, не находишь ты на татарина!

Зять, промолчав, ответил усмешкой и взглядом. И во взгляде опять выказалось ордынское, диковатое, степное. И еще вспомнил Семен, что Василья Давыдовича кличут у себя Грозные Очи. Лукавить с зятем не имело смысла, и Симеон, решась, заговорил прямо о деле, и о деле тоже прямо, без уверток.

Прищурясь, глядя Семену в глаза, Василий слушал, не дрогнув бровью, виду не показав, и про великий стол, и про Костянтина Васильича Суздальского, и про торговые споры. И не понять было, согласен ли с тем, что ярославскому княжеству не поднять бремени вышней власти на Руси, а раз так, то и для них и для

московитов лучше сохранить то, что было при Калите, не кидаясь в неверные объятия суздальцев, которые, осильнев, могут тотчас рассорить с Ордой. Слушал молча, и Семен продолжал говорить, выкладывая разом все, надуманное допрежь: и про новогородский поход, и про то, что намерен пригласить в долю брата Васильева, Михаила, князя моложского. Только тут рысьи глаза Василия омягчели и по каменно застывшим чертам прошла тень удовольствия. Семен в душе немного даже погордился давешней своею придумкою. Ясно стало, во всяком разе, что ежели воля ханская не изменит Симеону, ярославский зять пошлет свои полки в новогородский поход. А о прочем приходило отлагать до решения ханского. И то было благо!

Последнего же из князей-соперников, и самого опасного из них, Костянтина Васильевича, повидать так и не удалось. Не урядивши с Семеном, суздальский князь укатил вослед за Узбеком в степь.

ГЛАВА 12

Солнце плавится, истекая жаром, почти над самою головою. Марит. Дрожит, переменяясь, степная даль. В вышине, недвижно распластав крылья, парят коршуны.

Скоро посохнут травы, и тогда виднее станут белые, омытые дождями верблюжьи и конские костяки. Порою промелькнут на урезе травы и неба степные олени — сайгаки, промаячат островерхие шапки татарских наездников, и вновь никого, ничего. Курганы, небо, ковыль. Редкие высокие облака, как далекий привет с родины. Тысячи поприщ пути, непредставимые дали, откуда пришли на Русь коренастые узкоглазые всадники на мохнатых неутомимых конях. Здесь каждый пастух — воин, каждый — стрелец. Вмиг собираются рати и текут неодолимо, жадные до чужой беды. А дома мужики, скотина в хлевах, пашня, от которой не враз оторвешь пахаря, деревянные города, каменные храмы, ремесла, торг, монахи, купцы и бояре, обжитая земля, трудно и не враз подымаемая на брань. Земля, чающая обороны от лихого ворога за стенами городов, за излучьями рек, в лесах, где можно укрыть себя от нахожего конника... И вот он, князь лесной русской страны,

едет степью просить милости у татарского царя. И отец это понял. И принял. И завещал ему. А там, на западе, Литва. Непонятный Ольгерд. (Почему именно он? А уже многие бают: самый опасный из детей Гедиминовых!)

Литва. Это второе, после хана, наследство, оставленное ему отцом. Мог ли батюшка посадить Нариманта на виленский стол? Он, Симеон, не сможет. Отец бы попробовал. И не сумел бы тоже. Литва, возможно, страшнее Орды. Страшнее настолько, что подумать — и сложить руки, и ждать конца. Но никто не думает так. Хлопочут, строят, спорят и ладят жизнь. Гордость? Надменность ума? А может быть, в этом спасение? В том, что мыслию не помыслят о конце своем, что упрямо созидают жизнь и укрепу земли?

Голову жжет даже через войлочную шапку. Пот щекотно течет по спине, кажется, даже седло размякло от пота. И негде разоболочить себя, негде помыть мокрое тело, выполоскать задубелые, ломкие от соли порты. В редких озерцах, ильменях, обманчиво прозрачных, горько-соленый настой. Не надо варить, выпаривать, как делают на Руси, где соль дорога и редка. Здесь ее — бери не хочу!

Орду начали нагонять на третий день пути. Вытоптанные до голызины травы, конский навоз и трупы павших животных — все говорило о близости главного юрта. Приметно густели татарские разъезды. К ним то и дело подскакивали, требуя пайцзу и опас. Осмотрев то и другое, с неохотою отъезжали и, резко ударив плетью, с горловым заливистым кличем пускали вскачь. Семен невольно придерживал коня, не позволяя себе, как прежде, отъезжать посторонь: не то и ограбят непутем!

— А цесарь-то, видать, с персицким царем ратитьце собралси! Вона куда правит, за Ахтубу, к Аралу! — толковали бояре в обозе и, щурясь от солнца, озирали из-под ладоней степной простор.

Узбек, и верно, вел Орду непривычным путем, скудною ковыльною степью,— едва ли не вновь ладил воевать Хорезм. Пока же Орда медленно переходила с места на место, охватив широким полумесяцем степь и выедая травы. А с нею двигалось разноплеменное купеческое скопище, подвластные князья, перекупщики, слуги, рабы. И уже вставала пыль, и уже глухо гудела земля под тысячами копыт, и уже вдали завиднелись

округлые шатры ханской ставки, где его, Симеона, ожидала пока еще неведомая судьба.

Пока мокрые, захлопотанные слуги ставили вежу, Симеон слез с коня, прошелся, разминая затекшие ноги. Он просто устал. И с удовольствием забрался наконец в тень шатра, пал ничью на кошмы и замер. Даже страшно помыслить, что когда-нибудь русичи возмогут прийти и сюда, где нет ни прохлады леса, ни хором, ни текучей светлой воды, под это жгучее солнце. А ведь придут! — подумал, зло скрипнув зубами.— Одолеть бы только Орду! Распашут степи... И тотчас усмехнул про себя: не скоро еще! Не при нас...

Теперь надо скинуть горячие сапоги, переменить сорочку. Он рывком сел на кошме. Сейчас войдут! Угадал. В вежу пролез Михайло Терентьич, умученный, с обгорелым до коричневизны ликом, прохрипел:

— Выдь, княже! Товлубег до твоей милости!

Симеон, сидя на стульце, торопливыми пальцами уже застегивал звончатые пуговицы выходного зипуна. Слуга натягивал ему на ноги сапоги красной кожи. Мокрый — от воды, не от пота — полотняный плат освежил лицо.

Он встал, пристукнул каблуками востроносых сапог. Свел брови. Товлубия надо встретить, не роняя достоинства княжого. Выпрямил стан и на миг, только на миг, прижмурил глаза: началось!

ГЛАВА 13

Слуга, почтительно склоняя голову, приподымает полу юрты:

— Прибыл коназ Семен!

Пестро-золотое изваяние в глубине, на цветных кошмах, среди шелковых подушек, слегка шевельнулось. Бесстрастный голос произнес:

— Да.

— Покойный коназ Иван прочил сына в свое место...

— Да, знаю! — в голосе дрогнуло сдержанное нетерпение.

— Повелитель мира не переменит прежнего решения?

Голос властителя звучит уже гневно:

— Я буду думать. Ступай! (И этому заплачено русским серебром!)

Слуга исчезает. Узбек недовольно морщит брови, косится на узорчатую курильницу, куда толстая, набеленная и накрашенная старшая жена подкладывает ароматный сандал. Жена бесстрастна. Ее плоское лицо с мешками подглазий не выражает ничего. Словно бы и не слыхала неприличной настырности раба. Узбек вздыхает. Прячет руки в рукава. Да, Иван умер! Вот приехал его сын, и, значит, все верно. Умер, исчез, отпал и не воскреснет уже!

Когда он впервые услышал про эту смерть, в душе настало великое освобождение. Точно камень отвалили от сердца. Коназ Иван вечно просил и всегда умел получать просимое: ярлыки, княжества, головы своих врагов... А серебро, проклятое урусутское серебро, исчезало тотчас, рассасывалось, словно вода в жарком песке; будто и не привозили этого серебра в тяжелых кожаных мешках, будто и тут коназ Иван, обманывая его, подсовывал вместо дорогого металла обманку, ложный блеск, подобный тающим льдинкам, так же, без останка, исчезающий в сжатой руке...

И вот Иван умер! Сам. Никем не отравленный. Умер, освободив его, Узбека, от неотвязной урусутской тени. Никого! Теперь никого из московского дома, ни сына, ни свата, больше не хочет он, Узбек. Довольно! Ах, зачем убил он молодого тверского коназа Федора! Зачем поверил Ивану! Это они, они виноваты! Наушники! Шептуны! Но теперь пусть услышат твердое слово Узбека! Он решил! И скажет! Он в пыль обратит Москву!..

Но шли дни, превращаясь в недели, и Узбек все еще не сказал своей воли, а слова шептунов текли и текли ему в уши, слова купленных покойником вельмож его непомерно разросшегося двора... И ныне он снова не знал, что сказать, что содеять. Кому из них, князей урусутских, отдать власть в русской земле?

Тень Калиты продолжала незримо реять над ним, отравляя волю повелителя вселенной. Коназ Иван не пожелал умереть раньше! Теперь у него, Узбека, нет уже сил даже для того, чтобы по-настоящему чего-то хотеть...

Он глядит угрюмо и брюзгливо, как толстая, с бесстрастным накрашенным лицом, увешанная золотом женщина, мать его старшего сына, накрывает низкий, арабской работы столик, расставляет чашки с пловом, режет беш-бармак и хурут, наливает кумыс из кожаного

бурдюка. Давно уже он не спит с нею в постели и даже забыл, когда и как это было у них, и приходит в юрту к жене только ради чести, соблюдая обычай, ибо иначе тень отчуждения ляжет и на Тинибека, коего прочит он в наследники престола. Ему не по нраву монгольская еда, ему все сейчас не по нраву. Он худеет и сильно поседел за последний год. Покойный коназ Иван унес с собою его здоровье. Пора думать о наследниках, о сыновьях, которых у него трое, так же как и у коназа Ивана. Тинибек — старший, Джанибек и Хыдрбек — младшие. Тинибека он нынче пошлет с войсками в Хорезм, пусть воины привыкнут видеть в нем повелителя... Любимый его сын, по-настоящему любимый, Тимур, давно в могиле. Этих своих сыновей — гордого Тинибека, почтительного Джанибека и ласкового Хыдрбека — он иногда боится. Давеча Тинибек садился на коня и с седла, сверху, так бесстрастно и сурово поглядел на отца, что Узбек на миг ощутил ужас, словно перед лицом убийцы. И это его сын! Дождут ли они его смерти или... ускорят ее? Верны ли ему хоть нукеры, охрана главного юрта, или и они, видя старость повелителя, готовы передать себя в волю сильнейшего? А Товлубег? Толстый барс, объевшийся человеческой кровью... Кто про него это сказал? Когда Товлубег приезжает со своими нукерами, он, Узбек, тоже боится его... Быть может, надо еще при жизни вручить власть Тинибеку? Нет, нельзя, опасно. Пусть дождут моей смерти! (Не стал бы только резаться с братьями!) Дети урусутских князей почти всегда от одной жены, и они не так часто убивают друг друга. Верно, сказывается кровь. Или ихний бог, Иса, удерживает урусутов от братоубийства? Как поведет себя коназ Семен с братьями? Надо спросить! Слишком много думает он о московите! Дух Ивана, отыди от меня! И все же кого из урусутских князей возможно посадить вместо Семена на владимирский стол?

Узбек в задумчивости принимает из рук жены расписную китайскую фарфоровую чашку с кумысом. Чашка прозрачная, в извивы узора, выдавленного перед обжигом зернышками риса, виден свет. Когда-то его занимало: как кяны выделывают такое? Теперь и красота уже перестала трогать Узбека. Ее слишком много вокруг, и она все равно не восполняет ветшающего здоровья. Он подносит чашку к губам. Пьет, глядя, как светится, обнажаясь, прихотливый узор. Думает о де-

тях, о войне и опять о покойном Иване: Калита и мертвый не выпускает его из своих незримых тенет.

Старейший меж князьями урусутскими — суздальский коназ Костянтин. Но все говорят, что он опасен. Или передать власть ничтожному коназу тверскому? Или ярославскому коназу — как-никак супротивнику коназа Ивана?

Он может все. Он пока еще может все! Неверно, что выбор великого коназа владимирского зависит от Товлубега! От него, Узбека, зависит выбор! И все урусутские князья ныне в его власти! Можно их всех задержать, оставив у себя. Можно всех казнить. Можно натравить друг на друга, заставить резаться не на жизнь, а на смерть, а с ослабевшего победителя потребовать серебро. Много серебра! Больше, чем давал Иван! Горы серебра! Чтобы хватило всем его бекам и визирям...

Он берет плов руками. Брюзгливо и неопрятно ест, обсасывая, словно мозговую кость, злые замыслы, ни один из которых не сможет, не сумеет осуществить. Не дадут! Вновь утопят в бесконечных словах и спорах...

Он жует. Некрасиво дергается узкая борода. Мрачные замыслы не красят лица повелителя, делают уродливым старый высохший лик. Всю жизнь ему не хватало мудрости, воли и доброты. А красят человека в преклонные годы именно эти добродетели. Ум и доброта облагораживают старые черты, воля образует характер, и лик старости делается положительно красив, иногда даже светится красотою, и седые поредевшие кудри, и белая борода глядятся тогда, словно облако света или сияние вокруг промытого и просветленного искусом жизни лица. Но это — жизнь духа и красота духовности. Жизнь, прожитая в мелких страстях и вожделениях, кладет на лицо старости совсем иные меты. И тогда, с уходом животной силы, жуток бывает изборожденный гнилью страстей мерзостный лик, на коем блудливо-низменные бродят еще зависть, подлость, похоть и вожделение, уже не имеющие сил мощно и страшно выразить себя и потому особенно отвратительные для стороннего глаза... Берегись к старости не очистить души своей от грехов мира сего! Не скрытые более цветущею плотью, лягут они каиновой печатью на твое чело, и погнушают тобою даже и близкие, не говоря уже о дальних, для коих

станешь ты, человек, гробом повапленным еще до кончины своей!

Узбек жует. Рыгает. Не от сытости — от несварения желудка. Снова пьет кумыс и какую-то горькую, как уверяют лекари, целебную воду. Послушают ли его подкупленные коназом Иваном Товлубег и Черкас? Поймут ли его, чающего наконец избавленья от мертвого Калиты!

ГЛАВА 14

Товлубий был действительно похож сейчас на сытого барса. Тучный, он разлегся на подушках, незастенчиво озирая молодого московского князя. С удовольствием запивает баранину русским медом, щурится, прицокивает языком. Ломая урусутские слова, поучает коназа Семена. Московит то вспыхивает, покрываясь девичьим румянцем, то сводит брови, но взглядывает умно. Товлубий любит умных. С ними, как с коназом Иваном, считает он, всегда можно дотолковаться. Узбек плохой правитель. Его наместников выгнали из Галича, он потерял Арран и Азарбайджан, быть может, потеряет ныне богатый Хорезм... Коназ Иван был умный, но ему не следовало так рано умирать. Каким будет этот его сын, Семен? Стоит ли бороться за него перед Узбеком? Дары были отменны, да иного Товлубег и не ждал. Ежели московит излишне прям, стойно тверскому коназу Александру... Понимает ли он, что за пролитую кровь надо платить не только серебром, но и верностью? Ежели ему, Товлубегу, придет после смерти Узбека бежать на Русь (всякое возможно в Сарае!), даст ли ему Семен землю и волости на прокорм? Ах, умный! В отца! Как раз и вспомнил об этом!

Семен сам не понимал, почему ему пришло на ум говорить такое всесильному в Сарае Товлубию. Быть может, память о перезванных Акинфичах и давнее, невзначай брошенное отцом сравненье Ивана Акинфова с Товлубием помогли тому?

— В жизни бывает все. Ты был другом отца и, значит, мой друг! У меня, на Москве, ты всегда будешь дорогим гостем. При всякой беде. Ты и дружина твоя. Будут волости, будет корм. Будет честь. Не гневайся на мои слова теперь, когда ты богат и знатен пред ханом, но запомни их и приложи к своему сердцу!

Семен старается говорить так, как говорят они, хоть и русскою молвью. Медленно выговаривает слова, прямо глядит в узкие, под припухлыми нависшими веками то ли бабьи, то ли кошачьи глаза. В глазах этих искорки смеха обращаются на мгновение в колючие острые точки. Не лишнее ли молвил? — гадает Семен. Товлубег смотрит, думает. Поверил, кажется, что Семен его не обманывает, и вновь широкая улыбка на бабьем лице. Товлубий подымает чашу с медом, сыто потягивается. Сейчас он в силе, от него зависят судьба и сама жизнь коназа Семена, и все-таки то, что предлагает ему московит, надо запомнить. На грядущее. Это много, то, что предлагает коназ Семен, очень много, ежели по-худому повернет судьба! Однако он умный, этот сын покойного Ивана. Умный, в отца! Хотя еще и очень молодой...

Товлубий пока не решил окончательно в уме своем, поддержит ли он Семена, пусть решает Узбек! Но весы, страшные ордынские весы, на чашах которых весятся власть и жизнь русских князей, сегодня склонили в пользу коназа Семена.

ГЛАВА 15

Узбек все отлагал и отлагал встречу. Орда медленно кочевала. Приходилось то и дело разбирать вежу, переезжать на новое место. Ездовые едва не дрались с татарами, охраняя коней. Лица бояр почернели от солнца, Сорокоум слег, не выдержало старое сердце. Днями удалось наконец свидеться с суздальским князем, Костянтином Васильичем.

Князь был высок ростом, поджар, деловит. На Симеона, коего не видал с осени, глядел чуть усмехаясь, щуря уголки глаз, от коих разбегались лукавые морщинки. Ел мало, пил и того меньше, разговор повел сам, и не о том, и не так, как хотелось Семену. Обещание не зариться на Нижний Новгород выслушал вполуха, и в глазах прочлось: получи сперва великое княжение, потом наделяй градами!

Сидели в веже по-татарски, на кошмах, откинув полы шатра. Вдали пылили, двигаясь взад и вперед, татарские конники, ветром доносило гортанные выкрики воевод. И все, о чем говорилось тут, — русские рубленые города, деревни и пажити, паруса кораблей у реч-

ных вымолов и сам Нижний Новгород, — казалось ныне далеким-далеким, почти невзаправдашним, о чем тут, в степи, смешно было и вспоминать...

А суздальский князь вел и вел увертливый разговор, вспомнил, как бы между делом, что брат Александра Невского, Андрей, прежде самого Александра сидел на столе владимирском и что ежели вообще есть еще на Руси какое-то право, то достоит вспомнить лествицу, по коей последним князем, по праву занимавшим великий стол, был все-таки Михайло Ярославич, ибо Юрий, дядюшка твой, оперся лишь на волю Узбека (понимай: все вы, московские князья, незаконные!). «Я не хочу сказать, что московиты не имеют наследственных прав», — тут же намеренно поправился Костянтин Василич. «А сказал!» — досадливо подумал Симеон, глядя в умные и чужие глаза высокого стройного человека, который так хорошо владеет собой, что, кажется, вообще не может ни гневать, ни потерять присутствие духа, ни закричать или иное что... Да и если бы, верно, на Руси сохранялось еще лествичное право... Единое право тут — воля Узбекова, которая непостояннее норова гаремной красавицы! А Костянтин, опять опередив мысль Симеона, изрекал уже: «Мы оба понимаем, увы, что решать будут не наши древние права, а ханское изволение...»

Симеон, сперва было раздражаясь, начинал внимать все более вдумчиво, ощущая за князем-соперником свою, не схожую с его, Симеоновой, правду, и потому почти не был обижен, когда Костянтин Василич, весело поглядев на него, закончил свою речь одним лишь туманным обещанием послать полки на Новгород вкупе с прочими князьями по прежнему уряженью с Иваном Данилычем, ежели, разумеется, Симеон получит от хана великий стол. Нижний он в продолжение всего разговора как бы заранее считал своим при всех возможных поворотах судьбы... Ну что ж! Приходило мириться и с этим. Мириться и ждать, что же решит непостижимый Узбек.

Не видел Симеон, как у суздальского князя, когда они расстались, тотчас сошла улыбка с лица. Не видел и того, как, тяжело спешившись у своей вежи, Костянтин Васильич, нагнув голову, ступил в тень шатра и на рвущийся с губ вопрос своего тысяцкого: «Ежели хан передаст стол Семену Иванычу?» — отмолвил глухо: «Уступим!»

— Безо спору?! — наливаясь тяжелой кровью, с обидою глядя в очи князю своему, произнес боярин.

— Безо спору! — подтвердил князь.— И полки на Новгород ты поведешь!

Сняв выходной летник, Костянтин с силой швырнул его в руки постельничего и в закипающие гневом глаза тысяцкого уронил тяжело и понуро:

— Чем спорить? Сколько мы заможем выставить полков, ежели восстанет пря? Все отступились уже, и Ростов, и Тверь! Один Василь Давыдыч, и то...

Боярин угрюмо промолчал. Князь, слив воду из рукомоя на руки и ополоснув лицо, разогнулся, помолчал и со вздохом присовокупил:

— То-то! Люди нужны! Надо заселять землю! Нижний Семен оставляет нам! — Он сел в раскладной стулец, повторил: — Надо заселять землю.

Снова собирали вежи, снова ехали пыльной истоптанной степью и ждали, ждали, изнывая и томясь.

Приехали братья, Иван с Андреем. Семен встретил их почти не обрадовавши, так устал от ежедневной татарской волокиты. Из дому привезли письма. Настасья сообщала в грамотке о мастерах нарочитых, прибывших расписывать храмы, что уже и взялись за дело под ее доглядом: «Внизу, где пелена, великие круги пишут и наводят травами»,— писала жена. Семен зажмурил глаза, представив устремленную ввысь прохладную тесноту храма, запахи сырой извести и охры, строгих мастеров с подвязанными кожаными гайтанами волосами, с лицами, устремленными горе́, представил себе и эти великие круги с травами, заботную Настасью, что стоит с боярышнями на каменном полу храма и смотрит, мало понимая, хорошо ли то, что делают мастеры, и, главное, по нраву ли придет ему, Симеону... Все-таки она его любит, очень любит! На провожании засунула ему в калиту полуобгорелые ветки можжевельника, как ни отказывался Семен. Промолвила: «На счастье!» Сам Симеон старался не верить давешнему видению: усталь, жар, мало ли что...

Иные вести были не столь утешны. Какую-то прю в боярах затевал Алексей Петрович Хвост. Следовало разобраться по возвращении. Он поднял глаза на братьев, помолчал. На немой вопрос обоих ответил коротко, одним сло́вом: «Сожидаем!» Братья, поняв по-

своему грозный смысл ханского умедления, разом понурили головы.

Только к исходу третьей недели пришел наконец разрешающий приказ Узбека: «Пусть придет!»

Кажется, помог тому Черкас, на днях явившийся в ставку хана. А значит, золотоволосая красавица, подаренная грозному беку Симеоном, «по пригожеству пришла».

ГЛАВА 16

Те же увитые парчою шатры. Те же нукеры у входа. Та же роскошь ковров и цветных кошм, дорогих одежд и оружия. Тот же походный позолоченный трон, и на золотом троне, среди набеленных жен и разноликих вельмож, повелитель мира, кесарь и царь царей, хозяин Руси Узбек, согнутый, седой и старый, в мерцании золота и драгоценностей особенно страшный, будто бы уже мертвец.

Симеона вдруг, сквозь страх и напряжение жданной встречи, пронзила невольная жалость к этому человеку, к этой смертной плоти и уже отходящей в небылое судьбе. Как краток век мужества! Как быстро проносятся годы! Как надо торопиться свершить затеянное тобою, пока еще ты молод и крепок, пока еще ты можешь вершить и не потерял ни задора, ни мужества, ни сил, ни спасительного неразумия молодости, с коим подчас (и только с ним!) можно дерзать совершать невозможное, то, пред чем мудрая старость оробеет и отойдет посторонь...

— Где братья твои? — спрашивает Узбек.— Пусть войдут!

Андрей с Иваном, юные, румянолицые, опасливо вступают в шатер. (Ждали снаружи, не ведая, примет ли хан всех зараз.) Становятся рядом с братом, на полшага позади, блюдя Симеоново старшинство.

Узбек слегка кивает головою. Серьезно, без улыбки, оглядывает всех троих. Завидует ли он их молодости? Сравнивает ли сейчас со своими детьми? Узбек молчит. Смотрит. Думает. Наконец произносит незначащие уставные слова. Прием окончен. Завтра (или никогда?) их позовут в его шатер для разговора. Ежели повелитель захочет того. А он, Узбек, еще ничего не решил. Суздальский князь, коего он принимал накануне, чем-то на-

помнил ему тверского коназа Александра и тем устрашил. Лучше всего было бы передать великое княжение тверичам, но дети покойного коназа Александра еще малы, а Костянтина, по слухам, никто не хочет иметь даже и князем тверским.

Узбек долго задумчиво смотрит, как трое сыновей Калиты, пятясь, выходят из шатра. Мысли его обращаются к собственным детям. «Надо позвать сыновей Ивана к себе!» — решает он наконец, когда уже последний Иваныч покинул шатер. Он слегка кивает беглербегу. Тот отвечает готовным, почтительным наклонением головы. «И тут московское серебро!» — думает Узбек недовольно, но уже не переменяет своего решения. Нет сил. Его знобит. Пусть придут! Ему надо, почему-то надо! Поглядеть на сыновей Ивана вблизи. Ему надо что-то понять. Важное. Для себя самого. Для своих сыновей, наследников ханства и трона... Тень покойного Калиты (или всегдашняя неуверенность?) не выпускает Узбека из своих незримых объятий.

ГЛАВА 17

Дни складываются в недели, недели в месяцы. Проходило лето, а Узбек все не говорил ни да ни нет. Почасту призывал Симеона к себе, и одного и с братьями, брал на охоту, разглядывал пустыми старческими глазами, молчал. Слухачи доносили, что так же точно испытывает хан терпение князей-соперников. Мышиная возня подкупов, тайных пересылов и полуобещаний продолжалась. Бояре хлопотали, дружина изнывала от безделья.

Вести из дому приходили невеселые. Алексей Хвост-Босоволков затеял-таки смуту на Москве, и едва ли не с благословения его младших братьев. Симеон решил было поговорить с Андреем и Иваном начистоту, но, подумав, отложил трудный разговор до возвращения. Неспокойно было на рубежах. Новгородцы пограбили Устюжну, впрочем, московские воеводы настигли новогородских лодейников, отбили товар и полон. Крестник отцов Алексий писал о делах церковных и, наряду с прочим, о пожарах в Новгороде, о том, что чернь грабила церкви и домы нарочитых горожан, намекая, что сии нестроения в Великом Городе могут послужить на пользу Москве. Все требовало его присут-

ствия, властной княжеской руки, а он вместо того, как прикованный раб, тащился в обозе Орды, медленно кочевавшей в сторону Яика.

Симеон чуял, что больше не может, что-то сгущалось в самом воздухе, какая-то тяжесть, точно перед грозой. Он начинал срываться по-пустому. Сегодня, убив целый день на отвратительную обязательностью своей соколиную охоту, он, усталый и злой, подъехал к своим шатрам. Едкий пот заливал глаза, шкура коня покрылась темными пятнами, из-под войлочного седла пыхало парким жаром. Симеон, морщась, тяжело соскочил на землю, постоял, тупо разминая члены, следя, как стремянный расседлывает коней. Текли, истаивая, высокие призрачные облака, текло, мерцая, далекое степное марево. Настоянный на полыни воздух сверкал, отблескивая, точно соль.

Из вежи доносило нестройный хор хмельных голосов. Опять! Где только и достают пьяное питие! Хотел было миновать, пройти, но остоялся невольно. Голову охлынуло гневом, и шаг только шагнул, как полы вежи раздались и навстречу выкатил, едва устояв на ногах, упившийся до положения риз Васюк Ляпа. Громко икнул, розовыми телячьими глазами уставясь на князя. Темнея зраком, Симеон поднял плеть. (Когда-то, еще в княжичах, оскорбил его пьяный кметь из Юрьевой дружины. Дядя был тогда в силе, нянька попросту утащила плачущего малыша, вырвав его из рук регочущих дружинников, отцу пришло молча проглотить обиду, а Симеон, поминая давешний страх, на всю жизнь возненавидел пьяных.) Удар пришел по лицу, Васюка шатнуло, и показалось ли, что тот в беспамятной хмелевой обиде вот-вот ринет на князя... И потому, в мах, еще и еще перекрестил Симеон вспятившего от него дружинника, видя брызгающую кровь и зверея от гнева и стыда, пока подскочивший Михайло Терентьич не взял его за плеча, а охмуревшие сотрапезники, высыпав кучею, не подхватили под руки, уводя от греха, Васюка Ляпу, который теперь, размазывая кровь и слезы по роже, высоким голосом выкрикивал:

— Меня? Да? Меня? За что?! Чево я исделал ему? Ищо и князем не стал великим, вота!

— А стану, значит, можно и бить?! — бешено выкрикнул Симеон, кидая в пыль окровавленную плеть.— Эх ты!

— Худо, княже! — вполголоса выговаривал старик, отводя Симеона посторонь.— Ужо подержись! На своих-то робят бросатись не след! Ну выпили, дак и всем-то истомно в степу, не тебе единому!

Симеон и сам был готов теперь зарыдать со стыда. Измучил его Узбек, все измучило его! Не нать и великого княжения, ничего не нать! Его все еще трясло не стихавшее глупое бешенство.

Михайло Терентьич завел князя в шатер, сам налил воды в рукомой, подал льняное полотенце, приговаривая:

— Давай-ка личико оботри да и тово, одночасьем, утешь мужика! Он ить доброй кметь, верному слуге зряшной обиды николи не делай!

Все было справедливо. Отходя, пряча глаза (благо, плеская дорогую воду из рукомоя себе на лицо, можно было не глядеть в очи боярину), Симеон косноязычно виноватил себя перед Михайлой, просил устроить, потолковать с обиженным. Самому непереносно было думать сейчас, как он примет завтра избитого кметя, как поглядит ему, тверезому, в глаза...

— Ты, княже, поотдохни малость, а там к тебе татарин пришел, давешний, Амин, Аминь ли... Киличеем, быват, примешь! Русскою молвью добре бает, чисто, и в Орде свой. А перед кметями не гордись, и то уж Гордым прозвали, не нать того, княже! (Прозвище Гордый Симеон, узнавши о том, воспринял в свое время с угрюмым удивлением. Какая в нем гордость? Сомнения вечные, стыд да порою храбрость с отчаяния, с того всегдашнего знатья, что иначе — нельзя.)

Он еще посидел, прикрывши веки. Велел созвать татарина к выти — за столом и толковать способнее. И все не проходила тяжесть, все не проходило темное ощущение беды.

ГЛАВА 18

С Амином (перекрещенным русичами в Аминя) Симеон ехал назавтра по степи, направляясь в ханскую ставку. Дружина, усланная наперед, пылила в отдалении. Углядев соленое озерцо в западинке, в окружении колючего кустарника и сухих камышей, оба, татарин и князь, не сговариваясь, остановили коней и начали съезжать вниз по склону, порешив сделать короткую дневку.

Амин быстро и ловко стреножил коней, собрал кизяки и наломал сухих веток для костра, налил воды из бурдюка в медный закопченный жбан... Все для него было тут свое, привычное, родное. Скоро еле видное в солнечном сиянии пламя начало облизывать черные бока посудины.

— Мы все мусульмане теперь! — доверительно говорил Амин, подсовывая сухие кизячные лепешки в огонь.— Не можно иначе, куда денешься? А отец мой почитал Мариам, да благословенно имя ее, и сына ее Ису. Они святые!

Татарин сложил два перста и перекрестился, несказанно удивив Симеона.

— Они помогут нам увидеть бехéшт! — убежденно примолвил татарин (бехешт — рай по-ихнему, догадал Симеон).— Я не спорю с муллами,— продолжал Амин,— не о чем с ними спорить. Ведь они тоже почитают священную книгу Инджи́ль! (Инджиль — это было по-татарски Евангелие). Но муллы знают меньше, чем мой дед. Мой дед молился богу Кереме́ту, а он помогает здесь, на земле. И ты, князь, коли хочешь жить спокойно, не обижай служителей Керемета, не руби их священные деревья. Вреда они тебе не принесут, а кое-что ты от них узришь!

Симеон слушал, дивясь. Вчера Амин не говорил ничего подобного. Невольно вспомнилась колдунья Кумопа, и он потрогал калиту на поясе, в которой так и лежали засунутые туда Настасьей можжевеловые веточки. Воздух был сух и весь трепетал от жара. Затылок давило, точно огромная горячая рука опустилась на него с высоты. Темные круги и пятна то и дело проплывали перед глазами, приходило смаргивать, напрягая взор. Лошади вдруг разом подняли шеи, вытянули морды и замерли, а затем, словно ошалев, встали на дыбы, взоржали испуганно и тяжко поскакали в степь, взбрыкивая и стараясь изо всех сил порвать путы на ногах... Симеон не понял, в какой миг Амин опрокинулся лицом на землю и заорал диким голосом, мешая татарские слова с русскими и повторяя все одно и то же, не вдруг понятое Симеоном:

— Кара-чулму́с!

Издалека по степи приближался к ним медленно гонимый ветерком черный смерч — небольшой, закрученный воронкою, столб темной пыли, совсем не страшный с виду, и Симеон, скорее испуганный страхом тата-

рина, чем видом странного пылевого столба, дернул калиту, торопливыми непослушными пальцами растягивая горло мешочка и, выхватя обгорелую ветку можжевельника, кинул ее в огонь. Что-то мелькнуло в воздухе, синий дымок взвился на миг над костром. Симеон, только тут почуяв ужас, охвативший коней и татарина, распростертого ниц на земле, остро и жданно вспомнил, почти увидав в воздухе, в синем тумане над костром, неясный очерк отрубленной головы (и память досказала ему: головы Федора), прикрыл глаза... А когда открыл их, черный смерч, кара-чулмус, исчез и в воздухе стало словно бы даже светлее. Он глубоко вздохнул, приходя в себя, раз и еще раз... Амин опасливо поднял голову, поглядел на князя, оглянулся, ища черный смерч, и, не найдя, медленно поднялся с земли, присел на корточки, отирая взмокшее лицо.

— Счастлива твоя судьба, господин! — выговорил Амин, покачивая головою.— Верно, обиженный тобою простил тебя!

Симеон поглядел на татарина молча и отвел взор. Ежели Федор и простил меня, подумалось ему, я сам себя не прощаю! Стати мне с им вместях на последнем суде!

ГЛАВА 19

Паша, повелитель, «глаза владыки», трепещущие в ожидании господина гаремные жены. Тайная борьба самолюбий, зависть, козни, нашептывания и яд. Изощренные ласки, скука, распаленное воображение...

Все так и не так вовсе. Все не так! Гаремные наложницы — одно, жены — совсем другое. Первые — молоденькие девочки из чужих земель, голодные, битые, не по раз изнасилованные, попавшие наконец в рай: они сыты, носят шелка, их берегут, холят. Повелитель может подарить их своим соратникам, и тогда они станут женами сотников и вельмож, будут иметь своих слуг, распоряжаться добром и рожать будущих воинов. Рваная юрта, степной пронизывающий холод, бескормица, джут, утомительная стрижка овец, многочасовое взбалтывание бурдюков с кумысом, едкий дым костра, вши, работа и грязь минуют их насовсем, пройдут стороною, будто того нет и не было в мире. Девочки часто меняются, их приводят и уводят, их присылают и

дарят, наряду с парчою, драгоценностями, редкими зверями и птицами...

Совершенно другое — жены. Жен немного. И на торжественных приемах чужеземных послов жены сидят рядом с повелителем, все четверо, спокойные, уверенные в себе, гордые. На них еще лежит отсвет древней Монголии, где жена — и работник, и друг, и хранитель дома, и боец, в трудный час вражеского набега с луком в руках становящаяся на защиту юрты, хозяйка, во всем равная мужу своему.

У жен свои роскошные шатры, свои служанки и слуги, свои кони и скот. Повелитель приходит к ним не всегда, когда захочет,— он должен являться к своим женам по очереди. В ответ они кормят, ублажают, одевают в новое платье господина своего, и это последнее творится также по обычаю, по закону. Поэтому женам постоянно нужны подарки подвластных князей: паволоки, бархаты, сукна и парча. И каждый князь, каждый посол из чужой земли не забывает оделить добром каждую из катуней царя царей, кесаря и владыки мира, хана Золотой Орды.

От жен зависит многое. Жены говорят с повелителем в постели и за трапезой. Жены рожают наследников. Жены, старея, приобретают силу и власть, смещают неугодных им темников и князей, могущественно вмешиваются в дела престолонаследия, и как раз в те годы, когда уже ни о какой постели, ни о каком обольщении повелителя и речи идти не может. Восточное плоское лицо в сетке морщин. Сухие руки. Мешки под глазами. Властный взгляд узких, как бы полуприкрытых от режущего ветра степей глаз. Да, яд, да, кинжал, петля ли, удушающая строптивого. (Впрочем, иногда и самой приходит платить жизнью в этой борьбе.) Нет только одного: гаремного затворнического бесправия, томлений чувственности среди благовоний, роскоши и безделья. Не меньше, а, быть может, больше аристократок европейского средневековья участвуют ханские жены в политической грозной борьбе. И стареющий Узбек, решая судьбы престолонаследия и власти в русской земле, был в руках своих жен и жен сыновей своих (не забудем тогда еще молоденькой Тайдуллы, любимой жены Джанибека!), точно так же, как и в руках своих могущественных придворных.

Он назначил наследником престола своего старшего сына, Тинибека. Он должен был назначить его по за-

кону, по правилу, выдуманному отнюдь не монголами. Он и сам хотел поступить именно так... Но все ли оказались согласны с решением повелителя? (Опять не забудем Тайдуллы!) Ибо можно было поступить иначе. Ведь и сам Узбек, в конце концов, наследовал своему дяде, а не отцу, и это было тоже по закону. И еще по закону, по самому первому закону монгольской орды, хана полагалось выбирать на курултае — самого достойного среди потомков великого Темучжина. И это тоже учитывалось кем-то из вельмож двора, из татарских беков, в руках которых были степные воины, то есть земля и власть. И тут уже недолго становилось и до резни за эту власть, недолго до утверждения права силы над силою права. А при этом очень и очень надобным оказывалось урусутское серебро. И это тоже учитывалось многими. И потому, посылая войска в Хорезм, Узбек и вручил их своему старшему сыну Тинибеку, наследнику престола. (А кому вручали серебро бояре московского князя? Тинибек не пожелал встречи с Симеоном, ни помочи ему не восхотел оказать из гордости и пренебрежения к настырному московиту.)

И надо было наконец решать: что делать с русским улусом, кому из урусутских князей вручить владимирский стол? Ради них, детей своих, которые (Узбек не был уверен в этом) не станут ли на его могиле резаться друг с другом за власть?

Ему шептали, подсказывали, намекали... Старый человек, перенесший тяжелую болезнь, он подолгу молился Аллаху — да вразумит его, повелителя полумира... Но уже сквозь всегдашнюю самовлюбленность чуялось, что и мир, повелителем которого он был более четверти века, так же обманчив и зыбок, так же тленен, как и земная оболочка бессмертной души. Где же, в чем то прочное, в поисках чего он истратил свою жизнь? (И верил сам, что искал твердого и непреложного, а не обманных утех, не мишуры внешнего великолепия.) Его обманули шейхи и суфии, его обманул египетский султан, его обманывают советники и жены. Его, как кажется порою теперь, обманула сама жизнь...

Сегодня Узбеку стало немного лучше. Он повелел оседлать коня. Выехал под горячее осеннее солнце в пожелтевшую, серебряную от ковыля степь. Небо было высокое, выцветающее по краям, и, высокие, шли по нему верблюжьим караваном редкие белые облака.

Уже ни к чему утехи плоти, драгоценности разных земель, индийские прозрачные камни, пестроцветные наряды и шелка... Он ехал шагом, опустив поводья, плывущая поступь иноходца врачевала душу. Все-таки он был и остался кочевником, правнуком степных батыров, вручивших ему этот завоеванный ими мир. За ним и вокруг него ехала свита, нукеры, князья, темники со своими нукерами, сыновья, все трое. Там, в отдалении, раскинутою по широкому полю облавою рысили, перекликаясь, воины. Где-то сзади трусили кони союзных князей, коим участие в ханской охоте так же вменялось в обязанность, как в землях франков зависимым от государя владетелям многочасовое присутствие на дворцовых приемах...

Стрелами проносились в вышине ловчие соколы. Сокольничие, высоко подымая руки в кожаных перчатках, выпускали все новых и новых птиц. И вот уже струистыми колыханьями сухой травы начали обозначаться следы убегающей дичи. Мелькнула поджарая степная лиса, вторая, третья. Бежали, кидаясь то вправо, то влево и раскачиваясь на ходу, дрофы. Зайцы порскали, ошалев, серыми комками подкатывали под ноги коней. По краю земли и неба, откинувши к спине острые рога, пролетела стайка джейранов.

Взъехав на холм, Узбек легким движением руки остановил коня. Вдали, появляясь и исчезая вновь среди пологих возвышений холмистой равнины, его воины смыкали облавное кольцо. Скоро вся масса зверья полетит, покатит и поскачет в его сторону.

Он не поднял лука. Даже не сжал в руке тяжелой, со свинцовым завершеньем ременной плети, одним ударом которой опытные наездники просекают голову волку. Стоял и смотрел. Тонко трепещущие в воздухе, летели копья. Оттягивая до уха тугие тетивы, ханские нукеры на глазах у повелителя пускали стрелу за стрелою, и от каждой тот ли, иной зверь, споткнувшись на бегу, катился в изломанное крошево трав. Закидывая хрипящие морды, истекая пеной и кровью, валились, не доскакав до изножья холма, сайгаки. Прямо у его стремени один из телохранителей, подняв плеть, свалил ловким ударом степную лису. Звери метались, сбиваясь кучами. Конники подскакивали все ближе. Начиналась бойня. Уже спешившиеся воины стаскивали за ноги в кучи убитых зверей, считали добычу. Разгоряченные охотою, промчались вдали дети коназа

Ивана. Старший — в светлой, травчатой, развевающейся одежде: рукава завязаны сзади, полы летят по ветру, руки терзают поводьями губы скакуна (урусуты всегда излиха мучают коней на скаку!). Мальчики-братья, обогнав его, уже в гуще звериных тел. Вот один из них, высокий, ладный, оглянул на старшего брата, глазами спросил: «Можно ли?» — и, получив разрешающий кивок, поднял короткое копье.

Хорошо! А ежели не на охоте? А ежели наградою — стол великий? Узбек повел шеей, скосил глаза. Тинибек был далеко, чуть видный среди своих нукеров. Джанибек впереди, сближался сейчас с урусутским князем. Хыдрбек где-то за спиною отца. И все поврозь. Да, конечно, о коназе Семене говорят ему с утра до вечера, и все-таки...

Симеон с Джанибеком встречался неоднократно, но только на людях. Средний сын Узбека глядел на московского князя пристально, словно что-то тщился вопросить, передать, но все было не по времени и не по приключаю. Лишь тут, на охоте, они нежданно столкнулись лицо в лицо.

Симеон скатился в опор с пологого холма и тут почти налетел на одинокого, казалось, поджидавшего его всадника. Он не вдруг признал Джанибека и растерялся немного. Они стояли друг против друга у подножья холма, скрытые от проносящихся вдали с гортанными выкриками комонных.

— Здрасстуй! — твердо выговаривая русское слово, промолвил Джанибек. Его конь стоял, поводя боками, и, чутко подняв голову, поворачивая то одно, то другое ухо к ветру, слушал далекие звуки рогов и трещоток загонщиков. Симеон, вспомнив к случаю затверженные когда-то слова, ответил царевичу татарским приветствием. Они шагом, не сговариваясь, поехали бок о бок. Из длинной татарской фразы Джанибека Симеон, однако, понял всего слова два и растерянно улыбнулся, отнесясь к нему русскою молвью, которой, в свою очередь, не понял Джанибек и тоже улыбнулся в ответ, чуть растерянно, а чуть-чуть и лукаво. Веселая искра взаимной приязни, вспыхнувшая в сей миг, пробежала между ними, словно огонь по сухому валежнику, съединив того и другого внутренним душевным пониманием, и они стали, часто взглядывая друг другу в глаза, подбирая татарские и русские слова, замолкая и в те поры любовно усмехаясь

своему бессилию, толковать о чем-то не очень понятном каждому и, напротив, очень понятном обоим вместе, пока наконец на изломе долины, у самого подножья размытого дождями кургана, Джанибек, оглянув посторонь и остановив коня, не протянул руки Симеону, и тот готовно схватил эту смуглую, гладкую, пропахшую конем и полынью руку и сжал во взаимном твердом мужском пожатии, после чего Джанибек гикнул, поднял скакуна вскачь и, не оборачиваясь, вылетел на вершину бугра, а Симеон, безотчетно верно поняв собеседника и его опасенье внимательных глаз соглядатаев отцовых, круто заворотил и поскакал логом совсем в иную сторону, будто и не встретивши молодого ордынского царевича.

Облава кончалась. Узбек ехал шагом, заглядывая в неживые глаза убитых животных. Хыдрбек и Джанибек трусили по сторонам. Вот вдали показался соловый конь Тинибека. Уже воротился нукер, посланный созвать урусутских княжичей, детей Ивана. А вот и они сами скачут, приближаясь на запаленных конях. (Коня не надо все время дергать за повода, дай ему самому лететь по степи и слушай бег скакуна, слейся с ним!) Вот они уже близко, видны румяные, разгоряченные лица... Запаренные, на запаренных конях — таковы урусуты во всем, задорны и нетерпеливы! А как же их многодельные города и упорные пашни? То — другое. То там, у себя... Неведомо как.

— Здрасстуй! — сказал по-урусутски, и князь Семен склонил голову в ответ и приложил ладонь ко груди.

— Позови Тинибека! — приказал Узбек, усмехаясь. И урусут тотчас снова дернул удилами храпящего, теряющего клочья пены скакуна и поскакал вперед.— Согласны ли вы,— спросил он княжичей (толмач, вывернувшись из-под руки, тотчас начал переводить),— ежели коназ Семен получит вышнюю власть?

— А как же иначе? — удивленно переглянулись княжичи.

— Он старший! — ответил один из них, глядя на Узбека круглым детским взором, в котором так ясно читались страх и опасливое почтение, что Узбек даже усмехнулся слегка. Перевел взгляд на своих сыновей, поймал медленное загадочное мерцание глаз Джани-

бековых... Почтительный сын! И чужой. Непонятный отцу. Он повторил тверже, приосаниваясь в седле:

— Вот, даю вышнюю власть старшему из вас! — Московиты склонили головы так, словно бы получили от него награду.

Понял ли Джанибек хоть что-нибудь? Постиг ли? Почуял или нет, что для него, ради них, сыновей, и в поучение ему — дабы дети не обагрили кровью могилы родительской — говорит он сегодня эти слова, коих мог бы и не сказать вовсе, несмотря на то, что весь двор выпрашивает их у него уже поболе месяца...

Подъехали Тинибек с Семеном. Узбек, выпрямившись, повторил, что вручает владимирский стол Семену, яко старшему сыну коназа Ивана, дабы власть переходила от отца к сыну — к старшему сыну! — в свой черед.

Шестеро наследников, слуги, иные подъехавшие князья, приблизившийся Черкас — все услыхали наконец решение повелителя. Семен соскочил с седла и, прямо в траве, обнажив голову, преклонил колено. Братья его, переглянувшись, тоже слезли с седел, встали позади брата, склонили головы. Все трое рады. Как один. Словно награжден каждый из них. Словно власть, полученную Семеном, они разделят теперь натрое!

А свои? Тинибек продолжает гордо сидеть на коне. Хыдрбек озирает старших братьев. Джанибек опустил голову, скрыв от отца и старшего брата свой непонятный мерцающий взор. Поняли они его? Приняли? Поверили, наконец? Или то, что сделал он сейчас, минет впустую и даром, не помирив, не подружив его сыновей? Или неверное было во всей его прежней жизни? Или опять его обошел, обадил, улестил и обвел вокруг пальца покойный Иван?!

И уже ничего невозможно содеять иного. Уже услышали все. Уже старший сын Ивана почтительно подымается с колен, подходит к стремени, и надобно протянуть ему руку для поцелуя. И остается думать, что решенное днесь решено все-таки им самим, а не по подсказке его придворных.

Вечером того же дня Симеон собрал в своем шатре братьев-князей. Дымилась обугленная на огне свежатина. Слуги разливали красное греческое вино. Си-

меон, подтвердив безусловные права Костянтина Василича на Нижний и почти не позволив поздравлять себя с великим княжением, завел речь о новогородском походе.

Словно бы и не было трех месяцев неуверенности, тайных посылов, споров и даров, словно бы не они все, издержавшиеся до зела (каждый набрал долгов по заемным грамотам), спорили и тягались тут о вышней власти. Сейчас чавкают, облизывая по-татарски пальцы, сосредоточенно жуют свежее сочное мясо. У каждого из них бояре сделали все, что могли, чтобы свалить соперников, и вот теперь наступил видимый мир, довольство, совместная трапеза. И все верят в то, что не будет яда на этом пиру, что не будет тайного ножа в спину по дороге с пира, хотя никто из них не ведает (даже и сам!), коя чаша сожидает его в русской земле и не станет ли князь Семен, стойно отцу, насиловать соседние княжества, и не станут ли они сами пакостить великому князю Семену? Пока же, получивши грамоты, урядивши давешние споры и ссоры, князья обсуждают совместный поход на Новгород, богатый и враждебный им всем, потому что своею торговлей держит в руках серебряный ручей татарской дани. И, обсуждая этот поход, они сейчас, все, совокупно,— единая Владимирская Русь. Надолго ли? И какова станет плата за это — подлинное уже, а не временное и условное — единство Руси Владимирской? Какова будет плата за величие в грядущих веках? Понимают ли они теперь, о чем у них речь и к чему братняя молвь и совокупный поход на Новгород? Да, понимают. Или, вернее, чуют, чувствуют. Не очень-то любя друг друга, понимают, что они — одно. Русичи. Ближние друг другу. Те, коих заповедал Христос возлюбить, «яко самого себя». Ибо не могут быть равно «ближними» все языки и народы земные, поскольку тогда и само понятие «ближнего», различение ближних и дальних отпадет, исчезнет, обессмыслив заветы Христа.

А новогородцы? Не те же ли ближние суздальцам и москвичам? По вере, по языку — да. А по чему-то другому, трудноуловимому,— нет. Другие. И в иной судьбе, в по-другому сложившихся веках, могли бы стать особою землею, иным, хоть и родственным, народом. Что удержало? Гений Александра Невского? Воля Михайлы Тверского? Дальновидная мудрость

Ивана Калиты? И она тоже. А ныне — упрямая воля молодого наследника Ивана, решившегося во что бы то ни стало исполнить волю отца. И от всех этих совокупных усилий и воль что-то уравнивалось и тускнело, что-то неповторимое, гибло в веках, но рождалась, в муках и скорби, великая страна, пока еще даже не ведающая о своем грядущем величии.

ГЛАВА 20

Возвращались победителями. Покинув корабли, груженные теперь купеческим товаром (хоть малую толику ордынских проторей оправдать!), ехали комонным поездом сперва степью, а там уже пошли первые рощи, колки, кленовые и дубовые острова и, наконец, долгожданная сень раскидистых рязанских дубрав, уже разукрашенных кое-где переливами тяжкой осенней меди.

Кмети рысили нараспашь, орали песни; улыбались бояра, озирая щедрую рязанскую землю — высокие стога и богатые суслоны хлебов.

Симеон ехал задумчивый, приотпустив поводья. Вдыхал жаркий ветер с полей, следил высокое и холодное осеннее небо, мечтал: поскакать бы теперь в Красное или под Можай, где уже вовсю идет молотьба, взбодрить посельских и ключников, потрогать тугие скользкие снопы, ощутить терпкий дух ржи, хозяйственно сунуть руку в прохладное нутро сенной копны... А дома пироги, заботная мачеха, сияющая, заждавшаяся Настасья... И не надо никаких прохожих, дорожных, иноземных — как бы ни томило и ни долило порой. Дом, родина, родная жонка, дети... Облачной тенью проплыло воспоминание о маленьком гробике, о восковом личике усопшего младеня. Ушло. Телесною истомою всколыхнулось, напомнилось — Настасья, жена. Последняя грамотка ее, свернутая трубочкою, покоится у него на груди...

Почему он так устал? Устал именно теперь, добившись всего, чего жаждал: и милости ханской, и ярлыка на великое княжение. Измаяла ложь лести, искательные и спесивые взоры ордынских вельмож... Нет, лучше в деревню, в лес, но чтобы хоть там-то уже не гнуть ни перед кем спины! Да и любому смерду на Руси честь, почитай, дороже добра! С того, верно,

и устал и измотан, что все эти долгие месяцы (мнится теперь — годы!) мучался нужной почтительностью перед капризным убийцею. (Как с ним ладил отец?! И этого я не знал, коря батюшку!)

Домой хочу! Домой! К жене, к молоку и хлебу! К сытной осенней поре, к веселью разгульных сельских братчин — законного отдыха земледельца после летней страды.

Он прижмуривает глаза, вздыхает. Дома его ждет новогородский поход. И пря Вельяминовых с Хвостом; и братья, усланные наперед, невесть чего натворившие без него в этой очередной замятне; и дела церковные. Алексий наконец утвержден митрополичьим наместником, и он еще не знает, как ему держаться с отцовым крестником ныне. А чуялось уже, что теперь, по смерти родителя, не кто иной, как Алексий должен стать ему ближним из ближних. Ибо кто-то должен быть такой (не митрополит Феогност!), перед кем ты весь как на ладони, кто поможет, удержит и наставит на путь. Нужна человеку не только узда господней кары, но и узда дружеского, старшего учительства. Даже если ты первый в народе своем, а быть может, именно потому, что первый, именно потому!

Кмети поют. Кони, приободрясь, идут хорошею рысью. Скоро Ока — рубеж родимой земли.

В Коломне трезвонили колокола. Торжественный ход с хоругвями и крестами вышел к самому перевозу. И уже от перевоза, спешив с коня, вели его под руки по сукнам прямо к собору, а оттоле в пиршественные палаты городового наместника.

Тут уж было не до вопросов. Симеон тщетно вертел головою, чая углядеть в толпе кого из Вельяминовых, но вместо того поймал остерегающий взгляд Михайлы Терентьича и услыхал доверительный шепот старика:

— Погодь, княже! Не вдруг!

Погодить стоило. Местные бояре, многие, были сторонниками Алексея Хвоста. Сказывалась рознь принятых коломенских рязанцев с коренными московитами.

Симеон смирился. Ел отвычные блюда родины: редьку, студень и датскую сельдь, мясную уху и уху

рыбную, тройную — остынь, и ложка станет стоем в густом, как кисель, наваре,— кулебяку и пироги с капустой и гречневой кашей, запеченный в тесте окорок домашней свиньи, кисели и блины; обильно политые топленым маслом, с сыром и икрою, с припёкой со снеточками, блины с творогом, горячие шаньги с просяною кашей, загибки и ватрушки с творогом,— пил взвар и мед, многоразличные квасы, греческое вино, грыз орехи, вареные в меду, и медовые коржи и опять ел кашу с медом и молоком, и опять пироги с морошкой и вишеньем... Ел, потея, чуя, что уже и не съесть больше ни куска, и все же ел и пил, уже насилу, не чая, как отказать уговорам хлебосольных хозяев...

Осоловелый, вполпьяна (ни до каких расспросов стало ему), повалился в перины боярской изложни, в каменный, тяжелый с перееда сон.

Он проснулся еще в потемнях. Страшно хотелось пить. Запалив от лампадного огонька свечу (не любил будить слуг по ночам — претила суета очумелой спросонь прислуги), нашел в поставце кувшин с квасом, крупно отпил, рыгнул, посидел; поморщась, подумал, что надо выйти во двор — куда тут? Накинул на рубаху ферязь, ноги сунул в татарские остроносые туфли, взял в руки свечу. В сенях кто-то из наместничьих слуг кинулся к нему впереймы, бормоча: «Сичас, сичас!» — проводил до места, дождал, когда князь оправится, подал рукомой. (Татары, те с собой медный кувшин с водой носят!)

Симеон, махнув рукою — «отойди!» — вышел на гульбище, на глядень. Постоял, ежась от речного холода, следя, как плывет слоистый туман. Ночь уже переломилась, и небо светло отделилось от темной еще и окутанной паром земли. Подумалось: поднять кметей и тотчас скакать в Москву! Подумалось — и ушло. Издрогнув, полез вновь во тьму и тепло опочивальни.

Утром была отвальная, после которой Симеон с трудом влез на коня. Однако все просьбы повременить решительно отверг. Упившиеся кмети нехотя седлали и торочили коней. Скликая отставших, провозились часа полтора, и Симеон уже начинал гневать не на шутку, пока наконец весь поезд был собран и потянул на рысях, пыля, по московской дороге. Деревни теперь пошли знакомые, почитай свои — ближних бояринов московских,— и хлеба, и сена свои, и тучный

скот, и убранные поля радовали как свое, кровное, и уже охватывало и долило нетерпение: своя б воля, помчал впереди всех, загоняя сменных коней!

Остановили глубокою ночью, в ямском селе на Пахре. Спали на попонах, и это ближе пришло к сердцу, чем давешняя коломенская гульба. В яме последний раз сменили коней и к полудню другого дня въезжали в Москву.

Город завиделся издалека, с луговой стороны, и какой же показался маленький! На миг — только на миг — стало страшно: ему ли с его игрушечной деревянной крепостцой спорить с Литвою и ханом, собирать Русь под руку свою и мечтать об одолении векового врага? Впрочем, лишь на миг. Дорога уже тут, за Даниловом, огустела народом. Город был многолюден, и это чуялось по радостному толплению встречающих.

Ему махали, кричали, подносили хлеб-соль. Он спешивался, целовал крест и принимал благословение и, вновь вдев ногу в стремя, легко (сказывалась ордынская выучка!) взмывал на коня и ехал шагом, хотя хотелось — в опор, хотелось не видеть никого, хотелось крикнуть: «Погодите! Я человек! Муж и отец, а не токмо великий князь!» Нельзя. Князя приветствует духовенство в золоте риз. Лица Феогноста и Алексия праздничны. Алексий, благословляя его в свой черед, склонил лобастую голову с клиновидной бородкою, глянул островато (впереди келейное и прилюдное поздравление Алексия с наместничеством, наконец-то высочайше утвержденным цареградской патриархией). Во взгляде, темно-прозрачном и глубоком, проблеснула сдержанная, запрятанная в тайная тайных усмешка сочувственного понимания. У Симеона отеплело на душе. Словно бы этого вот только и не хватало — мудрого, чуть усмешливого ободрения. И еще отеплело на душе, когда наконец узрел Василия Вельяминова, что, в сопровождении двух сынов, встречал своего князя за Даниловым монастырем.

А колокола все били и били, и толпа поминутно заливала путь: охально лезли под самые копыта узреть, потрогать, заглянуть в очи — словно родился наново, словно не зрели никогда! «Домой хочу! Неужто не понимают?!» Но опять хлеб-соль, теперь встречают купцы московские. Опять надобно слезать, улыбать-

ся, брать и передавать круглый каравай на серебряном блюде, покрытом тканым рушником...

— Здрав буди, княже! Соскучал, поди, по дому в Орде-то? Жонка-ти ждет, Настасья твоя! — кричали купцы. Улыбались участливо — гневать никак нельзя было и на них...

Наконец-то мост! Глухо бьют копыта в деревянный настил, толпа, валом валя вслед за князем, качает и подтапливает лодьи, на которые уложен наплывной мост. Кто-то из ратных, оступясь, падает в воду, и его тут же, в десяток рук, со смехом и криками, мокрого, достают из реки. На берегу, у Кремника, под народом не видно земли. Толпа запевает «славу». А он вдруг пугается невесть чего: как его встретят дома? Ждут ли его?

Долгою змеею княжеский поезд вползает в Кремник. Опять встречают с хлебом-солью. Теперь — великие бояра Москвы. Надо слезть. Надо одарить хотя словом, хотя взглядом каждого... Господи! Вон же мое крыльцо! Вон там, за этим углом! Он уже почти готов зарыдать от нетерпения, усталости, жуткого ожидания чего-то непонятного себе самому... И все-таки он перемогает себя и сперва идет в собор Михаила Архангела, к могиле родительской. Здесь, в каменной прохладе храма, под этою плитой, лежит тот, кто приуготовил ему сегодняшний день! Отец, сейчас почти чужой, далекий и до ужаса мертвый...

И вот наконец двоевсходное крыльцо княжеских теремов. И в пестрой толпе жонок, слуг, дворовых бояринов и боярынь,— в распашном синем саяне, Настасья, жена. И рядом сенная боярыня держит на руках дочерь. Хотя так! Уставно, прилюдно... Глаза у Настасьи тревожные, радостно-испуганные. (Да, жена, ликуй, я теперь — великий владимирский князь!) Он тяжело восходит по ступеням. Коротко, взяв за плечи, притягивает к себе, целует, словно чужую (отвык!). Целует в черед дочерь; приветствует всех, столпившихся на сенях; и, уже чуя головное кружение, вступает наконец в особный, свой покой, глядит на Настасью, на слуг — растерянно. Она, поняв, разом выпроваживает всех, даже и тех, что с платьем и рушником, сама, усадив на лавку, склонясь, стаскивает с него дорожные сапоги, сдергивает опрелые портянки и, не поднявшись с пола, валится головою ему в колени, обнимая полными руками, шепчет: «Ладо!

Истомилась я за тобой!» И, не давая Сем двинуть рукою, ни сказать чего, тороплив проговаривает: «Баня готова, господине, идешь?»

Он медлит. Оттаивает. Кажется, у и дом, и семья, и не стоило загодя; по-глупому гневать на Настасью. Не князь ей нужен, вернее, не тольк князь, а он, он сам, такой, каков есть. Отвечает глухо: «Иду!»

ГЛАВА 21

Баня снимает дорожную усталь, мягчит напряжение мышц, навычных к волевому усилию, проясняет мысли. Чистая одежда ласкает тело. Молитвенное велелепие благодарственной службы стро́жит и укрощает смятенный дух.

— Свя́тый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас! — поет хор.

— Господи, очисти грехи мои, посети и исцели немощи раба твоего, имени твоего ради! — шепчет Симеон одними губами.

Сейчас пир, на который сойдутся все. Будут и Василий Вельяминов, и Алексей Петрович Хвост, и захватить его, посадить за приставы, тут же, назавтра, назначив суд, будет нельзя. (Это он уже понял давеча, в бане!) Нету сил содеять такое, дружины не собраны, а Хвост-Босоволков явится с внушительною свитой, и, потом, многие за него... И Вельяминов не был уставно посвящен в сан тысяцкого, токмо грамотою, посланною с дороги.

Поет хор, и Симеона начинает страшить предстоящий пир, страшит свой гнев, страшит и пугает днешнее бессилие свое, особенно непереносное ныне, когда затеян поход на Новгород и уже оборужаются рати по городам... Что ж, и он, как Узбек, не хозяин в дому своем?

Хотелось до пира увидеть Алексия. Не сумел. Не смог и посидеть с Настасьей, расспросить о делах домашних. Перед толпою слуг вздел парчовое платье, расчесал волосы, глядясь в полированное серебро ручного зеркала, переменил сапоги с зеленых на красные и, только взглянув на жену (пир с гостями, дружиною и боярами, мужской, на пиру ей не быть), вышел, излишне прямо держась и пристукивая высокими каблуками. Пошел стремительно.

Пиршественная палата оглушила гомоном и многолюдьем собравшихся. Глаза не сразу нашли в этой сверкающей дорогим платьем и драгоценностями толпе супостатов — Вельяминовых и Хвоста-Босоволкова. Поначалу отметил ордынских послов и гостей иноземных, отличных по платью, потом — высшее духовенство в золоте облачений и уж потом — в череде бобровых, куньих и собольих опашней, в атласном, аксамитовом, шелковом и тафтяном великолепии праздничных одежд, сверкании золотых и серебряных оплечных цепей, жемчужных и парчовых наручей — узрел наконец крепкого, осанистого, празднично уверенного в себе Алексея Хвоста и супротив него насупленные лики Вельяминовых.

Он не удержался все же. Во время пира послал праздничную чашу Василию Протасьичу. Чаша прошла вдоль столов. Василий, приняв, встал, поклонил князю, выпил, степенно обтерев усы и бороду, а Симеон, по каменному лицу Алексия, который старательно не замечал происходящего, тут же понял, что оплошал, сорвался, что следовало и здесь ему погодить, не упреждая событий.

Чтобы как-то выплеснуть, расточить скопившийся от бессилия гнев, Симеон тут же, разом, после пира, распорядил посылкою в Торжок наместника и борцов взимать княжую дань — Бориса Семеновича и Ивана Рыбкина, опытного данщика отцова, повелев им подобрать себе дружину и княжеборцев и ехать не стряпая. Тверскому князю отсылались грамоты — не чинил бы препоны на проезде через его земли Семеновых людей.

Содеяно все было на диво быстро. Словно того и ждали от него. (И вправду, ждали. Тут угадал верно.) Дьяки с грамотами явились вмиг, возник Сорокоум, как бы и не пивший хмельного пития, вестоноши помчали по улицам Москвы, в ночь, собирать людей. Назавтра осталось токмо проводить ратных да сказать им напутное слово. Не чуял, творя, что и тут батюшкова забота, его замысел, его труды содеивают за него, Симеона, потому с такою легкостью и сотворилась жданная посылка великокняжеских борцов.

И хмель уже проходил, оставляя усталость в членах (которой ради так не любил он хмельного пития). И дело, выплеснувшееся одночасьем, от гнева, было свершено (а дело надобное и важное), и, уже воз-

вращаясь из палат в хоромы, встретил Настасью опять.

— Церкву поглядеть не пойдешь? — спросила, зарумянясь, потупляя взор. Волновалась излиха, как примет ладо ее иждивением сотворенную украсу церковную. Тут и не выдержала, спросила сама. А уже настала темнота, и все-таки, дабы не обидеть жену, пошли.

Зажгли высокие свечи. В церкви было мрачно и гулко. Трепещущий свет выхватывал из темноты лики святых, одежды, узорчатую роспись столбов и написанное понизу покрывало с травчатыми кругами, о которых Настасья, гордясь, писала ему в грамоте. Травы были, и верно, чудесны и сказочны, а весь храм казался молчаливо населенным в густой темноте настороженно внимающими пришельцам предстоящими. И верно: не ангельские ли хоры, не всамделишные ли ряды горних святителей копились там, в вышине, возносясь к померкшим сводам храма? Завтра надобно оглядеть все ладом, вызвать и наградить изографов. Он легко огладил Настасьины плечи — в храме, при слугах и причте церковном иной ласки нельзя было себе и позволить. Глядя в трепетное в свечном огне лицо жены, похвалил росписи. Она зарделась: так боялась неудачи и так ждала одобрения! Сказал:

— На свету досмотрим!

— На свету, как солнечные лучи в окна, так и сияет все! — радостно отмолвила она.

Слуги довели до опочивальни. Здесь, наконец оставшись вдвоем, пил квас, омывал руки. (Прислуга, сняв праздничное платье и сапоги, уже удалилась.) Оба заробели вдруг, погасили свечу. Он и сам испугался за себя, пробормотал:

— Отвык я от этого.

— И я отвыкла! — отозвалась Настасья шепотом из темноты.

С минуту оба лежали под праздничным атласным одеялом, согреваясь и не трогая друг друга. Наконец Симеон обнял жену за плечи и молча привлек к себе.

ГЛАВА 22

Назавтра с утра отправили данщиков в Торжок и собирали поезд самого великого князя. Во Владимир, сажаться на стол, следовало скакать немедленно, и

Симеон порешил выехать в ночь. Настасья охнула (вся еще во власти вчерашних ласк, не ждала столь скорого отъезда супруга), но поняла, смирилась, только глядела жалобно.

Симеон нашел-таки время оглядеть роспись церкви по-годному. В свете дня краски, и верно, сияли золотистою охрой и дорогой лазорью, привезенной из восточных земель. Правда, все показалось меньше, ниже и не таким загадочным, как давеча. Распорядился наградить мастеров. Те тоже, как и Настасья, ждали похвал и волновались за свою работу. Старшой принялся было объяснять, почто и как было содеяно ими не по канону, а сугубо ради места сего. Симеон взглянул во вдохновенное, некрасивое лицо, потряс кудрями:

— Потом! Недосуг! Ныне токмо огляжу.— Он повел руками округло, показав, что окидывает храм единым общим взглядом.— А ворочусь, буду вникать потонку. Алексий зрел?

— И он, и сам митрополит Феогност взирали со вниманием и одобрили зело! — приосанясь, выговорил мастер.

Симеон бегло улыбнулся, изрек:

— Я доволен! — сам уже мыслию перебежав отселе в хоромы богоявленского подворья, где, через мал час, будет у него встреча с Алексием и Феогностом и поздравления Алексия с наместничеством.

Но все сегодня содеивалось легко и успешливо (бывают такие счастливые дни!), и до встречи с отцовым крестником успел он еще с глазу на глаз переговорить с Василием Вельяминовым, который поведал ему, что Хвоста в его самоуправствах поддерживали (как и ожидал Симеон) братья великого князя, Иван с Андреем, а он, Василий, не быв поставлен в тысяцкие самолично князем, не возмог ничего супротиву.

— Ты, княже, не сумуй и воздержи гнев. Ноне мало и ратных в городи! — присовокупил Василий, словно читая в мыслях у Симеона.— Силы много у Алешки Хвоста! Вси рязански принятые бояре за него! Нас не любят, бают, излиха милостей имем от князя своего...

— Излиха, нет ли, то ведать мне! — отрывисто возразил Симеон.— Добро! Ворочусь из Владимира, поставлю тебя тысяцким в батюшково место!

Старик сдержанно поклонился, не смог, однако, скрыть радости. Всю жизнь (и жизни перешло за пол-

ста лет!) был младшим, «молодым» при своем родителе-батюшке, и вот наконец исполнилось, исполняет... Кабы не этот Босоволков последыш! А с князевой заступою не страшен станет и он!

Расставшись с Вельяминовым (теперь ясно стало, на что была надея у Хвоста!), Симеон срядился к новому пиру на подворье Богоявления в Кремнике, где обычно батюшка встречался со своим крестником и с митрополитом, ежели не желал лишних глаз и ушей. Парчового сарафана давешнего одевать не стал. Вздел светло-зеленого шелку травчатый летник с прорезными рукавами, под него — полотняный зипун, шитый по вороту, подолу и нарукавьям золотою нитью. Так было пристойнее в сообществе рясоносных иерархов.

Званы были немногие, да многолюдного застолья и не вместил бы узкий и высокий терем, выстроенный отцом сугубо для келейных свиданий. Помимо Феогноста с Алексием, цареградского клирика и князя Симеона были три архимандрита, один из Переяславля, необъявленной церковной столицы Московского княжества, настоятели монастырей, избранные из старцев, и немногие великие бояра. Избегая ссор и лишних речей, ни Хвоста, ни Вельяминова не пригласили.

Тот же пир, токмо одни рыбные блюда на столе, дольше благословляющая молитва перед трапезою, чиннее застолье, нету разгульных песен и пьяного шума, хотя греческое вино, изысканное, коего не сыщешь и в княжеской медовуше, и тут в черед обходит председящих, не минуя почти никого. Впрочем, Симеон только пригубливает. Не пьет и Алексий, у коего в кубке простая вода.

Разговор, после первых уставных приветствий, переходит к насущным разногласиям в Константинополе. Иерархи с сокрушением поминают василевса-автократора Андроника. (Андроник Третий, Палеолог, свергнувший своего деда, всю жизнь в войнах с внешним врагом терпел одни поражения. И то, что его не бранят взапуски, а так вот, с сокрушением, поминают о нем, Симеон, не ошибаясь, приписывает присутствию цареградского грека.)

Сочувствия, впрочем, бесталанный цареградский властитель не вызывает ни у кого. Стараясь спастись любой ценою, Андроник попросил помощи против турок у папы римского, обещая в обмен за присланное войско принять унию: присоединить православный Вос-

ток к римскому престолу. За унию стоит императрица, Анна Савойская, и многие вельможи двора. Против союза с католиками выступает один лишь Иоанн Кантакузин, фактический соправитель императора, но устоит ли он? И что ся содеет тогда? И в каком тревожном положении окажет русская митрополия, подчиненная византийскому патриархату? Неужели и Русь обязана будет подчиниться латинам? После веков борьбы без бою открыть ворота Западу, порушить веру и заветы отцов, из народа-светоносца стать холопскою страною, обреченной на слепое следование велениям и капризам многоразличных немецких и прочих находников? Нет! Только не это! А тогда, не приняв унии, с кем останет земля русичей, днесь жестоко угнетенная от агарян мехметовой веры, а с западныя страны все более и более теснимая литвою? И какая вера победит, одночасьем, в Литве? И удержит ли ся единая русская митрополия, или великие князья литовские добьются своего и утвердят в землях своих иного митрополита? Гибельное раздробление церковное навек тогда разорвет русский народ, и те, что подчинены ныне Литве, забудут с веками и корень свой, и родимую речь, и заветы великой киевской старины!

И потому, что все это очень и очень может произойти, никто не хает Кантакузина, заключившего союз с турками, ибо афонские монахи за него, а гора Афонская — это оплот и святая земля православной веры, и то, что решают монахи тамошних монастырей, то и есть мнение, слово и дух церкви православной.

Да, прискорбно, что в борьбе за веру приходит призывать в помочь иноверцев! Но ведь Палеологи и всю восточную церковь готовы предать и отдать за призрачную помочь (то ли будет она, то ли нет!) западных государей, скорее соревнующих о всеконечной гибели Цареграда, чем о спасении его от неверных!

— Паки достоит попечалить о горестном разномыслии церкви греческой! — говорит, ни к кому не обращаясь, переяславский архимандрит и, только уже сказав и подцепив двоезубою вилкой кусок датской сельди, остро взглядывает на византийского клирика. Тот слегка пожимает плечами, отвечая по-гречески. Звучат уже знакомые имена: Варлаам, Акиндин, Григорий Синаит, Григорий Палама.

— Варлаам — муж достойный... От западныя италийския страны из земли Калабрийской... приявший

свет православия...— шепотом переводит князю слова цареградского клирика даниловский игумен.

Патриарший клирик далеко не стар. Красивое, с большими глазами, гладкое смугло-бледное лицо его в обрамлении темных густых волос и расчесанной, холеной бороды спокойно и не выражает решительно ничего, когда он произносит заученные круглые слова:

— Лицезрение света фаворского! Не греховно ли дерзать на такое? — Клирик осторожен. Когда он уезжал из Константинополя, подготавливался собор, на коем учение Варлаама вновь должно было подвергнуться критике со стороны старцев Афонской горы, до сей поры осуждаемых и гонимых. Возможно, собор уже состоялся и победили противники Варлаама с Акиндином? Поэтому он не обличает Паламу, не мечет молнии противу афонских молчальников-исихастов, которые в молитвенном уединении своем добиваются лицезрения невещественного фаворского света,— он только спрашивает, чуть-чуть недоумевая, слегка приподымает бровь, голос его журчит удивительно ровно:

— Досточтимый Варлаам глаголет, что сей тварный мир в замысле своем, в божественном порядке творения сходен с тем, духовным, господним миром. Но смертному отнюдь не дано видеть бессмертное, и токмо разумом, постижением общей гармонии Вселенной возможно постичь Божество!

Сказав, грек поднимает строгие замкнутые глаза, ждет, когда даниловский игумен справится с переводом. Когда тот кончает говорить, клирик слегка наклоняет голову. Он, собственно, только «сообщает», излагает, как наставник ученикам или, вернее, как посланец наставника. Слова его явно не подлежат ни обсуждению, ни спору. «Это так!» — как бы прибавляет ученый грек, сам незримо отстраняясь от сказанного. И то, что это отнюдь не так для многих как в Цареграде, так и на Руси, становит ясно, только когда новопоставленный наместник, нарушая чинность застолья, кидается в словесный бой.

Алексий, доныне молча внимавший клирику,— он хорошо понимает по-гречески и не нуждается в переводе,— отставив тарель и твердо положив ладонь на столешню, проговаривает медленно и раздельно:

— Старец Григорий Палама утверждает, яко от незримого божества истекают энергии, пронизающие тварный мир, и что энергии сии, именно они, а не

сам непостижимый божественный разум, постигаемы путем умнóй молитвы и даже видимы оком молящегося инока. Сего ви́дения достигают афонские старцы в уединении своем, что Варлаам осудил яко высокоумье и ересь.

Клирик, выслушав перевод слов Алексия, согласно кивает головой. Это еще не спор, совсем не спор, но разумное разъяснение. Да, именно так! Высокоумье и ересь! Впрочем, Варлаам утверждает, и это следует непременно добавить, что видят старцы афонские не сам надмирный фаворский свет, а токмо свои собственные, рожденные в напряженном мозгу болезненные видения!

Феогност необычно хмур. Учение Григория Паламы проклято патриархом Иоанном XIV Калекою, но он же, сей патриарх, позволил литовцам отпасть от митрополии русской, заведя свою, галицкую митрополию... Душою, уставшей от земных суедневных дел, Феогност начинает благоволить учению Паламы, но... мнение патриарха! И потому он молчит.

Но Алексий молчать не может, да и не хочет. Он кладет вторую ладонь на столешню, рядом с первой, выпрямляет свой и без того не сутулый стан, слегка откидываясь к стене покоя. Сейчас его темно-прозрачный взор неотрывно устремлен в гладкое лицо византийского грека. Столь же медленно, подчеркивая каждое слово, он говорит:

— Не о том реку, что утверждает Варлаам, и не о том, чему должно веровать по указанию властей предержащих! Но вопрошу об истине изреченного старцами Афонской горы, глаголющими: «Мы видели!» Что значат все возражения Варлаама с Акиндином пред величием божественного откровения! Господь может явить чудо! И являет ежедневно, для разумеющих сие! Паки вопрошу: видели афонские старцы сей свет?! И задолго до них, иноки первых веков, разве не созерцали сами сияния Божества? Созерцали, видели и оставили рукописные памяти о духовном опыте своем! Вот где истина! Да и сам Иисус разве не являлся на горе Фавор избранным ученикам в сиянии света сего?!

Алексий теперь говорит только для русичей, не взирая на цареградского грека, словно и вовсе забывши о нем. Голос его окреп, взор властно обегает собрание, и смолкают звуки трапезы, отставляются кубки и чаши, праздничный покой зримо превращается в келью

Богоявленского монастыря, и как там, в пору бесед духовных, так и здесь настает сосредоточенная звонкая тишина.

— Ежели да, и видели, и засвидетельствовано многажды и многими святыми отцами церкви,— с силою продолжает Алексий,— то как же возможно возражать тому? Не ересь ли, напротив, полагать разум человеческий высшим источником божественного знания? Не путь ли то к отрицанию Божества?! Так возможно оспорить и любые святые свидетельства! Ниже́ свидетельствование апостолов и святых жен о воскресении Христовом! Да, да! Почто не изречь, что ученики распятого созерцали мысленное видение своих очей, а не зримый облик воскресшего Христа?!

Разумом возможно оспорить и всякую память о любом явлении зримого тварного мира, оспорить и опровергнуть! Вопрошу я вас, зде председящих, возможен ли снег? Да! Не смейтесь! Но испытайте о том в Индии или в земле Ефиопской! Молвите: замерзшая вода упала на землю, замерз воздух, пар дыхания обратился в лед. Сего не может быть, воскликнет тамошний Варлаам, или ежели и возможно такое, то жить человеку и дышать льдом, а равно и пить твердую воду никак невозможно! И он будет прав по разумению своему!

Разум лукав, переменчив, подвержен обманам и лишь то усвояет, что похотью своею желает прежде того усвоить себе человек! Не инако! Разум смертного об одном и том же склонен полагать различное в зависимости от желаний своих! Вспомните, други, мудрую притчу о царе Соломоне и Китоврасе! Вот Китоврасу посланные Соломоном налили вино в колодец, дабы уловить мудрого. Он же, подойдя, сказал: вино замутняет разум, несет пагубу человекам! И не тронул, и отошел в пустыню. Но чрез малое время, жестоко захотевши пить, паки подступил к колодцу и возгласил: вино на здравие и на веселие смертному! И выпил, и опьянел... Не так же ли и каждый из нас ищет и находит в разумении своем оправдания похотениям тела, а отнюдь не истины?

И к тому, ежели допустить, что правы Варлаам с Акиндином, значит, ни к чему пришла тысяча лет монашеского труда и усилия и подвиги старцев египетских, сирийских, афонских и прочих — токмо ложные обольщения заблудших душ? Значит, и церковь

божия лишь создание рук человеческих, отразившее хитросплетения разума? Но тогда, истинно, почто и надобны наши споры, и умнóе делание, и разделение церквей, скажем уж тут заодно!

«Сей калабриец отворяет дорогу разуму»,— скажете вы. «Нет,— отвечу я,— гордыне разума, чающего обойтись без Бога!»

Гладкое лицо грека, коему сейчас переводит сам Феогност, спокойно. Не вспыхнет взглядом, не дрогнет бровью. Он — словно старец перед юношами, словно умудренный кормилец среди детей. Мысли его текут своею чередой, и, глядючи на пламенного Алексия, он не столько слушает,— все эти речи и за и против Паламы у него давно на слуху и не слишком тревожат сознание,— сколько прикидывает и взвешивает могущие быть последствия. Этот русич, думает он, поставленный стараниями покойного князя Ивана в наместники Феогносту (кесарю и патриарху, увы, слишком надобилось русское серебро!), никогда, разумеется, не станет митрополитом Руссии, даже и после смерти Феогностовой, ибо патриарх, осудивший Паламу и паламитов, не допустит никого из них к руковожению русской церковью. Ежели... ежели на соборе по-прежнему устоит Варлаам и патриарх Иоанн XIV усидит на престоле. Но ежели одолеют Палама и Кантакузин? Тогда следует ждать и смены патриарха, и тогда... тогда... Тогда все может повернуть иначе! Для него самого, во всяком случае, важны не столько справедливость варлаамитов или Григория Паламы, сколько устойчивое положение при патриархе, завидная должность секретаря. Уходить в какой-нибудь дальний монастырь рядовым иноком в случае победы Григория Паламы он не хочет отнюдь! И в том, возможном,— увы, очень возможном — случае этот восторженный русич, напротив, приобретает, яко паламит, немалые значение и вес... Словом, надо запомнить, взвесить и паки не торопить события...

Но как они молоды! Как они, безусловно, молоды! Сколько огня, веры, убежденности! Как легко им станет идти на крест и на смерть ради невещественного, ради убеждений своих! Как не скоро еще они поймут, что покой и достаток в сей быстротечной юдоли важнее всех восторгов и подвигов духа!

В какой-то мере и досточтимый Григорий Палама разделяет сие юное неразумие, веру в то, что словами,

призывом к вере и разуму можно подвигнуть малых сих к величию и изменить, перестроить сущее... Ах этот пыл, содеивающий взрослого юношею и дитятею старца! Таких людей кидают в огонь, отдают на пытки и посмеяние толпы, загораживаются ими, когда прихлынет враг. А они, выйдя из тюрем и узилищ, униженные, обруганные, упорно, паки и паки, спасают страну и снова, по мановению надобности, ввергаются в затворы и тюрьмы, ибо в мирном бытии империи они неудобны и даже страшны. О сю пору жутко читать в хронографиях и анналах патриархата про «эфесский разбой», когда, в спорах о двуедином существе Христа, тысячная толпа нечесаных, грязных египетских монахов-монофизитов с большими топорами в руках ворвалась на заседание святого собора и с криками: «Надвое рассеките признающих в Господе два естества!» — начала крушить все вокруг. Отрубили пальцы патриаршим писцам, силою разгоняли собрание иерархов — ужас! А отрубленная рука Иоанна Дамаскина? А страшные картины иконоборческой ереси? Не надо споров! Не надо войн! И так уж все потеряно и враги почти съели империю!

Конечно, сих пламенных деятелей, способных и готовых жертвовать собою ради блага страны, всегда надо иметь про запас. Жаль, что в Византии их осталось слишком мало! Империя стара. Старость мудра, но и бессильна. Да, разумеется, ежели победит Палама, сей русич возможет получить митрополичий престол. Но токмо в этом случае, и ни в каком ином!

Но... Как они его слушают, сии московиты! Сколь прилежно, словно ученики учителю, внимают новоявленному наместнику своему!

Внимали, и впрямь, прилежно. Замерли старцы, замерли бояре и князь, стараясь не пропустить ни слова. И Алексий, хотя и взглядывавший порою на грека, говорил явно для них одних, пото и баял русскою, а не греческою молвью.

— Потребна вера! — страстно говорил Алексий.— На чем покоится всякое знание? Опять и вновь речем: сперва на доверии! Доверии к учителю, наставнику, доверии к свидетелю истины. Варлаам утверждает непознаваемость Божества и, одновременно, предполагает искать образ духовного в мысленном отражении оного в тварном бытии мира. А почему, на основании чего, чьих наблюдений и памятей допускает он, что устрое-

ние божественных сущностей именно таково? Раз Бог непознаваем? Раз нет никакой прямой связи меж духовным и тварным мирами? Почему не допустить тогда, что наш земной, тварный мир отнюдь не повторяет гармонию сфер? Что мир создан дьяволом вопреки Богу? Что, наконец, существует сам собою, и вовсе нет никакого над нами Божества? Почему, в самом деле, не допустить?! Почему тогда не отказаться, не отречься от всякого духовного делания, объявив и монашество, и саму церковь вредоносным порождением заблудшего ума?!

Вот к каким суетным заблуждениям придете вы и ваш Запад, ежели он допустит Варлаамову ересь!

И куда увлекает сей муж греческую церковь, последнюю твердыню и оплот православной веры? К сомнению? К отрицанию истины? Все это уже было, являлось задолго до нас! Оставьте гностикам усталость от мира сего и манихеям — ненависть к бытию! Мы не можем принять Божество непостижимым и не связанным с миром, ибо сие противоречит идее творения!

Ибо что значит — творение? И что значит — созданное? Несозданное вне времени, время есть токмо в тварном мире, приметы времени суть изменение зримого бытия. А незримое?! Существующее вне времени, оно существует и ныне! Довременный акт творения — вечен! Так же, как сын, рожденный от отца «прежде век», явился, вочеловечился во времени именно и токмо потому, что вочеловечился, то есть вошел в тварный, временно́й мир!

Акт творения происходит, творится вечно. Это и есть истечение незримых энергий. Это Дух Святой, исходящий от отца. Не изошедший когда-то, а исходящий, подобно свету солнца, истекающего от солнца постоянно, вне времени. Так и энергии, пронизающие мир!

Да, смертному, тварному существу не дано постигнуть незримую суть самого Божества, но энергии, истекающие от него и созидающие сей мир — зримы! Зримы в явлениях и, как свидетельствует опыт монашества первых веков и опыт старцев афонских, могут быть постигнуты не токмо мысленным взором, но и смертными очами человека, восшедшего к высшему просветлению; смертными очами, повторю, возможно узреть надмирный, нетварный свет!

Это ли не истинное величие человека? Не тут ли,

не в том ли освобождение духа, заключенного в ны? Постичь энергию Божества! Узреть вечное! Прикоснуться к бессмертию!

А что вы, с вашим Варлаамом, предлагаете людям? Тщету духовных усилий? Подчинение разуму, вернее иерархии власти, тому же папскому Риму? Не смирение, но уничижение, не ответственность, а бессилие перед непознаваемой сущностью бытия, не устремление к добру, а потерю сил вплоть до неверия и безнадежности!

Жалок и мерзок станет тогда человек, раб суеты сует! Вы готовите слуг дьявола! Утерявший веру утеряет и Родину, возненавидит и ближнего своего! А за сим грядет паскудное служение животной силе!

Отнимите у человека духовное, и что останет от него? Способный на любые преступления хищный зверь! И как только вы с Варлаамом и Акиндином отнимаете возможность постижения божества, так, в тот же миг, утверждаю я, отнимаете Бога! А без сего, повторю, нет в христианине ничего! Ни света добра, ни силы к деянию!

И что надобно днесь первее всего для Руси? Суесловия иерархов? Сей прегордый западный разум? Или защита святынь, твердое основание веры, обрядов и навычаев старины, токмо и могущих спасти наш язык от гибельного исчезновения во тьмах тем языков и народов?

«Опять родина! — думает меж тем цареградский грек, устало глядя в лицо Алексию.— Они, эти русичи, хлопочут о том, чтобы им, именно их народу непременно остаться на лице Земли. А не все ли это равно? Сколько языков в Византии? Славяне и готы, армяне и греки, исавры и болгары, грузины и евреи... Почему для юных народов так важны суетные различения языков и племен? Вот и здесь у них, вперекор имени Русь, обитают меря и мордва, вятичи и кривичи, чудь и половцы, татары и касоги, весь, емь, самоядь, и кого еще только нет! Не все ли равно, в самом деле, кто из них — кто? И зачем это выяснять? Съединяют людей в государственном теле единая власть, законы и церковь. Любой чиновник Палатина или патриархата: исавр, грек, армянин или еврей — будет делать потребное автократору или патриарху независимо от племени и языка своего...

В конце концов даже и уния с Римом не самое

страшное! Кантакузин утверждает, что лучше объединиться с мусульманами, чем с Римом, а латиняне утверждают, что схизматики хуже мусульман... Не дальновиднее ли Востоку поладить наконец с Западом? Пусть патриарх подчинится папе, ежели в обмен на то папа пришлет рыцарей для отражения турок от стен Константинополя! А этот Алексий... Как ему сие объяснить?»

Клирик, вздыхая, пробует остановить ретивого русича, напоминая, что слишком резкая отповедь, устроенная им досточтимому игумену Варлааму, плохо сочетается с терпением и любовью к ближнему.

Но Алексий возражает сурово:

— Не Христос ли сказал: «Оставь отца и матерь свою!» — и не он ли изрек: «Не мир принес я вам, но меч!» Зрим ли мы в самой Византии днешней жданные тобою, брат, спокойствие и любовь? — продолжает он, неуступчиво глядя в очи клирику.— Укажу хотя на восставших зилотов, захвативших град Фессалонику! Зилотов, устрояющих резню в улицах, и когда? В час грозной беды, когда болгары осаждали Фессалонику, оные зилоты, вместо защиты града, сбрасывали со стен на вражеские копья лучших защитников своих! Да православные ли они? Не манихеи ли, хотящие, дабы мир стал мертвым, и рады они мертвому миру!

Почто сих безумцев не призывают к любви Акиндин и Варлаам? Почто вместо того обличают они и клянут кротких старцев Афонския горы? А меж тем турки распространились едва ли не по всем пределам империи и уже доходят до стен Цареграда!

— Но ведь и ваша земля в руках агарян? — возражает с легким нетерпением грек (Алексий таки сумел наступить ему на больную мозоль).— Тогда уж большего почтения заслуживает Литва, в коей правят самостоятельные государи, не подчиненные хану!

— Литовские князи не православные суть! — нахохлившись возражает Алексий.

В боярах движение. Сам князь тянет шею, стараясь не упустить ни слова. Ибо, ежели Византия где-то там,— и пусть ключ к событиям дня сего именно в Византии, пусть то, что творится на Босфоре, возможет повториться и на берегах Клязьмы и Москвы-реки, все-таки Цареград далеко, и для ближнего, простодушного ума трудно постижима сия связь, по которой от участи старцев афонских зависит участь Великой

Руси,— Литва, наоборот, под боком у всех, литовские разъезды тревожат вотчины московских бояр, и потому то, что творится в Литве и с Литвою, мнится многим из предсядящих, особенно мирянам, важнее цареградских событий.

— Стоит литовским князьям принять святое крещение,— с тонкою улыбкою победителя продолжает клирик,— и Литва, а не Русь станет великою православной державой!

Алексий молчит.

— Я слышал,— продолжает грек, наступая,— что Ольгерд крещен по православному обряду? В Вильне есть церкви и множество православных прихожан, да и во всех областях, ныне принадлежащих Литве, проживают ведь православные русичи? Гедимин уже замыслил принять святое крещение со всею своею землей, правда от латинского легата... («А будет уния,— не договаривая, додумывает про себя клирик,— и это различение вер потеряет всяческий смысл! Церковь станет единой, и литовские князья неволею примут учение Христа!»)

— Позволь,— глухо отвечает Алексий.— Позволь не говорить мне о том, о чем надлежит ведать боярам и князю. Да, Литва растет! Но, мыслю, церковная рознь сослужит роковую службу Великому княжеству Литовскому и не состоится Литва яко православное государство Востока!

Он не доказывает, не подкрепляет слов своих вескими доводами разума, но шелест одобрения проходит по рядам. Так, стойно Алексию, хотят думать все, ибо они не литвины, а русичи. И верят Алексию, ибо жаждут верить в конечную победу Руси, а не Литвы. Боярам достаточно уверенности Алексия. Князю — тоже. Греческий клирик с удивлением видит, что он, вроде бы одолевший противника в споре, остался сейчас в меньшинстве. («И это тоже,— думает он,— надобно принять к сведению, ежели одолеет Палама!») Однако мнение о Литве у него прежнее. Неведомо, что сотворит в грядущем с сею владимирскою землей, но Литва уже теперь сильнее и, главное, свободнее от сторонней власти, а значит, надобно приложить все силы, дабы присоединить ее к греческой церкви. Кто знает, не послужит ли это ко грядущему благу великого города Константина?

Спор утих, ибо Алексий не хочет говорить греку

всего, что думает о Литве, и успокоенный цареградский клирик вновь обращает внимание на белорыбицу, вяленые фрукты и греческие орехи, освобожденные от скорлупы и сваренные в меду. Пир идет своим чередом, и не пристало посланцу Византии оскорблятися излишнею горячностью одного из варваров... Хотя бы и утвержденного в сан наместника греческого митрополита!

А Симеон, весь во власти реченного Алексием, окидывает сейчас мысленным взором дела и труды княжения своего — с той слепительной высоты, которую указал ему днесь отцов крестник. Устоит ли Кантакузин? Как поведет себя польский король Казимир, его свояк, женатый на дочери Гедиминовой, Ольдоне? Столкнется ли с Литвою на дележе Волыни или вступит с нею в союз? И как поведут себя семь сыновей Гедимина? Не разорвут ли на части страну? Или грозно-непонятный Ольгерд (передают, что он совсем не пьет хмельного и замыслы свои таит ото всех) придет к власти, свергнув или удалив из Вильны Явнутия? Как поведет себя в сем случае венгерский король? Станут ли чехи воевать с ляхами? О чем мыслят орденские немцы, четыре года назад получившие у кесаря указ, разрешающий захват и подчинение себе всех литовских (а значит и русских!) земель? И ко благу ли Руси пришла далекая, на самом западе Европы, начавшая война между англянами и королем франков? И уже со стыдом думает молодой московский князь, сколь же он был мелок и суетен, занявши свой ум без останка грызнею московских бояр и выяснением, любит ли его венчанная жена, обязанная любить мужа уже по одному церковному благословению!

Алексий, уведавший прежде иных о гневе Симеона на боярина Хвоста, тут, улучив миг, вполгласа, немногословно, в свой черед остерегает князя. Рек — и взглянул заботно, проверяя. Симеон склонил голову, наморщил чело. Видно было (Алексий понял по муке лица), что в нем борются разум, велевший безусловно послушать мнения старшего, с пылом души, желающей немедленного действования.

«Что победит в нем?» — гадает между тем Алексий. А от того, что победит в юном князе, станет

ли он продолжателем дела отцова, зависит теперь и вся участь страны, как и его, Алексия, труды и старания, все то, что он изъяснял покойному Ивану как грех и крест, взятые им на рамена своя ради русской земли. Кажется, однако, в княжиче побеждает благое! (Алексий все еще не может перестать считать Симеона княжичем.) Он чуть заметно вздыхает. Ведь это главным образом для него, для юного сына Калиты, была днешняя отповедь цареградскому греку. Князь должен слышать слово правды из уст наставника своего! Все еще впереди, Алексию еще внове привыкать к иному, чем прежде, отношению с Ивановым сыном. Симеон проще отца, быть может, не так талантлив и не столь глубок. Возможет ли он? Не сломит ли его упрямый ход времени? Тем паче теперь, когда все вороги отцовы попробуют возместить свое на сыне!

Алексий потупляет взор долу, думает. Он уже не молод, хотя и быстрота ума и бодрость в членах у него прежние. «Зришь ли ты, Иване? — спрашивает он мысленно.— Вот сын твой, и вот я, твой крестник! Кто я ему теперь? Сводный брат или наставник? Помоги, Господи, руководить мне князем сим!» — просит он в молчаливой молитве.

Трапеза подходит к концу. Алексия вновь поздравляют с назначением. Симеон, дождавшись, когда палата опустеет, подходит, в черед, к Алексию и, получив благословение, краснея и бледнея, проговаривает:

— Отче! Я слышал тебя днесь, и я давно... Я давно хотел сказать, просить, коли что не так или непутем, словом — буди мне в отца место!

— Благословляю тебя, сыне мой! — с чувством отвечает Алексий и, в свой черед, целует в лоб молодого московского князя, наклонившегося к его руке. Оба понимают, сколь много и многое сказано ими сейчас друг другу.

Алексий прямо смотрит в глаза князю, и Симеон выдерживает пытливый отеческий взор митрополичьего наместника. «Да! — молча говорит он.— Я беру на себя крест, и не согнусь, и не отрину его от себя, даже ежели возропщу и ослабну на мал час, как обещал у отня гроба и обещаю теперь тебе, свидетель и крестник отцов!»

Они выходят последними из покоя. Слова более не нужны. То, что было сейчас,— на всю жизнь.

«Теперь,— напоминает себе Симеон,— надо соснуть хотя немного, пока торочат и седлают коней».

Завтра ввечеру ему надлежит быть во Владимире.

ГЛАВА 23

В молодечной пахнет редькой, потом здоровых мужских тел, сыромятью и тем особым, чуть кисловатым запахом начищенного железа, который присутствует всюду, где хранят оружие.

Брящая саблями и громко топоча, вваливает сменная сторожа, шумно составляют в угол короткие копья, стягивая через голову перевязи, кидают сабли прямо на долгий стол, валятся на лавки, кто-то тут же, напустив смраду на всю молодечную, стаскивает с ног сопревшие сапоги. Звучат ругань и смех, старшой громко выкликает очередных в ночной дозор, надрываясь, орет:

— Филимон! Филимон! Филька, черт паршивый!

По-за столами трясут и будят, натирая уши, заспавшего ратника, пинают в спину, насаживая на уши шелом с криво вдетым в него подшлемником.

— Чаво? Чаво ето? — моргает, не в силах прочнуться, ратник и вертит головою под дружный гогот товарищей.

В углу палаты не прекращается игра в зернь, и старшой недовольно воротит нос. Запретить бы, да чем тогда займешь молодцов? И так истомились без дела! Хошь посылай с хвостовскими драться! Прижали наших совсем... Он бурчит нечленораздельное, и ратники, поглядывая на норовистого старшого, грудятся кучею, спинами загораживая игроков.

Игроки: один — тот, что проигрывает и уже выложил нож в серебре, ордынской работы,— бледен, взъерошен и свиреп; противник, поглядывающий на него с масляным прищуром, трунит над приятелем, хитро и небрежно мечет кости, приговаривая раз за разом: «Полняк!», «Петух!», «С пудом!». Кругом, соболезнуя игрокам, нависают аж над головами играющих, обдавая жаром и вонью раскрытых от волнения ртов, тычут перстами: «Ты, тово, Кирюха, ты, ето, круче клади!» — «И, эх, опять голь!» — «Не! Трека!» — «Един шут...»

Никишка, Мишуков сын, раздувая ноздри, щурясь

и поминутно сплевывая сквозь зубы, тоже пристроился на конике, над игроками; разбойным глазом нет-нет и поведет посторонь: как там старшой? Любит, пес, молодых совать в ночную сторожу, стой тамо, пока старики здеся дрыхнут, была нужда! Пока его еще не назвали, и Никишка, одним глазом не отрываясь от игры, гадает: пронесет чи нет?

— Не пихай, шухло!

— Сам-то... Смердья сыть!

— Эгей, кмети, кто там расшумелся?!

— Мишуков сынок! Монашек!

— Батьку не замай! — уже едва не в драку лезет Никита. Мишук Федоров недавно ушел в монастырь Богоявления. Болтали, с помощью митрополичья наместника Алексия. К Никите оттого легкая зависть с насмешкою: «монах»! К тому же Никишка требует, чтобы его величали тоже Федоровым, по деду, а не по батьке, и тут подзуживанья идут ежеден.

— Не Мишуков, а Федоров! — кричит Никита.

— Почто бы? — невинно прошает спорщик.— Словно какой боярин великой!

— А пото! Мой деда Переяслав князю Даниле подарил!

— Ну, так уж и подарил! На серебряном блюде поднес!

— Грамоту доставил от тамошнего князя ему дарственну! Не он бы...

— Ну, ну, браты! Кулаками не махать! — встревает кто-то из стариков.— А парень прав! Наша служба тоже не последня! Ино и бой можно потерять, коли какой ратный наказа вовремя не подомчит или иное што!

— Можем! Чего мы можем! — взрываются голоса.— Сидим как вороны на погосте! Нагнали тута Босоволковы рязанских да коломенских, а мы, москвичи, и ни при чем уже! Ничо не можем! Сам Василь Протасьич не может!

— Князь воротился, теперя наложим хвостовским по шеям!

— Наложил один такой... Себе в штаны!

— Покинь!

— Охолонь, мужики!

— Погодь, князь сядет на стол в Володимире, тогды порядок наведет и здеся!

— А все ж ты молод, глуздырь!

Никишка, готовый вцепиться в супротивника, вдруг слышит голос старшого:

— Никита Федоров! Федоров, так твою мать!

— Здеся! — опомнясь, отзывается Никишка.

— В дозор к Боровицкому спуску, туды-т растуды-т!

Парень, хмыкнув и показав язык сопернику (Федоровым, однако, назвал старшой!), подтягивает пояс, сплевывает через плечо, живописуя презрение, и волоча за собой отцову саблю, уходит враскачку, подражая в походке бывалым старикам.

На дворе, в потемнях, ратники строятся плечо к плечу, крепче подхватывают копья. Ругань и озорные шутки стихают. Кто-то подъезжает на высоком коне, спрыгивает. По конскому убору и кольчатой, отделанной серебром броне с накладными зеркальными пластинами узорной стали, прежде чем по лицу, догадывают: молодой Вельяминов!

— Здорово, други! — Василий Василич, от коего пахнет не редькой, а дорогими аравитскими благовониями, проходит вдоль строя, в потемнях, щурясь, вглядывается в лица кметей.

Молодому Вельяминову тридцать лет, он крепок, широк в плечах, хотя и чуть ниже отца. Внешне всегда спокоен — подражает родителю-батюшке. Но в вырезном разрезе ноздрей, в погляде горячих глаз, в жестко сведенных скулах провидится скрученный, сжатый до часу бешеный норов. Младшего Вельяминова боятся кони, а это знак плохой.

Он оглядывает ратный строй, роняет негромко:

— Соскучали, молодцы?!

Таким вот негромким, с придыхом, голосом говорят перед дракою или перед сражением, прежде того, как уже высоким, режущим уши окликом возопить: «Сабли к бою!» или: «Бей!»

Рожи ратных расхмыливают, расправляются плечи. Но молодой Вельяминов, не давая кметям иной повады, машет рукою:

— А ну, ходом!

И ратники, бряцая оружием, начинают выходить со двора. Никита стоит крайним в ряду, и Василь Василич, заметя ратника, манит его пальцем.

— Не Мишуков ли сын? Никита, кажись?

— Я самый! — радостно отзывается Никита, выпя-

чивая грудь, гордый тем, что боярин и признал его, и имя вспомнил.

— С тобою, кажись, мы ярославского князя имали на Волге? — прошает Вельяминов вполголоса, глядя мимо его лица, вслед уходящим ратникам. Никита утвердительно фыркает. Василь Василич переступает с ноги на ногу, медлит, решается наконец:

— Слушай, воин! Там, под горой, на мосту, хвостовские. Мостовое емлют, собаки! Надобно без драки перенять мост! Сумеешь? Ну, а ежели драка... чтобы с ихней, не с нашей стороны!

Никита весело хмыкает, что означает полное согласие, и так же, как и молодой Вельяминов, раздувает ноздри.

— На вот! — сует Вельяминов в руку Никите серебряный диргем.— Разделите тамо! Только гляди, я те не баял ничего!

— Вестимо! Сделаем! — кидает Никита, обнажая зубы, и весело бежит вослед ратникам, догоняя своих. То-то обрадеют молодцы! Одначе теперича нать не подгадить, как тогда, с ярославским князем! Он уже на ходу прикидывает, кому, как и что сказать, кого отозвать в сторону, кому повестить с ухмылкою и с намеком... «Сам-то боярин небось в драку не лезет пока! Рук бы не замарать!» — мелькает у Никиты сторонняя мысль. Впрочем, он отлично понимает Василь Василича и не гневает на того. А померяться силой с пришлыми хвостовскими, которые совсем распустились на Москве, ему, коренному москвичу, и самому любо.

ГЛАВА 24

В московском терему Акинфичей радостная суета. Из Орды воротили Федор Акинфов с Александром Морхининым. В гости пожаловал большой, тяжелый Андрей Кобыла. Барственным медведем расселся, весело оглядывая загорелые, обветренные рожи приятелей. Набежали родичи, знакомцы, шабры, московская чадь.

Слуги уставляют столы закусками и снедью. Из поварни вовсю валит вкусный пар. Иван Акинфов мечется из больших горниц в нижние, заскакивает в медовушу, в челядню, в хлебню... А тут, как на грех, и еще гость пожаловал, по днешнему часу словно бы

и немного лишний — сам Алексей Петрович Хвост, затеявший тяжбу с Вельяминовыми, у которых он самостийно едва не отобрал тысяцкое, пока князь Семен болтался в Орде.

Иван суетится, мечется и лебезит. У самого рыло в пуху, а нонече нельзя бы... и принимать-то тово... Тем паче, гости тута, как оно повернет еще!

Едва увел Алексея от больших столов, в особицу, и уж тут как бы употчевать только! Соорудил, кивнул кравчему, целый костер из закусок, блюд и питий: тут и резаная осетрина, и печеный фазан в перьях, и кулебяка на четыре угла, и гора творожных ватрушек, и мед, и фрукты ордынские...

— Чего в повалушу не зовешь? — хмуро цедит Алексей, угрюмо глядя на печеного фазана, что, расправленный на серебряных проволоках, словно бы готовится взлететь, приподняв долгий переливчатый хвост.— Али стыд перед гостями меня принять?

— Отведай белорыбицы! — отвечает с улыбочками хозяин, щурясь, обихаживает Хвоста, сам почти подает блюда и тарели.

Иван постарше Хвоста, и тому не очень-то способно костерить ласкового хозяина. Он нехотя отпивает, заедает, а Иван мелким бесом плетет что-то неважное, и все не о том, все не по делу. И Алексей срывается. Ударяя серебряным кубком о стол, расплескивает дорогое греческое вино, кричит:

— Дело молви! Поможешь ай нет! Ить безо твоей да Кобылиной заступы съедят меня Вельяминовы! С потрохами съедят! Даве моих молодцов в драку с моста спихнули!

У Ивана темнеют глаза. Улыбочка, криво зацепившаяся за ус, еще помедлив, сползает с лица.

— А ты меня прошал? Когда коломенский мытный двор твои молодцы забирали?! — кричит он в ответ высоко, с провизгом.— Погодь! Прошал ты меня о том, когда ты государев наказ ни во что поставил? Грамоты я тебе давал, што ль, противу князя своего?! Все мы слуги верные! И волен един князь нас и судить и миловать! — кричит Иван, забывая в сей миг, что сам мирволил Хвосту, дабы навредить Вельяминовым. Но... Тогда Симеон еще не был великим князем и неведомо было, станет ли, а ныне и Симеон на владимирском столе; и Алексий наместником назначен, а Бяконтовы вовек с Вельяминовыми в дружбе стоят... Тут как еще

повернет дело! И потому, наглея, отбросив увертки и лесть, он и кричит на Хвоста.

Спохватываясь (кричать-то тоже не след!), вздрагивающей рукой наливает кубок, подвигает блюдо греческих черных соленых маслин, приговаривая:

— С рыбою добра снедь! — и, сбавив голос, бормочет: — Не гневай и ты на меня, сам взойди в мою трудноту: давно ли мы на Москве? Меня да Кобылу Иван Данилыч, покойник, без году неделя как от князь Лександры из Твери перезвал! А Вельяминовы еще с Данилою Лексанычем прибыли на Москву до нашего быванья, боле полувека тута! Твой родитель тоже князю Даниле служил, понимаю, и рязанского князя имал, и тово... (Иван Акинфич стесняется произнести, что и убил плененного рязанского князя тоже родитель Хвоста, Петр Босоволк, по приказу Юрия, о чем доселе крепко помнится на Москве.) Теперича думай! Природны москвичи, тот же Сорокоум, поддержат тебя? Ай нет? Ну, пришлые, принятые, рязане, коломенски, оне поддержат, дак Москва не Коломна ищо! Тута и налететь мочно! А я-ста как? Братья ноне в Орде со князем побывали, честь великая! Нам противу Семен Иваныча свово никак нельзя! Уж ты тово... Пади хошь Алексию в ноги!

— Не буду! — мрачно возражает Алексей Хвост.— Все одно не покорюсь Вельяминовым! Батьку мово покойного ищо князь Юрий ладил тысяцким поставить на Москве! Убили, дак не успел! А князь был — Семену не чета! Михайлу Святого передолил самого! На дочке царевой был женат!

— Ты постой, постой! — остужает Хвоста Иван Акинфич.— Ивана, покойника, не забудь!

— А што Иван?! Переслав князь Юрий в велико княженье николи б не отдал! А теперя кака беда,— одолел бы хошь Костянтин Суздальский,— и не видать нам Переслава, как ушей на голове! На покупки ярлыков всю казну потребили, всих князей озлобили, а и Новгород против нас, не так разве? Да не сам ли ты и баял о том?!

— Ну, ты тише, тише! Не баял я тово...— бормочет Иван, тревожно оглядывая на слуг.— Ты, Алексей Петрович, молод ищо, норовист! Не видавши жизни, с маху-то... Василь Протасьич всюю жисть, эко! В отца место. Ты охолонь, охолонь... Пади в ноги, пади! От поклону-то голова не болит!

— Дык не поможешь? — набычась, спрашивает Хвост.

— Потолкуй сам с Андреем Кобылою! А я не возмогу, не возмогу... Да ты съешь, выпей! Ты ведь у меня гость дорогой, особенной! А токо не время нонече, не пора! Утихни теперь!

— Не время... Вельяминовым сносу нет... Дубы! По сту летов живут! — бурчит Хвост.

С Кобылою он уже баял, и тот тоже отвергся помогать Хвосту. Сказал просто, открыто и весело глядючи в лицо Алексею: «Непутем творил, и моей заступы тебе тута не будет! Не обессудь! Протасьич в сем деле правее тебя!» Сказал прямо, попросту. И обижаться на огромного человека, на его мужицкую прямоту нельзя было. Ни с чем ушел Алексей от Андрея Кобылы. А теперь, с отказом Ивана Акинфова, почуял, как неверные весы, на коих весятся успех и неудача, зримо и веско склонили в сторону его супротивника...

Оставалась надея на коломенских бояр, те все за него горою стоят, да на самих братьев великого князя. Только — помогут ли и они?

ГЛАВА 25

На серую затравенелую осеннюю землю ложатся черные борозды. Взоранная, рыхло раздвинутая ралом земля осыпается под сохой. Крепкие руки молодого девятнадцатилетнего парня сильно и бережно ведут деревянную снасть. Ровно идет приученный к пахоте конь. Не рванет в сторону, не выскочит из земли тяжкое рало, едва проблеснут в крошащейся земле отполированные до блеска сошники двоезубой сохи.

Соха не перевертывает, а раздвигает землю, губя сорную траву, но не нарушая пахотного слоя. Еще целые века пройдут, пока по этой земле пойдет сверкающий сталью отвальный плуг, переворачивая наизнанку слежавшийся пласт.

Русич, что пашет сохою, торопясь посеять озимую рожь, не ведает ни о размыве земли оврагами, ни о черных бурях,— он попросту работает так, как работали предки до него.

Землю бережет сама традиция старины, навычаи отцов и святая уверенность в том, что облегчать себе труд — греховно. Сказано бо: «В поте лица». Вот он

останавливает на миг коня и отирает рукавом влажное чело. Осень уже обрызнула близкий лес первым своим золотом и напоила легчающие небеса ясною прозрачною тишиной. Молодой пахарь вновь берется за темно-блестящие рукояти. Конь поводит глазом, гнет шею; видя, что хозяин взялся за соху, напруживает задние ноги, сам, без зова, трогает с места.

Пахарь одет в посконину и лапти. На обнаженной голове только шапка выгоревших на солнце русых кудрей. Ничто в нем не обличает отличия от обычного смерда. На груди, на кожаном гайтане, серебряный крест,— впрочем, серебро не в редкость и у крестьян, так что и эта подробность не в отличие, и догадать, что пашет землю боярский отрок, не можно ни по чему. Да и почто бы боярину самому пахать под озимое? Хотя пахать, как и косить, умеют все в русской стороне, и все же, чтобы так вот, с полною отдачей, по-крестьянски? Бывает! Но редко. Верно, из разорившихся вконец боярчат? Да нет! Из оскудевших, верно, но далеко не вконец. Мог бы и не сам пахать боярский отрок! Однако пашет сам. Ладно поворачивает соху, обнажая блестящие наральники, ладно ведет борозду и думает...

Нет, не думает даже! А мечтою, незримым ощущением естества, глядя на золотой свет низящего солнца, мечтает, мыслит о свете фаворском — таком же золотом, сказочном, о коем когда-то, в дали дальней прожитых лет, толковал он пятилетним младенем умирающей девочке в отцовом дому, когда страшная Федорчукова рать катилась мимо их родового ростовского терема и отец, рискуя жизнью, подбирал на завьюженном пути обмороженных, полумертвых беглецов. Подбирал и выхаживал в погребах своего боярского дома.

А девчушка умирала от трупного заражения — от обмороженных ног, и он, сидючи с нею, гладил ее по волосам и объяснял, сам горячо веря тому, что ее после смерти унесут с собою на небо ангелы и она узрит свет, фаворский свет! Неизреченно прекрасный, струящий лучи от престола господня.

Девочка умерла. Отрок вырос и пашет землю, мысля вскоре уходить в монастырь. И ему неведомы споры ученых иерархов о Варлааме и Акиндине, о Григории Паламе, сотрясающие далекую Византию. Но свет духовный, фаворский свет, чает он увидеть сам, когда уйдет совершать подвиг иночества в лесную одинокую пустынь. И что там мыслят ученые люди? О чем толкует его много-

умный старший брат Стефан? Юноша с грубыми руками, что до заката замыслил допахать свое поле, знает одно: не слова, а дела важны пред Господом, а ему, как и всей Руси, нужнее истины афонских старцев, чем хитросплетенья латинских мудрецов. Ибо не пришло еще время менять соху на плуг, но пришло время вспомнить святыни родимой старины и встать с ней и над нею против иноземного ворога, против чужой веры и чуждых навычаев льстивых немецких и иных мудрецов. Пришло время Руси встать, возродить себя в новом обличье, отрясти прах забвенья с родных святынь, и потому — да! Традиции, вера — нужнее многоразличных и многоразлично лживых западных умствований.

Нет, юноша не может всего этого так связно сказать и даже помыслить. Но он знает, что надо и должен делать он сам, дабы спасти Родину. И, зная, намерен делать потребное Господу Богу и народу своему изо всех сил, и даже сверх сил, и даже помимо и кроме всяких сил человеческих, ибо надо и до́лжно! И до́лжно именно так! Не с того ли и зачинается великое? С малого. С дела. С веры, что надобно именно так.

Низит солнце. Тоньшает и тоньшает серая полоса еще не вспаханной земли. Конь мокр. Мокр и пахарь. Но он даже не останавливает, чтобы отереть чело.

Да, он боярский отрок, из рода нарочитых ростовских бояр, переселившихся в недавние годы под Радонеж. Имя ему — Варфоломей, а в иночестве, уже близком, его назовут Сергием. Юноша этот знает (сердцем, не головою), что́ надобно его ро́димой земле. Более бояр и самого великого князя, быть может, более даже митрополичьего наместника Алексия. И он намерен, волен и вправе свершить свой подви́г и труд — спасти и сотворить Родину.

ГЛАВА 26

Густые сумерки осенней ночи. Треск и пляшущий свет факелов во дворе. Суетня захлопотанных жонок и слуг в горницах и по сеням. И холод, что нежданно ползет за воротник, пугая разлукою с устойчивым живым теплом ночного жилья. Холод, дрожь, истома тела, жаждущего не пути, а постели; и легкая грусть расставанья с этим теплом, с этим недолгим ночлегом в родном дому, и тревожное ожиданье пути, которое, не признаваясь, без-

отчетно, любил больше всего. Осень. Холод ночи. Дорогу...

Ему подводят верхового коня. Настасья, как и любая жонка на Руси, сует ему, заплаканная, теплые подорожники, и он передает калиту с печевом стремянному и крепко обнимает замершую на миг супругу, и — довольно! В путь! Кони топочут и ржут, грудится дружина, уже верхами, уже готовая ринуть в ничто, в ночь, затканную осенними сапфирами звезд. И он легко, стряхнув с себя последнее разымчивое оцепенение, взмывает в седло и едет, удерживая коня, по сонному растревоженному Кремнику, затем по пустынному в этот час торгу, по отдыхающей, едва светящей огоньками Москве, и, уже выпутываясь из кружева улиц и хором, за последнею ночной рогаткой, ожегши плетью коня, пускает вскачь.

Меняя лошадей и не останавливая, на заре, проскакав близко семидесяти верст, были в Радонеже. Все качало и плыло перед глазами, хотелось спать, но, подкрепив себя куском обжаренной баранины с ломтем ржаного хлеба и запив все чашей горячего меду, Симеон приказал вновь и тотчас седлать коней.

Скакать на свету, видя дорогу, стало легче, и свежие кони неслись вровень с ветром. В Переяславль порешили не заезжать, уклонив на Берендеево. Усталость ночной скачки развеяло на холодном ветру. Быстрей! Быстрей! На подставах, перелезая из седла в седло, почти не задерживали. Ордынские неутомимые кони шли грунью, переходя в скок. Летела дорога, летело посторонь распуганное воронье, шарахались встречные возы. Мужики, узнавая своих, кричали что-то, порою махали шапками. Летела по сторонам золотая осень в теплом восковом великолепии горящих свечами дерев, в разноцветье далеких лесных островов по склонам, в мелькании голых пашен и скирд сжатого хлеба. Пролетали деревни, погосты, торговые рядки. Стаи птиц тянули в вышине, уходя в Орду от грядущей суровой зимы...

Лес то сжимал дорогу в объятиях своих, и тогда голые ветви хлестали его по лицу, то расступался и совсем отбежал, наконец, когда вереница неутомимо скачущих всадников вырвалась, близ Юрьева, в просторы владимирского ополья. Низило солнце, покоем дышали поля. Влажная черная земля крошилась под копытами, глушила топот коней.

В Юрьеве решили заночевать. (Юрьев был уже, почитай, свой город. Тихо-тихо отец таки прибрал это неболь-

шое и хлебное княжество к рукам.) Спал Симеон без сновидений, проснулся еще в потемнях и тотчас велел седлать. Шестьдесят с лишним верст от Юрьева до Владимира проскакали за три часа, и к пабедью, наскоро приведя себя в порядок, уже въезжали в стольный град владимирской земли.

Вздымались валы с почернелыми башнями. Гордо, как прежде, высились древние белокаменные соборы. Звонили колокола. Толпился народ в улицах. Симеон рассчитал верно: ханские послы уже ждали его на княжеском подворье.

Назавтра, первого октября, на память Покрова святой Богородицы, назначено было торжественное посажение нового великого князя на стол.

Михайлу Давыдовича, брата ярославского князя, Симеон принял в тот же день, вечером. Моложский князь, такой же лобастый и плотный, как и его старший брат, оказался, однако, значительно более робок. Усумнился, возможно ли ехать в Торжок тотчас, пока еще Симеона не посадили новгородцы у себя на столе. Пронзительно глядючи ему в очи, Симеон (в коем еще бушевала вчерашняя дорога, еще скакали кони и качалась и дыбилась земля) отмолвил, слегка раздувая ноздри, что московские борцы им уже усланы и князю, дабы возглавить дружину княжеборцев, надлежит скакать тотчас, лишь только состоит завтрашнее торжество. Давыдович, внимательней вглядевшись в очи сына Калиты, покивал головою согласно: «Коли так...» Пили мед, слуги подносили закуски. «Так!» — отмолвил Симеон. (Сейчас кожею чуял: надо им всем дать понять сразу же, что великий князь владимирский теперь он и Москва по-прежнему, как и при покойном родителе, намерена главенствовать в залесской земле.)

Моложский князь все еще шарил взглядом по лицу Симеона, искал чего-то, может, робости или неуверенности в себе? Не нашел. Поклонился москвичу; приканчивая трапезу, обещал скакать в Торжок не умедлив.

К вечеру прибыли Феогност с Алексием и свитой. Венчание на стол обещало быть торжественным. Видимо, крестник отца озаботился этим сугубо.

Симеон плохо спал эту ночь. Думал. Радости не было. Полною мерою почуялось, проникло его до глубины, что берет на себя крест. Но и желанья отступить, скрыться,

как некогда, не было тоже. Крест предстоял ему и никому более. Заснул ненадолго он только под утро и был разбужен мелодичным перебором колоколов. Начинался день, к которому покойный отец вел его, Симеона, всю жизнь, от младых ногтей уча и наставляя в заботах власти. Он не сразу встал, еще полежал, смежив очи, не думая уже ни о чем, готовясь, собираясь с духом. С сего дня его путь неотменен и неизменим. Быть по сему!

Слуга вошел с праздничным платьем на вытянутых руках. Не свой, владимирский. Слегка гневая от смущенья (не любил быть полуодетым при незнакомой прислуге), Симеон ополоснул руки под рукомоем, крепко обтер лицо льняным рушником, стараясь не глядеть в почтительное лицо холопа, принял шелковую рубаху, надел тафтяные порты поверх исподних, холщовых, дал обмотать свежим портном и засунуть в цветные сапоги свои ноги; встал, пристукнувши высокими каблуками, вздел белошелковый зипун и застегнул сам звончатые круглые пуговицы. Верхнюю ферязь цареградской парчи до утренней трапезы надевать не стоило. И он, с внутренним облегчением, молчаливым склонением головы отпустил слугу.

Взошли бояре. Свои и владимирские. Симеон глянул на них отстраненно, бледнея и каменея лицом. Спасительною вехой в этой череде вельмож показались несколько лиц близких ему бояринов, с коими сидел недавно в Орде, столь необычно торжественных в сей час, что и признал их не сразу. Понял: не будет после обедни тихой трапезы с немногими думцами, озабоченно-делового застолья соратников, не будет просто еды, будет торжество, уже сейчас, уже с этого, первого мига. А ежели нарушить? Приказать? И поймал взгляд Михайлы Терентьича, строгий, предостерегающий, ласковый: «Терпи, княже!»

И Симеон сдержал себя. Послушно отдался в руки древнего обычая. И все пошло уставным неспешным побытом. Утреня. Обедня. (Это все стоя, в Успенском соборе владимирском, среди пышно разодетой толпы.) Служба, впрочем, успокоила его, настроив на высокий лад. Гласы хора были торжественно-величавы. Некиим кощунством показалось, что после сего церковного благолепия главным лицом в храме оказался ордынский посол, «всадивший» Симеона на стол владимирский.

Татарин важно стал перед престолом, почти в царских вратах. Прочел по-татарски грамоту Узбека, удосто-

веряющую его власть. Еще сказал какие-то приветственные слова. После него выступили Феогност с Алексием. Власть, утвержденная ханом-мусульманином, утверждалась теперь византийскою церковью и ее русским наместником. Ему надели на голову шапку Мономаха, и он подумал: а ежели бы сейчас венчался на стол нижегородский или тверской князь, что было бы тогда с этой реликвией, сохраненной его отцом в своей княжеской казне? Подумал — и не нашел ответа. Он причастился, поцеловал крест и принял благословение... Дальше ему хотелось только одного — конца: конца духоты, жары, многолюдства, почестей... Но за концом службы должен был быть пир, где он опять и сугубо не будет принадлежать сам себе, а за пиром... За пиром — поход на Новгород!

Хор пел торжественную славу, не ему — Господу, и Симеон, бледный от усталости и жары, прошептал неслышно: «В руки твои предаю дух свой!» Парчовый ворот резал шею. Полотняная нижняя рубаха была мокра. Сейчас к нему будут подходить владимирские бояре... (Виждь и укрепи мя, Господи!) Снова хор, снова молитвенные славословия. (Виждь и ты, батюшка! Ты, который так этого хотел!) От густого ладанного дыма и запаха горящих свечей слегка кружит голову. Длится торжество. Раб божий Симеон, московский молодой князь, становит в сей час великим князем владимирским.

Все, что он успел сделать до пиршественных столов, это переменить нижнее мокрое белье. Слуга на сей раз был свой, и Симеон с удовольствием, не стесняясь, рвал с себя и швырял мятое платье, подставляя спину и грудь мокрому полотенцу, облегченно влезал в чистое полотно, давал застегивать ворот и надевать твердые парчовые наручи.

— В дорогах поистомило, господине! Да и служба долга зело! — бормотал холоп, привычно утешая своего князя, коего пестовал еще дитятею и знал почти как себя самого. Все же и он днесь показался Симеону чуточку чужим, чего-то не понимающим во всей этой обрядовой кутерьме.

Алексий встретил его на переходах. Возник нежданно для Симеона. Остановил, вгляделся заботно в очи. Молча благословил. И, кажется, ни слова не сказав, один только

и понял, что происходит с князем, один только и смог утешить.

Когда уселись за столами, хор запел «славу», и Симеон опять не знал, что ему чувствовать в это мгновение и как себя держать перед лицом собравшихся князей, бояр и церковных иерархов русской земли. Он встал, когда попросили сказать слово. Бояре и князья, воротившие из Орды, ждали, что изречет новый владимирский князь, ждали татарские послы, и как трудно было сказать верно,— не оскорбив ни татар, ни братьев-князей,— то, что надобно было и что хотелось сказать им по правде. Что в русской, разноязыкой и редко заселенной (он рек «обширной») земле нужнее всего единство власти, единство собравшихся здесь соперников-князей («братьев-князей» — сказал он), и не произнес слова «единство», но вместо того рек: «любовь» и «согласие»; и не кончил, как бы хотелось: «Пред лицом чуждой орды и хана чужой веры!» — это и так поймут, ежели пожелают понять! Костянтин Василич Суздальский глядел на него прищурясь, вдумчиво. Василий Давыдович Ярославский усмехнул угрюмо — понял, но не принял для себя Симеоновых слов. Он напомнил им имя Владимира Мономаха, последнего великого князя киевского, отбросившего от границ Руси орды кочевников. Яснее сказать уже было нельзя. Сел. Голову слегка кружило. Не перепил ли он владимирского меда?

Князья неспешно подымали чары, говорили ответное, коротко или пространно: о соборном правлении, о согласии, братстве, о господней любви... Как хотелось верить истине сказанных слов! Но словам никогда нельзя верить. Слова говорят по приключаю, так или инако. Иногда даже искренне веря в правду изреченного. А поступают... Поступают по истине чувств, которые потом, уже после поступка, одевают в оправдательные слова, каждый раз иные.

Ну, а что же тогда сотворяет, нет, что возможет сотворить единство чувствований, истинное соборное согласие земли? В этом, наиважнейшем, бессильна власть. И, может быть, только вера возможет сие сотворить и, значит, спасти землю русичей. Как высоко вознес ты меня, Господи, дабы дать узреть с высоты ничтожество мое!

Ну, а в новогородский поход, сулящий добычу и славу, братья-князья пойдут!

— Господи! Камо пойду от духа твоего, и от лица твоего камо бежу? Аще взыду на небо — ты тамо еси, аще сниду во ад — тамо еси, аще возьму криле мои рано и вселюся в последних моря, и тамо бо рука твоя наставит мя и удержит мя десница твоя!

Чуть слышно потрескивают свечи. От колеблемого пламени блазнит, что лики древних икон поводят очами, внимательно и строго озирая предстоящего. Молитва на сей раз не успокаивает Симеона, и речь, стиснутая нуждою иначить слова, не выказывая всей правды, жерновом лежит на сердце.

— Господи! Тебе скажу, тебе поведаю! Почто достоит русской земле быти во власти единой? (В моей власти!)

Кольми паче, яко в теплых западных странах, править каждому у себя! Где герцоги, графы, бароны и как их там называют еще, засевши в каменных твердынях своих за зубчатыми башнями, мало слушают даже и набольшего, короля или императора, а уж друг с другом не считаются вовсе, творя волю свою паче Алексея Хвоста, и все сходит им с рук, и не гибнет земля, и живет, и множит, отнюдь не скудея от постоянных малых войн и нахождений ратных...

Воззри, Господи, на нашу русскую землю! Повидь леса и болота, наши суровые зимы и краткую пору летней страды. Воззри, сколь редо́к человечий след среди наших лесистых пустынь, сколь широко раскинуты и далеки друг от друга грады и веси! Сколь чуждых языков, еще и не приобщенных к вере Христовой, ютится меж нами, русичами, и по краю нашей земли! А дикое поле, земля неведомая, по коему, словно волны, проходят орды кочевых воинов, грозя смыть, уничтожить редкую поросль наших градов и сел?

Вонми, Господи! Ты должен понять, что нету у нас другого пути! Все рассыплет и на ниче ся обратит безо власти единой!

Скажешь, что не от мира царствие твое и с заветом любви пришел к нам сын твой единородный? Скажешь, любовь съединяет и вяжет паче власти и с тем проповедана вера Христова в русской земле? Так, Господи! Да! Да! Не в жестоце и хладе единодержавия, не в тягости, подавляющей всех и вся, но в соборном согласии и дружестве спасе́на будет наша земля! Ибо гневом и властью не соберешь малых сих, а ежели не похотят, то и не придут из-за лесов и вод, призванные князем своим, а

отсидят, сокроют в чащобы и дебри, и что тогда станет с силою сильного на этой суровой земле?

Повиждь, Господи, пото и не изобижен, и богат, и волен смерд на Руси! И было инако при великих князьях киевских, и погибла земля от нахожденья агарян, и не спасли ее ни рати, ни стены городов, ни удаль воевод, ни гордость князей!

Такой власти, какая надобна нам, не ведают в землях иных! И я, малый, пред тобою, великим, не ведаю тоже: прав ли я? Право ли деял отец мой, собирая землю? Где та связь, та грань, та благая цепь, которая вяжет, не удушая, и съединит, не погубив нашей земли?

Господи! Ведаю, что не в силе, а в правде Бог и что иная сила, лишенная блага твоего, рухнет от собственной тяжести, и не дай Боже, даже и в веках грядущих, нам такой, подавляющей все живое, силы власти на нашей земле!

Но, Господи, повиждь и внемли! Погибнем мы от разделения языков, яко неции, строившие башню до неба, дабы потрясти престол господень! Погибнем и не устоим, ежели не съединим землю единою властию, ежели соборно, все вкупе, не похотим того и не содеем так по воле своей!

Вонми, Господи! Ты вручил ныне великий стол в руце моя! Будь же справедлив к смертному рабу твоему! Блага хочу я родимой земле, и в этом праведен я пред тобою! Виждь и помилуй мя!

Симеон склоняет выю. Крепко, ладонями, прикрывает лицо.

В дверь стучат. Он подымает голову. Кто посмел потревожить великого князя владимирского в час молитвы? Или какая беда привела непрошеного гостя в иконный покой? Дайте мне хоть тут побыть одному, наедине с Богом!

В дверь снова стучат.

— Кто там?! — спрашивает он и вдруг понимает: надо встать, подойти, встретить. Быть может, именно сей гость послан Господом по молитве его? Симеон стремительно встает с колен, подходит к порогу, отворяет двери. В проеме дверей — Алексий.

Несколько мгновений оба молча глядят друг на друга. Наконец чуть заметная улыбка трогает уголки глаз митрополичьего наместника.

— Я не помешал твоей молитве, сыне? — спрашивает Алексий.

— Нет, нет! — порывисто отвечает Симеон, отступая назад.— Ты пришел, я... ждал тебя. Благослови, владыко!

— Я говорил с братьями! — строго молвит Алексий.— Иван покаял мне, и Андрей такожде отступил коромолы. С обоими достоит тебе ныне заключить ряд. Скачи теперь на Москву и твори суд боярам. Вскоре и я гряду за тобой!

ГЛАВА 27

В Москву прибывали рати. Дружины бояр и детей боярских, ополчения городов — Коломны, Рузы, Можая и Переяславля. Теперь он был в силе править суд и творить власть, и, однако, осудить Алексея Хвоста оказалось невероятно трудно.

Схватить маститого боярина по одной лишь княжой прихоти было не можно. Возмутились бы все. Обиженные могли уйти, уведя полки, могли даже и не позволить совершить самоуправство, с соромом для князя освободить от уз невинно плененного. Многое могли содеять, и потому никто, никоторый князь, не лез на рожон, творя волю свою не иначе чем по старым обычаям, по слову и согласию большинства. Суд княжой, где князь был и судьей и обвинителем сразу (казалось бы, и не суд, а самоуправство княжое!), творился не инако чем по согласию и в присутствии бояр введенных — ближайших советников государя и судных мужей; творился не по заочью, а всегда и только в присутствии сторон, и обвиненный мог, имел право и должен был «тягаться» на суде, отстаивать правду свою при свидетелях и соучастниках тяжбы, где князь порою лишь слушал прения тяжущихся, не открывая рта. То есть суд княжой — это был суд в присутствии князя, суд, на коем князь олицетворял правоту суда, строгое соблюдение тяжущимися закона, а отнюдь не был самоуправцем и самовластцем, как это начало происходить полтора столетия спустя, с усилением власти самодержавной.

На Москве, где Семен сразу же попал в объятия Настасьи («Да! Великий князь! Рада?! Теперь достоит идти походом на Новгород!»), все пошло не то и не так, как задумывалось дорогою. Боярскую думу долго не удавалось собрать. В уши Семену ползли слухи, мнения, советы, коих он ни у кого не прошал.

Четырнадцатилетний Андрей, младший брат, как

оказалось, виноват был еще пуще Хвоста. Именно он позволил боярину перенять тысяцкое у Вельяминовых. Именно он! Четырнадцатилетний отрок! А отнюдь не бояре его, не Иван Михалыч, не Онанья, окольничий, всеми уважаемый старец, коему всяко возможно было не дозволить беззакония!

Но и они не были виноваты. Москва и доходы с нее по третям использовались всеми братьями по очереди, а посему... Посему дело грозило запутаться совершенно. И ежели бы наконец не прибыл Алексий и не начал исподволь объезжать великих бояринов московских, невесть чем бы и окончил спор Симеона с вельможным синклитом своего и братних дворов.

Он лежал в постели, откинувшись на спину, чуя, как все еще не израсходованный гнев горячим жаром раздувает ноздри и заставляет сжимать кулаки. Близость с женой, после которой наступало всегда опустошающее безразличие (сперва — пугавшее, после ставшее привычным ему), ныне не успокоила его нисколько. Настасья прижималась к плечу, ласкалась довольной кошкой. Он плохо вслушивался в ее шепот, и не сразу дошло, о чем она толкует.

— Чую, понесла, с приезду с самого... Может, отрока Бог даст! — глухо бормотала Настасья, зарываясь лицом в мятое полотно его ночной рубахи. Семен вздохнул, огладил налитые плечи жены, вдохнул ее запах, привычный, слегка щекочущий ноздри. Слова Настасьи вызвали мгновенную застарелую сердечную боль. В то, что будет сын, он уже не верил. Не сотворялись у них сыновья, как ни хотели того и жена и он! Дочь росла одиноко, не радуя родителей...

Еще и потому бунтуют бояре, что он, глава, лишен наследника, и ежели так пойдет... Брата Ивана надобно нынче женить, через год-два подойдет пора и Андрею, супруги народят им сыновей, и тогда бояре и вовсе отшатнут от него, Симеона, в чаянии того часа, когда власть и право перейдут в руки младших Ивановичей. (Об этом, впрочем, на двадцать шестом году жизни думалось редко, и только так вот, по ночам.) Семен нехотя пробурчал:

— Постой, не торопись, не гневи Господа. Может, и не обеременела ищо!

Она затихла. Потом молча покрутила головой:

— Чую! Сердце молвит!

Он только чуть крепче обнял ее, промолчал.

— Што мне делать с Хвостом?! — спросил погодя, не выдержав, глядя в темноту. И опять не слышал, что бормочет Настасья. Думал. Не думал, скорее лежал с воспаленною головой, словно бы наполненной горячим варом.

За стеной, во дворе, глухо топотали кони, доносило приглушенные голоса, звяк стремян и оружия. Подходила ратная помочь из Юрьева. Давеча подомчал гонец, сообщив, что суздальский и ярославский князья тоже готовят полки, и как только укрепит пути, выступят в поход. А ему, во время сие, до горла подошло судить Алексея Хвоста. Показать и доказать всем, что с его волею на Москве должно считаться непреложно.

А воли-то и не было! Были обязанности: жаловать по службе, блюсти честь и место бояринов своих, в свой черед целовавших ему крест на верность и исправную службу... Нарушил присягу Алексей Хвост? Словно бы и не нарушал! Сбирал дань, и тамгу, и весчее в казну государеву, правил мытным двором в Коломне, согнав оттуда Протасьевых данщиков,— дак ведь не себе же и забирал князев корм!

Нет, надсмеялся, нарушил! Волю свою показал! Пренебрег его, Семеновой, княжою грамотою (а тогда еще и не княжою...). Ему, ему, Семену, оказал грубиянство свое! Молод я? Не волен в слугах своих? Да, не волен! А как же батюшка? А так же... Неведомо, как... Умел! Под братом, Юрием, умел править княжеством сам и служили ему! И боялись его бояре! Отец, отец! Коль многому не сумел (али не похотел?) я научити ся при жизни твоей! Судил... Хаял... А вот подошло — и не возмог! И не ведаю, како творить! Господи! Отче! Вразуми!

Только к утру сумел он забыться тяжелым, беспокойным сном.

Дума наконец собралась. Собралась потому, что этого добился Алексий, потому, что сторонники Вельяминовых оказались сильнее, потому, что среди защитников и сторонников Алексея Хвоста (большею частью «новых людей» на Москве) начался разброд, потому, что Акинфичи переметнулись на сторону Семена и Андрей Кобыла не захотел перечить князю своему, потому, наконец, что

в город собирались ратники московских пригородов, для которых имя Протасия — а значит, и его сынов и внуков — было овеяно полувековой легендой, еще не поколебленной в мнении большинства.

И все-таки заседание думы не обещало быть спокойным. Власть Вельяминовых, как и неслыханные богатства рода, с лишком сорок лет прираставшие, не делясь меж потомков, поелику у Протасия был лишь о́дин сын, вызывали зависть как у непроворых сидней московских, обреченных бездарностью своею век пребывать на последних местах, так и у новопринятых честолюбцев, рвущихся к власти и первым местам в думе великокняжеской. И зависть эта, сдерживаемая до поры уважением и общенародной любовью, коими пользовался покойный держатель Москвы, тут прорвалась гноем боярской крамолы, почти что открытым мятежом, подавить который ныне намерил князь Симеон.

Бояре входили неспешно, занимали места по местническому счету своему. Афинеевы, Сорокоум, Михайло Терентьич, Феофан, Матвей и Костянтин Бяконтовы, Андрей Иваныч Кобыла, трое Акинфичей — Иван с Федором и Александр Морхиня, Василий Окатьич, Мина, Иван Юрьич Редегин — брат и соперник Сорокоума, Дмитрий Александрович Зерно... Даже старик Родион Несторыч, давно уже хворавший, прибыл, взошел, опираясь на костыль, и хоть во время всей думы молчал, хрипло и тяжко дыша, все же и он, посильным участием своим, придавал весу боярской тяжбе.

Вельяминовы, отец со старшим сыном Василием, уселись по одну сторону палаты, прямь Алексея Хвоста, и все трое замерли, тяжело и сумрачно уставясь в глаза друг другу.

Среди приглашенных к суду, помимо великокняжеских бояринов, был Михайло Александрович, боярин Андрея и тесть Василия Васильича Вельяминова (отец Михайлы был некогда другом и соратником Петра Босоволка, родителя Хвоста,— так перепутались связи дружества и родства на Москве); был окольничий Онанья; Иван Михалыч и иные бояре княжичей, Ивана с Андреем; были двое городовых бояр, коим полагалось править княжой суд как выборным от посадского люда; были, наконец, коломенские бояре, сторонники Босоволковых, отвечивающие за самоуправство Хвоста... Такого многолюдья не ведала дума княжая доднесь даже и тогда, когда решались важнейшие дела господарские, от коих

зависели благо всего княжения и судьбы московского дома. Уже этим одним мог бы, пожелай он того, погордиться сын Петра Босоволкова, боярин Алексей Хвост!

Начали неспешно и чинно, с присяги и молитвы, но уже и вскипала, и пенилась, и накатывала грозно волна местнической при.

— Почто! — возвыся голос, бледнея и краснея ликом, воззвал Алексей Хвост, едва ему дали речь.— Почто зовут мя отметником князю свому?! Какой неисправою, судом ли корыстным, лихвою ли на мытном стану или неправдой какою огорчил я князя свово?! Все сполна, по исправе, довезено и додано мною в казну великокняжескую, и на то послухи мои здесь сидят и рекут, правду ли баю однесь! Почто самоуправцем зовут мя, яко в очередь княжую, по воле братьев великого князя нашего, правил я суд и власть на Москве и в Коломне? Пущай братья великого князя рекут, коли деял я что без ихнево спросу и совету! Не я один, многие скажут, что стали Вельяминовы яко судьи над судьями и князи над князями на Москве! Емлют виры и посулы, конское пятно и тамгу княжую в пользу свою и не отвечивают ни перед кем по суду ни в котором из деяний своих! А тысяцкое нашему роду, в очередь после Протасия Федорыча, еще покойный Юрий Данилыч обещал! (Последнего не стоило баять Алексею Хвосту — тихое большинство в думе держалось в душе старых правил, по коим честь и место каждому надлежали по обычаю и по роду, а не по князеву слову или заслугам. Да уж боярина, видать, понесло. Противу Вельяминовых он тоже наговорил лишку!)

Тут, однако, не выдержал и Василий Протасьич. Закричал, наливаясь бурою кровью:

— На судное поле зову того, кто смеет явить мя лихоимцем казны княжеской! Древнею саблей отца моего смою позор извета! Когда и какой лепт княжой утаили али недодали мы, Вельяминовы? Могилой родителя клянусь! Горним учителем, Исусом Христом, и всеми угодниками! Крестом сим, его же полвека ношу, не запятнав чести рода своего!

Он и вправду рвал ворот и трясущейся дланью вздымал серебряный тельный крест, меж тем как сын и близ сидящие бояре кинулись усаживать и успокаивать старика.

— На поле! На судное поле! — продолжал он бормотать, трясясь, весь в крупной испарине, пока игумен

Данилова монастыря с великокняжеским духовником успокаивали и разводили по местам едва не сцепившихся в драке бояр,— и это было токмо начало!

Вмешались послухи.

— Не место красит мужа, а муж место! — возгласил Онанья.— Каждый должон князеву службу справлять на добро! Дак и судите, бояре, был ли Алексей Петрович добрым слугою на месте своем? Али татем каким? Али иное што неправо деял?

Онанья явно хитрил, предлагая свой вопрос. Дело было в ином: боярам братьев великого князя совсем не хотелось становиться «удельными», терять права бояр великокняжеских. Пример Хвоста для всех них был поводом заявить о себе: мы такие же! И повод был дорогой, поелику Хвост-Босоволков сам из великих бояринов, и кто тут осудит, по местническому строгому счету, вставших на его защиту?

Начался долгий перечень содеянного Хвостом и Вельяминовыми. Всплыла, к делу, давешняя драка на мосту, и дума уже грозила утонуть во взаимном разборе мелких ссор и дрязгах, когда Симеон понял, что пора вмешаться ему самому.

— Ведал ли ты, Алексей, что я сам, своею рукою, начертал грамоту, коей тысяцкое отдавал не кому иному, а Василию Вельяминову?

— Ведал! — набычась, отмолвил Хвост. (Теперь пришла пора потеть и ему. Он достал из рукава цветной плат бухарской зендяни и отер взмокшее чело.) — Ведал, дак по слову братьев твоих...

— Андрей! — железным голосом, грубо прервав боярина, выкрикнул Симеон.— Како мыслишь ты о деле сем и како речешь ныне?

Андрей встал, бледный как смерть. Иван, непрошеный, поднялся тоже. В думе повисла плотно ощутимая, сгустившаяся грозовою тучею тишина... Но недаром Алексий давеча наставлял и исповедовал княжеских братьев. Затравленно оглянув собрание и словно падая вдрызг, врасшлеп со своих мальчишечьих четырнадцати годов (как там, как тогда, в Орде, при криках с улицы тверского княжича Федора), Андрей опустил голову и, кусая губы, почти со слезами и с ненавистью к себе самому, срывающимся ломким баском выговорил:

— Винюсь! Неправо деял... Подвели мя...

— Кто?! — выкрикнул Семен. Но Андрей токмо

махнул рукою куда-то вдаль, отбоднул головой и сел, со слезами в очах, не вымолвив больше ни слова.

Ропот неодобрения пробежал по думе. Князь в чем-то превысил свои права. И Симеон, поняв, что перебрал и теперь дума того и гляди выскажется в пользу Хвоста, только скрипнул зубами и смолк, не повторив своего вопроса. Алексею Хвосту были дарованы в этот миг жизнь и свобода, и далее мочно стало токмо спорить о нахождении его на службе великокняжеской.

Поняв, что большего ему уже не достичь, что иначе ему грозят обиды и возможные отъезды коломенских бояр на Рязань, Симеон смирил себя. В конце концов, заключая ряд с братьями, он добьется у них запрета принимать Алексея Хвоста на службу.

Однако и это был еще далеко не конец. Надежде Симеона, что Хвоста выдадут Вельяминовым головой и что он, яко холоп, пойдет с повинною на двор к Василию Протасьичу, не суждено было сбыться. Дума, битых четыре часа еще проспорив о том, какова вина боярина и княжичей, порешила все же, что выдать Алексея Петровича Вельяминовым головою не мочно, понеже во многом виноват княжич Андрей.

— Исправа не по приключаю! — прогудел большой, осанистый Андрей Кобыла, покрывая рокотом своего низкого голоса визгливые всплески споров.

— Негоже! — подтвердил, кивая, осторожный Александр Зерно.— Княжая истора — князю и ведати, а боярин не в вине!

Семену пихали в нос нестроения в его собственном дому, и пихали, увы, справедливо! Единственное, чего удалось добиться ему (и то, видимо, из-за негласной поддержки Алексия), что права Вельяминовых были восстановлены полностью. Приходило, что и Алексея Петровича не было причин удалять от службы княжой.

Семен встал. Обвел глазами своих думцев.

— Мужи совета! Бояре! Верные слуги мои! Винюсь во гневе, но иное реку, о чем запамятовать днесь не след никоторому христианину, ни смерду, ни кметю, ни боярину, ни князю самому! (Наука Алексия пришла ныне впору Семену.) Не о том тяжба и не к тому нелюбие мое, был или не был боярин Алексей Петрович добрым слугою в звании тысяцкого града Москвы! А о том, что не по моей, не по княжой воле засел он род Вельяминовых! Должно допрежь всего имати послушание набольшему себя и доброе творити кажному на месте

своем! Слуга — будь слугою, смерд — смердом, кметь, боярин, князь — кажен будь достойным тружеником по званию своему! Кажен должон в первую голову иметь послушание, блюсти ряд и закон данный! Иначе развалит и изгибнет земля и все сущее в ней! Будь хоть того мудрей и талантливей ослушник воли княжой — аще царство на ся разделит, не устоит! О сем реку и в сем виню боярина Алексея! Да не погордит и не порушит ряда и не внесет смуты в согласье наше никоторый людин вослед ему! Пото лишь и требую изженить Алексея Хвоста из ваших рядов!

И опять не знал, не ведал Семен, его ли жаркое слово, тайные ли беседы Алексия помогли тому, но дума после новых и длительных споров утвердила княжую волю. Хвоста Симеон волен стал удалить из числа великокняжеских думцев своих.

В согласии с приговором думы (и в чем-то нарушая этот приговор!) Симеон назавтра разорвал присягу Алексея Хвоста и повелел забрать на князя его подмосковные жалованные вотчины.

Братья с их боярами были вызваны им для обсуждения и утверждения ряда, определяющего их права и обязанности по отношению к старшему (мысль о таковом ряде принадлежала опять же Алексию).

На этот раз собрались не во мнозе числе. Алексий, подготовивший все заранее, предпочел на самом обсуждении ряда не быть. Договорились, после долгих споров и подсчетов введенных бояр, что младшие братья уступают Семену, «на старейший путь», полтамги, конюший и ловчий пути (точнее, доходы от них), себе же берут полтамги на двоих; уступают, на тот же путь, несколько сел (о коих бояра между собой едва дотолковали). Семену, без раздела, отходят волости, коими благословила его тетка Анна (вдова покойного Афанасия, умершего в Новгороде). Боярам и слугам боярским по ряду предоставляется свобода переходить от одного князя к другому. В свою очередь Семен брал на себя обязанность печаловаться женами и детьми братьев в случае смерти последних; торжественно обещал, ежели кто «учнет сваживати братьев, исправу учинити, а нелюбья не держати, а виноватого казнити по исправе». В договор, настоянием Семена, была вписана статья, обязывающая братьев не принимать к себе на службу боярина Алексея Петровича Хвоста, который «вшел в коромолу к великому князю», не возвращать ему

отобранных волостей. Так был заложен первый камень в основании московского единодержавия.

Потом все пошли пеши и с непокрытыми головами к могиле отца. В храме, по очереди, поцеловали старинный восьмиконечный серебряный, с эмалью, отцовский крест: «Быти всем заедино, младшим со старшим и ему не без них». Снова тень покойного Калиты коснулась их своими крылами. Стоя в соборе, у могилы, все трое как-то опять и враз поняли, что они — единая семья и друг без друга им не можно быть. Был светлый час, миг примирения и покоя.

Договор, составленный и утвержденный, на дорогом пергамене, подписали в послухах Василий Вельяминов, тысяцкий, с сыном Васильем Васильичем (Семен мыслил этим обеспечить будущее Протасьевой семьи), Михайло Александрович, боярин Андрея (тесть молодого Вельяминова), Василий Окатьевич, окольничий Онанья и боярин Иван Михайлович (последние двое как послухи братьев великого князя).

Значительно позже Семену пришлось-таки понять, что молчаливое устранение многих видных бояр от подписи под этим договором было не к добру и что судьба Алексея Хвоста зависела далеко не от одной его личной княжеской воли.

ГЛАВА 28

Подстылая земля глухо гудит под копытами. С неба порошит редкий, едва различимый глазом снежок. Дерева, не облетевшие по осени, стоят в потемнелых уборах, как бы размытые и высветленные предзимней лиловатой голубизной. Серый морок скрывает дальние окоемы окрестных лесов и пустыни убранных полей. Торжок показывается как-то сразу, воскресает, вылезает из-за пригорков, стройными столбами дымков уходя в тающую небесную белизну.

Михайло Давыдович ежится, тревожно оглядывает спутников. Ни поспешность нового великого князя, ни воеводская беззаботность московитов не внушают ему уверенности в замысленном деле. Однако, поспорив для приличия, покричав и поругавши бояр и князя, торжичане открыли наконец москвичам ворота и впустили княжеборцев в город.

Иван Рыбкин тотчас потребовал уступить слугам

великого князя наместничьи палаты, выдать кормы людям и лошадям и предоставить главам посольства отдельные хоромы, понеже московские бояре явились в Торжок с женами, намерясь обосноваться на нежданном наместничестве прочно.

Уже пылали костры на дворе, уже над поварнею подымались волны пара, уже тащили, резали и свежевали баранов, и, оглядевши деловитую суету москвичей, моложский князь несколько поуспокоил сердце. Ужинали сытно. Назавтра княжеборцы переняли мытный двор и почали взимать тамгу и весчее с новогородских гостей. Торг раздраженно гудел, но при виде оружных кметей купцы нехотя развязывали пояса, досадно крякая, выкладывали корабленики и гривны, рубли и диргемы.

Рыбкин напирал, дабы тотчас начать брать черный бор со всех смердов по волости, а на дорогах поставить своих людей и беспошлинные обозы заворачивать к наместничьему двору.

Ратники толпою ходили по улицам, из двора во двор, требуя со всех поряду кормов и даней. У Михайлы Давыдовича страх сменился радостной жадностью, он и своих людей чуть не всех разослал вместе с княжьими борцами и по-детски радовал обильному приносу: скотине, что стадами стояла во дворе, тяжко и надрывно мыча и блея, серебряным блюдам и чашам, ве́ским кошелям серебра, возам масла, скоры, льна, пудовикам желтого воску и прочему многоразличному приносу, нескудная часть коего полагалась ему самому как кормы и княжая дань. И Михайло, торопясь, суетясь (не хватало сенов кормить скотину, не хватало подвод, людей, рабочих рук), уже налаживал обоз с добром восвояси, уже услал гонца за семьею, понеже ехать вместе с женой поначалу забоялся было...

Московиты не догадывали, что в Новгород уже ушло посольство новоторжских бояр с просьбою о помочи и защите от московского грабежа, что уже состоялось бурное вече, решившее дать отпор великокняжеским притязаниям, что уже, по первой пороше, скачет в Москву из Нова Города боярин Кузьма Твердиславль с посольством и жалобою к великому князю: «Еще не сед у нас на княжении, а уже бояре твои сильно деют!»

Новогородская вятшая господа твердо стояла на страже своих прав: принимать и признавать власть великокняжескую не прежде того, как князь сядет на

столе в Новом Городе, то есть приедет к ним и принесет присягу по старым грамотам «на всей воле новогородской». Да и тогда у многих надея была не дать князю черного бора, откупиться дарами и посулами, а то и силу явить, вперекор хотению великого князя. Да и неясно было еще, на что способен молодой великий князь. Окажет ли он упорство и силу отцовы или отступит, удовлетворясь обычною новогородскою данью да приносом в полтысячи новогородских рублей? (Что само по себе было отнюдь не мало!)

И вот, пока московские княжеборцы, разослав по селам кметей, шерстили Торжок, а с неба шел и шел мягкий липнущий снег, выбеливая улицы и своим однообразным тихим шорохом успокаивая остатние страхи моложского князя, по заснеженным дорогам, берегами Ловати и Мсты шла на рысях к Торжку новогородская боярская рать во главе с нарочитыми мужами ото всех пяти городских концов: Матвеем Варфоломеичем, Терентием Данилычем с братом, Олфоромеем Остафьевым и Федором Аврамовым. Шли споро, перенимаючи попутных гостей, чтобы не дать вести московитам. Под Вышним Волочком полки соединились воедино и двинулись на Торжок, разославши по волости загонные отряды легкой конницы.

Семеновы княжеборцы все еще ничего не знали не ведали, когда под Торжком появились первые новогородские разъезды и Матвей Варфоломеич с Олфоромеем Остафьевым, оба в бронях под шубами, съехавшись конями и морщась от мокрого снега, что летел в лицо, мешая смотреть и залепляя конские морды, прикидывали, как сподручнее невестимо ворваться в город.

Смеркало. Снег из белого стал серо-синим, и ратник-москвич, намерясь запереть на ночь тяжелые воротние створы, не разобрал, что за люди грудятся по-за мостом верхами: какой припозднивший обоз, свои ли ратные из деревень? Он хрипло окликнул кметей:

— Эгей, мужики! Семеновы, што ль? Ково лешева стоитя?

От темной груды комонных отделился один, шагом поехал через мост, поправляя круглую шапку, свесился с седла. Ратника слишком поздно ожгло, что комонные словно бы и не свои. Коротко хряпнул железный граненый кистень на ременчатом паворзе, кметь, получивши нежданный удар в висок, начал, теряя сознание,

заваливать вбок. Комонные, молча шпоря коней, вомчали в ворота. Хряст, треск, сдавленные крики, возня во тьме и снегу, склизкое и паркое под пальцами и ногами, топот по ступеням костра, и вот уже заметались факелы на верху воротней башни, возник и оборвался притушенный падающим снегом крик, а по темным улицам, вдоль оснеженных тынов, опрокидывая рогатки, мчали, выдергивая сабли, все новые и новые новогородские ратники.

Сторожа у наместничьего двора не поспела толком взяться за оружие — их смяли, опрокинули, втоптали в мокрый снег, вязали побитых и израненных, еще не понимавших толком, что же произошло.

Михайло Давыдович как раз намеревал унырнуть в постель, когда за тыном возник нежданный топот. Не чая худого, застегивая на ходу круглые пуговицы домашнего азяма, он вышел в сени и тут, в полутьме плохо освещенного жила, нежданно-негаданно получил тяжкую, ошеломившую его затрещину и, тотчас, удар ногою в живот. Скорченного, его внесли — втащили в горницы. Выла прислуга, чужие ратные с красными, иссеченными снегом и ветром лицами древками копий сгоняли прислугу, переворачивали лари, сундуки и укладки, рассыпая и растаскивая готовое к отправке добро. Он завопил тонко, скорей заскулил от боли и ужаса, пустыми, полными страха глазами следя, как мгновенно рушит все его нажитое благополучие. Лязгали двери, избитых слуг, связанных, выводили во двор. Ему, наградив еще двумя-тремя оплеухами, надели цепь на руки, не жалея, не слушая стонов князя, сковали плотно железное кольцо, бросили на плеча грубый овчинный зипун кого-то из холопов и поволокли в узилище, наспех устроенное в том же воеводском дворе. Тут уже шумел закованный, как и он, в цепи Иван Рыбкин, голосили связанные боярские жены, угрюмой толпою стояли плененные ратники. Рыбкин орал, угрожая карами от великого князя Семена, но новогородские ратные словно не слышали его, только изредка подсмеивались над дуром расходившимся московитом.

— Ницьто! — выкрикнул один.— Мы етто и князя Семена на чепь скуем, не сробеем!

Михайло Давыдович дернулся, открыл было рот, но подавился словом. Его поволокли дальше, в глубь двора, втолкнули в тесную холодную клеть, швырнули

в кучу чьих-то ног, рук, тел, на солому. Кто-то, грубый, выкрикнул в темноте:

— Князя привели! Набольшего! — и присовокупил непотребное...

Скоро рядом с ним оказался хрипло дышавший и тоже избитый Иван Рыбкин. К утру привели Бориса Сменова, схваченного в окологородье. Только на дневном свету воевод великого князя отделили от прочих полоненных, слуг и ратников, и отвели в особый покой, где был тесовый пол, а не холодная земля, укрытая истоптанною соломою, и как-то истоплено. Но железа не сняли и есть принесли одного только ржаного хлеба с водой. Моложского князя трясло — простыл давешней ночью. Потишевший Рыбкин сопел, изредка обещая новогородцам страшные кары. Борис вздыхал, шептал про себя что-то, не то молитву, не то ругательства. Куда заперли жен московских бояринов, успел ли кто уйти и подать весть великому князю? Они не знали. Потянулись дни стыдного заточения в голоде и холоде, в вони отхожего места, устроенного здесь же, в клети, в которой сидели незадачливые воеводы, по-прежнему скованные на цепь, одним кольцом приклепанную к кольцу в стене...

Дни тянулись за днями, складывались в недели, но по-прежнему ни к ним из Москвы, ни от них к великому князю не было ни вести, ни навести. Моложский князь плакал, Иван Рыбкин материл себя и других, Борис Сменов молча молился. Ведает ли князь Семен, что створилось в Торжке? Идут ли низовские полки на Новгород? Скоро ли освободят их из узилища? Никто из троих этого не знал. Приходило терпеть и ждать.

О торжокском позоре своем Симеон узнал на четвертый день по взятии града. Только-только отбыл, не добившись ответа, новогородский посол Кузьма Твердиславль, и Симеон в гневе велел было догнать, имать и поковать в железа все новогородское посольство, но опамятовал: ордынские уроки не прошли даром. Безусловное уважение татар к послам крепко напомнилось ему, да и вести были смутны, неверны. Передавали наразно: и то, что князевых данщиков всех поубивали, и то, что, схватив, поковали в железа, побивши только дружину, и что просто с соромом выбили вон из

города и те, битые и увечные, вот-вот прибудут на Москву...

Он дал уехать новогородцам невозбранно. И тут, наконец, прискакали остатние москвичи, чудом миновавшие плена. Пропетлявши окольными дорогами несколько дней, они, голодные, мокрые и обмороженные, сбиваясь, путая и нещадно привирая (в самом Торжке никого из них не было в ту ночь), сообщили о нятьи и плене всех княжьих борцов.

Спасшихся кметей развели по клетям кормить, оттирать салом и парить, а Симеон, безумно сверкая взором, велел вызвать к себе, не глядя на ночь, Василья Вельяминова, Андрея Кобылу с Иваном Акинфиевым, Василья Окатьева, Мину и иных воевод и подымать городовую рать. Снежная ночь наполнилась стуком и лязгом оружия, топотом ног, шевеленьем взметенных невыспавшихся людей.

— Куды-т твою растуды-т?!

— На Торжок! Побили тамотка наших, бают!

Оболокаясь и запоясываясь, влезая в валенки и сапоги, матеря непутем и новогородцев и своих раззяв воевод, кмети, под оклики старших, начали притекать в Кремник. Снегопад, уже третий день не прекращавший (с неба так и валило хлопьями, в улицах мело, ровняя сугробы с крышами посадских клетей), обещал трудную дорогу, и бывалые ратники только качали головами:

— Молод Иваныч ищо! Кака тут рать! В таку-то пору, при еком погодьи, до Торжка и кони обезножат вси!

Начали прибывать бояре. Семен ждал, кусая губы, бледный от гнева и нетерпения, когда ему доложили, что явился митрополич наместник. В безумии гнева Семен решил было, по первому движению, не принять и Алексия, но тот, обгоняя слуг, уже и сам вступал в княжой терем. (Остановить его не поднялась бы рука ни у единого стража во всей Москве.)

Семен, намеривший пройти в думную палату, встретил Алексия стоя, лишь отступив на шаг, когда отцов крестник, сбивая на ходу мокрый снег с ресниц, усов и бороды, пригнувши голову под низкой дверною притолокой, вступил в княжеский покой.

— Не баял еще с воеводами? — спросил Алексий с непривычною строгостью, требовательно глядя в сумасшедшие глаза князя.

— Иду! — придушенно отозвался Семен.

— Сядь! — жестко повелел Алексий, и сам, подвинув точеное креслице так, что Семену стало не пройти к двери, не сожидая приглашенья, уселся прямь него. Семену неволею пришлось усесться тоже.

— Охолонь! — приказал Алексий, простонародным словом уравняв князя с прислугою двора.— Почто сборы? Кто поведет рать? Куда? С кем? Сколь у тебя оружных кметей? А у Новгорода под Торжком? Где низовская помочь? Я тебе, князь, в отца место! — почти выкрикнул он, пристукнув посохом.— Отрок ты малый али великий князь володимерский?! Карать — не мстить, а карать за самоуправство Новгород — должно всею землей! Пото ты и князь великий! Дожди съезда княжого! Дожди ратей! Родителя вспомни своего! Часом порушишь — жизнию не собрать будет! Пойми ты, бешеный, я за тебя пред Господом Богом держу ответ! Сказывал я тебе, как зорили новогородские шильники божии храмы на пожаре? Жди! И копи рати! Пущай помыслят путем! Мню, новогородская чернь сама отступит от воевод! Тогда поведешь полки!

Семен сделал шаг, другой... Умное лицо Алексия под монашеским куколем было грозно, темно-прозрачные глаза горели гневом, узкая борода вздрагивала, точно копье. Никогда прежде не видел князь духовного водителя своего в таковой ярости. Хотел было возопить, закричать, судорожно вздохнул, распаляя себя еще более, и как словно что-то лопнуло в груди, болью пронзило сердце, он сделал еще шаг, качаясь, и рухнул на колени, уронив голову в подставленные длани Алексия.

— Прости, владыко! Прости... Научи... Не ведаю... Очи застило мне бедою!

Сзади приотворилась дверь. Алексий токмо повел бровью, и дверь торопливо захлопнули.

— Успокой сердце, сыне мой! — произнес он спокойно и устало.— Распусти воевод и кметей по дворам. Содеянного не воротить, а мой тебе совет: выжди! Мню, не устоит Новгород Великий противу всей низовской земли, и не потому не устоит, что нас больше, а потому, что нестроения в них великие, рознь и нелюбье, о коих писал я тебе в Орду. Выжди, князь, и будь мудр! Помысли с боярами, раз уж собрал на ночь глядючи, то же скажут тебе и они! Испей квасу, оботри лицо рушником и ступай! Достоит и духовного

главу, митрополита, дождать нам, преже пути на Новгород! Помысли о сем, сыне! Не ратною силою токмо, но властью и духовным началованьем церкви достоит смирять мужей новогородских, поелику русичи суть и вси такие же православные, коих надлежит тебе, князю, пасти и началовать, а не погублять и зорить, яко врагов земли своея!

Семен вышел к боярам получасом спустя в мрачном спокойствии. Сел в креслице. Кратко поведал о торжокской беде. Упреждая вопрошания воевод, рек, яко надлежит умедлить до подхода союзных ратей, а ныне послать сторожу на Волок и к Торжку, уведати о замышлениях новогородцев.

Михайло Терентьич, что, припоздав, боком просунулся в палату и присел на лавку с краю, не блюдя места своего, первым понял давешнюю промашку княжеву, глянул веселым зраком, дрогнул усом в потаенной улыбке (непочто было и кметей подымать в ночь, и бояр скликать непутем, а, видать, опамятовал али подсказал кто).

Зашевелились воеводы по лавкам. Волною прошло сдержанное облегчение. Кидаться в ночь, в метель, в суматошный поход невесть с какими силами, с неверным исходом не хотел никто. Спешкою дела не поправишь — раз уж створилась такая пакость в Торжке,— а навредить мочно!

Кметей, еще через час, проверив для прилику оружие и справу, начали распускать по домам; в Суздаль, Ростов, Тверь и Ярославль полетели, сквозь снег и метель, скорые гонцы; и воеводы, еще потолковав и посудачив, в сереющих сумерках раннего утра тоже отправились досыпать и досматривать сны.

Семен после совета с боярами прошел переходами к себе в опочивальню. Настасья ждала, волнуясь, даже в постелю не легла. Не́мо дал снять с себя платье и сапоги. Уже когда повалился в постелю, его затрясло в немых судорожных рыданиях. Слишком многое свалилось зараз на плечи: и гнев, и стыд, и позор сегодняшней ночи, едва не свершившийся, вовремя остановленный Алексием.

Настасья молча гладила его по голове. Сейчас ее крупное плотное тело, твердые руки — все, что порою долило его своей грубизной, источали на него покой и уютную тишину. Он так и уснул в ее объятиях, словно нашкодивший отрок на руках у матери. И хоро-

шо, что жена молчала, не говорила ни слова. Не было стыдно своей слабости, и о срыве, недостойном великого князя, мочно было назавтра почти позабыть.

ГЛАВА 29

Весь ноябрь, не переставая, шел снег. Дороги перемело. Задерживались, увязали в сугробах купеческие обозы, упрямо, невзирая на розмирье, пробиравшиеся с товарами Серегерским путем, в обход ратного Торжка. С дровами, сенами настало мученье. Мужицкие лошади, проваливая выше брюха в снег, бились, прыгали, храпели в оглоблях, натягивая на уши хомуты, отказывали, невзирая на кнут, лезть в снежную кашу. Приходило самим, матерясь и тяжко дыша, расстегнув зипуны, протаптывать тропинки коню, а назавтра от наезженного пути оставался один лишь едва заметный след по вершинам сугробов, и все приходило начинать сызнова.

Заносы задерживали ратную силу. Василий Давыдович Ярославский, в гневе и обиде о нятьи брата, и то не мог двинуть полки на Торжок. Лишь к самому декабрю разъяснело наконец и вновь тронулись обозы, зафыркали мохнатые, обросшие к зиме кони, радуясь веселому солнцу, что серебряным блеском высветило озера равнин и игольчатую, полузасыпанную снежным кружевом бахрому лесов. И уже покатили с веселым звоном колокольцев запряженные гусем или парою купеческие возки, понеслись, взметая снега, княжие гонцы по дорогам, и уже выезжали, колыхаясь на свежих, только-только промятых дорогах, княжеские расписные и окованные серебром крытые сани из Ростова, Твери, Кашина, Ярославля, Суздаля и Нижнего на Москву, на княжеский снем. А за ними вослед потянулись конные дружины, тронули, вслед за возами с лопотью и снедным припасом, пешцы городовых полков. Низовская земля подымалась в поход на Новгород.

Весь месяц новогородская боярская рать простояла в Торжке. Защитников от княжеского произвола надобно было кормить точно так же, как и московских княжеборцев, то есть доставлять им баранов, гусей и кур, связки сушеной и мороженой рыбы, хлеб и пиво, масло и сыр. Прокорм ратников стоил в те времена

зачастую дороже самой дани, которую они собирали. Тут же дело затевалось нешуточное — война с Москвой! Не выдадут ли новогородцы, как уже было не раз и не два, врагам свой многотерпеливый пригород? Не придет ли несчастливым торжичанам платить тем и другим да еще узреть, как их город после ратного нахождения московского «возьмет огнь без утечи»?

Матвей Варфоломеич с Терентием Данилычем подняли на ноги всех горожан. Невзирая на снежные заносы, везли лес, чинили костры и обветшалые прясла стен. Кузнецы ковали оружие, в город свозили хлебный запас и дрова на случай осады. Горожане роптали. Всем ясно было, что, подойди под город низовская рать, Торжку все одно не устоять и недели.

Все чаще, сбиваясь в кучки, бросали работу, начинали спорить до хрипоты, замолкая, ежели кто из новогородской боярской господы подходил близ. Книгочии поминали, что еще в пору Батыева разоренья Новгород Великий не похотел помочь своему пригороду, и Торжок, взятый татарами, был вырезан и выжжен дотла. Поминали разоренье от Михайлы Тверского и иные ратные нахождения, в коих Новгород не далее чем до Бронничей выдвигал свои полки, кажен раз оставляя Торжок противнику...

Олфоромей Остафьев нынче не выдержал, сам ввязался в спор со смердами на заборолах града.

— Мы-то выстоим! — кричали красные от снежного ветра и злобы мужики. — А где помочь новогороцка? Помочь где-ко?! Мы-то станем! Дак одно противу всей низовской земли! Как етто? Понимай сам! Где ваша рать, мать твою туды-т растуды-т! Вы, што ль, одне отбивать будете великого князя володимерского?

Олфоромей Остафьев, хожалый, привычный ко всему муж, закаленный в путях и походах, не выдержал, отступился, ушел, махнувши рукой. Да и что мог он возразить им, перепуганным близкою бедою? Уже не первые гонцы скакали от него в Новгород с призывом, мольбою, почти заклинанием: всесть на конь всема, всем городом, и идти под Торжок! Новогородцы, в иную пору в три дня выставлявшие готовую рать, тянули и тянули, не говоря толкового слова...

Он проходил в палаты боярина Смена Внучка, нынешнего хозяина града, разоболокался, кидал тяжелые руки на столешню. Смен хмуро водил глазами по

замкнутым лицам вятших новогородских мужей. Слуги наливали мед и густое фряжское вино. От жирных щей валил пар. Промороженные воеводы молча жрали, пили, отходя от холода, отводили посторонь взоры. На подход всей новогородской рати под Торжок надежды было все менее и менее.

Рыгнув, отпихнув от себя опорожненную мису, Матвей ударил кулаком по столу:

— Смерды! Чернь! На пожаре черквы божьи грабили непутем! У Богородичи в Торгу попа убили над товаром! Иконы, книги, мягкой рухляди у меня одного рублей на двадцать выгребли... А-а!

— Токмо отстроились! — раздумчиво покачав головой, отозвался Федор Аврамов.— Людишки оскудели пожаром, дак и не того... Не поднять! Уж к самому владыке посылывали!

— А как же мы? — бледнея, отозвался Смен Внучек.— Ежель того, ежель не подойдет новогороцка помочь?!

Для него, великого боярина, первого помощника новогородцев, по чьей воле московские княжеборцы сидят нынче в оковах и в нятьи, приход великого князя не сулил ничего доброго.

Сильные, хорошо кормленные, добротно одетые в иноземные сукна и бархат люди, привыкшие началовать и вершить власть, они сейчас все примолкли, словно бы кожею ощущая подкрадывающуюся исподволь беду. Ну, не помочь Торжку! Ин ладно, хоша и беда, дак не своя. Но своим не помочь? Своей господе?! Их, их самих бросить тут, в этом городишке, который, и захоти того, не выдержит долгой осады низовских полков! Бросить, отдать князю московскому на плен и возможную смерть?! Неуж и Василий Калика не возможет поднять город на брань?

И презирали, и бранили смердов своих, и величались пред ними драгими портами, добром и властию, а — верили. В нужнюю пору не предадут! И вот зашаталась вера. Как давешнею весною голь на пожаре грабила товары горожан и громила церкви и боярские терема, так и нынче та же голь перекатная, новогородские шильники, ухорезы, да и простой ремесленный люд, не восхотят всесть на конь за дело новогородское, и что останет им тут, сидючи в Торжку?

...Грамота, не оставившая надежд, наконец пришла.

Городовая рать после бурных вечевых сходов отказалась выступить на помочь своему пригороду. Не помогли ни призывы вятших, ни даже увещания архиепископа. Ссылались на снега, скудоту от недавнего пожара, нехватку коней... Степенной посадник сообщал то же самое. Советовал укрепить город как мочно, а самим отходить, дабы встретить московитов на Мсте или Шелони. И злая весть неведомыми путями тотчас потекла по Торжку...

Олфоромея Остафьева спасла находчивость и верность стремянного. Заслышав шум во дворе, Олфоромей успел накинуть оболочину и, схватя оружие, выскочить к коновязям, где стремянный, Окиш, с пятью кметями отбивался от наседающих горожан. Верхами, обнажив сабли, вырвались в улицу, густо запруженную народом, и с гиком, размахивая оружием, вымчали к северным воротам, еще удерживаемым новогородской помочью.

Терентий Данилыч с братом и Федор Аврамов в эту ночь засиделись допоздна, пили мало, больше спорили и, услышав крики и шум на дворе, тоже успели схватить оружие, собрать людей и отступить в каком-то порядке, отбиваясь от наседающих смердов. Матвей Варфоломеич с остатними кметями вырвался из наместничьего двора, как из ада; сам в крови, теряя людей, поминутно кидаясь в бешеные сшибки, проламывая рогатки повстанцев, он, едва живой и мокрый от руды и пота, тоже выбился-таки из города. Соединя кметей, новогородские бояре, разыскивая и подбирая дорогою отсталых, непроворых и тех, кого восстание черни застало вне града, устремились в бегство к Нову Городу. Позади них, над оснеженным черным Торжком, полыхало багровое зарево пожара (жгли терем Смена Внучка), заполошно бил колокол и ширил смутный тяжелый гул народного мятежа, кидаться в который, пытаясь повернуть ход событий, было заранее бесполезно и принесло бы им только напрасную гибель.

Смен Внучек, во главе своих холопов и послужильцев, отчаянно отбивался, запершись в хоромах, пока едкий дым не начал проникать в сени. Надеясь еще спастись, он ринул было на задний двор, но и тут грудились уже гражане в бронях, с мечами, копьями, шестоперами, топорами и рогатинами в руках. Боярин был взят и так как есть, в нижней рубахе (кольчугу

тут же содрали с него), разорванной и запятнанной кровью, отведен на вече.

На площади пылали костры, двигались факелы, колыхалась тысячная толпа вооруженных горожан. С роковым опозданием понял он, что чернь поднялась не стихийно, что были тут и заводчики, и самозваные воеводы и что все створилось по заранее намеченному умыслу. К помосту одного за другим подводили схваченных великих бояринов. Толпа, напирая, орала:

— Почто есте новагородчев призваша?! Они князя изымали, а нам в том погинути!

Смена, больно пихая под бока, поволокли на помост. Он плохо видел в темноте — только пляшущий огонь факелов да рев толпы оглушал и слепил очи. Хотел говорить, орал что-то; говорить ему не дали, тут же сволокли наземь, в жаркую жадную толпу, в жестоко протянутые руки черни...

Труп Смена Внучка долго потом лежал на снегу неубранный. Не удовольствовавшись казнью, смерды послали разорить деревни Смена и иных великих бояринов, дочиста разграбили житные дворы и бертьяницы, свели коней и скот, который тут же был поделен промеж горожанами.

Князь Михайло Давыдыч пребывал в тоскливом отупении. За месяц заточенья он вовсе ослаб духом и только, вздрагивая, ждал смертного конца. Поэтому, когда на улице раздались шум и крики, а в двери стали ломиться так, что затрещали створы, он понял одно — смерть!

— Господи! Господи! Господи! — бормотал он с вытаращенными от ужаса глазами (в горнице была темень) и, когда двери, крякнув, расселись и в прогал показался пляшущий дымный свет, завизжал, уже мало чего понимая, и ринул бы головой вперед, в толпу убийц — как показалось ему,— ежели бы туго натянувшаяся цепь не отбросила его назад, больно врезавшись в запястья. Он еще ничего не постиг, когда горница наполнилась орущим народом и какой-то ражий смерд в багровом факельном дыму принялся железным шкворнем выламывать цепи из стен.

Князь ползал на коленках, молил пощадить, его силою поставили на ноги. Уже все понявший Иван Рыбкин гулко хохотал и ругался, обнимаясь со смердами, рычал и грозил выпороть всех подряд, срывая с рук искореженные обрывки цепей, когда моложский князь,

утвердясь на ослабших ногах, с лицом, залитым слезами, вдруг понял, что не убивать, а свободить их вломилась сюда эта толпа, и захохотал тонким истеричным бабьим голосом...

Ему плеснули в лицо водой, обтерли рваным рушником бороду, повели под руки на волю. Во дворе какая-то оборванная жонка кинулась впереймы, повисла на шее у Бориса Сменова — оказалось, что и жен московских борцов тоже успели освободить из затвора.

Оборванные, худые, нечесаные, в грязи и вшах, еще не веря нежданной своей удаче, собирались княжеборцы вокруг своего московского, вновь обретшего силу и вес главы. И уже Иван Рыбкин, уставя руки в боки, весело орал, требуя тотчас воротить им всем отобранные месяц назад снедь и добро; и уже волокли, вели (лопоть и скот), пусть не все и не то, что было. Тащили отобранное у новогородцев и взятое со дворов своих же великих бояринов, коих час назад зорили вечем, абы только возместить великому князю и его борцам давешний истор и тем спасти город от разоренья московской ратью.

ГЛАВА 30

В начале декабря низовские рати вышли в новогородский поход. В переговорах на княжеском сейме Семену очень помогла торжокская замятня. Перед лицом гордого вечевого города князья еще раз вспомнили о своем родовом единстве. Помогла нежданно и пакость, случившаяся в Брянске, где вечники на глазах у митрополита Феогноста, пытавшегося остановить толпу, убили своего князя, Глеба Святославича.

Князь и вече — исстари эти две силы стояли друг против друга, иногда уравновешивая одна другую, иногда одолевая супротивную сторону, причем каждое такое одоление бывало не ко благу земли. Восставшие горожане сотворяли беспорядок и раззор, а победивший князь давил смердов поборами, казнил и вешал, вызывая ропот и ненависть горожан...

На этот раз брянская замятня подстегнула низовских владетелей теснее сплотиться вокруг великокняжеского стола. На сейме в Москве Семен еще раз говорил о единстве, потребном земле русичей. Братья-князья кивали, соглашались. Полки уже вышли в поход, а корысть, в случае удачи, обещала быть нешуточной.

Отдавая приказ выступать, он еще не ведал о восстании торжокской черни, и только уже за Дмитровом настиг его гонец, скакавший кружным путем, повестив об этой первой военной удаче, дальновидно предсказанной Алексием.

Была середина декабря, мороз крепчал, пар курился над вереницами ратников, закутанных в курчавые овчинные тулупы и шубы, шерсть на конях закуржавела инеем. Рати шли разными путями, сбор был назначен в Торжке. Туда же ехал в кожаном, обитом волчьими шкурами возке только что переживший ужас брянского убийства митрополит Феогност. Война, как и советовал Алексий, принимала вид судебной исправы — княжеского и церковного суда над непокорными.

Симеон почти не слезал с седла, грелся у костров с кметями, скакал от полка к полку, удивляясь про себя, как это воеводы умеют устроить, накормить и уместить, без давки и суеты на дорогах, такую громаду войска? Этому следовало научиться, и он, грея ладони над дорожным огнем, хлебая мужицкие щи, всматривался, вникал, изредка расспрашивал, больше стараясь понять сам, валился ввечеру, чуя блаженную усталость, прямо на солому бок о бок с ратными, сам осматривал возы с припасом, беседовал с возчиками и волостелями, что поставляли сено и овес лошадям, отмечая для себя, сколь непростое дело ратный поход, ежели о нем не судить по досужим байкам, где только и есть что лихие конные сшибки, и никто никогда не скажет, как и на чем везли кормы людям и лошадям, где добывали овес, каким побытом устраивали ночлеги ратным в декабрьскую лютую стужу, кто и где ковал тысячи коней, чинил сбрую и многое подобное, совсем неинтересное, но без чего никакая рать вовсе не смогла бы даже и выйти в поход.

В Твери союзных князей принимали и чествовали в княжеском тереме; стало мочно выспаться на перине, в жарко истопленных горницах, посидеть за богато накрытым столом, держа в руке украшенную серебром двоезубую вилку, а в другой — нож с костяной изузоренной рукоятью.

Вдова Александра, Настасья, вышла к гостям показаться, слегка отяжелевшая, царственная, как поздняя золотая осень, ослепив вальяжною русскою красотой. Симеон смешался, затрудненно нахмурил

брови,— не знал, как держать себя, о чем баять. Вновь напомнился Федор, ордынский позор; и та боль утраты, с которой о сю пору жила и живет эта ослепительно красивая женщина, незримо передалась и ему, сидящему тут, ради коего и были убиты в Орде ее муж и сын.

Больше он ничего не увидел, не уведал в Твери, проминовав взглядом и обширность града, и величие теремов, и гордую стать тверского собора, колокол которого был увезен его отцом на Москву. Сухо-поджарый князь Костянтин, давно знакомый, еще по Орде, казался тут, где он был и хозяином и главою, вовсе неуместен и чужд, даже нелеп, а госпожою дома по-прежнему, несмотря ни на что, была она, властная красавица, вдова покойного Александра.

В Торжке, прибранном после погрома новогородцев и наводненном теперь низовскими ратниками, Симеону отвели верхние горницы наместничьих хором. Военные холопы и молодшая дружина — дети боярские спали в первой, проходной палате, прямо на полу, на соломе. Семену досталась кровать в малой горнице, рядом с которой, подстелив татарские тюфяки и занявши весь пол, легли оружничий, двое слуг и стремянный князя. Слухачи доносили, что до самого Голина путь свободен, а новогородцы совокупляют всю волость к себе в город, намерясь засесть в осаду. «Ну что ж!» — неопределенно подумал Симеон, валясь в постель. По крайности, можно было выспаться и дать отдохнуть полкам, не тревожась ратной угрозой.

Новогородское посольство прибыло на третий день, к вечеру. Он уже знал, что так будет. В душе он уже насладился войной, осадою Новгорода, разореньем сел и рядков, трупами ратных, испуганными полоняниками, бредущими в снегу,— насладился и отверг. Понял, что это не для него и ему увидеть потухающие глаза жонок и детей, скрученные руки мужиков будет мерзко и не в силу души. Хотя, конечно, союзным князьям зорить Новгородскую волость было бы много прибыточнее днешнего мирного договору!

В детские годы обиженный сверстниками Семен легко представлял себе муки и боль супротивника, но, стоя над поверженным врагом в мальчишечьих драках,

всегда испытывал одно и то же — тяжкий, горячий стыд. Тем паче ежели понимал, что ему уступили как княжичу. Тогда от стыда хотелось бежать неведомо куда, закрывши глаза.

Потому, проиграв и отвергнув ужасы войны, коих взаправду зреть ему совсем не хотелось, Симеон был донельзя доволен прибытием новогородского посольства. Он одно лишь позволил себе — отложить до утра встречу с ним, и всю ночь представлял, ворочаясь в постели, что скажет, о чем речет незадачливым упрямцам. Или напомнить летнее нападение на Устюжну новогородских молодцов, когда посланные его воеводами всугон рати отобрали у лодейников полон и товар, захваченный грабителями? Или ни о чем не напоминать, милостиво принять дары и дани и сесть на столе в Новгороде, которого он о сю пору так и не видал? Двух тысячей, о коих мечтал отец, теперь было мало. Одни протори и убытки, одни расходы на ратную страду оказались больше! И все же зорить волость Новогородскую ему не хотелось. И чем долее думал, тем менее хотелось ратной беды. Вдосталь насмотрелся курных изб по дорогам, жалкой крестьянской лопоти, малорослых лошадей, испуганной, стесненной в темных хлевах скотины. Не простил бы себе и сам нового разорения русской земли!

Сила надобна князю, тем паче — великому. Силою, напряжением воли, мощью стихии живет и множит земля, тучнеют стада, родит пашня и приносят детей бабы. Без силы, земной, телесной, и дух ветшает в оболочине плоти. Но отнюдь не всегда должно силу сию направлять на разоренье и гибель! Явление силы — тоже сила, и, быть может, бóльшая, чем ратный раззор и война! И сам Господь всемогущ, но не жесток и не злобен...

Мысли путались, начинали мешаться в голове. Верно, Алексий все это сказал бы точнее и лучше! Он уснул под утро, неожиданно крепко, не видя снов, и проснулся только тогда, когда его начал тихонько побуживать сенной боярин:

— Встань, княже, пора! Встань, свет уж на дворе! Послы сожидают, княже!

Он протер глаза, вник, понял, вскочил с постели, упругий, словно распрямившийся лук. Сам, чуя внутреннее ликованье, вздел платье, запоясался золотым княжеским поясом, расчесал кудри. Подумал вдруг,

что это его первое настоящее княжеское деяние. Не суд над Хвостом, прошедший не так и не тем окончивший, чем бы ему хотелось! (Да и был он тогда темный — в злобе решал.) Теперь же ему грядет достойное господарское деяние, и дóлжно быти ему на княжой высоте.

Горницу в нижнем жилье наместничьих хором, где ночью вповал спали ратные, освободили от попон и соломы, чисто вымели. Нагнанные бабы живо отскоблили захоженный ратниками пол. Откуда-то достали резные кресла князю, митрополиту и приехавшему из Новгорода архиепископу Василию. По стенам, по лавкам, уселись бояре его двора и князья-соратники.

Василий Калика вступил в палату легкий, подбористый, востроглазый, как встарь, только его сквозистая русая борода стала почти белой да, может, чуть углубились морщины живого лица. За ним взошел тяжелою поступью тысяцкий Авраам. Гуськом, следом за ним, прошли новогородские бояре. Двое из них несли серебряное блюдо, прикрытое шелковым платом, и большой позолоченный, с каменьями в оправе потир, коим поклонились Феогносту. Грек с удовольствием принял подарок. Семен тоже не без любопытства взирал, как с блюда, наполненного, как оказалось, самоцветными каменьями, снимают плат, и каменья, освобожденные от покрова, засветились радостными огоньками. Подарок был царский, вполне достойный великого князя владимирского, и он удовлетворенно склонил голову.

— Возьми, княже! — негромким льющимся говорком присовокупил Василий Калика.— Нелюбья много меж нас, а вси русичи и вси единако православныи! Цего содеялось, не помяни того лихом! Буди нам, яко отечь твой, господином по прежнему уложению и борони Новгород от литвы поганой да от свейской грозы!

Начались переговоры. Тысяцкий Авраам и бояре выступали по очереди, предложили мир по старым грамотам, черный бор по всей Новогородской волости (это было, как тотчас прикинул Симеон, поболее трех тысяч серебра и уже окупало прежние отцовы историы). В торжокской пакости бояре теперь сами винились князю, просили унять меч и увести рати, за что обещали другую тысячу рублев с новоторжцев. Предложения были пристойны, даже и очень хороши, и, по-

торговавшись для прилику (выторговав сверх того еще подарки всем князьям, участникам похода), Симеон заключил мир. Крестное целование скрепили оба иерарха — митрополит Феогност и архиепископ Калика. Подписавши грамоты и отослав в Новгород наместника со свитою, Симеон отдал приказ заворачивать полки.

Подступали Святки, разгульное веселье, с ряжеными, с шатаньем из дома в дом в личинах и харях, песнями, гульбой, гаданьями девушек и славленьем. И как-то всем заедино поблазнило, что негоже в святочное веселье мешать кровь и слезы братьи своей.

В прощальном застолье сидели избранною дружиной, с немногими боярами. Пили мед и вино, отведывали многоразличные закуси. Василий Калика, пригорбясь, остро посматривал на нового великого князя — кажется, он, позаочь, недооценил Семена Иваныча!

Простуженный Феогност покашливал, взглядывал на Калику, прикидывал, не учинит ли тот какой новой каверзы? (Договорено было, что Феогност из Торжка едет в Новгород, а на подъезд митрополиту полагалась церковная дань, очень и очень надобная престарелому греку.) Вслух оба вспоминали Волынь, давешнее, далекое уже, поставленье Калики и последующее его бегство от литовской погони Гедиминовой... Гедимин волею божией помре, но литовская гроза, как и немецкая, не утихала.

— Куда прилепше, княже, боронити тебе отцину нашу и дедину от орденьских немечь! — вздыхал Калика, поглядывая на молодого московского правителя.— Яко прадед твой, святой Олександр Невской, боронил Новый Город от немечькой и свейской грозы!

Шведы и теперь тяжко нависали над рубежами новогородской земли, и оборона от них не всегда была под силу одному Новгороду.

Вкушали. Вели неспешную молвь. И верно было — али казалось так,— не меж собою достоит им братися, а всем вкупе противу нахождения иноплеменных!

— Поезди сам к нам, княже! — звал Василий Калика.

Семен медленно покачал головой. Дела отзывали его на Москву.

Молодой княжич, Иван Иванович, коего Семен взял с собою в поход, во все глаза разглядывал ле-

гендарного Василия Калику, с застенчивым юношеским любопытством, вспыхивая лицом. Впитывал речи, ведшиеся за княжеским столом. Семен, краем глаза следя за братом, опять подумал о том, что пришла пора его оженить. Брату всегда не хватало решимости и воли, впервые об этом свойстве Ивана Симеону подумалось с тревогою: не ровен час, сумеет ли он, возможет ли взвалить на плечи сей груз, о тяжести коего он, Симеон, начал догадывать только теперь?

Расставались почти друзьями, почти примиренные. Серебро Василий обещал доставить не отлагая, как только соберут черный бор, а часть новоторжского выхода передавал тут же, из рук в руки.

Назавтра провожали московских послов и Феогноста, уезжавшего в Новгород. Новгородская летопись сообщала позже, что приезд митрополита «тяжек был владыце и монастырем кормами и дары». Еще через день и сам Симеон, урядив отходившие рати, намерил скакать на Москву.

Новогородцы, заключив мир с князем Семеном и удалясь к себе, в тесное гостевое жило, долго не могли уснуть. Лежали, вздыхали, ворочались. Авраам первым не выдержал, окликнул вполголоса архиепископа:

— Не спишь, владыко?

— Не сплю, Овраамушко! — отозвался Василий Калика.

— Мыслю так, да и давеча перемолвили между собой... Суздальскому князю достоит имать княженье великое! — выговорил шепотом Авраам, приподымаясь на локте.— Узбек ветх деньми, в одночасье помрет... В Орду послать бы! Ошиблись мы с князем московским: крут и непоклонлив, вишь!

— И с Тверью ошиблись, Овраамушко! — вздохнув, отвечал Василий Калика.— Мыслю, тово... С Михайлой Святым право ли деяли мужи наши? Может, не стоило б с им ратитьце?

— Литва...— начал было Авраам.

— Не наша она, Литва! — возразил Калика.— Не наш язык, молвь не та, иная земля! Не ровен час, католики их улестят. В кажном месте свой навычай, Овраамушко, не можно нам вмести быти! Учнут ро-

паты немечьки строить у нас; в торгу от немечь, да свеи, да фрягов, да жидов придет русичам умаление; а и веце прикроют, и посадничю власть переменят на иньшее цьто... Так-то вот, Овраамушко! Мягко постелют, да жестко будет высыпатисе нам! А сами промеж ся не сговорим! Видал, кака незадача по приключаю? На брань не встали — бедны, мол, нужны,— дак нынь серебро даем! На то не бедны ищо! Яко и во Царьграде грецком тако же вот створило: турки на их, латины на их, а они ратитьце не хотят, бедны, вишь! Боюсь, Овраамушко, тако пойдет дале — съедят нас не те, дак други! И не примыслю путем, како нам спастисе от толикой беды? А уж не инако как любовью? Цюжи стали мы, Овраамушко, цюжи! Пото и женуть по нас! И вси князи низовськи надошли, и до всих мы стали екие поперецьны! Заступа надобна! Милость княжая! И с Литвою всяко не след ссору имать, и со князем Семеном Иванычем! Да и с Тверью друго надобно! Ляг, поспи, а я ищо помыслю, полежу, дрема меня не берет, дума долит!

Лежучи, вспоминал Калика тверского епископа Федора, с коим был у них некогда спор о мысленном рае. Калика и ныне считал, что прав он, а не Федор. Был на земле рай, Едемом прозываемый! По грехам людским сокрылси, невидим стал. Владыка Федор бает, яко тот рай мыслен токмо, духовен, а смертными очами не зрим... Кольми паче того надея, яко есть и в наши дни смертным явленные врата в рай тот, в Едем господень! Всего исполнена земля, всякой разноты и чудес! И звери дивии, и змеи, и Строфилат-птица, и носороги, и слоны преогромны! Всего исполнена земля! Как же не быть раю тому сокровенну где ни то? Почто ж, бают, горы огненны суть? Откуда идет огнь тот горящий? Не из хладной земли, не из хляби студеных вод! Должон быти солнечный мир, Едем райский, откуда изливает в наш мир огнь горящ! Горы света... И Спасов лик, лазорью начертан! Не прав ты, Федор, все одно не прав!

Подумал так, вспомнил, вослед Федору, убиенного князя Александра, сына коего, Михаила, крестил он, Василий Калика, семь лет тому назад... И тут поблазнило, что нашел, додумал душеполезное. Отроку надобно ныне грамоту постигать и прочие науки. Пристойно позвать крестника в Новгород Великий! Долго, скоро ли бегут годы, и что ожидает смертного в кажен

текущий час — знает един Господь. А имать заботу о внуке Михайлы Святого достоит ему всяко, и без дальних забот градских. Может стать, вырастет — попомнит новгородское учение и его, Василия, усопшего к часу тому. Размирье какое подойдет — и не подымет рука на дорогой его сердцу великий и многошумный Новгород! Быть может... Всяко повернет судьба! Должно написать о том владыке Федору! Хоть и спорили друг с другом, а почасту и споры рождают сугубое дружество! Должо́н Федор ему помочь в дели сем!

С этим Калика уснул наконец, не успевши домыслить иного: как и чем сдружить меж собою Новгород и великого князя Семена, дабы и впредь оберечь город от московской грозы...

ГЛАВА 31

В этом году Анастасии, вдове князя Александра Михалыча, исполнилось тридцать пять лет. Несколько огрузневшая от прожитых лет и частых родов, сильно построжевшая со смерти супруга, она была все еще в расцвете сил и зрелой женской красы. Дети — их шестеро оставалось после гибели Федора в Орде и смерти, еще во младенчестве, старшего, Льва,— целым хороводом роились вокруг матери.

Она успевала все: следить за каждым из сыновей, управлять домом, вести обширное хозяйство двора, держать бояр, править селами и волостьми покойного супруга, не выпуская бразды из рук, не перекладывая всего на плечи ключников и посельских (за самым добрым слугою нужен глаз неусыпный, иначе прахом ся обратит любая волость и расточит любое имущество). Сумела повести дело так, что будто и не погибал Александр в Орде! Бояре, никоторый, не бросили, не оставили свою госпожу, и в обширном тверском доме по-прежнему было две власти. Помимо и мимо Костянтина (после смерти московки, Софьи Юрьевны, женившегося второй раз), домом и двором правила она, вдова невинно убиенного Михаилова сына, Александра, о щедрости, прямодушии и красоте коего уже теперь слагали легенды в Твери.

И все — бояре и посад, духовные и миряне, книгочеи и гости торговые,— все, кому дорога была слава Твери, первого, как мыслили они, града Руси Влади-

мирской, лишь злою бедой и происками москвитян отодвинутого теперь от вышней власти, связывали грядущее, как верили они, возрождение тверской славы с домом убиенного Александра, с его вдовою и детьми. В череде князей-мучеников: Михайлы Святого, Дмитрия Грозные Очи, Александра и Федора — Костянтин Михалыч не стоял, не значился. Не числил его наследником родительской славы никто из тверян. И потому одинокая вдова с малыми и только-только подрастающими детьми была, даже во мнении сторонних князей и княжеств, Новгорода, Литвы и далекой Орды, много значительнее, весомей своего деверя, нынешнего тверского князя Костянтина.

Сама Настасья в ежечасных хозяйственных хлопотах лишь изредка поминала о славе рода, о величии Твери и прочем, о чем порою толковал ей епископ Федор. Ежедневный настойчивый труд и был ее подвигом, тем, что спасало и спасло в конце концов от оскудения и гибели дом и семью покойного Александра.

Дети радовали. Старшая, Маша, уже невеста (да жениха все было не приискать, не хотела Настасья отдавать дочерей куда в худородный дом за маломочных князьков либо в боярскую семью — паче самих дочерей блюла честь рода Михайлы Святого!), была верною помощницей матери и хоть порою, при взгляде на кого из молодых статных кметей, и вспыхивало невзначай девичье лицо, до сих пор, слава богу, ни по кому не потеряла сердца... Был, был бедовый боярчонок, Митька Щетнев (Маше тогда шел четырнадцатый год, самое опасное время!). Были встречи в саду, при няньках, мимоходные, а все же встречи; незастенчивые речи молодца, стыд и растерянность девушки. Было, что и в окно теремное ладил Митька залезть, да подстерегли холопы, бросили в холодную, в погреб, молодца, а Маше в ту пору мать пригрозила монастырем... Было, прошло, слава богу! Митька остепенился, женат, лонись с повинною приходил. Маша с тех лет подросла, построжела, похудела, круче стал стан, тверже плечи, прямая складка нет-нет и ляжет на девичий лоб. Ныне сама не пошла бы в боярскую семью. Читает жития и хроники, о прошлом годе красивым уставом переписала Евангелие для престола нового храма в Отроче монастыре, вышивает золотом, житие дедушки Михайлы помнит наизусть. Честь рода теперь для нее, как и для самой Настасьи, не звук пустой.

А годы идут, бегут годы. Скоро восемнадцатый минет, не княжна бы, дак и перестаркой можно назвать!

Маша — помощница по дому. Под ее доглядом младшие сыновья и меньшая дочерь, Уля, Ульяна. Этой шесть всего, а нравная, во всем ладит не отстать от братьев: на коня лезет, и книжку ей покажи, и сказку расскажи — паче прочих! Приведет с собою меньших, Володю с Андрейкой: «Мы хочем слушать про Олену Прекрасную!» Сама просит рассказать, сама подсказывает, ежели что забудешь или пропустишь по устали: «Нет, ты ищо не сказала, как он с руки рукавицу уронил, а конь уже тыщу поприщ проскакал с того места!» С этою, подрастет, сладу не будет, скорей замуж отдавать!

Из сыновей надежда была на старшего, Всеволода. Отроку двенадцатый год, а уже смыслен, и грамоте горазд, и телом велик. Год-два — женить мочно! Еще растет, тянется, а руки положит на стол — длань словно у взрослого мужика. Большие, красивые, отцовы руки... Иногда посмотрит отдельно на руки сына, и сердце захолонет, защемит непутем по мертвому.

Всеволод растет князем прямым, не стал бы с дядьями спорить до поры! Костянтин глядит хмуро, а новая жена его, Авдотья, и еще того злей. От московки сын остался, Семен, Семушка, всего-то пареньку пятый годок! Хоть и не ладили с московкою, а отрока малого как не пожалеть? Играют все вместе в свайку, в лапту ли — вот и хорошо! Бегают, ковыляют с Андрейкой, меньшим, наперегонки. Дак и то Авдотье забедно. Сама как родила сына (Еремеем назвали), так на пасынка ярым зраком глядит, куска недодаст, за княжеским-то столом! Сором! А Настасья прикормит, от той разом покор: ты-де Семена на меня наущаешь! Дитю! Пятигодовалого! И как не стыд бабе такое молвить!

Дядя Василий приедет из Кашина, дак Авдотья за столом с того глаз не сводит. Мужняя жена! Тьфу! И Василий давно женат, и супруга его, Елена, брянского князя Ивана дочерь, такая ну прямо славная жонка, худого не скажешь про нее! Дети нарожены. Вася и Миша, погодки, одиннадцати, никак, и десяти летов... Дак не замай! Утихни! Как Авдотье-то не соромно на чужого мужа глаза пялить — тьфу! И все ей нейметце: и стол не так, и в челядне не по-ихнему (а уж не великих родов жонка-то!), и к боярам ее,

Настасьиным, вечное нелюбье у нее! Тяжко вдове без мужа, хошь и княгине самой! Того и гляди, Костянтин, по ее наущению, и из родового терема погонит куда — в Холм али Микулин...

Внешне и с новою женою деверя держалась ровно, не одергивала, не огрубляла словом, ни делом каким. Хоть порою и дорого стоило не вскипеть, не возвысить голоса, не отмолвить худым на словесную обиду. Нельзя. Дети растут! И из Твери нельзя уходить. Тверь, она всем завещана, а уйдешь — и бояре разбегут, и села истеряешь, те, что под городом, и не воротишь потом никоторого добра родового!

Знали бы малыши, что с визгом и смехом бежат по лестнице и кидаются наперегонки в материн подол, точно воробьи, пихая друг друга и сопя (всех бы обнять, расцеловать разом, да рук не хватает!), знали бы иные скорбные мысли матери своей! Добро, что не знают, не ведают! Всеволод догадывает уже. Ну, тому и надобно. Не дите уже, отрок. Скоро станет защитник материн, муж и воин!

А из меньших — радовал Михаил. В честь деда названный, иногда и мнилось: не в деда ли пойдет? Высоконький, ясный, светлый весь, и неогарчивый сердцем, а в обиду себя не даст! Давеча боролся с дворовыми, с погодками, троих уложил на лопатки, взошел — в синяках весь, дышит тяжко, а улыбается:

— Не, мамо, не дрались! Возились только! А ето расшибся я! — Николи не скажет худого, не пожалитце никому и хвастать не станет: вот, мол, я какой! Утешный отрок. По складам уже и читает, самоуком начал буквы-те понимать, у старшего брата да у сестры Маши спросит чего... Надобно с Федором-епископом поговорить, да даст дьякона доброго поучити отрока сего!

Такие мысли все чаще посещали Настасью. Нынче за ратною порой — полки московлян шли на Новгород, приходило давать кормы великому князю, Костянтин и своих ратных посылал — исхарчились вконец. Теперь, как покончили дело миром, стало мочно подсчитать свой протор. Слава Господу, без большого разоренья обошлось! Села не порушены, кмети из похода воротили с прибытком, а нынешний рождественский корм покроет осеннюю недостачу, чего займовать пришло у торговых гостей.

Святки праздновали весело. Вся Тверь гудела от игр, смеха, бешено разъезжающих троек, визга девок на горках, шума и крика ряженых — шилигинов, что толпами бродили по Твери, набиваясь в боярские терема, прыгали, плясали, хрюкали, рядились медведями и оленями, носили срамного покойника с репяными желтыми зубами из дому в дом... Только-только отпели: «Христос рождается, срящете, Христос рождается, славите» — и тут же хвостатая нечистая сила загуляла по теремам!

Дети — с ума посходили: «Хочем шилигинами ходить!» Оделись кто почуднее, уволоклись с толпою дворовых ребяток. Нанесут вечером прошенных по подоконью кусков да шанег, будут есть аржаные дареные пироги и с блестящими глазами сказывать, как и кого пугали в улицах, к кому вваливали веселою гурьбой... Не вдовий наряд, и сама бы пошла помянуть молодость!

Настасья вздохнула, накинула шубейку и плат, прошла по двору, заглянула в опустелые мастерские, в парную челядню, где нынче стоял дым коромыслом и какие-то жонки и мужики с вымазанными сажею лицами в вывороченных шубах и срамных одеяниях потащили в десяток рук великую княгиню к столу, едва не насильно заставили пригубить горячего меду и тут же, вызвав жаркий румянец на щеках, громогласно спели ей «славу». Невольно рассмеявшись, увернувшись от объятий и поцелуев, выбежала девочкой на морозный снег, под рождественские сияющие звезды, глазом приметив сенную свою боярыню, что, в сбитом повойнике, красная, выскочила-таки следом проводить госпожу, не пристал бы какой охальный мужик — в святочную ночь ряженые чего не содеют! У крыльца сказала:

— Ты иди!

Поднялась в опустелые горницы. Стало чуточку грустно, что не со всеми, не вместе, как встарь, при муже и господине своем, когда Александр и сам гулял с дружиною, и братья его бегали ряжеными по Твери, и она не чуралась веселья, рядилась с жонками, дразнила хмельного супруга призраком измены, сидела за общим, с дружиною и челядью, столом, пела... Ох бы и сейчас попеть! Куда все ушло, миновалось! В краткий час отдыха — за пялами, вышивает гладью воздух в Спасо-Преображенский собор, да и тут дети обсядут со сказкой. Или уж им споет потихоньку вполгласа какую песенку. И сейчас бы спела для себя, одной! Да для

него, лады, милого, что любил ее слушать так вот, в сумерках, по вечерам. Иногда и сам просил спеть... Эту хоть:

То не пыль, то не пыль,
То не пыль, в поле, курева-а-а стоит!
То не пыль, то не пыль в поле...

Уронила голову на руки, заплакала. Не слышит ее милый, и петь не для кого больше теперь! Быстро отерла слезы. По шагам за дверью догадала, что Микифор, посельский. Встала, свела брови, кутая плечи в индийский плат (сама не ведая, сколь хороша в сей миг). Микифор глянул, склонился низко:

— Рожь привезли, государыня!

Усмехнулась глазами. Не государыня она, простая княгиня, вдова. Почто и величает!

— Селянин на поварне, поди, коли не пьян, созови! Хлебный анбар, что под стеною, даве вымели, почистили под новину, туда и кладите! Сколь четвертей? Погоди, сама гляну!

Ударила рукой в подвешенное медное блюдо (подумалось: а коли и на сенях нет никого?). Однако прислуга нашлась. Выскочила раскосмаченная, рот до ушей, девка (уж не миловалась ли с кем?). Подала зимний вотол. Настасья плотнее завязала сверх повойника простой пуховый плат, сошла на задний двор, куда въезжали сейчас припозднившиеся возы. Вот и вновь некогда ей погрустить-подумать! Будет считать кули, выпрастывая руки в прорези меховой оболочины, совать ладони в рожь: не сырая ли? Будет скликать слуг, следить, чтобы полупьяные холопы по-годному уложили зерно, чтобы возчиков накормили и напоили на поварне, а коням задали овса и сена, а там вечерний обход, а там ужин и дети, коих всех по очереди надо уложить в постелю, присмотрев, не позабыли ли няньки вымыть малышей и расчесать им волосы. А после всего — молитва перед иконою Богоматери, за всех поряду, живым — за здравие, мертвым — за упокой. Иногда за весь долгий день и не присядешь ни разу!

А Маше надобно жениха. А Всеволод растет, и — кто будет править Тверью? А в Литве, слышно, нестроения, осенью был набег на Можай, не станут ли ратитьце с Москвою? В этих делах она мало что может понять. Был бы жив покойный супруг! А Мишуту надобно учить грамоте, а там и Владимира с Ульяной, а там и Андрюшу...

Муж мой, ладо! Видишь ли ты меня оттоле, зришь ли мои труды неусыпные в память твою, во имя твое и в честь? Как трудно порою засыпать без тебя в святочную, полную веселья и смеха разгульную ночь!

Наутро, едва она справилась с обходом служб и клетей, явился служка сообщить, что епископ Федор желает ее видеть. Настасья быстро распорядилась о закусках и о питии, ждала в особной горнице, где принимала важных гостей. Про себя положила непременно поговорить о Мишутке.

Тверской епископ был со вдовой Александра накоротке и потому не стал слишком чиниться и говорить околичностями. Коротко осведомясь о здравии чад, отведав рыбы и запив ее травным настоем (в последние месяцы епископ Федор сильно прихварывал, и Настасья, зная это, заказала ему заранее мягчительное питье с мятою и зверобоем), епископ откинулся в кресле и сам повел речь о том, о чем Настасья намерилась его вопросить.

— Отроку Михаилу подходит срок к научению книжному,— выговорил Федор.— Како мыслишь ты, госпожа, о сем деле, наиважнейшем для юного отрока?

Выслушав ответ вдовы, Федор склонил голову, покивал согласно, вновь глянул светлым старческим взором. С легкою улыбкою примолвил: не хотела бы она отослать сына учиться в Новгород, к архиепископу Василию, понеже оный крестил младеня и ныне хощет приложити труд свой к воспитанию Михаила и научению книжной грамоте?

Настасья вспыхнула, смешалась, поняв сразу и всю заманчивость предложения Василия Калики, и могущее воспоследовать неудовольствие Костянтина с Авдотьей, ежели не самого великого князя Семена.

— Позволь, владыко, побеседовать с сыном моим.

Скоро Михайл предстал перед матерью и епископом. С мороза остро почуялись ему все запахи: старческий, Федора, привычный — от матери, запах свечей, травного настоя, рыбы и закусок, расставленных на столе (ему тотчас захотелось есть, но он сдержался, понимая, что попросить сейчас, в присутствии епископа, кусочек рыбы было бы неблагопристойно).

— Поедешь учиться в Новгород?

Отрок перевел взгляд с матери на епископа и обратно. Что это они решили тут вдвоем? Первое чувство было — бежать назад доигрывать с ребятами. Какой

там Новгород, зачем? Он прихмурился было, опустил голову, задумался, кусая губы, и вдруг горячая волна прилила к сознанию: в Новгород Великий! В тот далекий и богатый город! Который, говорят, еще больше Твери, где иноземные корабли, немецкие, датские и варяжские гости, где река Волхов и Перынь...

— Хочешь поехать? Тебя зовет крестный твой, Василий Калика! — донесся издалека голос епископа.

Михаил поднял голову, глаза блеснули.

— Конечно, хочу! — воскликнул он.— А правда, что в Волхове живет змей и ему бросают людей на съедение?

Епископ Федор улыбнулся. Настасья, охнув, притянула сына к себе:

— Тебя не съест, не боись!

— А я и не боюсь, мамо! — с легкою обидой отозвался отрок, чуть отодвинув Настасью плечом, и вновь поднял светлые любопытные глаза: — А что, теперь уже змея того не можно увидеть?

ГЛАВА 32

Ольгерд встал, резко отшвырнув серебряный кубок. Багряное вино, точно кровь, полилось по столу.

— Ты знаешь, что я не пью! Не советую и тебе пить, Кейстут! Нам нужны ясные головы, чтобы хотя удержать их на этих плечах! Неужели ты не видишь, что Литва гибнет! И погибнет вскоре, ежели ты... Ежели мы с тобой не спасем ее нынче, сейчас!

Он стоял, прямой и высокий. Кожаный пояс с чеканными узорами из серебра красиво стягивал стан. Льняные волосы прямыми прядями падали на плечи. Длинное лицо Ольгерда, всегда такое спокойное, нынче потемнело и подергивалось от гнева. (Князья были одни в палате, почему только Ольгерд и дал себе волю.) Внизу, во дворе и за стеной, шумела дружина, шел пир, рекою лилось пиво и вино. Кейстут потому и поднес кубок брату, хотел порадовать, разыскав его в этой уединенной горнице, не чая худого от чары красного фряжского.

— Гибнет? Литва? — не поняв, изумился Кейстут.

— Да, да! Не обольщай себя тем, что наши рати стоят под Киевом, что мы заняли Галичину с Волынью, взяли Полоцк и Луцк и не сегодня-завтра, быть может,

возьмем Смоленск! Скажи, можем мы справиться с Орденом? Немцы одолевают нас в каждом бою! И еще страшнее — без боя! Вильна наполнена католиками, Явнут давно уже в руках римских попов! Над нами висит Польша, и венгерский король точит меч, мечтая завладеть Галичем! Ведомо тебе это? Ведомо тебе, кому поможет богемский король, ежели разразится война? Да! Отец отдал нашу сестру, Ольдону, королю Казимиру в жены, а с нею воротил двадцать четыре тысячи пленных поляков, которые снова пойдут на нас, когда грянет война! И не венгерский король, так сам Казимир протянет тогда руки к Галичу!

Где я возьму брони для моих воинов? Литвин выходит на бой в холщовой рубахе против немецкого панциря и закованного в латы коня! Магистр запрещает рижанам продавать нам свейские брони! Король подарил наши земли Ордену! А папа из Рима благословляет войну с неверными! Сумели мы хотя на пядь отодвинуть немцев от наших рубежей? Что остается нам? Поддаться латынской лести? Принять ихнего бога и папу римского? Или креститься у греческого патриарха?

Ты считал, Кейстут, сколько нас? Нас, литвы, а не русичей, захваченных нами! Мы с тобою и то дети от русской матери. Кейстут, и я в детстве был крещен православным попом. Но я литвин! И ты тоже, брат! Попы всё врут! Стоит нам принять русского бога, одолеют русские! Стоит поддаться латинам — одолеет Орден либо польский король! И мы, гордая литва, будем чистить хвосты коням и пасти коров у немецких рыцарей! Понял ты это, Кейстут? Скажи теперь, кто мы с тобою? Я не чую в себе русской крови! Ни знака креста не ведаю на себе! Мы дети огня! Дети бога грозы, Перкунаса! И мы должны быть самими собой! Иначе нас одолеют не те, так другие!

А теперь сообрази сам. Нас семеро, семь сыновей нашего великого отца! Наримант крещен в православную веру. К тому же труслив и бездарен. Дай ему власть, и он разом погубит страну! В Вильне сидит Явнут, и ежели он просидит там еще десять лет, католики возьмут нас без бою и перережут, словно кур в курятнике! Я ведаю, что говорю, Кейстут! Наримант с Явнутом сейчас главные вороги Литвы и наши с тобой! Кириад, Любарт и Монтовид не в счет, пока не в счет, ты знаешь сам! Мы или они! Надо брать Вильну, пока не поздно! Ты понял это, Кейстут? Ты понял

это, брат мой единокровный? Вот о чем надобно мыслить теперь, а не пить вино и орать дурацкие песни, радуясь невесть чему!

Ольгерд смолк, остро и тревожно вглядываясь в худое лицо Кейстута. Никогда доднесь и ни с кем он не говорил так открыто и, кончив, сам испугался сказанного: а ну как брат отступится от него?

Кейстут думал, он то опускал, то приподымал высокое чело, коротко взглядывая на брата. Удержит ли Ольгерд власть? Поверят ли ему бояре и воины? Не восстанет ли смута в стране? К радости Ордена! (А это будет самое страшное!)

— Поддержит тебя... нас дружина? — спросил он наконец хмуро.

— Да! — ответил Ольгерд, продолжая острым пронзающим зраком глядеть на брата.— Дружина идет за сильными! Мы, я и ты, должны доказать это теперь!

— Это на всю жизнь? — спросил Кейстут, вскидывая глаза.

— Клянусь Перкунасом и всеми богами Литвы, клянусь священным дубом, клянусь отцом и матерью, клянусь совестью и честью воина, клянусь этим мечом и этою цепью на шее моей! Мы будем с тобою как два глаза и две руки, и жены не смогут поссорить нас между собой, ибо тебе будут Троки, а мне Вильна!

— Ты все наперед продумал, Ольгерд, даже и это! — бледно усмехнулся Кейстут.

— Да, и это, мой брат!

— И знаешь, как занять Вильну...

— Да!

— И как подготовить дружину...

— Да!

— И что делать потом...

— Да, да!

— И как поступить с братьями, ежели мы, ежели их...

— Этого я еще не знаю, Кейстут! Братняя кровь часто лилась в нашей стране, и все же я не хотел бы красить княжеское корзно свое в багрец кровью сыновей Гедиминаса. Через этот ручей я постараюсь перешагнуть, не замочив ног.

Кейстут поднял наконец голову, решившись. Братья шагнули друг к другу и обнялись.

— Погоди! — сказал Ольгерд.— Давай принесем древнюю клятву, клятву наших предков, что ты и я бу-

дем неразлучны друг с другом, как две руки единого тела до самой смерти!

— И после нее! — строго ответил Кейстут. Он был рыцарем, и честь данного слова была священна для него.

За стеною шумела дружина, раздавались победные клики, нестройное пение пьяных голосов.

— Скоро они пойдут за мною до края земли! Но узнают, что я повел их против Явнута только под стенами Вильны...— задумчиво проговорил Ольгерд, прислушиваясь к шуму за стеной.

— Слушай, брат! — вопросил Кейстут.— Вот ты говоришь, что Литва одинока и на краю гибели. Веришь ли ты, что мы устоим днесь и в веках?

— Воин не может и не должен гадать о том, чего невозможно постичь. Бояться грядущего и гадать — женское дело! Во что верю я? Во-первых, в то, что Орден столкнется с Польшей, а Казимир с Карлом Богемским! Во-вторых, что русичи несогласиями погубят самих себя, как погубили уже Михаила Тверского! И тогда Псков с Новгородом, а быть может, и Тверь со Смоленском откачнут к нам! В-третьих, я знаю и понял, как надобно бить Орду, и, клянусь тебе этим мечом, Орда тоже вскоре уведает об этом! Вот во что верю я, Кейстут! В это оружие и в эту голову! И боюсь я только попов. Они сильны словом, а слово сильнее меча! Но и они не страшны нам, ежели Рим перессорит с Царе-градом, а к этому, кажется, идет! Унии с Римом уже не будет. Я узнал. В Константинополе началась война. Только одно, токмо одного не хватает нам, литвинам! Как сделать так, чтобы литовские бабы рожали сразу же взрослых воинов?

— В бронях и на коне! — поддержал невеселую шутку Кейстут.

— Да, в бронях и на коне! — жестко отозвался Ольгерд.— Мы слишком много покорили русских земель, и надо беречься, чтобы и нам самим нежданно не стать русичами...

Оба замолкли. Длинное нервное лицо Ольгерда опять застыло, словно он надел маску.

— Выйдем к дружине! — предложил он первый брату.— Нас с тобою зовут плесковичи! Заметь: зовут меня, а не Нариманта, коего новогородцы пригласили стеречь ихние пригороды, и помочи чают от нас с тобой, а не от Нариманта с Явнутом!

Братья вышли, потушив свечи, низко наклоняясь в дверях. Забытый кубок в полутьме покоя так и лежал опрокинутым на столе, и в сумерках красное вино чернело, словно пролитая кровь еще не свершенного преступления.

ГЛАВА 33

Медленная речь. Медленное восточное застолье. Едят руками, засучив рукава, баранину и плов. Высасывают кости, облизывают жирные пальцы. Пьют кумыс. Изредка — взгляд из-под полуприкрытых век, мгновенный, изучающий. И опять ничего. Плоские лица бесстрастны. Длится беседа обо всем, кроме того, ради чего собрались вокруг дастархана хозяин и гость. Чадят светильники. Томительно ноет зурна. В роскоши ковров и чеканной утвари танцует девушка. Жирные пальцы шевелятся в лад танцу. Глаза прикрыты от удовольствия. Ай, вах! Танцовщицы не закрывают лица. Брови подведены и слиты воедино чертою синей краски, словно излучья татарского лука. Ай, вах! Хорошо! Якши!

Продается конь, или продается красавица, или продается жизнь. Об этом не говорят, говорят совсем о другом, но пир длится, и медленно созревает уже неотвратимое решение. Передадут повод коня из полы в полу. Красавицу, взяв за косы, швырнут на ковер, под ноги нового господина. Жизнь возьмут ножом во время пира, или стрелой на охоте, или арканом прямо на улице, середи толпы,— ежели продана жизнь. Так в торговле. Так и в борьбе за власть.

Смерть никогда не приходит вовремя. Вернее сказать, ее никогда вовремя не ждут.

Узбек задыхался. Глаза на исхудалом лице вылезли из орбит. Зачем эти ватные покрывала, шелка, подушки и кошмы, зачем! Воздуху! Ежели бы его сейчас вынесли на простор, в степь! Чадят светильники. Запах сандала давит на грудь. Отвратительно пахнет жирным,— зачем они варят баранину, зачем всё, когда пришла смерть! Его переворачивают, больно — нет чутких рук, нет близкого, никого нет! Как он одинок, как немощен — повелитель мира, царь царей! Где дети? Зачем тут эта, толстая? Уберите всех! Где Тинибек?

— Повелитель, твой старший сын с войсками в Хорезме!

— Послать за ним!

Молчание.

— Послать за ним немедленно, слышите, я умираю!

— Будет исполнено, повелитель.

Голоса бесстрастны. Его не любят. Его не любит никто! Единственный любимый сын, Тимур, в могиле. Некому сесть у пышного ложа, некому взять в ладони свои его холодеющие пальцы и проводить в последний великий путь.

— Позовите детей!

Узбек хрипит. В горле булькает, сгустившаяся слюна не дает дышать. Он закидывает голову, шепчет:

— Уберите подушки!

А ему их поправляют, подымают выше, еще более затрудняя дыхание. Его не слушают, не слышат уже! Его никогда, никогда не слушали. Творили кто что хотел. О, он знает, Черкасу надо срубить голову, Товлубегу тоже... Если бы он мог встать! Один только день! Одного дня не дал ему Аллах! Он все бы поправил, все бы переменил тогда. Он бы... тогда... Воздуху! Зачем курильницы... дым... копоть... Зачем?!

Кто-то почтительно склоняется над ложем. Они издеваются над ним! Ах, прибыли сыновья? Зови...

Джанибек и Хыдрбек входят, стоят почтительно, прижав руки к груди. Он уже плохо видит, ему кажется, что Джанибек улыбается. Неужели рад? Рад его смерти?

— Иван, Иван! — зовет он мертвого улусника своего. Коназ Иван мог бы ему помочь, подсказал, кто из них... Он умный, коназ Иван, очень умный! Надо было убить его, а не коназа Александра... Теперь оба мертвы, и он умирает, повелитель мира, светоч веры, как называют его муфтии, столп вселенной... А ему теперь ничего не надо, только воздуху, один-единый глоток!

Сыновья, пятясь, отходят от ложа, около которого начинает хлопотать арабский врач, переглядываются, и в этом первом освобожденном взоре мелькает уже предвестие близкой судьбы одного из них. Джанибек и вправду улыбается в этот миг. Младший трепещет, как заяц при виде змеи. За стеною ждут конца эмиры Джанибека, и его, Хыдрбека, сейчас защищает от брата только тоненькая рвущаяся ниточка тяжкого дыхания

отца. Его трясет. Не от печали, от страха. Проживи, отец, проживи еще, пока не вернулся Тинибек! Будет ли лучше, Хыдрбек не знает, но сейчас ему страшно, его страшит улыбка брата у ложа умирающего отца. Он еще ничего не знает, не знает и того, о чем уже извещены эмиры там, за стеной, за серой кирпичной стеной, выложенной голубыми и желтыми изразцами, но он дрожит, как заяц в тенетах при виде приближающейся смерти...

Где былое братство Чингисидов? Где кровная связь родства и память общего дела сынов далекой Монголии? Ее нет, ее уже нет! В коврах, в изнеживающей дворцовой роскоши и великолепии награбленного узорочья, притекшего из Багдада, Исфагана, Дамаска, среди мусульман, чуждых закону степей, исчезла, иссшаяла доблесть и честь нойонов и воинов Темучжина, иссшаяло доверие близких друг к другу, а когда нет веры в человека, лучший помощник — нож! И брат дрожит при виде брата, ибо нет братства крови, есть жажда власти, и только она. Жажда власти, которая уже начинает губить и скоро погубит совсем древнюю славу Монголии.

...Они тоже не всегда любили один другого и тоже резались насмерть, и все же они были братья, Чингисиды, дети, внуки и правнуки великого, и они еще понимали это, и понимали их воины, пронесшие девятибунчужное знамя через полмира.

Теперь братья — это соперники в борьбе за власть, и только. И так же думают их беки и эмиры, готовые поддержать того, кто больше заплатит или пообещает заплатить. И сила степных воинов, покорившая мир, готова исчезнуть в напрасной взаимной вражде. И даже тому теперь, кто не хочет резни, надо убивать, дабы не быть убитому.

Джанибек не был ни злодеем, ни убийцею. Он просто понял прежде своих братьев суровую истину нынешней власти в Орде.

И он понял, увидел страх своего младшего брата. И, покидая покой умирающего отца, дал незаметный знак нукерам не выпускать Хыдрбека из-под стражи своей. Ибо младший опасен не менее старшего, потому что опасен всякий сонаследник престола. Всегда найдутся эмиры, готовые поддержать соперника! А власть в Орде должна быть одна. Иначе не будет Орды и дело Батыя погибнет в распрях потомков. Джанибек не

думает сейчас, способнее ли он своих братьев — дабы занять престол нелюбимого им отца — или нет, но он знает, что приди к власти любой из них, рано или поздно двое других должны будут умереть. А умереть первым он не желал. И потому, едва пронеслась весть о смерти Узбека, ножи оборвали жизнь младшего из его сыновей. И вестник, посланный недругом Джанибека, полетел в Хорезм предупредить старшего о совершившемся преступлении. И другой вестник, вослед за первым, поскакал туда же, в Хорезм, передать старшему брату, что Хыдрбек замышлял недоброе и потому казнен, а он, Джанибек, ждет в Сарае как верный слуга законного хозяина трона. И гордый Тинибек шел назад, гневаясь, не распуская войско, и все решал дорогою: сразу по возвращении или несколько погодя — выслушав униженные просьбы и мольбы — казнить ему брата-убийцу? Он точно знал, что казнит Джанибека в любом случае, и одного лишь не ведал в гордости своей — что Джанибек это знает тоже.

За Ахтубою, в нескольких днях пути, Тинибек выслал вперед дозоры и слухачей — не собирает ли Джанибек против него войска? Но все было спокойно. В Сарае, доносили ему, готовились к торжественной встрече нового повелителя. Это его несколько успокоило, и он впервые подумал о Джанибеке с презрением. Нет, он не будет его убивать сразу! Даст наваляться в ногах, поиграет, как сытая кошка с мышью, и уже потом, после, незаметно отдаст приказ...

Снег таял. Начинало припекать солнце. Кони исхудали и были мокры от усилий. В Хорезме сейчас зацветают сады! Тинибек вздохнул, запахнул плотнее курчавый ворот долгого тулупа. Режущий ветер весны леденил лицо. Скоро он воротит домой, сядет на трон отца своего, будет править Ордою и судить урусутских князей, которые прибегут как псы, неся серебро и подарки. Он соскучился по гарему, по женам, по дорогим индийским танцовщицам, которых оставил в Сарае под присмотром персидских евнухов. Джанибек не собирает воинов, значит, верит ему! Быть может, сохранить брату жизнь? Нет, нельзя! Убийца должен быть наказан, как же иначе? И ему, Тинибеку, будет спокойнее после того править Ордой!

На ночевках Тинибеку разбивали шатер. Воины спали под открытым небом, на кошмах, у тощих кизячных костров, разгребая снег до земли. Все устали и мысли-

ли только об отдыхе. Забраться в свою дымную и рваную юрту, к своей старой жене, к чумазым детям, что кинутся наперегонки под ноги отца и будут радостно скулить и возиться, словно щенки... Близок Сарай!

Тинибек так до самого конца и не понял своей ошибки.

Он вступил в город во главе отборных войск. Его тотчас окружили придворные и воины, назначенные встречать повелителя, и повели во дворец по расстеленным белым кошмам. Голодные всадники, спешиваясь, бросались к котлам с дымящимся мясом. Вокруг Тинибека осталась лишь кучка нукеров, но и тех теснили, сжимая, с радостными приветственными криками Джанибековы воины.

Тень тревоги коснулась его сознания, лишь когда он увидел себя окруженным чужими людьми. Но прервать встречу, поворотить и ускакать в степь (что, возможно, спасло бы его) не захотел из гордости. Бежать от трона? К нему подходили знакомые отцовы вельможи и беки, подобострастно целуя руку. Знал ли он, что они уже переметнулись к брату? Целование руки — это был обряд, после которого он, Тинибек, станет полновластным хозяином Орды. Вот и брат! Сейчас и он станет целовать руку повелителю. Лучше все-таки схватить его сразу же, тотчас, не испытывая дольше судьбу. Тинибек оглянулся, чтобы позвать своих нукеров, и пропустил миг, в который Джанибек вырвал из ножен кинжал. Он хотел крикнуть, защищаясь, поднял руку, протянутую для поцелуя, и не успел ничего. Кинжал с хрустом и режущею, словно удар, болью вошел ему в горло как раз на палец выше медного воротника кольчуги, надетой под платье. Нукеры, расшвыривая Джанибековых воинов, кинулись к Тинибеку. Подняли. Он был мертв. В трех шагах от них, почти не защищенный своими телохранителями, стоял, пряча оружие и улыбаясь, новый повелитель Золотой Орды, Джанибек. Сто лет назад нукеры убитого немедленно перерезали бы ему горло. Но воины Тинибека только сбились тревожною кучкой вокруг трупа своего повелителя. Сейчас на них ринут со всех сторон с обнаженными саблями и копьями наперевес... Джанибек поднял руку и сказал, обращаясь к нукерам врага:

— Вы! Вынести тело! Похоронить с честью! Служить теперь будете мне!

Удивленные воины подняли труп и, толкаясь, понесли

вон из дворца. Их помиловали. Новый хан больше не захотел крови!

Когда Тинибека унесли, Зухра, планета дьявола, закрылась облаком, пряча свое лицо. Передавали также, что легкий черный смерч прошел над могилою убитого хана. Воины разбежались со страху, и только рабы забросали тело повелителя и отметили грудою камней место для мавзолея.

ГЛАВА 34

Из новогородского похода Симеон воротился победителем. Вокруг него толпились, заискивая, все те, кто еще год назад мало и замечал молодого княжича. Приказания Симеона выполнялись теперь мгновенно, с лёта. Ему было стыдно выслушивать грубую лесть, похвалы воинскому таланту, коего ему совсем не пришлось проявить на деле. Хотя порою, забываясь, он и начинал почти верить тому, что про него говорят.

Теперь, получив дань с Новгорода, он возмог заняться тем, о чем мечтал уже очень давно,— украшением своего стольного города. Новогородского серебра с лихвой должно было хватить не только на подарки хану, но и на лепоту московских церквей. По совету Феогноста были вызваны изографы из Византии подписывать церковь Успения пречистыя Богоматери, а для росписи собора Архангела Михаила начали искать русских писцов, вызнавая, кто более всех нарочит в этом деле во Владимире, Твери и Суздале.

На Масляной справляли свадьбу княжича Ивана с дочерью Дмитрия Брянского, Федосьей. Было много смеху, шуму, веселой безлепицы и кутерьмы. Симеон восседал на месте женихова отца, в красном углу, и смотрел на молодых, что, сидючи на курчавой овчинной шубе и поминутно заливаясь алым румянцем и прыская, кормили друг друга кашей, смешно не попадая в рот, и вспоминал, как он так же вот кормил когда-то с ложки Настасью-Айгусту, ту, уже полузабытую им, чужую литовскую девушку, и краснел, и бледнел, и как стыдно, как жарко и неловко было ему тогда! А теперь он — еще молодой и полный сил — смотрит на юного брата со снисходительною усмешкой старшего, и шумят подпившие бояре, точно мужики на деревенской свадьбе, и славит молодых хор, и шумит толпа на улице, на истоп-

танном снегу, у бочек с пивом и возов с дымящейся говядиной, и лезут в сени княжого дворца, толкаясь, чая поглядеть молодую...

Выбегало-вылетало тридцать три корабля,
Ой, рано, ой, рано, ой, рано мое!
Тридцать три корабля со единым кораблем,
Ой, рано, ой, рано, ой, рано мое!
Со единым кораблем, со удалым молодцом,
Ой, рано, ой, рано, ой, рано мое!

Только теперь уже вместо Семена с Настасьею поминают имена младшего брата с его молодою женой...

Каждая новая свадьба уводит нас в глубину прожитых лет, не дает ошибиться, не дает поверить, что время идет кругами, все повторяясь и повторяясь. Нет, уходит, уводя за собою годы и силы, и только в детях и внуках, в череде сменяющих друг друга поколений вечен человеческий род! Только в отречении от себя обретаешь бессмертие!

Настасья с осени ходила непраздная, упорно повторяя, что будет сын. Семен верил и не верил. Подолгу молился, стараясь отогнать смутную тоску и страх грядущего несчастья, помногу жертвовал на храмы и монастыри.

В иные мгновения ему хотелось уйти ото всех многотрудных дел правления своего, что-то обдумать и понять... Но его не отпускали, торопили, требовали. По слухам, городецкие и нижегородские бояре, двух спорных городов, уступленных Костянтину Василичу Суздальскому, мыслили опять заложиться за великого князя Семена, а с тем вместе воскресал старый спор, в коем Симеон, даже и уступив во всем суздальскому князю, все-таки порою чувствовал себя ограбленным. Теперь же, после новогородских успехов, на него навалилась едва ли не вся боярская дума, требуя принять нижегородцев под руку свою.

Симеон, поддавшись почти неволею общему натиску москвичей, ощущал в себе тягостное раздвоение. Присоединить Нижний, тихо отобрав его у суздальского князя,— это был старый отцов путь собирания страны, возможно верный, и даже не единственно ли возможный? Ибо не сотворялось соборного дружества братьев-князей, каждый норовил розно и вперекор общему делу. Уже то, что он не дозволил, продлевая войну, разграбить новогородские волости, вызвало, как передавали слухачи, упорное нелюбие к нему во князьях. Но и среди бояр,

ревнующих о новых промыслах, видел Симеон, что руководит ими не столько тревога о судьбах земли и языка русского, сколько своя корысть, забота о волостях и кормах, а потому, даже и исполняя то, чего хотели от него бояре, Симеон чувствовал себя одиноким, «гордым» среди них всех. Быть может, один Алексий способен понять и успокоить трудноту и муки его души?

...Они сидели в светелке княжеского дворца. Шла первая неделя поста, в которую Алексий вкушал только воду и немного хлеба единожды в день. Уважая гостя, Симеон также не притронулся к трапезе — тертой редьке, морошке, рыбе и грибам, что приличия ради были все-таки расставлены на столе. В поливных кувшинах вместо вина и меда были нынче вода и квас. Одной воды, дабы отдать дань уважения хозяину, и налил себе, отпив в конце беседы, Алексий.

— ...Порой я не ведаю, где истина и где лжа! Что есть во мне, кроме имени великого князя владимирского, имени, которое родилось до меня и умрет не со мною! Почто льстят и негуют мя, яко отца своего али древнего македонского героя, победившего языки и страны? Что есть во мне? Или пото и льстят, что мал и ничтожен есмь, и жадают обадить мя? Бояре! Старшая дружина княжая! Сам Сорокоум и тот! Те, коим надлежит вести и направлять государя своего! Куда вести и чем направлять? Скажи мне, Алексий! Вот я на высоте власти, и не ведаю, что должен вершить теперь. Разбирать тяжбы Афинея с Сорокоумом, стращать Черменковых, сдерживать Мину, следить Акинфичей, не сблодили б чего невзначай? Утишать Василья Окатьева, что воздвиг нелюбие на Вельяминовых? Отвечать всем и каждому, что не помилую и не прощу Алексея Хвоста? Или, напротив, простить и помиловать его, дабы не поселять розни и нелюбия в боярах? Следить, чтобы городовые воеводы не крали у мыта и конского пятна, а татей казнили б скорою смертью? Чтобы был некручинен торговый гость на Москве? Накормлены нищие погорельцы? Чтобы вдовица не была обижена от сильных мира сего, ремественник не возроптал, а смерд не покинул пашни своей от судии неправого? На все то есть думные и введенные бояре, городовые воеводы, дьяки и подьячие, мытники и вирники, ключники и посельские, старосты и приставы,— им же надлежит ведать исправу и суд!

Скажи, Алексий, почто надобен я и какова цена мне среди прочих людей? Руководить ратью? На то есть

воеводы, знающие дело премного лучше меня! Сноситися с государями иных земель? На то есть послы и знающие бояре — те же братья твои,— кои могут и без меня вести молвь заморскую и ведают зазнобы великого княжения лучше меня! Держать и вязать это все, не давая рассыпать посторонь?

— Да, князь, держать и вязать. И разоставлять людей, каждому поручая труд по силе его!

— Ведаю. Я не то... Не о том хотел прошать тебя, владыко! Есть ли высшая цель и высшее назначение в жизни сей? Чую, что им, обадящим мя, неведомо величие духа. Земной успех, случай и счастье, то, что приуготовил для меня отец, а я только воспользовался тем, они понимают яко великий талан. В их глазах тать и разбойник, захвативший власть, станет героем; неправедно, на слезах сирот и вдов, наживший ростовщик — праведником, а удачливый обманщик — мудрецом. Вот чего боюсь и от чего содрогаюсь в ужасе! Неужели и я столь мелок и слаб, что мне, не стесняя себя, льстят и лгут прямо в лицо, насмешничая за моею спиной? Там, в Орде, когда неведомо было, кто победит, я видел неложную любовь и дружное старание всех вкупе одолеть супротивника; теперь же и те, верные, разбрелись, и голоса их ныне звучат поврозь!

— С Алексеем Хвостом,— раздумчиво отзывается Алексий,— хоть я и помогал тебе, ты поторопился, князь. Надлежит смирять сильных, не утесняя. Страх не творит любви! Тебя называют Гордым, не дай этому прозвищу овладеть тобой! Кроме того, не достоит тебе поддерживать одних противу других. Каждый слуга князя должен верить в прочность бытия. Твой отец это понимал хорошо и призывал к себе бояр по роду и древним заслугам предков. Паки реку: князь надобен для единства страны. Токмо все вкупе возмогут вершить труд власти! А высшая цель! Она едина у всех — служить Господу своему, не ослабевая в трудах! И постичь волю его иначе — не трудясь, но токмо размышляя о том — не можно.

Семен судорожно прошелся по покою, остановясь у заиндевелого слюдяного окна. Вымолвил глухо, не оборачивая лица:

— На мне лежит проклятие, ты знаешь, в смерти Федора... А иногда я мню, что ничего нет, ни суда, ни воздаяния за прошлый грех, и что мне не судил Бог отвечивать за то, прошедшее, на последнем суде...

— Молись! — строго перебивает князя Алексий.—

Грешен ли ты, ведает един Господь, но сомнение в божьем суде — первый шаг к неверию и греху!

— И еще... Я о сыне своем хотел, нерожденном...— прошептал Симеон.— Страшусь судьбы!

— Ведаю. И паки реку: молись!

Оба на время замолкают, слушая, как внизу, под стенами дворца, звонко ржут кони, скрипит снег и переговаривают веселые голоса.

— Знаю, князь, сколь не проста ноша твоя, и паки реку: не согнись, но и не возгордись на пагубу себе! И я на твоем месте, не ведаю, сумел бы избежать соблазна? Князев подвиг — в миру, и не подобает тебе отринути суету земную! Наместничество мое такожде многотрудно! Помимо суда владычного, надлежит ведати всякою снедию для двора архипастыря и монастырей. Считать четверти ржи, пуды масла и сыра, бочки с рыбою и возы овощей, заботить себя покупкою греческого вина и ладана, одежд и облачений, книг и церковной утвари. Следить не токмо за тем, как правят службу иереи, не токмо учить невежд и направлять заблудших, не токмо рукополагать и ставить, объезжать епархии и приходы, но и тем заботить себя, что какой-то старец Никита в Манатьином стану, в сельце Гиблая Весь, быв послан от монастыря мерить покосы, в буйном хмелю учинил прю с разратием и ныне, связанный, привезен на мужицкой телеге для митрополичьего суда... И дело то надлежит ведать мне, паче нужд волынских епархий, кои Литва хочет забрать под себя вот уже который год! Токмо ночью нахожу час для молитвенного труда... А каково тяжко наставлять иных священнослужителей смирению и бедности, ибо слуга Христов не должен возноситься богатством над прочими!

— Я тоже богат! — отвечает задумчиво Симеон.

— Ты князь! В миру потребно мирское, в церкви, в монастыре — духовное. Достойно украсить храм, дом Бога своего, почтить Всевышнего благолепием служб, красою письма иконного и согласным пением. Но недостойно священнику имати мирскую роскошь в дому своем, сладко есть и пить, надмеваяся роскошью хором и утвари... Речено бо есть: царство мое не от мира сего! В том долг священнослужителя, дабы и вам, мирянам, указывать врата вечности, и не токмо копить богатства, коих червь не точит и тать не крадет! Ты же, князь, творишь волю создавшего тя в земном и грешном бытии. Ты судия, но и сам, яко смертный, на суде у Всевышнего.

Твори труд свой, яко пахарь пашет пашню, не ленясь и не допуская огрехов и голызин. Я же буду искать для тебя достойного духовника среди мнихов, дабы ежечасно укреплял твой дух и смирял гордыню, не давая пути лживым хвалам в сердце твое!

Симеон молча и благодарно склоняет голову. Сейчас, как никогда, чует он, что одна земная власть, без духовной узды и защиты, не может быть ко благу ни страны, ни его самого.

ГЛАВА 35

Великим постом отправляли наместников в Новгород с наказом обновить изветшавшие княжеские терема на Городище. Староста доносил, что и большая церковь Благовещения ветха зело, и Симеон приказал разобрать ее до подошвы и возвести наново, в чем Василий Калика вызвался помочь великому князю своими орудьями и каменосечцами, а взамен просил прислать литейного мастера с Москвы, Бориса, для отливки колокола к Святой Софии.

Семен сам вызвал и принял мастера Бориса, невысокого и отнюдь не плечистого, каким, казалось бы, должен был быть литейщик колоколов. И, с удовольствием глядя в сухое, потемнелое от огненного жара умное лицо мастера, долго говорил с ним, вызнав и для себя много нового, чего и не ведал доселе: о литейных глинах, опоках, сварах и сплавах, о том, почему у иного колокола глухой звон, и как содеять, дабы металл «казал силу свою», и каким должен быть правильный колокольный наряд, про себя запомнив, что мастера надобно будет наградить, егда воротит из Новгорода.

Владыка Василий был зело не прост и не без дальнего умысла взялся ныне воспитывать тверского княжича Михаила, и все же куда приятней было вести вот такие переговоры, обмениваясь мастерами и возводя храмы, чем двигать рати и зорить ни в чем не повинных селян!

Прощаясь, мастер одернул суконный зипун, негнущийся, непривычный, видимо праздничный, нарочито одетый для встречи с князем, поклонил гордо. И гордость мастера также понравилась Симеону. Родитель-батюшка почасту говаривал: тот, кто уничижает себя

паче меры, почасту прячет за сугубым смирением невежество и лень.

Слухи о смерти Узбека и о замятне в Сарае дошли до Москвы на Пасху, но ничего толком известно еще не было. Говорили наразно, и Симеон предпочел выждать, послав своих слухачей в Орду. С переменою власти в Сарае очень можно было опасаться новой княжеской пакости.

Настасья дохаживала последние месяцы. Она сильно располнела, как-то обрюзгла и распустилась, почти перестав следить за собой. Симеон морщился от ее неряшества, но терпел и ждал. Да, впрочем, дома и бывать приходило не часто. Можайск, Коломна, Волок, Ржева, Владимир, Переяславль... Что-то надвигалось опять, суровое и тревожное, на Русь и на него самого. И, чуя это, в чаянии грядущей беды, Симеон удваивал усилия защитить, спасти, оградить свое княжество. Спешно латали прохудившие стены коломенского кремника (в рязанской земле начиналась замятня, Иван Иваныч Коротопол сцепился с пронским князем, Ярославом). Раннею весною немцы поставили Новгородок на Пижве, на псковском рубеже. Кормленый псковский князь, Александр Всеволодич, повоевавший Латиголу, ушел, «учинив разратие с немцы», а плесковичи, разорвав ряд с Новгородом и великим князем владимирским, призвали к себе Ольгерда для защиты от немцев.

Симеон, ожидая новой пакости от Литвы, поскакал в Можайск укреплять город. Спешно подымали валы, рубили новые городни. Князь не шутил, и воеводы, кажется, почуяли это. Работали споро и дружно; памятуя прежнюю беду, весь Можай от мала до велика был поднят на ноги. Убедясь, что работы идут полным ходом и близки к завершению, он воротился в Москву.

Скакать приходило верхом. Княжеский возок застревал на раскисших дорогах. Пахло весной, гнилью, сыростью и — надеждами. Он скакал, заляпанный грязью, вдыхая талый воздух весны, и совсем-совсем не хотелось ему домой, в паркое тепло опочивален, в застоявший с зимы спертый воздух, в душную полутьму хором.

Из Москвы, не умедлив и дня, Симеон устремился во Владимир принимать присягу на верность нижегородских бояр, попросившихся под руку московского великого князя, чего упустить было никак нельзя.

Этого бы не понял никто, даже и сам Алексий. Тем паче что у бояр сохранялось право отъезда, а Костянтин, замыслив перенести в Нижний свой стол, начал, по-видимому, сильно теснить привыкших к вольной жизни местных вотчинников.

Было такое чувство, что земля, как кусок мокрой бересты, положенный на костер, начинает трещать и заворачивать с краев, вот-вот готовая вся поддаться огню.

Весною, в Великую пятницу, новогородцы пошли было ратью на помочь плесковичам, но те, поверив, что немцы ставят городок на своей земле, заворотили новогородскую рать от Мелетова. Теперь в Новгороде опять начались пожары и нестроения, а немецкая угроза нежданно и грозно возросла. Лучшего времени, дабы вмешаться в дела Пскова, Ольгерд не мог бы и выдумать. Симеон, связанный ордынскими делами, ничего не мог содеять противу. Оставалось только ждать разворота событий да молить Господа и Пречистую — не отдали бы град Плесковский в руки Литвы!

Симеон все еще медлил ехать в Сарай, откуда уже дошли вести о победе Джанибека над братьями, хотя ехать было необходимо тотчас. Все три Константина и ярославский князь уже устремились к новому хану. Просидев на Москве, можно было потерять ярлык на великое княжение владимирское. Но он ждал. Наконец-таки пришла первая добрая весть из Новгорода. Ольгерд с Кейстутом, простояв под Псковом и потребив обилье по волости, не решились на сражение с большей немецкой ратью и отъехали, ничего серьезного не свершив. Немцы, осадившие было Изборск, в свою очередь внезапно сняли осаду и отошли, «ниским же гонимы». Бог и Святая София, как писал Василий Калика, уберегли от беды град Плесковский!

«Бог и Пречистая его Матерь!» — повторил, поправив невольно новогородского архиепископа, Симеон, свертывая в трубку грамоту.

Теперь надлежало скакать в Орду.

Настасья родила в начале июня. Мальчик, названный Константином, прожил всего один день. Известие о том застало Симеона во Владимире. Он сидел, понурясь, с грамотою в руке, и молчал. Слез не было.

Над ним сбывалось проклятие. «Грехи отцов падут на детей!» — тяжко подумал он, не находя покойному родителю ни оправдания, ни осуждения. Все было так, как должно было быть, и не могло быть иначе! Вот и все. Младеня, сообщал Алексий, похоронили у церковной стены, рядом с тем, давним.

Ему было безумно жаль Настасью, но поделать с собою Семен уже ничего не мог. Он не любил ее. И знал: проклятье исполнилось. Детей у них больше не будет.

ГЛАВА 36

Внове видеть в том же шатре, на том же золотом троне, среди полыхающих шелков и парчи, где восседал всегда казавшийся вечным Узбек, другое лицо, хотя бы и знакомое по прежним приездам. Семен поклонился почтительно, ни словом, ни улыбкою, ни даже движением бровей не показав, что помнит о той давней, с глазу на глаз, встрече на охоте. Наверно, это и было самым мудрым решением: ничем не показать неуместного равенства с новым ханом, воздать полное уважение престолу и высокому званию прежнего знакомца, как бы само собою прекращающему прошлое приятельство равных. Вечером того же дня Джанибек позвал Симеона к себе.

Ехали в полной темноте, гуськом, вслед за провожатым, по незнакомым улицам. Ночь дышала ароматом созревающих садов и остывшею пылью. Верблюды черными молчаливыми тенями возникали на темносинем небе. Уличные псы, взлаивая, шарахались из-под копыт. Пыль глушила топот лошадей, и мгновеньями казалось, что они — заговорщики, выехавшие на рискованное ночное дело. Быть может, так оно и есть? Почто новый хан столь поздно зовет его на беседу? Не боится ли он, еще не укрепившись на троне, лишних глаз и лишних ушей? К хорошу это или к худу? — гадал Семен, пока они молчаливо пробирались по сонному городу.

Протяжно прокричал муэдзин с вершины минарета, призывая правоверных к вечерней молитве. Какие-то темные тени скользили вдоль плетней и глинобитных стен. Было жутко: а вдруг засада, убьют? Смешные страхи для великого князя владимирского! — одер-

нул он сам себя и все же оглянул беспокойно, не отстали ли от него кмети. Хоть и то сказать, что возможет содеять малая горсть ратных противу толпы?!

Наконец остановили коней. Незнакомые руки приняли повод. Волнуясь, он ступил во двор, скорее сад, обнесенный невысокою кирпичной оградой. В нос ударило ароматом роз. Прошли по выложенным плитками дорожкам. Тяжелые резные двери в огромных медных шишках накладных гвоздей отворились сами собой. Слуги приняли оружие, верхнее платье и сапоги. Засовывая ноги в красные остроносые туфли, Симеон лихорадочно припоминал все татарские приветственные слова, которые учил когда-то. Заранее сложил по-восточному руки на груди.

Отворились вторые двери. В блеске светильников, вся застланная и завешанная коврами и цветными кошмами, открылась небольшая шестиугольная палата с лепными ячеистыми сводами. Семен остановился, щурясь от яркого света. Джанибек, восседавший на подушках у края ковра, весело глядел на Семена. Кивнув в ответ на приветствие, показал рукою: садись, князь! Семен с Феофаном Бяконтовым уселись, скрестив ноги (боярин, хорошо знавший язык, поехал нынче с ним вместо толмача, не хотелось слишком многих посвящать в разговор с новым ханом).

Джанибек глазами, вопрошая, указал на боярина.

— Ближник мой! Верю ему, как себе! — торопливо ответил Семен. Феофан перевел слово в слово.

Джанибек одобрительно покивал головой. Двое толмачей, справа и слева от него, переглянулись, один коротко сказал что-то на своем языке. Слуги внесли кувшины с вином, серебряные тарели со сластями и фруктами. Отведывали незнакомые студенистые и сладковатые овощи.

Единожды в круглом проеме дверей мелькнул не покрытый чадрою лик татарской красавицы в жарком серебре, осыпавшем лоб, шею и грудь, и Симеон, не поспев удивиться, понял, что заглянула сама Тайдула,— на приеме, набеленная точно кукла, она была сама на себя не похожа. Любопытно стрельнула глазами, словно ожгла огнем, и разом исчезла: блюла ханскую честь (по обычаю бесерменскому жонок гостям не кажут). Джанибек только усмехнул, заметив, что его любимица похотела поближе рассмотреть московского гостя, и Симеону представилось вдруг, что, будь Джанибек кре-

щен, Тайдула сейчас сама бы вынесла серебряное блюдо с фруктами и сама, присев на подушки рядом с повелителем, слушала княжеский разговор (впрочем, поди, и так слушает там, за узорною завесой!).

Джанибек посмеивался, говорил незначительное, явно тянул, не торопясь начинать беседу, спрашивал, любуясь Симеоном:

— Кому передашь стол, коназ? Тому, этому брату? Тот, красивый, очень красивый, точно женщина, это твой наследник, Иван? А второй, батыр, это младший, Андрей? Нет у тебя наследника, коназ! Смотри! У Гедимина было много жен и много сыновей! Возьми вторую жену, коназ! Возьми татарку! Роди детей от татарской жены! Не можешь? Большой поп не велит? Знаю, не можешь! Ваш закон плохой, можно оставить престол без наследников! Ешь и пей, коназ, ты у меня в гостях!

Семен из вежливости отпил кумысу, отказавшись от вина. Кумыс был крепок, слегка пенился, терпко ударило в нос. Джанибек хлопнул в ладоши, вбежали слуги, унесли опорожненные блюда.

— Помнишь нашу встречу? — вдруг спросил, прищурясь, Джанибек.

— Помню, повелитель! — отмолвил Семен, не отступая от принятого им тона почтительного уважения.

— Ты понравился мне тогда, в степи! — сказал Джанибек и вдруг замолчал, опустив ресницы. Потом, строго взглянув в лицо Симеону, спросил:

— Скажи, Семен, пойдешь на меня войною, когда осильнеешь? Честно скажи, ну?

— Я никогда не осильнею настолько, чтобы пойти на тебя войною, хан! Лучше мне и тебе жить в мире! Скорее литвин пойдет войной на Орду!

— Евнутий? Кориад? Кто из них?

— Ольгерд!

— Ну, сперва пускай справится со своими братьями! И с немецкими латинами, которые не дают ему жить спокойно!

— Государь, Ольгерд мыслит отобрать у тебя Смоленск!

— Это и твой отец говорил моему отцу. Смоленский князь пока еще платит дани Орде! Полно, Семен, не боюсь я литвина, тебя боюсь!

— Почему?

— Люблю! А любимые всегда предают! От близкого никогда не ждешь удара в спину!

— Но не всякий же близкий предает друга своего?!

— А ты мне друг? — возразил, хитро усмехнувшись, Джанибек.— Ты не друг мне, коназ, ты данник мой! Мой улусник, а каждый улусник хочет сам быть ханом и ни с кем не делиться серебром!

— Великий хан...

— Молчи, Семен! Молчи и пей, у меня нету выбора! Суздальский князь, Костянтин, ежели дать ему волю и власть, тотчас пойдет на меня войной! У него есть в Нижнем Новгороде сумасшедший поп Денис, который только и мыслит о войне с Ордою! Пей и ешь, московский коназ! Был бы ты магометовой веры, я бы отдал дочь или сестру за тебя! В твой гарем! И было бы у тебя две, нет, четыре жены!

Семен молча потупил взор.

— Князь, судишь меня? — вдруг спросил Джанибек, перестав смеяться, и поглядел исподлобья, сумрачно.

Семен вскинул голову, глаза в глаза твердо встретил напряженный взгляд Джанибека. (Как раз вчера пришло скорбное письмо от жены.) Ответил с чуть просквозившею горечью:

— Нет! Мне хватает дум о своих собственных грехах! Я оттолкнул... не принял тверского князя пред смертью. И я... наказан теперь.

— Чем?

— У меня нету сына.— Семен помолчал, примолвил тише, опустив взор: — Власть! Она всегда требует крови. Мне, хан,— он снова вскинул взор,— по сердцу, что на престоле Узбека ты, а не Тинибек!

Джанибек смотрел на него, раздумывая. Молчал. Потом рассмеялся весело, подвинул стеклянную круглую бутыль с темным вином, блюдо с хурмой, примолвил:

— Ешь и пей, князь! Верю тебе! Пей вино! Ты хитрый, ты не пьешь! Не любишь вина? Ты мусульманин, коназ! Я шучу, не обижай за мной! — последние слова Джанибек вымолвил по-русски.— Тебе неудобно сидеть? Вытяни ноги, коназ! Они затекли у тебя! Вытяни ноги — ты гость, дорогой гость! Не надо мучить себя! Я угощаю тебя так, как принято у нас, но не хочу издеваться над тобою!

Потом опять стал задумчив. Прожевывая кусок дыни, словно невзначай, обронил:

— Все русские князи как один ругают тебя!

Семен едва не подавился хурмой.

— Нынче ты вновь затеял взять Нижний у суздальского князя? — продолжал Джанибек, словно не заметив смущения Семена.— Коназ Костянтин хочет получить под тобою великий стол!

Семен совсем перестал есть. Ждал.

— Кушай, кушай! — примолвил Джанибек по-русски.— Не печалуй! — продолжал он и, перейдя опять на татарскую молвь, докончил: — Я отказал ему. Но Нижний Новгород ты у него не бери.

— Бояре сами заложились за меня! — возразил Симеон и, решившись, добавил: — Мне, чтобы совокупить власть в русской земле, необходим Нижний Новгород!

— Будет суд! — коротко возразил Джанибек.

Семен долго вглядывался в лицо Джанибека. Понял наконец — хану дозарезу нужны деньги, нужно серебро, много серебра. Надо платить эмирам, посадившим его на престол. И Костянтин Василич заплатил. А великого стола он все-таки не получит, так, по-видимому, решил сам Джанибек. И Семен вместе с горечью и досадой вероятной утраты Нижнего почувствовал прилив теплого чувства к этому человеку, все-таки в самом главном не обманувшему его. Лишь бы он подольше усидел на ордынском столе!

— Старший твой поп приедет? — вновь спросил Джанибек.

— Да! — встрепенувшись, отмолвил Семен. (Феогност днями должен был прибыть из Владимира за ярлыками на церковный причт от нового татарского кесаря. Охранные грамоты русской православной церкви давала мусульманская Орда.)

— Скажи своим купцам, пусть опять едут, пусть не боятся меня! — вымолвил Джанибек, насупясь.— В Сарае будет теперь справедливая власть!

«Когда ты укрепишься на столе! — мысленно поправил хана Семен.— А сейчас тебе еще платить и платить своим эмирам нашим, русским, серебром! И брать ты будешь с правого и виноватого!» (Значительная часть новогородского выхода уже перекочевала в казну нового хана.)

Джанибек охмелел, глаза у него начали блестеть,

рука делала неверные движения. Пора было расставаться. Семен встал, склонившись в поклоне. Джанибек поглядел мутно, потом глаза его прояснели на миг:

— Баешь, Ольгерд?! — переспросил он, хищно оскалясь, и махнул рукою, вновь помутнев взором.— Верю тебе! Верю, что ты, пока не осильнеешь, не пойдешь на меня войной! Помни, князь! — повторил Джанибек, прощаясь.— Будет суд, и я не стану помогать тебе! Докажешь, что Нижний принадлежит московским князьям,— твое счастье, не докажешь — счастье коназа Костянтина!

ГЛАВА 37

Воротясь домой, Симеон вызвал бояр и сообщил им о возможном суде над ним, умолчав, что узнал это от самого Джанибека. Бояре внимали, ошарашенные. К несчастью, отсутствовал Сорокоум, не поехавший по болезни, он бы тотчас сообразил, что предпринять.

— Ныне идите почивать. Час поздний. Заутра будем думать соборно! — отрывисто произнес Симеон, распуская совет. Тихо переговаривая, бояре гуськом вышли из покоя. Феофан вопросительно поглядел на князя — не остаться ли? Но Симеон решительно покрутил головой: — Спи!

Выпроводив слугу, он потушил свечу, лег, как был, сняв только верхнее платье, укрылся суровой рядниной и стал думать. В узкое рубленое окошко засматривала ущербная, рожками вверх, восточная луна. Темнота плыла ощутимо, словно бы волны тумана. Разноголосо и хрипло лаяли собаки. Вдали прокричал верблюд.

Вот прошел год, год, как казалось ему, отмеченный несомненными успехами. Нет, даже меньше года! Укрощен Новгород. Получен черный бор. Прекращены литовские набеги на порубежье. Укреплена церковная власть, а с тем вместе достоинство Руси в землях иных. Владимирская земля вновь собрана воедино и заметно усилилась. А братья-князья? Моложский князь вроде бы должен благодарить... Однако князь натерпелся страху в затворе, поди, несет сердце на него, Семена, что не сразу вступился за свое полоненное посольство! Не дал им всем пограбить вдосталь Новогородчину? Правда, Твери истомно пришлось от ратного прохож-

дения. Правда, выход царев взимал он неукоснительно и со всех. С Васильем Давыдычем Ярославским о Пасхе довелось и поспорить о том! Но он же — великий князь владимирский! И выход тот он, не задерживая, отсылает в Орду! Ростовский зять, похоже, злобствует на продолжающиеся поборы в его княжестве... Но он не может поступить иначе — даром, что ли, отец платил серебром за ростовский ярлык?! Ему, конечно, припомнят и Дмитров, и Галич, и Белоозеро — все родителевы купли. Но ведь куплено, не граблено! Он должен, он могиле отца обещал не выпускать отцовых купель из рук!

Хуже всего, конечно, были дела с Костянтином Василичем Суздальским. Права на Нижний Новгород, как ни поворачивай, у Москвы спорны, очень спорны! Но бояре Нижнего и Городца сами заложились за великого князя! Право отъезда слуг вольных еще не нарушал никто! Так... А что бы он сам содеял на месте Костянтина Василича?

Симеону стало жарко. Он откинул ряднину. Хлопнув в ладоши (задремавший слуга не сразу взошел, и это едва не взбесило), приказал открыть оконце. Слуга долго возился, пока, наконец, вынул из пазов тяжелую оконницу с вставленными в переплет кусками слюды. Повеяло речною прохладой. Стало легче дышать.

Небо уже засинело, знаменуя близкий рассвет. Он вдруг и сразу уснул и во сне все хотел достичь чего-то прочного, клятвенного соборного согласия, которое так и не давалось ему...

Назавтра о суде над великим князем знали уже все. Семена, когда он проезжал по улицам русского подворья, любопытно разглядывали, словно увидавши впервые. Слухи ползли один другого чудовищней, вплоть до того, что новый хан порешил казнить Семена в отмщенье за гибель тверских князей, Александра с Федором.

Нижегородские и городецкие бояре, задавшиеся за великого князя, тоже были вызваны на суд. Теперь они ходили гневные или смурные, отчаянно глядя на Симеона. Ближе московского князя зная характер Костянтина Василича, они не чаяли, в случае торжества последнего на суде, остаться в живых.

Симеон принимал их, успокаивал, как мог. Думать о том, что эти люди, доверившиеся ему, могут по-

гибнуть теперь из-за него же в междукняжеской борьбе, было непереносно.

Московские бояре лихорадочно собирали грамоты, доставали списки, от кого и сколь получено даней, когда и кем взято, когда привезено в Орду... Поминали давний суд над Михаилом Тверским, когда великого князя оговорили как раз на таких вот мелочах, обвинив в утайке ордынского выхода.

Все попытки Семеновых бояр поссорить князей или хоть потолковать с каждым из них в особину, убедив отказаться от участия в суде, окончились полным провалом. Похоже, братья-князья сговорились у него за спиной еще до приезда в Орду.

Наконец настал день суда. Всю ночь Михаил Терентьич с Феофаном и Александром Морхининым готовили грамоты, прикидывали так и эдак, предусмотрев, кажется, все возможные зазнобы супротивников. И все же самого главного не предусмотрели, не верилось до последнего дня, хоть и упреждал Джанибек, что братья-князья будут соборно требовать от хана лишить Симеона великокняжеского стола.

Собрались в парадной ханской юрте, перед троном Джанибека. Вельможи и эмиры хана сидели рядами на возвышении, русские князья с подручными боярами стояли внизу, на ковре, двумя неравными кучками. Хлопотали толмачи. Нукеры у входа отпихивали любопытных, тех, кто не получил приглашения. В юрте ширился гул, словно в потревоженном осином гнезде.

Семен стоял, выпрямившись, отчужденно глядя на братьев-князей (в нем попеременно мешались горечь и бешенство), в лучшем своем белошелковом охабне с долгими висячими рукавами. Суконная шапка с алмазом и соколиным пером довершала его наряд. Братья-князья приоделись тоже.

Долго длилось рассаживанье и усаживанье придворных, долго ждали старшего муфтия, потом главный кади захотел дополнительно что-то узнать, и ему толковали, показывая грамоты, а он важно кивал головой в чалме, вытягивая шею вперед (горбатый нос и маленькая загнутая бородка придавали ему сходство с грифом), и приставлял ладонь к большому старческому уху. Наконец Джанибек подал знак — начинать.

Сперва говорить должны были обвинители. Начал

Василий Ярославский. Тяжело, исподлобья глядя на Семена, обвинил великого князя в задержке ордынского выхода и видимых переборах во взимании даней, а также в том, что черный бор с Новгорода Великого и отступное с Торжка князь целиком забрал себе, не поделясь с другими князьями.

Следом выступил Костянтин Ростовский и, краснея, запинаясь, смущаясь и гневаясь, стал говорить о грабеже Ростовской волости московитами: «С коего грабежа волость оскудела людьми и добром, смерды бегут во иные земли, яко от лихолетья какого или моровой беды» — и что он, князь, лишен всяких прав даже и в дому своем, а и селами, «которые князю надлежат», править не волен.

Потом вышла заминка. Костянтин Тверской не захотел говорить раньше суздальского князя.

Вышел вперед Костянтин Василич Суздальский. Холодно оглядев Симеона — словно бы знакомца, пойманного на воровстве, коего ближние теперь гнушаются даже и узнавать в лицо,— он отнесся прямо к хану и стал толково, не волнуясь, чеканя слог и делая остановки, дабы толмачи могли по-годному перевести сказанное, перечислять все шкоды князей московских, начиная с самого Юрия Данилыча: убийства, наветы, присвоение даней, грабленье, несообразная ни с чем покупка ярлыков на чужие княжества, неисполнение ханских повелений (так, Юрий Данилыч, вызванный в Орду, не поехал к Узбеку и присвоил себе две тысячи тверского выхода), наконец, клеветы на тверских, законных князей. Не было забыто и то, что Данила, дед Симеона, не был ни разу на великом княжении, и посему москвичи навсегда лишались права занимать владимирский стол.

Костянтин Василич заботливо и долго говорил о лествичном праве, о нарушенных правах тверских князей, вытолкнул упирающегося Костянтина Михалыча Тверского, и тот пробурчал, что у них, в тверском княжеском роду, лествичный порядок сохранен доднесь, так, он, Костянтин, без спора уступил стол старшему брату Александру, когда тот воротил изо Пскова.

Костянтин Василич перешел к проделкам Калиты, обнаружив отличное знание многого, что считалось глубоко скрытою отцовою тайной. Затем нарочито бегло перечислил то, в чем обвиняли Симеона другие князья, присовокупив:

— Не ведаю, утаивал ли великий князь Семен царев выход! По разумению моему, достаточно и прочих его шкод. Мне же пристойно тут рассказать, как великий князь тщится отобрать наш родовой живот, волость княжения суздальского, град Нижний Новгород.

Симеон сделал шаг вперед, сжал кулак — свернутая в трубку грамота в его руке хрустнула — и сдержался.

— Да, да! — продолжал Костянтин Василич.— Даже и смерть родителя своего великий князь Семен встретил не у постели больного, как было бы пристойно всякому сыну, а в Нижнем Новгороде, который еще тогда чаял охапить в руце своя! Здесь, перед ханом Узбеком, мир и покой праху его, он обещал воротить мне сей град, отчину мою и дедину, а ныне уже улестил бояр нижегородских поддатися себе, дабы и весь град со временем удержать за Москвою! Почто, царь царей, утомлял я твой слух речью об отце и дяде великого князя Семена? Чтобы ты видел сам, яко не по обычаю, не по закону и не по совести получили московские князья великий стол владимирский! Но яко тати некие, ворвавшиеся в богатый терем, и яко злодеи, погубившие братью свою!

Последнего при хане, только что убившем родных своих братьев, мог бы и не говорить суздальский князь! Ни словом, ни движением бровей не показал Джанибек царского гнева своего, но Семен сверхчувствием загнанного уловил, почуял промашку супротивника, подумав злорадно: «Нет, князь, все-таки не быть тебе на владимирском столе!»

Меж тем Костянтин Василич отступил, и вновь взял слово Василий Ярославский. Уже не от своего лица, а от лица всех потребовал лишить Семена великокняжеского звания, а владимирский стол передать суздальскому князю, старейшему прочих и по лествичному счету более, чем московский князь, имеющему прав на великий стол владимирский.

Намерясь отвечать, Симеон почувствовал, что весь мокр от волненья и злобы. «О чем все они думают! Какие права?! Что ж, я им здесь, перед лицом хана, скажу, что единство Руси надобно прежде всего на то, чтобы освободить себя от Орды? Справиться с татарами? — думал он в бешенстве.— Им не лествичное право — им нужно сидеть, как они сидят, не шевелясь, не думая ни о чем, кроме своих уделов! Воз-

любленная старина им нужна! Как бы не так! Не старина, а старость, не святыни прошлого, зовущие на бой, а дедова постель с клопами... А о прочем — хоть трава не расти! Не чуют литовской грозы, ни шатанья Царьграда, ни латинского натиска на Русь — ничего не чуют! Добро хоть, что ныне суд перед ханом, не то бы, как полвека назад, пошли войной друг на друга, а сил не хватило — притащили татар, стойно Андрею Санычу с Дмитрием,— и разорили бы в поисках «справедливости», завалив трупами, всю страну!

Что ж, они не видят грозы, наползающей на Русь? Не зрят грядущей гибели православия? Возможного вскоре изничтожения языка русского? И что токмо соборное сплочение всех русичей воедино вокруг сильнейшего, а значит ныне вокруг Москвы, способно спасти родимую землю? Мыслят отсидеться в уделах за лесами и реками? Поставят себе суздальского князя, а осильнеет — скинут и его?! Да, отец, ты был прав, покупая у них ярлыки!»

Надлежало, однако, во что бы то ни стало успокоить себя. Он вынул плат, не спеша отер чело. Спрятал плат в рукав и стал отвечать поряду, начиная от самых нелепых обвинений, которые опровергнуть было легче всего. Явив грамоты, он без труда доказал, что об утайке выхода речи и быть не может.

— Выход царев отсылает кесарю великий князь владимирский! Почто же ты, Василий, требуешь от меня, дабы я поделил на всех дани с Новгорода, коими мне, яко князю владимирскому, токмо и ведать надлежит? Здесь оно, новогородское серебро! — почти выкрикнул он.— А где бы было, ежели бы я доброхотно роздал его семо и овамо? Кто же, Василий, жадает утаити выход царев, я или ты?

— Костянтин! — обернулся он к ростовскому зятю.— Мой отец не втайне от тебя купил ярлык на Ростов! И дани царевы с тех пор не задержаны ни разу! Вспомни, с коими трудами и скорбью давали вы выход до той поры! Скажи теперь, кто из нас вернейший слуга кесарю? Что же речено тут о праве лествичном... Скажи, Василий, коими заслугами твой дед, Федор Чермный, сел на ярославское княжение? Не милостью ли хана Менгу-Тимура? Почто ж ты, Костянтин Василич, нас всех, прямых наследников великого Александра, невского героя, содеянного святым, винишь, яко татей и некиих худородных выскочек? Да,

по ханскому изволению получили мы стол великий! Наши права — в руце великого кесаря. Хочет — милует, хочет — казнит! Слово кесаря, и только оно, содеивает любого из нас князем великим! И нелепо есть тут, пред лицом царя царей, даже и спорить о том!

Семен приодержался. В рядах придворных прошелестел одобрительный гул. Джанибек глядел одобрительно. Кажется, эта грубая лесть, только что, на ходу, измысленная Семеном, многим пришлась по сердцу.

— А бояре нижегородские,— продолжал Симеон, осмелев,— вольные слуги князя своего и в праве отъезда вольны суть! Тем паче не в ину землю, а в волость князя великого! Что же речено тут о граде Нижнем, то достоит царю царей прежде уведати, чей был исстари тот град и в кои веки и когда дан он в держание князьям суздальским.

— Не в держание, а в вотчину! — перебил его Костянтин Василич, краснея лицом.

— Городец и Нижний были даны сыну Александра Невского Андрею и после него, яко выморочные, воротились в волость великого княжения владимирского! — громко выговорил Симеон.

— Наш род идет от Андрея Ярославича, брата Александрова, ему же был дан от мунгальского хана великий стол владимирский первому среди русских князей! После же разоренья Александр отобрал у брата волости те и отдал сыну своему Андрею! А после смерти Андрея, бездетна суща, волости те воротились законным наследникам, а отнюдь не стали выморочны, то — лжа! — Костянтин Василич рвал калиту на поясе, трясущеюся рукой совал в воздух древние свитки грамот.— Вот! Вот они! — кричал он.— И в летописце Владимирском зри! Такожде сказано!

Пожелтевшие от времени грамоты пошли по рукам. Ордынские вельможи взглядывали, щурясь, в строки русского письма, выслушивали толмачей, кивали, передавали дальше. Вот грамоты дошли до Джанибека, коему их почтительно передал кади. Джанибек поглядел в развернутый столбец, выслушал перевод толмача, покачал головою, бросив на Семена мгновенный взгляд, который тот, не ошибаясь, перевел словами: «Говорил же я тебе!» — и, свернув грамоту, воротил ее, через телохранителя, суздальскому князю.

Симеон подумал вдруг, что, не будь этой грамоты,

Нижний все одно ушел бы из его рук после суда. Люди не любят, когда кто-то выделяется слишком, хотя бы этот кто-то был героем и спасителем страны. Но русская земля, в лице этих своих князей и бояр, совсем не хотела, чтобы ее спасали!

«Надо было остановиться,— подумал он.— И предать доверившихся мне нижегородских бояр? — вопросил себя жестоко.— И предать,— ответил,— ежели нет иного пути!»

— Однако боярам и слугам вольным отъезд от князя своего невозбранен! — громко возразил Симеон.

Костянтин Василич (он уже овладел собою) пожал плечами:

— Токмо после того, как оные порушат ряд с князем! — возразил он.— Вольный слуга вправе отъехать, ежели бил челом о том господину своему и разверз с ним ряд о службе. Сии же бояре творили дело свое тайно и должны отвечивать предо мною, яко пред судией!

Начали выступать нижегородские и городецкие бояра. Завязался спор, в коем обе стороны приводили примеры и доводы своей правоты. Все уже изнемогли, когда Джанибек наконец прекратил словопрения.

— Мы будем решать! — сказал он по-русски, твердо произнося все звуки чужой речи, потому слова звучали искаженно. Русские князья со своими боярами покинули ханский шатер. На дворе они так и стояли, особными кучками, не приближаясь друг к другу и даже как бы не замечая супротивника.

Ждать пришлось долго. Там, в юрте, видимо, шел спор. Наконец их пригласили войти. Осторожно переступая порог (заденешь — потеряешь голову), они вновь зашли в круглую войлочную палату, завешанную шелком, коврами и парчой.

— Мы порешили так! — медленно заговорил Джанибек.— Город Нижний принадлежит коназу суздальскому. Бояр своих коназ Костянтин волен забрать себе. Великим князем владимирским мы оставляем коназа Семена!

Семен прижал руки к сердцу, поклонился. Так же точно поклонились и все другие князья. Когда Семен тронулся к выходу, у него потемнело в глазах и голову повело кружением. Добро, поддержали бояре, не дали упасть. И все же бой против братьев-князей, хоть и с потерею Нижнего, был выигран им. Выигран, по край-

ней мере, до той поры, пока Джанибек не охладеет к нему, не почнет думать, что московский коназ слишком осильнел, или же не умрет...

И на таких весах весились честь, слава и грядущая судьба Руси Великой!

ГЛАВА 38

Митрополит Феогност приехал в Орду уже после суда над Симеоном. С его помощью пытались хотя отстоять нижегородских бояр от княжеского возмездия. Все было напрасно. Костянтин Василич и на сей раз добился своего. Нижегородские бояре в позорных холщовых ризах были им приведены в Нижний, имения их отобраны, а самих суздальский князь повелел «казнити по торгу водя».

В Сарае князю Семену больше нечего было делать. Расставшись с митрополитом, он ускакал в Москву.

Дома его ждали отрадные известия. После того как Ольгерд, не помогши толком псковичам, ушел восвояси, те вновь замирились с Новым Городом и Москвой. Он читал плесковскую грамоту, описывающую «разратие с немцы», повторяя про себя названия незнакомых местностей, скупые строки о каком-то Грамском болоте, полянах и перелесках, за коими раскрывалась основательная любовь плесковичей к своей земле, которую, вот уже столетье подряд, они отстаивают от орденских рыцарей, до сих пор не уступивши ни пяди. И теперь, когда был разорван ряд с Ольгердом, ему ничто не мешало любить этих упорных и деловитых людей.

Настасья виноватилась, ладила сходить к угодникам. «Ты не виновата ни в чем, грех на мне!» — сурово отвечал Симеон.

Из Новгорода доносили вновь о пожарах и несогласиях во граде, почему владыка Василий установил пост с общим покаянием и молитвою и обходил весь город крестным ходом.

Вести из Орды меж тем доходили смутные. Митрополит задерживался, и, по слухам, с него требовали ежегодную «полетнюю» дань, то есть то, чего еще не требовал с русской церкви ни один из ордынских ханов, начиная с Батыя, вручившего в свое время русской церкви ярлык, освобождающий ее от ордынских поборов.

Доносили, что Феогноста обадили перед ханом свои же русичи, рассказавши Джанибеку, что у митрополита «имения много множество, и сребра, и злата, и драгих каменьев, и утвари многоценная, и всякого богатства, яко много бесщисленно имат дохода и достоит ему давати в Орду полетнюю дань».

Феогносту мстили — по-видимому, братья-князья — за поддержку великокняжеской власти.

Чего они хотят? И где предел низости людской, ежели духовного главу, самого митрополита русского, не постеснялись обадить и оговорить пред ханом бесерменской веры! Ну хорошо! Будет и церковь платить «виру дикую», давать серебро в жадные руки ордынских беков. И что тогда? Чьи сердца взыграют радостию? Кто будет ограблен? Разве не они сами, постоянно жертвующие в церковь серебро, порты и имения?!

Опять все то же! Пусть будет другому так же плохо, как мне, а «другой» — это твой же брат во Христе, тот же русич, с коим тебе и жить и погибнуть вместе, ежели погибнет Русь! Как объяснить им всем, что зависть к ближнему — самая черная зависть на земле! Твори, дерзай! Трудись! По труду и достоинство придет к тебе, и зажиток! Вот земля — паши ее! Заводи скот, строй хоромы, торгуй, учись ремеслам или книжной мудрости! Земле потребны добрые мастеры, князю — ученые слуги. Будь таким, и спасен будеши и сам и отчизна твоя! И помоги ближнему, или хотя не топи его, не вдавай во снедь иноплеменным! Ближнему, русичу! Брату своему!

Так достоит ли пакостить и завидовать духовному отцу своему — попу али архиерею, молитвеннику твоему и ходатаю пред престолом господним? Что будет с Владимирской землею, ежели и церковь, угнетенная данями и нужою, расточит и исчезнет в пучине времен?!

Зимою открылся мор. Умирали «прыщом». Умерла сестра, Овдотья, супруга ярославского князя. Умерла молоденькая жена брата Ивана, Федосья. В Твери умер епископ Федор, бесстрашно причащавший больных и умирающих...

Митрополит Феогност все не ехал и, по сказкам, жестоко утесненный бесерменами, сидел в заключении в Сарае.

ГЛАВА 39

В кирпичной горнице, скорее тюрьме, куда его поместили после отказа выплачивать ежегодную ордынскую дань, было тесно и сыро. Митрополит Феогност прятал руки в рукава долгого дорожного вотола на куньем меху, который, слава богу, еще оставили ему бесермены. Мерзли ноги. Мерзла голова в монашеской скуфейке. У иподьякона, который только что приходил навестить митрополита в узилище и прошал, не нужно ли чего, он как-то позабыл попросить принести ему вместе с часословом теплую шапку и сапоги. Как кричал на него муфтий! Как шипели татарские вельможи! Сколь с умалением власти кесарей цареградских умалилась православная церковь! Разве могло такое произойти с ним, митрополитом русским, еще десять, нет, двенадцать лет назад, до того, как несчастливый Андроник был наголову разбит турками при Филокрене! И теперь нечестивцы требуют от него даней, как от какого-то упрямого князька... Забыв начисто все прежние грамоты ордынских ханов! Забыв, чем была русская церковь... Чем была! Вот и ответ! А ведь давно ли ихний пророк, Джелаледдин Руми, толковал, что вера одна, а религии — это лишь разные пути к Богу... И, поддавшись на бесерменскую прелесть, крестьяне Анатолии принимали мехметову веру, отвергаясь истинного православия! Но уже теперь суфии и казы толкуют о чистоте веры, мече ислама, священной войне с неверными!

С этого все и начинается! С примирения. С рассуждений о дружбе, о единстве вер, о едином вселенском правлении... А затем те, кто поверят змиевой прелести, платят за то потерею и веры, и воли и даже языка своего!

Господь в благости своей содеял языци несхожими один другому и после разрушения вавилонска столпа и разделения наречий расселил по разным землям! Значит, дóлжно так! Значит, ко благу земли, что всяк сущий в ней имеет свое место и свой нрав и навычай! И пути к Господу да будут наразны и неслиянны... Почто?! Не нам вопрошать! Не нам. Да, для нас, греков, и для Руси свет православия — единый истинный свет, и несть иного! И пока будет так, дотоле стоять сей земле и не пасть жертвою злобы безбожных агарян!

Он о сю пору старался не вмешивать себя в споры Акиндина и Варлаама с Григорием Паламою. Даже

скорее склонялся на сторону первых... Теперь же, униженный и ввергнутый в узилище, он понял, сердцем постиг всю правоту Григория Паламы! Допусти он мудрования Варлаамовы, и что тогда удержит православную церковь, оплот истинной веры, от воссоединения с римским престолом? И что наступит потом, когда поутихнут первые радости воссоединения и грозно восстанет извечный и неотменимый вопрос: как, коим побытом, жить в этом союзе? Кому платить налоги? Чей способ жизни брать в образец себе? Какой язык или какие языки почесть лучшими, а какие — худшими, и почему? И вот тут-то и станет ясно, что вселенская любовь — попросту завоевание одних языков другими, совершенное не оружием, а изнутри — хитрым обманом, помощию разрушения веры, помощию всеконечного пленения духа народного!

Не достоит церкви православной имати союз с латинами! Не достоит языку русскому отвергатися истинного православия!

Да, он сам когда-то мечтал о воссоединении Литвы и Руси в единой древлекиевской митрополии... Он был не прав, глубоко не прав! Не возмогут язычники-литвины быти вместе с православными русичами! Прав Алексий, и в этом прав, как и во многом другом! Он, Феогност, хитрил, немного хитрил до сих пор, отлагая решительный разговор с Цареградом. Теперь же, немедленно, тотчас, как выйдет из узилища, он напишет и будет добиваться изо всех сил, дабы Алексия, и никого иного, назначили его восприемником! Руси в этот жестокий век, в эту скорбную пору, когда церковь подчинена иноверным,— надобен свой, русский митрополит, до последнего вздоха преданный делу возрождения из праха древлего величия Золотой Киевской Руси! Святой Руси... Как они говорят теперь. И имеют на то право! Толикое количество праведников, загубленных и отдавших жизнь в защиту веры и родной земли, толикое количество пролитой крови уже давно освятило землю сию великим священием!

И его кровь, ежели надобна, и его скромный подвиг пусть пойдут ко благу русской земли! Он уже давно, очень давно не был в Цареграде и не собирался туда теперь. Русь стала его второй и последнею родиной. Сия земля, которой токмо недостает власти единой, дабы возвысить себя заново над языками и землями! Единой, своей, православной, русской власти!

Феогност вздохнул, задумался. Давеча он послал подарки трем татарским бекам и выплатил, набрав по заемным грамотам у православных купцов, больше пятидесяти рублей серебра. Достоит еще одарить ханских жен, в особенности Тайдулу, как передают, любимую жену нового хана. Надобно бы было задобрить и главного муфтия... Но как?!

Гости торговые обещали ему пóмочь и серебро. Сие ко благу. За него, Феогноста, поручился уже и сам Симеон! Как жаль, что великий князь все же покинул Сарай! Да, он, Феогност, будет давать взятки, подкупать и дарить, будет кротче голубя и мудрее змия, ежеле надобно — просидит в затворе хоть год, но полетней дани они не получат с него!

Самое худо будет, ежели отберут теплое платье. Тогда — медленная смерть. Ну что ж! Одному Господу ведомы пути земные! И он, Феогност, будет причтен к лику праведников, пострадавших за веру Христову и за Русь, да, за Святую Русь!

Надо одарить Черкаса. Богато одарить! Сей может разрешить его узы... Кто еще помогал Джанибеку занять ханский трон? Надобно всем таковым раздать подарки... Нет, не всем! Надобно поссорить муфтия с казы. Они зело недолюбливают друг друга... Думай, думай, ученый грек! — подстегнул он себя. Ты должен быть хитроумен! Да, конечно, поссорить муфтия с казы! Было так, словно бы в бездонной черноте пещеры забрезжил крохотный свет далекого выхода... Еще очень далекий, возможно — призрачный свет... Токмо не пасть духом! Токмо не поддаться льсти и угрозам нечестивых агарян! Помнить, что не о земном, тленном богатстве сей спор, а, через него, о самом бытии церкви божией! Согласят его на дань — и не устоит уже церковь православная, и вера падет, и угаснет русский язык!

Отнюдь не ради доходов церковных, не ради кормов и даней с приданных ему сел поддерживает он князя Семена, как поддерживал его отца! И кому пойдет столь заботливо сбираемое им богатство? Не ему самому! Он скоро умрет. Токмо единой церкви божией! И надобно днесь выдержать. Не дати ся устрашить и запугать. Нижé пытками, ниже всякою скудотой, ниже узилищем!

Феогност достал распятие, утвердил в нише стены, опустился на колени и замер в сосредоточенном углублении, шепча священные греческие слова. Молитва

очищала мысль и врачевала тело, изнемогшее было в затворе. После молитвы, поднявшись с колен, он почувствовал себя много лучше и тверже духом.

Когда его в очередной раз позвали к муфтию, Феогност был снова упорен и тверд.

Деньги, серебро! Им всем надобно серебро, нынче, сейчас! — понял он после напрасной трехчасовой при с муфтием. Сейчас... Именно сейчас!

Вечером, когда ханская сторожа впустила к митрополиту его протодьякона и служек, Феогност уже, кажется, знал, что делать. Приказав протодьякону вновь занять серебро у купцов, он перечислил, кому и за что должен тот раздать очередные восемьдесят рублей. И чуть было не позабыл вновь спросить о шапке и валяных русских сапогах, из войлока... Служка погодя принес и то и другое.

В шапке, шубе и валенках Феогност наконец-то почувствовал себя более или менее сносно. Справив нужду и помолясь, он отпустил служку и лег, не раздеваясь, на узкое жесткое ложе. Надо было ждать. И дарить дары! И снова ждать. Победить терпением. И подарками. В конце концов, хану Джанибеку нужнее серебро, чем плен митрополита русского!

Шапка давила на уши, в валенках было неудобно ногам. Засыпая, Феогност думал, что, верно, именно так ночуют в пути смерды и им это привычно и легко... Он еще подвигался, поворачиваясь поудобнее, наконец угрелся и начал задремывать. Никогда доднесь не чувствовал себя Феогност таким полным русичем, как в этом ордынском утеснительном плену!

Недели слагались в месяцы, и в конце концов держать «главного русского попа» в затворе долее стало попросту непристойно. Роптали уже многие беки. Упрямство главного муфтия было сломлено наконец изворотливым упрямством грека.

Феогноста, раздавшего дарами более шестисот рублей, выпустили, подписав и утвердив прежние ярлыки, дающие церкви неприкосновенность от поборов и даней.

Старый и больной человек, которого везли сейчас на Русь в теплом возке, отнюдь не чувствовал себя героем. Именно теперь, когда все счастливо окончилось, он изнемог и устал духом. Хотелось в тепло, туда, где растет виноград, хотелось домой... Но дома не было. В Константинополе бушевала война. Дома не было и на Руси, где его оговорили перед ханом. Дом

надобно было еще возводить и завоевывать, за дом надобно было драться. Драться за право иметь дом на земле! Ну что ж, он, старый грек Феогност, положил нынче един камень в основание русского храма. Увиждь, Господи, с небеси и помяни в том деянии грешного раба твоего!

И каждый пусть да положит хоть один камень в соборное основание грядущего величия родной земли и тем послужит Господу и народу своему!

ГЛАВА 40

Весна выдалась солнечная. В мае стояла сушь. От бревен, прокаленных солнцем, к вечеру несло сухим, царапающим горло нутряным жаром. Ждали пожаров. Загорелось в ночь на тридцать первое мая в ремесленной слободе.

Симеон, уставший, с вечера долго не мог уснуть. Чистили амбары под новину, провеивали груды мягкой рухляди — выходных портов, сукон и многоразличного иного добра. Сверх того, была долгая молвь с киличеями об ордынских делах. Сверх того, опять всплыло старое дело Алексея Хвоста, за которого просили коломенские бояре, и сам Алексий намекал, что достоит князю ныне простить маститого боярина. Сверх того, с митрополитом Феогностом толковали о росписи храмов.

Было душно, отверстые оконца не приносили прохлады. Снилось все что-то неподобное, пестрое, словно бухарская зендянь, густо и неподобно размазанное по стенам церковным. От горячего тела Настасьи, от тяжелого одеяла, от непогашенной свечи в стоянце — ото всего шел непереносный истомный дух.

Симеон ворочался, не пораз вставал, испивал квасу — в горле сохло. Настасья просыпалась, прошала заботливо: «Не надо ли чего?» И от того становило еще муторнее. «Спи!» — огрызался он, с гневом и душевным стыдом чуя, что и злость его, и безлепая ночная истома от того лишь и происходят, что он с последних родин разлюбил жену и теперь не ведает, что сказать, что содеять, ежели она попросит у него законной супружеской ласки...

Настасья засыпала или делала вид, что засыпает, потому что середи ночи сказала вдруг ясным голосом:

«А Спасову церкву сама подпишу!» Семен посопел, повел глазом. Подумав, нашарил в темноте лицо Настасьи, огладил. Она молча поймала его ладонь, поцеловала. Пальцы ощутили щекотную влагу слез.

— Ты што?

— Ни́што, Семушка. Спи, родной! Не гневай на меня! — прошептала она.

Семен смолчал. В свой черед притворился спящим. Настасья поднялась тихонько, стараясь не задеть, перелезла через него, пробежав босыми ногами по вощеному полу, погасила свечу. Душный запах горячего воску потек по покою, опять раздражив Семена.

— Чадно! — пробормотал он.— Дымно чего-то... Отокрой второе окно!

— Отокрыты оба! — возразила Настасья.— Поди, на поварне зажгали огонь, дак и наносит сюды?

С улицы действительно ощутимо несло гарью и дымом.

— Часу им нет...— Семен, вздохнув, перевернулся на другой бок. Помолчав, примолвил ворчливо: — Тогда закрой, поди задвинь оконницы-то! Девку покличь!

Но Настасья сама, как была, в рубашке и босиком, не будя девку, вдругорядь выскочила из постели, завозилась с оконницею, вдруг ойкнула... «Руку прищемила, верно! Всегда так! Девку разбудить в труд!» — мысленно выругался Семен. Сжав зубы, подумал, что сейчас, с тяжелой головой, ему достоит вылезать из постели, возиться с оконницею и уже вовсе не спать до утра.

— Сема, пожар! — ойкнув вдругорядь, тихо вымолвила Настасья.

Он косо сорвался с постели. Чумной, ринул к окну и застыл: в ясном светлеющем небе, только-только еще оторвавшемся от сонной и еще темной земли, плясали веселые злые языки огня... Ударил колокол. Ему отозвался второй, у Богоявления, и тотчас, с набатною силой, ударили колокола в Кремнике.

Семен прыгал, не попадая ногою в штанину, тянул на себя рубаху, лихорадочно заматывая портянки, совал ноги в сапоги, а в тереме уже поднялась заполошная суета — бежали, орали, с громом волочили что-то. Безо стуку ворвалась, с круглыми безумными глазами, сенная боярыня.

— Вон! — рявкнул князь.— Михайлу зови! И кого

там из кметей, в стороже! — крикнул он вслед стремглав вылетевшей из горницы боярыне.

Настасья, уже в саяне, трясущимися руками укладывала волосы.

— Соберешь девок, баб — рухлядь выноси! — бросил ей Семен и, на ходу затягивая кушак, ринул из горницы.

Старшой уже бежал встречу князю.

— Терентьич где? — крикнул Семен.

— Поспешает!

Боярин, полуодетый, тут же вынырнул из-за угла хором.

— На тебя — Кремник! — крикнул ему Семен. Михайло, поняв с полуслова, кивнул и стариковскою рысью поворотил к молодечной.

— Василья Протасьева буди! — проорал Семен ему вслед.

— Тушит уже! — отозвался боярин издали.

— Коня! — приказал Семен, углядев за плечом готовную рожу стремянного. Скоро подвели оседланного вороного. Наспех одетая дружина грудилась вокруг, заглядывая в очи князю. Торопливо подбегали отставшие.

— Пошлешь молодцов на помочь Михайле,— велел Семен.— Носите добро в лодьи! Иных, с крючьями, на Подол, хоромы рушить!

Он обвел глазами свою личную охрану, «детей боярских», выводивших и седлавших коней, и, взбрасываясь в седло, повелел:

— За мной!

Небо вовсе отделилось от земли, и бледный утренний свет захолодил тесовые кровли, словно бы остатками уходящей ввысь тишины... В улицах бежали, волокли, копошились с криками и руганью, бабьим надрывным воем. Кони тревожно ржали, нюхая гарь. Огонь над кровлями то опадал, утопая в густом дыму, то взметывал острыми пронзительными языками.

Ближе к пожару пришлось спешиться и отослать коней назад — становилось трудно дышать. Огонь гудел низко и утробно, словно в гигантской печи. В клубах дыма, выныривая и вновь исчезая, пробегали вельяминовские молодцы с крючьями, баграми и мокрыми метлами. Сбивали огонь, растаскивали горящие, просквоженные огнем клети, орали что-то, неслышное в реве пламени.

Семену подали в руки крюк, и в ближайшие несколько часов он уже ничего не понимал, не чуял и не видел. Глаза слезились, лицо горело и сохло от жара. Яростно кидаясь в дым, он тянул и волок, растаскивал горящие бревна, ругался, неслышимый, как и прочие, отпихивая кметей, желавших увести князя прочь от огня, мало понимая, нужен ли он тут, в пламени? И опомнился немного — весь черный, в обгорелом платье — только за полдень, оказавшись под стеною Кремника, откуда со склона виден был весь пронизанный искрами багряный вал грозного дыма, что уже, перепрыгнув Неглинную, начинал сжирать обывательские хоромы на том берегу.

С трудом уведенный к себе, он наспех похлебал какого-то варева, жадно и много пил квас, обливая бороду, руки и грудь, наспех перемолвил с Настасьею, что уже переправила большую часть мягкой рухляди к лодьям и на тот берег, в луговую сторону, принял доклад и укоры Михайлы Терентьича и, покивав головой, вновь устремил в город — спасать монастырь Богоявления.

Наверно, его нерассудливая ярость тоже что ни то да значила на пожаре, рядом с опытным руководеньем бывалых городовых воевод. Кремник, загоравшийся трижды или четырежды, все-таки почти удалось отстоять. Отстояли полуобгорелый монастырь Богоявления и несколько улиц под Кремником и в Занеглименье.

Семен совался всюду. Ел где-то из котлов вместе с кметями, терял и вновь находил своих дружинников, его, в свой черед, теряли и находили большие бояре и, уже не прося удалиться от огня, долагали о том, что содеяно: спасена княжая казна; вынесены иконы и узорочье из одиннадцати церквей; скотину, сбежавшую из дворов под Кремник, удалось переправить на тот берег Москвы — туда же отсылали и погорельцев,— погибло столько-то народу: смердов, детей, жонок; Андрей Кобыла налаживает сейчас кормить спасенных от огненной гибели...

К вечеру стало известно, что в городе сгорело двадцать восемь церквей, а что клетей и хором — было не мочно и сосчитать.

На закате Семен, усталый всмерть, вновь очутился на скате Боровицкого холма, рядом с каким-то молодым кметем, что, зло щурясь на огонь, не переста-

вая ругался матом. Семен обернулся, глянул на молодца:

— Кличут как?

— Чегой-то?

— Кличут как?

— А, Никита! — размазывая по лицу сажу и сплевывая черную слюну, отвечал кметь. Семен намерился еще спросить, но тот ответил прежде вопроса:

— Батьков терем сгорел! Тамо вон! — кивнул он в сторону Занеглименья.

— Живы?

— Ага! Вывел...

Оба, князь и дружинник, молча уставились в огненные сумерки. Закат догорал. Небо мглилось. Уже не различить было в сумерках ни лиц, ни людей. Пожар, стихая, пробегал, подрагивая, по черным обгорелым остовам клетей, полз, словно издыхающий огненный змей, пыхая мириадами искр, и словно бы подвывал разноголосо, жоночьими жалкими стонами. Дым, белея во тьме, то заволакивал все низкими зловещими клубами, то, подымаясь вверх, открывал красные скелеты ближайших хором, черные фигуры копошащихся людей, лик земли, обнажившийся вновь из-под чешуи закрывавших ее еще вчера тынов и кровель, земли нагой и древней, мерцающей рассеянными по ней огнями, словно драгие цветы заклятой и сказочной индийской земли, в коей птица Феникс горит, не сгорая, в вечном священном пламени...

Весь день он бился, словно безумный, против этой древней стихии, а сейчас, усталый до предела, зрит с холма загадочную солнечную красоту, древнее непонятное колдовство огня, прельстившее в незапамятные веки весь род человеческий и его предков, поклонявшихся, как ныне еще литвины, богу огня, Сварогу, и солнцебогу — Хорсу.

— Батько твой помер? — спросил он.

— Батько живой! Во мнихах, у Богоявленья ныне! Старшим был в дружине Протасьевой! Ищо и Кремник клал! — похвастал кметь.

Семен вгляделся пристальнее в вихрастого, невысокого ростом, подбористого молодца с разбойными глазами. Подумал, наморща лоб,— нет, не вспомнил! («А отец бы вспомнил непременно! — укорил он себя.— Надо Василья Протасьича прошать!»)

— Что же теперь?

— С семьей-то? Матку с ребятней в деревню отправлю, а сам — ладить терем наново!

Кметь снова сплюнул зло:

— Жанитца хотел! Ково теперя... Ни кола ни двора... И у их тож... Жива ли ищо и невеста-то! — примолвил он, снизив голос, и Семен невольно вздрогнул, вдруг, за кметя, ощутив пугающую пустоту исчезнувшего дома, погинувшей на пожаре любви... Тут бы возрыдать в отчаянии, закрыв руками лицо, а парень (Как его? Никита!) только сплевывает и сплевывает, щурясь в дальний догорающий огонь, словно в лицо победоносного врага на бою кулачном, с коим намерил вновь и опять переведать силы.

— Лесу бы, княже! — просительно процедил молодец, поглядывая скоса на хозяина Москвы.

— Лес будет! — устало и просто отмолвил Семен. У него самого силы сейчас окончились вовсе, и он, верно, кабы некуда было пойти ему в вечер и ночь, тихо завыл бы с тоски. Никита же, узнав про даровой лес, выпрямился, присвистнул, взял руки фертом и гордо глядел теперь в догорающий огонь, словно бы уже не сомневаясь в своей грядущей победе.

ГЛАВА 41

Никита в семье, после ухода отца в монастырь, остался за старшего. Мать бестолково суетилась, приголашивала: летось трое младших — не уберегла — умерли прыщом. Ладила принять зятя в дом, но подросшие сыновья, все четверо — Никита, Услюм, Сашок и Селька, решительно тому воспротивились. Сонюшку, вторую дочь, выдали замуж за купца, и теперь, после ухода ее и Любавы из дома, вся обрядня свалилась на саму Катерину, или Мишучиху, как ее нынче, по мужу, начала звать вся улица (Катюхой, бывало, кликал супруг, а за ним и соседки). Круглая, огрузневшая Катюха-Мишучиха каталась по дому, суматошно хватаясь то за одно, то за другое, нигде не поспевая толком, и при каждой проторе корила старшего:

— Женился бы хоть! Матерь-то пожалей! Одно ведь по девкам шасташь!

Нынче Никита почти порешил было сдаться на материны уговоры, и вот — незадача! Вся усадьба дымом взялась. Сундук с родовым добром и скотину,

к счастью, удалось спасти. (Младший, Селька, сильно обгорел, запрягая и выводя испуганного коня из стаи.) Теперь матерь с младшими братьями Никита отсылал в деревню, тем паче покос на носу, холопу одному все одно не сдюжить. А сам с Услюмом ладил отправиться на верх Москвы, по даровой лес.

Мать плакала, сморкалась в подол. Сидели на погорелом месте, натянув ряднину на колья, и, открыв сундук, перебирали порты и узорочье, тут же на солнце развешивая сушить камки, зендянь и атлас. Ругмя поругались опять из-за княжеских золотых серег, которые Никита решительно присвоил себе. Наконец определили златокузнь, которую, по общему мнению, можно было отдать плотникам. Потом погрузили сундук с добром на спасенную Селькой телегу, привязали к задку корову с телком и уложили связанного поросенка и двух овец. Усадили причитающую матерь и обмотанного тряпицами снулого Сельку. Сашок принял вожжи, по-взрослому (за старшого посадили, как же!), оттопыривая губу, крикнул: «Н-но!» — и сильно погнал кобылу, так что корова побежала рысью, а телок пошел скачью за ней.

Никита с Услюмом долго смотрели вслед укатившей телеге. Услюм держал за повод отцова коня с кое-какой лопотью в тороках, а Никита, сунув руки за пояс, тихонько насвистывал сквозь зубы, ковыряя носком сапога дымящие о сю пору головни. Потом, оглядев соседа, что уже смачно жмакал с воза глину в основание новых хором, кивнул брату:

— Пошли!

Следовало сперва отпроситься у боярина, вызнать, откудова брать дерева. А там и ехать вослед за другими в лес.

Переночевали в молодечной, там и поснидали. Полдня помахали топорами, разбирая завал у порушенных Троицких ворот Кремника, и уже к вечеру, взгромоздясь вдвоем на одного коня и прихватив мешок с хлебом и снедью, подкинутый родителем, выехали в путь. (Мишук таки наведался на усадьбу, уже после отъезда Катюхи. Постоял, высокий, в своем грубом подряснике особенно внушительный, приласкал коня, потянувшегося мордой к старому хозяину, поворчал, дав несколько дельных советов сыновьям: к кому из бояр толкнуться в первый након и как рубить дерева, принес снеди, но сам помогать не стал, не мог отлу-

читься ни на час за монастырскими работами — половину келий и деревянный храм Богоявления, почитай, рубили наново.)

Никита ехал в седле, посадив Услюма позади себя, на круп коня, и молчал. Родитель-батюшка, непривычно далекий в монашеской сряде и непривычно седой, все не выходил у него из головы. Он несколько раз встряхивал вихрастой башкою, отгоняя чужой и нерадошный отцов образ. В нем самом столько еще было жадности к жизни и сил, что совсем не укладывалось, как это можно так вот взять и уйти ото всех навычных мирских радостей? Его мечта... Его мечтою была, увы, не соседская Глаха, засватанная по совету матери, а давно усопшая, небывалая, сказочная тверская княжна, что когда-то полюбила евонного, такого же сказочного, непредставимого, прожившего полную удали, боев и разъездов, яркую жизнь, деда — Федора Михалкича, друга и приятеля прежних князей, не робевшего ни перед кем,— деда, который некогда подарил Переяславль московскому князю Даниле... Быть таким! Прожить подобную жисть! И так же вот влюбить в себя высокую, стройную, с огромными очами, всю неземную, далекую, сказочную княжну!

Пели птицы. Над горячею землею текли успокоенные высокие облака. Молодка, наклонясь над колодцем, черпала воду, выставив круглый зад, и Никита, торнув Услюма, прокричал ей охальное. Баба подняла голову, оборотила широкое, в веснушках, задорное лицо, вгляделась в парня, приняв руку лодочкой, и, не обижаясь, что-то прокричала в ответ. Никита рассмеялся, помахав ей рукою. Услюм недовольно хмыкнул у него за спиной. Вольные шутки старшего брата никогда не нравились ему.

Вечеряли. Поели хлеба и каши, разломили на двоих сушеного подлещика, попили воды из ручья. Стреноженный конь щипал молодую траву. Никита повалился на спину, сыто щурился на облака, на низящий круг багряного солнца. Ни ехать, ни работать не хотелось, так бы вот и лежать... И чтобы сам собою возник новый терем!

— Айда! — воскликнул он, легко вскакивая на ноги. Услюм уже взнуздывал жеребца.— Ночуем в Звенигороде! — примолвил Никита и, взгромоздясь опять на коня, тронул рысью, меж тем как Услюм, подска-

кивая на крупе, изо всех сил держался за братнин кушак.

В Звенигород приехали в полной темноте и долго стучались наугад там и здесь в придорожные избы, пока наконец не послышалось долгожданное:

— Кого о полночь черт несет?

Прослышав, что погорельцы, хозяин смягчился. Откинув щеколду ворот, запустил порядком издрогших парней. Хозяйка, ворча спросонья, достала из печи чуть теплые шти. Никита, однако, не унывал и уже за едой так сумел разговором и байками расположить к себе хозяина, что тот, щурясь на неровно вспыхивающий огонек светца, достал и налил молодцам по чаше оставшего от Троицына дня пива, а утром, на провожании, отрезал ломоть молодого сыру в дорогу.

— Токо не озоруйтя тамо! Святу рощу не рубитя! — напутствовал их хозяин.

— Кака така свята роща? — удивился Никита, решив слегка подзудить хозяина.

— Кака, кака! Будто не знашь! Где Велесов дуб!

— Гляди! — хвастал Никита перед братом, отъезжая.— Ты вечно молчишь как пень, а с разговором-то, вишь, и мы с прибытком!

До заказного княжеского бора, отпущенного москвичам князем Семеном, добрались к вечеру другорядного дня. Тут уже густо копошилось коней, телег и народу, и припоздавшим молодцам долго пришлось толкаться, ругаться и упрашивать, поминая тысяцкого Василья Протасьича, чтобы им выделили жеребей поближе к реке.

Никита не утерпел. Оставив Услюма обряжаться, поехал, охлюпкой, поглядеть на Велесов дуб. В дубовом острове, на самом берегу Москвы, к удивлению Никиты, тоже было полно народу — мирян и монахов в подвязанных подрясниках. В воздухе стояла поносная брань, иные грудились с топорами, кто-то не давал рубить, кто-то, размахивая секирою, поминал нечистого. Какой-то матерый боярин ругмя ругал мрачных мужиков, что стояли под деревами, не давая губить рощу и загораживая собою Велесов дуб — мощный, корявый, увешанный конскими черепами и какими-то цветными тряпицами.

— Князь, князь! — раздались многие голоса. Семен Иваныч ехал верхом, в княжеской шапке с парчовым

верхом, в светло-зеленом шелковом летнике, полы которого свободно свисали ниже седла, и был такой чистый, нарядный, прибранный — совсем не то, что давеча, на пожаре! Сейчас бы Никита, пожалуй, и оробел подступить к нему с разговорами.

Князь остановил коня, склонясь с седла, выслушал боярина, покивал, покачал головою, что-то сказал, махнувши рукой, верно, запрещая рубить, потому что мужики с секирами тотчас, повеся носы и тихо бурча, отступили и начали один по одному выбираться вон из толпы. Князя окружили монахи, один из которых возмущенно выкрикнул:

— Владыко Феогност приказал!

Князь поглядел на монаха с седла, грозно свел брови, отмолвил так, что услышали все:

— Здеся князево добро! Прочь! С владыкою сам сговорю! — И монахи, в свой черед, крестясь и отплевываясь, пошли гуськом вон из рощи. Князь дождал, когда толпа начала разбредаться, кивнул боярам и тронул коня. Никита присвистнул, одобрив про себя Семена Иваныча: «Хозяин!» — и, раздумав подъезжать к дубу, поворотил чубарого назад.

Спать улеглись Услюм с Никитою прямо на земле, на сосновых ветвях, обмотавши головы рядниной.

Дерева валили яростно, в два топора, не обрубая сучьев, не коря — лишь бы успеть! Соседи, того и гляди, прихватят от ихней делянки, поди тогда доказывай кому хошь! За три дня сумасшедшей работы оба спали с лица и почернели, но лес лежал (вот он!), медными, словно литыми телами сосен устилая землю. Потом уже принялись карзать и корить. Готовые дерева конем отволакивали к берегу. Иного не брал и конь, ворочали вагами, надрывно крича и понукая взопревшего, стойно хозяевам, жеребца. Когда покончили всё, спускать окоренные стволы с берега к реке и вязать плоты показалось детскою забавой...

Голодные, черные, изъеденные комарьем, в смоле, ссадинах и ушибах, приплавили они наконец свой лес к устью Неглинной, где уже высились по всему берегу навалы свежих бревен.

Никита понимал сейчас только одно — что никогда в жизни он так еще не работал и что прежде, чем катать дерева на берег, надо пожрать. До горячего варева парни дорвались на Протасьевой поварне, после чего Никита, в задоре, решил выкатывать лес

немедля, но Услюм заснул над мискою, и его самого шатнуло, едва встал из-за стола.

Заночевали на плотах, благо стояла теплынь, и с утра принялись за дело. Настелили лаги, опять припрягли чубарого... Окончив с лесом — раза два казалось уже, что и не возмочь,— так измаялись оба! Да и с деревами пожадничали, но не выкатать приплавленный лес было не можно совсем! Справились сами, даже и батьку звать не стали. Всё!

И вот они сидят на бревнах, и рядом стоит изрядно похудевший конь, и работа, вроде бы сделанная, словно еще и не содеяна вовсе. Лес теперь надо возить до места, да и лес — еще не дом! Услюм глядит на брата выжидающе, а Никита думает, хмуря лоб, прикидывает и наконец оборачивает к Услюму задорную рожу:

— Ты посторожи тута! — Он вспомнил про коломенского плотника, что когда-то рубил городовую стену с его отцом, и вот уже снова весел и уверен в себе...

Мужик появился на четвертый день, большой, краснолицый. Оглядел, прищурясь, обоих братьев и груду окоренного леса, окинул глазом строящуюся Москву, полюбопытничал:

— Слыхал, князь запретил мнихам Святу рощу рубить? — Усмехнулся, неясно чему, примолвил: — Ну и ну! — Подбросил в широкой лапище невесомые серебряные колты, крохотные, словно бы невзаправдашние в его толстой и шершавой длани, с блеском в глазах, хитровато сощурясь, спрошал: — Сколь им цена? — Прикинул, подумал: — Жене! Альбо дочке! — Похвастал: — Дочка у меня невеста! Тринадцать летов! — С бережным сожаленьем отдал колты Никите. Крякнул, почесал в загривке, вздохнул, помолчав. Рассмеялся: — А ну, покажь ищо!

Пришлось сходить на Подол, в лавку купца, оценить работу. Уверясь, что его не обманывают, мужик толковал Никите уже как свой своему:

— Мы, етто, с сыном спроворим! Не впервой! Счас почнем, а тамо, как покос свалим, и довершим, тай годи! Батько твой, слыхал, во мнихах ноне? Ну! Знатный был мастер! С увечной рукою, а топор держать умел! У Богоявленья, баешь? Схожу, схожу к ему на погляд! Ты, етто, баранинки расстарайси, ну и хлебушка там. Сам-то тюкашь маненько? Ну, у такого батьки и сын должон топором володеть!

Расстались друзьями. Плотник вскоре явился с сыном, таким же, под рост, могутным молодым мужиком, и — пошла работа. Никита, сбавив спеси, старался изо всех сил не отстать, невольно любуясь на ладную, словно колдовскую игру топоров мастера с сыном. Спали в наспех поставленном шатре. Услюм готовил на костре хлебово.

Дня через два заглянул и батька. Они с плотником долго мяли друг друга в объятиях. Потом отец, подвязав подрясник, тоже взялся за топор. Впрочем, долго не пробыл, зато опять приволок снеди с монастырского стола. Как ни кинь, надобна была хозяйка! Княжна, даже ежели и будет когда ни то у него, не станет спать в шатре, стряпать на мужиков и возиться со скотом и горшками. Глаха — они тоже строились — появлялась, почитай, каждый день, глядела готовными преданными глазами, и Никита, уже когда подводили терем под кровлю, отмякнув душою, почти было решился: «Все! Ставлю клеть — и женюсь!»

ГЛАВА 42

Все лето, едва свалили покос, подымали из пепла и ладили наново Москву.

По Залесской Руси все еще гулял мор прыщом, то вспыхивая, то угасая. Попы служили молебны, больных окуривали ладанным дымом. Колдуны по ночам опахивали деревни сохою, в которую впрягались волховные жонки, клали заклятья от мора и всякой иной наносной беды. В Твери новый епископ, Федор Второй, объявил пост и общеградской молебен со службами во всех храмах, а в Святом Спасе повелел ковать иконы в серебро — «и престашет мор», как сообщал тверской летописец. И все-таки, невзирая на беду, народ был весел и бодр. Дружно строились, дружно выходили пахать и косить. Да и лето стояло доброе, к урожаю. Весенняя сушь не поспела сжечь озимые, вовремя пришли дожди, разом пошли в рост хлеба и травы.

Симеон после майского пожара с удивлением почуял, как изменилось к нему отношение молодших и вятших в городе. Видимо, то, что князь весь день кидался в самые опасные места и воевал с огнем наряду с простыми смердами, расположило к нему

и ратников и бояр. «Гордый» Симеон оказался своим, близким, и к нему словно бы подобрели, охотнее кидались исполнять его повеления, дружнее работали, а бояре без прежней боязни предлагали свое, уведавши, что князь не остудит, не отмахнет, а выслушает и содеет по-годному.

Нынче совокупным советом думцев ему предложили взять на себя Юрьев-Польской, понеже тамошний князь, Иван Ярославич, скончался от мора прыщом, не оставя наследников. Юрьевские бояре били челом в службу великому князю московскому и опасались лишь одного — мести Костянтина Суздальского, также хлопотавшего о том, дабы наложить руку на Юрьев. Земля потихоньку начинала тянуть к Москве, и Симеон, понимая, что братья-князья тотчас возложат на него в Орде очередную жалобу, повелел принять юрьевских бояр в службу, а Юрьев-Польской, яко выморочный, взять на великого князя владимирского, то есть на себя, и присоединить к московскому уделу. (Последнее как раз и должно было возбудить совокупный гнев владимирских князей.)

До нового размирья следовало во что бы то ни стало обновить стены Кремника и довершить Москву. К счастью, на рубежах земли было спокойно. После побоища псковичей с немцами у Медвежьей Головы (плесковичи и на этот раз, с тяжкими потерями, одолели-таки рыцарей) в чудской земле встал мятеж: чернь избивала своих бояр, потом юрьевцы с велневичами топили мятеж в чудской крови, и до времени можно было не ждать немецких набегов на псковскую и новогородскую землю — «божьим дворянам» своих забот хватало!

К Москве были стянуты все наличные, вольные от службы кмети из иных городов (своим москвичам разрешено было достраивать пожженные хоромы), вызваны смерды из деревень на городовое дело, и работа кипела день и ночь.

Горелую стену от Троицких ворот, вдоль площади и до самой Москвы-реки, разметали и раскопали до подошвы и ладили наново: возили лес, рубили городни и засыпали утолоченной землею и глиной. Надо было успеть до жатвы хлебов. Надо было успеть до нового доноса в Орду.

Костры и прясла стен были, по совету Сорокоума, распределены между великими боярами, дабы каждый

отвечал за свой кут. Симеон ежеден обходил с кем-нибудь из думцев строящиеся стены. Мужики работали на совесть, до поту. Блестели на солнце мокрые яростные рожи, звучно чмокали топоры, глухо и смачно били «бабы», утолочивая землю. Мясное варево кипело и булькало в котлах — кормили мастеров на убой,— и стена росла, все более отделяясь от земли, подымаясь ввысь и стройнея.

— Успеем? — спрашивал он, остановясь в своем белошелковом травчатом опашне рядом с работающими, вымазанными в земле и глине, мужиками.

— Должны успеть! — отмолвливал Андрей Кобыла, грузно слезая с лесов,— засучив рукава боярского зипуна, только что помогал класть могутное бревно в чело проездной башни.

— Успеем, князь-батюшка! — весело кричали с лесов плотники.— Знай корми, а мы не подгадим!

И куда веселей было бы так вот — кормить и видеть, как растут на глазах стены городов, чем посылать на убой этих вот мужиков! Он уже кожей чуял, что стоять ему тут осталось недолго, что надо вскоре опять мчаться в Орду, куда усланы уже Феофан Бяконтов с Иваном Акинфиевым и киличеями и куда опять надобно везти тяжкое серебро, коим выкупается, до времени, русская кровь, ихняя кровь, этих вот смердов и ратников!

Он стоял, главный над главными и одинокий в своем дорогом платье, не чуя, как любопытно озирает его молодой парень, только что ладно и споро отесавший долгое бревно, ровняя и подгоняя начерно рубленные прогон и чашки.

Парень с чистым розовым лицом, сероглазый и светловолосый, вроде бы ничем, кроме этой деревенской чистоты лица и ясности взора, не примечательный и не отличимый от прочих, зрел на князя без настырности, но и не лукавя, не скрывая любопытного взора: не видал никогда, а тут, впервой, рядом, в пяти шагах, хозяин Москвы, великий князь Симеон! А великий князь смотрел, в свой черед, в его сторону и беседовал с осанистым боярином, совсем не замечая парня, не ведая, что его путь сейчас едва не пересекся с путем того, кого он, князь, будет мучительно искать всю свою жизнь, ошибаясь и не находя, будет искать, ибо без него не чает спасения ни себе, ни граду Московскому. А он, грядущий Сергий, нынеш-

ний Варфоломей, пришедший из Радонежа на городовое дело — вот он, в пяти шагах! Взгляни, протяни руку! Но не видит князь, и — как знать? — лучше ли было бы, кабы увидел, почуял, приблизил к себе? Молодой парень с секирою в руках еще только собирается уйти в монастырь, еще только начинает копить в себе ту силу, что потом, на века, определит духовную красоту Руси Великой... И провидение недаром отводит князевы глаза посторонь. Не должно мешать этому пути, не должно затворять врата подвигу, не должно рушить лествицу медленного и многотрудного восхождения ввысь, к совершенному парению духа. И потому князь, еще раз бегло оглядев работающих, трогает в сопровождении бояр дальше, проплывая ярким изукрашенным видением мимо смердов в посконных рубахах, а Варфоломей, мало передохнув, берется за другорядное бревно, не ведая еще и сам, что его отныне связала с московским князем еще одна долгая нить, нить взаимной нужды и приязни, у которой, также как у любой нити, есть начало и есть конец, и в конце этом от него, Варфоломея, будет зависеть уже не токмо участь Москвы, но и всей Великой Святой Руси, всего обширного Залесья и иных земель, покуда еще не подчиненных московским самодержцам, и даже отнюдь не чающих этого подчинения.

ГЛАВА 43

После жатвы Семен посетил Юрьев, принял присягу тамошних бояр и горожан. Было торжественно и благостно. Ветшающий город, весь утонувший во ржах, уже убранных,— по полям стояли ровные бабки сжатого хлеба, а кое-где высились уже и скирды, приготовленные на зиму,— и собор, весь в каменной рези, словно осколок прошлого величия.

Он постоял у могилы князя Святослава Всеволодича, строителя собора, некогда сидевшего на великом владимирском столе. Древние времена! Еще не явились татары, еще цвела и величалась красою Киевская Русь. Великие времена! Ныне уже непредставимые, хоть и не такие уж давние по сроку прошедших лет...

Он тихо вышел из собора. В саду уже были накрыты столы; белый хлеб, мед в сотах и вишенье,

сыр, масло и топленое молоко умилили его непритязательной красотой сельской трапезы. Была мясная уха, заправленная домашними травами, был мед и квас, и совсем не было дорогих блюд и иноземных питий. Время как-то проминовало древний полевой городок с обветшалыми стенами в сплошной зелени вишневых и яблоневых садов.

За столом в саду угощали нарочитых горожан и служилых детей боярских. Князю с великими боярами и духовенством был накрыт особый стол, где, впрочем, только и было отличия, что серебряные чары для меду. Город, давно уже покорный сильному соседу, теперь окончательно попадал под руку Москвы, а местные бояра могли рассчитывать на прибыльную московскую службу.

Он ехал из Юрьева прямиком, по переяславской дороге, полями и лесом. Долгий княжеский поезд растянулся, пыля, по узкой колеистой тропе, и, миновавши Переяславль, Семен, не выдержав дорожной тяготы, с немногою дружиной ускакал вперед.

Заночевали в Радонеже, поднялись прежде света и к Москве подъезжали ополдень. Где-то уже за Клязьмой, не доехав большого мытного стана, Семен остановил запаленного коня и попросил напиться у бабы, что черпала воду из колодезя.

— Да ты из непростых, видно? Боярин, чай? Заходь в избу-то! — поглядывая на запыленное дорогое платье князя, вымолвила баба. И Семен, легко соскочив с коня и дав знак спутникам дождать его во дворе (дружинники тоже почали спешиваться и оступили бадью с водою), низко наклонясь в сенях, прошел в избу.

В узкие оконца пробивались солнечные лучи. В избе было чисто, пахло щами, дымом и молоком. Хозяйка внесла крынку, налила молока в глиняную чашку, опрятно подала князю. Семен — редко приходилось бывать в избах — оглядывал невысокое жило, глиняную печь, черный потолок и янтарные выскобленные лавки, ряды деревянных и глиняных корчаг, кувшинов и латок на полице, берестяную плетеную солоницу на столе... Хозяйка полезла ухватом в печь, ловко выбросила горячую латку с шаньгами, примолвив:

— Покушать не желашь ли с дороги-то? — кинула горячие румяные шаньги прямо на скобленую

белую столешню. Семен из уважения к дому взял одну, подул, откусил. Ржаной горячий пирог с кашею был нежданно вкусен, и Семен, не заметив того и сам, съел, запивая молоком, и одну, и другую, и третью шанежку, макая их в растопленное масло, поставленное на стол улыбчивой проворной хозяйкой.

Пока он ел, в избу заглянула любопытная овца, пробежала до полуизбы, заблеяла, рассыпав по полу черный горох помета. Дети, осмелев, вылезли из-за печи, оступили проезжего гостя, и уже толстый карапуз, сопя, полез на колени князю, а получив кусок шаньги, устроился удобнее и стал жевать, отпихивая рукою сестренку, что тоже лезла к Семену на руки за очередным угощением. Девочка постарше уже трогала узорные кисти княжеского пояса, а двое пострелят, выглядывавших до того из-за занавески, вышли и робко остановились, не смея подойти ближе. Семен сидел разомлевший, чуточку растерянный, представляя, как бы славно ему самому иметь такую ораву детей, меж тем как от маленького тельца устроившегося у него на коленях малыша шло приятное тепло живого и доверчивого существа. Он осторожно огладил паренька рукою, и тот разом приник к Семену всем тельцем, словно к родному отцу.

Баба, выходившая во двор и перемолвившая с кметями, тут явилась снова, всплеснула руками:

— Князь-батюшка! А я и не малтаю, мыслю — простой проезжий какой! Кышь! — напустилась она было на детей, но Семен, улыбнувшись, покрутил головою и поднял руку, останавливая смущенную мать. Спросил:

— Пятеро у тебя?

— Каки пятеро, восемь, князь-батюшко, да двоих ищо Господь прибрал! Ноне, без ратного-то нахожденья, дак и живем! Спасибо тебе, да и родителю твоему, оберег землю от ворога! — причитала баба, доставая меж тем мед и сыр.— Топленого молочка не желашь ли? — смутясь, предложила она.

Семен не отказался и от топленого молока. Баба бегом выскочила во двор, кормила там шаньгами кметей. Несмотря на ее беготню и хлопоты, тут был покой, нерушимый покой простой, изначальной жизни, покой, коему нельзя не позавидовать вот так, встретивши в пути. Нельзя не позавидовать... И надо уходить, уезжать, творить и делать что-то там, наверху,

нужное для этой простой жизни, для того, чтобы были шаньги и хлеб, сыр, говядина и молоко в доме, чтобы плодились и росли дети, для которых тут, в родимом дому, еще нет ни истории, ни времени, ни страстей — все это там, в иной, преходящей жизни, в которую и их потянет когда-нибудь, заставив на долгие годы позабыть родимый дом, угол, дымный очаг, чтобы потом, когда-нибудь, исполнив или чаще всего не исполнив и сотой доли задуманного, воротить сюда — или в иной такой же рубленый трудовой кут,— воротить, чтобы пахать, и ростить скотину, и водить детей, поняв, что главная тайна жизни все-таки здесь, а не там, в большом и суровом мире великих дел, страстей и подвигов, мире, без коего и здесь, в дымных избах, порушит и падет все и исчезнет в пучине небытия, но который меж тем сам по себе существует и оправдывает существование свое только через эту простую, вне времени и событий длящуюся жизнь на земле.

Выпито горячее, с каплями масла и румяною пенкой топленое молоко. Старшой уже заботно заглядывает в избу — пора! А Семен все не решается встать, снять с колен вдруг нежданно уснувшего младенца и передать его счастливой матери, верно, и не чующей порою своего счастья!

Наконец он перемог себя, встал, бережно переложив малыша на печь, зашарил в калите — что-нибудь дать хозяйке.

— Поди ты! — Баба едва не замахнулась на него, решительно выставив вперед протестующие ладони.— Ково ищо! Гость-от дорогой!

И Симеон, смирясь, убрал калиту с серебром.

— Не обессудь, княже! Не признала враз...

Баба низко поклонилась ему; провожая, смущенно прибавила:

— Заезжай когда! Мужик-от придет с поля, дак возревнует, што не повидал!

— Спасибо, хозяюшка! Как кличут-то, не спросил?

— А, Митихой!

— А по имени?

— Дак... Окулькой!

— Спасибо тебе, Окулина! Поклон воздай хозяину своему! — произнес Симеон уже с коня. Поднял руку, прощаясь, и тронул повод.

— Заезжай! Спаси тя Христос! — прокричала баба

ему вслед. Семен еще раз поднял руку и помахал ею, уже переходя в скок.

...И было недоумение. Неужели все его усилия, и многоразличные хлопоты бояр и воевод, и труды философов-книжников только затем, чтобы бабы пекли пироги и рожали, а дети, сопя, ползли на колени?.. Неужели в этом всё?! И даже было такое, что — да, всё! И только строгий лик Алексия, припомнившийся ему уже перед воротами Кремника, оправил и остерег князя: «Нет, не всё! Есть высшее, без чего не можно смертному жити на земле и без чего не оправдать не токмо трудов боярских и княжеских, но и самой этой, такой простой с виду, земной жизни!

ГЛАВА 44

В Москве Симеона ожидали Алексий и воротивший из Орды Феофан Бяконтов. Вести из Орды были добрые. Хан утвердил присоединение Юрьева к улусу великого князя владимирского. В пути Феофан уведал, что беспокойный рязанский князь Иван Коротопол убит. Пронские князья отмстили наконец за убийство Коротополом, три года назад, их отца, Александра Михайловича.

Кровь за кровь! Симеон промолчал, вновь вспомнив о загубленном тверском княжиче Федоре. Алексий вгляделся в отемневший лик князя — понял, перевел речь на другое. Достал грамоту от Василия Калики, пересланную через Алексия великому князю. Новгородский архиепископ сообщал, что церковь Благовещения на Городище свершена и двадцать четвертого августа освящена им, Василием, в присутствии наместника и вятших мужей новогородских. Калика прислал поминки, опять звал Симеона на новгородский стол...

Семен в задумчивости свернул в трубку пергаменную новогородскую грамоту. Орда и Новгород, Орден и Литва и происки суздальского князя в Орде — на него опять пахнуло ветром великих свершений. Сельский разымчивый покой был явно не для него!

Его тянуло поговорить по душам с Алексием. Но в палате сидели пятеро думных бояринов, и при них отцов крестник сохранял чин почтительного отстояния. С душевным облегчением Симеон, дождав конца

приема, услышал из уст Алексия, что прибыли иконные мастеры. Значит, можно будет, не оскорбляя ни Вельяминова, ни Акинфичей, ни Сорокоума, остаться с Алексием с глазу на глаз.

Проводив бояр, Семен, пригласив наместника за собою, поднялся в светличный покой — уютную и светлую горенку на самом верху княжеских теремов. Алексий начал было о мастерах, что сожидали князя, но Симеон мягко прервал его:

— Погоди, владыко! Спрошать хочу и посоветовать с тобой!

Они опустились на опушенную дубовую лавку, и Симеон, сильно обжав ладонями щеки и бороду, на миг прикрыл глаза.

— Ехал давеча, под Мытищами в избу зашел, передохнуть. Накормили меня, молоком напоили. Дети полезли на колени. Хозяйка, как узнала, что князь, стала благодарить за тишину, за мирный покой... Подумалось: ужели только затем и живу? Не ведаю, как и изъяснить лучше!

Он поднял на Алексия обрезанный, беззащитный взор. Алексий поглядел внимательно, подумал. Кажется, понял. Кивнул сумрачно головою:

— Ты прав, сыне мой! Егда спорили о двуедином существе Христа, то старцы египетские, монофизиты, признавали одно божественное, духовное, существо в Господе. Из чего следовало, что и не страдал он на кресте, ибо духовен, призрачен суть, и не в подражание, и не в поучение людям пример, поданный нам Исусом! Отселе легок путь к той лукавой мысли, манихеями и богумилами проповеданной, что мир земной — зло и подлежит уничтожению ради освобождения плененного духа. Наша православная церковь отвергла как ересь Ария, очеловечившего Христа, так и учение монофизитов о токмо духовном существе Спасителя.

Мир сей совершенен, как всякое творение божие, потому и приходил Христос в мир, потому и спасал языки от пагубы неверия! И потому надлежит беречь зримый мир и заботить себя жизнью смердов и всякой твари. Но и о втором, духовном существе Христа не забудем в мыслях о малых сих! — Алексий поднял загоревшийся взор и твердо поглядел на князя.— Не хлебом единым! Но глаголом, ежечасно исходящим из уст божиих, жив человек! Пото и грады, и власть,

и храмовая лепота, и научение книжное! В двуедином существе мира истина, и ты, князь, охраняя зримое, не волен забывать и о незримом, в мыслях о плоти не утерять дух, иже животворит плоть!

— Мне порою так трудно, Алексий! — прошептал Симеон.— Вот и ныне: еще одна смерть, удобная Москве! А батюшка искал святого...

— Святого и я ищу, сыне! И родителю твоему ранее рек: он уже здесь! Быть может, ты или я уже и видали его? Встретили, а не сумели опознать в рубище убогого странника?

— Знаю, Алексий, ты говорил об этом не раз! Но... чем... как узнать, как уведать?

— Молитвою. И верой! И будь строг! — присовокупил Алексий.— Владыка Феогност огорчен тобою! Тем, что ты защитил языческое капище, не разрешив срубить Велесову рощу...

Симеон, зарозовев, потупил глаза. Признаться, что он вспомнил в ту пору наказ прохожей колдуньи. Кумопы, ему было мучительно стыдно. Но Алексий сам вывел его из затруднения:

— Я отмолвил владыке, что князь содеял сие, дабы не возбуждать напрасной злобы в малых сих, ибо токмо сердечным убеждением, а не силою топора надобно приучать к свету истины! И церковная лепота, затеянная тобою, паки и паки душеполезна ко благу утверждения веры Христовой! Спустись к мастерам, князь,— примолвил Алексий, помолчав.— Поговори, привети! Красота рукотворная в веках больше скажет потомкам доброго о нас самих, чем пролитая кровь и суетная прижизненная слава...

Семен, не отвечая, опустился на оба колена. Поймал благословляющую руку Алексия с крестом и поцеловал, крепко прижавшись губами.

— А доброго духовника, княже, я ищу тебе! — тихо прибавил Алексий.— Пока не нашел, но бодрись! Помни по всяк час, что и я с тобою!

ГЛАВА 45

Ото всей многочисленной дружины иконописцев князя сожидали четверо старших мастеров: Захария, Иосиф, Николай и Денис. Захария был сив, в курчавой бороде угодника Николы, жилист и прям. Иосиф и Николай

чуть помоложе, первый — мягче, второй — задорнее, и видом Николай больше смахивал на плотника-древоделю, чем на мастера иконного письма. Денис был отличен ото всех — худ, тонок лицом, с большими надмирными глазами инока и долгими перстами тревожных рук. Отказавшийся от вина и за всю встречу изронивший всего слова два, он, однако, и выражением глаз и беглою улыбкою тайного понимания тотчас пришел по душе князю, почуявшему в молчаливом иконном мастере родственную породу ума.

Иконные мастеры неумело поклонились князю. Симеон и сам сперва дичился, не ведая, о чем толковать с изографами? По счастью, Захария тотчас повел речь о нуждах ремесла: извести, красках, яйце, хоромах и коште мастерам, поденной плате и прочем, о чем уже уряжали с боярами, но старейшине иконников, как понял Симеон, хотелось услышать подтверждение договоренного из уст самого князя.

— Известь смотрели! Добра. Краску тереть почнем нынче ж! — подал голос Николай.— А с весны, как отеплеет, и за кисти!

— Подмостья надоть поставить в черквы! — сказал Иосиф, и слово «черква» тотчас обличило в нем выходца из Великого Новгорода.

Симеон повелел мастерам сесть на лавку. (Не любил, хоть то и полагалось по чину, когда перед ним, сидящим, стояли люди в преклонных летах, кто ни буди — боярин или смерд.) Слуге приказал обнести иконописцев чарою. Мастера оживились, разговор потек свободнее, и уже под обличьем просителя-смерда проглянуло в Захарии затаенное — талан и гордость мастера, неотлучная от знания тайн непростого своего ремесла.

— Како бают философы? — спрашивал Захарья, рубя ладонью воздух, и сам же отвечал, ероша свою и без того путаную бороду.— Есть личина, харя, вон в коих кудесят на Святках, есть лицо, какое у кажного из нас,— все ж таки по образу и подобию! И есть лик, высшее! Образ божий! В коем явлена горняя правда, токмо воплощенная в земном!

— Инобытие! — негромко подсказал Денис.

— Вот, вот! Инобытие! Слыхал, княже, про ересь иконоборческую в Цареграде? То в древних книгах писано! Постой! — отодвинул Захария локтем Иосифа.— Князь, он много знат, а того, что я ведаю в ре-

местве своем, не постиг! Верно баю? Поди, кисть в руки не брал, сколь пива с яйцом мешать, не знашь и того? Ну! А ты не замай! На то и мастеры, чтобы свое знатье иметь! То бы и мы не надобны были!

Захарья расшумелся не в шутку и, похоже, не от выпитого вина, а вошел в задор, когда знатцу уже все одно, боярин ли, сам князь перед ним,— а вера высказать свое, кровное. Симеон знал это чувство и потому не прерывал изографа, даже слегка любуясь буйным стариком.

— Што есть икона? — кричал Захарья.— Окно в инобытие! Не память, а лик отверстый! Так надобно писать, чтобы надмирно, яко от Господа самого! Яко свет исходящ! Во фрягах ныне почали ближе к земному, к телесному, деву Марию яко каку ни то Марью портомойницу пишут, оттого — еретики! У нас не так! Строго! Яко святой Лука, евангелист, писал, тем побытом и мы, русские мастеры! И у греков ныне не так!

— Греков ты не замай, однако! — перебил Захарью Николай.— По цареградскому канону пишем угодников и доднесь...

— Ты зрел?! Можешь враз отличить суздальское письмо от тверского? Ну! А я примолвлю: в Новом Городи так, а во Плескове инако пишут, и в Смоленске опять свое, и на Москве! Почитай, в кажном гради стольном свой пошиб! А у греков высоко, но мертво, как-то сурово... Грубо у их!

— Возвышенно и строго, но хладно! — вновь подсказал Денис.

— Ну, то-то! То же да на друго и выходит! Теперича — как писать? Вот хошь младеня Христа! Лоб должон быть велик, яко у дитяти рано рожденного; уста, нос — ищо детски суть, а лоб высок и здесь — выпукло, якоже и у смыслена мужа. И глаза велики, и тут, в подглазьях, яко у старца, надлежит прописать, дабы скорбь была! Оттоле глядит! Из бездонного! На мир! На все грехи наши!

— Бесконечная мудрость! — вновь подал свой негромкий голос Денис.

— Вота, вот! — Захарья полуобернул к Денису косматый свой лик, поднял корявый перст, как бы призывая собрата в свидетели.— Без туги мудр! Твердыня мира, словом! А Богоматерь? В ей переже девство надо писать! Шею округлу, упругу, лик овален, удлинен, губы юны и рот собран, не распущен, тово, как у ентих

полоротых, верхняя губа с мыском, яко девственнице надлежит... Но и строгость в ей! Нос тонок, прям, с горбиною, крылья собраны тож, а брови высоки — дабы мысль была! И воля, и норов! Потому — Матерь божия! А глаза велики и тоже яко и стары, от созерцания зла и всякой печали, в коей мы по всяк день ни к кому иному, а к ей прежде прочих святых прибегаем, к Богоматери! И тоже свет неотмирный, надмирный свет от нее!

А коли святой — Никола Угодник, к примеру — тута прежде всего усилие мысли в ем! Из людей же он, спервоначалу-то! И штобы зраком — пронзал! Значит, лоб так вот, на две половины пропиши и тута складку, тово, и глаза штоб не прямо, а с движением — озирает мир! И лик сухо надобно писать, резко таково — старец! И все плотское отверг! Словом, лик надобно писать, не лицо, то, что светит, что свыше! Яко у святых от лица огнь исходящ зрели, надмирный свет!

Сотоварищи уже тянули Захарию за рукава — дай, мол, передых князю! А он все еще объяснял: и о цвете гиматия у Марии-девы, и о золоте иконном... Наконец изографы стали шумно прощаться.

Проводив мастеров, Симеон поднялся к себе, постоял на сенях, подумал, повторил про себя: «Окно в инобытие! Словно через слюду оконную видимый тварный мир, так в иконе и чрез нее — мир духовный, не напоминание даже, не знак, а сама надмирная истина!»

Вот, батюшка, и еще одно дело твое исполняется днесь! Храм, тобою строенный, Михаила Архангела — в нем же и могила твоя,— будет пристойно украшен высокою живописью.

«Окно в инобытие! — повторил он, открывая дверь изложни.— Не тако ли и всякое прехитрое художество, что приобщает нас к высшему себя? Зодчество, и пение церковное, а и резь, и узорочье всякое! Почто и украшают любое творение рук человечьих, ежели не ради духа божья, незримо разлитого окрест и во всем воплощенного? Пото и создает художество токмо человек!» — Князь даже остановился, обожженный открывшейся истиной.

И теперь, наконец, то, увиденное в избе при дороге, связалось у него в сознании с высшей истиною духовного бытия. В художестве, в постоянном творении красоты восходит человек от земного бытия к престолу

Всевышнего! Надобно токмо, чтобы и художество творилось не в суете и не в гордости ума. Дабы не принять за отсвет высшей истины мечтания мира сего, что только смущают и бередят душу...

ГЛАВА 46

Джанибек, к удивлению Семена, исполнил свои обещания. В Сарае был им наведен порядок. Вздохнули с облегчением купцы, избавленные от диких поборов и грабежей, вздохнули русские князья, коим теперь уже не грозила напрасная смерть в Орде по капризу своенравного повелителя. Как-то незаметно потишели и сошли на нет «послы», сжигавшие при Узбеке целые города. Новый хан окружил себя, по слухам, учеными мужами и слагателями стихов. Менялся на глазах ханский двор, в коем царила и коим управляла теперь Тайдула, любимая жена Джанибекова. Дела русского улуса новый хан тоже старался решать по закону и по правде. Посол Киндяк был им отпущен на Русь с князем Ярославом Пронским выгнать Ивана Коротопола из Рязани потому, что Коротопол прежде того убил отца Ярослава Пронского, Александра, захватив последнего по дороге в Орду,— дело обычное при Узбеке, который и сам легко приказывал казнить непокорных или заподозренных им в непокорстве князей, так что всякий едущий в Сарай в те годы писал на всякий случай завещание по душе, не ведая: воротит ли живым до дому? Однако и бесерменская церковь усилилась в Орде при новом повелителе, по каковой причине и совершилось томление Феогностово... Как бы то ни было — давняя светлая улыбка молодого царевича, встреченного им некогда на охоте, улыбка, за которой не чаялось узреть жестокого двойного убийства братьев, теперь все больше связывалась в воображении Семена с тем обликом нового хана, о коем доносили ордынские слухачи.

С Юрьевом Симеон был прав. Выморочные уделы отходили по закону великому князю владимирскому. Но суздальский князь уже добился, в свой черед, титула великого князя суздальского, а с ним — права самому платить дань Орде, не подчиняясь Симеону, а, сверх того, мог и рассчитывать, в грядущем, получить, в очередь за Симеоном, владимирский стол, поскольку детей

мужеска пола у князя Семена не было. По лествичному праву великий стол очень и очень мог перейти в дальнейшем суздальским князьям. (Как вызналось зимою, об этом уже хлопотали теперь в Орде братья-князья, стакнувшиеся друг с другом.)

По стране все еще ходил мор прыщом, было неспокойно на литовском рубеже, подозрительно вели себя князья смоленские, замыслившие, как кажется, вновь откачнуть к Литве, неспокойно было в боярах, хотя Семен наконец и снял остуду с Хвоста по неотступным просьбам бояр и совету духовного отца, Алексия. Неспокойно было в далеком Цареграде, где продолжалась междоусобная брань, глухие волны которой гибельно качали устои русской митрополии... И все-таки хлеб был ссыпан в житницы, из Новгорода шло серебро, ордынские дани выплачивались в срок, рождественский корм был собран без натуги и недоимок и укрытая снегами русская страна могла воздохнуть спокойно: еще один год минул без лихолетья и войны.

Настасья с последних родин начала прибаливать, и Семен теперь уже со страхом думал о ее возможном конце — как-никак за прошедшие годы и сжился, и привык, и знал всегда, уезжая, что есть догляд за домом и двором, не купленный, а свой, кровный, душевный догляд, коего можно сожидать — и при сотнях слуг, сенных бояр, холопов и послужильцев — все-таки только от близкого и родного себе человека.

Нынче жена ладила, вослед мужу и митрополиту (Феогностовы греки уже прибыли из Царьграда), также расписать «свою» церкву — храм Спаса, в монастыре, в Кремнике. Деятельно собирала имение и выискивала повсюду добрых мастеров иконного письма.

Симеон почасту заходил к мастерам, глядел, как толкли и растирали в порошок цветные камни, как готовили растворы, чтобы обмазывать по частям камни стены: писать приходило токмо по мокрому, и потому и обмазывать стены и писать надобно было единовременно — «единым днем!», как уточнял Захарий:

— Што седни обмазано, седни и пропиши, не то охра не утвердит! По сухому-то напишешь, дак и стереть мочно, и все не так! Стары-ти мастера век по сухому не писывали, дак пото и не смыть ихней работы ни водою и ничем, токмо уж ежели соскоблить заново всю стену! И известь выдержана коли до двадцати летов, дак, тово, как зеркало! Любота! Лепота!

Известь творилась всего десять лет — была заложена в ямы еще при начале отцовского храмоздательства,— и теперь уже сам Симеон боялся: не мал ли срок? Из Нова Города ить твореной извести не довезешь!

С весны уже корзинами копили яйца — в раствор и в краску для крепости. У купцов доставали дорогую инозёмную лазурь, которую, слышно, добывают где-то в горах, в земле индийской. Твердые куски синего слоистого камня гляделись словно некая драгоценность, а их еще надобно было разбивать, толочь и растирать в мельчайшую пыль, чем и занимались всю зиму молодшие иконописной дружины. Краску везли и из Новгорода — темно-красную охру, и из Пскова, и из иных земель. Захарья мог часами рассказывать о каждой краске: откудова она, и какая в ней сила, и для чего годна. Какою охрой прописывают лик и руки, чем пишут гиматии и фелони, как накладывают пробела, почто в стенописи не употребляют твореного золота, как на иконах, чем суздальский пошиб иконного письма отличен от новогородского и тверского и почему добрый мастер должен, приуготовляя себя к труду иконному, поститься и молиться, яко мних, много дней, пока дух не взойдет в совершенное парение и все греховное не изыдет прочь, дабы враг рода человеческого не смог рукою мастера осквернить невестимо образ господень либо лики святых угодников.

Симеон слушал, подолгу простаивая в горнице мастеров, под стук неутомимых краскотерок; иногда брал в руки кисть и с трепетом проводил линию, плавно усиливая или ослабляя нажим, как учил мастер,— только у мастера линия действительно «играла», а у него, как ни старался, спотыкалась и рвалась,— глядел, как готовят, отскабливая до блеска, доски под иконостасный ряд, как клеят паволоку, промазывают алебастром и долго полируют пемзой и костью, до блеска и твердоты. После Пасхи, как растеплеет, мастера обещали приняться за стены.

Минули разгульные Святки, с ряжеными, санками, бешеной гонкой разукрашенных коней; минул Пост, и уже оседали снега и пахло новой весной, и уже ладили упряжь и сохи, а иконные мастера, застроив храм лесами, начали свою звонкую работу, насекая камень под обмазку, чтобы лучше держалась известь

на стене, пробовали забивать гвозди с широкими шляпками, коими в апсидах и в куполе храма будет дополнительно удерживаться расписанный красками слой извести. И князь, ежась от идущего от камня холода, стоял теперь в храме, задрав голову, следил за ладною работою мастеров.

И вновь стало ясно, что ему не усидеть. Джанибек звал его в Орду, звал сам, дабы упредить очередные обвинения залесских князей в лихоимстве и утаивании ордынских даней, в чем со времен Михайлы Святого (да и задолго до него!), кажется, не минули овиноватить ни одного из великих владимирских князей...

Послы сказывали, что братья-князья нынче добиваются у хана утверждения древнего лествичного права наследования, и московскому князю, у коего до сих пор нету сына, достоит повестить хану, кого он сам прочит в наследники свои.

Надлежало ехать в Орду с братьями. Семен вызвал Андрея из Радонежа (который недавно, после смерти мачехи, отошел Андрею в удел) и Ивана Красного из Рузы, коротко объявив обоим о существе дела и надобности ехать в Сарай. (Братьев следовало поскорее женить, не то и Джанибек не поможет. У всех троих московских владетелей до сих пор не народилось потомка мужеска пола!)

Братья переглянулись, поклонились Симеону, выказав полную готовность утверждаться в правах на престол. Правда, Иван Красный, старший из двух, как раз менее всего и годился для занятия стола великокняжеского. Но право должно стоять выше силы, иначе не стоять земле! Не резаться же им, яко сыроядцам, за стол великокняжеский! Оставалось надеяться на потомков, на еще не рожденных сыновей...

— Господи! — молился Симеон вечером.— Почему Иван?! Я не хочу Ивана! Он слаб, не удержит даже Алексея Хвоста. Рязане отберут у него Коломну, Костянтин Суздальский — Переяславль. Он потеряет и Тверь, и Новгород, отдаст Смоленск Литве. Все батины заводы — дымом! Я не хочу Ивана! Пусть лучше Андрей! Зачем он младший? Не лучше ли, яко в Литве, избирать не старшего, а достойнейшего! Не режутся же они! (Или только не начали резать друг друга?) Господи! Почему не Андрей? Почему Иван не умер тогда...

вместе с женою... Я кощунствую, Господи... Все одно! Почему он?! На кого оставлю я княжество свое? Как переступить за грань небытия и не растерять, не погубить сущего? Господи, укажи мне, подай мне нить спасения, и я умру хоть сейчас, сегодня, успокоенный в деле своем!

Или то грех мой, давний и непростимый? Или сбываются сроки? Или то суд господень, строгий и неотмолимый? Я все могу, даже принять смерть... Но ежели со мною умрет язык мой и народ русский расточит пылью по лицу земли — того, лишь того не возмогу, Господи!

Я не верю Ивану! Я не верю слабому брату моему! Господи, увиждь и смилуйся еще раз над грешною нашей страной! Ведь ежели я, ежели мы не спасем сегодня Руси Великой, завтра она исчезнет в пучине небытия, и даже память ее потонет в веках!

ГЛАВА 47

Из Орды Симеон воротился двадцать шестого октября, с пожалованием и честью. Джанибек утвердил Ивана наследником великокняжеского стола. Теперь стало можно до времени не страшиться братьев-князей. Все окончилось счастливо, очень счастливо! И все-таки только теперь начал Симеон полною мерой понимать, каким духовно выпотрошенным возвращался отец из Сарая, от жестокого и грозного хана Узбека!

Дома сожидали посельские, ключники, бояре, притомившаяся Настасья, а ему, по-детски, прежде всего хотелось заглянуть в Михаила Архангела, увидеть, что успели сотворить за время его отлучки иконные мастера.

Но в тот же день, конечно, даже и заглянуть не пришлось. Молебен, торжественная служба, дума, разбор накопившихся дел: пришлось вникать в семейную тяжбу Черменковых и быть третейским судьей при обмене селами Афинея с Андреем Кобылою, пришлось выслушать отчеты посельских об урожае и ключников — по хозяйству княжеского двора (тут тоже надобно было разбирать споры бортников с конюшими о лугах за Яузой), и все это в один день, не передохнувши с дороги. Лишь поздно вечером он попал наконец

в баню, а оттуда, распаренный, отмякший с пути,— за поздний ужин втроем, с женою и дочерью,— следовало утешить Настасью хотя таким запоздалым вниманием к ней.

Дочь росла, и уже виделось, что скоро надобно будет подыскивать ей жениха, и уже не по раз приходило в голову: а не породниться ли с кашинским князем Васильем Михалычем? У того подрастали сыны, а свойство с кашинским домом очень пригодилось бы в грядущем, как намекали ему бояре, для того, чтобы держать в узде своенравную Тверь...

Дочерь болтала, ластилась к отцу, которого видала лишь изредка, любила и немножечко боялась. Симеон сидел притихший, успокоенный, стараясь не думать ни о чем, дабы не подымать вновь со дна души мути напрасных сожалений о том, чего не произошло, видимо, по божьему произволению!

Он уснул, довольный, что Настасья, неслышно улегшаяся рядом, не просит мужниных ласк, и все-таки позже, ночью, в полудреме привлек ее к себе.

— Порча какая-то во мне! — тихо пожаловалась она.— Болит и болит внутрях!

— Ничего! — пробормотал он, засыпая.— Перемолви со знахарками, травок попей... Может, и будут еще у нас с тобою дети! — Он не сказал «сыновья», не хотел обидеть ее, да Настасья, видно, и так поняла невысказанное супругом...

Назавтра, из утра, отложив все дела, он устремился в церковь. (Ему вчера успели уже напеть в уши, что вот-де Феогностовы греки окончили роспись Успения Пречистой в срок, единым летом, а русские писцы не содеяли и половины урочного труда.) Действительно — не содеяли. Западная стена, где должно было быть изображение Страшного суда, не тронута вовсе, южная и северная только начаты, но в куполе уже распростерся лик благословляющего Христа, уже явились ряды святителей в апсидах дьяконника, архангел Михаил в узорных доспехах и Богоматерь с предстоящими — в алтарной нише.

Не слушая мастеров, он пересек площадь и вступил в соборный храм Успения Богоматери. Греческое письмо было крупнее, сановитее и, поскольку живопись была довершена полностью, производило большее впечатление. Храм был населен, и строгие тени архангелов, святых и пророков оступали входящего, действительно,

словно бы являясь из инобытия, дабы изменить и исправить сей несовершенный мир.

Лишь приглядевшись, понял Симеон, что греки кое-где сработали не то что без души, а больше опираясь на образцы, чем на огнь сердечный. Греческие мастера честно повторяли византийский канон, не вкладывая в него горения выдумки. Иные лики неразличимо повторяли друг друга, и все в целом веяло чуть заметным холодком — печатью уходящей, закатной культуры, чего Симеон не мог бы определить словами, но что он почуял, постояв под сводами храма и ощутив словно бы тяжесть и некую чуждость, некое мертвенное остранение, коего в начатых росписях Архангельского храма не было совсем.

В задумчивости он воротился к Михаилу Архангелу и тут уже стал разглядывать и внимать многоречивым изъяснениям Захарии. Да! Мастера были невиновны: мелкое письмо, затеянное ими, и масса многодельного узорочья, при величестве стен церковных, и не могли быть исполнены за один летний срок. Понизу шли, круглясь, немыслимо сложные узоры травного письма. Сравнительно с греческими мелкие фигуры святых в тщательно прописанных и тоже изузоренных одеяниях громоздились рядами, уходя ввысь, под своды. (Симеон отметил с похвалою, что Захария с Денисом сообразили верхние изображения написать крупнее, с учетом того, как воспринимает образ письма глаз человеческий.) Все это можно и нужно было очень долго разглядывать, находя все новые и новые подробности.

Да, конечно, в сановитости, в броскости общего очерка письмо Захарьевой дружины заметно уступало греческому. Но что-то было в нем, в этом письме, приманчивое, что-то веселое и легкое. Узорный, легчающий, уходя ввысь, ковер лежал на стенах храма, и гляделось так, словно писали не взрослые мужи, а дети, мир коих ярок и свеж, словно промытый или, вернее, еще не отемненный тяготами земного бытия. От иного носатого «грека» или московской «просвирни» (таковыми виделись иные из святых!) уста трогала невольная легкая улыбка, и Симеон не вдруг заметил и сам, что улыбается, разглядывая изображенное.

Быть может, и в нем самом жила та же самая, запрятанная где-то в самой глубине детскость, что и в русских мастерах-иконниках, и потому ясная их рабо-

та нашла добрый отклик в Семеновой душе. Он остался доволен собором и тут же повелел надзирающему боярину продлить на иньшее лето месячину и корм мастерам.

С Алексием встретились они келейно ввечеру. Благословившись, Симеон пригласил наместника к трапезе. Из уважения к сану гостя на столе были только рыбные блюда, грибы, капуста и ягоды. Поговорили о росписи храмов. Симеон постарался передать свое впечатление от живописи, и Алексий, склонив большелобую голову, подытожил:

— Юн наш народ! Гляди, токмо подымается новая Русь! И мастеры иконные, хотя и старцы возрастием, но вьюноши духом! Потому и в письме иконном, яко в отверстом окне горняго мира, являет себя — в противность греческим изографам престарелого Цареграда — младая душа, юный дух животворящий. И на сем зиждят мои надежды и вера в грядущее владимирской земли, князь!

— Вот, я был в Орде...— начал с запинкою Симеон.— Джанибек пьет, как и всякий монгол, несмотря на то, что он бесерменской веры. Усидит ли хотя на столе? Зарезал братьев. Меня нудил: женись! Знает сам, что у нас, при живой жене... Отче! Я хотел иметь сына и сыну оставить великий стол, как мне оставил отец!

— Все в руце божией,— отозвался Алексий.— У Авраама с Саррою не было дитяти даже и до семидесяти лет! Быть может, и тебя токмо испытывает Господь?

— Не знаю. Не ведаю,— сумрачно отмолвил Симеон.— Устал верить. Они все,— он повел рукою, разумея братьев-князей,— цепляются за лествичное право, хоть уже и в древних харатьях киевской поры возможно прочесть, сколь неистово резались друг с другом дядья и племянники. И кто блюдет ныне на деле право это? Токмо ближайшие родичи! Брат наследует брату, и то не всегда, а уж двоюродники не променяют своего стола на инший! В Литве избирают достойнейшего и, кажется, не которуют друг с другом...

— До поры! — твердо прервал Алексий.

— До поры? — переспросил Симеон.

— Ведаешь сам, каков Ольгерд Литовский! — сумрачно усмехнувши, вымолвил Алексий.

— Все одно... И я хотел утвердить... Должно быть одно, прямое право — от отца к сыну! Не рушить за-

веденный единожды распорядок ни в думе княжой, где своя лествица чинов и званий, ни в хозяйстве дворца, ни в княжестве! Отец, сын, внук, правнук... Так бы и шло! И земля будет избавлена от резни, волости — от переделов, кажен из бояр станет ведать наперед место своих потомков в думе или в полках, в управе земской, в суде ли... И такожде сможет передавать место свое достойному из потомков по старшинству, по чину и заслугам рода. То же самое и в крестьянском роду. Снизу доверху и сверху донизу станет одно! А они — злобствуют на мя и зовут прегордым. В чем вина моя? В чем прегрешение мысли? Подскажи, поправь, Алексий!

— В том, что токмо от Господа, а не от нас самих, токмо от вышних сил зависит тайна рождения! Ежели бы мочно было предсказать, нет, приказать, кому и какому родиться первым в княжой семье!

Симеон долго молчал, повеся голову.

— Да, ты прав, владыко! — наконец ответил он.— Неисповедимы пути! Вот у меня и вовсе нет никого... Но почто, к чему тогда власть духовная? Ты, владыко, почто?! Слабого или недостойного не вам ли, не тебе ли поддержать, остеречь, остановить и направить? Лишь бы устоял порядок, лишь бы не рушило, подобно Вавилонской башне, само строение Великой Руси! И злой, и слабый прейдет так же, как проходят великие, но сохранит себя страна и все сущее в ней! Нельзя же, яко в Орде, кажен раз омывать великий стол владимирский кровью!

— Нельзя, князь.

— Возможешь ты, Алексий, руководить князем слабым или неумелым, дабы не рушило с трудами возведенное здание власти?

Пришел черед Алексию задуматься, перебирая в уме возможные извивы судьбы. Но и он был токмо человек и земными, смертными очами не мог провидеть дальше того, что было пред ним; а были три брата — Семен, Иван и Андрей, преданные, каждый по-своему, церкви и духовному наставнику своему. Он обежал мысленным взором иные княжества и иных князей,— не миновавши ни нравного суздальского князя, ни упрямого ярославского,— подумал, примерил, взвеся силы свои, отмолвил наконец:

— Кажется, смогу!

Не догадал Алексий в сей миг, что мочно направить

слабого, но не мочно удержать злого даже и достойному пастырю, а ежели к тому же и пастырь слаб?

Они долго глядели друг на друга.

— Но и я не вечен! — вымолвил наконец Алексий.

— Будет другой! Духовная власть не престанет в нашей земле! — упрямо возразил Симеон.— Ведь я повторяю ныне твои же слова, наставник!

— Чую, сыне! И то чую, что ты возлагаешь на мя крест, еще не изведанный мною! — вздохнув, ответил Алексий.— Но я обещал твоему отцу при ложе смерти его и обещаю тебе — все силы мои приложить на то, дабы замысел сей, великий и страшный, не пропал втуне.

ГЛАВА 48

Так уж суждено было Костянтину Михалычу Тверскому всю жизнь подчиняться женской воле. Московка, Софья Юрьевна, покойная первая жена, выливала на голову ему потоки ругани, заставив в конце концов пойти на подлость, измену и предательство брата своего, Александра, мученически погинувшего в Орде.

Новая жена, Евдокия, обиженно молчала, тытышкая младеня, отводила замкнутые глаза, изгибая стан, увиливала от неуверенных рук Костянтина, пытавшегося ее приласкать, а вдосталь измотав — требовала, глядя мимо него, в стену. И князь безвольно подчинялся новой жене: отпихивал первого сына, Семушку, пытавшегося было влезть на руки к отцу (и не возьми Настасья, жена покойного брата Александра, отрока под свое крыло, невесть что и сталось бы с незадачливым сыном московки!), привозил и доставал все новые утехи, сладости, узорочье и порты молодой жене и ее маленькому сыну Еремею, а нынче все более и более начинал злобиться на сноху и подрастающих племянников, в особенности на старшего, Всеволода, который уже и ростом и статью начинал походить на покойного Александра Тверского.

— Почто сидят тут, в Твери, а не у себя, в Холме! — визгливо кричала Евдокия.— Все уж, до косточек, изболело от ее! Держит себя как госпожа! Вдова! Давно в монастырь пора, грехи замаливать! Сирот токо и подбират, мне бы назлить! А ты князь! Глава тверскому дому всему! И ничего не возможешь! Гляди, Семен

ото всех вас отбилси! Поезжай в Орду и ты! Великим князем штоб! И прижми-ко, прижми хвост Настасье, пока не поздно! Пока тебя племяши и из дому-то не выгнали! В етот гнилой Дорогобуж, а и там спокою не дадут! Князь ты али нет? — И в тоненьком голоске Дунюшки слышались знакомые переливы густого баса Сонюшки, покойной московки.

Костянтин, на беду свою, все-таки был мужиком — нарочитым мужем, князем и воином, и женины наговоры не мог принять иначе, как свое собственное, из себя самого рожденное мнение. Он начинал все более и более ненавидеть сноху, и ему уже и взаправду начинали мешать, донельзя раздражая, шустрые племянники, радостным шумом и криками заполнявшие весь обширный тверской терем. Он не шутя злобствовал на то, как рачительно и твердо ведет Настасья большое хозяйство тверского дома, начинал подозревать ее в тайных, противу него и Дунюшки направленных умыслах, в скрытых сношениях с новогородцами, в желании лишить его тверской части в доходах и еще черт знает в чем... Чего только не подскажет распаленное и озлобленное воображение! Да и отдаленность лет делала свое дело: забывался отец и далекая, страшная ордынская трагедия, почти не помнился уже погибший Дмитрий Грозные Очи... Как ни странно, покойная Софья Юрьевна еще связывала его с минувшим, не давала забыть. Но вот и она умерла. Костянтин, когда-то большеглазый, пленительно красивый, испуганный мальчик, со слезами на долгих ресницах, которого прятала в своем шатре и утешала царица Бялынь, превратился теперь, четверть века спустя, в старообразного, едкого, с нервным подергиванием лица, с острым козлиным запахом от застарелой нутряной болести, мало приятного даже близким своим человека... А ведь был он не так уж и стар! Четыре десятка лет всего и оставил за спиною! И желания, и гнев, и корыстные вожделения в нем ярились, еще не переломившись к старческому покою. Стать первым, править единовластно, хотя бы здесь, у себя, в тверской земле! Вослед Костянтину Суздальскому, вослед Симеону! Хватит, довольно! Добиться вновь великого тверского княжения, а там — как знать... Но для поездки в Орду и хлопот перед новым ханом надобно было серебро, много серебра! И тут уж сноха с ее тверскими доходами совсем становилась у него костью в горле. «Согнать ее с тверского

стола — и вся недолга, пущай едет в Холм, удел Всеволода, альбо в монастырь уходит!» — подсказывала Евдокия. Зимой, накануне того, как собирать рождественский корм, Костянтин решился наконец. В конце концов, и у него были свои бояре, и великого тысяцкого Твери, Щетнева, можно, оказалось, ежели и не перетянуть на свою сторону, то запугать...

Всеволод промчался вихрем, кидая комья снега из-под копыт коня, крупным градом ударявшие в глухие заборы горожан. Юное лицо княжича горело гневом. Бросив поводья конюшему: «Вы́води!» — взбежал по ступеням. Оснеженный, красный, ворвался в горницы:

— Мать! Наши обозы разбивают!

Анастасия, вспыхнувши взором, поворотилась к сыну грудью и лицом:

— Кто?!

— Костянтиновы холуи!

Он шваркнул забытую плеть себе под ноги, заскрипел зубами.

— Дружину! В сабли!

Сын был на голову выше ее и сейчас, кипя гневом, очень походил на отца. Настасья опомнилась первой:

— Почто?!

— Виру берут! За тверскую треть... Не наша, мол... Я ему, псу! — выкрикнул Всеволод, кидаясь было на половину дяди.

— Постой! — властно выкрикнула Настасья.— Ты што, в отцовом терему резаться вздумал? Опомнись! Уймись! Как так не наше? Сказывай!

Всеволод повалился на лавку, заплакал злыми слезами, начал сбивчиво объяснять:

— Ворочал... С охоты... Зрю: ругань, крики, мат... На дороге, в снегу, драка, возы потрошат... Я плетью... Троих сбил с ног, те — за сабли... Вырвался — и сюда... Мать! Разреши собрать дружину!

— Не смей, сын! Не смей!

Она вдруг быстро подошла к Всеволоду, прижала большую мятежную голову к мягкой груди, у самой слезы закипели в очах. Знала, что этим и окончит деверь! Ждала, но не ведала, что так вдруг, нынче, теперь...

— Охолонь, милый! Ну! Надо терпеть! Еще немного, ну! Еще подрасти, сын! Не сгонит нас с Твери Костян-

тин, права такого нет у него! Иначе к митрополиту в ноги, ко князю великому на Москву...

— Семен Иваныч за Костянтина, мамо! — жалобно возразил Всеволод.— А ты еще Мишу в Новый Город отослала московитам в зазнобу!

— Все одно смирись! Сама пойду! — строго велела Настасья и, накинув темно-синий узорный плат на парчовую головку, закрывавшую ее медовые, все еще необычайно густые волосы, решительным шагом направилась переходами в горницы Костянтина.

Холопа, что пытался было задержать великую княгиню тверскую, Настасья отпихнула плечом и, большая, гневная, разъяренною львицей, защищающей своих детей, предстала перед деверем.

Костянтин был застигнут врасплох (иначе бы и не допустил до себя сноху). Он смешался, но только на миг. Поднявшаяся душная злоба погасила в нем и стыд, и остатки совести.

— Да! Я велел! Я князь великий! И Тверь моя, моя и моих детей! И дом этот мой! А тебе, сноха, пора перебираться... куда ни то... (он смешался, сказать про монастырь многодетной матери с малыми чадами у него не повернулся язык). В загородный дворец хотя! Иначе ни тебе, ни мне не будет спокою! Я сказал! И все! И нынче ставлю своего ключника! И все! Все! Все!!

Вбежали бояре, явился смущенный Щетнев. Змеею вползла улыбающаяся Дунюшка. Костянтин брызгал слюною, топал ногами. Настасья, презрительно прищурясь, оглядела деверя:

— Нынче же съеду. Володей! Токмо одно скажу: никакой ты не великий князь! И права на то еще не имеешь! Малый ты! Меньше последнего холопа в етом терему! — И поворотила, не слушая уже ни молви бояр, ни выкликов разъяренной Дунюшки.

Бледная, с красными лихорадочными пятнами на щеках, прошла переходами к себе. Сын ждал, так и не разоболокшись с дороги. Испуганно грудились меньшие с мамками.

— Едем отселева! — отрывисто сказала Всеволоду.— В загородный дворец, за Тьмаку! Ты — собирай людей! Посельских и ключников — ко мне! Созови кого ни то из бояр! И кметей — всех!

— Тамо...— Всеволод, растерянный, в недоумении глядел на мать.— Тамо не топлено, да и не жили давно, где и протекло и погнило, и печи поправить...

– Нынче ж едем! — крикнула Настасья исступленно.— Слушай, что я говорю! Днем, при народе! Пущай Тверь зрит, как гонят со двора вдову Александра Святого!

И Всеволод понял. Молча, схватив мать за руки, поцеловал их и побежал собирать людей.

Так в доныне дружный тверской дом пришла беда полосою долгой розни родичей, розни, которая будет доходить почти до оружных сшибок и окончит только тогда, когда никого из участников этой первой семейной драмы уже не останет в живых...

И где искать начало сего гибельного раздрасия? Не в тот ли миг, не в тот ли час горький, когда высокий, красивый, испуганный отрок навек потерял мужество воли при виде жестокой смерти своего великого отца? Мужество потребно мужу настолько, что и слова сии одного корня от одного и того же значения проистекают: «муж» и «мужество». С трусостью, с потерею мужества, кончается все. Трусость рождает подлость. Подлость ведет к преступлению. И пусть не говорят и не пишут, что Костянтин Тверской обогащался и укреплял власть вослед и в подражание великим князьям — владимирскому или литовскому, что так же, как Ольгерд с Симеоном, укреплял он единовластие в своей Твери. Будем судить не по мертвой шелухе внешних кажимостей, а по глубинной сути желаний и страстей. Никогда высокое не рождается от низменных, низких побуждений! В борьбе за земную власть, как и повсюду, дух, совесть и правда стоят превыше всего остального и, отброшенные, всегда скажут в конце концов роковое и непреложное слово свое.

ГЛАВА 49

Святками Семен гостил у сестры, в Ростове. Настасья не поехала, сославшись на нутряную болесть. Москва гуляла на Масляной без великого князя.

Откуда идет обычай рядиться в личины? (Итальянское слово «маска» еще не было известно на Руси, говорили «личины» и «хари»). Верно, еще от тех первобытных охотников, что плясали некогда у костров, вздев на себя звериные шкуры и рога, пляскою заклиная удачу на охоте, идет это древнее веселое ведовство. Тут все навыворот: мужики рядятся бабами, бабы —

мужиками, подчеркивая отличительные срамные признаки; рядятся и в звериные шкуры, изображают и леших, ведунов или чертей, носят из дому в дом «покойника», который, скаля желтые зубы, выставляет напоказ свой детородный член; «проверяют» визжащих девок, задирая им подолы, и всякого иного бесстудно веселого глума хватает на Святках! В теплом климате Средиземноморья, на улицах итальянских городов, ряженье выливается в веселые всенародные шествия — карнавалы. Не то на Руси. Трещит мороз, все утонуло в снегах, и ряженые ходят гурьбою из дому в дом, вваливают в сени, шумят, озоруют и пляшут, поют разгульные песни и, наплясавшись, нашумев, потешив себя и хозяев, трогают дальше, выходя на трескучий мороз, под голубые рождественские звезды. Идут гуськом по узким извилистым тропинкам среди сугробов — до нового дома, до новых приветных сеней. Зовут их ряжеными, или кудесами. Кудес, кудесник — древний языческий жрец и заклинатель огня. Быть может, когда-то, призывая солнце возродиться после зимних суровых сумерек к новой весне и свету, кудесники, заклиная дневное светило, тоже рядились в личины? На севере ряженых зовут еще и шилигинами или шелюханами (Тиликен — озорной каверзный божок древних народов Севера, вроде нашего баенника или овинника,— оттуда и прозвище). А вывернутые одежды, измененный понарошку пол, срамные «покойники» и прочее — это все от тех же древних времен: призыв к перемене, круговороту, возвращению, новому, после смерти, рождению на свет годового солнца и всего годичного круга природы. Древние еще не знали времени длящегося, продолженного в веках; время текло для них по кругу, ежегодно обновляясь, рождаясь вновь и вновь в том же, неизменном облике. И надобно было помочь этому возрождению, помочь новому повороту вечного колеса.

Мы сейчас уже почти и не чуем, не можем представить себе, каким было Рождество и Святки в древней Москве!

Синий чистый снег причудливыми сугробами у бревенчатых островерхих тынов; накатанные тропинки между снегами, по которым днем хозяйки проходят за водой; узоры низких кровель в бахроме инея; путаница оснеженных ветвей над головою. Все те же неистребимые сады осеняют московские дворики XIV века, как и всех последующих, вплоть до начала XX, сто-

летий. Кое-где, над кровлями, видны выписные верхи затейливых храмов и гордая, изузоренная снегом резьба боярских хором. Из маленьких, в полтора бревна, оконцев — желтые мягкие платки света, раздвигающие синюю уютную тьму. Там, за стеною, трещит лучина, или чадит масляная плошка посадского книгочея, или теплятся свечи в боярском терему. Порошит снежок, а над головою — черно-синее небо, затканное алмазами и яхонтами. Пахнет свежестью и, как часто на Святках, незримо реет в воздухе запах неблизкой еще весны. Там и тут тявкают и заливаются псы. Из распахнувшихся во тьму и снег дверей вместе с полосою света вырывается в ночь разгульная плясовая, звучат сопели и домры, пронзительно, с переливами, играет пастуший рожок. Долгая вереница мохнатых теней с хохотом вываливает из дверей в снег, кто-то кого-то катает в сугробе, радостно визжат девки, парни гогочут в темноте. Хрюкающие, воющие голоса пугают запоздалого путника. Маленькие чертенятки скачут прямо через сугроб, и конь пятит в оглоблях, и седок невольно крестит лоб, хоть и знает, что нынче Святки и, пока кудесы не «потонут», до нового года, в крещенской воде, жди чуда на каждом углу!

Гуляют везде — на посаде и в Кремнике. Тут так же хлопают двери боярских хором, с визгом и хохотом вваливаются ряженые, и не всегда поймешь: то ли это голытьба, набежавшая на даровое боярское угощение, то ли свои, соседи, те же боярские отроки, а то и сами великие бояра и боярыни в нарочитом тряпье и рванине — на Святках кудесить не заказано всем!

Под стеною высокого терема Вельяминовых двое отставших от ватаги тихо перепираются между собой. Один, в вывороченной шубе, в медвежьей харе на голове, тянет другого, упирающегося, в наряде бухарского купца. А тот не идет, и даже тут, под звездами, видно: заливается густым вишневым румянцем.

— Да иди ты! Рохля! Ну! Диво дивное! Закрой рожу да и ступай! Мужик ты ай нет? Дрожишь красною девицей! Чать не парень уже, лонись жонку схоронил! Не укусит же она тебя! Ну! Я созову на сени, а ты уж сам сговори с нею!

Андрей тянет старшего брата Ивана в терем, а тот не идет, мотает головою, скоро слезы покажутся на глазах.

— Погоди, Андрюша, не могу. Боюсь. Ну да, боюсь!

Люблю ее, понимашь? Жить без нее не могу! Как узрел... словно варом ожгло... Сам не свой, ни рук ни ног не чую. Веришь — ночами не сплю из-за нее! Мне ее оскорбить — лучше в омут, а брат, он...

— Семен? Уговорим! — решительно перебивает Андрей.— Чать не какая-нибудь, а Вельяминова! Идем, не то оставят нас тута одних!

Последняя угроза действует. Ватага уже далеко, и бухарский купец, краснея и бледнея под шалью, бежит вослед за медведем, который догоняет ватагу, волоча брата за собой.

В воротах шум и гам, на дворе у боярина — пляшущая толпа. Горят факелы, бросая блики неровного света. Пришедшие, хрюкая и хрипя, пробивают себе дорогу к сеням, отпихивая слугу, лезут прямо на высокое красное крыльцо терема. Холоп, догадав, что перед ним не простые шелюханы, сторонит, давая дорогу.

В горницах жара, дым коромыслом, от богатырского пляса ходуном ходит посуда на столе. Кто-то из ряженых, в рванине, но в щегольских красных сапогах, вскакивает на стол, ходит выступкою и вприсядку меж серебряных чаш и блюд, ходит так, словно совсем лишен весу, и вышедшая полюбовать хозяйка, и сам хозяин, явившийся взглянуть на кудесов, неволею любуются молодцом. Ничего не сронив и не задев никоторой посудины, плясун спархивает со стола.

— Никому иному быть, кроме Гавши Кобылина! — переговаривают гости за столом.— Тот-то плясун отменный!

Хозяйка обносит ряженых чарою. Толпясь, но не открывая лиц, те испивают по чаше белого боярского меду и снова пускаются в пляс. Рычит медведь, кусая гостей за ноги, встав на задние ноги, хватает в охапку девок, и мало кому повиделось, как медведь, охапив пятнадцатилетнюю хозяйскую красавицу дочерь, шепчет ей что-то на ухо, а девушка, вся заалев лицом, сперва испуганно трясет головою, отступает к изразчатой печи, тупит голову, дивно похорошев, и вдруг, пождав несколько и закусив губу, срывается с места и опрометью бежит в двери. Тут, остановя бег — не следят ли за нею? — и сжав ладонями пылающие щеки, она ждет несколько мгновений, но за шумом и гамом гульбы даже и мать, кажется, ничего не заметила! И Александра, оглянувши по сторонам, крадется по темному пере-

ходу, отворяет двери, вываливая разом, словно в воду, в нежилой холод нетопленных задних сеней, и во тьме, чуть-чуть разбавленной огоньком лампады, пугаясь до перебоев в сердце, замирает у тесовой стены.

Темная фигура в полосатом халате, пугающе недвижная, видится ей наконец рядом с большою кадью для воды, вытащенной в задние сени праздника ради.

— Ты, княжич? — спрашивает она громким срывающимся шепотом, пугаясь собственного голоса, и — промолчи он еще — готова закричать: «Спасите!» — ринуть назад, в тепло и светлоту хором. Но он отвечает тем же хриплым, трепещущим шепотом, видно, и сам весь дрожит, как она.

— Это я, Иван... Ваня... Прости меня. Я хотел... Это все Андрейка... Я хотел... Я... люблю тебя, Шура! — отчаянно решается он наконец.— Давно люблю, с первого погляда ищо!

Она молчит, низит глаза, голову. Наконец, когда уже молчание становится нестерпимым, шепчет едва различимо, одними губами:

— Знаю. Уведала сама!

Он смотрит — уже привык к темноте,— и крутая вельяминовская стать девушки, ее выписной лик, и очи, озорные и строгие в одно и то же время, чуть-чуть мерцающие в темноте, начинают дурманом кружить ему голову. Он делает шаг, другой... Откинувши шаль с лица, жарко дышит, с готовною жаждой протянув в темноту трепещущие руки.

— Не надо! — вздрогнув, угадав его движение, возражает она и, почти в голос, кричит: — Не смей!

Иван замирает на месте, с протянутыми руками, с отчаянием от своей робости и волшебной, небывалой еще близости девушки.

— Шура! — говорит он, и в голосе, надрывно ломающемся, звучит отчаянный упрек.— Шура...— повторяет он, опуская руки, и, не зная, что еще больше сказать, повторяет тихо: — Люблю тебя!

Он чует с отчаянием, что все упадает во прах, что брат зря старался для него, что неземное видение сейчас исчезнет, вильнув подолом, и ему останет с соромом выбираться из сеней, натыкаясь на слуг, а там и верно — хоть в омут головою! Она и вправду делает легкое движение, словно собираясь уйти, и тут его прорывает. Он горячо бормочет, сбиваясь и путаясь, восхваляя всеми известными ему песенными и книжными украсами ее

красоту, обещает любить до самого гроба, и даже после могилы, и не отступить ни перед чем, чтобы добиться у старшего брата ее руки.

— Я не ведаю своей судьбы, не знаю, что пошлет мне Господь в жизни сей! Быть может, даже вышнюю власть в черед за братом. Но и там, на вершине, на самой выси стола владимирского, ты будешь одна для меня на всю жизнь, на все веки, на всех путях моих и во всех помышлениях, яко звезда путеводная в ночи египетской, яко солнечный свет, яко перст судьбы, яко господень зрак над землею!

— Омманывашь, князь...— шепчет она, дурманно закидывая голову, а он приближается, приближается... И вот жаркое дыхание на ее лице, выписной, почти девичий, загадочный в темноте молодой лик... Иван наклоняется к ней, кладет руки на плечи, и — холодные упругие губы девушки прижимаются к его жадным устам.

— Пусти...— с отчаяньем шепчет она в забытьи.— Пусти же!

— Шу-у-у-ра! — доносит издалека голос сенной боярыни. «Верно, маменька послала искать!» — спохватывается она, и — вовремя. Еще бы немного, и вовсе закружилась голова. Она вырывается из тесных объятий князя, скользнув вдоль стены, исчезает, хлопая дверью. Он стоит, опоминаясь, сожидая, пока кровь, прихлынувшая к голове, успокоится хоть немного, чтобы можно было невестимо выйти на люди. Потом, осторожно приотворяя двери, выскальзывает в темноту перехода. Ряженые еще пляшут, еще гремит терем у него за спиной. А он бежит, бежит вниз по ступеням и, опустив шаль на лицо, проталкивается сквозь дворовую толпу к воротам. В нем все ликует и дрожит, он хочет пасть в снег и начать кататься с хохотом и рыданьями. Он еще ничего не понимает, не чует, не соображает и не мыслит о том, как же ему повести дело к сватовству. Он готов куда-то бежать, метаться, прыгать — у него ничего похожего не было с тою, мгновенно позабытою им первой женой, от нее осталось только одно лишь ясное знание того, что должно произойти после свадьбы, да мужская, разбуженная недолгою семейною жизнью тоска по ночам. Он сейчас, как впервые влюбившийся отрок, вспоминает и представляет себе юное тело девушки, ее запах, ее холодные губы, едва шевельнувшиеся в ответ на его жаркий поцелуй, ее тугие и нежные

плечи, за которые он держал свою любовь только что, и тайный сумрак холодных сеней, и тайну долгожданного свиданья. Теперь он жарко благодарит Андрея, толкнувшего его на этот отчаянный шаг, и, остановясь под высокими звездами, у стены собора, подняв лицо ввысь, молит Господа сотворить так, чтобы старший брат не воспротивил его любви.

ГЛАВА 50

Анастасия-Айгуста, скрываясь от мужа, болела уже давно. Семен не мог знать, что у жены одна из тех неясных даже и ныне женских болезней, обрекающих на выкидыши и бесплодие, которые в ту пору чаще всего трактовались как «порча» или «наговор», от которого женщина начинала «сохнуть» и умирала, несмотря на все заклятия и молебны, ежели не находилось какого-нибудь исключительного травника или травницы («ведуна», по-старому), умеющего излечивать эту болесть.

Увы! Знание трав и лечение ими почти никогда и нигде не преподавалось как строгая наука, не закреплялось в ученых книгах, сохраняясь и передаваясь почти только изустно, от ведуна к ведуну, и потому ниточка великих целительных знаний, протянутая через тысячелетия, постоянно рвалась за смертью, неумением или просто недостатком таланта у очередного народного знахаря.

Воротясь из Ростова, Симеон застал Анастасию уже очень плохой. Она лежала тихая и смиренная (слегла сразу же после Святок) и ежели вставала с трудом, то только чтобы в очередной раз принять мастеров-иконописцев, которые сейчас, под руководством своего старейшины Гойтана, учились мастерству и тайнам ремесла у греческих изографов, приведенных Феогностом.

Семен, увидя Настасью столь похудевшей и изменившейся, перепал не на шутку. Прежняя, нет-нет да и являвшаяся у него мысль о желанной смерти жены теперь, когда «это» подошло вплотную к их супружескому ложу, уже не приходила ему в голову. Он хлопотал, судорожно добывая то армянского врача, то заволжскую знахарку, то старцев и стариц, прославленных многими исцелениями, заказал молебен со службою во здравие болящей. Все было напрасно, и он это видел

сам, и Настасья знала, что умирает, ничуть не обманывая себя.

Она лежала, когда ее оставляли в покое, вспоминая слова родного, уже полузабытого литовского языка, вспоминала родичей, которых любила давным-давно, почему-то упорнее всех Кейстута, который сейчас, наверное, стал важный и медлительный, а прежде подкидывал ее, маленькую, на руках. Думала о его жене, Бируте, литвинке, жрице огня, прославленной, как говорили, мудростью и чистотой (она никогда ее не видела), думала и умилялась, даже до слез, хотя сама была и оставалась христианкою. Но брак этот представлялся ей как нечто чудесное, что бывает только в сказаниях и легендах и чего не было у нее самой — все-таки не было! — хотя князя Семена она продолжала любить. Она лежала и шептала про себя слова литовской колыбельной песенки, которую поют сыну в люльке, сыну, которого она так и не сумела родить! Или, быть может, сумела бы, ежели ей не покидать Литвы, ее синих озер и рек, ее голубых хлебов и влажного, густого и полного ветра с Варяжского моря?

Умерла Настасья одиннадцатого марта, в полном сознании, успев и причаститься и посхимиться. Супруга за день до того призвала к себе на последний погляд:

— Ты меня не любишь! — говорила она в рассеянном забытьи, держа Симеона за руки.— Ничего. Там ты меня полюбишь снова!

Помолчав, прибавила:

— Женишься, может быть, будут детки...— Опустив ресницы, на которых, точно мелкий бисер, проблеснули редкие слезинки, тихо попросила: — Не забывай обо мне, Семен! И церкву... чтобы моим серебром... я хочу так... Словно бы я сама!

Он был жесток. Он хотел этого. Хотел освобождения от неродимой жены, от тоски вечного взаимного непонимания (а она меж тем понимала его много лучше, чем он сам себя понимал, хоть ей всегда и не хватало слов, чтобы выразить это). Но теперь к нему зримо приблизилась пустота. Пустота освобождения от обязанностей и долга, без чего — без обязанностей и долга — не может жить и оставаться человеком человек. И он сидел, оглушенный надвинувшеюся нежданною пустотой, и плакал. Крупные слезы, стекая по щекам, падали ему на колени...

Хоронили Настасью в «своей» церкви Спаса. Пока

длилась служба, стемнело. Семен вышел один, без шапки, постоял на паперти, не замечая нищих и глядельщиков, раздавшихся посторонь. Было так, как бывает в марте: сыплет меленький снег, а почти тепло; над кровлями теремов и главами храмов — влажная чернота ветвей. Небо сумрачно, но уже крепко пахнет весной, и все три церкви, еще не оконченные росписью, окружившие просторную площадь Кремника,— величавый Михаил Архангел, осанистый соборный храм Успения Богоматери и стройная Спасская церковь у него за спиною,— растворяясь в сумерках ночи, веяли несказанною лепотой, призывая к смирению духа и глубокой вере в грядущее после нас, в веках...

Почему только в эти часы, пред отверстой могилой, начинаем мы, мысленным взором окинув невозвратно минувшее, до конца понимать меру своих утрат и достоинства тех, кто ушел от нас в потустороннее бытие?

Церковь Спаса начали подписывать в конце марта повелением великого князя Семена и Настасьиным серебром тою же артелью иконописных мастеров во главе с Гойтаном, которую пригласила покойная.

ГЛАВА 51

Тверской княжич Михаил Александрович, изредка наезжая домой, доканчивал в Новгороде четвертое лето своей учебы.

На двенадцатом году жизни он выглядел на все четырнадцать. Угловатый, с крупными, обещающими богатырскую стать руками и ногами, еще узкоплечий, еще неуклюжий, как молодой породистый пес, с быстро разгорающимся лицом и блестящими глазами, порывистый, любопытный ко всему на свете, готовый сразу после ученых занятий своих класть кирпичи и тесать камень с каменосечцами и мастерами палатного дела в Детинце, хвататься за топор с древоделями, с лодейниками на Волхове ладить и снастить корабли или, украдом сорвавшись с владычного двора, бежать в торг, часами толкаться, в обнимку с посадскими парнями, в рядах, разглядывая иноземных гостей торговых и груды выставленного на продажу многоразличного добра. И он же лихо скакал на коне, рубился на деревянных мечах,

сжав зубы и ярея ликом, с боярскими отрочатами из вятших семей с Прусской улицы, стрелял из лука, примерял в епископской молодечной кольчуги, колонтари, куяки, байданы, пансыри, латы, мисюрки, шеломы разных стран и народов. Верно, потому, что прибыл сюда восьмилетним пареньком, княжич Михайло быстро постиг новогородский навычай: не чванился перед смердами, как с равными говорил с изографами и с плотниками, с боярами и с кузнецами и скоро, как-то незаметно для себя, был принят за своего новогородскою вольницей. Звали его за глаза княжичем, а так — просто по имени, и почасту посадские отроки забегали в покои владыки звать княжича играть в альчики, свайку или лапту.

У прибывшего полтора года назад из Константинополя ученого грека Лазаря Михаил изучал греческий язык, творения святых отцов, философов и риторов древнего Цареграда, у него же пробовал учиться иконному письму. Приставленный Каликою дьякон знакомил тверского княжича с русской словесностью, а заезжий немецкий книжник учил своему языку и начаткам латыни. У восточных гостей в торгу, рано поняв, что ему будет надобиться в жизни, княжич постигал ту мешаную татарскую речь, коею изъяснялись торговцы в Сарае и по всем прочим волжским городам. Наукам духовным, священной истории и богословию учил отрока сам архиепископ Калика. И все-таки больше всего и сильнее всего обучал внука покойного Михайлы Тверского сам Великий Новгород, многошумный и буйный, воинственный и торговый, выплескивавшийся в избытке сил в грабительские ушкуйные походы на Волгу, яростно сталкивающийся на вечевых сходбищах — конец с концом и улица с улицею, прусское боярство с Торговым Полом, неревляна со Славной, плотницкие вятшие с кузьмодемьянскими,— а затем дружно, позабыв на время взаимные которы, бросающийся победоносно отражать очередной вражеский набег свеев, датчан или немецких рыцарей. Учили княжича бояре, учили горожане, полные уверенного в себе трудового достоинства, учили по-княжески знатные мастера, учили смерды, учили купцы в торгу, будоража рассказами о чудесах далеких земель. Город шумел и клокотал. По улицам то и дело перли яростные толпы. Не затихали стук и звон. В Неревском конце ухали молоты кузнецов, на Волхове шел веселый перестук лодейников, в самом

Детинце тесали камень и рубили, надстраивая и перелагая стены, башни, амбары и терема. И вечно гудел голосистыми выкриками зазывал, ржаньем, блеяньем и мычаньем пригоняемых стад, слитным шумом торгующей толпы великий новогородский торг, чей голос, с той стороны Волхова, могуче врывался в деловитую суету Детинца, не заглушаемый даже звоном колоколов и торжественным церковным пением архиепископского хора в Софийском соборе.

Когда кончались занятия греческим, а иногда и посреди них, над раскрытою риторикой или отложенным словом о Пасхе Иоанна Златоуста, Лазарь начинал по просьбе мальчика рассказывать о Константинополе, о виноградниках и выжженных солнцем горах, о голубом Босфоре, о епархии Кесарийской, в коей Лазарь некогда принял постриг, о городах и храмах далекой своей родины, и Василий Калика, иногда посреди этих бесед тихонько входивший в келью, не прерывал их, тем паче что Лазарь, коему не хватало русских слов, то и дело переходил на греческий, и отрок неволею должен был усиливаться и постигать разговорную греческую речь.

В первое лето по приезде Калика поместил княжича в училище, открытое им при архиепископии, и не без дальнего умысла — сдружить будущего тверского князя с горожанами вечевой республики. Теперь же, продолжая и углубляя учение, перевел отрока Михаила в кельи владычного дворца, приставив к нему особых, нарочитых в своем деле учителей. Мальчик зубрил статьи законов — «Номокануна», «Русской Правды» и «Мерила праведного», читал летописи, учился счету и красивому письму, церковному пению по крюкам, присутствовал на всех службах архиепископа, подчас помогая своему наставнику и духовному отцу в качестве иподьякона. Неволею Михаил являлся свидетелем многоразличных трудов Василия Калики: церковного суда по имущественным и семейным спорам горожан, владычных заседаний с посадником и вятшими, хозяйственных забот обширного владычного двора, посольских сношений с немцами, готами и свеями, пересылов с Ордою и низовскими князьями... Впрочем, Калика почти ничего и не скрывал от отрока, справедливо полагая, что правда поучительней лжи, а истина, даже печальная, больше способна вызвать уважения к себе, чем любой самый благой и красивый вымысел. Так что отроку нежданно доводилось присутствовать при разговорах, которые, начавшись видимой

мирной беседой, оканчивались мятежом, кровью, нахождением ратей и даже сугубым разорением Новгородской волости.

Палаты архиепископа в Детинце стояли в ту пору на том же месте, что и сейчас, только еще не было каменного их основания, воздвигнутого Евфимием, ни Грановитой палаты. Детинец лишь недавно сменил свои прежние бревенчатые стены на каменные, все еще достраивавшиеся, хотя одновременно с ними только что возвели обширную каменную церковь Благовещения на Городце, в княжеском подворье под городом, на правой (Торговой) стороне Волхова, а нынче по весне, сразу после Пасхи, заложили сразу две каменные церкви в самом городе: Козьмы и Дамиана на Кузьмодемьяне улице и порушенную во время пожара Святую Пятницу на Торгу. Одновременно крыли новым свинцом кровли храмов, горшечники обжигали зелено-голубую черепичную чешую для куполов. Город рос, вместо сгоревших хором воздвигались новые, выше и роскошнее прежних, городские концы выплескивались за черту старых стен, возникали пригороды — заполья, и сердце этого большого могучего тела билось на Торгу и здесь, в Детинце, в многоярусных палатах владыки.

Келья, в коей Михаил занимался под руководством Лазаря греческим языком, окнами выходила в сторону сада — тишины ради, ибо на дворе владычных палат, меж ними и собором Софии, весь день кишела и кипела толпа духовных и мирян, слуг и служек владычного двора, монахов и кметей, молодших и вятших, мастеров, пришедших с работою или для работы, и бояр, коим нужда была посоветовать с архиепископом.

Лазарь был чистокровный грек, без примеси восточной или армянской крови, и потому вовсе неотличимый лицом от русичей: такой же светлокудрый и голубоглазый. Ему уже было около шестидесяти, и крепкие морщины лица и лба не очень давали ошибиться в возрасте старца, но в волосах еще почти не проглядывало седины, стан был прям, походка легка и быстра, телом грек был сух и крепок, как будто бы, достигнув возраста зрелости, замер, остановившись в дальнейшем старении телесном, и продолжал отныне пребывать в нетленном состоянии бодрой старости. Лазарю (впоследствии основавшему монастырь на суровом северном озере Онего, на Мурманском острову, вдали от жилья, и посмертно канонизированному) суждена была долгая жизнь — он

умер ста пяти лет от роду. С Василием Каликой их свело тайное родство душ, которое сближает иногда паче уз родины и крови. Лазарь прибыл в Новгород, чтобы списать лик новогородской святыни — иконы Софии Премудрости и составить описание храмов и монастырей Великого Новгорода для епископа кесарийского, желавшего укрепиться духовным благословением русской церкви. Впервые встретив Лазаря, архиепископ Калика поклонился ему до земли. Старцы, оба легкие, оба не от мира сего, божьи странники на нашей грешной земле, почуяли в одно и то же время, что в скитаниях земных счастливо нашли один другого, и больше уже не разлучались до самой смерти Василия, тело которого Лазарь сам одевал в погребальные ризы и полагал в гроб...

Михаил сидел за налоем у распахнутого окошка. Шум города, смягченный отстоянием, стенами и деревьями сада, долетал сюда приглушенно. Он все повторял и повторял одну и ту же фразу, никак не справляясь с придыхательным греческим звуком перед гласною, чуждым русскому языку. Лазарь, просматривая сделанную им вчерне опись монастыря на Хутыне, слегка улыбаясь, слушал спотыкающуюся речь отрока, угадывая, как неохота тому недвижно сидеть здесь, вместо того чтобы, забросив книги, устремить на улицу или в Торг.

— Достоит токмо тихонько убрать язык к тому, где горло, где твоя пасть,— нет, пасть это у зверя,— где зев, и тогда молвить слово. Внимай! — Лазарь, все так же улыбаясь, вымолвил вдруг несколько складных, точно бы на музыку положенных и баюкающих слух строчек, где ухо княжича уловило лишь некоторые понятные слова: «морок», «юный», «заря»...

— Что это? — вздрогнув, спросил он. Музыка стихов еще, казалось, звучала, замирая, в тишине покоя.

— Это Омир, сказ о войне Троянской! — задумчиво отозвался Лазарь и, по вспыхнувшим глазам юноши поняв молчаливую горячую просьбу, начал, полузакрыв глаза, читать по памяти льющиеся древние стихи, а Михайло, забыв обо всем на свете и почти не понимая слов — лишь некоторые известные речения доходили до сознания, образуя как бы тоненькую ниточку смысла в потоке неведомой красоты,— забыв и о сверстниках, и о желанной только что толчее торга, слушал не шевелясь и боясь только одного, что Лазарь прервется и льющийся неторопливый строй речи замрет, отойдя в ничто. Он шептал, повторяя известные ему слова,

и у него как-то само собою получилось наконец сложное эллинское придыхание, сперва в слове «т(х)аласса», что значило по-гречески «понт», иначе — «море».

Лазарь наконец остановился, открыл глаза, в коих проблеснула, замирая, далекая грусть, столь понятная в этот миг отроку. Сколь давно, еще до появленья Христа, жил этот Омир или Гомер, слепой певец, описавший подвиги троянских героев!

Омировы сказанья, «Александрию» и «Девгениевы деяния» Лазарь читал с княжичем отдыха ради, дабы не перегружать отрока чрезмерною труднотою и не отбивать с тем вместе охоты к научению книжному.

Теперь Михайло, краснея и запинаясь, вновь, но уже с усердием, повторял прежний греческий текст, и трудные звуки раз за разом все более начинали получаться у него.

Неслышно, едва скрипнув дверью, вошел Калика в своей обиходной ряске, не выделявшей его из среды простых иереев, невысокий, подбористый, ясноглазый, в облаке своей, словно пронизанной светом, тоже легкой, сквозистой бородки. Улыбнулся Лазарю, с удовольствием приветствовав по-гречески учителя и ученика. Причем отрок заметил, с вредною радостью школяра, что владыка Василий тоже не в ладах со злосчастными греческими придыханиями. Впрочем, ему тут же пришлось забыть про все придыхания на свете и раскрыть рот, ибо речь пошла о том, о чем в те годы спорили и рассуждали едва ли не все образованные иерархи православной церкви,— о непознаваемом существе божием, энергиях, свете фаворском и пресловутой византийской пре Григория Паламы с Варлаамом и Акиндином, которая в мирском преломлении своем означала одно: быть или не быть в дальнейшем церкви православной на земле?

Разговор начался со вскользь брошенного Каликою замечания о живописи и о том, что фряги нынче почали писать иконы по-новому, святых — яко живых людей: мужей, жонок и смердов, в обыденных портах и среди обычного, окрест зримого земного бытия.

— Мир мыслят тварным и созданным, а Господа — надмирным и непостижимым смертными очами! И не видят связи меж тем и другим,— со вздохом присовокупил Лазарь и продолжал, за нехваткою слов то и дело переходя на греческий: — Потому и изографы латинские почали изображать токмо зримое тварное бытие, ибо,

по учению Варлаама, сходственному католическому, Бог токмо надмирен и непостижим, а все озарения старцев афонских — лишь их собственные видения, тени и символы, а отнюдь не лицезрение света фаворского. Мню, древнее письмо иконное, в коем отражены не вещи, но сути вещей, не тленное, а токмо нетленное и духовное, выше и ближе к Господу! И здесь, в Великом Новгороде, с радостью зрю я иконы местного письма, в коих виден тот же духовный огнь, о коем речет старец Григорий Палама. Ибо не токмо надмирное и невещественное и не токмо тварное и вещественное пребывают в мире, но и энергии, как учит старец Палама, третья ипостась мира! Энергии, истекающие от Господа и пронизывающие наш, тварный мир! Свечение этих энергий как раз и доступно ви́дению старцев афонских, как и мудрому оку изографа!

Мню, по слову Паламы, что энергия божества, пронзая весь этот тварный и разноликий мир, как раз и съединяет его единым смыслом и единою сущностью своею!

Отрок Михаил, изо всех сил стараясь усвоить сказанное, даже вспотел от усилий, запоминая мудреные понятия «трансцендентный» и «имманентный», эквивалентов коим еще не было в ту пору в русском обиходном языке.

— Владыко! — решился подать голос тверской княжич.— А старец Григорий Палама... он что, первый стал... понял о свете фаворском?

Лазарь ответил за архиепископа, отнесясь к отроку серьезно, без улыбки и небрежения:

— Первым был Григорий Синаит, что еще в начале нашего века учил старцев афонских молчаливой молитве, исихии, его же наставления мы с тобою чли на прошлой неделе! Но до него тому же учили Василий Великий, Григорий Нисский, а такожде Григорий Богослов, Дионисий Ареопагит, Максим-исповедник и иные многие. Искони свет истинного православия неразлучен с исихией. До́лжно бы сказать, что старец Палама не иное что измыслил, но возродил, сохранил и свел воедино древлюю православную мысль, не угасавшую в церкви греческой с первых веков христианства!

— Беда! — вздохнув, присовокупил Калика, присевший, пригорбясь, на краешек скамьи.— Как малым сим объяснить, что Господь вокруг нас, во всем зримом и тварном и в нас самих заключен! Как изъяснить им

закон любви к ближнему своему! Ежеден повторяю им: «Если не спасешься сам, и Бог не спасет!» — а всё втуне; мыслят свечку поставить и тем откупиться от греха... Нынче опять Торговый Пол встал на Прусскую улицу, и мои неревляна такожде не имут мира с братьею своей! Како мыслит старец Григорий Палама об устройстве общинном? Поди, отвергся суеты той?!

— Напротив! — живо возразил Лазарь.— Старец сам воспретил своему ученику Филофею Коккину, митрополиту гераклейскому, оставить поприще и удалиться в келью, на Афон, сказав: — «Да не возжаждет сего!»

Василий Калика воздохнул, повторивши:

— Да не возжаждет имущий власть общинную удалитися в монастырь от дел градских! — И еще раз повторил, понурясь: — Да не возжаждет...

И Михаил вдруг с острой жалостью понял, постиг, едва ли не впервые, сколь трудна для владыки, коего он незаметно успел полюбить, точно родного отца, его хлопотная и многообразная власть над своевольным городом.

Лазарь начал по памяти пересказывать гомилию Григория Паламы, где толковалось о том, что люди изобрели деньги лишь с тем, чтобы с удобством обмениваться плодами своего труда, и что токмо скупцы и ростовщики, сбирающие богатства ради богатств и грабящие других, истинно презренны и вредны обществу: «Вредоносно отнюдь не само по себе богатств скопление, можно быть и богатым, подобно Аврааму, но, имея доброе сердце, спастись»...

— Горе мне в Новгороде Великом! — подал голос Василий Калика.— Серебро дают в рост и емлют лихву, аки кровопивцы несытые, а и меньшие таковы ж: на пожарах грабительство учиняют; даже и церкви божии, Господа не боясь, ни Страшного суда, грабительством разбивали, с кровью и студом велиим! Я уж велел и попам в проповедях осуждати лихву взимающих и у причастия и на исповеди корить и стыдить оных! Горе городу, в коем брань междоусобная!

Именно на этих словах Калики за дверью раздались тяжелые шаги, и крепкий кулак постучал в тесовое полотно.

— Дозволишь взойти, владыко? — произнес густой голос, и широкий в плечах, осанистый боярин в летнем шелковом опашне, в прорези которого были выправлены

белые, сборчатые, отделанные серебряным кружевом рукава, и с золотою цепью на плечах вступил в палату. Келья разом показалась тесна для его богатырской стати. Княжич Михаил узнал Остафья Дворянинца, нынешнего посадника новогородского.

Остафий отвесил низкий поклон Калике, словно бы одарив архиепископа, коротким наклоном крутой шеи приветствовал Лазаря и усмешливым движением глаз и бровей — тверского княжича, после чего гулко возгласил:

— Прости, владыко, что ворвался, яко ворог какой али тать, нарушил и прервал труд твой духовный! — Он приодержался, свел брови хмурью, не докончив ученого речения, и, словно топором отрубив, сказал: — Чернь бунтует, владыко, пакости не стало б! Уже и Великий мост переняли! И неревляна твои туда ж... Выйди, утишь!

Он вдруг, нежданно для Михаила, рухнул на оба колена и земно поклонил Василию. Потом грузно встал и замер, опустив голову, сожидая решения духовного хозяина города.

— Почто ж, Остафеюшко, не можно их посадницьим судом обуздать?

— Не хотят меня, владыко! Целая пря встала!

— Знаю, Остафеюшко, знаю! Ты ить противу князей литовских, а они, вишь...

— Дак я, владыко, и на вече не таясь молвил: почто Наріманта созвали на пригороды новогороцки?! Ни защиты от его, ницего, един раззор! Цем с има, дак лучше с москвицями дело иметь! Низовськи князи на цьто? А про Ольгирда и тебе скажу, и всем — прямой пес! Не поймешь, кому мирволит. Плесковицам не помог, а в чуди мятеж вста на немчи, дак Ольгирд ихнего воеводу убил, «божьим дворянам» помочь учинил, опосле того чудинов от немечь четыренадесят тысящ душ трупьем легло, эко! И на наши волости, пес, зубы точит!

— Эх, Остафеюшко, возможно, ты и прав, а на веце баять о том не стало б тоби! — в сердцах вымолвил, качая головою, Калика.— Уж коли и мои неревляна противу тя исполчились, и я не спасу! Однако выйду к има, выйду, Остафеюшко! На Великом мосту, баешь?

— На Великом, владыко. В оружьи стоят!

— Ты пожди тамо да Кириллу скажи, собрал бы причт церковный!

Остафей, грузно поворотясь, все тем же тяжелым

шагом воина покинул покой. (Год спустя, во время Ольгердова нашествия, он был убит разбушевавшейся чернью.) Лазарь вышел следом, а Калика, вставши посреди покоя, на миг прикрыл руками лицо.

— Воззри, Михаиле! — сказал он со страданием в голосе.— И ныне и паки брань, и брань, и брань! Возрастешь, с господнею помочью получишь стол тверской, огляни добрым оком на наше пребезначалие!

Михаил встал и сделал лучшее, что мог в этот миг,— горячо и молча приник к руке наставника.

«Хоть сей не забудет меня!» — подумал Василий, оглаживая кудри тверского княжича. Вечная пря и смуты родного города порою, как нынче, приводили его в безысходное отчаяние, в коем он готов был произнести те вещие слова, что полтора века спустя, пред лицом гибели Новгорода Великого, произнес другой иерарх новогородский: «Кто мог бы попрать таковое величество града моего, коли б зависть и злоба гражан его не осилила и брань междоусобная не сгубила!»

ГЛАВА 52

— Брат, зачем ты убил того латыша, который поднял мятеж в чудской земле? Он пришел к тебе с войском, протянул дружескую руку, предлагая объединить силы — вся Латгалия и земля эстов были бы нынче у наших ног! Вместе с ними мы бы нынче покончили с Орденом! Брат мой, Ольгерд, зачем ты срубил ему голову?!

Чаши стоят на столе и темное пиво в расписном заморском кувшине, но никто не пьет. Кейстут — потому, что не пьет Ольгерд, а Ольгерд потому, что он не пьет ничего, кроме ключевой воды.

— Не те слова молвишь, Кейстут! — отвечает он брату, подрагивая щекой.— Ты же рыцарь, Кейстут! Я не мог стерпеть, что латгальский холоп лезет в князья и становится в ровню мне, Ольгерду, Гедиминову сыну! Кровь заговорила во мне, наша литовская княжеская кровь! И не кори меня больше! Неве́сть куда повернули бы мятежные эсты с латгальцами! Они убивали всех подряд! Не должно холопу зреть на своем топоре кровь боярина или рыцаря! У нас у самих холопы, Кейстут! И не кори меня больше! Я пришел к тебе не для того, чтобы вспоминать прошлое, хотя бы и прошлую кровь! Я прискакал сказать, что уже пора, ратники пойдут

за нами, куда бы мы ни повели их теперь, и ты сам доказал делами, а не словом, что достоин высшей власти! Пора брать Вильну, Кейстут! Пора, не то будет поздно! Латинские попы уговорят Явнута сдать ее без бою богемскому королю или Ордену!

Кейстут поднял на брата тяжелый взор, промолчал.

— Ты долго ждал, Ольгерд! — сказал он, помедлив.— Жемайтия стонет от немецких набегов. Ты долго ждал, Ольгерд, и поссорил нас со всеми вокруг! Поляки и угры против нас, и владимирский князь Симеон тоже ворог тебе после того, как ты пограбил его волости! Ты не помог Плескову, и они отшатнулись от тебя! Латгалия усмирена и подчинена Ордену! Что скажешь, Ольгерд? Чем уравновесишь ты весы времени, на коих лежат наши с тобою княжеские головы?

— Я брошу свой меч на чашу этих весов, Кейстут! Теперь не время слов, время дел! Пора брать Вильну!

Нервное худое лицо Кейстута побледнело еще сильней.

— Хорошо, Ольгерд,— сказал он,— я поведу своих воинов на Явнута! Но поклянись и ты, что не порушишь вовек нашей с тобою присяги!

Замок в Троках тонул в темноте, когда высокий, закутанный в корзно воин, по всей повадке господин, а не вассал, садился на коня. Кучка молчаливых кметей окружила его, и скоро глухой топот копыт растворился в предутренней тьме.

Никто так и не узнал ночного гостя, никто не ведал, о чем говорил тот с хозяином. Даже Бирута не ведала ничего. На этом настоял Ольгерд. И ратники, которых назавтра стал созывать Кейстут, мыслили лишь о возможном походе на немцев или отражении очередного рыцарского набега.

Виленский замок весь светится огнями. В большой гостевой палате идет пир горой. Дружинники на дальних столах орут песни, бояре встают, подымая чары в честь князя. Явнут, сияющий, в меру хмельной, царит за столом. Немецкие гости чинно сидят по левую руку, дружно налегая на печеного кабана, что целою тушей, теперь уже наполовину разобранной, высится в середине пиршественного стола. Рекою льются вина, мед и ячменное пиво. Кубки и чары гуляют по кругу, виночерпии сбились с ног. В палате душно, два-три отворенных

в зимнюю ночь слюдяных окна не дают прохлады. Жарко пылают дрова в огромной печи, с вертящихся вертелов, шипя, капает сало, и огонь вспыхивает светлыми прядями.

Дородный прелат, поднявшись со скамьи и отнесясь чарою к Явнуту, велеречиво поздравляет литовского князя, желая Явнутию скорейшего приобщения к истинной римской католической церкви и с тем вместе — утишения браней и нелюбия в литовской и ливонской землях. Бояре слушают вполуха, иные и фыркают недовольно, зане всем ведомо о соглашении Ордена с императором Людовиком Баварским, по коему исконные земли Литвы отдавались Ордену как «языческие». Кое-кто, впрочем, внимает вдумчиво. Многих успело уже коснуться упорное проповедание Христовой веры епископами, прелатами и патерами из немецких, польских и богемских земель.

Прелат уселся, довольный собою, поерзал, готовясь вновь приняться за трапезу. В это время в палату вошел Наримант. Непривычно озабоченное лицо брата прежде всего бросилось в очи Явнуту.

— Выйди на погляд! — позвал Наримант брата.

Явнут встал, качнувшись,— пиво и красное фряжское ударили ему в голову.

— Кто стережет ворота? — спросил Наримант вполголоса.— Под городом неспокойно, сейчас прискакал кметь.

— Немцам быть не должно! — отозвался Явнут. Не столько слова, сколько звук голоса и выражение лица брата заставили его отрезветь.

— Пошли в сторожу кого-нибудь! — попросил Наримант. Явнут дал знак конюшему, и тотчас запасные дружинники с нижних столов, пошатываясь и недовольно ворча, начали выбираться из-за столешен, гремя оружием, и, нестройно топоча, опускаться по широким лестничным ступеням во двор, где ржали оседланные кони, готовясь унести седоков от пира и хмеля в настороженную холодную ночь.

Пир, впрочем, продолжался и по уходе сторо́жи. Все так же гремели песнями нижние столы, все так же дружно налегали на угощение немцы, презрительно слушая грубую для них литовскую речь, и, подобострастно подымая кубки, приветствовали Явнута, воротившегося за столы. Виленский князь сидел, скинув верхнее платье, и продолжал пить, стараясь вернуть себе прежнее

беззаботное настроение. Но что-то мешало. Наримант, ушедший проводить сторожу до городских ворот, все не возвращался назад. Пора было кончать пир. Он хлопнул в ладони, поднялся. В опочивальню его отводили под руки. Холоп стянул сапоги с Явнута. Князь прилег, слушая отреволженную ночную тишину. Какой-то неясный шум накатывал оттуда, из уличной темноты... Внезапно раздались крики, звон и лязг оружия, ржанье коней. Он поднял голову, застыл, мутно соображая, и вдруг вскочил, разом понявши беду. Немцы, застрявшие в замке, горохом выпрыгивали в окна, позабыв степенность и спесь, бежали к коновязям. Бояре выбегали полуодетые, вразброд хватаясь за оружие. Явнут в одной рубахе и босиком, как был, сорвавшись с постели, пробился сквозь испуганную толпу холопов на сенях, выскочил на верхние переходы. Двор уже был полон воинами Кейстута. Явнут пробежал переходами к городской стене, затравленно оглянул назад и ринул вниз с заборол, в провал, во тьму, больно ободрав о колючий снег руки и ноги, окунулся с головой в сугроб, выкарабкался из него, побежал, задыхаясь, понимая, что уже никуда не убежит, и все-таки бежал прочь, уходя от города, не чуя холода ночи, не чуя, что он бос и наг.

К утру, ознобившего ноги, едва живого, его подобрали в Турьих Горах воины Кейстута и отвели назад, в Вильну. Пригороды и замки столицы к этому времени уже все добровольно сдались Кейстуту, отворив ворота его дружинникам. И Кейстут, хмуро поглядев на брата, велел заключить его под стражу, растерев салом отмороженные ноги, одев и накормив, и тотчас отправил гонца в Крево, к Ольгерду, стоявшему там с ратью, выжидаючи вестей, чтобы шел, не медля более, и сел на великое княжение, которое Кейстут, захвативший Вильну, добровольно, по прежнему соглашению, уступал брату.

Явнутию братья, посовещавшись, назначили для жительства Заславль-Литовский, откуда он, впрочем, тотчас убежал, «перевержась через стену», и с невеликою дружиной своей поскакал в Смоленск. Не добившись у смолян помощи, Явнутий перебежал на Москву, где великий князь Семен крестил его с дружиною в православную веру. Наримант в те же дни убежал в Орду, где напрасно просил помочи против брата, и в конце

концов вместе с Явнутием смиренно воротился назад, в Литву.

Больше с Ольгердом никто не посмел, да и не захотел спорить. Литва получила себе умного и сильного князя, и это, до поры, удовлетворило всех, ибо еще не настала пора споров и ссор, дележа добычи и борьбы самолюбий, всего того, что обычно приходит с успехами и упрочением власти, сталкивая друг с другом во взаимной борьбе вчерашних соратников и победителей.

ГЛАВА 53

Церковь Спаса начали расписывать в апреле. Симеон сам, молчаливо возложив это на себя как посмертное воздаяние супруге, надзирал за работами, подолгу простаивал в церкви, следя, как день ото дня из отдельных нашлепок сырой штукатурки все явственнее проступает очерк будущей росписи. Гойтан с дружиною недаром учились у греков. Их живопись, выгодно отличаясь сановитостью и потребною храму крупнотой, хранила в себе тем не менее все ту же свежесть отроческого взгляда на мир, что и работа Захарии с дружиною, которые по весне вновь принялись за свой труд и уже заканчивали южную и северную стороны храма.

Ни бояре, ни Алексий не тревожили его в эти первые недели вдовства. Но как-то уже в начале лета, когда стало мочно снять траур по покойной, на очередное заседание думы бояре явились необычно торжественные, все в полном числе, и Симеон скорее кожею, нервами, памятью одиноких ночей, нежели умом догадал, о чем с ним намерены толковать его седатые советники.

Начал Андрей Кобыла:

— Княже! Недаром пословица молвится: дом без хозяюшки — сирота! — густо возгласил он, и лицо Симеона начал заливать лихорадочный румянец.

— Ты еще молод, князь,— подал голос Иван Акинфич,— и нам, боярам, забедно зрети твое вдовство!

— Женись, княже, Господь да благословит тя наследником, а нас господином! — добродушно подхватил Михайло Терентьич.

Василий Протасьич тоже веско склонил голову, примолвив:

— И невеста на примете добра — дочь князя Федора Святославича, Евпраксея.

— Дому утешение, а княжеству помога! — подхватил и Феофан Бяконтов.— Федор Святославич роду князей смоленских, а к Москве привержен искони, понеже еговый батюшка из руки покойного Юрья Данилыча на брянский удел ставлен! Достоит тебе породнитися с им в ущерб Литве!

Василий Окатьич тоже склонил голову, присовокупив:

— Согласно, думою мыслили, княже, не обессудь!

Афиней, с противоположной лавки, осторожно добавил:

— И братьев твоих достоит женити, заждались молодцы!

— Князев приплод княжеству не в убыток! — добродушно пошутил Андрей Кобыла и тем снял напряжение со всех. Расхмылились многие, и сам Симеон бледно улыбнулся в ответ Андрею.

Дорогобужский князь, и верно, ходил в подручниках у Москвы (брата его не так давно убили в Брянске вечники). Отец князя Федора, Святослав, приходился двоюродным братом нынешнему смоленскому князю Ивану Александровичу, и у Москвы была постоянная надежда «всадить» кого-нибудь из Святославичей на смоленский стол, понеже князь Иван имел ряд с Гедимином и упорно тянул к Литве, несмотря на все старания покойного родителя. Но думать о браке с дочерью Федора до днешней поры Семену как-то не приходило в ум.

Он обвел глазами палату. Бояре кивали, коротко или велеречиво повторяя уже сказанное. Действительно, думою решали! Симеон отмолвил, что примет к сердцу совет бояринов своих и помыслит о сем с духовным отцом Алексием и митрополитом Феогностом. Бояре удоволенно покивали головами. С Феогностом и Алексием было уже говорено, и посему слова князя означали полное согласие. Перешли к насущным делам.

Жаркими июньскими ночами Симеон и сам чуял, что надобно ему искать новую жену. Невесть почему он брезговал податливыми холопками, к тому же испытывал смутную вину перед дочерью, которую в эти месяцы старался особенно привечать, и потому перемогался в строгом одиночестве вдовой своей постели. Меж тем вновь ощутимо сгущалась гроза на западных рубежах, и союз хотя с одним из князей смоленских был бы ныне очень и очень кстати. Никогда не видавши

невесты, Симеон дал согласие на брак и послал сватов.

Опять же по совету бояр Симеон сыскал невесту для младшего брата, Андрея — Марию, Машу, дочь галицкого князя Ивана Федоровича. Ярлык на Галич, купленный покойным Калитою, Москва пока прочно удерживала в своих руках, но все же опас поиметь стоило. Женившись на Маше, Андрей тем самым в грядущем получал известные права на галицкий стол. Андрей по своему почину поехал со сватами глядеть невесту и воротился довольный — Маша приглянулась ему.

Теперь следовало женить вторым браком Ивана, коему прочили было муромскую княжну, но тут вокруг Симеона начались шепоты и умолчания. Иван ходил потерянный, точно опущенный в воду. Тысяцкий Вельяминов по времени как-то странно взглядывал на великого князя. Загадка разрешилась буднично просто — невзначай брошенным одною из сенных боярынь словом.

Услышав, поняв, Симеон долго не мог взять в толк. Иван и Шура, дочка Вельяминовых? Он вызвал брата для разговора с глазу на глаз и тут, видя, как краснеет и бледнеет Иван, понял наконец, что дело створилось нешуточное.

— Когда?! — невольно ярея, вопросил он. Иван стоял перед ним упрямый и жалкий, бормотал:

— Святками... слово дал...

— Кому?!

— Ей! Сашеньке. Шуре...

— Вон! — рявкнул Семен, и Иван, всхлипнув, исчез.

Беспричинное бешенство овладело Симеоном. Почему, почто именно ему, Ивану, само собою достается все то, о чем он, Симеон, может только мечтать? Ему, Симеону,— княжеский брак по расчету и приговору бояр, а Ивану — опрокидывающая все расчеты любовь! Та самая любовь, которой был о сю пору лишен Симеон и о которой украдкой мечтал, не признаваясь в этом ни батюшке, ни даже самому себе. И чья любовь! Красавицы, умницы — Шуры Вельяминовой!

Он еще яростно мерял шагами тесный спальный покой, когда дверь отворилась и перед ним, без зова, предстал плечистый и румяный Андрей, благополучный жених галицкой княжны.

— Ты что? — набычась, буркнул Семен.

— Ето я их свел! — брякнул Андрей, невступно и смело глядя в очи великому князю.

— ?! — молча воззрился на него Симеон.

— Любят друг друга, дак потому! — пояснил брат, не опуская очей.

Симеон молчал, сопя. Андрей тоже молчал, переминаясь. Примолвил тихо:

— Ване без Олександры не жисть.

Сейчас и не брат, и не князь, а два мужика, задетые в том самом кровном и стыдном, из-за чего яростно сходятся в кулачном бою, стояли друг перед другом.

— Ступай, сводник! — глухо отмолвил Симеон. И уже не глядел, пока за братом не захлопнулась дверь.

Еще одна одинокая жаркая ночь... Семен потел, откидывал одеяло, многажды вставал испивать квасу, глухо, яростно бормотал: «Любовь!» Но ярость тотчас сменялась грустью: да, любовь! И не для него уже, а для них... всех прочих... А он должен жертвовать собою за други своя... И уже далеко за полночь ему в ум пришла наконец благая (и верная!) мысль: а чем, собственно, не невеста Ивану дочь Вельяминовых? Ивану, который, ежели у него, Симеона, не будет сыновей, должен наследовать великий стол! А ежели будут? Теперь-то могут и быть! Не лучше ли, не спокойнее ли станет ему самому, ежели дети Ивана родятся не от княжны, а от боярыни? Не меньше ли возникнет зависти, споров и возможной борьбы за великокняжеское достоинство меж его и Ивановыми потомками?

Мысль была не своя. Отцова. Умная, но недобрая мысль. С заглядом вдаль и с тайным умыслом. И Симеон, осознав вся тайная тайных согласия своего на брак Ивана с Шурой Вельяминовой, сжал зубы, поморщился и даже головой покрутил — гадок стал он самому себе в этот миг! А инако поглядеть: сим браком укрепит он навечно Протасьев род, наследственных тысяцких Москвы. Мочно станет не страшить ничьих происков, и Алексей Хвост становит более не страшен для Василья Протасьича. И почему, почто не породниться ему, в конце концов, с Вельяминовыми? Хотя бы так, через брата своего! И опять же невступные очи Андрея: любят друг друга!

Уже где-то к утру он сдался, вконец измученный и, пробормотав: «Быть по сему!» — уснул.

ГЛАВА 54

Симеон не желал для своей второй женитьбы пышных празднеств, но скоро понял, что ход событий ему уже не подвластен. Надобно было поддержать честь великого княжения, надобно было не уронить и чести Москвы, надобно было, наконец, оказать уважение смоленскому княжескому дому. И хотя сердце подсказывало ему, что добра от этого брака не жди, поделать Симеон уже не мог ничего.

Возами везли из деревень снедный припас, песельниц приглашали аж из Владимира, венчать молодых должен был сам митрополит Феогност, и свадебные торжества затеивались на всю столицу. Послы и сваты скакали опрометью туда и обратно, приезжал сам отец невесты, Федор Святославич, бояре обсуждали брачный ряд (будущему тестю давался Симеоном в держание Волок Ламской). И вот подошло, подкатило...

И все было как тогда, в первый раз: жара, теснота праздничного платья, толпы распаренных радостных невесть от чего людей, а он сам даже и того, прежнего, томительного ожидания тайны не испытывал совсем в этот раз и только, потный, страдающий, томился и ждал конца.

Еще когда праздничный свадебный поезд на разубранных лентами конях с бубенцами подъезжал ко крыльцу теремов, а Симеон выглядывал в верхние окошка, с ним произошло нечто удивительное и даже страшное, чего он потом никак не мог себе объяснить. В толпе поезжан показался ему странно знакомый кметь. Странно, потому что Симеон, вообще памятливый на лица, не мог бы признать ошибкою кого из незнакомых ему людей Федора, свои же, усланные за невестой, были все наперечет, и, кроме того, кметь, в отличие от прочих, не был перевязан свадебным полотенцем, хотя тоже хохотал, вернее — лыбился, обнажая острые зубы, да и был он какой-то серый, студенисто-серый на вид и мелькал в толпе, появляясь то там, то здесь и исчезая — то ли двоясь,— так, как бывает, когда слезится взор и то, что видишь, раздваивает слегка.

Невесту выводили из возка под руки, почему-то в тот миг открытую, и гридень... Почему гридень?! А он уже тогда твердо знал, что этот странно знакомый ему кметь именно гридень из охраны дворца, и никто

иной, и даже... даже... Почему он не может его вспомнить?! А уже мертвый ужас мурашками проползал по коже и шевелил волосы на голове Симеона, ибо он наконец вспомнил! Вспомнил, хотя мысленно кричал: «Не хочу! Не хочу! Не хочу!» — в этот миг увидевши убитого, окровавленного княжича Федора, лицо которого, почему-то с отверстым в крике ртом, мелькнуло у него перед очами и тотчас сменилось тем, узнанным наконец («А тебе, князь, тута не страшно?» — и эти нелепо смаргивающие, снизу вверх, глаза...) — как же его звали, как? Филька Крюк? Нет, нет! Нет... Только не Крюк... Игнат! Вота как! Игнашка Глуздырь! А убийцу евонного так и не нашли потом... Дак постой! Он же... мертвый?! Симеон, почуяв подступающую дурноту, побелевшими пальцами впился в переплет окна, выговорил: «Боже мой!» — сморгнул, и гридень, подойдя вплоть и словно бы слившись с улыбающейся смоленской княжною, исчез.

Семен, опоминаясь, отирал холодный пот с чела. Видимо, переволновался, ожидаючи, да и мыслил о нехорошем, вот и попритчилось ему сквозь неровные желтоватые пластины слюды, через которые и так-то поглядеть — все блазнит и двоит перед глазами!

Невесту как следует он увидел только за столом (в церкви, когда стояли перед аналоем, так и не понял, какая она). Евпраксия была невысокая ростом, крепенькая. От нее пахло душновато чем-то — не понять было чем,— и он решил, что это запах иноземных притираний и тканей и сойдет, окончит с миновением свадьбы...

Вновь надо было кормить друг друга, вновь затыкали иголки в подолы, сыпали льняное семя — от сглаза, осыпали рожью, вели в тесную «холодную», где было и душно и пыльно, на высокую постель из снопов. Симеон даже и для виду не разделся, только позволил Евпраксии стащить с себя сапоги, в которые были насованы сватами золотые корабленики. Повалился на рядно сверху, на скользкие, чуточку прохладные снопы. Искоса глянул на озадаченную молодую, что было нерешительно потянула саян через голову...

— Не нать! Выходим скоро... Приляг...

Евпраксия, опершись на его протянутую руку, живо вскарабкалась на постель, замерла рядом, обиженная и недоумевающая. Потом нерешительно положила ему руку на плечо.

— Оставь! — выговорил Семен нехотя.— Придут...

Она покорилась, фыркнув и уткнув лицо в подушку, пошмыгала носом. Тяжелый сладковатый запах ее пота раздражал Симеона.

Наконец снаружи в дверь кинули с размаху глиняный горшок. Симеон с облегчением привскочил, сторонясь молодой, спустил ноги с постели. Сам натянул сапоги. Она, стоя у него за спиною, торопливо приводила себя в порядок. В дверь опять с треском ударил рассыпавшийся на куски горшок. Пора было выходить.

Сваха забежала, едва он успел отворить дверь, и скоро вышла растерянная, в недоумении. По толпе нарочитых гостей потек шепоток, и Симеон поймал краем уха:

— По-стариковски-то, так, в перву ночь и не спят с молодой! Ето уж, конешно, мало кто выдержит, нонешние-то нетерпеливы вси!

«Оправдали!» — подумалось ему с раздражением. Того, что он просто отодвинул от себя нежеланную ночь, никто из них и помыслить себе не мог...

Почему брат Иван волен выбирать и жениться полюби, а он должен в угоду ордынскому хану — дабы у того Литва не отобрала Смоленск — спать с нелюбимой и неприятной для него девушкой?! — сто раз, вновь и вновь, спрашивал Семен у самого себя и не находил ответа.

Они вновь сидели за пиршественным столом, пьяные гости славили молодую, творилось уже неведомо что, черноволосая Евпраксия выжидательно и, как казалось ему, излишне смело взглядывала на своего венчанного князя, а он — он мыслил только об одном: что неотвратимо приближает и приближает к нему нелепая брачная постель и все — подметание пола дорогобужской княжной под хохот дружек, чары и возглашения — это лишь тщетные задержки на пути туда, к тому самому... С опозданием решив напиться, он вылил было в себя несколько чар греческого вина и — не смог больше. Кровь уже и так горячо и гулко ударяла в голову и уши, отнюдь не нарушая меж тем полной ясности сознания...

Хорошо, что в спальном покое, все том же, жарком и тесном, была полная тьма. Раздевались, не трогая друг друга. Подняв молодую, он вновь ощутил ее тошнотный сладковатый аромат и невольно задержал дыхание. Что-то напоминал этот запах, что-то давнее и опять

связанное со смертью. Пахло так — или это уже казалось ему? — от колод с телами убитых в Орде тверских князей, трупным тлением.

Он лег наконец, забравшись под одеяло и крепко сцепив зубы, чтобы унять невольную дрожь. В конце концов, все это мара, блазнь, расстроенное воображение, с самого детства не дающее ему жить спокойно! К тому же еще так недавно умерла Настасья, так помнилось ее тело, руки, ее запах... А рядом лежал сейчас в обличье новобрачной серый гридень. Лежал мертвец. И даже спасительный крест с шеи, ради брачной ночи, уже снят!

Он закрыл глаза. Стыд прошел у него по телу горячей волной. Текли минуты, кажущиеся часами. Евпраксия дышала рядом, ожидая, но никак не помогая ему. Наконец произнесла обиженно и надменно:

— Ты... вспоминаешь ее?

Симеон молча, отрицая, потряс головою. Пытался что-то сказать: «Ты, ты...» — и не мог. Его душила злоба, перебившая наконец страх. Почему она лежит так, словно колода, не ластится к нему, не просит... Поди, тоже — выгодный брак! Великий князь владимирский, как же! А у самой... Да нет у нее никого, что я! Попросту и я для нее...

— Спи! — ответил он грубо, понимая, что сейчас, в эти мгновения, что бы не совершилось у них потом, его новый брак и семейное согласие непоправимо и необратимо рушат в провал...

Евпраксия резко, всем телом, так, что качнуло постель, рассерженною самкой отворотила от него к стене, натянув одеяло на голову. А Симеон лежал в тяжком отупении, недоумевая, чувствуя попеременно смесь отвращения, ужаса и стыда. И что-то серое, не имущее имени и вида, казалось, шевелилось и проплывало пред ним во тьме покоя.

Сейчас, сквозь тьму веков, трудно понять уже, что же произошло у князя Семена с его второю женой? Был ли это нередкий в ту пору случай аллергии — бессознательного, вплоть до невозможности физической близости, отвращения, в котором Евпраксия была так же невинна, как и сам Симеон? Была ли роковая нелюбовь молодой к своему супругу? Скорее, впрочем, первое. Не был, не мог быть князь Семен Иваныч, тридцатилетний здоровый муж, отнюдь не безобразный и лишенный многих пороков своего времени, столь

отвратен для юной дочери удельного дорогобужского князя, чтобы вовсе не могла она допустить венчанного как-никак супруга своего до брачного ложа! Да такого и не бывало никогда... Добавим, что, выйдя вторично замуж за князя Федора Фоминского, Евпраксия благополучно жила с мужем и нарожала ему здоровых сыновей. Хотя и то сказать: кто и когда возмог постичь все причуды женского сердца? Нет, дело было все-таки в самом Симеоне, и только в нем!

Аллергия чаще всего бывает на запах. В русском народном этикете не полагается говорить о дурных запахах. Скажут скорее: «Тяжко смотреть». В брачных отношениях запах тела — хоть о том вовсе не принято упоминать — едва ли не более всего прочего предопределяет отвращение или влечение молодых друг к другу. Достаточно ли, однако, подобного объяснения?

Много позже один старый боярин, приближенный ко двору, рассказывая причину расторжения Симеонова брака, передавал, что «великого князя Семена на свадьбе испортили: ляжет с великой княгинею, и она ему покажется мертвец; и князь великий княгиню отослал к отцу ее, на Волок, и велел ее дати замуж».

Помыслим теперь, было ли дело в телесном неприятии молодых или в чем-то гораздо более, даже непередаваемо более страшном? Ибо никакой аллергией все-таки не объяснишь того, что молодая жена казалась Симеону (верующему, защищенному силою креста и молитвы человеку) на супружеском ложе — мертвецом.

Впрочем, об отсылке Евпраксии к отцу Симеон поначалу не думал вовсе. Таинство брака почиталось столь высоким, что для того, например, чтобы жениться в третий раз, требовалось получить специальное разрешение церкви, а развод был возможен только в случае ухода одного из супругов в монастырь. Не говоря уж о том, что для тестя это была бы кровная обида, в иных случаях означающая объявление войны. И потому князь Семен, сославшись на временное недомогание, порешил до поры спать с женою в разных изложнях, а сам деятельно занялся устройством свадеб своих младших братьев.

Свадьбы играли подряд, одну за другой. Обе невесты, галицкая княжна и Шура Вельяминова, вместе сидели под завескою, вместе встречали гостей и по очереди

приголашивали. На торжествах было много смеху, шуму, веселой игры. И только Симеон, сидевший за отца обоих женихов, был грустен, хотя и старался изо всех сил не показать вида: хуже нет печали на свадьбе! На всю жизнь можно испортить судьбу молодым.

Еще и потому прозвали Симеона Гордым, что, чураясь хмельного застолья, он не умел радоваться вместе со всеми. Мучался этим, но поделать с собою ничего не мог. Знали бы сверстники, как завидует подчас «гордый» Симеон шумным застольям москвичей! Как втайне хочет сам и сплясать, и спеть, и подурить, пошататься с ватагою в святочной личине! И не может. Когда-то не умел от застенчивости, ныне — от высокого сана своего.

А из Литвы уже дошли вести о захвате Вильны Ольгердом. (Алексий как в воду глядел!) Снова сгущались тучи на рубежах земли. Снова зашевелились, заспорили братья-князья. К счастью, летом умер нежданно Василий Давыдыч Грозный — ярославский князь, самый упорный из противников Симеона. Неустройства в тверском княжеском доме тоже были на руку Москве. Семен, покинув новую супругу, метался из града в град, делая смотры дружинам бояр и городовым ратям, неукоснительно требуя от воевод, чтобы на всем литовском рубеже стояли сторожевые засеки и вестоноши при первой же угрозе мчали в Москву за помочью.

Ворочался князь домой усталый, заляпанный грязью, все отлагая и отлагая разрешение своих супружеских дел.

ГЛАВА 55

В Переяславле, церковной столице Московского княжества, Феогноста ждали давно, и, едва заслышав о приезде митрополита, к нему в Горицы устремились иереи всех чинов и званий, монахи и игумены местных монастырей с многоразличными нуждами, вопросами, тяжбами и просьбами. Однако Феогност, усталый с дороги, не принял никого и, сотворив краткую молитву, улегся спать. Здесь, в Переяславле, в раз и навсегда отведенных ему палатах Горицкого монастыря, он чувствовал себя лучше, чем в крикливой Москве или пустеющем, гордом Владимире.

Он лежал, подложив повыше тафтяное взголовье под голову и натянув вязаную, собачьей шерсти, ночную скуфью, и наслаждался теплом горницы, покоем и уютом высокого удобного ложа. Чуть слышно потрескивала добрая, ярого воску свеча в высоком кованом византийском стоянце. Пламя слегка колебалось, и тогда по строгим ликам иконостаса пробегали тени и блики света, словно святые, слегка приподымая левую бровь, шептались друг с другом о какой-то высокой тайне, не высказываемой словами земного языка.

Он привык на Руси к тесовым рубленым хоромам. Оценил их благотворную для нужд телесных сухоту и легкоту воздушную. И сейчас, лежа в своем покое, вдыхая запахи горячего воска и сухих сосновных бревен, невольно припоминал ледяное и сырое ордынское кирпичное узилище, куда его ввергали год назад, требуя полетней дани. От тех тягостных дней мысли его перенеслись к преждебывшему, к тому времени, когда он впервые увидел деревянную, показавшуюся ему убогой Москву и презрительно бросил Калите свои слова о прилепом каменном зодчестве — теперь, быть может, и не высказанные бы им так легко в лицо великому князю. А Иван Данилыч не токмо стерпел, но и распорядил зиждительством четырех каменных храмов! Нет, он так и не полюбил Калиту. И на Симеона перенес частицу нелюбия к родителю. А жил — с ними. С тем и другим. И труды прилагал к возвышению Московского княжества! Нынче, после ордынской беды, когда Симеон уехал, не дождав его, из Сарая, Феогносту вновь припомнилось свое притушенное было Алексием нелюбие. Алексий! Вот без него он уже не чаял своей судьбы. Наместник стал ему за последние годы попросту необходим. Алексий не токмо отправлял все хозяйственные дела церкви, но и освобождал митрополита от значительной части судебных дел по «Номоканону», правил монастырями, вел переписку с Цареградом и Ордой... Ради Алексия надобно было терпеть и даже любить князя Семена, хотя, на его, Феогностов, взгляд, великому князю московскому не хватало спокойствия характера и — возрасту. Именно потому почти проиграл он спор с суздальским князем, быв вынужден отступиться от Нижнего Новгорода, и — ежели бы не пристрастие Джанибеково — невесть чем бы окончил прю с прочими князьями владимирской земли! Теперь явно близит роковой спор с Литвою. Окажется ли Симеон

на достойной высоте в этом состязании? Как жаль, что литовские князья отвергают святое крещение! Как жаль... Сколь многое сосредоточено теперь на этом молодом и излиха порывистом москвитянине, которому все же явно не хватает мудрости и сугубой твердоты! Вот и новый брак не прибавил радости великому князю... Почто сие? В греховном и бесстудном поведении Семен словно бы не замечен и противоестественным порокам не подвержен отнюдь... Надобно вновь и опять поговорить с Алексием! Да наставит великого князя Семена на путь правый. Ежели надобно — да устыдит!

Потрескивала свеча. Митрополит смежил вежды. Задремывая, вновь возвращался мыслию то к далекой родине, страждущей от турок, то к спорам Варлаама с Паламою, то к литовским неспокойным делам... Церковь православная неотвратимо приближалась к великому испытанию, и неясно было даже: устоит ли она в веках, не погибнет ли, попранная латинами, уже днесь, на глазах последних ее защитников, последних истинных христиан!

Утром Феогност поднялся рано. Предстоял трудный и хлопотный день: праздничная обедня в древнем переяславском соборе, а вслед за тем — прием многочисленных просителей, разбор дел церковных и прочая, и прочая.

На митрополичью службу стеклись попы чуть ли не со всей волости, откуда-то из лесных глухоманей, с забытых богом погостов, из Берендеева и с воложской Нерли. Приезжали кто верхом, кто в телеге, кто и пеш, с дорожными посохами в руках, вздев единую ветхую праздничную ряску из потертого и порыжелого бархата, дареного ближним боярином еще отцу или деду, и бережно передаваемую из рода в род. Входили в алтарь испуганно-сияющие, спеша принять благословение у «самого», с просветленною жадною радостью расхватывали освященный митрополитом хлеб, кусочки просфор с вынутыми из них частицами, бережно ели, стараясь не уронить ни крошки святыни. Хор, собранный из лучших певцов города, стройно подымал на голоса праздничную литию, низко и грозно гудел, и казалось мгновеньями, звучащие волны колеблют каменный собор Юрия Долгорукого, в своем разымчивом взбеге делая невесомыми каменные своды храма.

В коротком перерыве, когда задергивалась завеса

царских врат, Феогност приседал на поставленное ему кресло, отирал шелком потное чело. Когда-то такие вот многочасовые служения давались ему без труда... Годы катят к закату! Пора вновь и вновь хлопотать о поставлении Алексия на свое место, когда ему, Феогносту, придет пора переселяться в жизнь вечную...

На выходе, благословляя долгую вереницу подходящих ко кресту и почти механически уже осеняя распятием и подавая руку для поцелуя, Феогност едва заметил двух молодых прихожан, судя по платью — монаха и мирянина, видимо братьев. Монах был высок, сухоподжар и широкоплеч, со словно обрубленным, резким очерком лица и огненосным взором. (Упорный взгляд его глубоких глаз как раз и привлек на миг внимание Феогноста.) А мирянин, его спутник, друг или брат, запомнился светлою чистотою молодого лица. Схожие в чем-то, в ином они поразительно отличались один от другого. Монах проговорил поспешно и негромко просьбу о встрече.

— Потом, после! — отмолвил Феогност, взглядом отсылая просителя к иподьякону: пусть разберет и доложит, может, дело разрешимо и без его обязательного участия? Передача наследства, вклад ли в монастырь части имущества — сколь многими из таких вот обыденных дел верующие всенепременно жаждут занять внимание и время самого главы русской церкви!

Затем Феогноста отвлекли монастырские дела, и, до позднего вечера разбирая тяжбы иноков, уча и налагая епитимьи, изъясняя тонкости служебного устава сельским иереям, Феогност начисто запамятовал о тех двоих и припомнил лишь поздно вечером, перед сном, и то не вдруг по докладу клирика, повестившего, что дети боярские из городка Радонежа, Стефан и Варфоломей, мыслят устроить вдвоем монастырь или киновию и пришли за освященным антиминсом и дарами...

Подумав, Феогност вздохнул и, как ни был усталым, все же решил принять сих просителей тотчас, не откладывая, дабы испытать в серьезности и строгости намерения.

— Проси! — приказал он клирику.

Те двое вступили в покой. Теперь, в свечном пламени, он мог рассмотреть их внимательнее. У монаха и его молодшего брата лица были отнюдь не рядовых прихожан, и Феогност, поначалу усомнившийся — мало ли кто дерзает на высокое, не имея и представленья о

том, что ему надлежит знать,— несколько оживился. Благословив и подняв с колен братьев, он усадил их на лавку и еще помедлил, разглядывая и раздумывая. Нет, выслушать того и другого стоило определенно!

Стефан — так звали старшего из них — был, как оказалось, монахом монастыря, что на Хотькове, но желал всенепременно устроить пустынножительство, и не он даже, а его младший брат, молчаливый отрок, о сю пору почти не проронивший слова.

Феогност с некоторым удивлением выслушал обо всем этом, осторожно вопросив: не лучше ли молодшему такожде поступить в обитель брата своего, дабы там пройти подвиг послушания?

Светлоокий юноша тут только, отрочески зарозовев, разлепил уста и, повергнув Феогноста в еще большее изумление, возгласил:

— Владыко! Мы уже и церкву срубили, и хижину с кельей. Токмо освятить осталось! Давняя то наша с братом мечта и моя... Родителев берег до успения, не то бы давно уж...— Он не окончил, смутившись и опустив очи.

Во всем этом была какая-то крестьянская неуклюжесть, основательность и прямота. Так вот работящий смерд, порешивший нечто, молча берет в руки орудие и делает потребное ему, а после того как свершит, молча кажет, почти не прибавляя слов к делу. Срубили церкву! Вдвоем? Без помощи? Братья согласно кивнули головами.

Феогност с любопытством принялся расспрашивать, коего рода и семьи тот и другой.

Оказалось, и роду не простого, из великих, прозда, зело обедневших ростовских бояр, позже переселившихся в Радонеж, почему Стефан научился грамоте и книжному разумению в знаменитом Григорьевском затворе Ростова Великого.

Удивление Феогноста и вместе невольное благорасположение к обоим братьям все росло и росло. Он незаметно, рядом вопросов, заданных как бы между делом и вскользь, проверил литургическую грамотность Стефана, опять с удивлением убедясь, что он много основательнее подготовлен, чем иные иереи, сущие на службе церковной, и тем паче — чем многие мнихи монастырей, даже и столичных. Удивление и уважение к гостю укрепилось совсем, когда Стефан произнес несколько фраз по-гречески.

Заинтересованный всерьез, забыв о времени и сне, Феогност позвонил в колокольчик, распорядясь подать то, что осталось от трапезы: холодную рыбу, хлеб, яблоки и брусничный квас, предложив братьям вкусить вместе с ним, и уже за едою мог оценить по достоинству своих молодых гостей. Удивительные русичи, сидевшие перед ним, ели опрятно и красиво, с полным уважением к пище и ее дарителю, но вполне отчуждаясь животной жадности голодного простолюдина, что тоже весьма приглянулось ученому греку. Он все яснее и ясней видел, что эти сильные и привычные к труду люди, с рабочими твердыми руками, все же именно и сугубо принадлежат к духовно избранным, к лучшей, «вятшей» части общества, и принадлежат к ней не токмо по рождению и давнему боярству своему, но сугубо по благородству духа и нравственному воспитанию,— что Феогност не мог не почитать более высоким по лествице человеческих ценностей, чем родовое, наследственное право.

— Все же! — отирая руки полотняным убрусом и откидываясь в своем креслице, произнес Феогност.— Все же почто не вступить вам обоим в един из сущих монастырей, куда по слову моему приняли бы тебя и тебя даже и без всякого вклада?

— Владыко! — серьезно ответил Стефан.— Пойми и ты нас! Не токмо церковь срублена этими руками,— он слегка приподнял, показав, твердые задубелые ладони, в мозолях, с потемнелою и до блеска отполированною рукоятями топора, сохи и заступа кожею,— мы и путь иноческий избрали себе!

Младший вторично разлепил уста, сказав:

— Хотим, яко древлии старцы египетски, в тишине, в пустыне...— И опять он не окончил, зарозовев.

— Споры и несогласия сотрясают ныне церковь православную! — со вздохом вымолвил Феогност, внимательно глядя в лицо Стефану.— Многомысленные мужи надобны и столичным киновиям града Москвы! Слыхал ты о диспутах во граде Константиновом Варлаама и Акиндина с Григорием Паламою?

— Фаворский свет?! — трепетно вопросил младший.

— Дошло и до нас! — ответил, слегка пожав плечами, Стефан.— Токмо, владыка, не нов сей спор! Еще древлии мнихи знали об исихии и были зело искусны в умном делании. И Григорий Синаит токмо повторил и напомнил сказанное некогда другими учи-

телями церкви — Василием Великим, Григорием Нисским, Дионисием Ареопагитом и иными многими! Упираю на то, владыка, что спор не нов,— Стефан поднял на Феогноста пронзительный, загоревший темным огнем взор проповедника и пророка,— не потому, что жажду умалить труды и старания обоих Григориев — Синаита и достойного Паламы, а затем, дабы указать на их сугубую правоту! Варлаам же тщится выказать не токмо то, что ошибаются старцы афонские, но и то, что с первых веков ошибались все подвижники, принимая за образ несотворенного света призраки их собственных мечтаний, хоть и не говорит о том прямо! А сие — ересь, сугубая, жаждущая умалить и извратить учение Христа.

Он запнулся, умолк было, утупив взор; решившись, однако, продолжать, вновь поднял очи на Феогноста:

— Нам с братом было видение. Враг рода человеческого, в виде некоего фрязина, явил себя и такожде рек: Бог-де непознаваем и даже сам, возможно, не знает о себе; а посему нет ни греха, ни воздаяния... И много иного, о чем глаголати соромно и непочто!

Феогност глядел задумчиво. Ему приходило выслушивать о чудесах и видениях ежеден, но и тут братья, видимо, говорили ему правду. Помолчав, рек, не то подсказывая, не то утверждая:

— Палама молвит, что триединый Бог проявлен в энергиях, пронизающих весь зримый и конечный мир. Слыхал ли ты об этом?

— Слыхал,— ответил Стефан,— и могу повторить здесь мысленные доводы, изложенные Паламою! Божественная энергия — это есть сам невидимый образ божественной красоты, который боготворит человека и удостаивает личного общения с Богом; само вечное и бесконечное царство божие, сам превосходящий Ум и недосягаемый Свет, Свет небесный, бесконечный, вечный; Свет, обо́живающий тех, кто его созерцает. Так глаголет старец Палама! — примолвил, как равный равному.

Стефан продолжил, не запинаясь, словно бы читая по писаному:

— Бог обнаруживается не по сущности, ибо никто никогда божью природу не видал и не раскрыл, но по Силе, Благодати и Энергии, которая является общей Отцу, Сыну и Духу. Сущность божия отлична от присущей ей силы и энергии, во-первых, тем, что

энергия истекает из сущности, а не наоборот; во-вторых, такожде, как все непознаваемое и познаваемое, мы в нашем зримом мире можем воспринять лишь зримые следы работы высшего Божества; божественная сущность является трансцендентной, а божественная энергия — имманентна (то и другое понятия Стефан произнес по-гречески); божественная сущность выше энергии; она токмо проста, энергия же проста и многообразна; сущность едина, энергии же считаются множественными; сущность и энергия различны, как реально сущее и присущее; присуща же — божественная энергия. Энергия божия, как и все, что применительно к Богу, считается относящимся к сущности и вечным, ибо она не сотворена, а извечна.

И свет, просиявший на Фаворе,— видимое проявление божественной энергии, как и считали сами древние святые отцы!

Таким образом, через осияние нетварным светом, божественной энергией, человек может, возвысившись над вещественной двойственностью, достичь мысленного рая, обóжиться не только душей, умом, но и телом, стать Богом по благодати и постичь весь мир изнутри, как единство, а не как множественность, ибо только благодаря этой энергии един столь дробный и множественный в своих формах мир.

Беседа давно уже перешла за ту грань, где беседуют администратор с просителем или подчиненным, и уже время приближалось к полуночи, когда наконец Феогност утомленно прикрыл глаза, а Стефан, опомнясь, умолк на полуслове, беспокоясь, не утомил ли излиха митрополита.

Все возможно, думал меж тем Феогност. Возможно и то, что из таких вот, как эти двое, возникнет и процветет новая русская Фиваида, и не погибнут, и спасены будут духовные откровения афонских старцев, а с ними не смеркнет и гаснущий огнь Византии, и истинное глубокое православие прозябнет и расцветет в этой северной лесной стороне. Теперь, на склоне лет, он более был склонен поддерживать вечное, духовное, то, чему нет предела в смерти, чем тленные и сиюминутные подвиги кесарей и князей...

Феогност опять припомнил свой ордынский плен и зябко перевел плечами. Надобно укреплять церковь!

— Добро! — изрек он наконец.— Пошлю с вами

иереев с антиминсом и святыми дарами, да освятят выстроенный вами храм!

Феогност опять помолчал и остро оглядел Стефана.

— Однако и то примолвлю, сыне! По всякой час, егда умыслишь о том, жду тебя у Богоявленья на Москве, понеже и нам у себя надобны таковые, как ты, мнихи!

— И ты, отроче! — оборотил он взор на младшего.— Помысли сугубо о пути своем! И тебе не закрыты врата вместе с братом в обитель Богоявления! Претужен и суров подвиг пустынножительства!

Младший улыбнулся светло и в третий раз отверз уста, отмолвив кратко:

— С детских лет еще хочу, владыко, узрети фаворский свет!..— Он опять не договорил до конца, смутясь, и опять улыбнулся, совсем как дитя или ангел, слетевший с небес на землю, ясно и прямо глядючи на митрополита, и слов возразить ему у Феогноста не нашлось.

ГЛАВА 56

Слухи о том, что великого князя на свадьбе испортили, отняв мужскую силу, уже широко расползались по Москве. Досужие сплетники выискивали теперь тайного завистника — кто бы мог подобное совершить? Слухи эти, за которыми, вероятно, стояли все те, кому непомерная власть и слава тысяцкого Москвы застили свет, достигли наконец княжеского терема.

Филипьевым постом, воротясь из Владимира, веселый, разрумянившийся от морозного ветра, отряхивая снег с бороды и усов, Симеон взбежал к себе. На дворе ржали кони, спешивалась дружина, слуги расседлывали и вываживали каракового княжеского жеребца. Сбросив дорожный вотол на руки прислуге, отдав не глядя шапку с рукавицами, он, проминовав сени с повалушею, с маху открыл тяжелую дверь изложни и, холодный, радостный, предчувствуя трапезу и баню, возник на пороге, словно окунувшись в хоромное устойчивое тепло.

По зимней темной поре в изложне горели свечи — обмерзшие слюдяные оконца почти не пропускали света,— и Симеон не сразу разглядел жену, сидевшую в непривычной позе, не за пяльцами или налоем с книгою «житий», а на краю постели, меж раздвинутых узорных

полотен полога, словно татарка у входа в юрту. Сидела и плакала, давясь злыми слезами.

— Ты что? — спросил он, несколько опешив.

— Что! Околдовали нас на свадьбе, тебя и меня! Испортили! Вота что! — с провизгом выкрикнула Евпраксия, глядя ненавистно мимо него.

— Кто... сказал?! — глухо вопросил Симеон, темнея лицом.

— Кто, кто! Люди! Бают — не лгут!

— Во снях тебе наснилось! Сплетки бабьи! — отверг было Симеон.— Да и кому нать? — Он высокомерно усмехнул, пытаясь кончить зряшную молвь. Он знал и про сглаз и про порчу, не по раз видел «порченых», но как-то никогда не применял всего этого к себе самому. Казалось, князя и княжеской семьи, надежно защищенных молитвами самого митрополита русского, языческое безлепое волхвование не может коснуться... Но ведь коснулось же! Четвертый месяц Опраксея остает девушкой, а он попросту избегает ее и счастлив, не видя жены по неделям. Быть может, молва не так уж и не права? Хотя все это, ежели так, было безмерно мерзко! И потом — какой сглаз? Сколько ночных молитв, заказных молебнов! Ездили во Владимир, ко святыням, ничего не помогло... Он все еще стоял, с мокрыми усами и бородою, почти без мысли озирая тесно заставленный сундуками и поставцами с узорною посудою, застеленный мягким ордынским ковром покой с большою кроватью под тафтяным пологом, с изразчатою красною печью. Девка сунула нос в горницу и, разом сообразив, что у князя с княгинею разговор не для чужих ушей, ушмыгнула прочь. Семен усмехнулся, стараясь скинуть с себя наваждение жениных слов, спросил:

— И на кого бают?

— Вельяминовы! Боле некому! — опять с провизгом, больно резанувшим уши, выкрикнула жена.— Дочку за Ивана отдал, дак и хлопочет теперь, чтобы у нас с тобою деток не стало! Все тогда Ивану с Лександрой останет после тебя!

— Молчи! — яро выкрикнул, топнув ногою, Семен.— Не смей! Василья Протасьева не замай! Друг мой, вернейший из верных! А ты — дура! Ведьма... Родитель, Протасий Федорыч, ищо князю Даниле, дедушке нашему, служил! Понимать должна, коли на Москву привезли! — Он едва сдержал бранное слово.

— Зачем привезли?! — выкрикнула Опраксея.— Зачем? Скажи! По монастырям ходить? Сына содеять не можь! Не мужик ты, а мерин!

Свет замглился в очах Симеона. Соступив еще шаг вперед, он развернулся и в мах залепил жене оплеуху, от которой она отлетела посторонь, ударившись о поставец — посыпались кубки и чары,— и завыла тоненько, держась за щеку.

— Ты... ты...— слепо вымолвил Симеон, горбатясь и переступая на напруженных ногах, чуя жажду бить и мять это подлое чужое тело и едва-едва сдерживая себя от очередного удара. Опраксея наконец испугалась. Полураскрыв рот, глядючи со страхом на медленно подступающего к ней князя, вобрала голову в плечи, зачастила жалобно:

— Хоша бы... Хошь и не полюби... Мог бы! С дитем утешилась!

Она зарыдала в голос, кривясь и уродуя губы, сгорбясь, закрывая руками опухшее (видно, и до него плакала) некрасивое лицо. Семен остоялся. Дернулся было — уйти. Горячий стыд залил огнем лоб и щеки. Решась, резко поворотил к жене. Подошел, стараясь не вдыхать сладковатого страшного аромата ее кожи, обнял плачущую, стал утешать, бормоча:

— Ну, не нать, не нать... Помыслим... Может... Ночью приду, не реви...

Она стихла, вздрагивая, обмякая, обвисая у него в руках. Вдруг тяжело и мягко повалилась на ковер, в ноги, схватила его колени руками, шепча неразборчиво, впервые, ласковые смешные слова, повторяя жалкое: «Ребеночка, сыночка бы мне!»

Не наступил еще «европейский» восемнадцатый век, когда стало мочно рожать наследника престола невесть от кого. И помыслить о таком было соромно шесть веков тому назад на Руси... И только от него, Симеона, и ни от кого больше могла она принести желанное и жданное дитя. И он тоже понимал, что ни от кого больше...

Стыдные и страшные подробности той ночи Симеон старался после не вспоминать.

Было такое — словно его разрезали ножом пополам, и ничто, никакие усилия, ни неуклюжая помощь жены не смогли разбудить в нем мужчину, супруга. И был ужас. В полумраке покоя белое лицо женщины, ее бесстыдно обнаженное тело текли и двоились. Не

улыбка Опраксеи виделась ему, а оскал острых зубов давешнего серого гридня, зарезанного несколько лет назад, покойника, ныне опять явившегося в терем вместе с дорогобужскою княжной. И он кидался в этот серый туман, в морок, он хотел изнасиловать мертвеца! Сам уже понимая в безумии своем кусочком оставшегося у него светлого разума, что идет на собственную гибель, что ежели он даже и совершит это, то совокупится не с Опраксией, а с тою, прежнею, страшной силой зла, некогда отогнанной от него горящими ветками можжевельника. Прохлада ее тела казалась склизкой. Под пальцами было неживое. Неживое (скалящее живым оскалом!) было у него в ладонях, в руках, в объятиях. Клубящийся, серый, лежал перед ним мертвец...

Ничего, даже скотского, отчаянно грубого, не смог он совершить и, мокрый, жалкий, скрежещущий от бессилия зубами, со стоном сказал под утро, обессилев совсем:

— Верно, околдовали! Прости, коли можешь...

Она так и не поняла ничего. Снисходительно прощала, в надежде хотя на будущую близость. Уговаривала позвать колдуна — исправляют же эту беду сельские ведуны! А он лежал, отворотя лицо, вдыхая палатный теплый дух, в коем бродили слоистые, как будто разорванные и размешанные с воздухом серые тени, лежал и запоздало молился Господу — да ниспошлет ему ежели не спасение, то хотя терпение перед нелюбимой женой.

Колдовство ли, сглаз — через века выдумают зарубежное слово аллергия,— изменить тут было нельзя ничего. И он пытался, пытался вновь и опять и понимал все яснее, что ничего нельзя изменить, что так и пребудет до конца лет, разве когда состарившуюся Евпраксию отдадут в монастырь, а он? Третий брак все одно не разрешен церковью, и дети от такого брака не имут благословенья свыше. Оставалось скрывать беду, известную теперь уже всей Москве, ходить на богомолья, принять все как должное, как плату за грех, и распроститься с надеждами... И дать княжить безвольному Ивану?! Не может, не должно того быть, чтобы Опраксея была права. Не мог старый друг Василий Вельяминов... Чур меня, чур! Не мог, не мог! Этому не поверю ни за что!

Ведуны, коих призывал, таясь от духовника, он

сам и добывала Опраксея, не помогали. Они приходили с черного двора, глядели мутно, шептали и прикладывали какие-то зелья, корни, камни и травы, иногда давали пить рвотную горечь и исчезали, не принеся никаких облегчающих перемен, уверяя, что «всё сожгано» и потому поделать теперь ничего нельзя.

К чести Симеона, упорной клевете на Вельяминова он все-таки отказался верить наотрез.

О беде великого князя судачили и шептались по всему княжому терему. Портомойницы любопытно, жадно и вороватo поглядывали на великого князя, чая себе возможных услад на беде дорогобужской княжны. Впрочем, Симеон по-прежнему не глядел на сторону. Теперь — тем более. Сама мысль о возможности заиметь незаконное дитя от какой-нибудь дворовой бабы — и оно будет ходить тут, по двору, когда княгиня по его вине не может ни понести, ни родить и остается о сю пору девушкой — ужасала его своим бесстудством. Бледная тень искупления — еще далекой бездетной старости, близкой к монастырскому уединению,— уже начинала маячить перед его глазами.

Он почти не удивился появлению Кумопы, которую, несмотря на княжеское кольцо, долго не пропускали поначалу к нему во дворец.

Кумопа еще подсохла, запали глаза, седые волосы на подбородке стали виднее и гуще. От нее шел лесной острый запах, как от зверя, попавшего в человеческое жило. Она долго разглядывала князя, стоючи, опершись о клюку и покачивая головою. От предложенной было Симеоном трапезы отмахнулась, мотнув головой. Прокаркала:

— Не за тем пришла! — Пожевав морщинистым ртом, примолвила убежденно: — Совсем ты, молодец, гляжу, плох! Темный ты! Весь почернел уже! — И на невысказанные возражения князя тряхнула седатою, в черном от грязи повойнике головой: — Люди того не видят, а я вижу! Гляди! Дай руку!

Золотой княжеский перстень возник в ее хищной лапе. Обтерев перстень о свои ветоши, она завернула рукав Симеону и крепко провела несколько раз острым краем перстня ему по руке. Там, где золото вдавливалось в кожу, тотчас возникли сине-черные полосы, будто страшный рисунок смерти прорезался сквозь бледный окрас княжеской плоти.

— Золото чистое! К ему никакая беда не при-

станет! Зри! Видишь? Видишь? — каркала старуха, чертя перстнем его руку.— Черный! Черный ты! У смерти стоишь! С бесом живешь, с бесом спишь! — продолжала Кумопа, покачивая головой, меж тем как невольно побледневший Симеон глядел на черный непонятный узор на своей обнаженной руке. Полосы медленно расплывались, бледнели. Старуха терла ему руку, поплевывая и что-то шепча. Потом опустила рукав рубахи, велела: «Сядь!» Сама опустилась на колени, высыпала из темного мешочка, достанного из-под лохмотьев, прямо на ковер какие-то сморщенные травы, коренья и снадобья, быстро заперебирала скрюченными пальцами, приговаривая вполгласа:

— Беса прогоню, покойника не прогоню!

Семен, нахмурясь, низя глаза, хотел было повестить о своей беде, но Кумопа прервала его, отмахнувши рукою:

— Слыхала! Слыхала! Слухом земля полнит! Пото и пришла!

— Иконы-то убери али завесь чем! — повелела колдунья, и Симеон, стыдясь, исполнил ее приказ, набросив на божницу изузоренный плат.

— Блюдо подай! — последовал новый приказ.— Серебро штоб! Да молви тамо, пущай не пускают к тебе никоторова людина, не тревожили б тебя да и меня тоже!

Подняла на князя глубоко запавшие пронзительные глаза:

— Выгоню беса, а ты, княже, помни! Хотят срубить Велесов дуб, дак ты не давай! Святу рощу береги!

— Кто хочет срубить? — Симеон пожал плечами, мысля изобразить незнание. Настойчивые требования митрополита покончить с языческим идолослужением были где-то в ином мире, по ту сторону и за гранью того, что происходило здесь и сейчас.

— Хотят, хотят! Сам знашь, молодец! Не лукавь! — строго прервала старуха его неумелую ложь.— На́больший хочет! Давно просит у тебя! Не верь, князь! Рощу порушишь — и землю порушишь тою порой, и сам от беды не уйдешь!

Серебряное блюдо было водружено на стол. Расставлены свечи. Явились вода и зола. Пока это все было схоже с тем, что проделывали и прочие колдуны, призываемые им или Опраксией.

По наказу колдуньи он снял крест с шеи (и это

уже приходило ему проделывать не раз). Кумопа меж тем начала раскладывать на блюде снадобья, приговаривая:

— Вот плакун-трава — бесам к слезному испущанию; вот чертогон-трава — отгони силу нечистую; вот одолень-трава — одолей супостата-ворога; вот прострел-трава — изжени и погуби рать бесовскую...

Кумопа зажгла травы. Синий чадный дым наполнил покой. В тумане лицо колдуньи мрело и двоилось, что-то стенало и двигалось в волнах дыма. Голову кружило, и звук голоса колдуньи, произносившей сейчас слова древнего заговора, достигал ушей Симеона глухо, как сквозь пуховый полог.

— На море, на окияне, на острове на Буяне, сидит старец однозуб, двоезуб, троезуб. Нету у того старца ни уроку, ни прозору, ни всякого иного оговору. Не болят у того старца ни кости, ни жилы, ни становые, ни рудовые; не имет его ни сила бесовская, ни злоба вражея...

Симеона будто бы что-то толкало и раскачивало, точно туго набитый мешок. Он изо всех сил глядел на воду, стараясь не отвести взора (иначе, по наказу старухи, колдовство потеряло бы свою силу), и чуял, порою до острого телесного преткновения, как его что-то пытается отвести, оттащить и отвлечь, почти хватая за плечи, почти касаясь лица и шеи липкими осторожными касаниями. Он все-таки выдержал, так и не отвел взгляда, дождавши, пока старуха окончила. И только услышав последние слова заговора: «Буди мое слово крепко и лепко, ключ, замок! Во веки веков! Аминь, аминь, аминь!» — и разрешающий зов Кумопы, отвел глаза и, как приходя в себя после обморока, озрел покой, по которому плавали ошметья копотной гари и изорванные клочья синей мги.

Во всем теле была истома, как после целодневного тяжкого труда. Руки так обессилели, что он с трудом мог их оторвать от столешни. Старуха, даже не спросясь, сама завернула ему рукав и снова стала чертить перстнем по руке. Беловатые следы кольца, как пенный след за кормою лодки, тотчас исчезали, оставляя мгновенный холодок, но темных давешних полос не было.

— Помни, князь! — выговорила старуха, подымаясь.— Слова свово не премени, Велесова дуба не сгуби! И то ищо помни: греха твово не сниму, Христа

Господа за тя не умолю! Гоню-гублю токмо силу бесовскую!

Князь встал. Голову кружило, словно после болезни, когда начинают восстановлять допрежь угасавшие силы. Открыл обитый узорным железом ларец-подголовник; не слушая старуху, насыпал, не считая, серебра в кошель, подал, заставил взять.

— Откупаешься от меня, князь! — с укором, покачав головою, сказала Кумопа.— Гляди, худа б не стало! — Но серебро, однако, взяла.

Проводив колдунью, он еще долго сидел у стола, медленно приходя в себя. Потом достал кувшин с квасом из поставца и стал пить много и долго, словно конь после тяжелой работы.

ГЛАВА 57

С Алексием ему стыдно было говорить о своих семейных бедах, но тот сам нашел и место и время, чтобы опрятно выспросить великого князя.

Алексий явился к Симеону поговорить о деле церковном, решение коего, однако, не могло состояться без воли великого князя владимирского. Речь шла о том, чтобы забрать из Москвы архимандрита Святого Спаса, Иоанна, и возвести его в сан епископа ростовского. Симеону не надо было объяснять, что решение это (подсказанное Феогносту Алексием) укрепляло в Ростове власть Москвы. Поэтому с архимандритом урядили быстро.

Когда отец Иван откланялся, благословив напоследи великого князя и сам получив благословение Алексия (рукополагать отца Ивана во епископа намерили в Переяславле, куда вслед за Феогностом спасский архимандрит должен был выезжать назавтра из утра), Алексий, проводив отца Ивана до дверей и облобызавшись с ним троекратно, неспешно уселся опять в точеное старинное креслице, которое всегда ставили наместнику в княжеских покоях, заботно поглядел в лицо великому князю, вздохнул, вымолвил негромко:

— Скажи, сыне, сам о горестях твоих!

Лицо Семена начал заливать густой темный румянец. Он хотел было (от трудности предстоящего разговора) уклонить, словно бы не понять, о чем речь, но и того не смог перед своим духовным отцом и наставником. Опустивши до́лу чело, вымолвил хрипло:

— С женой... не могу... Ничего не могу! Лягу словно с мертвой... Бают, испортили... со свадьбы ищо...

— Та-а-ак! — Алексий глядел внимательно, задумчиво и строго, без улыбки.

— Переже, сыне, надобно тебе было к церкви божией прибегнути, нежели к ведунам и волховным чарам!

— Опраксея... требовала...

— Жоночьим умом жити невместно! Ты муж, глава! Почто столь долго скрывал сие от меня?

Симеон не знал, куда девать глаза, руки. Он взмок, отвечая каким-то сиплым, противным голосом, прошептал:

— Со стыда, владыко!

— Стыда нетути в том! — с мягкою укоризной возразил Алексий.— Господу свыше видны вся тайная сердец и дел человеческих! Прилежно ли ты молился, сыне?

— О да! — Симеон вскинул на Алексия горячечные глаза. (Как сказать, что стеснялся к нему, монаху, никогда не знавшему похоти женския, прибегать со своим, животным, с постелью, яко же и всякий скот...)

— Княжеству нужен наследник! — строго примолвил Алексий.— Знаешь сам, сыне, яко церковь божия прещает третий брак, да и... насильно удалить в монастырь дочь князя Федора не мочно никак!

Все это Симеон знал не хуже самого Алексия. «Что же мне делать?! — рвалось у него изнутри.— Помоги!» Он вновь поднял горячечный взгляд, вперяясь в родниковые, глубокие очи Алексия. Но взор Алексия был замкнут и неумолим.

— Господень промысел не мочно изменить человеку! — ответил.— Токмо молитва и покаяние...

Он не успел докончить, как князь Семен рухнул на колени.

— Отче! Молю... Неведомо... грешен я. Не порча то, нет! Когда убили. Убил! Виновен я, я виновен! Княжича тверского, Федю! Колотился он, кричал. Проклял меня. Не пустил, не отокрыл двери... С тех пор! Дети мрут... Нет у меня наследника! Убил я его, этими руками убил! Владыко, отче! И потом, тела когда в колодах, я подошел — и уже смрад. И ныне лег я — и от нее, Опраксии, тот же дух. Воспомнил. Казнь мне, от Федора, от Господа казнь!

Лукавил, отца винил. Его думою... А сам? Он со-

деивал и нес крест, а я? А я принял грех отцов, как дорогое платье, как пояс, как златую цепь... Грешнее я батюшки во сто крат! За то что принял, взял; не сам, а прикрылся им, его волею: я, мол, ничтожен есмь! Суждено, заповедано! Нельзя... Нельзя, нельзя! Нельзя прятать себя за чужой грех! Господа не обмануть, ты прав и паки прав, владыко!

Речено бо есть: «Грехи отцов падут на детей!» Тогда падут, когда дети восхощут скрытися от возмездия, присвоив себе добытое грехами родителей своих! Да не будет! Да не скажет никто никогда: несть греха на мне, он на тех, что были прежде меня! Сказавший это уже смертно виновен пред Господом! Смертно! Без искупления! Ибо содеявший грех может покаятися, а приявший плоды греха и покаяти не может уже!

Отче! Помоги! Я не хочу, не могу... Я делаю все, ты видишь. Зачем тогда, зачем власть, великий стол и все иное, зачем?

Алексий уже давно стоял перед ним, обнимая за плечи трясущегося в рыданиях князя.

Не муж — мальчик стоял сей миг на коленях пред ним! Сказать бы ему, что пути господни неисповедимы и что долг смертного — без ропота принимать сущее, уповая на милость всевышнего. Уповая и вместе с тем не лукавя и трудясь на пределе сил, ибо свобода воли, данная нам, лишь только тогда послужит ко благу смертного, ежели он всю свою жизнь от колыбели и до могилы будет преодолевать немощи и похоти своей плоти ради высшего, ради духовного труда и посмертного приобщения к Божеству. Сказать бы ему сей час, что надо нести свой крест без ропота, как нес его Исус на Голгофу... Сказать бы ему, что в нем греховно ропщет и гневает его земное смертное «я», что он хочет продолжить себя, себя, земного и смертного, не видя, что только в отказе от смертной оболочины своей — свет вечной жизни; что то́, что его днесь повергло на колени в слезах и трепете,— каждый монах добровольно и не скорбя о том принимает на себя вместе с монашескою скуфьей. Отрекись от мира — мирови ради! Иначе, возжаждав земного, греховного, преходящего бытия, погубишь и себя и мир. Сказать бы ему еще, что не такая беда, ежели род московских князей пойдет от иной ветви того же древа, ежели дети Андрея или даже Ивана наследуют вели-

кий стол,— лишь бы стояла земля, лишь бы был жив народ русский! Сказать бы ему... Но ничего не сказал Алексий, лишь легко, едва приметными касаньями рук оглаживал вздрагивающее темя князя Семена. Дитя, отрок! Меж ними как-никак было два десяти лет разницы, молодой князь, и верно, годился бы в дети Алексию.

— Встань! — вымолвил он наконец.— Пойдем в церковь! Я сам, сыне, помолюсь вместе с тобой!

Они прошли переходами, вышли на соборную площадь, пустынную по вечерней поре. Молчаливая стража, бряцая оружием, подошла было к великому князю и замерла, отстраненная велением руки. Слуги Алексия тоже двинулись было, но и они по знаку наместника воротили вспять. Лишь двое служек с орудьями, надобными для ночного служения, поспешали следом. Оснеженная серо-синяя площадь, огромная по малости соборов и хором, отселе вся распахнулась взору. Позднее, когда возникли величественные сооружения Ивана Третьего, когда столп Ивана Великого вознес над площадью свою тяжкую главу и выросли каменные, краснокирпичные терема, площадь как бы сузилась, умалилась в размерах. Теперь же она еще свободно открывалась миру и небу, вышитому по темно-синей, почти черной канве лазоревыми яхонтами звезд.

Церковь Спаса была заперта на замок, и служка долго гремел ключами, отворяя кованую решетку. Прошли внутрь. По мере того как служки возжигали свечи, мрак отодвигался все далее в углы и под своды собора и лики святых еще не всюду законченной росписи все больше остолпляли малые фигурки внизу, на каменных плитах пола, подавляя поздних пришельцев величием небесного хоровода, глядящего сквозь века и миры, с выси сфер, на бренную юдоль земного существования.

Алексий взошел в алтарь и возжег свечи на престоле. Князь опустился на колени перед алтарем, прямь царских дверей. Алексий, окончив приготовления, запел (Симеон тотчас, подхватив, запел тоже) канон молебный ко пресвятой Богородице, «поемый во всякой скорби душевной и обстоянии»:

— К Богородице прилежно ныне притецéм, грешнии и смиреннии, и припадéм, в покаянии зовýще из глубины души: Владычице, помози́, на ны милосéрдовавши, потщи́ся, погибаем от множества прегрешений,

не отврати твоя рабы тщи, тя бо и едину надежну и́мамы!

Голоса гулко отдаются под сводами. Оба служки, стоя сзади и тоже из уважения к князю опустившиеся на колени, стройно подпевают Алексию.

— Помилуй мя, Боже, по вели́цей милости твоей! — пел Симеон, погружаясь все глубже в головокружительную надзвездную бездну самоотречения.— И по множеству щедрот твоих очисти беззаконие мое!

И было так, словно в ночи, в ледяном холоде звезд, осталась одна и бьется, плененная, не хотя погинути, тоненькая ниточка тепла. В глубине глубин трепетная просьба о снисхождении, о прощении вот этой заблудшей души, этого тела, этой живой частицы божества, сведенной на землю в облике князя Симеона Гордого. Там, в самой глубине, на дне души, не было отречения — был молитвенный зов и просьба и вопль о помощи, о снисхождении ему, смертному, не желающему бесследно, без кореня своего на земли, погинуть в веках.

— Многими содержи́м напа́стьми, к тебе прибегаю, спасения иски́й: о, мати слова и дево, от тяжких и лютых мя спаси!

— Пресвятая Богородице, спаси нас! — хором, согласно, подпевают служки. И длится канон, то укачивая дремотно, то обжигая огнем острых слов: — Ты бо, Богоневе́стная, начальника тишины Христа родила еси, едина Пречистая!

Смолкает хор. И Симеон, закрыв глаза, молит в тишине вечную небесную заступницу:

— Царице моя преблагая, надежда моя! Зриши мою беду, зриши мою скорбь, помози́ ми, яко не́мощну, окорми мя, яко странна... Подаждь ми помощь, немоществующему плотскими страстьми и боле́знующему сердцем.

Он трудно поднимается с колен. Стоит. В душе тишина и сумрак, словно мелкий осенний дождь. Молитва убила или умалила, мнится ему, давешнее колдовство. Тушат свечи. Алексий зовет князя к выходу.

По темной площади, одни, без вооруженной охраны, два человека, от коих зависит грядущий день русской земли, возвращаются в княжеский терем. И никто не смеет нарушить сейчас княжеского одиночества Симеона — ни тать, ни странник, ни докучный проситель,

ни боярин, ни беглый холоп, ни оружный кметь. Одна лишь вера и уважение к власти защищают сейчас его и Алексия от любой докуки или беды.

Уже в тереме, прощаясь с князем, Алексий говорит ему, словно о реченном переже:

— Преосвященный Феогност мыслит владыке новогородскому Василию вручити крещатые ризы, зане святыни Великого Нова Города прославлены и до Византии самой!

И князь молча наклоняет голову. Он, быть может, и не спешил бы одарить новогородского архиепископа, но тут уж Феогносту с Алексием видней. Быть может, сей дар хоть несколько помирит Новгород с Москвою.

Эту ночь Симеон спал спокойно и отрешенно. Нет, он не полюбил жену, не преодолел своего отвращения к ней, но он смирился сердцем, принял сущее, яко крест, возложенный на рамена своя, который потребно нести до смертного конца. И Евпраксия присмирела, углядев перемену в муже, хотя горькие складки уже не исчезали с ее чела. Быть может — готовилась в монастырь.

ГЛАВА 58

Встречу новогородскому архиепископу затеивали торжественную. В Богоявленском монастыре, где готовили гостевые палаты, эконом с келарем сбились с ног. Надо было разместить не только владыку с причтом, но и новогородских бояр, сопровождающих своего архипастыря, который хотя и ехал в гости к митрополиту, но должен был одновременно встретиться с великим князем владимирским, а тут уж и хоромы и снедь должны были соответствовать велелепию встречи и высокому сану встречающих. Бояр, впрочем, порешили разместить в хоромах Вельяминова. (Василий Протасьич сам предложил принять у себя новогородских гостей.)

Старец Мисаил (в миру — Мишук Федоров) только что воротил с обозом красной рыбы, привезенным аж из Коломны. Из саней вынимали укрытых рогожами устрашающей длины клейменых осетров, закатывали в погреба бочки датской сельди и черной икры из Нижнего, носили связками сушеную и вяленую сиговину, золотых копченых стерлядей. Слуги и послушники, пробегавшие двором по сиреневому в сумерках

снегу, невольно воротили носы в сторону обоза, завистливо обоняя приманчивый дух дорогой рыбы.

Старец Мисаил, доправив последнюю кадь, уложив в клеть последний куль сушеных судаков, распорядил распрягать и только тогда прошествовал к себе в келью. За деловым недосугом он из утра еще ничего не ел и теперь мечтал, как, помолясь, неспешно примется за квас с хлебом и луком и за вяленую воблу, захваченную им для себя из обоза.

Однако в келье кто-то был, и, видать, не из монашеского звания: у крыльца стоял оседланный боевой конь. По хозяйственным монастырским делам старцу Мисаилу приходило ежеден иметь дела с мирянами, и это долило порою, лишая покоя и тишины. Он недовольно покосился на лошадь, уже понимая, что ни тихой молитвы, ни, быть может, ужина ему не видать. Конь, когда Мисаил проходил мимо, тихо, призывно ржанул, и старец, услышав его, невольно остоялся, воскликнув: «Серко!» Конь узнал прежнего своего хозяина и потянул мордой, теплыми губами в поисках краюхи хлеба. Мишук огладил морду коня — невольная волна тихой радости подступила к горлу,— посетовав, что нету с собою ржаной корки или сухаря, все еще не понимая, не додумывая, кто у него в дому. Шагнул в темноту сеней, толкнул дверь в келью. Зажженная чужой рукою свеча метнулась на сквозняке, вычертив по стенам и потолку мгновенную узорную тень. За столом, вольно раскинув ноги в остроносых щегольских сапогах, сидел Никита.

— Здравствуй, батя! — весело окликнул он Мишука. Облобызались.

— Нельзя мирскому-то! Монастырь! — тихо снедовольничал отец.

— Да я, думашь, о себе? От Вельяминовых послан, от Василь Протасьича самого! — не стерпев, похвастал Никита.— К келарю! Справа там всякая надобна. Грамотку послал... Ну, а уж тут как батьку не повидать!

Мишук-Мисаил посопел, смолчав, стал снимать дорожный, промороженный на ветру вотол. Пошептал, шевеля губами, молитву.

— Поснидашь со мною! — сказал ворчливо, не спрашивая, скорее утверждая. Все же сын старшой! Воспомнил батьку-то...

Тяжело наклонясь — годы уже круто начали брать свое,— достал хлеб, две луковицы, квас в глиняном кув-

шине, разломил пополам припасенную воблу. Никита хитровато озрел скудную трапезу, крупно откусил хлеб, с молодою жадностью вгрызся в кусок рыбы. Подзудил:

— Што ж ты, отче, воз красной рыбы привел, не мог себе стерлядку удоволить!

Мишук ел молча, степенно, на шутку сына не отмолвил ничего. Уже обтирая усы и бороду ладонью, попрошал:

— Услюм где-та?

— А, в деревне! Робит! — легко, с чуть заметной небрежностью отозвался Никита.— Звал его в дружину — не хочу, бает, да и весь сказ! Жениться надумал, кажись! Мужичья работа по́люби!

— Мужицкой работою не гребуй! — сердито возразил отец.— На ней весь свет стоит! Бояр-то у себя разместит Протасьич?

— Ищо Кобыла хоромы дает! — не вдруг отозвался Никита, пережевывая хлеб.— Сожидают, словно князя какого!

— Архиепископ, почитай, повыше иных князей будет! — отмолвил отец.— Молод ты, Никита, ой, молод! — Мишук покачал головой. Задумался, уставя старые, в сети морщин, покрасневшие от ветра, стужи и долгих бдений ночных, выцветшие очи в груботесаную стену хоромины с большим медным распятием посередине и образом Николая Мирликийского в углу, над глиняной лампадкой. Вздохнул. Спросил, тут же подосадовав, что не сдержал вопроса: — Матка как?

Никита не заметил промашки отца — монах не должен мыслить об оставленном мире,— отмолвил легко, не думая:

— Чево ей! Митусит да ест поедом ково поближе! Услюм убег, Селька теперича за всех в ответе. Тебя непутем поминат: старый, мол, пес и всяко... Брани — потолоком вылезай, а порты не стираны, сора лишний раз не выметет, опосле Любавы в дом не можно и приятелей созвать ко столу — чисто хлев! Да сам знашь! — Никита беспечно махнул рукою.

— Жениться нать! — отмолвил отец.— Матка стара, дома не одюжит, а от ругани доброй порядни не станет все одно!

Никита прищурил бедовые очи, смолчал. Свадьба все затягивалась, и, кажись, по вине молодца. «Не хочет в хомут! Конь неезженый!» — подумал Мишук с невольной завистливой грустью.

— А ты, батя, видал ево, Калику-то? — спросил, оживясь, Никита.— Каков из себя?

— Единожды! — отмолвил Мишук и приодержался, не зная, как живописать толковее.— Суховатой, легкой такой! Росточком не вышел, вот эдак, по плечо мне...— Он подумал еще, почмокал губами, склонив голову. Повторил: — Легкой! Радостной: таково-то приятно и глядеть на ево! Да ить узришь! Ноне-то! Уж не минует Протасьева терема никак!

Мишук-Мисаил утупил очи в столешню, представил дом; вечно без толку суетящуюся Катюху... Сына вдруг до боли не захотелось отпускать от себя. И Никита почуял, видно, то же самое. Встал, оглядел тесное жило — чего бы содеять? В келье было нетоплено со вчера дня, и он, сидючи, несколько издрог, почуяв это только теперь. Спросил незаботным, грубоватым голосом, усвоенным им раз и навсегда в молодечной, в холостяжной шайке дружинных кметей:

— Где у тя, родитель, дрова? — Выскочив на крыльцо и почти утонув в сугробе, добрался-таки до поленницы и, только тут нащупав тропку под ногою, легко понес в келью порядочное беремя березовых дров.

Отец все так же сидел, пригорбясь, за столом, уронив тяжелые изработанные руки на столешню, следя, как щеголевато одетый сын ловко сует дрова в черную печную пасть, ломает лучину и, подержав пук сосновой щепы над свечой, вздувает огонь.

Скоро яркое пламя выбилось на волю, весело охватив поленья, дым потек тонкою струйкою к потолку, в отодвинутый дымник, и в келье запахло жилым горьковатым духом печного тепла. И вот это простое, что сын затопил печь, вместе с дневною, только теперь в полную силу навалившею усталью (и не надо выходить, дрожа, на холод из нетопленной кельи, нести тяжелые дрова, вздувать огонь) выжало невольные слезы из глаз Мишука. Сын! Какой ни буди... Давеча все поминал второго, Услюма, а тут бедовый Никита нежданно и утешил и обогрел незамысловатою помочью, о которой и сам-то, поди, не помыслил чего иного: холодно, дак почто и не истопить!

Никита снова присел к столу. Пламя отодвинуло день, погасив последние капли вечернего заоконного света, и сквозь затянутую бычьим пузырем оконницу стало уже ничего не видать, только отблески языков огня плясали и двигались в матовой, зажатой в тесовый переплет лужице.

— Пора тебе! — вымолвил наконец Мишук.

Никита чуял и сам, что пора. Привстал было, но тут в дверь постучали, и в келью вступил высокий худой монах в черной скуфье, с пронзительным лицом аскета. Бегло глянул на мирского гостя, и Никиту словно ожгло огнем — такая сила была в очах незнакомого монаха. Благословясь у отца, гость спросил что-то. Никита и слов не расслышал толком. И уже когда монах вышел, одарив его на прощанье еще одним рассеянно-жгучим взором, спросил с придыхом:

— Хто ето, бать?!

— Старец Стефан! — строго отмолвил родитель.

— Словно святой из житий! — выговорил Никита, покачивая головою.

— Высокой жизни муж! Из бояринов, из Ростова Великого, кажись. Сперва-то в Радонеж подались они, а оттоле сюда уж... Сам митрополит ево созвал, в келье Алексия живет, почасту с самим наместником житье делит! Языки знат и святое писание, бают, наизусть затвердил! (Мишук только так мог представить себе богословскую ученость Стефана.)

А Никита, уже распростясь с отцом и садясь на коня, все вспоминал чудно́го монаха и встряхивал головою: не чаял, что такие есть в наши дни, думал — пишут только понарошку в каком-нибудь «Патерике» али «Лавсаике»...

Небо было в тучах, и на улице, за воротами, зги не видать. К ночи поднялся ветер. В серо-синей тьме вдоль улиц мело, и Никита поневоле щурил глаза, отворачивая лицо от режущего холода и острых ледяных игл поземки. Редко светились окна в теремах. Там и тут лениво брехали собаки, предпочитавшие в такую непогодь конуру холодной улице.

После нетопленой кельи, не успев отогреться у недолгого огня, парень издрог на ветру и сейчас с завистью думал о ночлеге на теплой печи. Как етто татары могут в таку-то непогодь да в степу, хоша и в юрте ихней? Ни в жисть бы не смог!

Он спустился почти ощупью берегом Неглинной, более доверяя чутью коня, чем своему собственному, миновал торговые ряды, где его хрипло окликнула ночная сторожа, вновь поднялся в гору и наконец достиг ворот Кремника. В стороже были свои, знакомые кмети, и озябшего Никиту, приоткрыв тяжелую створу ворот, сразу пропустили внутрь Кремника. Тут, в тесноте улиц и тупиков, ветер не так доставал. Протасьев терем темною

громадой с мерцающими кое-где, словно глаза неведомого зверя, оконцами как-то вдруг и разом вырос перед ним.

В воротах Никиту задержали незнакомые кмети, и он долго не мог взять в толк, зачем и почто, пока не догадал, что в гостях у Василья Протасьича сидит сам великий князь Семен. Передав через слугу, что явился, Никита, впущенный в конце концов во двор, отвел коня под навес, засыпал ему овса, а сам полез в челядню, в дымное людное тепло, к поздним щам и хлебу, с невольною завистью представив на миг, как князь Семен, с которым он на пожаре стоял бок о бок и даже разговаривал, сидит сейчас за праздничным столом в повалуше и каких там только нету яств и питий! А он, Никита, здесь, в толпе холопов и слуг, где пахнет дымом, кожей, щами, сохнущими онучами, немытыми телами мужиков и всем тем, чем всегда пахнет в любой челядне... Батько и то, хошь и мних, а вона с какими людями дружбу водит!

Туда бы, наверх! В боярски хоромы... Хоша на нижних столах при князе Семене посидеть! А то так и будешь всю жисть на подхвате...

Впрочем, отогревшись и влив в себя миску щей, Никита уже не так мрачно смотрел на судьбу, а когда выяснил, что и переночевать можно тут, на горячей печи, не отправляясь в неприбранную хоромину, где матка будет опять ворчать непутем, нудя скорей ожениться, повеселел совсем. Будет и на его улице праздник, будет когда ни то и у него, как у покойного деда, своя, пока еще неведомая княжна!

Он уже спал, по-детски причмокивая во сне, когда великий князь Семен, излиха припозднивший в гостях, только еще намеревал встать из-за стола. Стойно Никите, ему тоже совсем не хотелось домой, но остаться, как простой кметь, в чужих хоромах, залезть на чью-то печь, сунув под голову сапоги и растворив горечь сердца в дымном, чужом и добром ночлеге, заснуть, не чая забот грядущего дня, великий князь московский, увы, не имел права.

ГЛАВА 59

Семен Иваныч мог и не заходить к Вельяминову сам, а послать кого из бояр проверить, готовы ли хоромы для новогородских послов, но ему попросту хотелось зайти

в дружеский дом и посидеть за столами, а чтобы не гневить прочих бояр, лучший предлог для посещения трудно было и выдумать. Тем паче у Василья Протасьича в гостях были Андрей Кобыла с сыном Семкою Жеребцом и Афиней.

Вельяминовы, почитай, все были в сборе. За столом, вслед за своим седатым родителем, дружною чередой светловолосых великанов сидели четыре сына Василия Протасьича — Василий-младший, ражий муж, перешагнувший к четвертому десятку, крепкошеий, прямоплечий, со строгою складкою высокого лба и твердым взором привыкшего повелевать человека,— ему уже обещана должность тысяцкого после отца, и уже теперь он за родителя своего нередко справляет дела по городу и на мытных заставах; рядом с ним — светлоокий Федор Воронец, и этому уже за тридцать никак перевалило; за ним младшие, Тимофей и Юрий,— оба в расцвете сил, оба — кровь с молоком. А там, на низу стола, уже и внуки-подростки, двое сыновей старшего сына, Василия Василича — шестнадцатилетний Иван и Микула. Иван уже сейчас знает, что по роду звание тысяцкого, в очередь, перейдет к нему, и потому, представленный нынче князю высокий мальчик с гордым очерком задорного лица и поклон воздал и глядел на Симеона почти как равный на равного. Князь, впрочем, то ли не заметил, то ли пренебрег отроческой грубостью вьюноши, кивнул с рассеянной ласкою, уселся в предложенное почетное кресло во главе стола.

Большой, осанистый Андрей Кобыла стареющим медведем устроился по правую руку от князя (Вельяминов воздавал гостю нарочитую честь), а его еще нескладный, мосластый, точно жеребенок-стригун, сын был отослан отцом на самый низ стола, супротив внуков Вельяминова. Кобыла хоть и любил сыновей, но при людях никогда не давал им чваниться. («Успеют накрасоватись, когда помру!» — говаривал он обычно жене.) Еще ниже, на конце столов, расселись старшие дружинники Вельяминова и князя Семена, и хоть не было званых гостей и нарочитого пира, стол составился многолюден, как, впрочем, и всегда было в обычае в тереме тысяцкого Москвы.

Пока подавали рыбные и мясные перемены, речь шла чинная про городовое дело, хоромы под новгородских бояр, уже осмотренные великим князем. Тут-то Андрей Кобыла и предложил часть посольства разместить у себя в нововыстроенном тереме на Неглинной.

— И недалече от Богоявленья святого, княже, удобно будет има с владыкою толк вести! — прогудел Андрей, оглаживая лапищей узорные бока братины.— А уж принять-угостить моя Андреиха мастерица завсегда! — Он улыбнулся светло и радошно, воспомня верную супружницу свою, и Семен невольно улыбнулся ему в ответ — нельзя было не ответить улыбкою открытому добродушию Кобылы,— и только в душе, в самой глубине, взгрустнулось Семену, когда оглядывал он это литое застолье, дружину наследников, один к одному (у Кобылы всего было нарожено пять сыновей, и тоже молодец к молодцу, не уступят Вельяминовым), густую поросль грядущего бессмертия рода... И та изба припомнилась припутная, набитая здоровыми ребятишками, и людные улицы Москвы — зримые плоды тишины великой, устроенной его родителем на многострадальной владимирской земле... Только он, князь, глава, как обсевок, изгой среди своих, оброшенный и заброшенный на одинокой вершине власти! Где же его самолюбивые, непокорные и напористые сыновья?

Кругом, вдоль столов, ходило пиво, чаши с медом и греческим вином чередовались со все новыми и новыми переменами ед и закусок. Уже все громче и громче шумели голоса на нижнем конце столов, а тут, вверху, речь становилась сердечнее и проще. Великие бояра придвинулись ко князю, говорили вполгласа, поглядывая поощрительно на веселящуюся молодежь.

— Завидуют, вишь! — вздыхал Вельяминов, а Андрей, низко гудя, успокаивал тысяцкого, дружески коря:

— Али мало тебе власти на Москве? Али казной оскудел, Протасьич? Ничем ты не обижен, ни детьми, ни добром, ни княжою милостью! Полно жалить, тово!

— Мы за князя,— насупясь возражал Василий Протасьич,— скажи — не воздохнув лягут! — указывая на ражих сыновей, говорил он почти со слезой и вдруг, ударя кулаком по столу: — Кремник кто становил?! Кто оберег от Ольгерда Можай?! Почто шепчут, яко наводил порчу на князя свово? Изреки, Андрей, почто?!

— Утихни, Протасьич, утихни! — гудел Андрей примирительно.— И будут шептать, ртов не замажешь! Иной думат: и я бы на мести том высокое совершил!

— Ты, Андрей, ты молви! Вота при князе нашем!

— И скажу! Я не завидую, Василий, дак мне и пошто? И я велик, и я в думе, и я не обижен князем! Утихни, Василий, попередяе всех стоишь, как без хулы? Без хулы вон и самая добрая девка не живет! Народ у нас зол на язык, а добр, отходчив! Утихни, Василий! Едину Христу не завидовали, и то тогды уж, когда на Голгофу шел!

Василий меж тем плакал, сжимая в руке чашу с белым душистым медом, и плакал всамделишно. Едва не впервой видел его такова Семен и сам уж похотел было утешить старика, но Протасьич справился с собою, отер пестрым платом очи и чело, поклонил князю:

— Прости, батюшка-князь!

Семен молча огладил старика по шитому серебром нарукавью.

На миг все трое замолкли, следя расшумевшую юность на краю стола, и Семен опять с печалью подумал о том, что он, по возрасту близкий тем, юным, сидит тут, в дружине стариков, и сам как старик, у коего все уже в воспоминаниях прошлого.

Андрей первый нашелся, переводя разговор, начал прошать князя о колокольном мастере Борисе, недавно воротившем на Москву. Семен осторожно пожал плечми:

— Сам ищо не ведаю! В Нове Городе хвалили его! По речи, по рукам, по взгляду — мастер добрый! Заказываем три колокола, я с братьями троима. Обещает к лету изготовить.

— Ноне и подписывать церквы окончат! — сказал Кобыла.

Семен утвердительно кивнул.

— Кольми паче ратных угроз и суеты лепота храмовая! — сказал, потупясь (редко такое говаривал вслух).— Миру потребно благолепие и краса святынь, дабы каждый смерд прикоснул к великому и почуял благостыню родимой старины и сладость духовную веры своих отцов! Пото и подписываю храмы и голос колокольный измыслил украсить на Москве! Дабы не только хлеб... Краса, она — ступень к высшему!

Семен замолк, не договорив. Оба боярина, прихмурясь, утвердительно покачивали головами. Каждый понял по-своему, но поняли оба. Андрей даже и примолвил про смердов — знал добре мужицкую жизнь,— как украшают хошь солоницу древяную на столе, хошь и грабли или иное што, а уж какого шитья, узорочья бабы

наготовят! Вроде бы оно и ни к чему, а так поглядеть — без красы рукомесленной тоже не живет человек!

Помолчали, повздыхали, обсудили росписи в Святом Михаиле и Спасе. Андрей, расчувствовавшись, вдруг брякнул спроста, как только он один и умел высказать, не обижая:

— Што-то ты невесел, княже!

Семен собрал брови хмурью, смолчал, но не обиделся на Кобылу. На Андрея никто не обижался, таков уж был человек!

И вдруг — прорвалось. Словно нарыв тайный лопнул и потек гноем: осевшим голосом, беззащитно и слепо поглядев хозяину в лицо, спросил:

— Шура счастлива? (Сейчас, воспомня крутую стать и весь разгарчивый очерк девичьего лица Александры, понял, какою красавицею была дочерь Василья Протасьича, доставшаяся брату Ивану. Понял и подумал: неужто всю жизнь буду завидовать чужому счастью, чужой судьбе и понимать до конца, только упустив навеки?)

— Честь, батюшка! Кое слово молвишь! Да как же нам не гордиться всею семьей, княже!

Семен повел головою: все было не то, и старик не о том молвил — или не понял за шумом пира? Поглядел с легким укором, мягко отверг, переспросив:

— Не то! Я не о том, Протасьич! Я другое... Душевно, без чинов, по-людски... Счастлива она?

Василий глянул, склонив голову. Отрезвев, задумался. Хотел сказать, да вдруг поворотил к сынам, позвал негромко:

— Тимоха!

Тимофей готовно выпрыгнул из-за лавки, подбежал к отцу, оглядываясь то на него, то на князя.

— Тимоша,— негромко позвал старик и показал рукою, чтобы тот пригнулся к отцу,— ты седни был у молодых; вот скажи, счастлива Саша с Иваном?

Тимофей вновь, уже внимательнее, согнав улыбку с лица, оглядел отца и великого князя, вдруг дрогнул бровью, в глазах проснулись веселые искорки:

— Нос-ат дере-е-ет! Бегает, точно перепелка, по дому! Поглядит коли, дак словно любует князем своим! И голос стал таковой грудной, глубокой... И телом горда: носит себя, яко на блюде драгом! Должно, в сам дели любит! Мыслю, што щастлива наша Лександра с князем Иваном!

Все трое выслушали Тимофея согласно. Тот поклонил князю в особину, отошел.

— Умен растет! — похвалил Кобыла.

А Семен не сказал ничего. Представились согнутые, старушечьи плечи девушки-жены, ее потухший или злобный взгляд... (За что?! Ее-то за что, Господи?!) И опять Андрей Кобыла нашелся первый. Увидел ли, сердцем понял, а поскорей отвел разговор на иное — смешное поведал, какую-то безлепицу о глупой бабе, и все трое дружно хохотали над тем, хотя потом Семен, как ни усиливал, не мог вспомнить рассказанное Андреем. Вот тут-то ему и захотелось, под шум, крики и пение, в чаду и жару чужого веселья, забиться куда ни то в угол, залезть на печь в чужом дому и, прижавшись к горячим кирпичам, глотая непрошеные слезы, замереть, застыть, отгороженному чужим весельем от своей неизбывной беды, от ужаса заколдованного дома, от серой тени вселившегося в его жену мертвеца...

А пир длился, и катила мимо радостная разноцветная жизнь, та самая, простая, незамысловатая, что здесь, что в курной избе где-нибудь на Пахре или Яузе, когда гремят песни, и ноги сами пускаются в пляс, и рад всех обнять, с кем сидишь за столом, и рад всех вместить в сердце свое; чужая простая жизнь, отдых на бесконечном пути перед трудом или дальней дорогой — простая жизнь, называемая счастьем...

Он даже не заметил (все двоилось в глазах от застывших непролитых слез), как в обширной горнице началось деловитое шевеление, как приподнялся хозяин, как разом встали, поворотя ко князю, красавцы сыновья, и опомнился, только когда перед ним на столешню, раздвинув блюда и кубки, положили сияющее чудо: круглый, восточной работы, выпуклый щит, из самой середины коего, как из цветка, бежали, завихриваясь, стальные синеватые струи, как что и в глазах, присмотрясь, начинало плыть и кружить, точно щит все быстрее и быстрее поворачивал пред ним на столе, подобно окованному серебром колесу стремительно проносящегося мимо боярского возка. А по струям голубой стали шла мелкая вязь чеканного рисунка: золотые олени и барсы в стремительной звериной охоте бежали по бегучим стальным, расходящеюся спиралью закрученным лучам.

— Ето тебе, Семен Иваныч! — засопев, промолвил Василий Протасьич, сгибая толстую шею.— Как бы вроде... ты, княже, защита наша и оборона. Дак потому...

Все пятеро дружно поклонились. Андрей Кобыла, тоже любуясь щитом, пророкотал весело:

— С намеком, княже! Вишь, и дале просят боронить от всякого ворога!

Семен любовал подарком молча. Приподнял — щит был крепок, но не тяжел и, верно, искусного мастерства. На Руси таковых еще не умеют делать... Научат! — подумал Семен. Рано ли, поздно, а постигнут любую хитрость! Опять воспомнился мастер Борис и его глаза, приученные к безошибочной работе, глаза мастера. Сумеют! А пока... Пока надлежит не спорить с Ордой!

Он бережно отдал щит на руки дружинникам. Многие повылезали из-за столов, иные тянули шеи, ропот восхищения тек по горнице... И пусть бы таково и шло! Все бы и длился пир, не кончаясь вовек... Так ему нынче не хотелось к себе домой!

ГЛАВА 60

Стефан уже несколько месяцев пребывал в монастыре Богоявления. К осени, помогши брату напоследях устроить пустынножительство и сведя его с хотьковским игуменом Митрофаном, он взял посох и пешком пошел в Москву, поняв, что стезя братня — не его стезя и приглашением митрополита Феогноста гребовать не следует.

Преосвященный Феогност был в столице, и судьба Стефана устроилась на удивление споро и легко. Вымокший и усталый, вдосталь намесивши ногами и посохом ледяную грязь, он входил в монастырские ворота, когда из них выезжал митрополичий возок. Кони замешкались, Феогност сердито выглянул в оконце и заметил высокую фигуру монаха, заляпанного дорожною глиной, вжавшегося в бревна воротней башни, пропуская коней и дорогой поезд духовного владыки Руси. Феогност уже захлопывал затянутое бычьим пузырем оконце возка, когда пронзительный лик монаха пробудил в нем угасшее было воспоминание. Он велел остановить возок и подозвать странника. Высокий монах подошел на зов и опустился на колена прямо в мокредь, принимая благословение. Живо воскресив в памяти всю беседу с обоими братьями в Переяславле, Феогност поначалу не мог вспомнить имени инока. В голове почему-то попеременно вставало — то Феофан, то Феодос. Он, дабы не возвращаться с пути, велел служке проводить путника в мо-

настырскую избу, приказав принять брата, яко надлежит по уставу монастырскому (это значило — принять хорошо; да, впрочем, забота митрополита о неведомом страннике уже и сама по себе значила немало).

Инок, как он узнал на другой день, с дороги не лег почивать, но, вкусивши лишь хлеба с водою, «и того поскуду», сразу пошел во храм, выстоял всю службу и, даже воротясь к ночлегу, не лег, но почти всю ночь простоял на безмолвной «умной» молитве. По́ходя Феогност наконец узнал (тут же и воспомнив) имя инока — Стефан. О младшем брате Стефана, Варфоломее, он спросил потом у самого Стефана, с легким удивлением узнав, что тот исполнил-таки задуманное и остался один в лесу, в новоотстроенном ските под Радонежем, в десяти ли, пятнадцати поприщах от Хотькова.

Упорство младшего, как и благочестие старшего, равно понравилось ему. Посему Феогност распорядил принять Стефана в монастырь без вклада, тотчас зачислив его в ряды братии. Помещался он сперва вместе со старцем Мисаилом, почему и завязалось это знакомство, не прервавшееся и спустя время, когда Стефан уже начал жить в келье Алексия.

Все время памятуя о Варфоломее, оставленном в лесу, Стефан нарочито подверг себя самой суровой аскезе. Монастырь Богоявления был обычным для тех времен столичным монастырем. Монахи жили кельями, каждый в особину, кто пышно, кто просто — по достатку, вкладу, мирскому званию или духовным устремлениям своим. Подвижничество Стефана посему было тотчас замечено и отмечено. А поскольку он, упорно подавляя в себе гордыню, услужал всякому брату, охотно ходил за больными, не гнушаясь ни смрадом, ни нечистотой, избегая к тому же являть на люди свою ученость, то и мнение о нем братии сложилось самое благоприятное, с оттенком удивления и снисходительной доброты.

С Алексием он познакомился месяца два спустя, на литургии. Стефан не ведал еще, что всесильный наместник Феогноста прибыл на Москву и остановился в своей келье, у Богоявления, но, явившись в храм, тотчас обратил внимание на непривычное многолюдство (явились все монахи, даже и те, кто порою отлынивал от службы, и не просто явились, а подобравшись, расчесав волосы, заботно приведя в порядок одеяния свои). В храме стояла настороженная тишина, и когда Стефан стал на клиросе в ряды хора, ему прошептал сзади некто из братии:

— Отыди, Стефане, здс место Алексиево!

Стефан удивленно отступил посторонь, и тотчас среднего роста монах скорым неслышным шагом прошел сквозь ряды иноков и стал рядом с ним, обратив к алтарю широколобое, узкобородое лицо с умными глубокими глазами, как-то очень легко и одновременно плавно осенивши себя крестным знамением.

У монаха (Стефан уже понял, что это и был Алексий) оказался приятный и верный голос, и Стефан, вслушиваясь, невольно начал пристраивать к нему и сам. Церковное пение в семье боярина Кирилла любили всегда, и потому Алексий, в свою очередь, скоро почуял доброго певца в незнакомом брате (впрочем, не совсем уж и незнакомом — он скоро догадал, что сей инок и есть тот самый Стефан, о коем ему рассказывал Феогност). И так они стояли и пели в лад, на два голоса, почти неразличимые в согласном монашеском хоре, еще не обменявшись ни словом, ни даже взглядом, почуявши, однако, к концу службы отчетистое взаимное благорасположение.

Алексий бегло улыбнулся, глянув Стефану в лицо, сказал греческую пословицу, намерясь тут же и перевести ее на русскую молвь, и — не успел. Стефан, сверкнув взором, ответил длинною греческою фразой, от неожиданности едва понятой Алексием, после чего примолвил, опустив взор:

— Прости, владыко!

Алексий, однако, вовсе не был обижен и, даже напротив того, тотчас постиг, что перед ним свой, равный ему муж, принадлежащий, как и он, к великому духовному братству «мужей смысленых» (или, как сказали бы мы, интеллигентов), которые во все века истории и во всех языках и землях, во дворцах и в пыли дорог, в парче или, много чаще, в ветхом рубище, в звании ли странствующего монаха, аскета, подвижника или ламы, пустынника, дервиша, киника, йога, церковного иерарха, мужа ли науки, философа или творца, изографа, подчас даже и воина или купца, торгового гостя, короче — в любом обличье, встречая друг друга и только лишь поглядев в глаза и сказав одну-единственную фразу или даже слово одно, тотчас узнают один другого, словно разлученные некогда братья, словно любимые, разыскавшие любимых в чуждой многоликой толпе, и уже с этого слова, со взгляда этого начинают и говорить, словно расставшиеся давным-давно и вновь встретившие один другого друзья, и чувствовать, и глядеть на мир согласно

и отделенно от всех прочих, от многоликой толпы тех, в коих светлый дух еще не прорезался и не выявил себя в темных оковах плоти.

Да, знал Алексий, что поддайся сему чувству целиком, и можно пасть жертвою страшного искуса, стать гностиком или даже манихеем, проклинающим зримый мир ради плененного им духа, как учил древний персидский пророк Мани, но и бежать вовсе от сего не мог, да и не похотел, тотчас увидя в Стефане все то, что обворожило Феогноста во время памятной переяславской встречи.

Далее было совсем просто предложить именно ему поселиться в своей часто пустующей келье, где, со вселением Стефана, настали тотчас отменный порядок и чистота, к коим наместник, при всей суровой простоте своего быта, а может быть именно из-за нее, был неравнодушен весьма. Алексий, наезжая, находил каждую из книг именно на своем месте, со вложенными в них своею рукой закладками, но не обнаруживал теперь пыли на переплетах и обрезах книг, ни зелени на медных застежках тяжелых фолиантов. Вычищены были и его обиходные монастырские подрясник и мантия. Пол в келье светился, вымытый и натертый воском. И все это Стефан сотворял как бы незримо, ибо Алексий, почасту заставая брата на молитве, ни разу не сумел застать его с лопатою, веником или тряпкою в руках.

Вечерами, когда выдавался у Алексия редкий свободный час, они подолгу беседовали, и Стефан обнаруживал не только глубокое знание писания или святых отцов, но и живое понимание днешних трудностей церкви православной, почти предсказывая то, что должно было произойти в ближайшем будущем в Литве ли, Византии или немецких землях. (Так, когда король Магнус надумал вызывать новогородцев на спор о вере, нудя принять латинство, Алексий вспомнил предостережение Стефана, высказанное им незадолго до приезда Калики в Москву, о том, что католики именно теперь потщатся подчинить себе Новгород Великий.)

Так скоро вспыхнувшая дружба Алексия с ростовчанином все росла и росла, и уже наместник Феогностов не шутя подумывал о том, что инок Стефан достоин иной, высшей участи, ибо разглядел в нем, помимо глубокой учености, и волю, и укрощенное честолюбие, и силу духовную, способную подчинять людей.

С отбытием спасского архимандрита на ростовскую кафедру сам собою встал вопрос о выборе нового игу-

мена для Богоявленского монастыря, и Алексий безотчетно подумал прежде всего о Стефане. Тем паче что с возведением в сан игумена Стефан мог бы стать и духовником великого князя Семена, о чем Алексий подумывал едва ли не с первой беседы с ростовчанином, присматриваясь и сомневаясь, но и убеждаясь, что — да, лучшего иерея для сего дела, многократно обещанного великому князю, ему вряд ли найти.

Труднота была лишь в том, чтобы уговорить братию Богоявления. Все же Стефан был пришлый, для многих не свой, в монастыре пробыл всего несколько месяцев, а приказывать братии своею волей Алексий и мог, да и не хотел, не желая ропота и тайного отчуждения, неизбежных при самоуправстве власть имущего. Тут-то и пригодился ему чернец Мисаил.

Еще Филипьевым постом, встретив обоз с лесом, ведомый Мисаилом-Мишуком, Алексий, остановя свой возок у груды выгружаемых бревен и поглядев с минуту молча на спорую работу послушников и монастырских трудников из мирян, кивнул старцу Мисаилу подойти и, улыбнувшись слегка, одними глазами, напомнил ему о том давнем дне, когда Мисаил, еще Мишук, приехал в монастырь с обозом камня.

— Протасий Федорыч, царство ему небесное, ищо был тогды! —разлепив толстые, обметанные непогодью губы в доброй улыбке, ответил Мисаил.— Тебе спасибо, владыко, пригрел ты меня!

— Пустое! Господь надзирает над нами, отец Мисаил! — возразил Алексий.— Все мы в воле его!

Еще помолчали.

— Брат Стефан в келье с тобою жил до меня? — вопросил Алексий.

— И ноне заходит! — с гордостью повестил Мишук.— Не забыват! Смысленый муж, а простой! И топором володеет, словно какой доброй древоделя!

Алексий чуть усмехнул простодушной похвале, вздохнул:

— И топором, и пером володеет! Ныне надобен настоятель месту сему, како мыслишь?

— О Стефане? — растерялся Мишук. Подумал, глянул в лик наместника. Тот безотрывно следил, как накатывают новые бревна в высокий костер ошкуренного леса. Как-то не задумывал никогда о том... Одначе почему бы и нет? Не москвич, дак... Все одно...

Поднял голову, решаясь, отмолвил: — Брат Стефан возможет и игуменом!

Алексий кивнул, будто того и ждал. Примолвил, однако:

— Не ведаю, примет ли братия Стефана! И молвить о том боюсь: меня послушают, а сердцем станут противу, то худо! Перемолви с иноками, подскажи! А про меня не сказывай, понял, Мисаиле? Не похотят — и я не прикажу! Может, иной люб...

— Старца Германа нудили, не восхотел! — откликнул Мисаил.— Да и ветх деньми...

— Перемолвь с братией! — повторил Алексий, усаживаясь в возок.— А мне скажешь погодя, келейно.

Алексий переговорил и с иными, многими, большею частью не так прямо, но дело было совершено. Те, кто и думать не мог о том, чтобы пришлого, без году неделя, откуда-то из-под Радонежа инока возвести в игумены столичного монастыря, теперь живо обсуждали, обмыслизали, прикидывали так и эдак, и всем уже негласный совет Алексия начинал казать не таким уж нелепым, как поначалу. Даже и тем, что пробыл в монастыре недолго и не принимал участия в местных дрязгах, борьбе и шепотах, Стефан устраивал всех. К Рождеству избрание Стефана, недавно возведенного Феогностом в сан иерея, было почти предрешено.

ГЛАВА 61

Василий Калика пустился в путь сразу после Рождества, по накатанной зимней дороге и прибыл на Москву с завидною скоростью — накануне Крещения. Еще прыгали по московским улицам хвостатые и рогатые кудесы, толпами шатались ряженые из дому в дом, когда разукрашенный новогородский поезд на рысях проминовал Занеглименье и, встреченный конными бирючами, близил к шатровым верхам, куполам и башням Богоявления.

Скакали в алых, рудо-желтых, зеленых, травчатых и голубых, подбитых соболями опашнях новогородские бояре, сверкала серебром сбруя коней, переливались самоцветным огнем звончатые удила и узорные чешмы, развевались шелковые попоны, заливистый звон колокольцев вздымал на дыбы всех московских собак и вы-

зывал восхищение мальчишек, что стаями бежали повдоль и вослед поезду. (Всю эту красу «новогородчи» вздели на себя, разумеется, перед самою Москвой.) Колыхался на раскатах стремительный, обитый серебром архиепископский возок. И лишь один Калика, что, выглядывая в окошка, крестил направо и налево сбегавшихся поглазеть на поезд горожан, не переменил своего обычного дорожного вотола на иное платье и только посох, уже подъезжая к Богоявлению, принял из рук служки узорный, архипастырский, с серебряным навершием из двух соединившихся змеев с изумрудными глазами, с каковым являлся лишь на самые торжественные богослужения.

Монастырский двор полон народом. Духовные и миряне, клир в золоте и шелках, разряженные бояре в долгих, до полу, охабнях и вотолах, в шубах, крытых китайскою и цареградскою парчою, в шелках, атласах и бархатах; темная череда монашеской братии; толпы мирян на въезде и за оградой; избранные горожане в нарядах, соперничающих с боярскими; сотни распуганных галок, сорок и ворон, вьющихся в поднебесье; говорливый шум толпы и все покрывающие красные переборы радостного колокольного звона.

Гремят, заливаются колокольцы. Новогородские бояре в опор въезжают в распахнутые створы ворот. Храпят кони. Всадники в дорогом узорочье соскакивают в снег. И вот — возок архиепископа. И Стефан, волнуясь излиха (даже сохнет во рту — эту встречу впервые поручили ему, ему!), делает шаг вперед, к распахнувшимся дверцам возка. Он не знает Калику и ждет осанистого великана, что медведем, в злате и жемчугах, тяжко вылезет из возка, ступит, проминая снег, на алые сукна... А из возка появляется скромно одетый, невеликого роста, суховатый и подбористый, быстрый в движениях старец, глядит веселыми глазами в растерянное лицо Стефана, сам легкий, точно птица из сказочных индийских земель, в облаке легкой, сквозистой, изголуба-белой бороды, и только по высокому посоху да по надетой вместе с дорогим, в самоцветах, нагрудным крестом узорной цареградской панагии догадывает Стефан, что пред ним сам владыка Новгорода Великого, и, густо покраснев, спешит склонить в поклоне свой куколь и поцеловать суховатую,

приятно пахнущую руку благословляющего его архиепископа. Тем часом из возка показывается спутник Калики, русоволосый и чем-то ужасно похожий на своего архипастыря, глядит внимательно окрест и на Стефана в особину, произносит по-гречески приветствие, и Стефан, в растерянности все еще не собравший себя, едва поспевает сообразить и тоже по-гречески ответить Лазарю (грядущему Лазарю Муромскому, ибо это именно он).

Стефан уже чует, как у него взмок лоб под скуфьею, рука взлетает отереть чело и замирает на взъеме — нельзя! Он бережно ведет Калику, вернее, поспешает вслед за ним. Новогородский владыка почти бежит по дорожке, стремительно и любопытно оглядывая густую толпу встречающих, и крестит, крестит, крестит, благословляет, на ходу легко протягивая руку для поцелуев. Видно, привык иметь дело с толпами горожан. И Стефан идет вслед за Васильем Каликою, уже начиная привыкать к облику гостя и постепенно овладевая собой. И не то что завидует — нет! — а видит, зрит, готовит себя внутренне для того же, для руковожения толпами, для пастырского началованья, стойно великому — он уже начинает понимать, что именно так, великому, даже и сугубо, в этой своей обезоруживающей стремительной простоте и страннической ясности взгляда,— великому новогородскому архиепископу, прибывшему ныне, дабы подтвердить церковный и иной союз Нова Города и Москвы. И не важно, что далеко не все в Новом Городе жаждут этого союза, не важно, что в монастыре на Сковородке сидит, упрямо злобствуя, прежний владыка новогородский, Моисей, и ждет своего часа, намерясь отврещися Москвы, а на карельских пригородах Новгородской республики, вопреки московскому похотению, правят наследники литовского князя Нариманта,— ныне, днесь, можно забыть обо всем этом и радостным звоном колоколов, гласами хора и слитными криками горожан приветствовать духовного главу северной Руси, которая могла бы, повернись поиному судьба, и отпасть навовсе от Руси Московской. И, понимая все это, кожей, мурашками восторга чуя величие наступившего мгновения, Стефан спешит вослед Василию Калике, взволнованно-радостный.

Ему вводить владыку в приготовленные для того палаты, заботить себя едою и устройством гостей,

следить, дабы всюду был соблюден чин торжественной встречи и не совершилось какого безлепия или непотребства, ему не спать и почти не есть все эти суматошные дни, но, невзирая на все, он счастлив и горд паче меры: наконец-то впервые для себя и он, Стефан,— напрасно мечтавший когда-то, еще в Ростове Великом, с амвона руководить толпами,— прикоснулся к гордому подножию духовной власти над миром!

ГЛАВА 62

С князем Семеном Иванычем Калика встретился в тот же день, ввечеру.

Торжественная встреча была назначена на завтра, и принимал Симеон Василия Калику келейно, в том, избранном еще Калитою, высоком (недавно вновь отстроенном) покое Богоявленского подворья, невдали от Троицких ворот Кремника, куда князь, при нужде, проходил незамеченным дворами и крытыми переходами прямо из своих теремов.

С князем лишь двое бояр — Михайло Терентьич и Феофан Бяконтов. Феогноста нет, он завтра будет вручать Калике священные крещатые ризы. Присутствуют зато Алексий и Лазарь, доверенный грек новогородского архиепископа. О встрече этой не всем надобно знать, хоть тут и не решают зело важных дел господарских. Решается здесь другое. Душевное благорасположение великих лежит ныне на незримых весах времени.

Постаревший и от старости еще более легкий, почти невесомый Калика остро и светло вперяет взор в лик московского князя и говорит, говорит... То просто, то витиевато, уснащая книжную речь милым его сердцу и почти уже неотрывным от него самого новогородским просторечием. А князь Семен слушает, точнее — внимает ему, почти не притрагиваясь к трапезе, и тоже безотрывно глядит в светлое лицо Василия Калики. Ибо не угрозу литовскую, и не посягательства свейского короля, и даже не упорство орденских рыцарей надлежит ему понять ныне, а вот это: можно ли доверить себя этому легкому, точно птица, и мудролукавому архипастырю, можно ли полагать, что не предаст, не изменит, не отворотит лица своего от православной Москвы, что не впадет в гибельный для Руси

союз с латинскою церковью? Вот что должно сейчас понять Симеону, вот почему и почто митрополит Феогност подносит крещатые ризы владыке Василию. В том и признание исключительности церкви новогородской, в том и знак неотрывной ее связи с Москвой.

И знает ли сам Василий, что именно теперь, при жизни его, будет решена судьба, на века и века, Господина Великого Новгорода? И решена так, что не распадет Русь надвое и останет целою в великих пределах своих? И оттого вся судьба великой страны пойдет так, а не инако, и создастся держава, в которой народы, связанные единством исторической судьбы, в отличие от латинского Запада и вперекор враждебным находникам от стран полуночных, с юга и востока, сольются в единое государство, с единым законом и властью и равным уважением ко всякому населяющему эту державу языку...

И понимает ли даже и Симеон всю огромность того, что встает за этою встречей? Понимает ли, что на весах судьбы — тысячелетие России и сама она, такая, какой стала спустя века?

Да, он понимает, что нельзя, не можно отдать Литве, Ордену или шведам ни Новгород Великий, ни Псков, и понимает, что оружием не добьется сего, скорее напротив, отпихнет, отторгнет от себя упрямые вечевые города. Да и сам он не любит и не хочет союза, скрепленного кровью, союза-одоления. И потому крещатые ризы, и нынешняя встреча, и звоны колокола, и внимательный взгляд в лицо. Калика ему полюби и по нраву. Он сердцем все более понимает хитрую правоту Василия и сам молча молит того: пойми и ты меня! Я, как и отец мой покойный, не могу иначе! Но все, что могу, дабы не было крови, гнева и слез, сделаю для тебя!

Будут в веках и кровь, и слезы, и жестокость напрасная; и край будет отдан шведам, беспощадно вырезанный своими же. Но то будет в немыслимом еще далеке, и не ему и даже не потомкам его грядет совершити такое.

Не обманывает ли Симеон себя и Калику? Не мягко ли стелет новогородцу жесткую постель времен Иоанна Грозного? Нет, не обманывает! Страна, раскинутая окрест и далее, еще не завоеванная, или, вернее, еще не отвоеванная и не обихоженная, страна, дабы не умереть, не погибнуть пред ликом густона-

селенного, воинственного и хорошо вооруженного Запада или грозного, многолюдного Востока, страна эта должна иметь власть единую, иметь власть — или погинуть в потоке времен. Дай же князю Семену творити потребное, не прибегая к силе меча! Дай Василью Калике понять наконец, кто перед ним, и, поняв, смириться, перестать хитрить и метаться меж Литвою и Русью, хотя бы ему одному, ибо слово архипастыря тяжко весит в Новгороде Великом!

— Достоит тебе, владыко, умирити град свой со Псковом! — говорит Семен, и Калика, вздыхая, опускает очи:

— Непоклонливы плесковици-ти! Литовски князи тож православны, Нариманта твой батюшка в правую веру окрестил! Есчо и затем приехадчи к тебе, княже, заутра повторю, а ныне реку: поезди к нам на стол, покажись, тово! Есчо ить и не был в Нове Городи, батюшко! Есь цего показать, есь цем поцванитьси, есь цем и встретить гостя дорогого! Не гребуй нами, господине, приезжай не стряпая! Мне-ста, старику, легце будет твою руку держать опосле того!

И тут вот в голосе Калики и прозвучала усталость давняя от нестроений градских, и понял князь, что днесь не лукавит пред ним Калика и что надо ехать ему самому, сажаться на стол новогородский, поклон за поклон воздать!

— Много промеж нас нестроенья и нелюби, княже, и обиды ти помнят новогородчи крепко, не посетуй на слово праведное! А вера одна, православная, ее же обереци надобно от латинов и немечь! Пото и смиряю себя, и ты смирись, князюшко, приеди, посиди, погости у нас!

И такая истомная усталь вдруг прозвенела в голосе Калики, что за столом примолкли невольно, и князь, посупясь, опустил чело.

— Приеду, владыко! — отмолвил тихо. И вновь поглядел, и вновь кивнул. А Лазарь, почуяв истому Василия, подал голос в свой черед, и речь потекла складная, плавная речь о Византии, где гибельное разномыслие паче, нежели на Руси, губило страну, захватываемую турками, и где сама вера, древняя вера Христова, едва лишь была спасена двумя Григориями, Синаитом и Паламою. Теряя плоть, умирая, Византия спасала предсмертно свой дух, то, с чем и на чем возникла она и со славою полторы тысячи лет несла

светоч истины сквозь века, войны и наплывы жестоких врагов. Несла, падая и воздымаясь вновь, и в мерзостях и в славе своих кесарей, и теперь, умирающая, жаждала передать свет в иные, живые руки, сберечь дух и слово, спасшие человечество от гибели.

И о том тоже кто понимает днесь, в тесном покое Богоявленского подворья? Разве молчаливый Алексий смутно догадывает о величии часа сего. И посему молчит. Слушает, внимает и смотрит, ибо иногда и слова бессильны и даже не нужны, ненадобны. А так вот посидеть рядом, почуять друг друга, уверясь в себе и в госте своем, и после вновь разойтись к многотрудным делам правления, к тому, что есть «плоть», омрачающая «дух», и строго блюстись, дабы не впасть в «ересь манихейскую», не усомниться хотя на миг в красоте и величии мира сего.

ГЛАВА 63

Праздник Богоявления в этом году отмечали на Москве особенно пышно. Службу, литургию Василия Великого, правил в Успенском храме Кремника при гигантском стечении народа сам новогородский архиепископ Василий Калика в подаренных ему Феогностом крещатых ризах и омофории.

Стефан, уже извещенный о том, что вскоре после празднеств состоит его посвящение в сан игумена, прислуживал Калике на проскомидии и выносе святых даров.

Торжественно и величаво звучал хор мужских голосов, прерываемый дивными возгласами глубокого дьяконского баса. Калика, не оставшись в долгу перед митрополитом, привез на Москву и передал Феогносту дьякона Кирилла, про коего московский летописец писал впоследствии: «Его же глас и чистота язычная всех превзыде».

Стефан, трое суток уже почти не спавший, был как в восторженном сне или бреду. Он не ходил, а плавал, совершая все должное по чину. Волны звуков накатывали и проходили через него, как валы морские. Вздохи плотной, плечо в плечо, толпы москвичей и согласное вздымание рук в двуперстном крестном знамении сотрясали его до дна души. И то, как служил Калика, с нежданною, дивною, до сердца хватающею простотою и искренностью обращения к Богу, тоже

поражало и несказанно умиляло Стефана. Он не чуял временами ни ног, ни рук, ни даже тела своего, и казалось тогда: вот он и улетит, пронизанный лучами незримого света, или падет бездыханным с улыбкою на устах...

После литургии духовные и часть мирян остались в притворе — вкусить обрядовую трапезу. Ломоть хлеба, горсть орехов, моченое яблоко — вместо фиников и смокв — и чаша с медом или красным вином были поставлены перед каждым на самодельных столах вдоль лавок, обогнувших стены притвора. Монахи, испив и поев, расходились по кельям для безмолвной, вплоть до вечерни и навечерия, уединенной молитвы. Стефану же и тут не можно было даже присесть, но он был доволен и этим. Праздничное, волшебное, полубредовое состояние не кончалось в нем. Он едва слышал негромкую молвь трапезующих, их неложные хвалы голосу новогородского дьякона Кирилла и толки о том, кто из великих бояринов где стоял во время богослужения. Испив глоток вина и откусив хлеба, он, даже не притронувшись к прочему, пошел готовить потребное к водосвятию.

Во льду Москвы-реки под Кремником с вечера Сочельника уже была вырублена огромная иордань в виде креста, края которого москвитянки окрасили в алый цвет ягодным соком.

Водосвятие должно было состояться вскоре после литургии, еще на свету. И скоро уже золото-серебряная, алая и голубая процессия с пением стихир и тропаря «Во иордани крещающуся» двинулась долгою змеею вниз, вдоль стены Кремника, к реке, остолпленной уже тысячами народа. И ясно звучали в морозном воздухе высокие, ладные голоса. Толпа, не глядючи на мороз снимая шапки, валилась на колени, и сам митрополит Феогност с Каликою попеременно троекратно погружали кресты в воду, и Стефан, пребывавший все в том же своем восторженном состоянии, читал ектению, почти на срыве, почти на едином вздохе, видя лишь размытые пятна сотен и сотен лиц перед собою, растворяясь и сам, почти до конца, в трепетном молитвословии.

Сейчас клир церковный пойдет по домам, освящая святой водою хоромы и скот, а тут начнут, скидывая шубы, прыгать в ледяную воду, невзирая на вечер и трескучий мороз, и в сумерках ранней зимней ночи

толпа гомоном и веселыми криками учнет приветствовать храбрецов, а высокие промороженные звезды — с любопытством глядеть на удалую потеху православных, содеявших обрядовое купанье в иордани не в теплых южных водах, а у себя, во льду и снегах сурового севера. А Стефан, не вспоминавший о младшем брате во все эти суматошные дни, станет на молитву, с поздним раскаяньем припомнив Варфоломея-Сергия, одиноко встречающего сейчас праздник Крещения у себя в лесу.

Торжества, пиры и службы продолжались еще два дня, а на третий новогородский архиепископ тронулся в обратный путь. Отныне крещатые ризы станут надолго гордостью и отличием новогородских иерархов, и владыка Моисей, пересидевши-таки Калику и вновь заняв владычную кафедру, тотчас пошлет в Цареград, дабы получить и себе крещатые ризы, а еще позже будет сложена повесть о белом клобуке и крещатых ризах, якобы освятивших духовное первенство церкви новогородской.

Но и то надобно изречь и отметить в хвалу и честь князю Симеону с митрополитом Феогностом, что церковного отделения новогородской епископии от владимирской митрополии, отделения, которого так жаждали и Литва, и Свея, и Орден, не произошло ни тогда, ни впредь. И Русь не была расколота надвое, несмотря на все усилия инакомыслящих и на Руси, и за рубежами страны.

ГЛАВА 64

Сергий — он уже начал привыкать понемногу к своему новому монашескому имени, забывая порой, что еще недавно звался Варфоломеем,— с натугою отворил пристывшую дверь кельи и стал на пороге, ослепленный и оглушенный метелью. Шумно качались ели, снежные вихри били ему в лицо, белым морозным дымом заволокло всю округу, так что ни зги было не видать уже в двух шагах. От тропинки, прочищенной утром, не осталось и следа. Ветер выл на разные голоса, то грозно и высоко, то визгливо и печально, тяжким гулом отвечал ему лес, и казалось, в вое и свисте метели слышатся иные голоса: то бесовские хоры не одоленной им еще нечисти кружат свои вьюж-

ные хороводы, то хохочет леший, хлопая в ладоши, и звери, забившись в чащобу от непогоды, начинают выть, почуяв лесного хозяина. Чьи-то глаза мелькают в кромешной тьме, какие-то тени проносятся в струях метели...

Он отлепился от двери, шагнул во тьму, тотчас утонув по колена в снегу, и теперь въяве узрел длинную серую тень с парой горящих глаз, плеснувшую через дорогу. Волки! Бледнея, он протянул руку к поленнице, прихватив так кстати забытый там с вечера топор, и так, с крестом в одной руке и с топором в другой, двинулся в снежную тьму в сторону церкви.

Несколько серых теней ринули к нему. Сергий поднял медный крест, волки отпрянули на миг, но, стоило ему шагнуть дальше, вновь кинулись на человека. Он взмахнул топором, отбив обухом серого негодяя. Волк, клацнув зубами и взвыв, откатил во тьму, а на его место тотчас выскочил второй, впившись ему в толстый рукав грубого суконного вотола. Сергий вновь поднял топор и хватил волка между глаз обухом. Лезвием рубить было бы вернее, но он невольно пожалел серого разбойника, и рука не поднялась попросту убить зверя.

Так отбиваясь и обороняясь, он дошел наконец до бревенчатои церковной стены и оперся о нее спиной. Волки с воем отхлынули посторонь, и Сергий сумел невредимо долезть до крыльца. Пятясь, он отворил дверь, в которую вместе с ним тотчас ворвались вой ветра и бешенство метели, и, захлопнув ее, весь оснеженный, долго стоял, полузакрыв глаза, опоминаясь. Потом прошептал: «Господи, воля твоя!» — сбил снег с вотола и лаптей, постоял еще, мысленно собираясь, сосредоточиваясь к молитве, прошел в темный холод церковного нутра, ударив кресалом, возжег трут, от него свечу, последнюю, береженую ради нынешнего двунадесятого праздника Крещения Господня, вставил в светцы приготовленные лучины, возжег и их и прошел в алтарь.

На аналое и престоле тонкой мертвою пеленой лежал снег. Белая морось, пробиваясь откуда-то с потолка, сеялась и сеялась в неровном свете лучин, незримо осыпая пол церкви. Выло и гремело снаружи, царапая когтями дверь, словно бесы, объединившись с волками, рвались к нему, дабы помешать молитвенному бдению. Ни Митрофан, ни иерей, посланный от него, не могли

бы дойти к Сергию в такую метель и совершить проскомидию. Посему Сергий удовлетворился черствым кусочком антидора, припасенным с прошлого посещения обители священником, и, став пред алтарем (с коего сперва смахнул снег, после чего разложил, развернув, антиминс и поставил на него деревянную дарохранительницу), начал читать по памяти часы. Ему очень хотелось самому совершить, хотя бы и для себя одного, всю литургию Василия Великого, на что он, однако, не будучи рукоположен в священники, не имел права. Пришлось удовлетвориться чтением тринадцати паремий и пением тропаря. Странно звучал его одинокий голос в вое и свисте метели, казалось, заполнившей все пространство над церковью и вокруг нее.

— Царю небесный, уте́шителю ду́ше истины! — читал Сергий.— Иже везде сый и вся исполняяй, сокровище благих и жизни подателю, прииди и вселися в ны, и очисти ны от всякия скверны, и спаси, блаже, души наша!

А в дверь царапало и скребло — не то волки, не то ветер. Струи метели ледяной крупою били в бревенчатую стену церкви, и серебряный тонкий снег оседал и оседал на антиминс престола и аналой...

— Слава в вышних Богу, и на земли мир, в человецех благоволение! — возглашал Сергий, а слитный тяжкий гул леса и бешеный ветер, несущийся в безмерных ледяных просторах над оснеженною землей, отвечали ему:

— Нет, война! Война и лютая злоба! — И выло, ревело, плакало, сотрясая невеликий храм, в котором одинокий голос упорно повторял заветы истины и любви.

Потрескивая, горят лучины, заботно вправляемые вновь и вновь недреманной рукою Сергия. (Свеча загасла, потушенная его пальцами. Авось да завтра, ежели утихнет метель, явится к нему на лыжах священник из Хотькова и совершит литургию по полному чину, с дарами на престоле и причащением хлебом и вином, плотью и кровью Христовыми.)

Воет метель. Словно бы мир уже исчез, погребенный снегами, словно бы все живое и мыслящее умерло уже, и только в малой точке земной, в тесной, сотрясаемой ветром церковке, в неровном светлом круге двух горящих лучин, молится, стоя на коленях, единый свя-

той муж и один не дает умереть земле, поддаться и отдаться на милость стужи, мрака и ветра.

Он поет, под вой метели, коленопреклоненный, и вставляет, возжигая, лучины, и кладет поклоны, прикасаясь лбом к оснеженному ледяному полу, и читает «мирную» ектенью, прося мира всем христианам — мира, а не войны,— и ветер злится и ропщет, стараясь перекричать упрямство монаха, поющего теперь праздничные антифоны в честь Святой Троицы. Но он не слышит гнева метели, не чует холода намороженного храма. Весь в трепетном круге света, он поет и читает псалмы, славит Господа с глубокой верою и восторгом пред величием Божества, дозволившего ему славить себя здесь, в этом лесу и в этой беснующейся стихии, среди гласов которой тонет, не пропадая, и все виясь и виясь, и его слабый голос, и его дар великому создателю всего сущего.

Приблизил ли он к монахам святой Афонской горы? Достиг ли умной молитвы? Узрит ли он, как они, фаворский свет в келье своей? Сергий не думает сейчас об этом. Он вообще не думает такое и о таком. Сейчас он славит Господа и будет славить его по всяк час — в келье и в лесу, на молитве и за работой, с водоносами или топором в руках,— его и пресвятую Богородицу, извечную заступницу сирых. И вой ветра, и волки, и снег, и стужа отступят от него, утомясь, обезоруженные упорством монаха.

Воет ветер. Высоко и жалобно гудит, проносясь над мертвой землей. Сергий тушит огарки лучин, опуская их в снег, потуже затягивает пояс. Теперь надобно дойти до дому, совершить скудную трапезу, истопить печь и, вновь перейдя из хижины в холодную келью, творить молитвы, вслушиваясь безотчетно в затихающий метельный вой.

После, перед сном, прежде чем прикорнуть на мал час на своем твердом ложе, он еще помянет за здравие всех близких, и особо брата Стефана с чадами, и за упокой — родителей своих и Нюшу, супругу Стефана. С утра опять надо чистить снег, чинить огорожу, принести воды и топтать дорогу в лесу: авось до него доберется, хотя к вечеру завтрашнего дня, иерей из Хотькова!

А ветер воет в безмерных просторах вселенной, приходя из неведомых далей и уходя в вечность, воет и плачет, оплакивая все живущее на земле, и злится,

сотрясая затерянный в лесу крохотный храм, и яро засыпает снегом хижину с кельей, в коих один неведомый почти никому монах молит Господа, и благодарит, и славит мир, созданный величавой любовью, словно бы незримые токи мировых энергий взаправду пересеклись и скрестились именно здесь и именно в нем, дабы воплотиться впоследствии в свет, осиявший русскую страну и поднявший ее из праха порабощения к вершинам мировой славы.

ГЛАВА 65

Все же лишить Настасью, вдову великого брата, ее родового места в тверском тереме Костянтин не сумел. Вмешались духовные лица, поднялся ропот бояр и купецкой старшины. Пришлось уступить. Память Александра, князя-мученика, вослед отцу загубленного в Орде, была по-прежнему дорога тверичам. И теперь, когда Тверь готовилась встречать на проезде в Новгород великого князя владимирского, Настасья вновь хлопотала на своей половине, готовя встречу и угощение высокому гостю.

Старопрежний гнев противу московского князя поутих за прошедшие годы. Нынче новая беда застила свет — самоуправства деверя, что совсем уже лишил ее и детей тверских доходов, полагавшихся им по завещанию покойного. Короткий мир с Костянтином Настасья торопилась использовать, чтобы хоть как-то ободрить своих бояр, изнемогших от княжеских поборов, поддержать старшего сына Всеволода и вызвать из Нова Города младшего, Михаила, который должен был летом, окончив ученье, воротиться домой.

Подрастали Владимир с Андрейкой. Володе исполнилось одиннадцать, Андрейке — девять лет, давно и постриги справили обоим. Рос, так и прибившись к Настасьиной семье, Сеня, Семен, сын покойной московки. Подрастала Ульяна, сейчас уже обещавшая стать красавицей, когда наступит ее пора. Подымалась упрямая поросль Александровых чад, и казалось — только и надобно перетерпеть, выстать, выдержать, а там и дядья не возмогут преградить пути наследникам Александра!

С заневестившейся Машей были долгие ночные разговоры: любит ли тайно кого, скрывая от матери? Почему не идет замуж? -

— Не хочу, мамо! Мне, как и тебе, родовая честь дорога! Лучше в монастырь!

Да дело и пахло монастырем. Те годы, когда очертя голову рвутся абы за кого, лишь бы выйти, давно миновали. Потишела, осерьезнела ликом, тверже стала походка, темнее и глубже взор. Нет, никто не сушил девичьего сердца, само оно сохло в одиночестве и заботных трудах. И тяжко было представить, как без помощи Маши учнет она управлять с великим домом своим, и сердце болело: неужто единому богу невестой останет ее дорогое дитя?

А теперь все в разгоне, все в хлопотне и трудах — встреча великого князя! Пасть бы в ноги Семену Иванычу: «Защити!» Да слишком явно мирволит Москва старшим Михайловичам, утесняя чад Александровых... Не защитит! Токмо хуже б не стало...

На поварне стряпали, варили, пекли. Ворочаясь в терем, горячая от огненного печного жара, присаживалась на час малый и снова с усилием вставала: теперь в челядню, после в медовушу. Да всюду Костянтиновы холуи! Муки путем не отсыплют, масла не дольют! Деверь будто не слышит, не видит. Князь тверской! Нявга, не князь!

Отяжелела с годами, и прямая складка уже не сходила со лба. Дотерпеть! А до чего дотерпеть? Обводила глазами свое и не свое уже жило, поставцы с расписной глазурью и иноземным веницейским стеклом, ордынские сундуки, ковры и камчатные завесы, поминала дорогое оружие, забранное Костянтином. Не ровен час, Авдотья, змея, и в скрыни залезет, выгребет родовое, береженое: аксамиты и бархаты, атласы и персидские шелка, фряжскую парчу и лунские сукна, серебро и жемчуг — все, накопленное за годы спокойной жизни и сохраненное от прежних великих лет. (Тогда были страхи и охи, а ныне та пора кажет золотой и светлой, точно весеннее солнышко!)

Маша вошла в покой, подошла к матери, потерлась щекой, точно кошка. Настасья огладила дочерь рукой:

— Потерпи! Ужо встретим — и назад, к себе, за город.

— Я не хочу... Отпусти, мамо!

— Нельзя! Што ты! Нам огорчить великого князя — вовсе не жить!

— Не заметит он!

— Сам не заметит, бояре подскажут! Скрепись, доченька! Одна ты у меня опора, хозяюшка, одна! Скрепись! Братья-то у ево женаты, вишь, оба, не то бы...

— Не надо, мамо! Все равно мною не купишь мира с Москвой! Кто бы и был... Слишком много крови пролито меж нами!

Ничего не отмолвила Настасья, только крепче обжала дочерние плечи. Так и посидели молча обе несколько долгих минут.

— Пора! — Встала, надобно было поглядеть, каково тесто для пирогов: князь уже вот-вот, почитай, уже за Дмитровом! Даве бирючей навстречу услали... Костянтинова Авдотья нос-от дерет, а как до дела — золовушка, помоги!

— Скажи мужикам, готовили б платье цветное, в грязь лицом не ударить пред князем! Всеволод, тот и сам уж поймет, а за Володей с Андрейкой ты пригляди!

Услала дочерь и сама потащилась в хлебню. Кончен перерыв, краткий отдых на дороге жизни...

Костянтин встретился чопорный, исподтиха злой, прошал, готово ли все. Прошла, лишь вздернула подбородок:

— У меня завсегда порядня. Скажи холопам, не чинили б пакости людям моим, соли и той не допросишь у их!

Сама покаяла после, что сорвалась, а и остановить себя некак: даве опять с Бартенева-села рождественский бор Костянтиновы холуи наездом взяли; в оружии, яко на рать, наехали! Воины, тьфу! Под тем селом дедушко великую победу над ворогами учинил, доселева помнят! (В гневе уже и Костянтина не считала за сына Михайлы Святого. Сама понимала, что не права, а все одно — обида застила свет.)

Наконец, близко к вечеру, показались конные бирючи:

— Едут!

И — заспешило все. Явился епископ Федор, с клиром, в облачении и с крестом в руках — благословлять князя Семена на встрече; выстраивалась вдоль пути почетная стража; звонари уже зашевелили тяжкие языки колоколов. Россыпью побежали, засуетились холопы и кмети. Всеволод, чуть побледневший, замкнутый, в цареградской парче, вывел принаряженных

братьев. Все трое, ради встречи великого князя, посажались на коней и вот уже гуськом, вслед за сухопарым деверем, выезжают из ворот. Настасья, охнув (забыла, что сама в затрапезе), побежала переодевать летник и саян. Заскочив в тесную спальную горенку, торопливо разоболоклась до рубахи; дочерь Маша тут как тут: подает, не прошая, праздничные бусы, колты, янтарное ожерелье, розовые новогородские жемчуга. Мигом натянула темно-синий атлас в серебряных, звончатых, от горла и до полу круглых пуговицах сканого дела с гремками внутри, вздела парчовый коротель. Дочерь помогала застегивать саян, заплетать косы, подала праздничную головку. Скоро срядилась, глянула в иноземное зеркало — хороша! Глянула на Машу:

— А ты что ж?

— А я и так, мамо! — отмолвила твердо и губы поджав, не переспоришь.

— Хоша летник накинь!

Достала шелковый голубой летник, сверх буднишного сарафана накинула на плечи дочери. У Маши шея обтянута простым белым полотном с черною вышивкой, одна нитка янтарей на шее, лицо строгое и повойник темный, в редких жемчугах,— словно молодая вдова, право! Ну и пусть... Князь-от женатой все одно, некого ей собою прельщать!

Вышли обе неспешно, а уж у Спаса вверху били колокола, и далекий шум на дороге, куда ушли многие горожане вослед своим боярам и князьям, возвещал, что едут, близко уже!

Настасья со старшею дочерью остановилась в верхних сенях, у мелкоплетеного слюдяного окошка. Отселе весь двор — как на ладони. Подрагивая — в сенях было прохладно,— плотнее укутала плечи в пуховый плат, глянула на Машу. Та ждала отрешенно, застыв, точно неживая. Вот раздалось издали, сквозь тяжкое буханье колоколов, заливистое пение поддужных и шейных колокольцев, звонче, звончее, сильней, и вот разубранные кони, роняя пену с удил, врываются в опор на широкий двор княжого дворца. Горохом сыплют с седел, выстраиваются в ряд кмети, ржут и топочут кони, гомонят холопы у крыльца, враз становится людно и суматошно внизу, на дворе. И вот! Вот он! Верхом, не в возке, честь блюдет! Стойно покойному Саше или Михайле самому — тот, бают, завсегда на кони верхом въезжал во Тверь, когда из походов ворочалси!

Красивый конь легко поднес всадника ко крыльцу. Симеон соскочил наземь, чуть-чуть не доезжая. Спешивался приотставший Костянтин, спешивался Всеволод. Младшие, видать, не поспели. Спешивалась, посверкивая оружием и гомоня, дружина. Великий князь ступил на расстеленное сукно, одернул на себе долгий дорожный охабень, легко и прямо пошел ко крыльцу.

— Надоть встретить! — вздохнув, молвила Настасья и, кинув плат в руки подбежавшей сенной боярыне, пошла-поплыла павою вниз по ступеням, заране скрестив руки в белопенном шелке на высокой груди. Маша, нагнув голову, тронулась вслед за матерью.

Князь уже восходил по ступеням. В полутьме сеней, освещенных трепещущим свечным пламенем и скудным светом из зимних заиндевевших окон, неспешно подала, склонив голову, хлеб-соль на серебряном подносе, услужливо всунутом ей прямо в руки старшею из боярынь.

Семен Иванович с того последнего наезду возмужал, построжел, глядел прямо и властно,— обык, верно, начальовать, начал вести! А поклон отдал не скупясь, во весь пояс поклонил. Настасья даже радостно вспыхнула — честь! Мог бы лишь головою кивнуть... Хлеб-соль, мало подержав, передал старшому дружины и словами поздравствовал. На Машу глянул бегло и вроде удивленно, прираспахнувши ресницы. Глянул — и тотчас отвел глаза. Заметил ли, нет, и не понять было. Настасья повернула голову, подозвала взглядом. Девушка, опустив подбородок, стеснительно сделала шаг вперед.

— Дочерь! Мария, Маша! — сказала Настасья.— Поздравствуй князя Семена Иваныча!

Маша вскинула голову, вперила взгляд, глаза в глаза, побледнев и отемнев взором, кивнула с медленною натугой, сказала-прошептала приветствие. Князь Семен глядел, полураскрыв рот. Запоздало, когда девушка уже отворотила лицо, нетвердо, будто бы с удивлением, произнес:

— Здравствуй!

«Что ето с им? — подумала Настасья.— Словно оробел перед чем?» Но Симеон уже овладел собою, свел брови, выпрямил стан, густая кровь прилила ко щекам. Оглянул на бояр и дружину, прошел-прошествовал в покои, куда уже звал его, приглашая, князь Костянтин...

Пока там приводили себя в порядок с дороги, чистились, вздевали иные порты, омывали под рукомоем лица и руки, в обширной повалуше уже накрывали камчатными скатертями столы, разоставляли серебряные и резные из капа солоницы, вносили блюда с хлебом, подносы с холодными закусками. Уже с поварни, продев шесты в проушины котла, четверо слуг готовились нести дымящую паром уху из волжских стерлядей, уже и скоморохи в углу палаты приударяли по струнам — за хлопотами Настасья и думать забыла о странном погляде московского князя на встрече в сенях. Думы теперь были о пироге, кулебяке, да не подгадили ли Феня с Малушею, что осаживали и раскатывали давеча тесто, да не подвела ли старая печь в хлебне... Когда начали наконец заходить за столы, воздохнула обреченно: ну, теперь, ежели и неметно што, не исправишь уже! Отерла лоб и щеки, оправила повойник и плат — не стряпухою же на люди себя являть!

И только за столами, когда пошли перемены за переменами и чаши вкруговую заходили повдоль столов, кинулось в очи, что князь Семен безотрывно глядит все на Машу и не ест и не пьет почти... Женатой мужик, и нá-поди! Расстроилась даже... А Маша-то на него словно и не смотрит, умница! Ладно, пущай полюбует! Завтра уедет в Новгород, там уж и не бывать ему боле! Только успокоила сердце, а Семен-от Иваныч што и выдумал! Золотую чару легкого меду налил да и послал: Марии, мол, Александровне, прошу принять да выкушать! Тут уж (да через руки, от одного ко другому пошла чара-то, и кажной те слова повторит!) и Маша неволею глянула вновь на князя. Приняла гордо так, наклонила головку, отпила глоток, поставила перед собой. И князь с места воздал поклон, руку к сердцу приложил, благодарит... Сором! Покаяла, что и дочерь-то на пир пригласила; по-московски-то надоть было — одних мужиков созвать! А то за столами насупротив бояр — боярыни великие, новогородским побытом, да и сама, со змеей-Евдокией, тоже присела за столы. Все одно сором! Хошь и князь великий, дак и еще того боле сором!

Едва дотерпела до конца столов. Поскорей бы увести Машу в опочивальню, подале с глаз! А князь и тут подошел-таки и таково опрятно, негромко, с печалью высказал: просит-де не виноватить, ежели невольное грубиянство учинил; не хочу, мол, иньшей вины пред семь-

ею князя Александра, и так премного виноват, и еще раз просит простить его и не поминать лихом. Маша побледнела, голову подняла, ноздри раздула, воздохня, и тихо так в ответ:

— Прощаю, князь! — И руку с платком белым приподняла, не то защищаясь от него, не то прощаясь с ним, а князь тоже приподнял пальцы и, уж не углядела Настасья, вроде слегка тронул ее за кисть — и тотчас руку отвел и голову наклонил. Тут уж Семена толпою оступили бояре, кмети, чужие и свои. Машу поскорей увела от греха, у самой сердце билось непутем: стыд-то, в самом деле!

Маша на пороге опочивальни на материны покорные слова остановила, поглядела словно бы мимо лица:

— Матушка, сама ведь прошала, выдь да выдь ко князю великому! — И, губку прикусив: — Поди ко гостям! Я сама...

Так и не поняла ничего толком Настасья: было ли что промеж них али не было ничего и ей попритчилось только?

А Семен этою ночью не спал совсем. Ворочался на постеле, откидывал душное пуховое одеяло, лежал, распахнув ворот нижней рубахи, слепо глядя в потолок, слушая, как темная кровь толчками ворочает сердце...

Скакал уже от Дмитрова, словно на волю вырвавшись из тюрьмы, блазнило: чудо какое впереди, на дороге! Думал — Новгород, ан чудо оказалось здесь, в тверском терему... Ране того видел ли Марию, нет ли? И не вспомнит путем! Здесь же — как ослепило. На сенях, в темном повойнике, и ворот простой, черным узором обведен. Сперва, как подошла, чуть отворотя плечи, глянулся гордый очерк лица, точеный нос, и подбородок нежный, девичий, и долгие ресницы; а поглядела прямо — узрел широковатое лицо девушки, взрослое и детское одновременно, и большие беззащитные глаза — и утонул, умер, погиб. На руках бы унес, в терем посадил, на золотую постелю, и сам с мечом всю жизнь у порога простоял, охраняя ото всякой беды! Птицу бы Сирина добыл из земли индийской, камень Ти́рон или иное што! Такая-то вот, как в сказке молвится: заплачет, так бесценные жемчуга покатят из глаз... Всю жисть! Да иньше тово! И до жизни самой, еще тогда, когда душа токмо ждала воплощенья в телесном естестве, в тех мечтах, что, полузабытые, после, всю долгую земную стезю, снятся и помнятся и тревожат неземною

усладой,— в тех еще мечтах ждал ее и чаял ее! И глазами теми, еще тогда, до начала времен, трепетно глянул на него один из серафимов божьих! И когда вздохнул и аромат ее тонкий, незримый вдохнул в себя, понял, что встретил, обрел и — теряет теперь, опоздав! Как он поспешил, зачем поспешил с этим нелепым смоленским сватовством! С Тверью, с роднею-природою загубленного Александра, с сестрою Федора... Господи, почто не дал ты мне сего искупленья в непростимом моем грехе!

И с чашею, и потом, после... Не мог не коснутись ее, хотя пальцем, и палец тот свят, и словно отверзлось што и молнийным током прошло от пальца того по руке, к сердцу, и сердце дрогнуло и остановило, замерло на миг и, с болью в груди, забилось опять, точно стиснутое от влажной прохлады ее ладони, от несказанной нежности мгновенного касанья сего...

Он лежал, сцепив зубы и смежив глаза, и только что не стонал, перекатывая горячую голову по взголовью. Жизнь наполнило смыслом, счастьем, и — поздно, поздно, поздно!

Каркает ворон над падалью, расхристанные струи дорог, ветер и тьма. Поздно, поздно, поздно! Кар-р-р! Кар-р-р! Кар-р-р! Объеденный лошадиный костяк, волчьи тени и вой в придорожных кустах, и конь, что несет в опор, оборачивает морду и смотрит безглазо, и кости лошадиного черепа белеют сквозь черные дыры изъеденного лица, выклеванных воронами глаз. Поздно, поздно! Ты опоздал все равно! Смерть, а не конь несет тебя в вихре дорог, и гнилое мясо свисает с твоего чела. Смерть гонит тебя к последнему рубежу! И не будет золотого терема, не будет околдованного стража у ворот, не будет красы несказанной, не будет больших, беззащитных, испуганных нездешнею бедою глаз, ни детского чистого лица, ни нежного подбородка, ни ресниц, ни ускользающей, льющейся стройноты девичьей спины, затянутой в полотно и атлас, ни вильнувшего, оставившего по себе ветер надежды подола с мелькнувшею узорною тимовой новогородской выступкой; и шаг был колеблем и легок, и словно по воздуху шла, не касаясь тесовых половиц... Ветер, ветер! Рвет и мечет желтые листья, ветер осени и тоски, сырой и холодный ветр одиночества...

Он спал, разметав руки, тяжко ворочая воспаленное чело, спал и плакал во сне.

ГЛАВА 66

Светило солнце. Ледяной ветер па́хнул весной. Он был молод, неистово молод! Тридцать лет, казавшиеся ему еще недавно возрастом старости, сейчас наполняли силой и волей все его существо. Он скакал, не слезая с седла, забыв про княжеский возок, тащившийся где-то назади, нюхал талый воздух, щурил глаза от весеннего сверкания снегов. И тени от берез были особенно сини на снегу, и промытое влажное небо — безмерно широким, и облака наплывали из дали далекой, от сказочных небывалых земель, и конь, чуя своего господина, нес его какою-то особенною танцующей рысью. И были сказочны рубленые, красиво оснеженные, с мохнатыми опушками кровель новогородские рядки и крепостцы, набитые товарами и народом, бойкие придверья великого торгового исполина.

В Бронницах поезд московского князя встречали новогородские бояра, представители разных городских концов, в чем Симеон еще плохо разбирался, ведая только, что «концы» Господина Великого Новгорода зачастую несогласны друг с другом и этим завсегда умело пользовался покойный батюшка. Впрочем, бояре ехали с Симеоном опытные и про каждого «новогородчя» могли сказать, кто он и чью руку держит — Москвы, Литвы или князя Костянтина Суздальского. Остафей Дворянинец, осанистый, густобородый, строгий, решительный враг Литвы и уже по тому одному сторонник князя московского, понравился ему.

Его приветствовали, подносили хлеб-соль. С новогородцами прискакал наместник — сказать, что городищенские хоромы приготовлены к приезду великого князя владимирского. Все было торжественно, уставно, чинно. На подъезд бояре поднесли Симеону жемчуг, вино и рыбий зуб.

Поздно вечером, уже когда все разошлись почивать, Симеон один, стараясь не разбудить стремянного и бояр, с коими ночевал в одной хоромине, накинув охабень и шапку, вышел во двор. Прошел в слепой северной темноте по расчищенному до глубокого снега, до каких-то промороженных колючих кустов двору. Все спало, лишь сторожевой за спиною у крыльца тихонько кашлянул, давая знать, что бодрствует, охраняя господина. Переступил с ноги на ногу и затих, понял, видно,

что великому князю приспела надобность побыть одному.

Семен раздвинул кусты, влез на какой-то оледенелый бугор. Небо в тучах плотно придавило темную землю. Окружной лес стоял неясною зубчатою чередой, уходя вдаль, к померкшему, утонувшему во тьме окоему. Лишь смутно серела снежная пелена впереди него да вдали, над черною полосой леса, на краю неба, все не меркл и не меркл недвижный призрачный свет, словно там, за окоемом, был волшебный дворец чудо-девицы, с жар-птицею в заколдованном саду, сказочная земля или тот писанный лазорью, светящий Спасов лик у земных ворот рая, про который толковал ему давеча на беседе Василий Калика...

Тянуло морозным ветерком, от ног, сунутых в тонкие домашние сапоги, подымался, охватывая колени, ледяной холод, молчала ночь, а небо так же сквозисто светлело, маня в неведомую, небывалую страну, и он, как во сне, теснее и теснее запахивая полы охабня, все стоял, цепенея, чуя пронзительный холод одиночества, и тоску, и надежду, и светлую неземную печаль восторженного отречения. Жизнь, ежели и была, только теперь наполнилась восторгом, цветом и запахом — или он только теперь, тридесят лет оставя за спиною, народился на свет? Вот сейчас он выстанет повыше на цыпочки — и улетит неслышимо и незримо куда-то туда, за тот светящийся окоем, и будут мудрые кони на зеленой бирюзовой траве, круглые ордынские юрты, дымы, и он пройдет по острым вершинам трав, не сгибая и не тревожа серебряные метелки ковыля, а она наклонит кованые кувшины, черпая воду, разогнет стан, облитый алою татарской рубахой, откинет косы, поглядит испуганно беззащитным взглядом больших распахнутых глаз, и широковатое юное лицо дрогнет, бледнея; и не поймет, и подымет руку, хоронясь призрачной тени, и подумает, что то облака, пятная землю, ползут в вышине, и подымет нежный подбородок, поглядит вверх, и голубые светы пройдут по нежному лицу, и растает сама — приснившаяся, далекая, неземная... И будет неведомый город из одних дворцов и палат, и он проплывет в вышине, разыскивая то окно, тот лик, и не сможет найти, и отчаяние холодом, текущим от ног, леденя и усыпляя, начнет подбираться к самому сердцу, дабы разъять, погасить, погрузить в холодную дрему смерти, и только кувшины — или се-

ребро колец в головном уборе? — все звенят и звенят: ищи, найди! Где-то там, в неведомом далеке...

Ратник назади вновь хрипловато прокашлял. Замерзший князь, опомнившись, на застывших, неловких ногах проковылял ко крыльцу, оглянул еще раз со ступеней в немеркнущий свет, в холод неведомой дальней судьбы, в тоску дорог и путей, в свое одиночество в этом суровом мире, в боль сердца и слезы, застывающие льдинками на ветру...

Печное тепло жарко натопленной горницы, дыхание спящих бояр и густой храп стремянного, запахи конского пота от седел и попон, сваленных в углу... Его била дрожь. Уже утонув в перинах, замотав ледяные ноги в курчавый мех шубного овчинного одеяла, князь с трудом начал отогреваться, и с теплом, с дурманом дорожной дремы вновь начали наплывать на него образы-воспоминания, и тверская княжна встала перед ним, недоступная и прямая, в белополотняной, отороченной по горлу черною вдовьей вышивкою рубахе, с бледным северным ликом, точно восходящая ввысь луна, и дремотный негаснущий свет вечерней зари отемнил голубою тенью дорогое лицо...

Новгород, показавшийся ввечеру, был как рождественская сказка. Розовые оснеженные храмы в море изузоренных бревенчатых хором, вышки теремов, каменные прясла стен, возведенных владыкой Василием, кипение улиц, высокие звоны колоколов.

Василий с клиром, в крещатых ризах, встречал князя на волховском мосту.

Тесно застроенный, сплошь замощенный деревом Детинец в сумерках ночи ошеломил, принизил Симеона с его бревенчатою, вечно расхристанною, то в сугробах, то в лужах Москвой. И даже храмы Кремника перед каменным новогородским изобилием, перед величием древней Софии умалились и померкли.

Семен стоял в соборе, слушая торжественную службу, весь в попеременных волнах радости и отчаяния, воспринимая все окрест так остро и ярко, как, кажется, было лишь в раннем отрочестве. После службы, несмотря на все настойчивые зазывы Калики, надумал тотчас скакать к себе на Городец, отложив все торжества и встречи до утра,— больше все от той же сжигавшей его лихорадки чувств, чем от мудрого господарского

расчета; хотя, верно, так и должен был поступить. И уже в полной тьме опрометью, не жалея коня, летел сквозь гордый город и застенную тьму до княжего городка над Волховом, до высокой тени выстроенного его иждивением и доселе не виданного им собора Благовещения, до истопленных княжеских хором, ночной, с факелами, слегка суматошной суеты встречи, до торопливого ужина и — никого и ничего больше! В постель!

Чтобы хоть тут заснуть и не мучить себя! И, смяв подушку под головой, сцепив зубы, утонуть лицом в пуховом взголовье, чтобы начала вновь кружить и длиться дорога, чтобы скакал и скакал призрачный конь и легкая девичья тень опять подступала настойчиво и незримо к возглавию княжеской постели...

ГЛАВА 67

Утром он встал раньше всех, оделся, ополоснул лицо. Не будя прислуги, в потемнях, не давая себе опасного безделья, решил обозреть городищенские хоромы.

На дворе прихватив с собою дьякона и нескольких случившихся в стороже бессонных кметей, велел открыть храм Благовещения и возжечь свечи, обошел весь каменный обвод стен, проник в алтарь и дьяконник, влез по тесной лесенке на хоры. Когда спускался с хор, внизу уже ждал его наспех одетый наместник. Пошли по стенам, влезли на крайний к реке костер. Сонный Новгород посвечивал в отдалении редкими, там и сям, огнями. По темной дороге гнали к открытию торга скотинное стадо. Слышно было, как во тьме глухо мычали коровы. До вершины костра доносило слитный глухой шум многих копыт и щелканье бичей. Семен быстрыми твердыми стопами сбежал вниз по ступеням, потребовал открыть погреба, бертьяницы и анбары. В мечущемся огне факелов и свечей оглядывал груды товаров, связки мехов, круги воска и кули с низовским хлебом, привезенным на продажу в Новгород. Велел показать казну, проверил вощаницы с записями, нашел два-три наместничьих огреха, приказал перевесить вновь воск и серебро.

Уже засерело и засинело небо и далекие звоны из Детинца донесли до князя, что Великий Новгород проснулся и ждет его к себе, когда Симеон, бегло проверив последний лабаз, твердым шагом прошел в хо-

ромы, распорядил дневными делами, озрел уже готовых к путешествию бояр, выпил, не присаживаясь, чашу горячего топленого молока с медом и приказал седлать. Сбираясь на пир к архиепископу, есть дома не имело смысла, даже и в чаянии долгого торжественного богослужения.

Княжеского коня покрыли шелковою белою, в травах, попоной, одели ему на грудь чешму ордынской работы, густо украшенную бирюзой, натянули налобник с алмазами на высоких качающихся тычинках, подвесили к удилам серебряные сквозные цепи сканого дела, от которых исходил тихий непрестанный звон. Сам князь вздел зеленые, шелками шитые сапоги, травчатый сарафан и легкую, на соболях, отороченную бобром и крытую парчою шубу с завязанными назади рукавами, натянул перстатые зеленые рукавицы, вдел ногу в стремя и уже с седла озрел искоса своих принаряженных бояр — не уступили б новогородской господе! Тронул коня.

В Новгород въезжали шагом. Толпы горожан теснились по обочинам, с любопытством и без страха озирая великого князя московского. Город в розовом свете дня показался еще краше, чем давеча, и Симеон вновь напомнил о своем колокольном мастере Борисе: как-то он тамо? Велено было (негласно велено, но мастер понял похотение князя) превзойти всех и вся, что было доднесь, дабы звоны Москвы являли всякому издалека, что город его — столица Владимирской Руси. Каменным зодчеством, понял это теперь окончательно, ему не превзойти Нового Города да и не досягнуть даже... Быть может, в грядущем... И, помыслив о том, что настанет после него, Симеон опять невольно помрачнел челом...

Теперь он, поводя взором семо и овамо, уже начинал узнавать ведомые по слухам и восторженным откликам знатцов храмы и терема великого города. Подивил торгу (и так захотелось слезть с коня, пройти по рядам, высматривая многоразличные диковины, из разных земель навезенные,— нельзя!), шагом, под клики толпы, вступил опять на Великий мост и уже по сукнам ехал до самого Детинца, где спешился, обнажив голову, и взошел в собор, отрешенно озирая толпу и клир и драгое убранство церковное. Будто бы один князь Симеон шел неспешно, ведомый под руки, с боярами впереди и позади, с почетною стражей из «детей боярских» —

молодых ратников из нарочитых московских боярских родов, а другой глядел на него с высоты, озирая залившую Детинец толпу, и сверкающую одеждами вятшую господу, и главы, и колокола, и подобные княжому дворцу хоромы архиепископа, и слушал шум, и ропот, и пение, и клики, и внимал всему, словно бы откуда со стороны, из дали дальней, от иной земли и языка иного, дивясь и наблюдая чужую непонятную жизнь.

Гласы хора в новогородской Софии были отменны, Калика и тут сумел превзойти москвичей! Семен сосредоточенно слушал, стараясь понять, в чем же сила новогородского хора. Он уже не рассматривал себя со стороны, прилежно внимая и все боле и боле сдвигая брови. Сила хора была не в созвучии, не в чистоте и мощи голосов — всего этого с избытком хватало и на Москве, а в гордом, да, в гордом осознании себя самих великими и неподвластными чуждой воле! И то же было во властном красном фоне больших образов новогородского письма, в суровых ликах святителей. Власть духа и сила власти! И надобно было спросить себя, додумать до самого конца: что же есть красота? И какова красота истинная? И можно ли содеивать прекрасное и великое в искусстве, не содеяв великого и прекрасного в жизни сей? Но и так ли проста сия связь, сия цепь, съединяющая зримую жизнь духа с земною жизнию плоти? У него нынче должны были заканчивать подписывать храмы, и он ревниво думал о том, равняются ли хоть сколько его изографы новогородским. И хотел, и боялся озреть на досуге внимательно местные храмы, дабы сравнить — быть может, и со стыдом,— сравнить и взвесить и вновь потщиться понять: что есть в жизни сей красота, являющая нам отверстый лик вечности?

За думами Семен едва не пропустил конца службы и мига, когда Василий сожидал благословити князя на новогородский стол.

Потом к нему будут подходить посадники и старшина, торжества продлятся в палатах архиепископа и окончат на Городце, где Новгород Великий признает его наконец господином себе, уже не через наместника и бояр, а лично, от лица к лицу, всем синклитом своей вятшей господы.

Симеон вряд ли предполагал, что творилось в эти дни в Новгороде Великом, какие страсти бушевали на уличанских и кончанских сходбищах, о чем толковали и спорили бояра по теремам, с чем и для чего прибе-

гали в Сковородкин монастырь, к прежнему владыке Моисею, почто там и тут повторялось по улицам упорно одно и то же имя: Ольгерд! Скинуть московский хомут, не давать черного бора князю Семену, освободить себя вовсе от ордынского выхода! Хан был далеко и навряд теперь пошлет ратную силу к Нову Городу Великому! Хватает забот и с Литвой! Да и далек Сарай, далека Золотая Орда! А Москва, почитай, рядом. Вот она, в городе самом, и берет за горло налогами, бором, царевым выходом; мало што бояра там удумали, а мы — не хотим!

Ничего этого не знал, не ведал великий князь владимирский. Оружные кмети в бронях провожали его с пира на пир. Тороватый Новгород щедро поил и кормил князя и его дружину. От обилия блюд и питий, от блеска посуды разбегались глаза. В голове шумело от речей заздравных, от похвал и лести хозяев великого города, а вечером являлся озабоченный Михайло Терентьич с сумрачным наместником Борисом и с преданно взирающим в глаза Иваном Акинфичем, разводили руками: не приемлют новогородцы суд наместнич, и на-поди! И проездную виру не дают, и татебное, хошь татебное-то завсегда князев корм! И с бором ни в какую... И Семен, откладывая отдых и сон, считал и прикидывал, советовал то с одним, то с другим, гневая, требовал наступчивой воли от наместника, вспоминая с запозданием иные окольные речи в днешнем пиру и вырванное у него неволею полуобещание не трогать немецкого и готского гостя...

В чем пришлось отступить и уступить — мужи новогородские наотрез отказались согнать Наримантову чадь с северных пригородов своих.

— Сам же, княже, крестил Евнутия! — корили бояре Симеона.— Християнина грех гнать, мы-ста тем побытом и всю Литву в веру православну переведем! — Разводили руками, вздымали бороды, подымали глаза к потолку. Лукавили вятшие господа Великого Нова Города! Ох и лукавили! Ладили промеж Литвы с Москвою устроить волю свою... И сил не было нажать, пригнуть, заставить. А и были бы силы? Откачнет к Литве Господин Великий Новгород, и — на горле удавкою — иссякнет вечный серебряный ручеек, питающий дружбу с Ордой! И черный бор чтобы ежегодно сбирать — от того уперлись новогородцы: земля худа, смерд маломочен у нас, и на-поди!

Земля, и верно, кормила плохо. Больше давал закамский путь, откуда шел дорогой соболь, шло и серебро закамское. Давала доходы соль в Русе (и доход с десяти варниц отдали-таки новогородцы Симеону). Давали доход сало морского зверя и шкуры, что везли с моря Белого, рыбий зуб, воск, железная ковань. Но не перенять мытный двор, ни должности новогородского тысяцкого! Добро, хоть вовсе не отказали в смесном суде посадника с наместником княжим!

Тороват, богат Господин Великий Новгород, а серебро новогородское вот оно: в этих розовых на заре храмах под выписными кровлями, в этих богатых нарядах горожан — смерды в лунском сукне и в бархате веницейском! И не возьмешь, и не стребуешь, и гневать — разум не велит... Сам же у себя на Москве лишнее серебро — да что лишнее, лишнего серебра под ханом никогда не бывает! — и не лишнее, кровное, надобное вот-вот, трачу на храмовую роспись, на хоры церковные, на колокола. И должно так! Века пройдут, и, как от киевской седой старины, от тех добатыевых времен, во мгле утонувших, что останет? Храмы да украсы книжные, мудрые слова книгочеев! Быть может, этим одним и протянет в вечность его краткая бесплодная судьба... Да еще тем, что держал и удержал Русь от распада, сберег отцово добро, не дал растащить по кускам, по уделам... А после себя — кому? Все одно кому?!

Работой, делами, спорами, тяжбою с новогородской господой да бешеной скачью замучивал себя ежеден до конца, до предела, чтобы не снилась, чтобы не тревожила краткий покой. И все одно — наплывало, мрело и марило, и не понять было, великая ли тоска или счастье великое, от тоски неотличимое, нисходило тогда на его воспаленную голову?

ГЛАВА 68

Александрова сына, отданного Калике в ученье, Симеон еще не видал. Быть может, отрок Михаил и видел великого князя на одном из многочисленных и многолюдных пиршеств во дворце архиепископа, однако сам Симеон еще не встречал, не зрел тверского княжича и почти позабыл о нем (чего, возможно, и добивался Василий Калика), когда, прискакавши в Детинец в

неурочный час и стремительно пройдя на владычную половину,— споры о подъездной дани митрополичьей, в конце концов, мог и должен был разрешить сам Василий Калика! — нос к носу столкнулся с высоким, не по годам рослым отроком, который стоял во владычном покое с греческою книгою в руках и во все глаза уставился на гневно вбежавшего князя.

В лице отрока, в его повадке, веселом непугливом любопытстве было нечто, отличавшее его от прочих боярских отрочат, во множестве встречавшихся Симеону, и московский князь, сперва невнимательно и свысока, а потом заботно и вопросительно озревши вьюношу, сам спросил, догадав почти в тот же миг, когда открыл рот для вопроса:

— Михайло Лексаныч?

— Ага! — отмолвил отрок и широко, весело, совсем по-детски улыбнулся во весь рот.— Миша я! Княжич тверской! А ты — Семен Иваныч? Я враз признал, видел тебя на пиру! — И потому, что Семен смолчал, не зная, что отмолвить отроку, Михаил добавил: — Владыка скоро придет, сбегать за ним?

— Не нать. Обожду! — возразил Симеон, тут только увидев, что отрок чем-то незримо схож со своею старшей сестрой, хотя ни лицом, ни статью вроде бы и не напоминал ее вовсе.

За спиною отокрылась и тотчас захлопнула дверь, чьи-то торопливые шаги протопали по переходу, мышиная возня послушников, служек, дьяконов, слухачей, придверников и прочих уже начала коловращение свое, и скоро в покой войдет торопливою легкой походкой Василий Калика, и начнется спор о подъездном, вернее даже не спор, а многословные излияния со ссылками на безликое вече, на коем Симеон так-таки ни разу не побывал. И потому эти вот немногие минуты наедине с Настасьиным отроком, с братом Маши, хотелось использовать на что-нибудь путное, спросить, узнать, понять наконец, кто перед ним и какой благостыни ждать ему и Москве от этого сына Александрова? И ничего не находило в ум. И он молчал, и отрок молчал, весело и готовно глядя на князя.

— Греческая? — спросил Симеон, невольно краснея и гневая про себя за нелепое смущение свое.

— Ага. Учу. Греческий ирмологий. Лазарь привез! Я и гласы знаю уже! — похвастал отрок, и нельзя было не улыбнуться ему в ответ.— А у тебя на Москвы как

поют стихиры на стиховне с «Богородичным», с украсами, как и тут, эдак протягают али просто?

И отрок, торопясь высказать свое, красиво запел «Богородичен».

Симеон, намерясь отделаться улыбкою взрослого и преизлиха занятого мужа, не выдержал и, усмотрев (ухо имел верное) отличие, вполгласа спел московский извод. Миша-Михаил выслушал, склонив голову набок, и тут же попробовал повторить, но ошибся, и Симеон, уже и сам увлеченный нежданною игрою, спел вновь, уже в полный глас. Миша стал подтягивать, и тут-то и вступил в палату Василий Калика, остановя позадь князя и любовно-полурастерянно озирая обоих, князя и княжича из враждующих домов, занятых согласным церковным пением.

Симеон, первым почуяв помеху, обернул, узрел архиепископа и закусил губу. Калика опустил очи долу:

— Должон покаяти, княже, не свел тебя с отроком сим! Не время и было-то, не пора! Пиры да споры промеж нас! Все ладил, как стихнет, схлынет, так уж и свести тебя с Мишею-то...

Калике трудно давалась ложь, и Симеон, пожалев старика, тотчас повернул разговор к делу. Тут же, стоючи у аналоя, урядили подъездное. Василий уже не вилял, не тянул. Понял, видно, что князь гневен и не должно упорствовать ему излиха в этой нужде церковной.

Урядили. Порешили вечером подписать грамоту. И тут забытый было отрок вновь подал свой голос:

— А ты Перынь видел?

— Нет еще! — отмолвил Симеон.

— Давай поскачем туда сейчас?

— Не можно. Дела зашли! — с искреннею печалью отмолвил Симеон, на миг представя себя, как он, забывши про чин и поряд, скачет вдвоем с тверским княжичем мимо Аркажа и Юрьева к далекой Перыни, и Миша, горячий, гордый, вцепившись в поводья, гонит и гонит коня, а он сидит, словно бы и небрежно, но тоже ладит не отстать от резвого отрока; и незнакомая заботная гордость неизведанного отцовства легкой печалью обняла его и чуть-чуть стиснула сердце. Он поднял было руку взъерошить волосы отроку, но тот отпрянул, покраснев в свой черед, и посмотрел стыдливо исподлобья, и кивнул, и примолвил:

— Прощай! — и прибавил опять совсем-совсем по-

детски, с заметным новогородским выговором: — Приходи есчо!

На дворе, садясь на коня, Семен грустно и горько подумал: «И отрок сей поведет когда ни то рати на Москву! И не будет уже «Богородична», будет гомон и топ, и звяк оружия, и ратники муравьиною чередою потянут умирать в усобной войне... Господи! Дай мне хотя отсрочить сие! Дай мира русской земле хотя бы дотоле, как минет днешнее тяжкое безвременье! Мне не полки водить! Мне их всех удержать от войны!»

ГЛАВА 69

Но и от войны удержать, по-видимому, было не мочно.

С юным Михайлой ему так и не довелось боле встретиться. И говорить (о многом — надумал потом у себя на Городце!) такожде не пришлось. И часто после жалел об этом. Да ить не ведал, что, перебыв всего три недели в Новом Городе, поскачет назад, вызванный ордынскою грамотой, напомнившей вновь, что великий князь володимерской — всего лишь служебник, подручник татарского царя.

А на вечевой сход, разом открывший ему глаза на многое, непонятное доднесь, попал он нежданным случаем, обманувши своих и новогородских бояр.

В тот день ему положено было вовсе не ездить в Новгород. Для Семена устраивалась охота на Мсте, и уже все было приуготовлено ко княжой потехе. И только Михайло Терентьич — отколе и проведал старик? — повестил скользом, не упирая, едва ли не на ухо сказал, про вечевую прю сегодняшнюю. Видно, и свои не хотели того, и охота... Какая охота! Семен велел подать ему простое будничное платье и сапоги, курчавый бараний зипун на плеча накинул и, выехав из ворот городецкого княжого подворья, скоро уклонил по колеистой боковой дороге к Новгороду. Нескольким слугам, что взял с собою, велел скакать кучнее, а прочим приказал править на Мсту — буду-де за вами вслед! И знал, что догонят, учнут короть, держать, окружать и вываживать, словно норовистого коня, но пока — вот она, свобода!

В воротах не задержали, растерялись, что ли? А не доезжая торга и вечевой площади, сам сошел с коня и, пеший, завернул за угол, тотчас утонув в толпе глядельщиков, крикунов, новгородских ухорезов и шильников,

что густо окружили и сдавили нарочитую чадь, собравшуюся у вечевой ступени. Пробился с помощью слуг сколько можно вперед — князя не узнавали тут, с натугою давали дорогу, чая какого боярина из московлян.

— Наместниць холуй, видно! Пущай послухат, цегой-то и в толк возьмут москвици! — услыхал он за своею спиною негромкую молвь горожан. Остановя у высокого тына, он наконец услыхал громкий голос боярина, кажется со Славны, который, распахнувши бобровый опашень и дергая себя за отвороты, гневно орал с вечевой ступени, и орал поносно противу Москвы такое, чего Симеон и не мог представить, будучи все на пирах да на беседах! И площадь орала в ответ разноголосо и грозно, словно лукавый, добродушно-хлебосольный Новгород вдруг скинул личину свою и встал тут, гневный и страшный, готовый на бой и драку за свои вечевые права.

— Литве, што ль, поддатьце, Ольгирду твому?! — выкрикнул громко широкобородый широкоплечий мужик в дорогом зипуне и полез, работая кулаками, к вечевой ступени. Семен не сразу узнал в нем всегда спокойного, осанисто-вожеватого Остафья Дворянинца.

— Ольгирду поддатись хочете? — повторил он грозно, взбежав на вечевую ступень.— Псу литовскому? Да! Да! Псу! Мертвециной где пахнет, он тута и есь!

— Не лайся, Остафья! Не лайся, твой-от Семен не луцши того! — кричала площадь.

— Семен Иваныч хоть православной! — орал Остафий в ответ,— по крайности, ропат латинских не настроит, в веру бесерменску не обратит! Попомните слово мое, господа мужики! Плесковицей выдадим и сами погибнем с Литвою поганой!

— Выход! Выход ордынский Литве не придет давать! — кричала площадь.— Хрещеной Ольгирд-от, не лукавь!

— Добро бы так! — не сдавался Дворянинец, рубя кулаком воздух.— Дак и Литва платит выход царев! А ноне почал ваш Ольгирд черкви божьи утеснять, за веру Христову в затворы посажал мужей избранных! Ведомо вам сие, мужи новогорочьки?!

— То ведомо! А неведомо вот, сколь ты от князя Семена полуцил, поведай, Остафья! — ядовито неслось с площади. И Семен, то гневая, то стихая, немо сжимал кулаки. Хотелось крикнуть им всем: «Не платил я Остафью!» — и знал, не можно, не поверят, да и оскорбят,

засмеют. Уже понял, что тут, на вечевой площади, все могут содеять...

К нему уже пробивались, уже окружали встревоженные бояра, уже уводили, поталкивая, шепча:

— Нельзя, не можно, княже, пустого не переслушашь! Цто тута орут, не клади, батюшко, в слух!

Пришлось-таки уйти, не дослушав. Сесть на коня и скакать на ненужную ему охоту, травить медведя, который вовсе и не был на вечевой площади и не задирал князя, ни москвичей, а спал себе под снегом, пока загонщики, сунув в устье берлоги корявую рогозу, не вынудили его с ревом выскочить наружу, под дружные рогатины убийц.

Вечером Михайло Терентьич посунулся в опочивальню:

— Ну, каково, батюшко? Добра ли охота прошла?

— Добра! — отмолвил устало Семен.— Спасибо тебе, Терентьич, надоумил! Узрел я их, услыхал! Батюшку-покойника в который након припомнил...

— Да,— повздыхал Михайло, присаживаясь на край скамьи,— Иван-от Данилыч многую прю с има перенес. Непокорлив, буен Великий!

— Не то, Терентьич, вольны суть! И по нраву мне они... Сперва вознегодовал, а потом раздумал путем... И не можно нам отступать с тобою! Отступим — не устоит Москва.

— Не устоит! — покивав, отмолвил старик.

— Тут не ломить — сгибать надобно... Как ищо Ольгерд с Новым Городом поворотит! Ласкою ежели...

— Ласкою навряд! Не таков литвин! — твердо ответил старик и поднял повеселевшие глаза: — Ето нам с тобою надоть с има ласкою!

— И я тако мыслю! — эхом отозвался Симеон.— Ступай, Терентьич, ложись почивать. День тяжек: завтра опять черный бор требовать будем!

Сам он еще долго не спал, сидел без мысли и дела, ощущая едва ли не впервой страшную тяжесть в членах, и, верно, не охота и не медведи так утомили его!

А еще через два дня прискакал ордынский гонец, и надобно стало, не довершив дел, скакать на Москву. И даже той робкой отрады — увидеть ее вновь на пути домой — не довелось испытать: Настасья с чадами была в загородном поместье своем, а скакать туда очертя голову, бросив и позабыв все на свете, великий князь володимерский не мог. Власть не токмо бремя, она и

узда похотеньям твоим! И стало б иначе, и коли настанет иначе — горе властителю тому, горе и земле, под тем властителем сущей!

ГЛАВА 70

В Орду были отправлены киличеи. Снова встала пря о ярлыках, купленных родителем, снова надобно было доказывать, что он, сын и наследник отцовой воли, не отступит от отцовых промыслов и никому не позволит умалить власть великого князя владимирского.

Костянтин Суздальский на сей раз вел себя тише, но и исподтиха пытался ставить препоны Симеону. И опять перевесило московское серебро да странная, ему самому не понятная до конца ордынская дружба с Джанибеком.

Бурно зачиналась весна. Текло и таяло, звонко капало с крыш, просыхающая земля с клочьями рыжей прошлогодней шерсти на глазах вылезала из-под снега, горбатясь, точно хребет большого зверя, выплывающего из-под снегов, из долгого зимнего сна, и распуганные птицы стаями метались над талыми проплешинами, то, ринувши стремглав, хватали что-то в спутанной сухой траве, то взмывали ввысь — и орали, орали, орали неудержимо. Призывно ржали кони, и у коней и у посадских жонок были одинаково шалые, весенние глаза.

Уже постукивали нетерпеливые молоточки живописцев в храмах, и хоть еще изморозью зимнего холода седели стены церквей, но уже готовили растворы, терли краски, толкли алебастр, приуготовляя себя к трудам: нынче все остатние росписи должны были окончить и установить иконостасный чин и в Михаиле Архангеле, и в Спасе.

Под Кремником, на литейном дворе, готовили опоку, рыли ямы, долбили залубеневшую землю, уже везли возами древесный уголь, и Симеон не пораз уже побывал в дымном и грязном, разворошенном и полуразоренном мастером литейном дворе, где, по Борисову слову, все было не так и все надобно было ломать и ладить наново. И ломали, и ладили, и Семен останавливал Василья Протасьича, хватавшегося уже который раз за голову, и давал серебро, и слал за рукомесленными мужиками в Переяславль и Владимир, а мастер хлопотал деловито, орал, не стесняясь ни князя, ни боярина,

круто менял и иначил. Раз только, обрасывая потные пряди волос со лба и отирая взмокшее чело, признался Семену, словно бы равному себе:

— Зришь, княже, многонько иначу тута, а зато опосле и меня помянут добром на Москвы! Не последни колоколы лью, да и иное што — уклад ли добрый, иное железо, кovань ли... Литейный двор — всему княжесьву голова!

И Симеон, морщась от пыли, от жара и дыма костров, согласно кивнул головой. Чтобы рать шла в бой в броне и ощетиненная железом, не жаль серебра! Кровь — дороже, как говаривал покойный отец.

Вот так-то мыслил он. И объяснял, пояснял, показывал молчаливо: казал и церкви, и городню, и литейный двор... Казал ей, той, далекой, и объяснял ей, и прикидывал — что примет, промолчит, от чего охмурит чело... Сжился с этим и сам не замечал порою, как шевелит губами, как в забытьи дорогое имя, шепотом сказанное, срывается с его губ. Он с нею входил в расписанный храм, с нею глядел во вдохновенные, гордые свершенным трудом и тревожные (по нраву ли пришло князю?) очи мастеров; он тихо спрашивал ее: а как тебе? И пояснял то, что постиг из слов Алексиевых — о детском, юном творчестве русских мастеров иконного письма, сравнивал с новогородскою величавою иконописью, отдавал должное тверским изографам, молчаливо соглашаясь с нею, что ему еще не достичь Михайлы Святого, и тотчас возражая, что тем паче, тем злее и тверже должен он совокуплять страну и русский язык! Михайло рассорил с Новым Городом! «А ты?» — прошала она ревниво. «А я?» — и он терялся, не ведая, как и что ответить ей. Не забыли новогородцы низовского похода, устроенного Симеоном, не позабыли и выплаченных тогда тысяч серебра... «А я?! Маша, Мария, ты помоги, не дай ожесточеть, не дай утерять веры в себя!»

— Чье ты имя бормочешь по ночам? — ревниво спросила его однажды Опраксея (спали в разных изложнях, дак, верно, служанки донесли!). Симеон померк, омрачнел, отговорился безделицею. Сам, в гневе, помыслил, не переменить ли всех теремных баб. Да опомнил, понял, что слухи пойдут того зазорнее.

А уже возникли новые стены литейного двора, дубовые, надежно присыпанные изнутри утолоченной глиной, уже встали печи, каких еще не видали на Москве,

и уже лепил мастер огромную восковую куклу малого колокола, проверяя и выверяя, намерясь лить без швов, сперва выплавив из земляной формы воск. И уже по Москве ходили слухи, один чуднее другого. Глупые бабы распускали нелепые байки, уверяя, что чем больше пустых сплеток пройдет по Москве, тем звончее сольются новые колокола...

Потому и слухи об ордынской беде князь Семен сперва было отверг как небылое. Но потом приехали киличеи, прискакал татарин Аминь, на коем лица не было, прибежали испуганные гости, кто и с полпути завернув, покинувши товар. Уверяли, что и Орнач, и Хазторокань, и Сарай, и Бездеж, и прочие грады бесерменские завалены трупами, люди харкают кровью и мрут, и казнь та от Бога на всех тамо живущих: и на бесермены, и на татарове, и на ормены, и на обезы, и на жиды, и на фрязы, и на черкасы — яко не бысть кому и погребати их!

Молодой гость коломенский, трясясь от пережитого ужаса, сказывал, как из ихней ватаги один польстился на даровой товар, набрал с мертвецов узорочья да к утру и сам в жару лежит, и приятелей двое, что с им в шатри были, такожде; а после и почали кровью харкать и в одночасье погинули вси...

— Дак мы уж и огнем, и дымом окуривали, и уж никоторого не взяли у их добра! А ходом, ходом в степь да по бездорожью, и уж каким грехом один у нас, Нестерко, заболел дорогой. «Не кидайте, братцы!» — молит, а мы плачем, да от него посторони! Вот тебе конь, вот хлеб да бурдюк с водою, а нас не замай, тово! Старшой у нас и лук наладил: стрельну, грит, ступай со Христом! И тот плачет, и мы ревем, а с того токмо и спаслись! И уж старшому-то у нас не первой снег на голову пал, грит: етая зараза от людина к людину идет, дак в никоторый город не заходить, идти степью, и тово,— на Русь бы не занести пакости той!

Семен в тот же час, собрав думу, велел поставить заставы и всех, оттоле идущих, держать до трех и более дней и окуривать дымом платье...

Чума (это была она, токмо слова того в те поры не ведали на Руси) прошла, выморив города ордынские, дальше на Запад, вдоль моря Понтийского, в Болгарию и фряжские богатые земли, куда ее привезли в кораблях с зерном и крысами генуэзские купцы...

Мор — не в мор. Пока он не тронул Руси, жизнь шла своим побытом. Смотреть первый колокол, освобожденный от опоки, еще горячий, темно-сверкающий, сбежалось едва ли не пол-Москвы. Симеон приехал с Вельяминовым, Акинфичами и Кобылою. От металла шел истомный и душный нутряной жар. Мастера шатало, литейные мужики все были взмокшие, перемазанные и без конца пили и пили малиновый квас, что выставили им в бочках по распоряжению великого князя.

Семен подошел к горячему колоколу, тихонько ударил, вслушиваясь в чистый, негромкий, застывающий где-то в глубине звук. Наруже видать дымную работу знатца, а талан, тайное знание, не всякому и литейному хитрецу ниспосланное, познается токмо опосле, когда с высоты падут тяжелые звоны и по чистоте, по густоте, по красоте гласа колокольного станет явен истинный талан колокольного кудесника. И не в пудах веса, не в тяжести сугубая хитрость (хотя и в них тоже!), но иной и зело тяжкий колокол глух и прост, а другой — словно с горних высей песнь херувимскую вещает собою!

И Симеон, почуяв великий жар, отходит, пятясь, от колокола, топча сапогами осколки опоки, и косит на полуопруженную бочку с квасом: черпнуть ли оттоль и ему? И ей, призрачной Маше, тихонько говорит: «Слышишь?» И она кивает, и будто улыбнулась даже, и отвечает: «Слышу!» — неслышная для иных, и прохладным пальчиком трогает его щеку, и ему сейчас — потереться обласканною кошкой о ее легкую твердую ладонь...

Иван Акинфич и тут нашелся-таки. Явил оловянный жбан с тем же малиновым квасом. Симеону налил стопу:

— Испей, княже! Истомно тут, у огня!

Вечером кормили и поили принаряженных, выпарившихся в бане мастеров по дворе Вельяминова. Самого Бориса с подручными усадили за стол в повалуше, с князем и боярами вместях. Готовый колокол всю ночь охраняла сторожа.

Мастер и за высоким столом себя не ронял. Ел мало, боле вкушал, пил тоже в строгую меру, и держал себя, и речи вел толково, блюдя чин и место свое. И даже Иван Акинфич опосле, весело подмигнув, изрек:

— Такова-то хошь посольское дело править пошли, одюжит!

А дома была опять она, незримая. И молча, лежучи одиноко на спине, сказывал ей про мастера, про гордую его повадку, про то, что так и надобно, что талан без гордости не талан и по мастерству должно уважение имать к мужу.

«Михайло Святой ето знал!» — отвечала она, и он, кивая в темноту, соглашался с нею: «Да, Михайло Ярославич высокого ума и высоких доблестей был муж в русской земле!»

И ей была люба похвала его, и она слегка тронула его опять прохладным влажным пальчиком, освежила чело, прикоснулась к персям, ароматом повеяла над ресницами, примолвила: «Спи!»

«Сплю...» — отозвался он, счастливый, и только легкое, точно облачко на небосклоне ясным весенним днем, воспоминание печали и одиночества коснулось-овеяло его напоследях. «Ну и пусть,— отмолвил он упрямо судьбе.— Все одно она моя и со мной! И ничто и никто не будет, не сумеет, не полюбит ее так, как я!» И теплое подступило к глазам, и защипало смеженные вежды. Воскресшая юность? Печаль? Быть может, надежда? Непокорная ничему, упрямая — точно жизнь, точно воздух, точно дыхание ее...

Когда отлили — без пороков, трещин и раковин — третий, самый большой колокол (тут была сотворена разъемная опока, и мастер по горячему прочеканивал колокол, зачищая литейные швы), в Кремнике сотворили пир силен для выборных, лучших людей со всей Москвы. И еще больший праздник московитам створился, когда готовые колокола были подняты ввысь сотнями кметей на многих долгих ужищах и первый малиновый звон необыкновенной красы и силы потек над Москвою, на века означив одну из главных любовей церковного храмоздательства россиян; дивны были завсегда на Руси звоны колокольные!

Слушать колокола приезжали нарочито из иных градов, и великой усладою Симеону явилось, когда к исходу лета прислал к нему на Москву с просьбою суздальский князь Костянтин: да вдаст мастера сего отлить и ему великий колокол ко храму!

Обсудили думою. Мастера Симеон послал. Горячо верилось, что с тем вместе заместо вражды и котор учнет ставиться между Москвою и Суздалем доброе

согласие на грядущие годы. И пусть такого и не створилось потом, но сама жажда любви, согласия и добра передается незримо, словно токи тепла в темноте, и подчиняет себе, и утишает худые страсти и злобу. Верно, и Костянтин Суздальский почуял, понял, внял упорному стремлению Симеона к союзу и дружеству и в остатние, недолгие уже годы свои хотя наружно не враждовал с московским властителем.

Лето шло. Поспевали хлеба. Еще один год мира казался уже вырванным из пасти военной беды и княжьих котор... Увы! Беда не прошла и которы не кончились между князьями.

Беда неслась, загоняя коней, катила с севера на Москву, с запаленными вестоношами, беда уже миновала Волок Ламской и близила к Москве, и князь, еще ничего не зная, не ведая, отревоженно поглядел, подымаясь на коне к Троицким воротам, почему-то на север и вспомнил опасного соседа литовского, который нынче, слышно, начал гонение на христиан в Вильне, посадив двоих лучших мужей своих — Нежилу и Кумца (в крещении Антония с Иоанном) в узилище за прилюдное исповедание веры Христовой.

Напомнилось про то почему-то именно теперь и отревожило сердце глухим предчувствием беды. Он посилился отогнать смутную думу. Воротил домой, принял Феофана и Матвея Бяконтовых с делами, принял юного Ивана Родионовича, наследника великого отца и пространного сходненского имения. Сына Родионова привел Иван Акинфич (вдова Родиона Несторыча сестрою приходила Акинфичам), просил принять в службу, в ближнюю дружину князеву. Семену мальчик пришел по́ нраву. «Примем?» — спросил он тихонько Машу, продолжая привычную игру. И она, улыбнувшись, кивнула ему, смолчав. Мужское дело, не бабье, набор дружины!

А в ту пору гонец уже подскакивал к самой Москве. И Семен получил пыльный свиток из рук пропахшего конским потом, мокрого и пропыленного насквозь вестоноши, как раз когда собирался ехать к Богоявлению знакомиться с новым игуменом, коего очень советовал ему приблизить к себе Алексий, намекая, что тот сможет стать постоянным духовником великого князя. Семен помнил о просьбе своей, но теперь, именно теперь немного страшился отца духовного. Тайну мечты своей не хотелось открывать никому.

Он было отложил грамоту, но, внимательней всмотревшись в лик умученного вестоноши, тотчас сорвал печать и развернул свиток. С первых слов стало ясно, что надобно собирать думу. Он отложил коня, послал за боярами и поднялся к себе в изложню.

Ольгерд с Кейстутом и всею литовскою ратью двинулись к Нову Городу, взяли Шелону до Голина и Лугу до Сабли, разграбив весь край, и осадили Порхов. Наместник Борис присовокуплял, что в Новгороде Великом замятня, рать, выступившая к Луге, встречу Ольгерду, бунтует, а Ольгерд требует расправы с Остафьем Дворянинцем: «Понеже лаял мя и назвал псом!»

Теперь все зависело от Василия Калики. Но не успела еще собраться дума, как второй гонец, отставший от первого всего на три часа, принес иную, горчайшую весть: осажденный Порхов сдался, откупившись от Ольгерда тремястами шестьюдесятью рублями, а возмутившаяся рать бегом воротилась в Новгород и, притащив посадника Остафья Дворянинца на вече, казнила его без милости, ркучи: «Яко в тоби волости наши поимала Литва!»

Остафья, по сказкам, изрубили в куски и долго топтали ногами. Наместник великого князя сидит на Городце, не рискуя показаться в Новгород, а Василий Калика изо всех сил хлопочет о мире с Литвой. Да и Ольгерд, кажется, не думает уже осаждать города...

Обе грамоты были явлены сошедшимся думным боярам. В палате, где князь уставно сидел в своем четвероугольном креслице, а бояра — по лавкам одесную и ошую от князя, повисла ощутимая, напряженная, как предгрозовая темень, тишина.

— Ратей нынь не собрать по-быстрому, жатва! — первым высказал Андрей Кобыла и тут же пояснил: — У них тамо попозжае нашего хлеб валят, дак потому... Мыслю, и Ольгерд не задержит в Новогородской-то волости!

— И самим жать надобно! — подытожил Иван Акинфич, уперев руки в колена и свеся голову.— Тута иное! — Он скользом остро глянул на Симеона и вновь потупил взор: — А хотят ле новогородцы-ти нашей помоги?!

Дума зашумела, многие недовольные голоса возникли противу. Кто помоложе, так прямо кипели взяться за мечи. Встала громкая пря, и Симеон не преры-

вал ее, понимая, что надо всем дать и выговориться, и перекипеть гневом. А Ольгерд... Что ж Ольгерд? Не так же ли, набегом, взял он и вырезал Тешинов, мысля отнять Можай от Москвы, и не так же ли быстро ушел волчьею тропотой, унося добычу и уводя полон, точно и не князь вовсе, а степной, неподвластный закону разбойник... А жатва уже шла, и кмети сейчас, забыв про мечи и кольчуги, серпами и горбушами валили высокую рожь, на диво уродившую в нонешнем добром году.

И пря, что громче и громче вздымалась в княжеской думе, и крики: «Идти!», «Погодить!», «Дать памяти псу!», «Доколе терпим!» — все было не то, не о том и не к делу. И видел, что иные старики молчат, покачивая головами, и знал уже, научился, понял, что надобно принимать не первое и не второе решение, а искать третьего, всегда третьего! Нежданного, мудрейшего первых двух, иного и — верного. Но что было третье в сей час? Орда! Жалоба в Орду! Но Орда сейчас обезлюжена мором, уцелевшие ушли в степь, грады пусты... И все-таки — только Орда! На предбудущее. Пусть помыслит, подумает Джанибек, пусть взвесит! Ну, а самим? Ждать. Надо хотя переждать жатву и... И уведать, не прав ли и в самом деле Иван Акинфич, старый травленый лис. Уведать, хочет ли сам Господин Великий Новгород московской подмоги?!

Рати не двинулись. Война вновь отступила на время от словно заговоренных Симеоном границ Владимирской Руси.

И тотчас новая беда примчала в Москву, загоняя коней: в Твери восстала прямая котора Костянтина Михалыча со Всеволодом.

ГЛАВА 71

Всеволод, старший из оставшихся в живых детей князя Александра Тверского, казненного в Орде Узбеком, в свои семнадцать лет выглядел на все двадцать пять. Крупный, с большими руками, с широкими ладонями, в которых, казалось, и железо содеивалось мягким, стоило ему покрепче стиснуть что в кулаке, Всеволод не моргнув глазом один брал медведя на рогатину, единожды сбил с ног, взяв за рога и мотанув, разыгравшегося четырехгодовалого породистого быка.

Он и нравом был крут и смел. Прямой и правдивый, не терпел обманов и лжи, хватаясь за меч там, где другой еще только начал бы супить брови.

В далеком детстве была клятва, данная им со всем пылом детской души, со слезами и жаром пылающих щек, в пещерке, на горе, противу псковского Крома, клятва совокупно с убитым братом Федором: возродить во что бы то ни стало величие Твери и драться с Москвой. А потом была горестная встреча убитых отца и брата, увоз Калитою тверского колокола, нужное сиротское терпенье, года за годами, тихая жизнь в чаянии грядущих чудес... Их всех одолевала Москва. Одолевала медленно, с тягучею вязкою силой, опутывая тверской дом договорами, спорами, ссорами, тяжбами дядевьев, церковным томительным надзором. И уже Костянтин Михалыч, старший князь в их роду, не был великим, как отец и дед, и выход отвозили на Москву, а не прямо ордынскому хану, и тут судили и меряли по приносу, и приходило давать дары не вельможам Узбека, а боярам великого князя московского...

И все бы еще ничего, но теперь москвляне вздумали кумиться с Кашиным, с младшим из сыновей Михайлы Святого, Василием, и стал Кашин потихоньку отходить от Твери. А тут и дядя Костянтин начал утеснять племянников, отбирая у них тверскую треть, грабя материных бояр, налагая виры и дани. И не можно было поднять на Костянтина оружие, не можно было добиться правды, ни правого суда ни от кого.

Всеволоду порою стыдно становило глядеть в глаза младшим братьям. Неужто так и покинуть все, похоронить гордые мечты, уйти в удельный свой Холм и там, хирея, закиснуть в безвестии, ставши мелким подручником растущей Москвы? Неужели отречься от родовых родимых хором в тверском гордом княжеском гнезде, где каждое бревно упрямо говорило о прошлом, недавнем величии родимого города? Где высил собор, строенный великим и святым дедом, где всяк людин на улице с улыбкою оборачивал чело в сторону проезжающего верхом Александрова сына, а то и кричал дружественное, веселя и смягчая сердце?! Ужели все — даром? Матери — в монастырь, а им — в Холм, маленький городишко, где ни прокормить порядочной дружины, ни выстать самим на прежнюю высоту? Он и бывал почасту в Холме! Чинил

стены, меняя подгнившие городни, заводил вкупе с матерью промыслы и рукоделия, дабы поддержать падающие доходы семьи, и дорог ему был по-своему завещанный родителем город, и все же...

Почто на Москве наследует стол сын, а не брат? Только ли потому, что так подошло: Юрий Данилыч погиб без потомства и детям Калиты не стало с кем спорить о родовом столе? По древнему лествичному праву княжит Костянтин... Но по тому же праву в черед после Костянтина с Василием править должны они, дети старшего, Александра! И даже то должно сказать, что Василий Михалыч Кашинский, не побыв на тверском столе, не имеет прав ни сам, ни в детях на великое тверское княжение!

Почто ж дядя Костянтин утесняет их с матерью, грабит, сгоняет со стола? Или лествичное право уже ничто в мире сем, дак тогда править после отца должен он, Всеволод! Или у Костянтина тайный уговор с Москвой, и тогда все даром и нечего, не для чего терпеть и ждать, как упрашивает его мать, и надобно... Что надобно? С оружием встать на дядю? Скоро Костянтин и последних бояр отгонит от ихней семьи, не с кем будет и стать, некого и позвать в грозный час!

Всеволод извелся, похудел, возмужал ликом. Жонки на улицах Твери оборачивались на него и подолгу глядели вослед, когда он бешеной скачью проносился сквозь любимый город, отторгнутый у него с матерью ненавистным дядей.

Влетев в ворота княжого терема, Всеволод круто осадил коня, не понимая, что за кмети таскают тяжелые сундуки из их половины во двор. Знакомая материна холопка, простоволосая, раскосмаченная, бросилась к стремени, заливаясь слезами:

— Родовое отымают!

Всеволод понял все, и — потемнело в глазах. Вздев плеть, кинул коня в толпу дядиных холуев, крестя направо и налево тяжелою плетью. Кмети попятили было, но тут же взялись за копья. Всеволод, зверея, вырвал из ножен ордынский кривой булат, первая же вздетая рогатина, косо срубленная под самым лезвием, отлетела посторонь. Кметь, хороня голову, пал

ничью под ноги коня. Еще бы миг — и двор забрызгало кровью и кмети, зверея, потеряв полдюжины своих, вздели бы князя с конем на острия рогатин.

— Не смей!! — раздался с крыльца режущий уши отчаянный материн крик. Кинулась в бешеную толпу мужиков, под копья, под копыта коня.— Не смей! — повисла на рукаве вздетой было руки с саблею наголо. И кмети сдали назад, и старшой, ругнувши по-матерну, рек:

— Не сами ж!.. Князев наказ сполняем!

— Дала! Дала сама! Позволила! — слепо, огромными черными глазами вперяясь в неистовый лик сына, кричала, хрипела осекшимся шепотом, тащила с седла. Повойник свалился с кос, обнажив голову в редкой, прядями, седине. И увидевши эти беспомощные серебряные следы старости, Всеволод смяк, сдался, уронил тяжелую руку, насмерть сжавшую губительное лезвие. (Вот так же, верно, дядя, Дмитрий Грозные Очи, не вынес, не выдержал тогда, в Орде, подняв саблю на Юрия Московского!) Дал стащить себя с седла и увести в дом.

Кмети торопливо утянули вынесенные наружу сундуки, за новыми не пошли, хоронились от греха.

— Мать! Я из Стружни, со Тьмы, и туды добрались! Летом до Успенья осенний корм берут! И серебро! Задумал чего Костянтин? Боярски терема почали грабить! Увечные есь, есь и убиенные! Мать, не могу больше! Подожгу, убью! Кметей сбираю тотчас!

— Тверь али родовой дом жечи станешь? Опомнись, сын! Маша! Воды принеси! Холодной! Вишь, в жару весь! Сама! Холопку не посылай!

Скоро Всеволод, отертый водою с вином, кое-как успокоенный, был заперт в материном спальном покое вместе с Машею, что терпеливо поглаживала его по кудрям, с немою жалостью глядя на большое, разметанное ничью тело брата, рыдающего сквозь сжатые зубы от бессилия и злой обиды. А Настасья, устремившаяся было на половину деверя, где наткнулась на холопское: «Не велено пущать!» — сейчас в ярости ходила взад-вперед по столовой палате, как львица, у которой воруют ее щенков, готовая грызть и кусать и так же бессильная перед наглым самоуправством Костянтина...

Вечером Всеволод с сухими горячими глазами говорил матери:

— Еду на Москву! К великому князю Семену! Раз старший средь нас, должон дати нам правый суд!

— Не даст! — безнадежно возражала Настасья.— Москва держит руку Михайловичей, разве не чуешь сам!

— Не даст — не великий он князь нам больше! А ворог с большой дороги, тать! — гневно отвечал Всеволод.

Испуганные, большеглазые, немо глядели на старшего брата Володя с Андрейкой. Ульяна жалась у бока матери, пряча лицо в складках синего атласа. Мария сидела в стороне, в сумерках плохо освещенной горницы белея лицом, мертвая, в мертвенном своем монашьем наряде. Из слуг одна лишь старая полуглухая нянька была допущена на этот ночной семейный совет (и слуги могли быть подкуплены Костянтином).

— Страшат на Москве Александрова племени, сын! Федю недаром убили в Орде! Думаешь, без Семена обошлось? Он-от и был в те поры в Сарае! Толковали, Федя перемолвить хотел с им, да князь Семен не принял Федю, в дом не пустил. Так-то, сын! Не баяла тебе того, не хотела, а — знай! Надо терпеть.

— Доколе?! Костянтину сорок лет! Еще двадцать летов проживет, той поры и сын подрастет еговый! Нам коли на Холм ехати, тверского стола боле и не видать!

Настасья вдруг согнулась и заплакала, и в тишине, в полутьме единой горящей свечи только и слышны были глухие рыданья Настасьи да неровное потрескиванье свечного пламени.

И вдруг из темноты, где недвижно застыла, замерла старшая дочерь, раздалось спокойное, твердое, словно бы и не девушкою, не княжной произнесенное — так чеканны и холодны были отчетистые слова:

— Пусть Всеволод едет на Москву!

И не двинулась, и не переменила посадки. Все так же белело лицо в темноте с серыми губами и черными провалами глаз. Только в недоуменно повернувшиеся к ней лица брата и матери повторила с тою же холодною чеканной отчетистостью:

— Пусть едет!

И Настасья, перемолчав, словно бы поняла, и оплыла плечами и телом, и заспешила тревожными движеньями рук, суетою голоса, приговаривая:

— Ну что ж, езжай! Бог милостлив! Авось! Авось и оправит, и поможет Семен-от Иваныч...

И Всеволод точно бы понял. Встал, неловкий, большой, и молча поклонился сестре.

Всеволод отправлялся в Москву почти открыто, не один, а с боярами и дружиною. Ехали верные Настасье кмети, ехали обиженные Костянтином бояре, везли грамоты с исчислением поборов и грабежей, везли, как водится, дары и подношения князю и московским думцам — Вельяминову, Бяконтовым, Акинфичам и иным многим. Ехали в упрямой надежде на правду и правый суд, ибо терпеть долее не можно стало совсем.

И, прослышав о посольстве Всеволода, Костянтин Михалыч тоже круто срядился, забрав серебро и дружину, и тоже поспешил — токмо не в Москву, а прямо в Сарай, к хану Золотой Орды.

ГЛАВА 72

В Москве приезд Всеволода наделал-таки полоху. С семьей Александра Тверского поступали не по чести, и это знали все, и к этому чуть ли не каждый из московских думцев приложил руку. Надо было обессилить старого врага, и посему поддерживали Василия Кашинского, и потому мирволили ничтожному Костянтину как менее опасному сопернику, тем паче что Костянтин всю жизнь так-таки и не выходил из московской воли. И потому были хитрые посылы, увертки и подходы, и потому Костянтину дали волю утеснять вдову брата, и... Всем все было понятно, но истина, как и бывает при таком неправосудном деянии, всячески прикрывалась шелухою слов и умолчаний, всячески пряталась от чужих да и от своих глаз.

И потому, когда Всеволод, прорвав всю эту суетливо сплетенную паутину, прямо и ясно потребовал истины, прибыл как младший князь к набольшему своему, к великому князю владимирскому, требуя суда и исправы, на Москве переполошились все. Не знали, куда поместить юного тверского князя, как баять с ним, куда девать доведенных до отчаяния бояр покойного Александра, которые упрямо не хотели покинуть семью господина своего и тоже требовали справедливости и правого суда.

Прямота правды — великая ее сила. И на прямой смелый запрос защитники неправоты редко решаются цинично изъяснить истину, а чаще начинают вилять,

мямлить и прятаться друг за друга. Хотя — чего проще? Скажи: делаю то-то и потому-то и иначе делать не буду и не хочу! Нет, нельзя... Где-то там, промежду четырех глаз, в малой своей шайке, еще возмогут сказать да и посмеять над иным правдецом, а в лицо, прилюдно — тут и набольший подлец вспоминает вдруг, что есть же на земле законы чести и высшая правда, утвержденная авторитетами многими, ежели не здесь, то где-то будет и воздаяние за сотворенное зло.

И потому Всеволодовых бояр и его самого начали пихать одного к другому, поили, кормили, тянули-растягивали, не решаясь сказать ни да ни нет.

Встретиться с великим князем владимирским Всеволод сумел только на четвертый день, и то в присутствии бояр нарочитых, на торжественном приеме во дворце, где ему и много говорить даже не позволили, велев исписать все на грамоту (а поданные грамоты тотчас запрятали, словно запретное сокровище какое) и ждать... невестимо чего.

Всеволод изводился, зверем бегал по горнице. Принимал его, на правах старого знакомого, Андрей Кобыла. Добродушный великан старался поить и кормить гостя на убой, а о деле — лишь тяжко вздыхал, разводя руками:

— Вишь, нашему-то тоже не рука в тверски дела лезть! Ольгерд проклятый, да Новгород, то, се... Сам должон понимать! Ето, што Костянтин творит, пакость, конешно, дак не войной же на его идтить в нонешнюю-то пору!

Путался Кобыла. Жаль было юного князя, и по-старому дак... Служил все же Лександру-батюшке! Хоша и отбыл, переметнулси, а все от княгини Настасьи никоторого худа не видывал!

От себя, четырежды почесав в затылке, решился, встретив князя Семена, пробормотать, отводя глаза:

— Принял бы ты ево, княже! Истомили молодца! Уж отослать коли... А так-то нехорошо — тово!

И Семен, озабоченно и строго поглядев на Андрея, вдруг нежданно легко согласил на встречу с сыном старого ворога отцова:

— Что ж, приводи! Не то сам к тебе зайду, не прилюдно штоб!

День тянулся медленно-медленно. Как на грех, на вечер пали дела многие, и Симеон освободился уже

к самому сну. Все же велел подать коня и, не сказываясь никому, с немногими кметями поскакал к Андрею Кобыле.

Он еще не знал, что и об чем будет говорить, но чуял одно: не встретиться вовсе с братом Марии, как когда-то с покойным Федором, не может. Сам себе того не простит. Хотя и то знал, что поступает сейчас вопреки советам Алексия и мнению всей думы.

У Всеволода сидели его бояре, но Симеон, через хозяина, попросил удалить всех, оставив его со Всеволодом с глазу на глаз. Андрей понял и тут же, вызвав старших сыновей, Семку Жеребца и Сашка Елку, велел отвести Семену Иванычу особный покой и проводить туда отай Всеволода Лексаныча.

— Баб штоб никаких не было! — крикнул вослед и пояснил князю: — Сороки, на хвосте разнесут!

Скоро Семена проводили в пристойно убранную, с накрытым столом палату. Причем разоставляли блюда, чаши и кубки на столе, как понял Семен, не кто бы то из слуг, а, в знак уважения к князю, третий и четвертый сыновья Кобылы, Вася Пантей с Гавшею, и, накрыв и разоставив все, возжегши свечи в стоянцах, скоро и молча удалились.

Всеволод вошел, высокий, взъерошенный, чуть растерянный, увидал одного князя, пробормотал приветствие и замер, не зная, сесть ли ему самому.

Семен кивнул гостю, и Всеволод поскорее, с облегчением, присел на скамью. С минуту оба молчали. Потом Всеволод начал говорить, торопливо и сбивчиво, краснея и бледнея попеременно. Семен остановил его движением руки:

— Знаю, чел грамоты ти! — Указал глазами на блюда, к себе придвинул тарель с зажаренным в сметане рябцом. Всеволод, глядючи на великого князя, тоже стал есть, торопливо и беспокойно, то и дело взглядывая на Симеона. Когда великий князь потянулся было к кувшину с медом, Всеволод схватил кувшин и, наливая князю, от поспешности облил скатерть и смутился, весь покраснев едва не до слез. Семен, нарочито не заметив оплошности гостя, протянул тарель, зна́ком попросив положить кусок холодной севрюжины. Ели в молчании.

Семен наконец, отерев пальцы рушником, поднял взор, вопросив негромко и с видимым затруднением:

— Что Маша... Мария Лександровна?

Всеволод поднял глаза на великого князя, чуть заметно пожал плечами, угрюмо вымолвил:

— Сказала, езжай!

Семен кивнул, словно бы этого и ждал, и вновь протянул руку к блюду с ватрушками. Лицо его не изменилось, только словно бы чуть побледнело, и Всеволод не почуял, какую бурю поднял в душе Симеона, вымолвив эти слова. (Сказала... Стало, ждала, верила, ведь не знает же она — да и от кого? — всех его тайных дум и бессонниц! Верила в его помочь, надеялась. Или это игра, хладный расчет, или его бессовестно обманывают, чтобы вырвать решение в свою пользу... Или? Или она сказала это просто так, не думая ничего... Нет, такого быть не может! Просто так в подобные миги жизни не говорят!)

И вот на одной чаше весов мнение всей Москвы, заветы родителя, воля Алексия (а с ним вместе — русской церкви), дела и труды его бояр, вечная угроза Литвы, а на другой — что же на другой? Единое слово, сказанное далекою, недостижимой для него девушкой! Слово, более важное для него в сей час, чем мнение всего остального мира...

Семен жевал, не чувствуя вкуса ватрушки, на диво сдобной, румяной и хрустящей,— семейной гордости Андреихи, которая, дабы угостить великого князя, сама в тот день стряпала, стоя у печи.

...И, конечно, Алексий скажет опять, что он, князь, не волен в похотеньях своих, ежели на весах благо всей Москвы и даже великого княжения владимирского! И, конечно, будут возражать Акинфичи и Зерно, так долго готовивший союз с Василием Кашинским! И даже новый духовник князев, этот Стефан, игумен от Богоявления, осудит его... Должен осудить! Ежели он изменит делу отца, ежели он за ничто отдаст все добытое трудами своих маститых приспешников!

Он еще раз строго оглядел Всеволода. Нет, этот тверской княжич не был похож на Федора ничем! Даже и вовсе не похож! Федор был жесточе и тверже — уже не вьюноша, муж! (И родитель знал, что делал, отделываясь от Федора!) Всеволода ему сейчас было жаль, точно несмышленыша, полезшего в гибельное место, куда и взрослые не отважат порой сунуть носа! Отрок ты, отрок! Так вот и гибнут князья в твоем роду! Ведь я должен ныне... Что?! Посадить тебя в затвор, как сделал бы дядя Юрий? Услать к хану с смертным,

отай, приговором, как содеял бы, верно, отец? Ведомо ли тебе, на какой тонкой нити висит ныне судьба Александрова дома? И ведь пока жив Костянтин, и Тверь не подымется за тебя, ни малый твой город Холм, ни Кашин, ни Микулин, ни Старица, ни прочие грады и веси тверской земли! А братьев твоих, и даже того, новогородского, навычного пению церковному, невзначай можно убрать, схоронив по дороге, в лесу! И скажи, не так ли точно поступили бы с тобою в Орде?

Симеон со стуком отодвинул от себя серебряную тарель, бросил нож на камчатную скатерть.

— Слушай, Всеволод!

Тот выронил вилку, давясь куском, проглотил то, что было во рту, разом вспотел — росинки влаги проблеснули на челе,— поняв, что подошло «то», самое главное.

— Слушай, Всеволод! — повторил Симеон.— Но сперва скажи, возможешь ли ты промолчать и никому, слышишь, никому, матери даже, не откоыть сегодняшних слов моих?

Всеволод смотрел широко разверстыми очами. Медленно склонил голову, побледнел, посерел губами. Произнес едва слышно:

— Могу!

— Так вот! Никто не поможет тебе на Москве и не даст правого суда! Ведомо ли тебе это? Никто! Даже я! Ибо и мне не дадут оправить тебя! Понял ты это?

Всеволод, темнея ликом, по-бычьи тяжко склонил голову, вымолвил:

— Да!

— И теперь знай! Я тебя, с боярами, отсылаю в Орду, к Джанибеку. Костянтин тоже поедет туда...

— Дядя уже в Орде! — глухо возразил Всеволод.

— Вота как?! — настал черед Симеону отемнеть взором.— Почто ж мои бояре не донесли мне вовремя?

— Прости, князь! Я только что получил весть о том, чаял сказати тебе, да, вишь, не успел.

— Костянтин в Орде! — в задумчивости протянул Симеон и вдруг вспыхнул взором: — Что ж! Это меняет дело! На Москве уведали уже о том?

— Чаю — никто. Ты первый, князь!

— Добро! — склонил голову Симеон.— Так я отсылаю тебя в Орду. И пишу грамоту царю. Тайную. С просьбой — помочь тебе в споре с дядей! Понял?!

— Да! — растерянно произнес Всеволод.

— Тайную грамоту! Быть может, в ней совет — убить тебя, словно отца или... или твоего брата Федора! Убить, сперва обласкав и обнадежив! Понял ты это?!

— Я верю тебе, Семен Иваныч! И Маша...

— Молчи! — выкрикнул Симеон. Настала тишина. Он закрыл руками лицо, вымолвил тихо, едва шевеля губами: — Ежели б... Ежели... Я был один... Как ты мыслишь, пошла бы за меня Мария Лександровна? (И уже покаял, что спросил. Жаркий стыд горячим варом залил лицо.)

— Не ведаю, князь! — глухо ответил Всеволод.— Сердце девичье кто же весть? Однако, мыслю,— он приодержался и докончил почти шепотом: — пошла бы.

— Ступай! — отмолвил Симеон, не отнимая рук от лица.— Готовься в путь. Грамоту ушлю ночью с киличеем своим, Аминем. Помни и то, что ханская прихоть не в воле моей! И — молчи!

Он отнял руки, справясь с собою. Встал. Сверкающим взором прожег Всеволода. Тот, шатнувшись, даже отступил назад.

— Спасибо, князь! — Всеволод неловко склонился в поклоне.

— Ни слова больше! Ступай,— возразил Симеон.

Назавтра тверские бояре и кмети во главе со Всеволодом потянули долгим табором по коломенской дороге в Орду. Семен послал наказать, чтобы в пути обходили чумные города и береглись встречных, а воду пили токмо из чистых ручьев и ключей. Решась писать о Всеволоде самому Джанибеку, Семен вовсе не хотел, чтобы тверской княжич попусту погинул в степи.

ГЛАВА 73

Алексий, озабоченный скорым отъездом тверичей, не находил себе места. Что-то было не так, что-то Симеон утаил от него! Он имел долгую молвь со Стефаном. Не хочет ли Алексий, дабы он, Стефан, открывал ему тайны исповеди, вопросил Стефан устало. Алексий опустил голову, задумался. Нет, этого он не хотел! Церковь потеряет путь к Богу, ежели начнет служить земной власти.

Они сидели все в той же келье. Стефан хоть и

перешел в покои настоятеля, но в дни наездов Алексия почасту уединялся с ним в прежнем их обиталище. Стефан, усталый от огромной и многообразной работы настоятеля, казавшейся много легче со стороны, чуть пригорбил стан, склонил чело, очи совсем утонули в темных провалах глазниц. Островатое лицо Алексия тоже было устало и бессолнечно. И на него свалилось излиха напастей и бед. Да, конечно, тайны исповеди он у Стефана выпытывать не имеет права! И все же... Стефан шевельнулся, сказал:

— Владыка, быть может, я погрешаю ныне, но скажу тебе то, в чем великий князь не признавался мне и на исповеди, но что я почуял... понял сердцем, ибо некогда, в грешной жизни моей, было подобное, и чувства те я с тех пор умею читать!

— Симеон?..

— Любит тверскую княжну Марию, дочь Александра.

Алексий встал. Как он сам не понял, не постиг прежде! Как он не сумел предотвратить этой беды!

— Сядь, владыко! — сказал Стефан тихо.— Великий князь спит. А ныне помысли о сем келейно. Я не ведаю... Не могу воспретить или разрешить... Прости, Алексий, прости и меня вместе с ним!

Потрескивала затопленная печь. Оба в молчании опустились на колена перед божницей и стали молиться. Один — о себе и великом князе, другой — о великом князе и русской земле. Да будет молитва их услышана Господом!

В ближайшие два дня Алексий выбрал-таки час застать князя одного. Решительно увел его за собою на глядень городовой стены, оставя стражу внизу, намеря поговорить с Симеоном в прохладе обдуваемой ветерком стрельницы.

Город был весь как на ладони — и Занеглименье, и урывистый левый берег Неглинки с монастырем Богоявленья, расстроившимся и похорошевшим, с каменным храмом своим и двумя древянными, и дымный ремесленный Подол, и окрестные слободы, что уже вот-вот сольются с Москвой, и поля, и стада в полях, и синяя оправа лесов, и широкий луг Замоскворечья с Даниловым монастырем вдалеке, с хороводом изб и конюшен у мытного двора и опять с коневыми стадами, горохом рассыпанными в зелено-голубой дали, и Воробьевы горы с едва видным отселе

загородным княжеским теремом и селами, и красные боры вверх по Москве, и курящие там и сям в лесах деревни, гуще и гуще оцепляющие стольный город, и ветер, и воля, и простор, простор! Оба невольно засмотрелись, озирая окрестную лепоту, и не вдруг и не сразу поворотили друг к другу ради тяжкой беседы, начатой таки Алексием, начатой и продолженной им, хотя в сей раз он — что крайне редко бывало с наместником — и не нашел верного тона для толковни.

Князь словно закаменел, застыл, жестко прорезались кости лица, ослепли глаза, устремленные в пустоту:

— Ето... Стефан твой, што ли? — с трудом выдавил из себя.

— Стефан не мой, а твой, и он — твой отец духовный! — строго отверг Алексий.— И грех такое молвить о нем всуе!

— Прости, владыко. Я уже не верую никому! Ты хочешь, я знаю, прошать меня о Всеволоде? Ведомо тебе, что Костянтин отобрал у них тверскую треть? Ведомо тебе, что я, как великий князь владимирский, обязан дать Всеволоду и суд и исправу? Ведомо тебе, что без правды не стоит земля и не крепка любая, самая великая власть?

— Мне ведомо, сын, что Русь будет единой или погинет в раздорах, яко древний Вавилон! И что крепить единую власть на Руси обязан ты, великий князь владимирский! Вспомни родителя своего, он же души своея не пожалел ради величия отней земли!

Симеон побледнел как мертвец. Холодный ветр, ветр высоты, казалось, выдувал сейчас из него и кровь, и последнее живое тепло. «Не хочу!» — хотелось крикнуть ему, и не мог крикнуть.

— Ведомо тебе, владыко, что князь Костянтин поехал в Орду и что Настасьиным серебром он станет покупать себе великое княжение тверское? Ведомо тебе это?! Ведомо, кого поддерживаем мы на тверском столе?! На этом пути, Алексий, не найти верных, а рабы всегда предадут в грозный час последней беды!

— Поехал в Орду? — повторил Алексий смущенно и вновь повторил: — Поехал в Орду! — Дело меняло вид, и, быть может, князь и был бы прав в чем-то, если бы...

— А ведомо тебе, владыко, что Александровичей

четверо и им все одно придет делить на уделы землю свою?

— По примеру Москвы старший из них получит бо́льшую часть!

— И оскорбит других! Довольно убийств! Я не хочу помнить о новом Федоре! И верю, что Всеволод не предаст меня!

— А Михаил?

Семен в сей час и думать забыл о том, втором Александровиче.

— Сам же ты рек,— упрямо отмолвил он,— что старший из них получит большую часть! И Михаил тогда останет на своем Микулине и не будет страшен Москве! Довольно, отец! Костянтин передаст престол единому из сынов, первому или, скорее, второму, Еремею, и Москве тогда станет лиха управляться с новым великим князем тверским!

— Сыне! — ласково начал Алексий.— Я понимаю тебя. Ты жаждешь снять с себя грех в убиении князей тверских, но оставь заботу сию церкви божией! Не может князь решать противу земли!

— Владыко, я решал с совестью своею, и земля не осудит меня! — глухо отозвался Семен.

— Сыне! Помысли о сем. Вот я реку любому боярину твоему: князь наш поступил тако и тако. Мнишь ли ты, что любой и каждый не осудит тебя?

— Осудят, владыко! А кого осудят, когда Костянтин привезет из Орды себе ярлык на великое княжение?

— Он еще не привез его!

— Привезет — станет поздно гадать и мыслить!

— Хан верит тебе!

— До часу. Вельможам Сарая надобно русское серебро. Тем паче — теперь! В Орде мор!

— Сыне, ты не все и не главное сказал мне теперь!

— Да, владыко! Но иного я не скажу. И незачем! Я христианин и буду им до конца!

— Ты сказал, сыне...— предостерегающе отмолвил Алексий и повторил, воздохнув: — Ты сказал...

— Отче! — почти с мольбою возразил Симеон, поворачиваясь к своему наставнику.— Я не ведаю решенья Джанибекова! Не ведаю ничего! Но верь, отец, иначе, чем я поступил, я не мог и не смел поступить! И... благо земли... Ведаю! Знаю все... И... и... молись за меня!

ГЛАВА 74

«Отче наш, иже еси на небеси! Да святится имя твое, да приидет царствие твое, да будет воля твоя, яко на небеси, и на земли...»

Ровно горят свечи в медных вызолоченных паникадилах, мягким сиянием наполняя тесную теремную церковь,— только-только поместиться иерею и семье княжеской. Стефан стоит прямой и высокий в торжественном облачении игумена, в омофории, с нагрудным крестом древней киевской работы, каких нынче уже не могут сотворить. Князь перед ним — в домашнем полотняном зипуне, скупо вышитом серебром по вороту и нарукавьям. Шепотом повторяет за иереем слова молитвы.

— Господи помилуй! Господи помилуй! Господи помилуй!..— Двенадцать раз повторяет молитвословие Стефан.

— Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков! Аминь! — говорят оба, Симеон — одними губами.

Стефан начинает читать покаянный псалом: «Помилуй мя, Боже...» Симеон прикрывает очи, внутренне собираясь к исповеди. Он и верит и не верит Стефану. Игумен строг и красив, с лицом аскета, и все-таки, Алексий, лепше бы тебе самому прошать мя вся тайная сердца моего!

В церкви тишина, покойное одиночество тесного храма, красота дорогой утвари, крупные лики икон новогородского, суздальского и тверского письма.

— Не грешишь ли ты, Симеоне, невоздержанием в пище, в питии?

— Не грешу, отче Стефане! Питий пьяных бегу, чревообъедением не разожжен есмь.

— Сребролюбием, гневом, любодеянием, унынием, суесловием, гордынею?

— Нет, нет, нет! Нету гордыни во мне, ни сребролюбия, ни даже гнева... Но грешен я, отче, сомнением! Мыслю, свято ли хранишь ты тайну исповеди моей?

— Княже и сыне мой! Грешен и я пред тобою! Но не тем грехом, о коем тревожишься ты! Быв спрошен владыкой Алексием, открыл я ему то, чего ты сам не поведал мне ни разу — тайну твоей любви.

— Отец! Кто сказал, кто поведал тебе о ней?! Все ложь и клевета!

— Увы мне, сыне! Была и в моей жизни любовь! И безумие плоти, и жажда все отдать за единый вздох или взгляд!

— Где же она теперь?

— Умерла. А я — здесь, где и должен был быть искони.

— И она...

— Стала женою моей. И рожала. И умерла от родов. Прими и ты, князь, исповедь мою! И звали ее...

— Марией?

— Вот ты и сознался, сыне мой! Нет, звали ее не Марией, а Анной. И брат мой молодший, Варфоломей, ныне под святым именем Сергия спасающий себя в лесной пустыне под Радонежом, чаю, тоже любил ее в те давние годы!

— И он?

— Превозмог себя. Или отступил, того не ведаю! Быть может, я и теперь грешу перед ним...

— Отче! Тогда и я скажу тебе все! Ты ведаешь, что с женою живу я, яко мних...

— То зачтется тебе, Симеоне!

— Отче! Не ради спасения своего, не вослед Алексию, божьему человеку, и иным праведникам...

— И то знаю, сыне!

— Так неужто невольное гибельное воздержание Господь вменит мне во спасение мое?

— Сыне! Пути господни непостижны земному уму!

— Отче! С тех пор, как я увидел ее, мир окрасился цветом, и воздух пахнет надеждой, и жизнь стала радостью и мученьем, и я начал жить только теперь! Отче, я не монах, я мирянин! Мне не снести подвига первых пустынножителей! Отче, что делать мне, помоги, подскажи!

— Сыне, сам же ты рек: счастье с тобою! Не проси большего! Не требуй от Господа того, чего он сам не дает тебе!

— Отче, но нам дана свобода воли!

— На добро! И на послушание высшей силе!

— Это не свобода, а обман!

— Не богохульствуй. Это и есть высшая свобода смертного: пойти путем добра, а не зла, путем отречения от злобы страстей, и чрез то получить блаженство высшей жизни. Поверь! Годы прейдут, и сам узришь, что безумье страстей токмо отягощало твои молодые лета, и спросишь себя: что совершил я во благо Господа

и народа своего? И тó лишь и будет тебе наградою на смертном одре, пред последнею дальней дорогой, сужденной всякому смертному. Быть может, тогда и плотское воздержание твое, тяжкое ныне, окажет иным и высоким подвигом стези твоея?

— Отче! Помилуй меня! Помилуй и пощади! Я люблю ее!

ГЛАВА 75

В лесу одуряюще пахло горячей смолой, хвоей и болиголовом. От запахов томительно слабели руки и кружилась голова. Мураши сновали вверх и вниз по стволу сосны в серых и желтых шелушащихся чешуйках. Трепещущие синие стрекозы, недвижно спаренные одна с другой, опустились, стеклянно посверкивая крыльями, на ветку, прямо перед его лицом. Изумрудные лесные мухи с громким жужжанием скрещивались в воздухе в кратких мгновениях любви. В траве ползали мягкие зеленые существа, шевеля усиками в поисках самки. Зайцы резвились на полянах, волк вызывал волчицу долгим воем своим. Жизнь ползала, прыгала, ворошилась, летала. Сквозь старую хвою лезли ярко-зеленые юные побеги. Все росло, совокуплялось и умирало, оставив личинки, яички, зверенышей, семена для новых произрастаний. И горячий настой леса будил в нем тот отчаянный зов, который когда-то бессознательно бросил его в безоглядное бегство по лесу; и только теперь понял он, от чего тогда убегал!

Нет, он не хотел этого! Не мог раствориться в потоке бессознательного жизнерождения, в вечном обороте существ, созданных Творцом, но не наделенных еще ни разумом, ни греховностью. Только теперь бежать было некуда и не от кого было бежать! Нюша покоилась на погосте, и ее маленькая исстрадавшаяся душа — он верил в это,— искупив на земле невольные свои отроческие грехи, пребывала ныне у престола господня. А он — с тяжким многолетним запозданием — испытывает днесь разжжение плоти, то, в чем он упрекал Стефана когда-то.

Сергий поднял тяжелые водоносы. Нахмурил чело. Гнев — мужеский, святой гнев воина в бою и труженика, одолевающего упрямую пашню, неподъемное ли древо или иное что,— поднялся в нем. И, почуяв гнев,

он остановил себя, опустил водоносы и начал читать молитву. Пока не утихла, пока не успокоилась плоть. После поднял ношу, донес до хижины, вылил воду в кадь, занес дрова, разжег печь, все это делая опрятно, но без мысли, как давно знакомое рукам и телу. Когда разгорелся огонь, он обмял дежу и начал готовить хлебы. До того как прогорел очаг, успел еще починить обор и надвязать проношенный лапоть, шепча про себя молитву, успел приготовить доску, на которой скал свечи (нынче ему доставили круг воску от незнакомого жертвователя), и когда уже выгреб угли и засунул на деревянной лопате хлебы в печь и сытной ржаной дух наполнил хижину, понял, что надо делать.

Вынувши хлебы и убрав в ларь, он отрезал кусок себе и кусок топтыгину и от своего куска, скупо улыбнувшись, отрезал еще половину для медведя. Косматый опять сегодня придет, хромая (верно, когда-то ранили зверя на охоте), и Сергий, заслышав тяжелое ворчание, вынесет ему хлеб с привеском и, как всегда, положит на пень, а медведь, дождав, когда отойдет пустынник, подойдет сторожко, обнюхает сперва, а после с урчанием станет есть, и, съевши, покивает ему головою, обтирая лапою морду, словно бы человек после сытной трапезы, и уйдет, растает, исчезнет в чащобе леса до нового приходу, до новой трапезы. А Сергий станет отныне даже не есть, а сосать малый ржаной кус и грызть горькие молодые ветки сосны, и сократит сон, заменив его молитвою, и примет на плеча еще более тяжкие труды. Ибо дух вседневно должен одолевать плоть, и в этом ежечасном борении, в этом вечном сражении и заключена правда разумной жизни.

ГЛАВА 76

Первое, что узрел князь Костянтин Михалыч, соступив с корабля, это куча почернелых трупов, горкою сложенных на самом берегу, над которыми тучею, с низким утробным жужжанием кружилось облако навозных мух. Сладковатый смрад досягал сходен, и кони, которых под уздцы сводили с учана, храпели и пятили от страшного запаха мертвечины.

Вдоль улиц Сарая ходили какие-то оборванные, с трещотками в руках, в торгу было пустынно, и прямь лавок лежал в пыли вздрагивающий еще полутруп

жирного человека в размотавшейся чалме. К нему подошли замотанные до глаз стражники и крючьями поволокли прочь, а умирающий — и это было страшнее всего — хрипел, дергался, пытаясь приподняться, задирал лицо в сору и пене, с незрячим уже взглядом выкаченных, безумных глаз, и изо рта его рывками выходили с икотою пена и сгустки крови, пятнавшие густую навозную пыль. Степные вороны расхаживали враскачку, били крыльями, не в силах взлететь, обожравшись человечины. Редкая фигура в чадре или убрусе, закрывающем лицо до глаз, шарахалась посторонь, с ужасом и недоумением глядючи на проезжающих верхами русичей.

На тверском подворье князя встретила, причитая, жонка — жена ключника, как оказалось, несколько дней как погибшего от чумы.

— Баял, баял, што князя сожидат! Ан, в торг сходивши и воды испивши, закашлял кровью и помер, родимец! Помер, батюшко! Позавчера и схоронили ужо! И слуг-то нетути — кого вынесли, кто и сам сбежал, таково скорбно у нас!

С трудом собрали ужин и истопили баню. Хан Джанибек, как узналось, жил за городом, в степи, берегся от мора. Назавтра, как и все тут, завязав платом лицо, Костянтин начал объезжать ханских вельмож, кого можно было застать в Сарае или близ него. Принимали с трудом, говорили издалека, дары и серебро окуривали ядовитым дымом и даже после того не брали в руки. Смерть ходила за каждым и губила обитателей дворцов так же безжалостно, как и бедняков в торгу.

На второй день на глазах у Костянтина юный отрок из свиты, побывавший перед тем в городе, вдруг побледнел и, прислонившись к яблоне в саду, начал дергаться в удушье и рвотных позывах. Пена пошла у него изо рта, и когда парень поднял обреченный молящий взор, людей вокруг него словно ветром сдуло и ему кричали издалека: «Уходи, уходи прочь!», замахиваясь оружием.

Отрок слепо протянул руки к остриям копий и заплакал, пятясь, вытесняемый вон из двора... Место, где он харкал кровью, тотчас облили бараньим салом и подожгли, а отрок уходил вдоль по улице, обреченно оглядываясь назад, и только ключница, выглянув из ворот и размахнувшись, швырнула ему вслед каравай

хлеба. Тот остоялся, нагнулся как-то косо и неуверенно, поднял хлеб и, прижав его к животу, скорчился над канавою в новом приступе удушья. И потом так и пошел, оглядываясь и оглядываясь назад, прижимая хлеб к животу, неверными, колеблемыми шагами, уходя в ничто, в смерть, под острые крючья ханских собирателей трупов...

Вечером старший из бояр, угрюмо глядя мимо князева лица, предложил переехать в степь, в вежу. «Не то все перемрем, как Тимоха!» И Костянтин, чуя холодок смертного ужаса после гибели парня, тотчас согласился с ним.

Выбравшись за город, кмети и бояре повеселели. Князю поставили особый шатер и, как приметил Костянтин на третий или четвертый день, старались окуривать и его и княжеского коня, не говоря уже о слугах, сопровождавших господина, после каждой княжеской поездки в чумной город. Береглись трапезовать вместе с князем, и поделать с ними Костянтин ничего не мог. Он и сам при каждом своем обычном приступе желудочного недомогания начинал думать: «Ну вот, началось!» Однако до поры бог миловал. Да и русское серебро надобно было в Орде. Ему обещали, и твердо обещали, помочь и в споре со вдовою брата, и в получении ярлыка на великое тверское княжение. Он уже и у хана побывал, и Джанибек встретил тверского коназа милостиво, принял серебро, разглядывал, цокая, подарки, которых, правда, как и прочие, не касался руками. Вопросил, усмехаясь:

— Правду ли молвят, что русичи толкуют нашу беду яко казнь египетскую от бога Исы, насланную на нас за грехи?

— Я не ведаю того! Не слыхал! Сами русичи в Сарае тоже мрут, яко и бесермены! — отвечал смешавшийся Костянтин, подергивая бородой и лихорадочно припоминая, не сказал ли он сам в запальчивости кому ни то сих опрометчивых слов. Или донесли облыжно?

Но хан, посмеявшись, отпустил его, обласкав. Верно, ежели и донесли, Джанибек того в слух не принял!

В этот день Костянтин, засыпая, впервые со вкусом представил себе, как его холопы очищают княжеские терема Твери от последних остатков несносного братнина семейства, выкидывают прямо в пыль двора порты и добро, гонят холопов и самих княжичей... Кто терпел, и тянул, и сохранял, и сберегал все эти долгие годы

родимую Тверь? Кто спасал от погромов, низил себя пред Калитою, возил дары хану в Сарай? Кто после памятного погрома первым воротился на погорелое место и возводил, и отстраивал? Кто безо спора передал все Александру, который не нашел ничего лучшего, как снова повздорить с Москвою, погубив и себя и старшего сына в Орде? Кто, презираемый, обруганный сотни раз боярами и смердами, одержал и спас город, и сохранил, и сберег, и возвысил, и ныне добивается и добьется великого княженья тверского, кто?!

Вот теперь они узнают, увидят его! Трус?! Да, трус! Да зато умнее их всех, глупых храбрецов, напрасно погинувших в этом роковом споре! Он и отца ныне молча причислил к глупцам. Ужас давней беды, гнет четвертьвекового позорища, когда он, плача, прятался в юрте Бялынь, ведая лишь одно: что отца, почти страшного, исхудалого, с отросшими волосами и колодкой на шее, сейчас убивают на площади и, быть может, вослед убьют и его,— этот гнет начинал затверделою шелухою спадать понемногу с его закаменелой души. О! Он всем им покажет! Он еще будет на коне! Он пойдет другим путем, чем глупые братья и отец! Он будет мудр, яко змей, а кроток — кроток до часу!

Впервые в этот день Костянтин сладко заснул, не поминая в дреме несносных мертвецов, что ежеден попадали ему встречу в чумных улицах...

А назавтра явился в Орду Всеволод. И тоже стал за городом, в вежах. И началось несносное: новая беготня, новые дары и подношения...

Он так до конца и не узнал о дорогой пергаменной грамоте, что, обрызгав уксусом и подержав в парах горящего сандала, прочел хан Джанибек. Не понял, что его серебро и подарки «ни во что пришли», что хан «приложил к сердцу» послание Симеона и теперь только лишь тянет — вываживает тверского князя, не зная еще, как лучше и пристойнее отказать ему...

Впрочем, розданное Костянтином тверское серебро свое дело делало, и Джанибек был в большом затруднении: искренне желая помочь князю Семену и Всеволоду, умом он понимал, что опасно идти противу своих вельмож. Удовлетворить обе стороны? Но как? Дать Всеволоду его треть, а Костянтину великое княжение? (И этим огорчить Симеона!) Да и разве на этом покончит споры кто-нибудь из них? Почему один из тверских князей попросту не прирезал другого?! А он,

Джанибек, тогда бы и утвердил... Или вызвал на суд, казнив за ослушание! Эти русичи с их правами и спорами вовсе не понимают, что значит власть!

Он потянулся лениво. Неделю назад одна из любимых жен, заразившись от рабыни, умерла черною смертью... Нынче опасно даже и жен приближать к себе ради краткой утехи ночи... Не ездят купцы, не плывут корабли, пустынен Итиль, и степь отхлынула подальше от чумных городов. А урусутские князья добрались сюда и хлопочут о власти, словно и вправду Иса наслал беду на одних мусульман!

Можно удоволить коназа Костянтина, а потом, после — снова отобрать у него все и передать Всеволоду? А Симеона вызвать сюда и сказать ему так... Нет, ему написать... Нет, писать не стоит! Такого никогда никому не пишут в грамотах! Мудрый творит, не оставляя следов!

Коназ Семен, коназ Семен, почему ты не здесь, не со мной? Мне не хватает тебя! Или я не должен верить письму твоему? Зачем ты его написал? Что тебе сын врага? Или твой Иса повелел тебе вновь «сотворити добро ближнему своему»?

В густой аромат горящего сандала вплетались запахи целебных трав, сжигаемых у входа в юрту. Джанибек думал, раскинувшись на мягких кошмах, полузакрывши глаза... Или вызвать юную черкешенку из гарема? Окурить ее дымом, вытереть уксусом и вином... Или позвать сейчас к себе Тайдулу, уложить ей голову на колени, вопросить об урусутских князьях, что скажет она? Или позволить бекам брать подарки и спорить и решить так, как решат они, подписавши готовый фирман?

Сейчас в его городах вымирают купцы, вымирают рабы и рабыни, корчась в кровавом кашле, а он не может решить простого урусутского дела и медлит, словно женщина, оставшаяся вдовой.

Всю последнюю неделю Костянтин, почти не слезая с коня, объезжал ханских советников, дарил и дарил, чая перетянуть на свою сторону скрипучие ордынские весы. И вновь к нему пришла наконец уверенность успеха, вновь повеяло победою над ненавистным соперником своим.

Верно, потому он и устал так сегодня, потому спирает в груди и ломит голову жаром! Пора отдохнуть, погодить. Ханская грамота почти у него в руках!

Князь спешился у ворот подворья (припоздав, не

захотел ночью ехать в степь), бросил поводья слуге. Подумав об ужине, почуял вдруг отвращение к пище.

— Началось! — досадуя, помыслил он, разумея приступ своей давней болезни, от которой помогало одно — покой, сон и настой целебных трав. Намерясь лечь без ужина, Костянтин вышел на ночное крыльцо, постоял, слушая заунывные голоса стражи и стук трещоток, оповещающих живых о беде; почуял вдруг странную слабость в теле, удушье и головное кружение. Остоялся, и тут резкая незнакомая боль поднялась у него от груди к горлу. Князь, скорчась, уцепившись кое-как за перила, не в силах вздохнуть, едва устоял на ногах, и тут же его начал бить кашель, с каждым хрипом выталкивая из горла пенистую кровавую мокроту.

Опустошенный, легкий до невесомости, он захотел было крикнуть, в смертном ужасе широко раскрывая глаза, искал, кого бы, кому бы... Скорее! Скорее домой! Бежать отсюдова! Бросить все! Зачем он здесь? Боже мой!

— Мама! — закричал он, как когда-то четырнадцатилетним отроком, при виде убитого отца... И снова резкая, выворачивающая внутренности наизнанку боль пронзила его всего, отозвавшись в темени. И новая кровавая пена теплою жижей потекла по бороде и рукам.

Костянтин заплакал. Захлебываясь кровью и слизью, стоял на предательски трясущихся ногах и плакал, не смея оторвать рук от перил крыльца. Ему уже не нужна была ханская грамота, ему уже ничего больше не было нужно в жизни. «Домой хочу, домой! Мама, матушка!» — шептал он сквозь икоту и новые рвотные позывы.

ГЛАВА 77

Ямская гоньба в страшные месяцы чумы работала плохо. Получив известие о смерти брата Костянтина в Орде, Василий Михалыч Кашинский, последний оставшийся в живых сын Михаила Святого, не имея боле иных вестей и не ведая ничего о Всеволоде, возмечтал, решив, что пробил его час.

В ину бы пору Василий Михалыч, муж не старый годами — ему едва перевалило за тридцать, честолюбивый в меру и совсем не злой, скорее добродушно-

отходчивый, спокойно сидел на своем кашинском уделе, слушаясь старейшего в роду, быть может, подчинясь даже и племяннику, будь Всеволод посановитее годами и сиди уже на столе тверском вослед покойному родителю своему. Князь Василий и ныне не предпринял бы содеянного им, ежели б ему не подсказали со стороны, и со стороны, которую слушать и послушаться очень стоило,— с московской.

Приезжали Александр Зерно с Иваном Акинфовым. Намекали на скорую свадьбу его второго сына с дочерью князя Семена. Повздыхали об освободившемся тверском столе. После ихнего бываньи Василий решился. Явился с дружиною в Тверь. Но тут бояре остановили было младшего Михайловича. Сам Щетнев, тысяцкий Твери, разводил руками:

— Ведаю, княже, и не ведаю ничего! Всеволод в Орде, езжай туда сам!

В Орде надобно было серебро, серебра у Василия было мало. Как ему пришло в ум ограбить Холм, забрав оттуда Всеволодову казну и очистив сундуки местной господы,— не ведает никто. Верно, не самому и пришло-то, а тоже подсказали...

С награбленным серебром и добром двинулся Василий степными дорогами по старинному торговому пути и уже недалеко от Сарая, в ордынском городе Бездеже, повстречал Всеволода.

Смерть Костянтина удобно развязывала руки Джанибеку. В тот же день, как похоронили старого тверского князя, хан вызвал Всеволода к себе и вручил ему фирман на тверской стол.

Всеволод, счастливо избежавший чумы, летел домой как на крыльях. Едучи хлопотать, чтобы ему и матери воротили отобранную Костянтином тверскую треть, он и предположить не смел, что станет по воле хана вдруг и сразу старейшим князем тверским! Со Всеволодом шел ханский посол, дабы утвердить его в правах на тверское княжение. Бояре ехали радостные, недоумевающие от нежданной победы своей. Про Василья Михалыча мало кто думал в Орде, не до того было, и только здесь, на дороге домой, начали поминать и морщить лбы, зане кашинский князь был последним сыном Михайлы Святого, и по старинному лествичному праву...

В Бездеже дядя с племянником столкнулись, что называется, нос к носу. Всеволод, узнавши своих, тве-

ричей, поехал с боярами в стан Василия, не чая никакого худа. Дядя встретил племянника с явным смущением, засуетился, вызывая для чего-то стражу и бояр. Всеволод, ожидавший угощения и беседы, во время коей собирался с бережностью сообщить дяде о своем постановлении на стол и как-то разрешить недоумения и возможные обиды, не понял сперва, что же происходит пред ним. Что за суета, что за сборы, к чему такое многолюдство у дядиного шатра? И тут приметил чашу, забытую хозяином на раскладном походном столе. Свою, именную, обведенную по черненому краю серебра лентою чеканной вязи: «Сия чаша князя Всеволода Олександровича» — не спутаешь! Он протянул руку, оттолкнув холопа, поднял, оглядел. Чаша, оставленная в Холме, сказала ему почти все. Всеволод с чашею в руках вышел из шатра к боярам. Дядя спешил к нему в сопровождении оружных кметей.

— Как попала сюда чаша сия? — строго спросил Всеволод. Василий Михалыч, наливаясь бурою кровью, выкрикнул:

— Положь! По праву взял! Я — старейший князь в тверской земле!

— Значит, моя казна...

— И казну взял! Да, да! — выкрикнул Василий.— Данщиков своих послал в Холм.

— И ты вослед Костянтину?! — грозно прошипел Всеволод. Его душила кровь.— Возьми! — кинув чашу к дядиным ногам, он взмыл на коня и, прорывая нестройную толпу Васильевых кметей, вылетел в степь.— Попомнишь, Василий! — крикнул Всеволод, оборачиваясь на скаку.

— Щенок! — рявкнул ему в ответ кашинский князь.

Вечерело. Разлившись мгновенным багрецом и мало погорев, сникла степная вечерняя заря. Рыжие выгоревшие травы угрюмо шелестели под ветром. Степной и унылый, наполовину вымерший Бездеж прятался невдали, редко-редко мерцая огнями. Василий Михалыч распорядил удвоить сторожу и лег спать. Он еще сам не ведал, как ему поступить далее, и уже сомневался: а не поспешил ли он излиха? Ну как хан Джанибек и верно не утвердит его на тверском столе?

Всеволод тоже не спал, но, в отличие от дяди, предпочел действовать. За ним были ханский указ и юная, нерассуждающая злость. Прослышав про ограбление Холма, кипела гневом и вся Всеволодова дружи-

на. В густых осенних сумерках неслышно подобрались к дядиному стану. Сторожу гвоздили древками копий, полосовали нагайками. Ругань, мат, хриплые стоны; перевязанных кашинцев валили в кучу, бежали к шатрам. Всеволод сам вцепился в выскочившего спросонь полуодетого дядю, оба князя, сопя и храпя, катались по траве, рвали друг другу ворота рубах. Всеволод, более молодой и сильный, одолел-таки, прижав дядю к земле, каблуками отлягивался от дядиных холопов, что стаскивали его за ноги, сорвав с правой мягкий ордынский сапог. Но тут набежали свои, хрястнуло, охнуло, кто-то согнулся, хватаясь за скулу, кто-то побежал в ночь, согнувшись, держась за живот. Всеволод встал, за шиворот подняв и встряхнув дядю. Зажигали факелы, волокли под уздцы обозных коней, впрягали в телеги и кибитки с казною. Злосчастную чашу Всеволод засунул за пояс. Долго искали, ползая по земле, утерянный сапог. Ограбленных в свой черед, битых и перевязанных кашинцев без оружия выгнали в степь, распугав коней — пущай собирают до утра! Уже в задор — размахнись рука, раззудись плечо! — пожгли и порезали шатры, постромки и сбрую — знай наших!

Татарский посол, явившись к шапочному разбору, презрительно оглядел урусутское побоище, потыкал пальцем в брошенное оружие, в забранное добро, выслушал, покивал головою. Его дело было — посадить на стол коназа Всеволода, о прочем забота Джанибекова, не его! Урусутские князья, особенно с Рязани, часто грабили один другого на дорогах.

В сереющих сумерках утра увеличенный обоз Всеволода уходил на север. Ограбленный Василий Михалыч, с огромным синяком под глазом, вслух материл племянника, крича вослед:

— Крестом клянусь, попомнишь ты у меня!

Крутую кашу великой тверской при заварил Всеволод в ордынском граде Бездеже!

ГЛАВА 78

В четырнадцать лет парень в деревне уже, почитай, взрослый, а на двадцатом году — заматерелый мужик, редко кто и не женат в ету-то пору! Онька, Степанов внук, упрямо после смерти деда оставший на родимом

месте, женат еще не был, и скорее не по своей, а по материной вине. Степанова сноха, загуливавшая еще до смерти старика, тут и вовсе, как говорят, сошла с кругу. По неделям не бывала домовь, являлась пьяная, раскосмаченная, прочнувшись, глядела на сына жалкими глазами побитой суки.

— Порты постирай! Да Коляне зашей рубаху! — грубо кричал тогда сын на матерь, в сердцах прикусывая губу. Не можно так с родительницей своей! Да обида была — за деда, за брошенного Коляню, за себя самого. Матерь чинила и стирала, стряпала кое-как, кое-что, мир в семье вроде налаживал, Онька разговаривал добрей, чая, что матка опомнилась — вона морщины и седина в голове, доколе ж! Но та, поотдохнув, вновь исчезала, и все повторялось вновь.

Сыновья — в забросе, во вшах, полуголодные — трудились как два медведя. С каждой новой бедою, падавшею на него, Онька словно бы становился жесточе и злее. Тогда сточенный топор в его ладонях яро врубался в мякоть дерева, соха рвала корни дерев, тупица трещала и гнулась в руках у парня. Покойный деда (чаще-то тятей называл дедушку!) не пораз сказывал, како было хозяйство у него тута до той беды, до Щелкановой рати, еще при князе Михайле самом. Терем, и пашня, и баня, и огород, и анбар, и стая, и хлев, и всего-то было настроено и навожено! И суседи были. Птаха Дрозд да иные. Онька других имен и не упомнит теперь. На месте ихних клетей березки вымахали в полный рост, скоро можно дровы рубить!

Поперoccи помогал деинка Силантий из Загорья, но уже третье лето как Силантий помер, а ныне, как начал Онька держать своего быка, ни он в Загорье, ни загоряне к нему не кажут лица, почитай, целыми месяцами. Какой князь на Москве, какой во Твери, тута недосуг и знать! Наедут раз в год, бают — тверичи, а поди знай! Отдашь лисьи шкуры да полть скотинную, и не замай боле!

С годами и ухватка явилась, и навык, и конь ноне не плох, и говядина на столе, и репы ономнясь наросло — на весь год хватило, и рожь добра. А терема все нет, живут по-старому, в низкой халупе, крытой накатником и дерниною. Да и хозяйка в доме смерть как надобна, а где сыскать? На пьяную матерь да на дымную нору, пропахшую застарелою вонью от сохнущих онучей и шкур, не вдруг сыщешь охотницу! А без

хозяйки ни лен спрясть, ни шерсть ссучить, ни соткать, ни сошить, ни содеять што, овогды в нагольных шкурах так и ходили! Порты истлели, а новины где и взять? В месяцами не чесанной голове вшей — одна страсть! И в бане не выпаришь! Лапти сплел — онучей опять не добыть! Ноне коровью полть на три штуки холста пришлось обменять: много ли, мало дал — кто понимат? Дал, што прошали! Рубахи себе и Коляне кое-как сам спроворил, а то было и поглядеть — срам.

И все ж не бросал, не уходил, как ни нудили загоряне. Даже и в зятевья созывали в хорошу семью — не пошел. Тута проживу — и весь сказ! Родовая земля! Давно ли род-от велся у их, местные они али пришлые — не помнил Онька. Дедо, верно, баял, што отколе-то с московской альбо переславской стороны еговый батя, значит, не то дедушко пришел опосле разоренья какого-то. Какое разоренье — не понять, верно уж от татар! А потом дедо в полон попал, и он, малой, при груди был всего лишь, с маткою, и выкупил их знакомец дедов. Ето вот твердо помнил Онька и всегда поминал. Федором звали, Федей, знакомца того, Федор Михалкич. Из какого-то Княжова-села! Выкупил и секиру подарил. Коляня, пока малый был, все, бывало, как останет какая минута вольная, просил: «Покажи секиру ту!» И сидит, играет с нею, што-то там воображает о себе! Опосле стал спорить:

— Ето меня несли малого, а не тебя, ты уже большой был, во-о-она какой! А меня матка несла на руках, а дедо — секиру!

Онька не возражал. Пущай думат, как любо ему!

Дедо помер, на лавке лежал. Матка повыла и снова в загул пошла. Деинка Силантий боле мог бы порассказать об ихнем корени, да помер, холодянки испил в путях-дорогах, ознобило, видно, начал кашлять да хиреть, а там и слег и не встал больши. А боле у них в Загорье никого. И Таньша — сирота, приглянувшаяся ему лонись... Давно не видал! Да кой хрен и мечтать, не отдадут все одно! Поди, и сама не пойдет к такой-то свекровы.

— Коляня-а-а! Куды запропал, падина?! Кому велел дровы рубить?! Зима на носу, мать-перематы! Опеть в снегу ворочатьце станем в портках холщовых?!

Коляня, покраснев всеми веснушками, соскользнул с кровли, взялся за оставленный колун. Сам Онька ладил уже дровни. Старательно, хоть и без большого

уменья, гнул вязы, распаривая их в печи над угольями, и то и дело посматривал в угол, где в полутьме скудно освещенного жила мокла, издавая тяжелый смрад, коровья шкура — будущие сбруя, вожжи и новый хомут. Да еще и пара кожаных выступок, прикидывая, думал он. Выступки нать бы к зиме! Со шкуры голяшки сошьешь — и ná тебе! Онька вздохнул. Все делал, за все брался и ни на что не хватало рук. И бревна, что заготовил и приволок с той зимы, опять пролежат недвижимо! Нет, не видать ему скоро отцова терема! «Дедова,— поправил он сам себя, подумал и прошептал, повторив: — Отцова!» Был дедо для него завсегда и матерью, и отцом. И похоронил он дедушку честно. Попа привел. Силантий, опять же, помог. Вырубил колоду, крест дубовый поставил. Каки-то там были могилы, баял дедо — сыновья ле... Рядом и положил. А уж схоронены есь, дак корень в землю пущен, не уйтить!

Ноне медведи было одолели, изъели овес. Онька сам с дедовой рогатиной подстерег овсяника. После, как кончил, как перестал дергать лапами пропоротый до хребта медведь, уронил рогатину и заревел, стойно дитю какому. Со страху пережитого заревел в голос, и трясло всего словно ознобом. Ну а второго взял легче. Побледнел, Коляня бает; тоже руки опосле долго тряслись. Коляня упрашивал: «Хватит! Задерет тя топтыгин, чо я буду тута делать один?» Третьего медведя не сумел взять, ушел мишка, изломав рогатину. Почто самого не задрал, и не понять было,— верно, рогатина помешала-таки. Онька приладил потом новую рукоять. Овсяное поле все же спас, отстали медведи. И шкуры снял, и мясо завялил. Соли-то не было, почитай, с солью беда! Дорогого зверя достань, бобра али соболя, тогда лишь и соль добудешь у купцов новогородских! Ноне и соли запас лежит, ноне всего много — жену нать!

— Коляня-а-а-а! Коров подоил? Как дровы складываешь? Век тя учить — не выучить!

Вдвоем споро накидали высокий круглый костер дров. Еще два таких поставить — и до весны, почитай, дровы есь! На березах уже вовсю желтый лист, и воздух звонко холоден по утрам. Грибов да орехов набрать, брусницы — той кадь нагребли, клюквы две коробьи. Лыка надрать поболе — зима долгая! Лаптей наплету, да пестерей, да корзин... Онька думал, а руки споро работали. Вот и последний вяз обогнут по копылам.

Вязы толстые, сдюжат! Корчагу капову вырубить нать, ваган, и кап лежит, мокнет, добрый березовый кап! Едва приволок! А все недосуг! Оглянуть не успеешь, уже и день на исходе!

Багряные лучи низкого солнца наполнили двор, позолотив кучу бревен в углу.

— Онь! — Коляня опять, пострел, сидит на крыше.— Онь! Едут каки-то к нам! С оружием! Худа б не стало!

Онька выпустил из рук топор. В голове пронеслось: коня! Прежде всего — коня в лес! Ринул к стае — и остоялся. Было поздно. Передовые уже спускались с горы. Подумал: ежели разом коня не сведут, поить-кормить, а Коляню охлюпкой верхом и — в Манькино займище! Сам прокашлял, подобрался весь. Вышел к воротам встречать — гостей ли, ворогов? Красивые кони в дорогой изузоренной сбруе гуськом съезжали с горы. Всадники в расписных боярских портах, каких и не видал никогда,— отколе и нанесло эдаких вершников!

— Эге-гей! Хозяева тута есть?! — зычно крикнул передовой.

Онька распахнул ворота, выстал наперед, придал себе вид повозрастнее:

— Я хозяин!

— Приблудили мы! — произнес добродушно старик передовой, отирая взмокшее чело.— Заночевать можно тута?

— Ночлег с собою не возят! — степенно отмолвил Онька.— Грязно, тово, хозяйки-то нет, а так — чего ж! («Сена съедят — страсть! — подумалось с легкой досадой.— Ну, хошь не вороги, хоша коня не сведут!»)

Комонные уже кучно грудились у ворот. Среди них Онька приметил молодого парня с открытым веселым лицом, к которому почему-то старшие годами обращались с почтительным уважением. «Чудеса!» — подумал Онька, но, решив не удивляться ничему, повел нежданных гостей в дом, пóходя опять подосадовав на некстати запропастившуюся куда-то матку...

Бояре (верно, бояре, раз в платье таком!), низко пригибаясь в дверях, полезли за ним в темное вонючее жило. Онька вынес бадью кислого молока, достал хлеб (опять подумалось: недельный запас разом съедят!), нарезал вяле́ной медвежатины, поставил на стол латку моченой брусницы. Подумав, достал из печи ухватом теплые шти, прикинул: на всех все одно не хватит!

— А ты што ж, хозяин! Поснидай с нами! — весело предложил ясноглазый отрок, и Онька опять подивил: при стариках, а ведет себя словно старшой! Впрочем, отнекиваться не стал, присел и сам ко столу. Ложки у наезжих были свои, резные и расписные, дивно поглянуть! У одного ручка в виде рыбы, у другого еще того чудней. А ели дружно — оголодали, видать. Бадью с кислым молоком опустошили вконец.

— Как звать-то тебя, хозяин? — вновь спросил чудно́й отрок.

— Онькой!

— Онисим, што ли?

— Мабудь, так! — пожав плечами, отозвался он.— Кличут-то Онькой!

— Ну, а меня — Мишей! — назвался парень.— Я во Тверь еду! Бывал ле когда?

— Не! — потряс головой Онька.— Николи не бывал! Батя мой был, деда то есь. Воевал со князем Михайлой вместях.

— Ето когда ж? — заинтересованно спросил отрок.

— Да... До Щелкановой рати, должно, давно уж! — не вдруг отмолвил Онька. Когда и в каких ратях воевал дедо, он и сам не знал.

— А што ты то батей, то дедом кличешь его?

— Да батю-то убили, дедо мне и был заместо родителя-батюшки! Ты извиняй, парень,— перебил он сам себя,— кто у вас тута старшой? Почивать-то в избы, дак... соломы, што ль?

— Распоряди, Тимофеич! — легко отмолвил парень, и старик, что первый подъехал к воротам, тотчас встал и, позвав двоих мужиков, пошел вслед за Онькой во двор за соломою, туда, где под навесом из корья стояла прошлогодняя скирда уже обмолоченных снопов.

В избу натащили попон. Коней завели во двор, расседлали, задали им сена. Все делалось споро, по знаку старика, лишь парень продолжал сидеть за столом, разглядывая жило, потом вышел во двор, узрев секиру, легко развалил несколько чураков, сложил поленья костерком, засунул нос в стаю, оглядел коня, огладил (сердце у Оньки разом упало и забилось сильней), проверил копыта, похвалил конскую стать — видно, что понимал дело,— оглядел двор. Солнце уже садилось, и земля утонула в сумерках, только по верхам дерев еще сияло багряное золото вечерней зари.

— Один живешь? — спросил парень, назвавшийся Михаилом.

— Матка есь! — отозвался Онька.— Загуливат токо непутем!

— Женись!

— Да вишь... Как тя? Михайло... С такою маткой да в таку хоромину...

— Бревна, гляжу, наготовил?

— Лонись ищо...

— Хватит?

— Дак... Рук-то не хватат! Я да Коляня вон!

— А невеста есть на примете?

— Невеста...— Онька задумался, вспомнил Таньшины глаза, как смотрела последний раз ему вослед. Вроде и слова сказано не было никоторого...— Невеста есь! — раздумчиво протянул он, следя, как последние капли золота стекают с вершин и лес окутывает тьмой, а небо, бледнея, яснеет и уже первые робкие звезды там и сям начинают мерцать в темнеющей вышине.

— Хошь, высватаю? — предложил парень.— Мне, мыслю, не откажут!

Онька недоверчиво усмехнул. Правда, видать, высокого роду отрок-от!

Протянул:

— Посватать-то мочно, терем не мочно сложить!

— И терем...— отрок запнулся на слове. Прошел в сумерках по двору, потрогал носком зеленого сапога сосновые бревна, склонив голову, оглядел.— А где?

— Что-та?

— Где ставить хошь? — с легким нетерпением повторил парень.

— А тута, тут вот! — заторопился Онька невесть с чего.— Тута вот у бати, у деда мово, тута терем стоял!

Михаил оглядел место, прошел, промерил шагами, бормоча что-то про себя, поднял голову:

— Вота што, Онисим! Утро вечера мудренее, а завтра поговорим! Може, и срубим тебе терем-от!

Всю ночь Онька ворочался с боку на бок. В голове не умещалось: как же так? Да и решат за старшого! Да неуж быват такое на свети?! Он вставал, ощупью нашаривая дверь, выходил под звезды, к коням. Трогал гнедого за морду. Наговорят, накудесят, а опосле и сведут коня со двора... Косился на сторожевого, что дремал, опершись о копье. Уже перед утром не выдержал, спросил:

— Эй, кто тута у вас старшой?

— Старшой? — переспросил стражник и отозвался небрежно: — А, Тимофеич! — окончательно сбив Оньку с толку.

«Чудеса! — подумал он.— Кто ж тот-то? Сын еговый, што ли?»

— А набольший — княжич! — строго примолвил кметь, и Онька, оробев, боле ничего не прошал.

Наутро наезжие заспорили. Онька был во дворе и не все слышал, но отчетисто разобрал, что кричал старшой, Тимофеич, в чем-то не соглашаясь с Михайлой.

Старый боярин, посланный Настасьей привезти сына из Новгорода, за дорогу измучился совсем. Княжич цеплялся за все на свете, заезжал в рядки, прыгал в проходящие лодьи и насады, совал любопытный нос в лавки купцов. В первом же тверском селе он заворотил Костянтиновых данщиков, едва до оружия не дошло! В другом взялся судить местного боярина за самоуправство со смердами. Наконец, его понесло зачем-то в Кашин, к дяде Василию, об отъезде коего в Орду они узнали только за дневной переход от города, и повернули вспять, мысля пройти лесами, и вот — сидят теперь в этой избе, где полно вшей, и боярин уже не чает, когда довезет княжича до Твери и сдаст с рук на руки матери.

— За коим чертом и понесло на Пудицу! Прямого пути нет? — кричал боярин.— Мне о тебе, княже, перед княгиней Настасьей отчет держать! Не могу! Не могу и не могу! Дай серебра, коли...

— Да што в том серебре! — отвечал Михаил высоким звонким голосом.— Людей здесь нету! Еговый батя с дедушкой на ратях бывал, я, ежели хошь, за него в ответе!

— Дак ты и за всякого смерда тверского в ответе!

— Да!

— А князя Костянтина Михалыча куда тогды деть?

— Все одно! Я в ответе, не он!

— Молод глуздырь! — пробормотал боярин, почти сдаваясь.

— Молодость пройдет, а княжеский долг — никогда! — почти по-взрослому, звонко и с гневом отмолвил отрок.

— Дак и кажному хоромину воротить?

— Столько рыл! Мужи мы али бабы безмысленные? Да я, коли хошь, топор держу не хуже любого мастера,

вот! — звонко кричал отрок.— В Нове Городи всему научитись мочно!

Дверь прикрылась. Спор, уже неразличимый, продолжался среди сидящих за столом. Онька в задумчивости постоял у коня, разобрал гриву гнедому, отдумав наконец угонять его в лес. Все в божьей воле! Може, и не сведут!

Два кметя вышли из избы, подошли, о чем-то переговаривая, к бревнам. И по тому, как один из них шевельнул верхнее дерево, остро глянув вдоль ствола, проверяя глазом прямизну, Онька понял, что кметь — опытный древоделя.

Скоро на двор вышли и все прочие. Тимофеич был красен и еще гневен. Михаил глядел строго, без улыбки. Стоял, расправив плечи, руки сунув за цветной шелковый кушак.

— Онисим! — позвал он.

Догадывая уже, кто перед ним, Онька опасливо поподошел к отроку и стал, сожидая, что тот прикажет или попросит.

— Вота што! — строго сказал отрок.— Мы ставим тебе терем! Секира есть?

— Две!

— Добро! Да у нас четыре! Тимофеич, разоставь людей!

Боярчонок, княжич ли, словно забыв про Оньку, повернулся к бревнам, и что-то разом как сдвинулось с места. Мужики поскидывали дорогие зипуны, засучивая рукава. Тот, что оглядывал дерева, уже мерял шагами и шестом землю, уже двое поволокли указанное им бревно, а четверо взялись за тупицы, уже кто-то запрягал коня в волокушу — как понял Онька, таскать камни под углы будущей хоромины,— и закипела работа. К вечеру первый, окладный венец стоял на подрубах, уложенных на камни, и вокруг стало бело от щепы.

Ужинали говорливо, со смехом и шутками. От прежней злости не осталось и следа. Из утра дружно взялись за топоры и к паберью успели поставить на мох и обтесать начисто три венца.

— В неделю-то кончим? — ворчливо прошал боярин.

— В неделю и срубим, и свершим! — весело отвечали мужики. Двое уже кололи клиньями бревна, тесали мостовины для пола, один на волокуше возил камни и глину на печь. Михаил сам работал секирой, и работал на удивление чисто, даром что княжеского роду отрок!

На третий день явилась матка, робко позвала старшего сына — не смела и взойти в ограду, завидя едакое столпление нарочитых мужей. Онька вынес ей хлеба и молока (от матери несло пивным перегаром), велел уйти в стаю и отсыпаться там в сене.

— Княжич у нас! — добавил строго.— Понимай сама!

Матерь исчезла до вечера, а вечером явилась в избу прибранная, низко поклонилась гостям и торопливо принялась за стряпню.

Работали уже на подмостьях, зарубали сразу четыре чашки, двое проходили ствол, и терем рос, словно в волшебной сказке. Да и терем какой! С тесаными изнутри стенами, с отсыпкой и лавками по стенам, с двумя волоковыми и одним косящатым окошками.

— Затянешь пузырем,— решил Михаил за Оньку,— хоша светло станет жонке твоей!

Терем клали высокий, с дощатым дымником, потолок собрали из кругляка, надежно покрыли дерном, выше потолка, на самцах, настелили жердевый остов соломенной кровли. И наконец княжич, оглядев почти готовое жило (кмети крыли соломой, прирубали крыльцо, ладили задвижки к окнам, лепили печь), властно приказал:

— Едем по невесту!

Настал черед Оньке побледнеть.

Принаряженный, в дорогой дареной рубахе, он ехал верхом, дивясь и ужасаясь себе самому, рядом с княжичем Михайлой, а боярин Тимофеич и двое кметей поспешали следом. Матка, тверезая и прибранная, отказалась от лошади, пошла пешком.

Всю дорогу гадал Онька: не замужем ли Таньша? То-то не оберешься стыда! Приехали в Загорье, переполошив всю деревню. Таньша прибежала с посиделок в затрапезе, с трепалом в руках. Матрена, тетка Таньши, оглядывая с ног до головы и снова с головы до ног княжича с боярином, замялась было (жаль стало терять работницу), но Михаил нахмурил чело:

— Князь у тебя сватом, тетка! Понимать должна, какова честь!

— Князь-от?! — Матрена, не веря, все водила глазами с молодого на старика, наконец вняла, бухнулась в ноги. Еще что-то пыталась толковать о сроках, о посидках, но Тимофеич твердо прервал ее:

— Нам недосуг сожидать, а хозяйство хошь и ноне поглянь! Терем склали зятю твоему!

Матрена сникла и побежала созывать родню-природу.

А молодые сидели растерянные. Таньша тупилась, все еще прижимая к груди трепало,— у нее и на свадьбу не было путной одежки, как и у жениха,— все еще не понимая, не чуя толком, что же такое произошло с нею и с ним. И Онька сидел супясь, в дорогой рубахе с чужого плеча, гадая, подарят ему ее или придет отдать после свадьбы. И тоже страдал от страха и ожиданий...

Молодых, нарушая весь свадебный чин, перевенчали в тот же день. Михайле надо было спешить в Тверь, и он, зная крестьянский норов, не хотел, чтобы свадьба после его отъезда расстроилась.

Поздравили и одарили новоженов. Онька получил-таки казовую рубаху, а Таньша — кусок дорогой камки на выходной саян и парчовые оплечья к рукавам. Сверх того получил Онька серебряный корабленик.

— Ето тебе хватит на всю свадьбу! — напутствовал Михаил Онисима на расставании.— И тетке Матрене повады не давай! Помни, сироту взял, безо всего! Ей тебя нечем корить!

Словно старший, соединил руки молодых, сказал, садясь на коня:

— Ну, прощай, Онисим!

Онька, смущаясь и потея, спросил-таки:

— Дак... За кого молить-то Господа?

— Княжич я! — улыбнулся Михаил.— Из Нова Города еду домой! Будешь во Твери, прошай, приму тебя!

— Ето... Михайле Святому хто будешь-то? — переспросил Онька, залившись румянцем.

— Михайле? Внук! Князя Александра сын! Прощай, Онисим! — повторил княжич уже с коня, махнувши рукой.

— Прощай! — прокричал Онька. Сложив руку лопаточкой, он долго смотрел вослед отъезжающим кметям. После оправил рубаху, прокашлял, поворотился к негустой толпе загорян, приглашенных на свадебный пир и высыпавших во двор проводить князя.

— Прошу ко столу, хлеба-соли исть, вина-меду пить! — произнес Онька уставные слова (князь даве только пригубил чару) — и первым взошел по ступеням нового терема. Гости гурьбою, в чинном молчании, двинули вслед за ним.

— Ну, Онька! — ударив молодого по плечу, изронил старик Сысой, когда уже посажались за столы.— Удивил ты честной народ! Удивил! Про твою свадьбу теперича сто лет сказы сказывать будут!

А княжич Михайло скакал в этот час впереди своей наработавшейся ватаги, стреляя глазами по сторонам и вовсе не задумываясь, что об его путевых подвигах скоро начнут складывать легенды в Твери. И старый боярин, вздыхая и трясясь в седле, молил Вышнего об одном: не стало б какой иной по дороге при́тчины! Довезти бы уж княжича невережоного до города и сдать наконец на руки великой княгине Настасье!

ГЛАВА 79

Этою зимой Симеон пристрастился отцовым побытом проводить вечера в дымной истопке княжого дворца, с той стороны, куда выходили устья черных печей, нагревавших чистые горницы по другую сторону стены струящимся теплом своих изразчатых боков. Здесь, по сю сторону, плавал густой слоистый дым, гудело пламя, колыхалась теплая тьма, колеблемые багровые отсветы из устья топок бродили по стенам. Так же как и покойный Калита, князь Семен брал низкую кленовую скамеечку, на каких сидят сапожные мастера, и устраивался, согнувшись, под пологом дыма, глядя в огненное отверстие печи. Тут хорошо думалось и никто не мешал. Истопник осторожно приоткрывал дверь, забрасывал новые поленья в печь; оглядываясь на князя, ронял походя слова два — мол, сажа горит, к морозу, видать! И вновь уходил надолго, дабы не тревожить князя.

Пылал огонь, рушились с треском красные дворцы и терема, истаивали сказочные города, обращаясь в груды рдеющего уголья, извивалось по ним, словно заклятое, светлое пламя, и Симеон шептал запомнившиеся ему арабские слова, представляя, что перед ним индийское царство, где растут огненные цветы и на ветках огня зреют драгие самоцветные камни...

Безмерен мир и полон далеких чудес! Почто ж неотрывна от сердце только эта земля, этот край, в котором рожден? И можно пройти пустыни и горы, переплыть моря, и все одно, хотя перед смертью, надобно воротить сюда, на родимый погост, к могилам близких твоих, упокоивших в этой земле...

Какой обидно короткой кажет людская жизнь! Так же вот яреет высокое пламя, сияют мечты, возникают царствы и города, и уже тише и ниже, и уже пепел подергивает белым саваном рдеющие угли напрасных надежд... И ото всего — связь костей, череп в жалком безглазом оскале, да осенняя мокреть ветвей над могилою, да ветер! И то лучше тяжелой плиты в соборе, сужденной ему как великому князю владимирскому! Почему Данила велел похоронить себя на общем кладбище, под ветрами, дождем и снегом? Потому ли, что не хотел величаться даже и после смерти своей, или потому, что хотелось ему простора и птиц, и облаков над могилою, и холодного ветра — дыханья родимой земли?..

Почему он не может быть счастлив, как все смертные, как братья его, наконец? Вот миновали немногие месяцы, и он уже не в силах так же ясно, как тогда, воскресить ее облик перед собою... Только сердца боль, как заноза, ноет и ноет! Только сердца боль не проходит никак!

Алексий, мирянин я, не монах! И должен я, как все смертные, продолжить род свой на этой земле! Что скажешь ты мне на это, строгий учитель мой и наставник духовный?

Что князь должен быть примером для сограждан своих? Блюсти закон? Что моя судьба — лишь искра в пучине времен, исчезающе малый след, и что я, как и все, отойду в инобытие, стану прахом родимой земли? И не должно мне мыслить о себе едином, должно смирять похотенья свои пред судьбою и Господом? Что живет народ, а не единый из всех, хотя бы и князь великий, и надобно принимать судьбу как господень дар или как крест, сужденный тебе, а не кому иному? И что не важно, от кого пойдет род московских князей, от меня или братьев моих, хотя бы даже Ивана, тем паче родовые черты переходят от деда ко внуку и неведомо, кем станет Иванов, еще не рожденный, сын? И что всякий монах (опять монах!) и вовсе отметает от себя свое «я» и продолжение рода своего ради высшей, духовной цели? И что я должен без спора испить чашу свою и донести свой крест до Голгофы, быть может, тем самым искупив прежнее зло, сотворенное мной и отцом?

Что еще скажешь ты мне, Алексий? И что я отвечу тебе? Скажу, что ты прав, сто раз прав, и все-таки и от

смертного, скоропреходящего по земле «единого» зависит многое! Ты сам, Алексий, помысли: ежели б не стало тебя? Ежели б другой, иной, неумелый и слабый, был на месте твоем? Помысли, Алексий, что и каждый людин: пахарь и древоделя, воин и кузнец, изограф и книгочей — каждый! — должен творить дело свое, яко единому ему доступное! Воин — стоять насмерть на борони и верить, что от его мужества зависит судьба всей земли! Пахарь, бросая семена в землю, должен знать и верить, что они взойдут и будет хлеб, а иначе умрут гладною смертью и дети его, и весь язык, весь народ, лишенный насущного хлеба! И всякий не должен ли мыслить себя незаменимым и единственным, сотворяя дело свое? И почто же я не могу помыслить такожде о себе? Вот я, Симеон, взявший на плеча крест и грехи отца моего! Не должен ли я продолжить род и оставить корень свой, якоже и отец мой, давший мне жизнь? И пусть даже я проклят, пусть мне надлежит искупить грех предков моих! Не должен ли я изо всех сил... «Спорить с Господом?!» — скажешь ты мне, Алексий. Но ведь есть же чудо! Есть же чудо господней любви! Есть чудо искупления! Могу я хотя бы верить в чудо?!

Ты скажешь, что я лукав пред тобою и Вышним, что я попросту люблю ее и ищу оправдания своей любви? Но любовь — не свыше ли? Или, скажешь ты, желанья мои — память первородного греха: «во гресех зачат, и во гресех роди мя мати моя»? Вечное искушение плоти, не оборов которую не можно остати христианином? Сказано же бо есть: «не можем телоубийцы быти»! А ежели так, то и несть греха в любови моей!

Или все, что мучит меня,— похоть телесная, козни нечистого духа, совращенье ума, гордыня и любострастие? Господи! Я люблю ее! Господи, помоги мне! Не дай умереть, не дай погинуть в пучине времен! Зришь ли ты? Видишь ли? Она всюду со мною! Она в дыхании и в тишине, она во всех трудах моих и в покое... Близит ночь, и я опять буду мыслить о ней, не в телесном, не в похотном обличии! Она снизойдет ко мне, как свет луны, как ночная мгла, как покой... Я стану исповедовать ей свой день и думы свои. Она давно, от века времен, жена моя, утерянная когда-то и ныне обретенная вновь! Господи! Разве я *так* виноват пред тобою?

...Серые тени плавают над головой, клубится тьма.

Почему Евпраксия не умерла? Умерла же от мора прыщом брянская княжна, супруга его брата Ивана? Почему не она?! Смерть развязывает все узлы и утишает все страсти! Было — и нет! Болезнь, чаша с ядом, нож преданного слуги... Вослед Юрию, убившему рязанского князя, вослед Джанибеку, зарезавшему братьев своих... Да и кто подумает, даже помыслит кто?! Забудут, не узнают и грехом не почтут! Никто не станет вызнавать, убил я ее или нет! И его княжеская честь уцелеет. Он попросту останет вдовцом. Тут даже и церковь не возможет изречь ничего противу! И злая она, Опраксея, не любит его дочерь, тиранит холопок... Злая, недобрая...

Он взглядывает пугливо во тьму. Какие-то черные пятна мреют, сгущаясь, в клубящемся пологе дыма. Вновь подступает то, давнее, едва не сгубившее его. Но теперь уже не о нем, не о Симеоне речь. От него требуют иной крови. Он должен отдать чужую жизнь. Жизнь нелюбимой, чуждой ему девушки, одержимой к тому же нечистою силой. Быть может, гибель предназначена ей искони?

Или это новое искушение злых сил, более страшное, чем прежние, когда под угрозою была его собственная судьба? Кумопа сказала бы, возможно! А лукавый разум уже юлил, подсказывал, искал среди слуг такого, кто мог бы исполнить... Да и сам... яд... и никто не станет прошать, сомневаться, схоронят, зароют... И вот она, свобода для нового брака, для иной любви!

Сколько раз на его пути вставал этот искус! Сколько раз он отстранял от себя чашу сию? Да и сам Алексий не того ли требовал от него, нудя утеснять Тверь, не давать правого суда Всеволоду... И вот теперь эта ненужная, ненадобная никому жизнь! Когда тысячи гибнут ежеден от моровых болезней, от глада и мраза, когда кого-то кажен час убивают, уводят в полон... Что пред теми тысячами и тьмами одна-единая жизнь злой и вздорной бабы, не возмогшей даже прийти по нраву венчанному мужу своему?! Глупый камень при дороге, попавший под колесо. Откинь его в сторону — и забудь, и езжай куда тебе нать! И... уже не останавливай, не взирай, ежели и другие окажут под колесами твоей судьбы!

Черное пятно ширит и ширит в клубящемся облаке дыма, серые руки тянут к нему, неслышно забирая в полон.

И он потом сумеет любить? Или токмо брать силою, губить и калечить, терзать чужую сладкую плоть? Чего ты хочешь, чего ты ждешь от меня, какой иной злобы? От меня, поставившего пределом жизни своей несвершение зла?

Хочешь ли ты сказать, что я все одно проклят, и Господь мой отступил от меня, и нет для меня теперь иного пути? Это ты хочешь сказать, да?!

И серые тени оступают его все гуще и гуще, рдеют угли, темнеет зола, гаснет багряный свет. Уже не чудеса далекой Индии — мрачный огонь преисподней посвечивает, рдея, сквозь черную коросту тьмы. Где же спасительный холоп с дровами? Почему не идет?

Тихо открывается дверь. Нет, то не истопник! Семен оборачивает чело со следами копоти и слез. Евпраксия стоит у порога, обтягивая по плечам серый пуховый плат. Тени резких недобрых морщин пробороздили ее одутловатое, померкшее, подурневшее всего за год лицо.

— Скажи, кто такая Мария?!

Семен молчит, застигнутый врасплох. Он не может гневать сейчас, он смертно устал от недобрых дум и обманов.

— Тверская княжна, да?!

— Опраксея! — предостерегающе сдвигая брови, говорит Симеон.

— Да! Да! Да! Да!! — кричит она, заливаясь ненавистными слезами, кашляя и захлебываясь дымом.

— Ты произносишь ее имя по ночам! Ты не любишь меня! Зачем... К чему... Почто было сватать меня у отца!

— Я не знал ее раньше,— тихо отвечает Семен.— Я не виноват пред тобой!

Евпраксия плачет, некрасиво кривясь, и он смотрит на нее немо, без жалости и сострадания.

— Я... я... проклинаю тебя! Пущай тебе будет, как и мне! Того горше! Держи, корми! До смерти держи! Так хочешь? Да? Штоб ни свету тебе и ни радости! Сдохните скорей оба! А я, я тогда уйду в монастырь! Нет, порадую ищо! Песенку спою на могиле на твоей! Убей! Не можешь? Гад! Гад! Гад! Убей, ну! Нет, не можешь, да? Свобожу! Не боись! Нынче ухожу в монастырь! Я уже решила, вот! Пото и пришла сказать тебе!

Огромная радость. Нет, гулкая пустота освобождения. Как звенит в голове! Только перешагнуть эту сту-

пень, перешагнуть через нее, и там — пир, свобода и счастье! (А она — вечным укором тебе? В келье, да? Быть может, все-таки лучше — смерть? Почему ты вся серая? Почему?! Господи, воля твоя!)

Века обрушились каменной осыпью слов и запретов, рухнули стены, померк и закачался над головою свод небес. Симеон встал, шагнул к жене, вымолвил глухо:

— Никуда, ни в какой монастырь ты не уйдешь! Я отсылаю тебя к отцу! Ты — девушка и не виновна ни в чем! У тебя будут муж, дети, счастье!

Она плачет, отрицая, качает головой. Она уже не хочет иной судьбы. Злоба, ненависть, вожделение, месть... «Ты всего, всего лишаешь меня, проклятый! — кричат ее отчаянные глаза.— Убей! А нет — полюби! Или дай мне вечно скорбеть об утерянном счастье!»

Но нет, он не может, никогда не сможет уже ступать по трупам людей!

Он утешает ее, гладит по волосам. Оба кашляют, стоят в дыму, и ошметья серо-черного мрака, разбитые, разорванные, распуганными змеями, извиваясь, уползают в печной морок. Он почти любит, почти жалеет Евпраксию в сей миг, готов ласкать ее, лишь бы унять потоки непрошеных слез.

— Пойдем отсюдова! Увидят! Холопы...— уговаривает он ее, и Опраксея медленно подается его настойчивым рукам, делает шаг, другой. Она верит, боже мой, она верит, что все мочно воротить и начать сызнова! И лишь поздно ночью, проговорив в опочивальне с мужем несколько часов подряд, понимает наконец, что вернуть ничего нельзя и не можно, что Симеон по-прежнему далек от нее и что монастырь или родимый дом — две дороги, сужденные ей судьбой. Но и той монастырской, печальной, но почетной судьбы не дает ей московский князь. Изнемогши от слез, усталая, она наконец уступает его упорству и сдается, соглашаясь на родимый дом. (Ей предстоит благополучное замужество, у нее будут дети и семейная жизнь, но все это потом, после, теперь же она не чует ничего, кроме огромного горя и стыда да еще — гнева на тверскую разлучницу.)

А Симеону, после еще одной бессонной ночи, предстоит искать, кто из бояр захочет выполнить небывалый княжеский приказ: отвезти мужнюю жену (великую княгиню!) обратно к ее отцу, князю Федору Свя-

тославичу на Волок, с приказанием вдати ее замуж и тем поднять ропот и пересуды по всем окрестным градам и весям, вызвав, быть может, боярскую замятню, или новую ссору со Смоленском на радость Литве и Ольгерду, или церковное отлучение, ежели того пожелает митрополит Феогност... Словом, нарушить все мыслимые и немыслимые законы, обычаи и христианские правила, слагавшиеся, трудно сказать, почти полторы тысячи лет! И все для того, чтобы не свершить преступления перед своей совестью.

Серого гридня Семен увидел еще раз, когда, провожая поезд Евпраксии, глядел ей вслед в окошка верхних сеней. Возок разворачивал со двора, толпа конных кметей смешалась, толкая друг друга, и тогда серый, легко отделясь от кучи комонных, плавно обогнул возок и поскакал впереди, не оборачиваясь, но у Симеона не было и тени сомнений, что это именно он.

Весть о решении великого князя потекла словно полая вода. О том судачили и бояре в теремах, и холопы в челяднях и на поварнях. Самоуправством, гордынею, даже безбожием объясняли содеянное им. Передавали, измышляя, стыдные подробности семейной жизни великого князя, словом — впору было лить новый колокол на Москве!

Весть достигла Твери и живо обсуждалась в тверском княжеском доме. Мария, прослышав о том у матери, побледнела и вышла вон. Проходя к себе в изложню, она изо всей силы ударила рукою о перила, чтобы вызвать резкую боль в пальцах и тем погасить смуту, поднявшуюся в сердце. Князь Семен не должен был отсылать жену! Не должен! Не должен! И теперь она уже не ведала, как ей поступить, ежели... Ежели...

Ей было ясно, что, решившийся на такое, великий князь уже не остановит на полпути.

ГЛАВА 80

Семен заранее знал все, что произойдет. И когда дошла весть, что Василий Михалыч собирает полки, чтобы идти войной на племянника, не удивил тому. Он не просил хана давать Всеволоду тверской стол, да и Всеволод мог понять, что тверская треть, теперь, со смертью Костянтина, изрядно увеличившаяся, отнюдь еще не равна всему тверскому княжению. Через

Александра Зерно велел передать кашинскому князю, что в его распрю со Всеволодом вступать не станет, и по той радости, с коей воспринял наказ боярин Зерно, понял, что в этот раз вполне угодил своим думцам.

Возможные осложнения на смоленском рубеже, как и вероятную в этом случае вылазку Ольгерда, решил предупредить немедленными военными мерами. Филипьевым постом, в трескучие декабрьские морозы, Семен обскакал рубежи Можайского удела, поднял на ноги всех местных бояр и кметей, заставил собрать городовую рать, стянул полки к Тешинову и произвел смотр — людно, комонно и оружно.

Резкий ветер сек лицо; кони, в заиндевелой курчавой шерсти, шумно отфыркивали лед из ноздрей; пешие ратники, в полушубках, валенках и лаптях, проходили, красные от мороза, обминая скрипучий снег. Семен, чуя ропот за своею спиной, наезжал, горячий и строгий, соскакивал, оглядывая оружие и брони, безжалостно подымал воевод. В три дня рыхлая масса с трудом вылезших на морозы из теплого жила недовольных людей стала превращаться в казовую воинскую рать, с которой уже и не стыдно было бы встретить в поле Ольгерда с его стремительной конницей. Больших бояр, выехавших было со слугами, расписными шатрами и столовым серебром, он созвал к себе, заставив сутками скакать, не слезая с седел, и ночевать вместе с ним у случайных костров, в поле, подстелив лапник и закутавшись попоною. Ворчали. Молчали. Растирая мороженые носы, восхищенно крутили головами:

— Ай да князь! Даром што с жонкой рассорил!

На рысях подошел коломенский полк. Явились братья во главе своих дружин. Сила собралась немалая, и подросшие за мирные годы отцова правления молодые кмети, здоровые, сытые, румянолицые — чуялось, им и мороз не в мороз! — радовали сердце.

Семен сам не ожидал, что получится из этого смотра. Поначалу попросту хотел подтянуть бояр, перешибить лишние толки да пересуды, а теперь, когда ратная сила собралась вся вкупе и узрела сама себя — неохватно глазу шли и шли, заполонив все дороги вокруг Можая,— и он сам, и воеводы, и кмети боярских дружин, и ратники городовых полков почуяли веселый озорной боевой пыл, который восстает всегда от вида совокупного множества.

Под Можаем, еще раз оглядев рать, Семен наградил лучших и распустил полки по домам.

В московском терему с отъездом Евпраксии настала непривычная пустота, и он слегка оробел, поняв, что теперь между ним и Марией уже не стоит ничего и пришла пора — вместо тайных изводящих мучений, страстных снов и немых разговоров с идеальною призрачной возлюбленной — посылать сватов в Тверь.

Он вызвал к себе Василия Вельяминова, Михайлу Терентьича, Ивана Акинфова, Андрея Кобылу и Сорокоума. Василий, Андрей и Иван были с князем на смотрах, и у всех, как, верно, и у него самого, с обветренных лиц еще не сошла морозная краснина. На князя глядели весело. Смотр вновь сблизил, растопивши лед недавних сплеток и заглазных покоров. Здесь сидели сейчас соратники, воины, связанные с князем своим мужскою преданностью в бою, когда кметь грудью защищает боярина от стрелы вражьей, а боярин, забывши нанесенные ему местнические обиды, кладет голову за князя.

Собрались в укромной верхней горнице терема, где Семен почасту принимал у себя Алексия. Пристоен был стол с дорогою рыбою, закусками, моченою многоразличною ягодой, капустой, яблоками, восточными сластями, и вареным медом, пристойно и тихо ходили слуги, подавая блюда. Ясно и ярко горели свечи. Приятное тепло струила красная изразчатая печь, и Андрей Кобыла не удержался — с удовольствием приложил большие, помороженные давеча длани к теплым изразцам. Отъели. Чинно отпили душистого меду, сваренного с кореньями, травами, восточным перцем и имбирем. Слуги вышли, притворив двери.

Кобыла хитро поглядел на князя. Сорокоум сосредоточенно обжимал бороду, глядя в стол. Василий Протасьич ждал, тоже потупя очи. Михайло глядел настороженно, все понимая и очень жалея князя своего. Иван Акинфич взглядывал хитро то на Семена, то на бояр; прикидывал, верно, как поворотит разговор.

— Ведомо вам, бояре,— начал Семен, побледневши и сжав кулаки,— что с женою своею, Евпраксией, не жил я плотскою жизнью и девушкой отослал ее к отцу, Федору Святославичу, на Волок!

Андрей, Василий, Михайло и Сорокоум разом потупили очи; не сожидали от князя Семена такой прямоты! Он и сам приодержал речь. У него пересохло

во рту. Знали они, знали всё! А сказать так вот, прилюдно, все одно сором! Для всех сором и стыд! И для него тоже. А и не сказать нельзя было. Во всяком разе — узел разрублен теперь!

— И ныне хочу я посватать за себя княжну Марью, дочь Александра Михалыча Тверского! (Бояре разом подняли и опустили взоры: об этом доднесь тоже только еще шептались по углам.) Сим браком, тако мыслю, устроется вечный мир со Тверью и отлагается древнее наше нелюбие!

Бояре молчат. Понимают, что не в одной политике тут дело, и прежде всего не в ней.

— Потребно найти сватов, кто бы поехал в Тверь от меня ко вдове князя Александра Настасье и князю Всеволоду!

Симеон сказал все и теперь почуял, что от этих нескольких фраз взмок, словно от долгой, хитро построенной речи. Вынул полотняный плат, отер лицо и, стиснув плат в кулаке, замер, прямой, недвижный, холодно сожидая решения избранных бояр.

Андрей Кобыла когда-то подкидывал на руках маленькую Машу, возил ее на спине, рычал, изображая медведя, и юная княжна визжала и хохотала одновременно, падала ему на спину, цепляясь тонкими ручонками за косматую бороду боярина. Теперь Маша-Мария давно невеста, и лучшей партии, чем великий князь володимерский, ей не найти.

Иван Акинфов прикидывал, как сей брак, ежели он произойдет, отразится на его родовых интересах: поди, можно будет воротить и те тверские села, что были отобраны когда-то у него покойным Александром?

Василий Протасьич вздыхал, чуя, что от князя своего ему отступать не след, хотя и невесть как посмотрит на это дело Алексий. Его бы созвать на совет!

Михайло Терентьич молчал. Семена он любил неложно и видел, с каким трудом далась ему правда сия и сколь напряжен князь, почти что на срыве. С какою надеждою и страхом сожидает он решения своих бояр! Надобно было поддержать Семена Иваныча... Но третий брак! Но Феогност, но Алексий! Без церкви такого дела никак не решишь! А наместника нету за столом, стало, Семен Иваныч без его воли решает... Худо, ой, худо!

Сорокоум думал, глядя в стол, по-прежнему кула-

ками обжимая бороду. Князю, конешно, простительно многое, тем паче... Однако и обычай... К патриарху бы нать, во Царь-град! Охо-хо! Хо-хо! С Феогностом-то не говорено, вот что худо! Може, передумат ищо?! Да не! Эвон как глядит! Пото и созвал!

Поднял наконец взор Сорокоум. Поглядел. Сказал хрипло:

— Митрополиту уведать нать! И наместника известить! А сватами шли Андрея Кобылу да Алешку Босоволкова; тому честь велика, а Андрей с Настасьей завсегда сговорит!

Сказал — отрезал. И все запереглядывали, загудели, кивая головами. Андрей полез в потылицу, потом кивнул и расхмылил в улыбке толстые губы:

— Што ж, князь-батюшка! Твое дело наказы давать, наше дело службу сполнять! Когды скажешь, тогды и поеду! А Алексея Петровича беспременно нать созвать с собой, ето Сорокоум праведно надумал!

И Вельяминов, покряхтев и посопев, медленно склонил толстую шею, без слов соглашаясь с Андреем.

Михайло Терентьич прикидывал тем часом, кто из думцев может оказаться противу. Бяконтовы — все, как Алексий. Афинея, Редегиных и Мину, скажем, Сорокоум согласит. Акинфичи, те завсегда все заедино. Как Иван, так и Морхиня с Федором. Дмитрий Лексаныч Зерно, пожалуй, станет возражать, да один поопаситце... Василий Окатьич? С тем надобно мне сговорить! Ну, а как великие бояра, так и городовые, так и прочие вси...

— Не серчай, княже! — сказал.— Мы тебе услужить готовы завсегда, токмо единого не можем: за митрополита нам здесь никак не решить!

— Да, митрополит! — вымолвил, кивая, Сорокоум.

— И Алексия прошать должно! — подсказал Василий Протасьич, смелея.

— Третий брак! Церковь прещает тово! — озабоченно откликнул Иван Акинфов.

И почти хором, во единый вздох, вымолвили все четверо в голос:

— Митрополит Феогност!

— Добро! — сказал Симеон, хмуро глядя на избранных думцев и по-прежнему сжимая кулаки.— Ты, Андрей, готовься, поедешь сватом во Тверь! Алексея Петровича Хвоста созвать ко мне завтра из утра,

поедете вместе! А забота церковная — не ваша, бояре! — докончил он, вставая.— С Алексием и с Феогностом перемолвлю сам!

ГЛАВА 81

Он не обманывал себя ни часу. Ни Алексий, ни тем паче Феогност не дадут благословения на третий брак. Но Феогност уехал во Владимир и воротится только на Святках. Алексий сейчас в Суздале, на Москве будет после Рождества. Требовалось именно теперь отослать сватов, чтобы дело получило огласку, стало прилюдным, чтобы с возвращением Феогноста стало не можно поворотить назад.

И теперь все зависело от Алексея Хвоста-Босоволкова, вечного противника Вельяминовых и главы всех недовольных единоначалием московского тысяцкого, потому что ежели сватом поедет Алексей Хвост, то умолкнут покоры и пересуды, стихнут недовольные давешним решением княжьим, а он — он должен будет принять Босоволкова опять в думу и посадить рядом с прочими, и древняя пря Босоволковых с Вельяминовыми возгорит с новою силой... Ах! Она возгорит все равно! Босоволковым мирволит Иван, а пока он, Симеон, жив, Алексею Хвосту все одно не сесть на место Василия Вельяминова! (Допустив Всеволода до тверского стола, он теперь сотворял вторую уступку, чреватую грядущими смутами, ежели не кровью, и понимал это, и — не хотел понимать ничего!)

Алексей Петрович явился в княжой терем не умедлив. Выглядел празднично. Верно, изодел лучшие порты, был в бархате и бобровой чуге, с золотою цепью на шее. Выглядел величественно. Семен давно не видал близко Алексея Хвоста и подивил невольно сановитой осанистости боярина.

С Алексеем Петровичем разговаривать было легко. По-своему Босоволков был и прям, и бесхитростен, и даже честен. Ежели Семен Иваныч дает ему место в думе великокняжеской, сказал боярин, то и он не станет ждать приезду владыки Феогноста.

Симеон поглядел Алексею внимательно в глаза и подписал грамоту, коей Алексей Петрович наконец-то восстанавливался во всех прежних своих правах. Боярин вышел, степенно поклонясь.

Семен, когда за Алексеем Петровичем захлопну-

лась дверь, закрыл лицо ладонями и так сидел недвижимо, чуя, как горячая кровь толчками ударяет в сердце. Что еще должен содеять он на этом пути? Неужели Алексий прав?! Но его уже несло, как камень, пущенный из пращи. Он должен был долететь до конца или разбиться... Через два дня сваты уехали в Тверь.

Феогност воротился раньше, чем его ожидали. Он уже все знал и принял великого князя на своем подворье со строгой властностью духовного судии. Быть может, намеренно, дабы не остаться с князем с глазу на глаз, митрополит удержал при себе двоих настоятелей, архимандрита и четверых протодьяконов.

Архимандрит и настоятели монастырей сидели, протодьяконы стояли по сторонам митрополичьего седалища, Феогност в своем кресле поместился в середине собрания. Он был тщательно одет, в дорогом саккосе из византийского аксамита, с двумя панагиями в жемчугах, с золотым наперсным крестом, с митрополичьим посохом дивной работы с рукоятью, резанной из желтой кости древнего подземного зверя, которую привозят иногда новогородские купцы из-за Камня, в своей алтабасной митре с алмазным навершием,— и все имело вид духовного суда над князем.

Семен, усевшись в предложенное высокое креслице прямь Феогноста, бесился в душе, понимая, какую оплошку сотворил, придя сам к митрополиту, вместо того чтобы позвать духовного владыку Руси к себе во дворец, где он, князь, мог бы вот так же, вздев парчовые одежды, принимать Феогноста, независимо восседая перед митрополитом.

Напряженным срывающимся голосом Семен попросил у Феогноста благословения на новый брак, объяснив с натугою, что прежний был недействителен.

Феогност молчал. Черты лица его словно закаменели.

— Сыне мой! — ответил он наконец.— Брак есть таинство, заключаемое на небесах, пред Богом! И разрешить узы те может токмо Господь. То, о чем ты рек ныне, есть лишь блуд и беснование плоти. Подумай! — Он предостерегающе поднял руку, заставив Симеона промолчать.— Ежели един из супругов тотчас по заключении брака, муж или жена, впадет в тяжкую болесть и годами будет лежать на одре скорби, не должен ли второй свято блюсти таинство брачное и ходить со всяческим тщанием за болящим супру-

гом своим?! Не тако же ли супружница Алексея, человека божьего, всю жизнь, будучи девственницею, оставалась верна мужу своему, хотя он и покинул ее и ушел из дому безвестно? Не плотскую похоть, но духовную связь освещает в браке Господь!

— Владыко! — сурово и страстно прервал Феогноста Семен.— Ты забыл, что я князь и глава и должен оставить наследника по себе для земли своея, для языка и народа русского! Что не похоть, а долг перед подданными, доверенными мне Господом, заставил мя ныне пренебречь, как ты говоришь, узами брака! Мне надобен наследник, сын! И потом, этот союз должен положить конец древнему спору городов, от коего гибнет наша земля! Вот с чем пришел я к тебе!

Лицо Феогноста не дрогнуло, только, быть может, еще более омертвело.

— Князь! Царство божие — не от мира сего! Я не могу воротить твоих послов из Твери. Но подумай и ты, на что идешь и против чего восстал ныне! Быть может, тебе не велено иметь сына от Господа? Быть может, именно в этом и заключен вышний промысел, и кара, и искупление твое? Можем ли мы, смертные, ведать пути всевышнего? Ты и так многажды погрешал противу узаконений церковных, хранил языческие капища, не дозволяя мнихам по слову моему порушить сей оплот суеверия и тьмы. Многажды призывал к себе колдунов и колдуний, впадая в блуд духовный и упорствуя, паки упорствуя во гресех!

Побледнев и отемнев взором, Семен ответствовал глухо, что отныне отступит от ворожбы и дозволяет владыке, ежели тот восхощет, срубить священную рощу с Велесовым дубом на Москве-реке.

Это была еще одна уступка, схожая с предательством, но ему было не до старухи колдуньи в сей час.

Феогност склонил голову, молча приняв этот дар Симеона, но не изменился ликом и не отступил ни на шаг от прежереченного.

— С божьею волей бесполезно спорить, сыне мой! — выговорил он.— Лучше смирись! Я же, как твой духовный отец, все одно не могу при живой жене благословити тебя на третий брак, ни разрешить иереям сочетать тебя с нею святыми узами пред алтарем церкви божией!

Это была стена. (И Алексий прибавит к сему, что

свобода воли, данная смертному, заключена в послушании вышней воле, и будет прав... Все равно!)

Симеон встал. Поднялся неспешно и Феогност. Так они и стояли друг перед другом — земная и духовная власть, человек и обычай, вопль смертного естества и голос высшего разума в непреложном одеянии земных своих установлений.

За ним, Симеоном, за его плечами были оружные полки, и дружба с ханом, и давнее уважение к власти. За Феогностом — только церковное предание, но оно было сильнее серебра, оружных полков и воли земных властителей.

Князю было отказано в благословении и в таинстве брака. Семен, сдержав себя, склонился к руке архипастыря.

— Подумай, сыне! — еще раз предостерег его Феогност.— Слово мое непреложно!

Ничего не ответив, князь покинул митрополичий покой.

В голове его, пока он проходил переходами к себе в терема, сложилось отчаянное решение: он находит иерея, быть может и во Твери, который перевенчает их, нарушив Феогностову волю. За серебро, за подарки, из страха ли — все равно! Таинство не зависит от духовной чистоты пастыря, пока он не отрешен от сана... Странно, только теперь ему пришла в голову страшная мысль: а согласится ли на брак с ним сама Мария? Тем паче теперь, после прещения Феогностова? Он все делал так, словно его любовь только того и ждала, чтобы кинуться ему в объятия; а ежели нет? Чему он поверил? Себе? Неуверенным словам Всеволода, вынужденного сказать то и так, чтобы расположить к себе великого князя? Что-то ее заставляло все эти годы отказывать женихам? Быть может, она и вовсе не мыслит о браке? Быть может, вот теперь, скоро, с возвращением сватов из Твери он станет смешон всей Москве, нет, всему владимирскому княжению и даже паче того — всем окрестным землям! Быть может, Феогност прав? Быть может, браки действительно заключаются в небесах, и нет в том нашей земной воли, и бесполезно спорить с судьбой?

Почему простые бабы в семьях смердов живут, не мудрствуя лукаво, с тем, с кем сведет их судьба по воле родительской, и счастливы, и не ищут иной судьбы, и не в этом ли высший жертвенный жребий жен-

щины? Служить мужу своему, данному свыше, не споря с судьбою, превозмогая труды, и печали, и пьянство, и лень, и вольный норов супруга своего? Не подает ли ныне он и всем прочим поваду творить брак по хотению своему? Он, князь и глава народа русского? Но — нет, нет, нет! Нет!!! — кричала душа, кричала, и билась, и плакала, и восставала на брань, и требовала, взывая: «Господи, сотвори чудо!»

Понимают ли они все, что ся творит со мною? Понимаю ли я сам, на что пошел и куда иду?

...А сваты уже в Твери. Вот они входят по ступеням. Вот останавливают под матицею, а Настасья сидит за прялицею или пяльцами и не глядит, и не смотрит, ссучивая бегучую нить.

Вот сваты кланяют в пояс, на них кушаки задом наперед. Вот начинают разговор околичностями: мол, следили куницу, след привел к твоему терему, госпожа!

Вот входит Всеволод и не знает, куда девать большие руки, и волнуется — впервой ему отдавать замуж сестру!

Вот сваты заводят разговор прямее: у вас-де товар, а у нас купец! Андрей Кобыла улыбается широко, Алексей Петрович Хвост строг и важен. Их еще не пригласили переступать матицу, но вот уже и зовут, и сажают, и тогда Настасья, отложив кудель, обращает взоры свои к московским боярам и говорит, что дочь у нее уже на возрасте и надобно прошать девушку, без ее воли, мол, и я, мать, не могу дать вам ответа, и кивает Всеволоду, и тот идет за сестрой, а Мария уже ждет...

И дальше картина не сostраивалась у него в голове. Как одета? Как глянет? Что ответит брату? За все эти долгие месяцы он, оказывается, вовсе не представлял ее себе живую, такую, какова она есть, а токмо придумывал и изобретал, водил за собою за руку, словно бесплотную тень... И сейчас, когда впервые ей, земной, предстоит сказать свое слово, он не знает, не может уведать, ни представить, что за слово скажет она. Быть может, откажет! И — к лучшему. Он будет рыдать, лежа ничком, потом утихнет, встанет, неживой уже, и станет хлопотать, и строить, и началовать, и притворяться живым, и это будет страшнее всего! А там подойдет старость или случайная болесть, ордынская чума или иное что — и конец. И череп,

омытый дождями. (Лучше так, лучше в поле, безвестно, без могилы и даже креста!)

Маша, Мария! Скажи скорее, что ты хочешь сказать, ибо я уже не могу жить, не узнавши решения твоего!

ГЛАВА 82

Сергий рубил дрова. Дрова были навожены с осени, по первому снегу, на ручной самодельной волокуше. На нем был сероваленый суконный зипун. Овчинный, по грехам, пропал как раз в ту пору.

Несколько месяцев прожив в одиночестве, Сергий, увидев в березках бродячего мниха, явно направлявшегося к нему, помнится, так обрадовался человечьему голосу, что не захотел узреть ни вороватой оглядки, ни излишней льстивости, ни осторожного вопроса о богатом покровителе монастыря. Чая обрести в захожем брате сотоварища, он от сердца накормил его хлебом, ягодами и кореньями с малого своего огородика, стараясь не замечать ни жадности, с коей брат поглощал пищу, ни брюзгливости, явившейся в нем тотчас с сытостью. Освоившись, отогревшись у печи, которую он топил не переставая, пока Сергий хлопотал по хозяйству, носил воду и разметал двор, брат принялся свысока поучать Сергия:

— Ты ищо молод! (Разумелось, что и несмыслен разумом.) Монастырь должон иметь богатого покровителя! Вот я был...— Он поперхнулся, невнятно произнеся название монастыря.— Дак то монастырь! Каких рыбин привозили к столу! Осетры во-о-от такие! Страшно и позрети! — Он щурился на огонь, причмокивая, вспоминая, верно, обильные трапезы. На вопрос Сергия, почто же брат тогда ушел из монастыря, вскинулся яро: — Пошто ушел! Пошто ушел... Завистники... Отцу иконому не приглянись, оногды и не евши просидишь... Довели!.. Да и вклад тамо...

Сергий чуть улыбнулся, смолчав. Подумал, что здесь, в лесу, захожему брату скоро придется понять, что не в рыбах и не в покровителях заключена суть монашеской жизни.

Назавтра брат пошел было на работу вместе с Сергием, но скоро устал, ссылаясь на застарелую нутряную болесть, все посиживал да посиживал, глядя, как Сергий неутомимо валит и валит лес.

— И работашь как дурной! — ворчал он вечером.— Мнихи рази так работают? Мнихи Господа молят, вот!

Однако и молитвы вместе с Сергием брат не выдержал. Начал сперва переминаться с ноги на ногу, потом опустился на колени и даже лег на пол, словно бы от молитвенного усердия, тут же, впрочем, едва не всхрапнув, и, наконец, пробормотав: «Пойду лягу», выбрался из церкви.

Когда Сергий воротился к себе, брат уже спал, накинув и подложив под себя все, что было теплого в доме. Сергий не стал тревожить его, улегшись на голый пол.

На третий день брат заскучал. Заметив, что Сергий вновь сряжается в лес, пробормотал, отводя глаза:

— Ты поработай, а я помолюсь за тебя!

Сергий знал, уходя, что видит его последний раз. Знал, но не придал веры знанию своему... С годами это внутреннее знание все укреплялось и укреплялось в нем, и он уже и сам полагался на него и не ошибался после того разу никогда. Он, помнится, еще кинул взгляд на свой овчинный зипун — захотелось взять с собою,— но отдумал, да и устыдил себя. В тот день Сергий рубил лес до вечера не переставая (с собою была взята краюха ржаного хлеба). Когда, порядком уставши, он явился наконец домой, брата не было и не было полумешка муки — последнего, как на грех! И не было овчинного зипуна. Без муки до нового привозу Сергий еще мог просуществовать: толочь заместо муки липовую кору ему уже приходилось; потеря зипуна в чаянии близких морозов была страшнее. Пока, впрочем, хватало суконной рабочей свиты, и Сергий, рассчитав сроки, порешил, сократив даже несколько служебный устав, сугубо налечь на дрова, чтобы, когда грянут морозы, не было нужды уходить далеко в лес.

К слову сказать, нового овчинного зипуна Сергий так и не завел. Притерпелся, привык и позже даже предпочитал сероваленую суконную сряду овчине...

Брат этот научил его многому. И не то что недоверию. Постановив в сердце своем всегда доверять людям, Сергий доверял им и впредь, но отроческое, радостно-светлое ожидание добра от всякого встречного прохожего неприметно перешло у него в требовательно-настойчивую мягкость пастырского начелованья, в то, что позже называли в Сергии строгостью. Он понял, что редкий человек не нуждается в понуж-

дении внешнем и лишь немногие, подобно ему самому, дерзают сами создавать себе это понуждение.

В первую зиму у Сергия дров до весны не хватило. Пришлось бродить в лесу по пояс, а то и по грудь в мокром снегу, рубить и таскать полусгнивший валежник. Нынче запас был отменен, тем паче что он и не баловал себя излишним избяным теплом.

На морозе дрова кололись легко, правда, иные дерева не враз поддавались его секире. Приходило соразмерять силу удара с твердостью — на глаз — очередной колоды. Сергий заметил, что расколется или нет полено, он знает уже в тот миг, когда топор падает вниз, еще не коснувшись дерева. Он приодержался, попробовал приказывать топору, но сразу же ничего не получилось. Тогда он вновь отдался работе свободно и вновь почувствовал, что знает, расколется или нет очередное полено, еще до удара. Он даже усмехнулся радостно, когда понял: знание приходило и здесь, в этом простом мужицком деле, не от головы, не от хитромыслия, а от сердца. И знание это было безошибочным. Еще до удара... Да, нужна и сила, и навычка, и топор нужен, но еще до удара и — безошибочно! Он уже давно нарубил потребное дню, но продолжал и продолжал вздымать секиру. Росла груда наколотых дров — и росло прозрение. Он точно знал, что полено расколется (или нет), до удара. Каждый раз. Без единой ошибки.

Не тако же ли и на рати? — пришло ему на ум, и Сергий вновь приодержал вздетый топор. Не тако же ли и ратный труд?! Пото и пишут на иконах скачущих в сечу со вздетыми саблями, а инех валящихся от не нанесенного еще удара... Такожде и на ратях! Да, конечно! Духовно победоносны еще до сражения, и победители до победы, и сраженный падает (начинает падать), не тронутый еще валящимся на него мечом... Такожде!

Он вновь стал рубить, и ликующая сила приливала к плечам: такожде!

Уже до боя (и, верно, может быть, и без боя!) побеждают правые. Пото и одоляют един тысящу, а два — тьму. В духе причина всего: и воинского одоления на враги, и царств одержания, и даже столь малого дела, коим он занимает себя сейчас. «Гонимы

гневом»... Воистину! И это — главное! Дух, коему подчинена плоть. Всегда подчинена! Нет слабых духом, есть ленивые, есть лукавые духом, есть высокоумные, без сердца тщащиеся познать истину. Но ежели дух устремлен и полон веры, плоть, ведомая им, победоносна всегда, еще до деяния, до боя, до удара, так же точно, как точно каждый раз он, опуская секиру, еще не коснувшуюся дерева, уже ясно знает, расколет или нет очередной чурак.

Вечерело. Далеко в морозном ясном воздухе раздавались удары топора. И кто бы мог помыслить, что одинокий монах, вздымающий раз за разом секиру, уже не дровы рубит, а решает для себя сложнейшую философскую задачу, от коей зависит взгляд на все сущее и в коей коренятся основы деяний человеческих и многоразличных вер.

ГЛАВА 83

На Всеволода, изрядно остудив его пыл, навалились разом все непростые дела тверского правления. Ссоры и споры с боярами покойного дяди Костянтина занимали средь них не последнее место. К тому же обиженный Василий Михалыч начал тотчас по возвращении в Кашин собирать ратную силу, а это значило, что ему, Всеволоду, тоже надо подымать кметей и бояр на брань, и, значит, облагать тверичей, не успевших опомниться от Костянтиновых поборов, новыми налогами, а поскольку войск не хватало, грозить татарскою помочью (очень, впрочем, сомнительной), а прослышав о возможном нахождении татарских ратей, смерды устремили на бег в леса и чащобы и торговые гости начали покидать город. Словом, не было бабе забот...

Сверх того, началась домовая, семейная свара. Вдова Костянтина не захотела отдавать захваченное родовое добро, и Всеволод в гневе послал кметей возвращать добро силою, сотворивши с семьей дяди то самое, от чего не так давно сам катался в истерике, хватаясь за меч.

Среди всего этого срама, споров, криков, ругани, семейных покоров, толковни с боярами и сбора полков явились московские сваты. И добро бы кто иной, а не Андрей Иваныч Кобыла, свой, можно сказать,

ведомый с детских лет, перед кем не скроешь ни безобразия, ни срама...

Настасья, узнавши, схватилась было за голову. Пока московитов встречали, захлопотанная прислуга кинулась судорожно искать запропастившуюся дочерь и не нашла. Сваты уже подымались по лестнице. Ни пить, ни исть не подашь ведь, доколь под матицею не постоят! Торопливо влезла в праздничный свой темно-синий, отделанный парчою и жемчугом саян, выхватила у сенной боярыни прялицу. В последний миг вытащила зеркало, поправив сбившийся повойник. Только поспела сесть — вошли сваты. Ульяния засунула любопытный нос, и младшие, Володя с Андрюшей, вслед за нею. Настасья грозно повела глазом — веселые рожицы мигом исчезли, но так и стояли, слышала по дыханию, заглядывая в щелку дверей.

Сваты, остановясь под матицею, одинаковым движением огладили бороды, глянули друг на друга. Настасья (руки уже не дрожали, справилась с собою) степенно ответила на поклон. Кобылу поздравствовала как старого знакомого. Тут наконец и Всеволод зашел, тоже переодевал платье к торжеству.

Слушала толковню сватов вполуха, гадая об одном: где сейчас Маша? Степенно отмолвила сватам теми словами, которых и сожидал в мечтах своих Симеон: мол, с дочерью надо посоветовать!

Усадив сватов и распорядив угощением, все ждала,— отай разослала искать по всему терему, и всё не находили Машу,— сором!

А Мария была в этот час в притворе домовой церкви. Забилась в угол, села на лавку, прижав руки к вискам, неотрывно глядючи на большую икону «Всякое дыхание да хвалит Господа», вынесенную в притвор. Безмысленно разглядывала выписные ряды ангелов, архангелов и праведных душ, узорные горки и травы, коневые и скотинные стада понизу... Вяло подумалось: в монастырь?

Князь оскорбил ее, быть может, сам не понимая того; словно корову купил, достав престол Всеволоду, и теперь она не ведала, что ей делать с собой. Отказать? Может, и вправду уйти в монастырь? И отказать не откажешь за просто так великому князю владимирскому! Зачем это все, Господи! Зачем борьба за власть, споры, ссоры... Сидели бы у себя в Холме... И понимала сама, что безлепицу мыслит. Первая за-

всегда баяла — родовая честь! Сказать, что не лежало сердце к Семену Иванычу, тоже не могла. Не думала до последнего, что он так поступит, пока уж не отослал Евпраксию к отцу! А и тогда не понимала еще, не чуяла. Дивно казалось: как же так? Венчанная жена! Может, то и отмолвить сватам? Или отложить... И все было не то, не о том! Он ее любит, конечно любит! А она? А она не знала, не понимала ничего. Привыкла жить без любви, без мыслей о браке, и сейчас ничего не пробуждалось в ней, одна сумятица в голове.

Звонкий голос Михаила заставил ее вздрогнуть.

— Вот ты где! — кричал брат.— Я тебя первый нашел! Иди скорей, сваты ждут! Андрей Иваныч с тем, с другим, приехали, важные такие!

Михаил охватил сестру руками, потянул, расцеловал в щеки на правах младшего брата.

— Иди же, ну!

— Постой, отстань! — отмахивалась Мария.— Дай погодить, подумать...

— А что? — округлив глаза, воззрился на нее Михаил.— Ты чего? Не пойдешь разве замуж за великого князя?

Мария, покраснев, свела брови, отбросила руку брата, молвила резко:

— Погоди!

Михаил замолк, озадаченный. Сестра сидела гневная, слепо глядя перед собой.

— Я ду-у-умал...— протянул он разочарованно.— А он жену отослал!

— Жену! — возразила Мария.— Бают, и не жили с ней! — И прикусила губу. Само сказалось лишнее, при брате-то!

— А я его видел! В Новгороде! — вдруг, прояснев ликом, похвастал Михаил.— Даже баял с им!

— Видел? — На лице у сестры мелькнуло подобие улыбки, и снова она вся словно погрузилась в тень. Руки упали, опустились плечи. Спросила устало, глядя на икону перед собой: — Какой он?

— Он? — Михаил задумался. Повертел головою, поджав губы, потом ясно взглянул на сестру и улыбнулся опять: — Он добрый! И хочет быть строгим!

Сказал — и растерялся враз. Маша сидела и плакала. Плакала молча. Слезы катились и катились у нее по лицу...

Михаил постоял, потом подсел к сестре, потерся

о ее плечо виском, как делал когда-то, еще до отъезда своего, после начал бережно гладить ее бессильно брошенные на колена руки.

Наконец Маша сделала над собою усилие, скрепилась и встала. Притиснула на миг к себе, нагнув, вихрастую голову брата (вымахал, что и рукой не достанешь теперь!), отерла полотняным платом глаза. Спрятала плат в рукав. Промолвила со вздохом:

— Ну, пойдем!

И Михаил, не оглядываясь (боялся, что сестра разревется опять), торопливо повел ее вниз по долгим переходам в горницу, где уже давно маститые сваты, распаренные в своих бархатных и суконных, отделанных мехом одеждах, нетерпеливо поглядывали на дверь.

Мария явилась строгая и белая — ни в губах крови, стала, выпрямившись. Сваты поклонились ей в пояс. Андрей осклабился, подмигнул было, но она — словно и не почуяла: ни слова, ни улыбки в ответ. Прошла, вскинув голову, по половице, взад и вперед (надо было так по обычаю, показать, что не хромая невеста). Остановилась, все так же холодно глядя перед собой, сказала, опустивши ресницы:

— Я согласна.

И словно отпихнула, оттолкнула от себя всех, вскинувши взор:

— Мне можно уйти?

Настасья, невольно оробевши, отмолвила:

— Ступай, доченька!

Мария молча, не меняя выражения лица, поклонилась сватам и вышла, такая же прямая и недоступно строгая.

Сваты переглянулись. Андрей крякнул и отер платком вспотевшее лицо. «Мда! — помыслилось ему.— Теперича на спину уже не посадишь!»

— Садитесь, гости дорогие! — произнесла Настасья у них за спиной. Кобыла и Алексей Петрович, повеселев, перекрестились и сели к трапезе. По старинному свадебному чину речь теперь должна была пойти о приданом невесты, после чего уже тверские бояра, от Настасьи со Всеволодом, поедут на Москву глядеть дом жениха...

О том, что митрополит Феогност отказался благословить этот брак, в Твери еще ничего не слыхали.

ГЛАВА 84

— Мать! Мнишь ли ты, что дочь великого князя тверского выйдет замуж без благословения церковного?

— Доченька, Маша... Уже и пиво сварили, и свадьба готова на Москве! И лошади ждут, и сваты...

— И никто из них не повестил изначала про Феогностово прещение! Позор! Стыд! Господи, какой стыд!

— Доченька, я не знаю, что делать теперь... Великий князь...

— Князь! Но Феогност затворил все церкви на Москве! Что ж князь Семен меня без венца, как суку... как последнюю... О чем же думал он, посылая Андрея Иваныча к нам? Обманывал, да?! Ты не знаешь, так я знаю, что делать теперь! Идти в монастырь! Я уже толковала с игуменьей. Через три дня постригаюсь, вот! Невестой христовой почетнее быть, чем невестой вашего московского князя! — Мария выбежала из покоя.

Настасья как сидела, приложив руки к пылающим щекам, так и осталась сидеть. В самом деле — срам! Феогност затворил церкви. Третий брак, при живой жене... И венчать некому теперь! Разве епископ Федор? Здесь, во Твери... То будет позор для великого князя! Да и владыка Федор может побояться Феогностова прещения...

А за невестой — целый поезд. Княжеский возок в серебре, обитый изнутри рысьими мехами, вершники в лентах, перевязанные узорными полотенцами, разубранные кони, расписные сани... Весело гомонят кмети, весело звенят бубенцы. Сейчас кормят поезжан, завтра...

Всеволод вбежал, хлопнув дверью. Промороженный, краснолицый:

— Что с Машей?

— Отказывает! Без церкви, без венца...

— Ежели здесь, во Твери, перевенчать...

— Думала. Не можно.

— И что она?

— В монастырь. Через три дня уйду, говорит.

— Зови Кобылу!

— Сором-от...

— Што сором! Пущай, коли сват, шлет вестоношей ко князю! Семен Иваныч с митрополитом не сговорил, а нам теперича ответ держать?! Ты, мать, по-

толкуй с игуменьей! Без твоей воли и Машу не постригут! А я...— Он вскочил, выбежал вон. Скоро в палату вступил Андрей Иваныч Кобыла, выслушал с нахмуренным челом сбивчивую речь Настасьи. Посопел. Молвил:

— Ты тово, с Машею... Не спеши... Пущай погодит! И молодцам... Лишних пересудов не стало б... А я тотчас пошлю ко князю гонца! Без венца и нам, тово, везти невесту соромно!

Встал Андрей. Осторожным ученым медведем, пригибаясь в дверях, вылез из палаты наружу. Ничем не утешил, а стало как-то покойнее после его быванья. Прислушалась: во дворе все так же гомонили гости и челядь, не ведая еще или не желая ведать беды.

От Твери до Москвы четыре дневных перехода. Вестоноши, меняя на подставах верховых коней, проходят этот путь за два дня. Гонец, посланный Андреем Кобылою, въезжал в Москву на другой день, позднею ночью. Бросив запаленного коня, шатаясь, взошел на крыльцо.

Разбуженный сенной боярин, сообразив, что и от кого, побежал в княжую опочивальню будить Симеона. Князь еще не спал. Лежал, обдумывая устроение свадебных торжеств, непростое, поелику ни митрополит, ни Алексий и никто из духовных не будут на свадебном пиру. У него этим вечером был долгий и тяжкий для обоих разговор со Стефаном.

Стефан, недавно лишь покинувший терема, тоже не спал в этот час, стоял на молитве у себя в настоятельском покое монастыря и думал. Думал о том, что совершил он и на что дал себя согласить князю два часа тому назад.

С поздним раскаянием вспоминал теперь Стефан о младшем брате, который, по дошедшим слухам, так и живет у себя в лесу, лишь изредка появляясь то в Радонеже, то в Хотькове, и о нем уже начинают слагать легенды, сказывают о каком-то прирученном им медведе, о борьбе с бесами, о разбойниках, не тронувших пустынника... Сам Стефан, приняв настоятельский посох и сан, ни в чем не изменил аскетического своего образа жизни, ни скудной трапезы, ни власяницы не снял, что носил под ризами, на голом теле. Но к нему уже потянули бояре и знать, уже не один Симеон,

а и Василий Вельяминов, тысяцкий Москвы, содеял его духовником своим, и иные многие великие бояра, лучшие гражане, гости торговые... Духовная власть, толпы внимающих (о чем мечталось бессонными ночами еще там, в Ростове, и после, в Радонеже), почет и преклонение — все приходило, пришло нынче к нему вместе с любовью Алексия, вместе с уважением Феогноста... И все это опроверг и ниспроверг княжий наказ. И должно было ему выбрать одно из двух: или бросить посох к ногам князевым, снять позолоченный крест и, надев сермягу, уйти туда, в лес, к брату своему молодшему, или... Или вовсе бежать из пределов Москвы, быть может, и из Руси Владимирской, куда-нибудь в Киев... Но там Литва! Или еще далее, на Афон, в пределы Цареграда, где нынче войны и невесть кто победит, и не примут ли греки после того римскую веру? Или на север, в пределы новогородские? Утонуть, погинуть в безвестии, похоронив и гордый разум свой, и знания книжные, и навык божественного краснословия, похоронив все мечты и похотенья свои... Не уйти! От соблазнов плоти уйти легко. Его давно уже не смущают ни хлад, ни глад, ни пост, ни суровая дощатая постеля. От соблазнов души уйти оказалось гораздо трудней! И теперь, с запозданием, предвидя митрополич суд и остуду наместничью, он стоит на коленях и молит Господа о снисхождении и с запоздалым раскаянием вспоминает меньшого брата своего, который разом отверг все обольщения мира и всякую гордыню отринул, даже и гордыню полного отречения своего!

Симеон, подрагивая лицом, читал торопливое послание Андрея Иваныча Кобылы. Три дня? Какие три дня?! Постепенно начинал понимать. В голове прояснело. Но он же... И вдруг его прошиб пот: ведь Мария ничего не знает! Торопливо влезал в рукава. Гонцов к ней тотчас! И не одного... Надежных!

Василий Вельяминов будто проведал — уже подымался по ступеням.

— Прослышал, батюшка-князь, гонец скорый у тя?

— От Кобылы! Чти! Надобны верные кмети. Скорей!

Вот так Никита, Мишуков сын, случившийся в эту

ночь в дозоре дворца, получил свою первую княжескую службу.

Мельком взглянув на разбойную рожу невысокого ухватистого молодца и смутно догадав, что уже где-то встречал его и даже вроде беседовал, Семен поворотился к троим прочим, обозрев каждого с ног до головы. На него глядели бедовые обветренные морды привыкших к делу, а не словам молодцов, из тех, верно, что лазят по ночам, мало не задумывая, через тыны в терема посадских жонок, да ерничают, да пьют, да славно дерутся в кулачных боях на Москве-реке. Вот каковы посланцы его мечты и любви! Ну что ж, скачите быстрее ветра! Награда от князя великого — серебро да лихая выпивка в молодечной — сожидает вас на Москве!

Трещал смолистый факел. Жаркие горячие искры огня с шипением падали на снег. Мороз крепчал — солнце из утра вставало с ушами,— а теперь, под высокими звездами ночи (далече, словно стоны немазаного колеса, разносит скрип шагов по снегу), верно, и вовсе озверел. Вона как стягивает кожу лица и леденит руки!

— Одюжат молодцы? — спросил невольно.

— Выдюжим! — осклабясь, ответил невысокий за всех, и прочие готовно закивали головами: мол, не впервой!

В свете факелов выводили храпящих дорогих княжеских коней. Кабы не честь княжая — сам бы поскакал ныне вослед! Дорогую грамоту при серебряной печати протянул тому, запомнившемуся. Никита готовно принял, спрятал в кожаный кошель на гайтане, засунул за пазуху.

— Преже голову потеряю! — успокоил князя.

Посажались верхами. Тронули, все убыстряя и убыстряя бег. Вот исчезли из светлого круга, вот гулко протопотали в отверстом зеве ворот. Семен почуял вдруг, что пальцы рук уже ничего не чуют и уши тоже. Зачерпнул снегу, растер то и другое, перевел плечми. Зверел мороз! Как-то доскачут молодцы? С неохотою пошел назад, в терем, зная уже, что всю ночь не уснет.

Никита, проезжая мост, надвинул до самых бровей мохнатую шапку. Ветер резал лицо. Конь скакал, храпя, взматывая мордой. Морозные иглы льда забивали ноздри скакуна.

Сонною улицей — рогатки уже были убраны перед ними по слову тысяцкого — проминовали Москву, и началась, пошла ночная тверская дорога. До первой подставы, до первой смены лошадей, двадцать ли, тридцать поприщ — никогда не считал! Ноне только подумал: не сломать бы ноги коню в потемнях!

Летел обжигающий воздух, летел темный надвинувшийся лес, и месяц, выплывший наконец из волнистой туманной гряды, летел перед ним в небесах да топот вытянувших в нитку вершников, что, не отставая, летели следом за ним. Никогда еще так не скакал Никита! Думал дорогою (лишь бы не упасть): вот так же, верно, и дедушко Федор в его молодые годы скакал по князеву делу отселева в Новгород али Кострому — хорошо! И было хорошо, хоть уже и не чуялось щек, и казалось: не топот коня и не дорога, не ветер, а летит встречу высокий надзвездный простор и его на коне несет в вечном холоде ледяных облаков, по дороге луны, над умершей, недвижной землей. И-эх, родимые! Ветер! Кони и ветер!

Пал, споткнувшись и захрапев, чей-то скакун. Никита не остановил, не поворотил лица. Скоро подстава, дойдет, коли жив! Трое теперь неслись сквозь мороз и ночь.

К первой подставе Вельяминов выслал вестоношу. Их уже ждали, держа в поводу коней. Шлепнув ком гусиного сала на рожу, проглотив огненную чашу горячего меда и бросив несколько слов об отставшем спутнике, Никита уже летел вперед, по-прежнему чуя за собою наступчивый стук копыт. Луна все так же бежала в небесах, и так же молчал промороженный зубчатый лес, и так же тек, обжигая почти уже нечувствительное лицо, ледяной воздух.

На второй подставе приодержали было. Но княжая тамга да окрик тотчас явили им свежих оседланных коней. Не разбирая ни лиц, ни рук, вырвал из чьих-то согретых пальцев теплый на ощупь повод, рванулся ввысь и, ловя стремя ногой, поскакал, яростно врезаясь в упругий игольчатый холод.

Небо светлело, бледнело, гасли звезды. Казалось уже: сойди с коня — и не устоять на ногах. На подставе на хриплый окрик простуженного горла, понявши, что гонец самого великого князя, его стащили с коня, влили в рот горячее душистое пойло и, не разговаривая много, вскинули в иное седло, продели ноги

в стремена, и Никита, не чая уже, скачет ли кто-то за ним, вновь полетел в пустоту, холод и ветер.

От Москвы до Твери четыре дневных перехода. Двое суток скачут обычные вестоноши. Никита со спутником (и второй отстал-таки по дороге, свалившись с седла), закаменев и кошкою согнувшись в седле неведомо какого по счету сменного скакуна, на восходе солнца несся уже в виду города, и шарахали от него утренние крестьянские кони, сторонили возы, издали завидев летящего стремглав вершника (верно, уж ко князю самому, не иначе!), с криком шарахало воронье из-под конских копыт, и близил, стоя, как на столбах, на высоких розовых дымах, уходящих неколеблемо в морозную высь, широко раскинувшийся тьмочисленным нагромождением изб, клетей, хором и амбаров великий город.

Под воротами скрестившей копья страже Никита не мог сказать ничего — свело челюсти. Подскакавший напарник выкрикнул строго:

— От великого князя володимерского!

Копья раздвинулись. Куда тут? Улица криво вилась вдоль высоких тынов. Но их уже встречали верхоконные и скакали сбоку и впереди. И так, вослед чужому коню, влетел Никита в ворота города в городе — княжого дворца, не раз уже сгоравшего и вновь возникавшего из пепла, построенного впервые еще Михаилом Святым. Высокий собор, выше московских гораздо, высокие терема с многоразличными переходами, лестницами, кишевшие народом.

Он плохо видел — в ресницах настыл лед; сползая с коня, пал и не сразу сумел встать на ноги. Не чуя тела, шел, ослепший, готовый зарыдать, и не почуял, не понял сразу, что и к чему, попавши в медвежьи объятия Андрея Кобылы, который, крикнув в ухо ему: «Грамота у тя?» — и получив в ответ беспомощный кивок, попросту сгреб гонца в охапку и понес на крыльцо, мигнув молодцам волочь туда же и второго иссеченного ветром и снегом московского ратника.

«Гонец! Гонец! От князя!» — потекло по ступеням хором. И Настасья, для которой этот третий день едва не стал роковым, горячо перекрестилась перед образом Богоматери и пошла встречать. Андрей Кобыла втащил за шиворот и поставил на ноги перед ней буро-бело-сизого, залитого не то тающею водою, не то слезами малого со скрюченными красными негнущими-

ся пальцами, который косо начал рвать намороженные пуговицы ворота, раскрывал рот, бормоча что-то, и наконец с помощью того же Андрея Иваныча изволок на свет божий кожаную, пропревшую с одного боку и оледенелую с другого калиту, из коей толстыми пальцами Андрея была извлечена свернутая в трубку грамота с вислою серебряною печатью.

— Самой кня... кня... кня...жеской!..

— Оттирать, живо! — прикрикнула Настасья на заметавшихся холопок и — сенной боярыне: — Машу созови! И Всеволода!

Мария со Всеволодом и незваный Михаил явились почти одновременно, когда гонца уже уволокли оттирать и отпаивать горячим вином.

— Маша, тебе! — сказала Настасья, протягивая нераспечатанную грамоту.

Мария порвала снурок, развернула свиток пергамена, медленно проглядела, шевеля губами. Без сил опустила руки, почти роняя грамоту на ковер. Сказала громко, без выражения:

— Перевенчает духовник великого князя, игумен Богоявленского монастыря Стефан!

Грамота пошла по рукам — от Настасьи ко Всеволоду (Михаил тоже сунул любопытный нос в свиток, глядючи через плечо брата), от него — к Андрею Кобыле.

Андрей Иваныч крупно перекрестился, сказал густо и радостно:

— Вота и устроилось все! Со Христом Богом! Ноне великому князю во всем легота: и в Литве непоряд — не зайдет Ольгерд наши волости! И в Орде спокой! А и в дому, вишь, настала порядня добрая! Ну, Маша, судьба! И не перечь больше! Сряжайте невесту, а я велю запрягать.

ГЛАВА 85

...Справа бежали, увязая в глубоком снегу. Бежали позорно, роняя оружие; падая на колена и прикрывая руками головы, ждали ударов, а немцы, в развевающихся рыцарских плащах, скакали, словно на турнире или на смотру, наотмашь рубя бегущих. Волынская рать пятила, ощетиненная копьями, но было ясно, что скоро побежит и она. Кейстут, далеко на

левой руке, усланный обойти рыцарей, сейчас, попавши в засаду, бешено прорубается сквозь немецкие ряды, ежели уже не убит!

Ольгерд, до крови кусая губы, опустил иззубренный меч, затравленным волком озирая поле, усеянное трупами русичей и литвы. Сын, Андрей, сейчас выводит полоцкую дружину... Отрежут! Отрезают уже! Кого кинуть в бой? Смолян! Он вырвал рожок у трубача, сам протрубил призыв. Битву еще можно было спасти, ежели, ежели... И все дело опять испортил Наримант! Жалкий трус, сто раз прощенный, убежавший было в Орду, и теперь, когда приполз из Москвы, виляя хвостом, Евнутий (Ольгерд спросил брата: «Ну как, помог тебе твой Христос?» О своем крещении он ныне старался не вспоминать), когда приполз Явнут, Наримант прискакал тоже — ордынский прихвостень, прихвостень Калиты, в этом несчастном бою он задумал выслужиться перед братьями и, точно пьяный, не разбирая дела, вломился со своею конницей в самую середину, поруша до конца строй волынской рати. Тотчас под согласные певучие звуки своих труб оба немецких клина обняли, сжали, стиснули Нариманта, и началось уничтожение.

— Так умирай же! Умирай! Умирай! — кричал Ольгерд в забытьи, кровавя шпорами бока своего скакуна.— Недоносок Христов! Выродок! Стой!! Стой!!! К-куда-а!

Наримантовы кмети уже бежали, бежали в лоб смолянам, всеконечно губя сражение. И пели рожки, и, разворачиваясь, точно на смотру, немцы рубили бегущих.

В этот миг из-за дальних кустов выбилась горсть ратных и пошла наметом прямо на рыцарский клин. По платью и оружию Ольгерд издалека признал Кейстута. Брат был жив!

— Мало вас! Куда же! Сомнут! — в отчаянии, почти рыдая, кричал Ольгерд, не понимая уже, что его не слышат, что в грохоте и стоне сражения, ржании коней, гомоне дружин и стонах умирающих, его голос тонет, как в бурном море утлый челнок. Нариманта надо было бросать на произвол судьбы и отступать, отступать, загородясь гибнущими смолянами, снегами, завьюженной, в сырых водомоинах, Стравою, наконец! Он и вправду рыдал от бессилия и злости. Приходило бросать Кейстута тоже на произвол судьбы, а без

него Жемайтия не устоит! Три года назад они так славно вдвоем, измотавши в лесах, отразили едва ли не крестовый поход на Литву всего Ордена и многочисленных спесивых союзников его, а теперь... Позор!

Андрей отступал, огрызаясь. Сын был жив и, спасенный Кейстутом, сумел ускользнуть из кольца. Здесь, за перелесками, за лощиною, засыпанной тяжелым глубоким снегом, следовало собрать и перестроить оставшихся в живых. Ратники шли, скакали, ковыляли, ползли. Иные, тяжело раненные, добравшись до своих, ложились и тут же умирали в снегу.

Разгром был страшен. Сотни и сотни недвижных тел пятнали истоптанный снег. И пели победно рожки, и, пестрея на солнце штандартами, блистая железом, рыцари рубили ползущих по снегу раненых и умирающих людей.

Он так и не понял, в какой миг залитый своей и чужою кровью, худой и высокий Кейстут на раненом шатающемся коне оказался рядом. За ним словно тени, спотыкаясь, ехали, как и он залитые кровью, пять человек — все, что осталось от дружины Кейстута. И все же он совершил невозможное, трижды пробившись сквозь рыцарский строй. Ольгерд обнял брата.

— Где Наримант? — хрипло спросил Кейстут. Ольгерд ответил, махнувши рукою:

— Там!

На лбу Кейстута вздулись свирепые жилы, лицо перекосило гневом. Залитый кровью, с горящими глазами на бледном лице, точно дух войны, он был страшен в сей миг:

— И ты не пошел его выручать?!

— Кого?! — крикнул Ольгерд, ярея.— Взгляни! Нам теперь лишь бы отступить в порядке! Не то немцы возьмут Вильну!

— Их мало...— устало ответил Кейстут.— Никуда они не пойдут дальше этого поля! Гляди! Добивают раненых! И это — рыцари! — с яростью выкрикнул он.— Псы!

— Мы для них — лесные звери! — мрачно подтвердил Ольгерд.— На литвинов охотятся, словно на волков и медведей! Возьми моего запасного коня, Кейстут! Ты еще можешь держаться в седле?

Кейстут кивнул:

— Да! Пока не умру!

— Тогда выводи смолян и волынян. Любарт не

простит нам гибели всех своих воинов... За тем лесом — сбор!

Вдалеке победоносно пели немецкие трубы. Бой затихал. Рыцари спешивались, одирая доспехи и платье с убитых. Оставшиеся в живых русичи и литвины поспешно отходили к опушке леса. Раненые ползли, зарывались в снег. Долежать бы до ночи! Увидят — зарубят без милости. Раненых редко щадили в этой войне!

Магистр Генрих Дусемер торжествовал. Первая внушительная победа после того позорного похода трехлетней давности, когда цвет рыцарства, все орденское войско вместе с союзными отрядами высоких гостей, приехавших к ратной потехе — два короля: Иоанн Богемский и Людовик Венгерский, моравский герцог, Карл Люксембургский, бургундский герцог и герцог Бурбон, графы Голландии, Нюрнберга и Шварцбурга с дружинами, сколько собралось рыцарей, стягов, гербов, сколько гордой ратной силы! — все это огромное войско, обманутое литвинами, десять дней бродило в пустынных лесах, в то время как полки Ольгерда пустошили Ливонию! Голодные, мокрые (началась распутица), на измотанных конях воротились рыцари, не застав ни единого язычника... Старый магистр, Людольф Кёниг, был тогда снят, обвинен в легкомыслии, в измене, признан умопомешанным и заключен под стражу в Энгельсберг... Заколебалась честь Ордена, заколебалось будущее его! И он, Генрих Дусемер, должен был спасти любыми средствами потерянную рыцарскую честь Ливонии. Любыми!

«Об этой битве... Об этой великой победе,— поправил он себя,— следует повестить по всему миру!»

Он шагом ехал по полю битвы, озирая горы трупов. Сколько тут их? Сотни? Быть может, даже тысячи? Навстречу гнали нестройную толпу обезоруженных, израненных пленных. Магистр остановился, считая. Поднял руку в железной перчатке, приказал:

— Этих — к тем!

Тотчас толпу пленных окружили конные рыцари и начали рубить безоружных, точно мечущееся, загнанное зверье. С хриплыми выдохами вздымались и падали мечи, круг все сужался и сужался, стихали режущие уши крики избиваемых... Всё!

К нему подъезжали, поздравляли с победой.

— Сколько их? — спросил он, кивая в сторону кровавого поля.

— Да... Тысячи полторы... А то и все две! — неуверенно произнес кто-то.

— Все четыре! — выкрикнул рыцарь Дитмар.

Подъезжали командиры отрядов, счет убитых литвинов множился, рос на глазах.

— Повестить всем! Пало шесть тысяч язычников! — громко приказал Дусемер.— Гонца в Ригу! Гонцов к императору! Мы победили!

— Шести тысяч никак не будет! — тихо сказал, подъехавши вплотную к магистру, Иоганн Штакельберг. Генрих Дусемер покосился на старого воина, ответил негромко:

— Молчи! Ордену нужны пополнения. Громкая победа привлечет к нам рыцарей со всей Европы! И так слишком много тягостных неудач в этой войне! Сегодняшний бой тоже дался не даром!

Возвысив голос, он обернул лицо к соратникам:

— Приказываю перебить всех оставшихся пленных и отходить!

«Ночью,— подумал он про себя,— Ольгерд с Кейстутом могут захотеть сквитаться за дневной разгром!»

Призывно трубили рожки. Победители, торопливо вьюча добычу, вскакивали на коней, ровняли ряды. Внезапность! Вот что решило дело. Ольгерд не ожидал, что рыцари выступят так рано. Внезапность и недолгие сборы. Всего восемьсот рыцарей (с кнехтами и оруженосцами до трех тысяч людей) отправились в этот поход. Теперь можно будет хоть на несколько месяцев отдохнуть от литовских набегов, а тою порой укрепить дороги и порубежные крепости. Генрих Дусемер отлично понимал, невзирая на днешний успех, что война с Литвою, в лучшем случае, затянется на много лет...

И еще одно знал новый магистр. Что не так важна сама победа, как победный шум вокруг нее. Завтра ко всем государям Европы поскачут вестники победы, и цифра убитых литвинов будет все расти и расти: шесть, десять, восемнадцать, двадцать, и наконец, сорок тысяч человек, и в нее поверят (и даже в русские летописи она попадет!), и новые искатели легкой и славной наживы устремят изо всех немецких земель в ряды Ордена, чтобы вновь и вновь пытаться завоевать, истребить, выжечь эту упрямую землю, не под-

дающуюся никаким завоеваниям. И будут гореть литовские хутора, и будут гореть на кострах захваченные в плен рыцари — в честь огненосных литовских богов, и Ольгерд, темнее ночи воротившийся в Вильну, в неизрасходованной ярости воздвигнет гонение на христиан (запоздалыми казнями создав новых мучеников во славу Христа), позабывши, что едва ли не все его воины — крещеные православные русичи.

Заметим, что Кейстут, всю жизнь свято хранивший языческую веру предков, никогда не унизил себя до подобных гонений, хотя и военною силою и обманом всегда отклонял, отводил, отражал все попытки обратить себя в католичество.

Ольгерду предстояла долгая жизнь и завидная судьба. Он будет идти от победы к победе, завоюет Подолию, подчинит Киев и почти всю северскую Русь, создаст великое русско-литовское государство от моря и до моря, не потерпевши больше за всю жизнь ни одного серьезного поражения...

Так почему все-таки не состоялась Великая Литва? Почему, едва ли не сразу вслед за смертью Ольгерда, начал рассыпаться этот колосс, без бою захваченный Польшей, у которой потом Русь в течение нескольких столетий последовательно отвоевывала, возвращая себе назад, захваченные некогда Гедимином, Ольгердом и Витовтом русские земли?

Что произошло с Литвою, где была допущена роковая ошибка, не давшая ей укрепиться в столетиях, и в чем?

А что ошибка была допущена, и допущена именно Ольгердом, слишком ясно видится нам теперь.

После своих, достаточно кратких впрочем, гонений на православие Ольгерд начал долгую прю за митрополичий престол. Казалось бы, Ольгерд точно так хитрил с цареградскою патриархией, как и Кейстут с римским престолом, все обещая принять православие, да так и не приняв его в конце концов...

Да! Но католичество шло с Запада, вместе с завоеванием страны, и принявший его Ягайло тем самым враз погубил Литву, поскольку православие было верою трех четвертей населения Великого княжества литовского. Тут нельзя было хитрить, как хитрил всю жизнь Ольгерд, тут надо было твердо свершить этот

шаг, и тогда, возможно, вся история Восточной Европы пошла бы совершенно иначе. Ведь новый греческий митрополит Киприан поначалу устремился в Литву!

...Пошла бы иначе, и можно сказать, что Ольгерд, идучи от успеха к успеху всю жизнь и безмерно расширив свое государство, погубил его будущее в тот миг, когда в ярости от разгрома на Страве кинулся в Вильну мстить ни в чем не повинным защитникам греческого православия.

Он был холоден, Ольгерд! Религия для него была только политикой, и потому он и не узрел, не почуял глубокой, до прямого противоположения, разноты самих сущностей тогдашних православия и католицизма. Будучи хладным политиком, Ольгерд споткнулся именно здесь. И именно с этого часа все грядущие успехи Литвы повисли в воздухе и стали иллюзорными.

Именно здесь и теперь, при князе Симеоне, духовно победила Владимирская Русь, хотя до полной политической победы над Литвою и Польшей, перенявшей наследство литовских князей, понадобились еще целые столетия.

ГЛАВА 86

Семен никогда никому не признавался в своей нерешительности. Это была не трусость, а нечто иное. Встречая сопротивление, он обнаруживал в себе подчас неистовую энергию и силу — так было, когда он одолевал братьев-князей, когда, сломив сопротивление Новгорода, брал черный бор и выкуп с Торжка. Так было не раз, так было и ныне, пока возникали все новые и новые преграды... Но вот все преграды обрушены, и Мария Александровна, живая и во плоти и уже обвенчанная с ним в княжеской домовой церкви в присутствии великих бояр, своих и тверских, сидит рядом с ним за свадебным столом, и впереди ночь, и он отчаянно трусит, и уже почти хочет, чтобы все было так, как допрежь: чтобы мучения, и мечты, и недостижимая любовь где-то там, за лесами, за реками, чтобы вечно ждать и не дождаться ее никогда, вечно хотеть, вечно представлять ее себе и беседовать с тою, с призрачной. Он скашивает глаза, видит все пятнышки, все родинки на коже, мелкие бисеринки пота на ее челе, и не верит, что это она, и боится гря-

дущей ночи, и почти с отчаянием думает о том, что ежели она его возненавидит и согласилась на брак неволею (все-таки он великий владимирский князь!), то это для него — смерть, конец всему, и мечтам, и надеждам тоже.

Длится пир. Звучат заздравные клики. Мария кормит его с ложки: пристойно берет понемногу обрядовой каши, поднося ложку точно ко рту, сама опускает глаза. Теперь он должен сделать то же самое. Симеон зачерпывает кашу, отбавляет. Рука у него неприметно дрожит. Подносит. Сейчас он вдруг с ужасом понимает, что кормит родную сестру убитого им Федора и только что она кормила его, и ежели бы поднесла яду, это не было бы даже преступлением, а только отплатой! Мария ест, не глядя на него, неловко вытягивая вперед шею, видно, что исполняет обычай, точно заданный матерью урок...

В холодной горнице уже готова постель из снопов. Их отводят туда с шутками и смехом. И шутки и смех сейчас для обоих кощунственны. В покое горит одинокая свеча. Он скидывает зипун, растерянно садится на кровать, молча протягивает ногу. Мария, став на одно колено, стягивает сапоги, старательно не глядя на него. Золотые и серебряные корабленики со звоном падают и катятся по полу. Она не подбирает денег. Она и не должна подбирать их: это золото и серебро — кровь и слезы ее убитого брата, выкуп крови. А кровь выкупается только кровью!

Сняв сапоги с мужа, Мария выпрямляется, все так же, не глядючи на Симеона, словно неживая, снимает очелье, вынимает серьги из ушей, берется за саян и, дунув, тушит свечу. Его вдруг охватывает стыдное нетерпение, он скидывает лишние одежды с себя, ищет и ловит ее руками. Слышит в ответ негромкое, строгое:

— Погоди!

Любви нет, но есть обряд, и она настаивает на соблюдении обряда. Московский князь должен, поднявши на руки, положить ее на постель. И тут он опять понимает, сколь страшно все то, что происходит сейчас. Он как купец, купивший ее на восточном базаре. Да, да! Купивший! Скакали кмети, не он скакал. Стефан, венчавший Семена, поддался ему как великому князю. Всеволод получил стол от Джанибека по просьбе его... За днешнюю ночь заплачено, не заработано! Добыто не своим трудом — богатством,

властью. Быть может, кабы сам проделал все это! А так — он не снял с себя греха, он откупился, как откупаются от преступления богатым вкладом в монастырь...

Поздно поняв, что надобно от него, Семен соскакивает босой на холодный пол, обнимает ее дрожащими от нетерпения и страха руками, берет под коленки, чуя сквозь рубаху теплое тело девушки, подымает, кладет на постель. Забирается сам, натягивает соболиное праздничное одеяло, а дальше не знает, что делать. Он лежит рядом, постепенно согреваясь... И теперь взять и так вот, молча, сопя, овладеть ею, совершить еще одно преступление, почти что убийство,— вослед убийству Федора, коего он не пустил, не принял, не открыл ему дверь,— у него не подымается рука. И тогда что же? Зарыдать, выбежать вон? Отказаться от постели с нею, спать врозь, как с Евпраксией? Тогда зачем же он содеял это всё?! К чему?

Но вот Мария ледяными пальцами берет его руку. Она попросту тоже понимает, что иначе нельзя, что обряд, начатый в церкви, надобно довести до конца. Медленно тянет к себе и тут же, почуяв его движение, схватывает, прижимает к груди, не дает разжать пальцы. Ее тоже бьет дрожь, но по-иному, чем Симеона. Дрожь ее отнюдь не нетерпения, а, быть может, отвращения и ужаса к тому, что должно произойти... И он вдруг понимает, что мало было ему мучать себя, и отсылать Евпраксию к отцу, и одолевать Феогностову волю, гнать ратных в морозную ночь, помогать Всеволоду,— надо было прежде всего заставить Машу полюбить себя! На коленях, в пыли, каяти пред нею; неслыханными мучениями и подвигами искупить свой непростимый грех; в рубище и босиком, обвязанному вервием, прийти к ней и сесть у порога среди покрытых язвами и струпьями нищих и сказать: «Вот я! Прими и вознеси или прикажи — и я лягу тут, в пыли, и умру!» Или — закружить, одарить, осыпать сокровищами разных земель, явиться кудесником, волшебно сооружать расписные терема, сказочные хоромы и сени, а потом, раздразнив, озадачив, изумив, прийти, стать и опять, плача, просить прощения и милости! А этого он не сделал. Не смог или не сумел... Или всегда не умел, ни с кем? Он часто ловил на себе женские зазывные взгляды, но тотчас смущался, наводил на себя суровый и неприступный вид. Он был верен

Айгусте и, даже мучаясь плотью, не позволял себе супружеских измен во время долгих отлучек своих... Но был ли он нежен? Велик? Светел? Умел ли он очаровать любимую? Да, быть может, Настасья-Айгуста и права была, что тайно хотела блестящего рыцаря! Он являлся домой, выплескивая свою усталость, раздражение, скуку и гнев. Он не думал о том, что надобно нравиться жене. Он только ждал и брал, уверенный, что так и должно быть. Как простой смерд, что весь день работает в поле, а дома молча ест и заваливает в постель, подозвавши жену окликом: «Эй, Глаха!» — и она уж сама понимает, зачем и пошто... Да и смерды не все ж таковы!

Уж не родился ли он монахом и только по капризу судьбы ныне — князь и жених? Вот она лежит рядом, его мечта, его неземная любовь, и как же она по-прежнему, и даже больше, чем прежде, далека! И ничего невозможно теперь — некого слать, некуда скакать на коне... Здесь он бессилен. Бессилен и до ужаса одинок! С бедою подошла усталость от долгого дня волнений, шумного пира... С усталостью — обида и боль.

А она тоже лежала оглушенная, ослепшая, немая ото всех треволнений последних недель, от своего решения уйти в монахини, нежданной вести, морозной дороги в Москву и этого обидного венчания, хотя все было пристойно, и даже очень. Князь, видимо, вовсю постарался для нее. Теперь у ней будет то, о чем она когда-то мечтала: муж, дети, заботы женские... Муж... Убийца отца и брата! Не он, не сам... Все одно — сын убийцы! Все одно! Не хочу! Хочу в монастырь! Поздно. Теперь — поздно. Почему он медлит! Скоро, наверно, придут «будить». Будут кидать глиняными корчагами в стену, орать: «Вставайте!», сыпать неподобные шутки... Спрашивать после: «Здорово ночевала, на ручке ли спала?»

Она берет опять Симеонову руку, трогает пальцы, гладит ладонь. Рука теплая и, кажется, не злая («Добрый!» — сказал Михаил на вопрос: «Какой он?» Добрый! И убийца! Не может того быть...). Вот он лежит и жарко дышит, а ей ничего не надо, даже обидно, что ничего! Ни гнева даже нет, ни злобы, ни ужаса. Ты взял меня, добился своего, изнасилуй же меня, убийца! Изнасилуй и после убей! Пусть будет еще одна смерть, еще одна жертва Твери!

Но и того нет, нет и дрожи ужаса пред неизбежным, ничего, ничего, ничего! Она падает головой ему на руку, кусает за пальцы — в гневе на себя, мертвую в свадебную ночь. Он начинает гладить ее по спине, по ягодицам, медленно задирает сорочку... Схвати за волосы, опрокинь, сделай больно, в конце концов! Ведь ты завоеватель, насильник! Она вся напрягается, ждет. Скорей же, скорей!

Но Симеон медлит. Его рука передвигается ей на плечи, он горячо дышит ей в ухо, хочет поцеловать. Поцелуи сейчас — кощунство. Поцелуи — это любовь, которой не может быть! Хуже! Это — надругательство над нею. Она может отдаться насилию, она продана, но не это... Господи, только не это!

Мария опрокидывается на спину, подставляет ему, его щекочущей бороде, мягким усам, влажным устам свои холодные, стиснутые, мертвые губы.

— Ежели ты не хочешь, не надо теперь! — шепчет он, пряча лицо у нее на груди, и Мария не́мо гладит его раскидистые кудри. Хочу ли я? Что он спрашивает, о чем? Господи! Прошал ты меня, засылаючи сватов? Отсылая жену на Волок? Прошал ты меня когда-нибудь, с того первого разу, с погляду первого! Да и тогда разве прошал ты меня?! Он кажется ей таким маленьким, почти ребенком сейчас, его немножко жалко, и немножко смешно ото всего этого. «Это ведь ты добивался меня, а не я тебя!» — хочется ей сказать, но она молчит... Все, что должно произойти, надо содеять, и Мария вновь ловит ладонь князя, тянет к своей груди. Ей стыдно его жарких рук, его потных ладоней...

Даже и не с ним, не с врагом ее дома и семьи, даже и с любимым, жданным, она все это представляла себе совсем иначе. Или не представляла вовсе? Было ли у нее такое, когда, как сказывают, у девушки начинает кружиться голова и все тело млеет, делаясь жарким и слабым... Было ли? Нет, не было, верно, никогда!

Он наконец решается, ей становится тяжело... Нет, князь превозмогает себя или не хочет? Как это стыдно, гадко! Откатывается в сторону, недвижно лежит, не дотрагиваясь до нее... И ради этого, этих вот касаний и мокрых поцелуев, и было все? И пря с митрополи-

том, и разукрашенный поезд, и сваты, и гонцы, и послы? Господи! Почему ты не принял меня в череду непорочных невест твоих!

И этот человек посылал рати на Новгород, спорил с князьями в Орде? Он, наконец, не принял, не допустил, как говорят, ее брата Федора... И мог, мог спасти хотя бы только его! И не захотел или... Или так же, как и теперь, струсил, не возмог поглядеть ему в очи?! Зачем тогда они все — и бояре, и кмети, полстраны,— работают ему и ему служат? Или человеческое достоинство, гордость, благородство в ничто обратились в русской земле и такие, как он, погубив истинных витязей, стали теперь героями?!

Ну что же ты лежишь, победитель, словно обиженный ребенок! Ну убей, ну избей меня!

Она, в гневе, берет Симеона за плечи, встряхивает. Он, ошибочно поняв ее движение (и слава богу!), охватывает ее наконец руками, валит на постель... Тяжело. Больно. Неприятно, нечисто... И все?! И ради этого, только ради этого рушатся миры, совершаются подвиги, травят и убивают друг друга? Этого ради жена Пентефрия губила Иосифа? Соломон сочинял свою «Песнь песней»? Ради этого Олена Прекрасная шла за тридевять земель добывать своего Финиста — ясна сокола и выкупала его у бабы-яги? Только этого ради?! Нет, что-то еще... непонятное какое-то, странное чувство.

— Ты ненавидишь меня? — с горечью спрашивает Семен.— Ведь я насильник, убийца и враг вашего рода! Ведь я понимаю все!

Она трясет головой, спохватываясь, что кругом тьма, отвечает шепотом, с безотчетною женскою готовностью щадить и беречь — кто бы он ни был, какой бы ни был...

— Нет, что ты!

А он, кажется, плачет. Сейчас вновь отворотит от нее... Мария поворачивается к мужу, нашарив, кладет ему голову на предплечье, обнимает Семена за шею правой рукой, закрывает глаза, непривычно и странно чувствуя тяжелую мужскую руку на своем плече.

Слава богу, что все окончило. Произошло. И не стыдно теперь перед свахой. И у нее, наверное, будут дети. Сын. И, может быть, когда-нибудь, когда сын подрастет, когда боль, и стыд, и отчаяние приутихнут в отдалении лет, отойдут посторонь, быть может,

тогда что-нибудь и пробрезжит иное из этого брака, из этой продажи... из этой еще одной горькой жертвы, может быть, самой малой и незначительной среди всех жертв, принесенных ее родным великим и несчастливым городом на алтарь грядущего величия русской земли!

А Симеон лежит, обнимая жену, по-прежнему далекую, незнакомую и чужую, и кает, и корит себя за то, что содеял, поспешив; и снова и вновь понимает, что он по-прежнему убийца и враг для нее, оскорбивший ее до зела, и не чает ни сытой тишины, ни покоя, а одно только сиротливое детское недоумение: когда добился всего, чего хотел, и, как оказалось, ничего не получил...

— У нас будет сын! — шепчет она, не отворяя глаз.— Ты не кори меня, хорошо?

— Хорошо! — отвечает Симеон тоже шепотом и не верит, не понимает, что это. Жалость ли бабья? Нужное, к случаю, утешение, долг жены, строго выполняемый ею (он уже начал не головою, но сердцем постигать это, присущее едва ли не всему тверскому дому, гордое служение долгу пережe всего)? Или тонкий, брезжущий предвестник зари, как бывает еще перед рассветом зимнего дня, когда и ночь, и тучи, и ветер, и только первый зеленый луч осветлит откуда-то из-за густых облаков краешек окоема, намекнув, напомнив о близости грядущего дня.

ГЛАВА 87

Феогноста на Масляной не было в Москве. О свадьбе великого князя он знал, конечно, но не предполагал, что обвенчать Симеона решится сам игумен Святого Богоявления, тот радонежский, понравившийся ему инок, так скоро возвышенный Алексием... «Так скоро и так опрометчиво!» — подумал Феогност, отославши служку и прикрывая глаза.

Князь, очевидно для всех, поставил ни во что его митрополичью волю, и теперь с Симеоном восстанет долгая пря... Уезжать в Киев или на Волынь, ко князю Любарту, в то время как великий князь литовский Ольгерд, по сказкам, держит в заточении двух своих ближников за прилюдное исповедание веры Христовой, было, разумеется, невозможно. Тем паче что

в Галиче ныне, под крылом князя Любарта, открыта своя галицкая митрополия с подчинением ей всех епархий Волыни: владимирской, холмской, перемышльской, луцкой и туровской. И даже уехать в Тверь нынешнею порой не можно никак! Князь Симеон выбрал удобное для себя время! Однако наказать ослушника Стефана следовало, и немедленно.

Он опять прикрыл глаза. Тело отдыхало, мозг думал. Нынче по совету Алексия он поставил на суздальскую епархию нового епископа — Нафанаила. В какой мере Алексий служит ему, митрополиту, и святой греческой церкви и в какой мере — великому князю московскому?

Быть может, переехать во Владимир, как можно реже бывать в Москве и сблизиться с суздальским князем Константином Василичем?

В богато убранных хоромах было тепло и тихо. Шум торга и гомон ремесленной слободы не проникал сюда, за стены Кремника. Митрополичий двор на Москве ни размерами, ни роскошью не уступит княжескому. Богатства все росли и росли. Уходить отсюда не хотелось. Но точно так же не мог он представить себе пятнадцать лет назад, как можно уехать на Москву с Волыни!

Митрополичьи хоромы в Кремнике были высоки, в три жила, и верхние горницы согревались теплым воздухом, поступающим снизу через отдушины. Ни сажи, ни копоти, обычных спутников русских печей, не было здесь и в помине. Этим московитам не откажешь в изобретательности! Дорогая утварь, ордынские ковры, греческие и русские книги в обтянутых кожею твердых дощатых переплетах с медными позолоченными и посеребренными застежками-жуковинами. Иконы византийского, суздальского и новогородского письма. Драгоценные облачения, митры, посохи, панагии, усыпанные самоцветами, золотая и серебряная церковная посуда — блюда, потиры и чаши, кубки и кресты. Удобная постель; своя, митрополичья, молельня. Молчаливая, исполнительная прислуга. Прекрасный стол, пригласить за который пристойно кого угодно из великих мира сего... Тяжко спорить с московским князем! И надобно спорить. Не можно авторитет церкви менять на церковное серебро — быстро уйдет и то и другое! Верен ли ему Алексий? Не поторопился ли он хлопотать в Константинополе о восприемнике своем?

Да к тому же при дворе кесарей и в столице так ныне все зыбко, неверно, переменчиво... Война! Внутренняя, самая опасная для государств и правительств — «аще царство на ся разделится, не устоит!»

Сейчас предстоит тяжелый разговор с Алексием. Тяжелый, потому что надлежит сместить Стефана, а наместник наверняка будет защищать ослушника... А вослед за тем — еще более тяжкий разговор с великим князем, исход которого до конца не ясен ему. Требовать, чтобы князь отослал Марию как незаконную жену назад? Ограничить наказание церковною епитимьей?

Во всяком случае, неблагословенный брак ставил князя в некую зависимость от его, Феогностовой, воли. Например, наконец-то стало возможно покончить с безлепым волховным служением под самою Москвой, вырубить эту несносную Велесову рощу, которую великий князь охранял от него, Феогноста, все эти долгие годы невесть почему и зачем! Но и ему, Феогносту, запретившему брак Симеона, несладко теперь станет иметь дело с великим князем владимирским! Ежели бы не этот Стефан, тверская княжна вряд ли согласилась бы на брак! И как он, умудренный опытом грек, не разглядел червоточины в сем высокоумном русиче!

В двери постучали. Феогност не изменил позы, не шевельнул ни рукой, ни ногой. Произнес по-гречески:

— Разрешаю!

В покой ступил служка, почтительно склонив голову, повестил, что прибыл наместник Алексий.

Феогност с удовлетворением отметил про себя строгую исполнительность служителя, со тщанием вводимый им некогда и уже неотменимый ныне распорядок, с годами ставший традицией, которая сама уже есть его оружие в днешней которе с князем.

Он узнал Алексия еще за дверями покоя по шагам. Встал ему навстречу. Алексий вошел своею быстрой и легкой походкой, подошел, склонив крылатый головной убор, увенчанный налобным изображением вседержителя.

— Благослови, владыко!

Они уселись. Поглядели в глаза друг другу. Во взоре Алексия была озабоченность, но не было смущения и боязни. Он выслушал несколько раздраженную (хоть

тот и старался сдерживать себя) речь Феогноста, покивал. Отмолвил спокойно:

— Я и сам мыслю, что ошибся в брате Стефане! Нам надобен, полагал я, свой монастырь, своя киновия, сходная с киевской древлепечерской, в коей процвела бы книжная мудрость, а иноки дерзали спорить с властию, подобно тому как Феодосий Печерский спорил с князем Святославом!

— Для сего,— усмехнувшись, возразил Феогност,— надобен прежде всего сам Феодосий!

— Именно так! — Алексий согласно склонил голову, но и тотчас продолжил: — Однако в сем случае игумен Стефан содеял разумное, уступив князевой нужде! — Он остро и твердо поглядел в глаза Феогносту и протянул свиток с уже разорванным шнуром.— Вот грамота, сегодня полученная мною из Сурожа. Чти! Иоанн Кантакузин в январе занял Константинополь и взошел на престол басилевсов. Патриарх Иоанн XIV низведен Анной. Вместо него избран Исидор Бухир. Все прежние установления отменяются... Ныне не время спорить с великим князем Семеном! Мы должны совокупно с ним, едиными усты, слать к новому патриарху о закрытии митрополии галицкой как суетной новизны, с просьбою восстановить единую русскую митрополию для литовских и русских земель! Тем паче что Ольгерд в Вильне воздвиг гонение на православных!

— Но князь...— начал было Феогност, еще не в силах справиться с потоком известий, обрушенных на него Алексием.

— А князь,— перебивая, продолжил тот с энергией и страстью,— будет просить вместе с нами патриаршего благословения и разрешения на третий брак! И уступит нам в чем-нибудь малом, но надобном для церкви божией. Например, прекратит бесовские игрища и служения идолу Велесу, разрешаемые доднесь!

Феогност молчал. Закрыв глаза, откинувшись в кресле, молчал и слушал наступившую тишину. Ежели б не грамота, он мог бы представить сейчас, что Алексий все это, даже и победу Иоанна Кантакузина, выдумал, создал сам, чтобы оправдать свои действия и действователей. Но грамота — вот она — была у него в руках. Феогност открыл глаза, трижды перечел написанное по-гречески послание. Да, все так! И каким достойным, каким красивым завершением развязывается ныне тягостная тяжба с великим князем!

Авторитет его, Феогностовой, власти сохранен полностью. А с прекращением языческих треб даже и паки подтвердятся воля и достоинство митрополичьего престола в московской земле в глазах всех ее простолюдинов! Так что умаления власти церковной отнюдь не произойдет. (Ну а в том, что Константинополь сейчас, получив дары и поминки от Симеона, даст владимирскому князю требуемое согласие на третий брак, у него не было ни малейших сомнений.) И — закрывается галицкая митрополия! И он вновь единый хозяин всех этих обширных земель! И с тем вместе паки и паки возрастает значение русской церкви! Алексий, ты новый московский чудотворец! А я еще сомневался в тебе!

Он опять прикрыл глаза. Победил Кантакузин. Победил Григорий Палама. Победило древлее византийское православие! Победили афонские молчальники — исихасты, победили так, как и подобает побеждати — в духе, в слове, а не в грубой силе меча,— победили, убедив! И потому лишь и одолел Иоанн Кантакузин, что греческая церковь нашла в себе силы для возрождения заветов первых, изначальных вероучителей! (Феогност уже забыл свои прошлые колебания между Варлаамом и Паламою и то, как когда-то топтал послание Григория Паламы ногами. Но и он был все-таки человек!)

Зна́ком он указал Алексию на аналой с приготовленными бумагою, пергаменом и чернилами; и наместник, тотчас догадав немую просьбу митрополита, начал, взяв лебединое отточенное перо, набрасывать скорописью содержание грамоты, которую должны были немедленно, скрепив митрополичьей и княжескою печатями, с богатыми поминками отослать в Царьград.

Велесову рощу, в пастырском нетерпении своем, Феогност приказал уничтожить немедленно, в исходе зимы.

Монахи тяжело возились в порыхлевшем, сыром снегу, отаптывая стволы и врубаясь в прочную, будто литую, древесину священных дубов. Хмуро отводили глаза от ропщущих, сбежавшихся на погляд из соседних деревень селян.

Князь приехал, почитай, к шапочному разбору. Немо оглядел поваленные стволы, немо выслушал горькие крестьянские укоризны. В него не кидали камнями, не срамили князя поносно, в голос, как он сожидал и к чему был приуготовлен внутренне (и не подивил бы,

обретя такое!). Лишь одно происшествие нарушило угрюмое благолепие, сопровождаемое пением псалмов,— бирючи оттащили от князя какую-то иссохшую ведьму, с костистым выступающим подбородком, кинувшуюся, нарушая чин и ряд, прямо под ноги коню.

— Кумопа! — не вдруг узнав, прошептал про себя Симеон.

— На всех беду навел! — кричала старуха, вырываясь из лап дюжих охранников.— На всех! И вас, молодчи, беда не минует, попомнитя! — Она совала что-то в лицо ратнику, тыча острым перстом в его сторону, орала: — Господину дай! ...И тебя, князь, боле не защищу! — достиг ушей отъезжающего Симеона ее каркающий, громкий голос.

Запыхавшийся ратный подбежал ко княжескому стремени, смущенно протянул ему на ладони золотой памятный перстень. Князь, помедлив, принял возвращенную ему драгоценность, ощутив невольно, с холодом желтого металла, противный холод страха, на мгновение стиснувший сердце: стоило ли ему соглашаться с упрямою Феогностовой волею? Но дело уже сотворилось невозвратимо: роща была мертва. С тревожным чувством еще одной, быть может роковой, потери князь острогами пришпорил коня.

ГЛАВА 88

И вот он сидит в доме у брата Петра и не может встать и уйти (зашел на час малый лишь навестить своих по дороге). И не может встать и дотянуться до своего дорожного посоха, ибо на колена его ползет, сопя, Ванята, Иван, младший сын покойной Нюши, стоивший ей жизни и до того похожий на мать, что минутами думается, что это она сама, неразумная, вновь воротилась в мир, чтобы пройти земную дорогу свою иначе...

И Сергий растерян, он улыбается, тонкие ручки, не отпуская, крепко держат его за бороду. Малыш уже взобрался совсем ему на колена и теперь, ухватившись за волосы бороды, подымается в рост, заглядывает любопытно и требовательно в лицо чудно́му дяде. А Катя, супруга Петра, хлопочет, бегает от стола к печи, кидает на столешню горячие шаньги, наливает дымящую паром уху в глиняную тарель:

— Поешь, пожалуйста, не обидь, гость редкой! —

приговаривает Катерина, и глаза ее сияют.— Петра бы дождал! Не дождешь, меня овиноватит совсем!

— Ес, ес, позалуста! — повторяет малыш, стараясь пригнуть за бороду его голову к тарели.

Сергий, усмехаясь, щекочет малыша (тот заливается счастливым смехом), пробует уху, хвалит хозяйку.

Петр присылал ему раза два по мешку муки, больше Сергий и сам бы не взял у него. Петр, конечно, помнит, что братья оставили ему свою землю... Земля божья! Сто́ит чего-то не земля, а работа на ней. Работа же — в прилежании и в мышцах делателя. Ничего ты не должен нам, ни мне, ни Стефану, Петр! Мы оба ушли от мира и от забот и соблазнов мирских!

А дети — Катины и Нюшин старший с ними — стоят хороводом в отдалении, разглядывают захожего дядю-монаха (успели отвыкнуть уже!), и тем удивительнее, что этот вот малыш, которого он только еще купал когда-то в корыте, так храбро и безоглядно потянулся к нему...

Надо идти, уходить. Катя уже насовала в его монашескую торбу всякого печева, а маленький Ванята все не отпускает, держит дядю за палец, и лишь Сергий к двери, начинает горько рыдать. Катя подымает малыша на руки, начинает гладить, уговаривать.

— Я их и от своих не отличаю! С чего ето он? — недоумевает она.

А у Ваняты в глазенках слезы, тянет и тянет ручки к Сергию... Наконец, сто раз уговоренный, поднесенный близ, целует его в щеку мокрым ротиком, говорит:

— Пииходи есё! — И плачет, снова плачет, уже за дверью: — К дяде хосю!

Морозная дорога скрипит, изрядно потяжелевшая торба оттягивает плечи. Он идет Радонежем, знакомою улицей, мимо знакомых, памятных с детства хором, и уже чужой и чуждый им всем, и уже — прохожий по миру, странник и гость, а не житель земли. А мир не хочет его забыть, и словно гордится им, и тянется к нему то ручонками дитяти, то улыбкою, словом, то просьбою благословить, и ему странно это еще — не часто выходит он из своей лесной обители и еще не привык к почтению, оказываемому на Руси странствующему монаху.

Идет он в Переяславль спросить о неких вещах, потребных в обиходе монашеском, причаститься свя-

тых тайн и вновь направить стопы свои в родимую пустынь...

Он ушел от мира и пересекает мир, как путник пустыню, а мир не уходит от него. Давеча дядя Онисим, встретив Варфоломея-Сергия, кинулся к нему, громко облобызал, а потом долго разглядывал, шептал что-то, смахивая непрошеную слезу, поминал шепотом покойного родителя, Кирилла, спрашивал:

— Что Стефан? Слыхал, слыхал! Уже игумен! Да и где — у Богоявленья самого! Помыслить! Первый монастырь на Москве! — Онисим качал сивою головою, сказывал по привычке новости, выбирая те, что, по его мнению, должны были быть интересны Сергию: про то, что Ольгерд только что казнил двоих христиан, повесив их одного за другим на священном языческом дубе,— невесть отколе и узнал о том! — и что дуб тот стал теперь почитаем всеми литовскими православными; сказывал о Царьграде, о Кантакузине, о смене патриархов, словно бы Сергию в его лесу важно было знать все эти животрепещущие новости... А на прощании вдруг упал в ноги и попросил:

— Прими ты, племяш, меня, старика, к себе, хошь дьяконом! Я-ста сам-один ныне, и жисть немила, а в лесе тебе пригожусь: и топором владею ищо, с батькой твоим мы вдвоем по молодости баловались, баловались тою работой! Прими!

Сергий поднял старика, успокоил. Просил подумать, а уж ежели надумано крепко, приходить по весне, как сойдут морозы и мочно станет срубить новую келью...

В то, что Онисим придет к нему, поверил не очень и — ошибся вдругорядь. Онисим пришел-таки и не поминал, что родня, и начавшим сходиться к Сергию инокам не баял о том, а все ж по родне-природе пришел, хоть и сказано: оставь род свой, отца и матерь свою... По роду начал и Сергиев скит полниться братией...

Онисим добрался к нему по ранней весне, едва лишь протаяло, и круто начал рубить себе келью, отмахиваясь от племянниковой помощи. И служил истово. Сергию сперва дивно было видеть Онисима в церкви своей, а потом привык, понял, что старику монастырь не причудой пришел, а и верно жить стало нечем. Дочерь померла у старого, и ничто не держало в миру. И разговорами не донимал (чего втайне боялся Сер-

гий), молился долго и истово, стряпал, кору драл, ковырял огород. По весне и игумен Митрофан стал наведываться почаще. И уже втроем правили они тогда полную службу, со святыми дарами на престоле, причащением и отворением царских врат, по полному чину литургии Василия Великого.

А в мае среди веселого зеленого плеска молодых берез, птичьего щебета и щекота весело застучал в лесу новый топор — третий брат рубил себе келью неподалеку от них. Сергиева пустынь начинала наполняться народом.

ГЛАВА 89

Весь низменный луг за Неглинной, до самых Воробьевых гор, затопило водой. Вода стояла под Кремником, облизывая потопленные причалы. Редкие льдины бились в стены подплывших амбаров. По Москве несло бревна, сор, ошметья старого сена, вырванные с корнем дерева. На той, низкой стороне, в Замоскворечье, обширные луга до Данилова превратились в целое скопление озер и луж, съединенных протоками, и Кремник высил над разливом, словно сказочный город неведомой южной страны. С той стороны и сюда пробирались на лодках. Неглинную всю подтопило паводком, нарушив две княжеские мельницы. Половина Подола купалась в воде, и жители возили скарб в лодках, спасая от потопления скот — лошадей и овец.

Татарский посол Коча, стоя на стене Кремника, удивленно цокал языком, разглядывая вешнее море. Посла чествовали, поили и кормили, одаривали многоразличными подарками. Посол был важный, от переговоров с ним зависело многое, и Симеон старался задобрить татарина изо всех сил.

Мария выказала свои хозяйственные таланты, приобретенные дома, и Семен с удивлением и благодарностью следил, как быстро налаживает она большое хозяйство княжеского двора, где только кормилось до шестисот душ ежеден, как ловко ублажает татар, как строго отчитывает ключников, житничьих, постельничьих, стряпух, медоваров, конюших...

Мария сразу же заставила старшего ключника перекрыть заново, промазав жидкою глиной, прохудившую соломенную кровлю житничного двора на боровиц-

ком спуске (благо уже отдали холода), пустить на корм скоту зачервивевшую ржаную муку, вымести и просушить весь двор, поделав новые сусеки для овсяной и пшеничной — толченой и крупитчатой — муки, для толокна, солода, пшена и гречи, приказала ячмень, отруби и овес, как и рожь, хранить отдельно, в иных дворах, набить новым льдом погреба, где хранились сотни пудов масла, кислых и сметанных сыров (битое масло, что начинало горчить, перетапливали и развозили по монастырям). В кладовые с разноличною овощью — моченой и квашеной капустою, яблоками и огурцами, репою, редькою, луком и чесноком, ларями и кадями сушеных, моченых и вареных в меду груш, вишен и слив, привозного изюму, вяленых дынь и винных ягод, с бочками малины, брусницы, клюквы, грибов, орехов и прочею лесною и огородною снедью, что идет на квасы, начинки пирогов и во всякое варево, глиняными бутылями и корчагами с уксусом, горчицею, перцем и имбирем, многое из чего за протекшие месяцы незаботного Евпраксиньина хозяйствования забродило, перекисло или заплесневело,— Мария вовсе не допустила князя Семена даже и заглянуть, твердо заявив, что это ее забота и ее вотчина; и уже десятки дворовых девок и баб принялись под доглядом новой хозяйки хлопотливо таскать, сушить, переваривать, опруживать и шпарить кади и кадки, ваганы, туеса и коробьи. Тверянка навела порядок на поварне и в хлебне; в медовуше вовсе переменила половину прислуги, перешерстив медоваров и сытников, заставила Семена вызвать и строго отчитать бортников из Добрятиной борти, Рузы и Звенигорода за недоданные пуды меда, повелев недостачу довезти тотчас, не ожидаючи осеннего медосбора. К удивлению Семена, бортники, уверявшие до того, что год был «неспособный», поглядев в глаза новой княгине, тотчас доставили требуемые с них шестьдесят пудов старого меда. Залезла Мария и в бертьяницы, на первом весеннем солнце заставив перетрясти и пересушить счетные связки бобров, куниц, красных и бурых лис, соболей, горностаев и белок, барсучьих, рысьих, волчьих и медвежьих шкур, переписавши все заново на вощаницы; портняжный и ткацкий дворы взяла под свой догляд, велев купцам с торга впредь со всеми продажами и покупками холста, сукон, паволок, зендяни, атласа и прочего приходить прямо к ней, не тревожа более жоночьими заботами великого

князя московского. Она проверяла, вызывая к себе, сама или вместе с Семеном, тетеревятников, бобровников, сокольников и осетрников, велела по-новому оснастить амбары, где хранилась рыба, отделив сушеную и вяленую от сырой и соленой; и уже холопы катали бочки белужины, сиговины, ладожины, щучины, мокрых осетрьих теш и мокрых пупков, привозной датской сельди, луконной и паюсной икры, освобождая место для связок вязиги, клейменых косячных волжских и шехонских осетров, белужьего прута и вяленой белорыбицы, связок сушеных судаков, лещей, воблы и лукнов с вялыми белозерскими снетками... Мария объясняла житничьему и ключникам, что делать, дабы не мокла соль и не задыхалось зерно, оставив самому Семену догляд только за оружейною палатой и коневым двором, да и то, как видно было уже сейчас, до времени: попросту руки еще не дошли. Во всяком случае, послушав Машины рассуждения об аргамаках, иноходцах и проиноходцах, Семен понял, что и эта мужеская забота ей по плечу.

Этих талантов он и не подозревал в своей идеальной, придуманной им самим жене, и теперь рядом с благодарным удивлением все росло и росло в нем чувство устойчивого семейного покоя. Дом становился воистину домом, в нем появилась рачительная госпожа, и можно было забыть об иных суедневных дворцовых нуждах, отринуть их от себя, отдавшись всецело разнообразным делам правления.

Посла отослали наконец в Орду, вдосталь задарив и потешив. Унялась паводь, река вошла в свои берега, оставя на заиленных отмелях кучи сора, ошметья старого сена, вздутые трупы утопшей скотины и зверей, сдвинутые с мест, полуразрушенные клети, развороченные пристани, и уже звонкие топоры древоделей принялись латать, поправлять и заделывать протори, нанесенные городу паводком.

Над полями стоял голубой пар, горячее солнце жгло влажную землю, лопались почки, щебетали птицы, кони катались по рыжей траве — шла весна.

Симеон теперь полюбил проводить вечера дома. Целый день проходил на людях: толпы слуг, холопов, молодшей дружины, многоразличных торговых гостей, которых князь обязан был принимать, давая, с рассмотрением, грамоты на право торговли и провоза товаров через свои земли; княжеский суд, сидение

с боярами; толковня с посельскими, ключниками, старостами (часть этих забот, слава богу, Мария взяла на себя); переговоры с братьями о смесных судах и поземельных тяжбах; распределение вир, продаж, даней и кормов. Сверх того, частые поездки в Переяславль и Владимир, отсылки дани и грамот в Орду, переговоры с младшими князьями и опять ссоры из-за ярлыков, приобретенных отцом, из-за раскладки ордынского выхода; причем даже то, что решали его бояре, князь должен был проверять сам, прилагать печати, ведать переговорами, следить, строжить и направлять... Словом, дел хватало! Но теперь в конце многотрудного дня, после прилюдных обедов с боярами, гостями, послами и дружиною, наступал у него тихий час, когда князь сидел за налоем, разбирая остатние грамоты (он не любил диктовать писцу, сбивалась мысль, лишенная нужного уединения, и обычно прочитывал и писал черновые грамоты сам).

Мария сказывала, что содеяла по хозяйству, расчесывая косы ко сну. Он слушал краем уха, поглядывая искоса, как волосы, весь день скрытые под повойником, освобожденною волною окутывают стан и плечи жены. Помечал себе, чтобы не забыть, что ордынский выход по Манатьину стану и Дмитровской волости поступил не полностью, что опять задержана ростовская дань и Ярославль тоже не спешит с выходом. Ярославскому князю должно завтра же напомнить о дани, а в Ростов послать... Послать... Хотя бы и Дмитрия Минича!

Его еще ждала цареградская грамота, переданная Алексием со словесным изъяснением, что патриархат уважил просьбу великого князя. Грамоту он приберег как подарок для жены.

И потом будет ночь, и ее строгое, с сомкнутыми веками лицо, и счастье пополам с горечью... Ей, как кажет, все еще приятней вести хозяйственные дела, чем делить постель с мужем... Любил ли он Айгусту? Баяла, умирая: «Воспомнишь, полюбишь меня!» А Машу он любит. Знает это твердо и не умеет ни приласкать, ни разбудить ее, ни повестить о своей любви.

Мария (он видит краем глаза) что-то задумалась с гребнем в руках. Глядит в пустоту. Он не любит этого ее взгляда, приходит в отчаянье, когда она начинает глядеть мимо него, сквозь стены. Тогда Семен начинает думать, что где-то там, вдалеке, оставлен ею

любимый, втайне любимый ею боярин ли, ратник иль князь, а он — лишь докука, помеха на пути.

Он сдвигает брови. Гневает на себя. Старается не глядеть на Марию. Тянет руку к дорогому цареградскому свитку. Грамота писана по-гречески, но — о счастье! — тут же засунут и перевод, сотворенный Алексием.

Маша неслышно подходит к нему сзади, кладет руки на плечи, заглядывает в грамоту. Он еще не перестал гневать и потому говорит кратко: «Чти!» И пока Маша читает, шевеля губами, ловит ее твердую, прохладную после мытья руку и прикладывает к своей щеке. И сам вновь перечитывает греческое послание, упиваясь долгожданной победой. Закрыта, «яко суетная новизна», галицкая митрополия, а великому князю владимирскому, «понеже не имут детей», разрешается развод с женою и третий брак.

Маша вдруг тихо ойкает. Семен, уронив свиток, бросается к жене:

— Ты что? Что с тобою?!

Маша сидит, скорчившись, держась за живот.

— Порченые грибы? Стерлядь? Знахаря кликнуть? Али кого?

Она отрицательно трясет головою, молча и крепко держит его, схватив за руку. Согнулась вновь, передохнув, отмолвила:

— Тошнит! Ничего, ладо, никого не зови... Дай аржаного хлеба с солью...

Он опустился на колена рядом с женой, радостный заглядывает ей в лицо: неужели да?

— Да...— отмолвила она шепотом, на миг приникнув к нему головою.— Скорее подай!

Все-таки ее стошнило. Кликнули девку, отпаивали квасным настоем.

— Данилою назовем, по деду! — сказал он, когда Марии стало полегче и девка ушла из покоя с лоханью грязной воды.

— Я хотела... Мишею...

— Второго Михайлою назовем! — молвит он, как о давно порешенном, целуя жену в потный горячий лоб, и на миг сжимает ее плечи в благодарном объятии.— Они дружили, дедушко Данило с Михайлой Святым! Пусть в наших детях снова...

— Я боюсь! — жалобно отвечает Мария.— Не было б худа — зачали дите без благословения!

Но ведь благословение патриарха (без которого они отлично обошлись) — вот оно! Здесь! — молча отвечает Семен. В этом дорогом цареградском пергамене! И добыл его он! Или, лучше, вернее сказать, Господь в велицей милости своей узрел, смилостивил, постиг его жажду и боль и отчаянный зов сердца! Я не могу объяснить этого тебе, ибо не от холодных раздумий, не от мудрого предведенья, не от искусного господарского расчета взял я тебя, тверянка, дочь Александра, сестра Федора и внука Михайлы Святого, в жены себе! Я ходил неистовый, я — месяцы — жил только тобою; мне единый твой взгляд, и эти слова, сказанные негромко, с девичьим придыханием, и единое касание, легкое, чуть заметное, касание, пронзившее меня точно копием,— да, точно копием на кресте висящего! И вытекли разом вода и кровь, вода слез и кровь желаний моих! И я не богохульствую днесь, Мария! Да, я висел на кресте! Я, коего зовут за спиною Гордым, коего теперь будут, быть может, называть развратным или буйно-безудержным в страстях, я жил и плакал и казнил себя той, давнею, отцовой бедой, я помнил, помнил всегда, яко причастен к убийству есмь! Да, я отверг брата твоего и брата своего во Христе пред казнью, не пожелав принять его последних, отчаянных слов! Да, сто раз могу и хочу сказать, что отец виноватее меня во сто крат, ибо он творил, а я лишь допускал творимое... Но я допускал! Я принял! Я, как Пилат, умыл руки перед толпой! Я захотел быть чистым, стоя по колена в крови, и запах трупов преследует меня по пятам! Да, да, да! Благо земли моея! Благо народа русского! Токмо не окажет ли века спустя благо это ужасом русичей? Не придет ли иной, который станет губить души одну за другою из одного вкуса, запаха крови (и ему будут сладки и кровь, и трупный дух!)? Не придет ли иной, что моими словами о благе земли и племени покроет такие злодеяния, пред коими мой грех покажет не более голубиного, и даже вовсе не узрят греха во мне, ни воздаяния не назначат? И не он ли, не Господь ли в мудрости своей отнял у меня благо наследования крови, не дал сына от чресл моих, не дал продолжения рода крови моей? И вот еще почему, и вот еще для чего,— но не думай, не думай, Мария, что лишь для этого только, нет! Я и не мыслил об этом тогда! Попросту это во мне кажен миг, кажен час... Быть может, надеялся я, наша

с тобою кровь, слившись в любовном соитии, переможет, искупит, передолит мою роковую судьбу? Быть может, злоба наших домов прекратит и угаснет с тобою рожденными детьми? Быть может, сыновья тверянки и москвитянина, внуки отцов, искавших взаимной крови, угасят злобу сию и господень лик не отвратится от них!

...Я сам скакал к тебе с тем гонцом, сам сватал тебя с боярами; не победи Кантакузин в Царьграде, я бы не отступил все равно, ибо ты — и любовь, и спасение мое!

Скажи, что он будет, что он наследует стол и съединит братски нашу многострадальную родину, скажи, что с ним угаснут ссоры и свары князей и восстанет великий народ вновь в христианской любви к ближнему своему, и уже не резать, не теснить будет русич русича, а токмо помогать, и спасать, и беречь так, как простая черная баба в избе при дороге во всякой час пустит путника к себе, обогреет и накормит, разделив с ним последний ломоть хлеба и последний лепт; точно так, как в лесу, в поле, в путях русич не покинет русича, вытащит, вынесет на себе, трижды, четырежды обругав, но подымет с вьюжного пути, и не даст упасть, и доведет до ночлега! Точно так и мы, властители, коим должнее прочих любить и беречь ближнего своего! (Да, требовательно любить, ты прав, мой покойный родитель! Но — любить! Любить и верить брату своему, быть может — из последних сил!)

Скажи, что все будет так при нем, еще не рожденном, и я с улыбкой умру у ног твоих и буду счастлив, умирая, и ангельские хоры споют мне свою песнь, егда душа моя учнет исходить из тела!

Да, я люблю тебя, Мария! Люблю и по-прежнему молча беседую с тобой, с живой, как и с тою, с призрачной, не размыкая уст, и сердце полнит горячею болью, так, словно, отвори ему двери, и горячим потоком жертвенной крови истечет оно у ног твоих! Скажи! Вели! Что содеять мне и что совершить, дабы ты услыхала, вняла бреду моих неслышимых слов, дабы ты узрела, что весь я — жертва причастная, преображенная кровь у престола твоего! Мария! Маша! Любимая моя! Несказанная радость сердца и несказанная боль!

Симеон валится на колени, на ковер, рядом с нею, и обнимает, и гладит жадною и робкой рукой, и мнит защитить ее, земную и смертную, смертными руками

своими от незримой слепой беды, от зла, разлитого окрест, проходящего стены и затворы, от наваждения сил пустоты, лишающих радости и смысла живую жизнь созданий господних...

— Я боюсь! — шепчет Мария.— Боюсь за него и за себя! Поспешили мы, все одно не можно было спешить перед Господом!

— Воля его! — отвечает он смиренно.— Воля его! (И я стану молить Вышнего, да накажет единого меня, ежели наказание неизбежно! Пусть карающий меч архангела с выси горней поразит воина и мужа, а не дитятю сего и не матерь его, чьей вины несть пред Господом! Боже! Услышь меня! Тебя молю и к тебе прибегаю!)

ГЛАВА 90

И вот еще один мирный год вырван у времени. Тишина. Зреют хлеба. Зреют дети в животе матерей.

Семен едет шагом, опустив повода. Слушает высокого жаворонка. Думает.

Маша подурнела, стала полнеть. На лице и руках появились коричневатые пятна беременности. Он бережет ее как может, унимает свое нетерпение, унимает ее рачительную ретивость. Сколь просто зачать дитя, и сколь долог и труден этот путь созреванья и рождения плода! На сколько веков еще или тысячелетий хватит извечной бабьей жалости и терпения?

После тридцати лет кончается возраст юности. Пир жизни позади, не так слышишь ветер и заречную песнь, ночью тянет ко сну, а не в туман за околицу на зазывный голос жалейки. И уже все чаще, все настырней поглядываешь на сына: каков растет? Каков будет в труде и на ратях? Одюжит ли, не посрамит ли рода своего? Много не повезло тому, кто, как и он, за тридцать токмо еще ожидает наследника!

Облака ползут над землею. С полугоры, под которою вьется речушка, перегороженная мельничною запрудой, видно далекое поле ржи, усатое, будто тканное шелком, и шелковые волны бегут по нему от легкого пробегающего порывами ветерка. А там — груда крыш и большой, верно боярский, дом-двор, крытый дранью. А там, дальше, опять лес неровною зелено-голубою бахромой и над ним опять небо, в редких

барашковых облаках, бирюзовое вдали, лазурное ближе и темно-синее в вышине, над головой.

Звон донесся издалека. Семен остановил коня, прислушался. Замерла дружина в отдалении, за спиною князя. Неужели и сюда доносят новые московские колокола? Доносят! Вот старик, бредущий с посохом, снял шапку и перекрестился. И князь сделал то же. И вслед за князем обнажила головы, осеняя себя знамением креста, и вся дружина. Нынче подобный колокол звонит и у суздальского князя! Мастер один и звон один — колокольный звон, съединяющий землю! Теперь Алексий поставил своего епископа Суздалю. Он или я решительнее объединяем страну?

Где-то здесь, по этой дороге, и была та деревня, тот двор,— верно, вон за тем леском, за тем поворотом пути,— где его напоила молоком доброхотная баба... Князь пришпорил коня. Деревня была, но изменила свой вид, и дома он не узнал, или словно?.. Симеон соскочил с седла, не коснувшись плеча стремянного. Баба вышла из-за угла клети, похожая, да не та. Заулыбалась:

— Жили, жили, как же! До пожогу! А как сгорела деревня, и съехали! И-и! Живы! К матке еговой подались! Тудыт-то! — показала рукою.— К заричанам! А не худо живут! Да молочка-то не желашь ли холодного, с погребу, али, може, топленого? Счас вынесу! — Побежала, не слушая отказов. Показалась вновь уже с крынкою. Раскрасневшийся от волнения отрок нес глиняные кружки, и князь, почти неволею, принял из рук парня посудину и смотрел, как льется в нее розовое горячее молоко с румяно-подгорелою пенкой.

— Кто будешь-то? Боярин какой али князь?

— Князь я! — ответил, выпив и обтерев усы.— Великий князь московский, Семен!

Отрок, взглядывая на него любопытно, обносил молоком дружину, попрыгавшую с коней. Хозяйка степенно поклонилась, сложив руки на груди.

— Слыхала, баяли! Поминала тебя! Ну что ж, и до нашей избы зайди, хошь порог переступи, все память будет!

Семен, усмехнувши, подошел. Пролез, пригнувшись в дверях, в жило. И тоже было выскоблено внизу и черно вверху, и тот же чистый стол, и мед в сотах поставлен был перед ним, и так предложено отведать, что и отказать не сумел. Присел на лавку, обвел глаза-

ми полутемную избу, в которую яркими брызгами пробивал сквозь волоковые оконца слепительный здесь, в полутьме, солнечный свет.

— Баяла, баяла! Кто из жонок и нявгал на ее, мол, брешет! Передам, передам! И привет, и ласку! Как же нет! А теперя и сама погоржусь перед людями! И моему хозяину докука, в поле теперича он, дак придет, похвастаю: князя великого принимала!

Она открыла ларь, достала, низко склонясь, вынула и, развернув на руках, поднесла князю полотенце:

— Мастерица я! Дак прими! Не в стыд и тебе, княже! — И опять поклонилась в пояс, уставно, но и с достоинством.

Широко раскинувшие хвосты птицы-павы, и вправду дивной работы, явились во всей красе на развернутых концах полотна. Семен принял рушник, ощутив прохладную ласку льняной ткани, всмотрелся в узор:

— Чем и отдарить, не ведаю...

— Ето к счастью, на свадьбы дарят! Ты с молодою женой, дак потому! — пояснила баба, складывая руки на груди. Сказала так, что понял: предложи серебро в отдарок — обидит, да и не возьмет все равно.

— Как звать-то тебя?

— Марьей!

И еще понял: зайди он в другую, третью, четвертую избу — всюду напоят молоком, вынесут бадью воды для коня, всюду зазовет к себе ласковая хозяйка и его, князя, и того странника в порыжелой свите, с клюкой, и проезжего гонца. И всюду накормят и не уронят достоинства своего перед гостем, кто он ни буди... Чем заслужил? Чем заслужить, имея такой народ?

Он уже сел на коня. И поднял руку, прощаясь, и те же слова: «Заезжай, рады всегда, гость дорогой!» — услыхал, что и в прежний раз.

Дареное полотенце спрятал за пазуху, как простой кметь, хоть и надо было передать слуге. Но не хотелось, чтобы через чужие руки. Так и вез до Москвы, так и берег и уже поздним вечером, со смущенною улыбкою, передал Маше.

Она приняла, развернула, потупила взор и вдруг расплакалась, рушником вытирая слезы.

— Седни вызнала, вызывают тебя в Орду, молчал почто?! Ты уже баял с Алексием!

Долго утешал, целовал руки:

— Не хотел беспокоить до времени...

— До времени! Мне зимою родить.

— Бог милостив, Маша! А в Орду надобно ехать! За мною — земля. И не токмо Русь. Само православие сейчас может погинуть, ежели мы, земля владимирская, не найдем в себе силы защитить заветы Христа! Так говорит Алексий.

— Твой Алексий страшен. Он знает все наперед! — тихо пожаловалась она.

— Да, Маша, да! — отвечает он, целуя ее руки.— И потому подобает нам верить ему нерушимо!

— А как же я? Как же тогда?! — спрашивает она с дрожью в голосе.

— Я люблю тебя! — отвечает ей Симеон.

ГЛАВА 91

Русь и степь! И поднесь еще не написана совокупная история наша — история горечи и любви!

Прошли века, и просвещенным вельможам Российской империи в пудреных париках роскошных екатерининских времен или в мундирах «серебряного века» — дней Александровых — стали казаться некими дикими чудовищами канувшие в Лету степные кочевники, а само их государство на Волге, Золотая Орда,— жестоким порождением «варварского» Востока.

О древних культурах восточных стран плохо помнилось в ампирных кабинетах, плохо и выговаривалось на культурном французском наречии. Собственные крестьяне и те казались варварами, так что уж и говорить о степняках! Даже и в церковь православную ходить почиталось зазорным, иные тайком принимали католичество, а вездесущие иезуиты, с благословения графов российских, начали все смелее проникать в гостиные столичных городов. И как там шла реальная, не выдуманная нашими «западниками», не кабинетная история? Да полно, вспоминал ли когда просвещенный екатерининский вельможа Юсупов о своих татарских предках? Тем паче что были и кровь, и слезы, и разорения городов — все было... А об итогах, о следствиях веков протекших, о самом бытии нации думалось ли в те поры?

Но века протекли. Жестокие века, как видится нам в отдалении лет минувших (ибо жестокость, отличная от нынешней, кажет сугубою жестокостию единствен-

но по непривычности к ней современного человека). Века протекли, и возникла великая страна из той малой, окраинной части обширной Киевской державы, коея еще в двенадцатом столетии звалась «укра́иной», то есть краем земли или Залесьем, где еще только строились города и едва утверждалось в борьбе с мерянским язычеством греческое православие. Здесь остались храмы и книги, былинный эпос и писаная история, здесь сохранились святыни, перенесенные из поверженного Киева, и сочинения древних книгочеев... Именно здесь, где верховная власть почти три века принадлежала Золотой Орде!

Но что произошло с той другой, срединной и главной частью державы Киевской — с правобережьем Днепра, густо заселенными и благоденственными Галичем и Волынью? С Черной Русью и Турово-Пинским княжеством? Что произошло с территорией, где были восемь епархий, города и храмы, святыни и книги, узорочье многоценное, науки, ремесла, развитая великая литературная традиция, одни осколки которой и те ослепляют поднесь своей гордою совершенною красотой? Часть эта — сердце и центр Киевского великого государства — попала с конца четырнадцатого столетия под власть сперва Литвы, а затем Польши и с нею — под власть католического Запада. Уже в пятнадцатом столетии русские дружины начали понемногу возвращать этот край в лоно государства Российского. И что сохранилось, что осталось тут за полтора-два века католического господства от великой киевской старины? Ни храма, ни книги, ни единой летописи, ни даже памяти народной, изустной памяти о великом прошлом своем! Словно огонь выжег все и дотла. И стала колыбель страны уже теперь сама зваться украиной, окраиной, краем земли...

Вот что дала Руси католическая власть, и не было бы ни страны, ни державы, ни кабинетов гордых вельмож, ни даже пудреных париков, и не состоялась бы страна великая, обратясь в окраинное захолустье Европы, ежели бы католический Запад простер руку свою и далее, на всю землю восточных славян. Не подняться бы нам из праха порабощения уже никогда, и не больше бы осталось памяти о нас, чем о славянах поморских, в жестокой борьбе полностью уничтоженных немецкими рыцарями.

Вот о чем не думалось совсем в ампирных кабинетах

ученых «западников», но чего никак не должно забывать нам поднесь.

Несомненно, что хана Джанибека с сыном Калиты, князем Симеоном, связывало нечто большее простого политического расчета. Восемь поездок в Орду дали Симеону и Москве невероятно много. Можно сказать, что дело Калиты не погибло и Москва состоялась как столица Руси именно потому, что Джанибек, вопреки даже интересам государства-завоевателя, вопреки принципу «разделяй и властвуй», постоянно помогал московскому князю укреплять свою власть и тем готовить грядущее освобождение Руси Великой.

Надобно в этом случае говорить о дружбе и даже любви, чувствах глубоко интимных, личных, редко имеющих ощутимый вес в политических расчетах государств и государей. Не забудем, что против всякого личного мнения, личной привязанности одного человека, слишком противоречащей ходу истории, подымаются такие противоборствующие силы, противустать которым бессилен самый упрямый правитель. Тем паче ежели речь идет о действиях и поступках, продолженных в грядущие века, переданных по цепочке поколений и странным образом не угасших и там, в этой череде отдаленных веков. Вельможи и беки Джанибека, как и бояре князя Семена, не позволили бы ни тому ни другому слишком любить векового врага, ежели бы личная привязанность двух людей в этом случае не опиралась на подоснову давних исторических связей, о которых, с высоты и отдаления протекших столетий, не должен забывать ни историк, ни романист, ни даже политический деятель.

Прапредки славян — арьи иранской ветви арийских племен, той самой, к которой принадлежали знаменитые скифы, создавшие в начале первого тысячелетия до новой эры в причерноморских степях великую кочевническую державу. В русской культуре столько явных следов скифского влияния (даже имена солнечных и огненных божеств Хорса и Сварога пришли оттуда), что мысль о давних связях праславян со скифами напрашивается сама собой. (Скифы были светловолосы и голубоглазы, видом очень схожи с русичами). Про те далекие века трудно сказать что-либо определенное.

Исторические свидетельства внятно говорят о славянах только с рубежа новой эры. Именно тут, в

I—II веках, начала создаваться, возникать новая славянская нация, позднейшая Киевская или Днепровская Русь. Эти новые славяне ощутимо умели ладить со степняками. Росомоны (народ русов) спорили с гетами Германариха, но когда явились гунны, славяне стали их союзниками, геты — врагами.

Тацит писал, что восточные германцы (под именем этим он разумел славян) постоянно вступают в межэтнические браки с сарматами — кочевниками, сменившими скифов в причерноморских степях.

Позднее были жестокие войны с обрами, хазарами, печенегами, были и одоления и поражения, и платежи даней «по беле от дыма» — все было в киевские времена! Но и дружили, и соседили, осаживали на своих границах многочисленные племена торков, черных клобуков, берендеев, и те, с течением времени, становились русью. Шла торговля, меняли соль и скот на хлеб, ткани и железо, и уже причерноморская степь начинала говорить на русском языке — так было удобнее в купеческом торговом обиходе.

Явились половцы и после первых жестоких набегов включились и сами в тот же, веками налаженный оборот торговли, союзов и брачных отношений. Русские князья охотно брали в жены дочерей степных ханов — «красных девок половецких», а половцы принимали крещение и ходили в походы уже в союзе с русичами. (Да и на Калку русские вышли защищать половцев от татар, не забудем того!) Так и шло, с явным перевесом в русскую сторону, пока не явились монголы.

Киевская Русь к XIII столетию достигла своего конца. Закат великой державы был пышен и красив. Неслыханная роскошь знати, рост городов и ремесел, тонкость культуры, потрясающее ювелирное дело, литература, способная производить шедевры, подобные «Слову о полку Игореве»... Но уже в могиле был последний сильный киевский князь Владимир Мономах; уж не было ни сил, ни желания сговориться, объединить страну; уже шло то, страшное, называемое на ученом языке обскурацией, когда свои стали чужие, а чужие — свои. Ростовщичество съедало целые города, бояре требовали новых и новых даней, ставили угодных им слабых князей, а те постоянно ссорились друг с другом. И в мелких спорах, в грызне, в бурлении страстей, где уже веяло новым, уже проклевыва-

лись ростки будущих новых наций,— хотя пока и невидно, и незаметно для спесивой верхушки великой страны,— во всем этом пестром и разноликом кишении не узрели, не поняли, не постигли грозной опасности, внезапно нависшей над Русью. Нации стареют, как и люди. Приди монголы раньше или позже на полтора-два столетия — и страна устояла бы на своих древних рубежах.

На Калке русских с половцами было восемьдесят тысяч, монголов — двадцать. Чем объяснить полный и позорный разгром русского войска? Бездарностью? Трусостью? Увы, были и мужество, и талант. Не было согласия русичей. Один князь на бою не помогал другому, спокойно взирали на разгром соседа — и погибли все. И грозный урок, грозное предупреждение это пропало втуне.

С Батыем Владимирская Русь дралась отчаянно плохо. Рязанские князья не поладили с пронскими, не знали, выступать или нет. (Героическая повесть о Евпатии Коловрате возникла почти столетие спустя, когда уже росли силы для новой борьбы.) Вывели рать в поле, оставив Рязань без защиты и не получив помощи от владимирского великого князя Юрия... А этот трусливый и ничтожный правитель не только Рязани не помог, но и сам бежал, бросив семью во Владимире на произвол судьбы и оставив стольный город без всякой защиты, почему он и был взят в один день.

Поволжские грады сдавались без бою, и ни во что пришли мужество и героическая смерть ростовского князя Василька, город которого сдался Батыю и был пощажен победителем. На Сити не было жестокого сражения, было, увы, избиение беглецов...

Мужественно оборонялись только два города: Торжок, отчаянная десятидневная оборона которого спасла Новгород, и Козельск, под которым монголы простояли полтора месяца. Козельск был укреплен не хуже и не лучше других средних городков тогдашней Руси, и уж несравненно хуже Владимира или Рязани. Нетрудно представить, что было бы, ежели каждый город дрался хоть в половину того, как Козельск! Монголам едва ли удалось бы продвинуться дальше Переяславля.

Зло коренилось не только и не столько в жестокости завоевателей, зло, как червоточина в яблоке, коренилось в самой Руси. А с Батыем, оказавшимся

на Волге почти без войск после возвращения в Монголию приданных ему туменов, вполне удалось поладить, что и сделал Александр Невский, понявший в ту пору, что агрессия Запада куда страшнее для судеб страны, чем Орда, а для того чтобы вновь обрести независимость, надо прежде дождаться появления новых сил, желающих бороться с врагом, а не друг с другом, и объединить страну.

И опять спросим: почему Александру удалось это? Почему поладили? Сами стали собирать дань, тихо-тихо теснить татар, сколачивать воедино уделы и княжества... Непросто было! Зело непросто! Тем паче когда на Волге взяли перевес бесермены. И все же, почему удалось? Почему даже и после принятия мусульманства Ордою московские князья по-прежнему использовали власть золотоордынских ханов в своих интересах и в интересах собирания страны?

Тысячелетний опыт сживания со степью стоял за плечами русичей. Потому монголы-несториане и бежали на Русь. Потому распрямившаяся после Куликова поля Россия и шагнула сразу в Сибирь, подчиняя себе бывшие земли улуса Джучиева, и не остановилась, пока не дошла до иного «последнего моря» — до берегов Тихого океана и крайней оконечности Азии... И не просто дошла, а стала обживать и осваивать Сибирь, мешаясь с местными «инородцами». Что толкало? Что двигало? Что помогало обихаживать и заселять? Опыт, опыт тысячелетнего сживания с Востоком. Иначе, ежели бы одна нажива,— ушли. Ограбили и ушли! Но остались. Пахали. Женились на бурятках. Рубили города...

Этого еще нет, пока нет, и будет очень не скоро! Еще едет московский князь Симеон на Волгу, в чужой и далекий город Сарай, к хану Золотой Орды. Едет, гадая вновь и опять: как встретит его Джанибек?

ГЛАВА 92

Семен тянул сколько мог, дождался осени, уверился, что ни от Литвы, теснимой Орденом, ни от иных сторон не сожидается ныне никакой тайной пакости. Урядил землю. Отдал наказы боярам. Ивана оставил в Москве, Андрея (о его правах на Галич шел спор) взял с собой.

Осень уже щедро обрызгала золотом березовые рощи. Заголубели, заяснели дали. Солнце, еще горячее, но уже без душной летней жары, широко и далеко раздвинув окоемы, освещало осеннюю, приготовившуюся родить землю.

Он обнял жену, тяжелую, орыхлевшую,— и ей родить, и ей принести плод! Сел на коня. Спускались берегом Москвы до Коломны, и Семен не пожелал ехать в возке: тряско, да и воздух осени был на диво свеж и терпок и пахуч, и хотелось надышаться им про запас, на память, на весь долгий срок ордынской гостьбы.

Андрей резвился, горячил коня, скакал наперегонки с кметями. Семен глядел на брата остраненно, издали. Рубеж возраста, уже почувствованный им, отдалял его от юношей братьев больше, чем нужное великому князю почтение окружающих.

И был ветер родины. Ласковый, родной. И будет там, за Доном, сухой, обжигающий, степной. И будет ледяной зимний ветер в Сарае над простуженной Волгой, над вонючим разноязычьем гигантского города-торга, города-химеры, где в грязи и навозе — дворцы и у дворцов — нищие с отрезанными носами, без рук, колченогие; жирный плов, дымящаяся баранина на вертеле и битвы собак с уличными попрошайками из-за брошенной в пыль обглоданной кости. Там не позовут к столу, не обогреют странника, как в степи, в татарском кочевье, или в русской деревне, в любой избе, где от сердца подадут прохожему и ломоть хлеба и мису горячих щей. Что же так жесточит и уродует человека?

Мог ли хотя Андрей убить меня в борьбе за престол? Верно, нет. А Джанибек зарезал братьев своих и — прав. И все в Сарае считают: раз победил — прав! И это страшно. Это страшно всегда. Ибо как ни гадок, ни подл, ни пакостен человек, хочет он, хочет, чтобы хотя не у него, у другого были бы и стыд и совесть в душе. Иначе нельзя, иначе не на кого положиться, некому доверить свою жизнь, имущество, даже сон — зарежут и убьют ночью! Должна быть вера, вера, а не холодный расчет. И должна быть совесть у людей — не польза, нет, не благо, а совесть: что вот этого нельзя, вовсе нельзя. Никогда нельзя. И ни с кем. Иначе люди не смогут и не могут ни жить, ни созидать, ни оставлять детям, а значит, и

водить детей не замогут! Не замогут и верить в грядущее, а без этой веры человека нету совсем. Исчезнет он, истребится, изгинет до последнего кореня. Ибо не зверь, а человек, и не может жить звериным побытом. Ибо искушен, отравлен тайною знания, тайною добра и зла.

Господи! Не отврати лица твоего от меня, грешного, не дай мне исшаять в словах, ничего не свершив и следа не оставив после себя! Дай мне и там, в Орде, и пред ханом чужим боронить и пасти землю русскую! Ибо ее нужно, надобно ныне спасать, иначе погибнет она, хотя имеет силы и крепость духовную в себе и токмо одного, того, в чем упорен я, не хочет принять — единства власти! Или хочет, но не того, что ей предлагаю я и что в веках обернет тяжкими ковами, подобно произволу кесарей византийских? Не ведаю! Алексий, хозяин души и воли моей, ответь ты на этот вопрос! Мое же дело — земля и одержание власти!

Над далекой стайкою желто-зеленых березок небо было таким омыто-чистым и ясным, что Симеон, глядючи, даже прослезил, удивленно почуяв нежданную влагу в ресницах...

Кони шли доброю рысью, переходя в скок. Остановились только в Бяконтовом селе, далеко назади оставив обозы. Посажались на свежих коней. И снова дорожная пыль, и ветер, и тревога далекого пути...

А сам он ка̌ков к Джанибеку? Добр ли, хоро́ш, любит ли, ненавидит хана, хитрит ли, как хитрил отец с Узбеком всю жизнь?

И что ему, князю русичей, толпа арабских ученых, поэтов и суфиев у ханского трона? Что ему славословия, пусть и справедливые, расточаемые бесерменами своему господину? Да, пока хан миловал его. Помогал. Хотя и не позволил удержать Нижний Новгород. Или не смог позволить?

Скорей, скорей скачи, конь! Мимо Руси, мимо деревень и городов моего княжества, туда, в далекую степь! Ведаешь ли ты, конь, какой там простор? Ведаешь ли, что там, в мареве, мнятся горы Кавказские, что в степной пыли встают виденья далекого прошлого, что костяки монгольских коней оживают там по ночам и тихо ржут, подзывая умерших ханов? Что ветер, жестокий ветер, веет там из самых глубин Азии, из степей мунгальских, неведомых, непредставимых уже,— знаешь ли ты это, мой конь?! Скачи! За этою

устроенною землею пойдет дикая степь, земля незнаема, дорога народов, где пылью заносит скелеты погибших, никем не схороненных русичей, где ворон, да коршун, да степной хохлатый орел одни и царят в вышине, высматривая добычу, да травы по грудь коню, да пески... Что я забыл, потерял ли, что я жажду понять в той дикой, чужой стороне?

ГЛАВА 93

...Сарай был нынче тих и безлюден. Еще не затянуло прокатившей над ним черной беды, еще многие домы стояли полуразвалившими, утерявшими владельцев своих. Но по-прежнему шумел торг, ревели верблюды, теснились отары овец, кричали купцы и конные татары в дорогих халатах лениво проезжали, расталкивая разноплеменную толпу торгашей, зорко следя, нет ли где татьбы и разбоя.

На великокняжеском подворье от старой обслуги в живых остались лишь два-три знакомых лица, прочие были новые, но истопленная баня ждала князя, как и прежде, и стол был накрыт к приему почетных гостей, и батюшка встретил князя с крестом и в облачении, благословил, пристойно прочел молитву.

Уже смывши с себя многодневную дорожную пыль, распаренный, тихий, в белье и вязаных узорных носках князь прошел к налою, прошептал «Отче наш» перед образом, истово перекрестил чело. Лег, притушив свечи, закрыл глаза — и побежала, раскручиваясь, дорога, березовые колки, курганы, пыльные ордынские города... Бежала, бежала дорога, а князь спал и думал, гадая во сне: как-то и с чем встретит его Джанибек?

В ближайшие дни началась беготня, объезды вельмож. Подступил и прошел день торжественного приема. Опять парча и шелка, опять оглушительная музыка, чаши с вином и кумысом, разглядыванье золотого трона. К себе Джанибек созвал далеко не сразу. Ехать пришлось далеко, за город, и еще за день пути от Сарая, в степь. Уже дули холодные ветра, но хан собирался на охоту и созывал князя Семена с собой. Приглашение тут равнялось приказу.

....

Сидели в простой белой юрте, на плотной, но тоже простой узорной кошме. Угощение было подано на кожаных плоских четвероугольных тарелях. Входили и

выходили рабы и рабыни. Толмачи смирно сидели по углам ковра.

— Здрастуй! — сказал хан по-русски.— Соскучал по тебе!

Пили вино. Мусульманам ханефийского толку пить разрешено, но Джанибек пил много, излиха много, хотя, быть может, почти непьющему Симеону только казалось так.

— Урядил брата Ивана, теперь хочешь Андрея тоже в место свое? Ежели Иван умрет? — протянул, сощурил глаза. «Умрет», даже и по-татарски сказанное, прозвучало странно, с темным нехорошим намеком. Но Семен не поспел возразить, хан засмеялся опять: — Я знаю, у вас не убивают братьев! Не всегда убивают! — прибавил опять двусмысленное, и вновь улыбка, хорошая улыбка; из-под длинных ресниц смотрят на князя прежние, почти прежние застенчивые глаза.

Хлопнул в ладоши. Вышла девушка в браслетах, в серебре, в прозрачном муслине видная вся донага. Подрагивая бубном, начала танцевать. Семен то прятал, то неволею подымал глаза. Было непривычно и стыдно. Он со смятением подумал, что́ ему возразить, ежели после пляски хан вот так возьмет и предложит ему эту девушку. Глаза у красавицы были грустные, а тело словно бы без костей, и в танце была своя зазывная, змеиная прелесть. Кончив, она склонилась, сложилась вся, поникнув до земли, ладони прижав ко лбу, и так замерла.

— Ну, иди! — разрешил Джанибек, словно освобождая от наказания, и когда плясунья поднялась, бросил короткое: — На! — Девушка схватила почти на лету жирный кусок баранины, стрельнула глазами с детским любопытством в сторону урусутского князя, исчезла.

— Таких у тебя нету! — довольно выговорил Джанибек.— Привезли!.. Слыхал,— начал он вновь погодя,— женился ты? Третий раз? И святой поп разрешил? Вторая плохая была? Говорил я тебе: мало одной жены! — И вновь, не давая Семену ответить, рассмеялся довольно, откидываясь на узорные подушки. Сузил глаза, погасил улыбку.— Уезжать будешь, подарок отвезешь жене. От Тайдулы! — сказал и вновь хлопнул в ладоши: — Пляской думал тебя развеселить, теперь развеселю музыкой!

Семен думал узреть вновь полуобнаженных красавиц, но вошел пожилой зурначи, за ним еще какие-то с домрой, с бубнами, еще с чем-то вроде сопелей. Молодой остролицый певец уселся с краю ковра.

«Завоет сейчас!» — подумал Семен и почти не ошибся. Певец запел, заведя глаза под веки и раздувая горло. В музыке было все: и вправду вой, и тонкие переливы ветра в сухих травах степи, и жалоба, и тягучий, бесконечный, как караванный путь, зов, и томительный танец прежней красавицы, и глухая дробь, точно тысячный топот далеких копыт...

Семен даже слегка позабыл, где он и с кем сидит, прикрыл глаза, слушал; не понимая — понимал. Это было свое, степное, местное — нет, уже и не только степное! Здесь была и прихотливая вязь древних городов Азии, некий сплав, про который нельзя было сказать, хорошо или плохо, но слушая который, прикрывши глаза рукою, можно было одно понять: это Азия! Это степь. Это путь верблюда и ход коня. Это кирпичные, покрытые глазурью дворцы, восстающие в мареве пустыни...

На прощанье Джанибек поднял остро отрезвевший взор:

— Угодил тебе тем, что дал тверской стол Всеволоду? Не угодил? Будешь теперь прогонять?

— Не буду,— отмотнул головою Семен. Пояснил глухо: — Пущай сами ся разбирают!

Хан чуть насмешливо склонил голову, промолчал. Глаза у него снова осоловели от выпитого, в них появился недобрый тупой блеск. Семен приготовился услышать упрек в том, что мало пьет (хотя в голове и у него шумело). Но Джанибек, молча покивав чему-то своему, поднял на него тяжелый взгляд. Вымолвил глухо:

— Юрта готова для тебя, князь! Ступай! Горские князья, приходя от меня, пьют и поют веселые песни, ты же, я знаю, будешь молить своего Ису и спать. Не позабудь! Завтра едем с тобой на охоту!

Ветер с мелким сухим и колючим, точно песок, снегом больно хлестнул лицо. Семен круче надвинул шапку на лоб, сощурил глаза. Здесь, в степи, нетрудно было понять, почему ворот у монгольской рубахи

съехал на сторону. Грудь секло ветром, и никакая самая плотная застежка не спасла бы горло от ледяных кинжалов вот так, на скаку. В снежном дыму над клубящейся седою травой промелькнуло размытою тенью стадо джейранов. Звери будто летели над травой, несомые бурей, закинув рогатые головы и не касаясь земли. Семен помчал наперерез, пригнувшись к луке седла и зная, почти с отчаянием, что опоздает опять. Вот джейраны, точно сломавшись в беге, замерли в воздухе, круто сменив путь, и начали исчезать, уходя в снежную заверть пурги. Конь храпел и хрипел, билась под ногами земля, мокрые струи текли по горячему, иссеченному ветром лицу. Пришлось умерить конский бег, остановить, оглянуть кругом.

Выбираясь из снежной каши, с увала скатился всадник в мохнатой лисьей шапке, подскакал, показывая в улыбке оскал зубов. Семен удивленно узнал Джанибека. Хан был один, нукеры отстали, растерялись в нежданно налетевшей метели. Здесь, в западинке, было тихо. Конь стоял, поводя боками, шумно дыша. Джанибек подъехал шагом, не слезая с коня, потянулся к Семену, обнял и стиснул за плечи.

— Как тогда! — сказал по-татарски, но Семен понял, кивнул.— Не убьешь меня, князь?

Это тоже понял Семен, отмолвил:

— Зачем?

— А если бы от моей жизни зависела свобода народа твоего, убил бы?

Семен сдвинул брови, стараясь понять. Джанибек повторил опять, мешая татарские слова с русскими. Семен понял, потряс головой:

— Нет!

— Почему? Бог Иса не велит?

Как ответить, не зная языка или почти не зная? От одного не многое зависит, решает земля, народ. Ежели народ не готов, он не примет воли, она ему не нужна, отдаст ее другому, худшему, вот и все! А когда народ весь захочет, поймет, возжаждет, его не остановить и тысячам. Это как рухнувшая плотина. И опять не нужно будет кого-нибудь одного убивать! Семен кричал в ухо Джанибеку русские и татарские слова, показывал руками и пальцами, вспотев от усилий. Хан, кажется, понял.

— Но коназ Дмитрий убил твоего дядю, коназа

Юрия! — сказал он, и по именам князей Семен понял фразу.

— Ничего не изменилось на Руси! — прокричал он в ухо Джанибеку.— Ничего!

Густыми хлопьями пошел снег. В снежном, уравнявшем небо с землею мороке, гортанно крича, к ним пробивались, торопясь с разных сторон, отставшие ханские нукеры.

— Ты никого не хочешь убивать? — спросил Джанибек. И Семен опять понял и потряс головой.

— Никого!

Нукеры уже были близко.

— Прости, коназ! — сказал Джанибек, кладя руку ему на запястье.— И я тоже не хочу войн! Но так, как ты, говорят немногие. Завтра вечером опять приходи ко мне!

Нукеры с виноватыми лицами уже подъезжали к хану.

Вечером, вытирая жирные пальцы и по-прежнему чуть надменно глядя на русского князя, Джанибек вернулся к разговору, начатому в степи. С князем Семеном был свой переводчик, Шубачеев, и беседа шла стройно, не спотыкаясь преградою разноязычья.

Семен вновь и толково пояснил свою мысль, что ежели народ, земля не готовы к чему-то, никакая смена властителя не изменит сущего.

— Землю не подымешь за волосы, как не велишь родить до срока. Можно лишь надорваться в тщетных усилиях...— Семен, не договаривая, взглянул в глаза новому повелителю Сарая, жарко почуяв, что разговор коснулся запретной для обоих черты.

Джанибек, насупясь, покивал головою. Понял. Видимо, применил и к себе. Семен с уважением к хану подумал о том, что тот храбр истинно: храбр трудной способностью обличить самого себя.

Джанибек поглядел внимательно на Семена, вновь невесело усмехнулся, и пошли «почему»:

— Почему князь Иван Коротопол убил пронского князя? Почему Юрий требовал убить Михаила? Почему урусутские князья тоже часто убивали друг друга? Почему, почему, почему?..

— Да, несдержанность, нетерпение, жестокость, вера в свою правоту, месть — все было. Я же говорю

не о том, что, к прискорбию, было, а о том, что должно быть!

— Но и ты сам, князь!

— И я. И надо мной грех. Я баял тебе об этом!

— Как и надо мной?

— Не ведаю, хан. Не скажу. У тебя своя вера. Правишь ты хорошо, при тебе подданные перестали страшить всякий час за свою жизнь.

— Быть может, это игра и я только жду часа?

— Нет, Джанибек, нет. Иначе бы ты так не беседовал со мной, не привечал гостей, не следил законы.

— У тебя, коназ, будут теперь сыновья! Новая жена родит тебе сына! Непременно родит! Ты слишком... тонок, коназ (хан явно не нашел слова), ты как святой, нельзя так! Врагов надобно убивать, так велит закон!

— Ваш закон,— поправил Семен, глядя в глаза хану.— Наш закон велит, елико возможно, миловать и прощать, ибо допускает раскаянье преступившего и спасенье покаявшегося!

— Елико возможно? Вот ты и споткнулся, коназ! Когда и для кого возможно? — Джанибек смотрит на него, молодо раздувая ноздри.— Ты мыслишь, как дервиш!

Он подносит чашу ко рту, задерживает ее, спрашивает:

— И ты не пошлешь ратных, ежели подступит враг?

— Пошлю.

— Но сам не пойдешь воевать?

— Пойду, ежели прикажет нужда. Я князь, мое дело карать и боронить землю! Правитель не может быть святым.

— Темен ваш закон! — вздохнув, отвечает Джанибек.

— Да, его трудно постичь так... сразу.

— Объясни еще раз,— спрашивает Джанибек,— почему коназ Дмитрий все же убил коназа Юрия? Он не поверил в его раскаянье? Или совершил грех?

— Царство небесное казненному Дмитрию! Но не убил он моего дядю, а казнил за донос, как каждый из нас, встретив Иуду Искариотского, ни на минуту не задумавшись, казнил бы его! И поверь мне, хан, ни разу за время ожидания казни совесть не укорила князя Дмитрия Грозные Очи. Он знал, что вершил

суд, а не преступление. Я тоже обязан вершить суд и карать по совести моей. Каков мир, окружающий нас, видим мы оба... Надо драться, когда подступает враг, и надо казнить... Но без ненависти! Так, как на наших иконах изображают Георгия, победителя змея. Он убивает змея, но не радует тому, а как бы исполняет долг, очищая мир от зла!

— Наш закон тоже не прост! — чуть обиженно возражает хан.— Пей! Что не пьешь? Не хочешь? Тогда ешь! Бери хурму! Вот виноград, дыня, урюк, инжир! У тебя этого нет, все бери!

Стройный юноша, скорее молодой муж, с лицом, опушенным легкою бородкой, без спросу вошел в юрту, скорым шагом подошел к хану, наклонился, спросил о чем-то вполголоса. Оценивающим рысьим взглядом окинул урусутского гостя, вышел. Хан проводил его чуть насмешливым нежным взглядом своих удлиненных глаз. Сказал с невольною гордостью:

— Сын! Бердибек! Любит охоту, вино и женщин! Молодой конь без узды! Хорош?

Семен кивнул головой. Что-то в этом и вправду красивом царевиче остро не понравилось ему. Но о чужих детях не спорят с их родителями. Самый умный не поймет порицающего, затаит обиду, а то и месть. Дети, тем паче сыновья,— надежда отцов. В сыне оставить себя — вот чего хочет любой.

— И ты не убьешь меня, ежели подойдет так, что это надобно станет для блага твоей земли?

— Я никого не хочу убивать, хан. Я уже отвечал тебе. Достаточно было убийств. Постараюсь держать землю свою без крови. Елико возмогу. Пока могу. Не спрашивай боле, хан! Что еще способен я ответить тебе?

— Ты отвечаешь правду. Это смешно. И необычно. Так не отвечают князья. Ты не говоришь: «солнце вселенной», «светоч мира», «великий из величайших» — ты этого мне не говоришь! И ты несчастен, коназ. Я вижу твои глаза! Я не хочу тебя отпускать, живи у меня!

— Мой улус погибнет, ежели я останусь здесь. Его захватит Ольгерд, или немецкие рыцари, или свеи, или польский король. Иные князья восстанут сами на ся. Наконец, там у меня жена, дом, мой народ. Мне надобно быть с ними, Джанибек!

— Знаю, верю! И все же немного погости. Мы вер-

немся в Сарай. Мне станет холодно без тебя. А беседа с другом греет, как самый жаркий костер! Погости у меня, послушай слагающих стихи! Их много нынче в Сарае! Приезжают сюда из Ирана, из Хорезма и Хорасана. Приходи ко мне в Сарае, коназ, послушаешь их!

В самом конце вечера, уже отпуская Семена, Джанибек вздохнул и, отводя глаза в сторону, признался:

— Ты прав, коназ! Закон Темучжина умер. Это был хороший закон, степной закон. По нему всякое зло каралось смертью. Новый Мухаммедов закон еще не окреп. Потому в Орде много таких, кому нужен страх. Иначе они не поймут, и ежели ты не зарежешь их, зарежут тебя. Но я не лью крови. Ты это видишь, коназ! Я больше не лью крови — такова моя воля и власть! Будь же мне другом, коназ, и я буду другом тебе! Серебром не делают друзей, подарками не делают. Друга делает верность в беде. Ты этому веришь, коназ? — Он в упор, ищуще и пристально, поглядел в очи Семену.

— Да! — ответил Семен, не отводя глаз. И повторил: — Да!

В самом конце декабря в завьюженную степь дошла весть, что Мария родила сына, в крещении названного Данилою. Мария разрешилась от бремени пятнадцатого. Семен на радостях обнял и расцеловал посла, за десять дней домчавшего от Москвы до Сарая, велел наградить золотою деньгой. Кажется, Джанибек и вправду наколдовал ему счастье.

Над Волгою мела ледяная метель. Проезжая по улицам Сарая, Семен щурил глаза, залепляемые снегом и ветром, и прятал обмерзающее лицо в воротник. Но в ханском дворце было тепло. Верно, научились топить: Узбека так примораживало по зимам!

В невеликом покое собрались бородатые мужи. Джанибек сидел на низком троне, загадочно улыбаясь. Ему кланялись, поднося руки ко лбу и груди. Семен, привыкший к иной обстановке, растерялся, отдал русский поясной поклон. Потом, с запозданием, приложил ладонь ко лбу. Хан поманил его пальцем, указал место рядом с собой, чуть ниже золотого трона. Зна́ком,

молчаливо, велел подвинуть гостю блюдо с вялеными плодами из южных земель.

Звучали кеманча и саз, раздавалась вперемежку арабская, персидская и татарская речь. Красивый, точно девушка, юноша монотонно пел, медленно перебирая струны. Другой, раздувая щеки, выводил тонкую жалобу флейты. Но вот бородатые мужи начали наклонять головы друг ко другу, переговаривая, передавая какой-то свиток; ветром прошелестело незнакомое имя, сказанное с восточным придыханием: «Саади!»

Джанибек взглянул на Семена, Семен передал ханский взгляд Федору Шубачееву, тот покивал согласно, приготовясь переводить...

Юноша вновь запел высоким девичьим голосом глядя в развернутый свиток и мерно перебирая струны. Семен скоро понял, что переводить стихи бессмысленно. Слушать надобно было только одного певца и знать, что это о Боге или о любви, о бровях красавицы, подобных изогнутому луку, розах в саду и любовной тоске — о том, что было и у него с Марией, когда он разговаривал с ее тенью и творил моления на дорогах... А как и чем выразить? На Руси тоску любви изливают в протяжной песне, только поют хором, все в лад, поют, как бы поверяя друг другу то тайное, что иным, грубым, словом и не высказать невзначай! А потом пляшут, и катаются взапуски на тройках, и ходят в личинах из дому в дом, и водят хороводы по вёснам... А сейчас, в зимние ночи, девки собирают беседы, и боярышни и княгини так же, как и простые жонки, только что созывать на беседу какого слугу пошлют! И прядут или вышивают шелками и золотом. И тоже поют, и встречают молодцев, и опять песни, а то какой-нибудь сын боярский, не жалеючи тимовых красных сапогов, пройдет стремительным плясом, разметав крыльями откинутые рукава ферязи, выделывая ногами такое, что только ахают боярышни, глядя на ладного плясуна... Отпусти меня в Русь, Джанибек, там веселее мне, щедрее и ближе к сердцу!

Справили невеселое — вдали от своих — Рождество. На Святках Семен, выйдя на крыльцо, узрел робких ряженых, скорее в отрепьях, чем в личинах,— верно из русского конца, приволокшихся в чаяньи какой подачки на княжеское подворье. Велел зазвать в хоромы. Ряженые, разрезвясь и осмелев, прыгали,

пищали козлиными и птичьими голосами, водили «медведя»... На душе оттаивало от немудреной и родной потехи. Сам подносил кудесам вино и мед, одаривал пирогами, велел накормить на поварне и дать снеди с собой. Все это были, по большей части, зависимые люди, полурабы, когда-то угнанные сюда, лишенные родины. И чем еще мог он им помочь?

А там, на Руси, сейчас колокольные звоны и крестные ходы, духовенство в золоте риз, и свечи, и ковровые тройки в бубенцах, и маленький, непредставимый еще, но уже живой, уже явившийся на этот свет Данилка. По деду названный. Сын!

Ветер нес ледяную пыль, ветер пахнул волжскою сырью и безмерной далекостью степей. Ветер тянул и звал в неведомое, а сердце устало, сердце позывало домой, на родину, в Русь.

Наступил наконец час прощания. Хан созвал его к себе вместе с Андреем. Крупный Андрей ежился, не знал, как сидеть на ковре, беспокойно поглядывал на старшего брата. Семен, держа плоскую чашу перед собою на пальцах, неотрывно глядел в глаза Джанибека. В глазах повелителя Орды стояла скрытая усмешкою грусть. Все грамоты были уже изготовлены, подтверждены старые ярлыки, Андрей укреплен в своих правах на Галич. Великий князь владимирский возвращался с пожалованьем и честью.

На серебряном блюде вынесли подарок Тайдулы: женские украшения, отделанные бирюзой, рубинами и индийским прозрачным камнем. Сама царица тоже показалась на миг, не присаживаясь; поглядела, приняла поклоны урусутов, исчезла. «Сколько же жен у тебя, Джанибек? — подумал ехидно Семен.— Одна Тайдула, остальные только наложницы!» Но скрыл невольную улыбку, утупил очи. Не дай бог обидеть хозяина в его дому!

— Вот, и от меня возьми! — протянул ему Джанибек ордынскую легкую саблю чудесной работы, с вязью надписи по клинку, рукоятью в золоте, с драгим камнем в навершии. Травленый рисунок кавказского булата бросился в очи. Сабля, вброшенная в узорчатые, отделанные бирюзою и серебром ножны, легла ему на руки. Слуги вынесли парчовый ордынский

халат, мисюрку хорезмийской работы. Оседланный тоурменский конь ждал князя Семена у выхода.

— Прощай! — сказал по-урусутски Джанибек.

— Прощай! — отмолвил ему Семен на татарском, почти уже выученном им в Орде наречии.

На улице ослепило солнце, оглушил ветер, в холод которого уже призывно вплеталась весна.

ГЛАВА 94

Весна шла вместе с ним, продвигаясь на север с солнцем, с леденящим ветром, с первым таяньем рыхло оседающих сугробов. И уже по птичьему граю, по дерзкой молодой синеве небес, по напряженно зеленой коре осин и красноте тальника, готового лопнуть почками, по тому, как тяжело, крупными влажными комьями взлетает из-под копыт истолоченный снег, чуялось — весна! И в сердце была весна — нетерпеливая радость и щедрая юная нежность ко всему окрест.

Семен нарочно взял путь через Лопасню, минуя коломенскую дорогу. Хотел подъехать с Замоскворечья и — прежде дома — преклонить колени пред гробом дедушки Данилы. Пусть святой опекает и бережет новорожденного правнука своего!

Семен оставил назади обозы, только ларец с подарком везет с собой; и все как прежде: и ширь заречных лугов, по белизне уже тронутых кое-где сизыми пятнами талой воды, и далекий Кремник, и вон там первые торопливые глядельщики на дороге (он почти обогнал княжого гонца). Мельтешат серые, красные и желтые нагольные овчинные зипуны простонародья, а среди них пятнами голубого, рудо-желтого, зеленого и медового цветов крытые сукном шубы и шубейки, вотолы, охабни и ферязи посадского люда и торговых гостей. И уже первый далекий хрустальный звон, продрожав в весеннем воздухе, долетел, отозвался в сердце высокою радостной болью — колокол родины!

В Даниловом засуетились иноки, выбежали во двор. Кто-то пытался подставить плечо князю. Семен сам свалился с седла, прошел, разминая ноги. Могилу дедушки указали ему с некоторым трудом. Князь опустился на колени. Кмети, осерьезнев, поснимали шапки, монахи, выстроясь, запели канон. Получилось торжественно, не так, как хотелось Семену, и все-таки

хорошо. Он трижды поклонился могиле, поцеловал крест, поднялся с колен. По-за крестами, по-за огорожей густела толпа. Поняли, замерли, не подступая ближе.

Семен вдел ногу в стремя, поднялся в седло. Часто и стройно били колокола на Москве, гомонили, улыбаясь, заглядывая в лицо, румяные москвичи. Он шагом доехал до Кремника, поднялся в гору, к воротам.

Мария встречала в сенях, замотанная по-бабьи в пуховый плат, похорошевшая, помолодевшая. Подала хлеб-соль и после — теплый шевелящийся сверток, откуда тоненько урчало: «У-а! У-а!» И Семен стоял с хлебом в руках, радостный, и глядел, не зная, куда положить хлеб, несколько мгновений, пока подоспела сенная боярыня, освободив руки князя. Тогда бережно принял сына, прижал к себе. Даже не поглядел сразу; держал, ощущая сквозь все пелены тепло детского крохотного тельца. А маленький Данилка вертел головкою, тянул, раскрывая, ротик с большой верхней губой, верно, просил материнскую грудь и не понимал, где она и почему ему не дают есть. А когда Семен поднес его ближе к лицу, начал забавно чмокать...

— Я тебе подарок привез,— негромко вымолвил он,— от ханши!

Мария подошла ближе, принимая малыша на руки, и на мгновение молча прижалась к нему плечом.

Сразу по приезде навалились дела. Кроме многоразличных домашних — проверить, как сдали рождественский корм, подписать грамоты купцам, разрешить четыре возникших в его отсутствие местнических спора и прочая, и прочая,— восстали дела зарубежные. Ольгерд, похоже, затеивал языческий «крестовый поход» против православной веры.

После Иоанна с Антонием последовала третья жертва. Боярин Круглец, в крещении нареченный Евстафием, любимец Ольгерда, красавец и храбрец, отказался прилюдно на пиру есть мясо в рождественский пост. Ольгерд вскипел, юношу избивали железными палками, вывели на мороз, раздев донага, лили в уста ледяную воду. Круглец-Евстафий, как передавали, не издал даже стона. Ему раздробили кости ног, сорвали с головы волосы вместе с кожей, отрезали уши и нос. Все пытки юноша перенес с мужеством древних христиан. По приказу Ольгерда Круглеца повесили тринадцатого декабря на том же дубе, где ранее при-

няли мученическую кончину Иоанн и Антоний. Тело висело три дня, не тронутое стервятниками...

Подвиг юноши, кажется, сломил волю Ольгерда. Не были закрыты церкви, священник Нестор, крестивший Круглеца, остался жив. А в Константинополь, стараниями Алексия с Феогностом, уже пошло представление о канонизации новых страдальцев за веру Христову...

И все же в поступке Ольгерда было нечто гадостное. Ведь он сам был крещен! Жил с православной, очень богомольной женою, все его сыновья крещены и носят русские имена, области, которые он держит под рукою, тоже почти все населены православными. Кейстут, не изменявший языческой вере, никогда не совершал ничего подобного. Похоже, Ольгерд попросту мстил христианам за закрытие галицкой митрополии, и не слово божие, а потеря духовной власти была истинною причиною его бешенства.

Симеон, по слову Алексия, хлопотал, слал поминки в Царьград. С Кантакузином завязывалась переписка, и уже первые образцы творений Григория Паламы, привезенные из Византии, начинали честь по монастырям и обсуждать русские книжники.

Однако дела складывались все тревожнее. У Литвы затеялась пря с Польшею, и краковский король, большими силами заняв Волынь, начал закрывать церкви и обращать тамошнее население в католичество. «И церкви святые претвори на латинское богомерзкое служение»,— скорбно записывал владимирский владычный летописец. Начиналось, ползло, приближалось что-то неопределимое пока, как будто шевеление проснувшегося дракона, горячим дыханием своим опаляющего воздух над дальними лесами.

Из Орды, загоняя коней, прискакал Джанибеков гонец с диковинной вестью: Ольгерд прислал к хану брата своего Корияда с посольством и просьбами о военной помочи и обороне от великого князя владимирского.

Собралась дума. Семен глядел на этот ставший привычным круг лиц, маститых старцев и подрастающую молодежь, на братьев, уже начинавших вникать в дела господарские. Труднота была в том, что Ольгерд, по-видимому, просил рати противу поляков, дабы оборонить православную Волынь. Но после казни Круглеца и набегов на северские земли слишком не-

ясно было, куда на деле повернет литвин татарскую конницу.

— На нас и пошлет! — вымолвил, развалясь на лавке, Андрей Кобыла.— Знаем ево не первой год!

— Погодить бы, подождать, эко тут...— тянул Иван Акинфов.— Самим бы ежели, да вкупе с Ольгердом, на Волынь! Да с татарскою конницей, тово, надежно было б!

— Ольгерд просит помочи себе на князя Семена Иваныча! — громко уточнил Феофан Бяконтов.— Сложил жалобы многие царю на великого князя, дак почто и просит рать!

Зашевелились. Это разом меняло дело. Ханская грамота была составлена так, что не враз поймешь, но гонец изустно передал главное: Ольгерд хочет силами Орды расправиться с князем московским. Сказанного изустно в думе не повестишь, но все и без слова поняли.

— Ржевы покрепити надоть! — подал голос Василий Вельяминов.

— Брянскому князю переже помочь! — в голос ему возразил Василий Петрович Хвост.

Ответ хану отсылали от имени всей думы. В грамоте после основательного перечисления всех шкод и пакостей Ольгерда — сожжение Тишинова, набеги на брянские и северские волости, давешний поход на Новгород Великий — заключалось: «Улусы твои все высек и в полон вывел, а князя великого отчину испустошил и еще хощет и нас всех вывести к себе в полон, а твой улус пуст до конца сотворити, и тако обогатев, хощет тебе противен быти».

В этой грамоте все до слова было правдою. Впрочем, Семен рассчитывал более всего на недавнюю свою гостьбу. Ольгерду явно, при всем коварстве его, недоставало еще вежества и дальновидности.

С татарским гонцом были посланы к хану князевы киличеи: Федор Шубачеев, Аминь и Федор Глебович. Они будут мчаться, меняя коней, пока не достигнут Сарая и не положат в руки Джанибека первую дружескую просьбу Семенову... И что теперь порешит Джанибек?

Вечером, усталый, он сидел за налоем, разбирая накопившиеся грамоты и следя, как Маша, выпростав в разрез рубахи полную грудь, кормит малыша. От жены пахло молоком. Он испытывал необычайную

нежность, заранее представляя, как она, тяжелая, станет засыпать у него на руке, а он — следить ее спокойное дыхание, чувствуя набухшую полноту грудей. Счастье было столь полным, что не можно было даже и говорить о нем.

Да, он был счастлив! Впервые счастлив и даже побаивался счастья своего в пору, когда кругом, казалось, зачинался незримый пожар и земля ждала от него мужества и твердости.

Сейчас Маша докормит малыша, покажет отцу — уже успокоенного, с сомкнутыми белесыми ресничками, тихо чмокающего спросонь,— и девка унесет его в соседнюю горенку, отгороженную от изложни княжеской не дверью, а занавесой, чтобы Маша могла, пробежав босиком по ордынскому толстому ковру, подкормить малыша, помочь девке, ежели что надо.

Остается еще одна грамота, от Василия Калики, прибывшая всего час назад и отложенная князем. В Новом Городе вновь какая-то суета, в коей не разобраться без князева слова! Он, вздыхая, взламывает восковые печати и — забывает про все. Маша неслышно подходит к налою.

— Ты что-то гневен?

— Чти! — кратко и грозно отвечает он. Маша, хмуря лобик, водит глазами по строкам:

«Магнушь, король свейскый, присла ко владыце Василью и ко всем новогородчем послы свое черньци, глаголя: пришлите на съезд свои философы, а я свои, да проговорят про веру, а да увемы, чья будет вера лучши. И оже будеть ваша вера лучше, и яз в вашу веру иду, а будеть наша вера лучше, то вы станете в нашу веру, а будем вси за один. Аще ли не поидете в мою веру или в одиначество, хощу идти на вас и со всею силою моею...»

— Погоди, это война? — спрашивает она тревожно, запахивая грудь.

— Это не все, чти дальше! — отвечает он.

«И яз, владыка Василей, отвеща королю: еже хощеши уведати, которая вера лучше, наша или ваша, пошлите в Царьград к патриарху, зане же мы прияли от грек православную веру, а с тобою не спираемся про веру, а которая обида будеть межи нас, а мы к тобе отошлем на съезд...» — шепотом читает Мария.

— Дак сей богослов с ратью уже стоит в Березовом Острове! — срываясь, кричит Семен.— И уже

почал насильно крестить ижору и вожан! И подошел с полками к Ореховцу! Сговорились они, что ли, с папой своим?!

Семен уже стоит, уже меряет изложню яростными шагами.

— Пошлешь рать? — спрашивает она, выпрямившись и острожев, и ждет, что же решит ее муж, воин и князь.

— А в Ореховце сидят Наримантовы наместники! — кричит он, ударяя кулаком по налою.— Опять Литва! Для кого я пошлю рать на свеев?!

Собрать думу! Сейчас! Нет, обождать до утра. Да и часом не решить: гонец и то несколько дней скачет из Новгорода... И потом — почему нету просьбы о помочи?! Что ся творит в Нове Городе Великом? Быть может, сами решили переменить веру?! Нет, нет, этого, конечно же, нет!

Но постой! Византия... Царьград, уния с Римом, едва не состоявшая; краковский король, обращающий в католичество Волынь, Орден, усиливший свои набеги, и глупость Ольгерда, и теперь свеи с Магнушем, затеявшие наконец пресловутый крестовый поход, деньги на который собирали, еще когда Магнуш был дитятею... И все враз, и все вдруг, длинным полумесяцем, в середине, в сердце которого стоит одна лишь Владимирская Русь! Прости, Алексий, и ты, Феогност, прости! Я был слаб, я мыслил только о себе, но теперь я вижу, я понял! Нет, это не мара, не вымыслы книжников, это крестовый поход католического Запада на Русь!

Ну что ж, король Магнуш! На этой земле ты встретишь владимирские полки и татарскую конницу, или я больше не князь русской земли!

Маша ловит его за плечи, успокаивает, ведет в постелю, хочет принять в себя его неистраченный гнев.

— Все будет хорошо! А ныне — усни, Семен! Утихни, усни до утра! Утром соберешь думу, утро вечера мудренее!

— Надо послать в Ростов, пусть выступают с ратью! — бормочет он, сдаваясь.

— Ложись, ладо! — нежно просит Мария.— Пошлешь из утра!

Новогородское посольство с просьбою о помочи во главе со степенным посадником Федором Данило-

вичем явилось к великому князю через четыре дня. На Москве к тому времени уже вовсю шли военные сборы.

ГЛАВА 95

Кончанская борьба — борьба сторон, Торговой и Софийской, точнее неревлян и славлян против плотничан и пруссов, раздирала вольный Новгород все злее и злей не первый год. Поочередно то те, то другие добивались степенного посадничества — высшей исполнительной власти новгородской республики и вновь водили друг на друга толпы черных людей, вооруженных дрекольем, а то и боевым оружием, «в доспесех и бронях»,— всякое бывало в Господине Великом Новгороде!

Сшибались в драку на Великом мосту через Волхов, сбирали по два веча, на Ярославле дворе и у Софии, и шли друг на друга. И сам владыка новогородский с клиром, выходя на Великий мост, не всегда мог унять бушующие страсти.

Откуда пошла, где началась вековая кончанская рознь? Где тот исток, исчезнувший из памяти, но попрежнему живущий в крови потомков, что и пускает корни, и восходит то благими, то ядовитыми цветами в деяниях потомков своих?

В половине шестого века, в 558 году, славяне, разбитые аварами (в русских летописях обры), были остановлены и отброшены от границ Византии. Началось, растянувшееся на несколько столетий, движение славянских племен с Запада на Восток, к необжитым и редконаселенным землям, в верховья Днепра, на Оку и на Волгу. В те или близкие времена часть придунайских славян со своим вождем Гостомыслом отступила на Север, к Ильменю. В месте, где стоит ныне Новгород Великий или близ него, основали они город, заключивши союз с местными племенами славян-кривичей.

С юга славяне принесли с собою горькую память разгрома и мудрость, полученную в беде, поняв, что только единство, токмо государственная власть служит порукою независимости в борьбе с сильным соседом. Вероятно, они же принесли с собою и южно-русское имя «русь», принесли или обновили, ибо «росомоны»

(народ россов) воевали в Поднепровье с королем Германарихом еще в четвертом столетии.

С Запада приходили и отступали славяне поморские, венеды (к концу XII столетия окончательно завоеванные немцами) из Бранибора, Волина и иных градов, шли из земель литовского племени пруссов (почему и главная улица Софийской стороны Новгорода Великого получила название Прусской). Эти несли с собою навыки мореходства и гнев разбитых, но не покоренных, не сдавшихся врагу. И они тоже понимали, что в единстве — сила.

А вокруг была чудь, местная, распространившаяся от реки Наровы и до Новгорода по северным окраинам новогородской земли. И она тоже, почуяв, что от датчан и свеев иначе не спастись, вступила в союз со славянами, основав третий, Неревский конец, рядом с Прусским, или Людиным, концом на левом берегу Волхова. Позднее здесь образовался еще один конец — Загородье; а на правом берегу Волхова, рядом с древнею Славной, вырос Плотницкий конец — наследник ремесленного окологородья Славянского холма.

Почему на Славенской стороне возникли городской торг, вечевая площадь и княжеская резиденция — Ярославово дворище?

Почему на другой стороне Волхова, в Людином конце, воздвигнута была главная городская святыня — Святая София новогородская и возник Детинец — сердце города, с палатами архиепископа в нем?

Почему в века самостоятельности новогородской, когда все и вся уже перемешалось в городе и возник один неразличимый народ с одним наречием, норовом, нравами,— славляне чаще держались владимирской власти княжеской, а неревляне с пруссами ладили отступить от нее, прибегая к помочи литовских князей? И было так до самого конца, до заката, до исхода пятнадцатого столетия.

Века говорят в нас голосом крови, и можно забыть, можно не знать, но не можно не послушать этого упорного голоса, голоса древних предков своих, навек уснувших в земле. Так лучше знать, много лучше знать, ведать и понимать эти далекие тихие голоса! От очень многих роковых ошибок избавит нас знание далекого прошлого. Не пренебрегайте же им!

Евстафий Дворянинец, многолетний тысяцкий, затем — степенной посадник, убитый два года назад ве-

чевым сходом, был плотницким боярином, представителем Торговой стороны. Плотницкими боярами были и Федор с Михаилом Даниловичи, враги неревлянина Онцифора Лукина, по мнению черных людей, сгубившие его отца, Луку Варфоломеева, во время двинского похода.

Нынче Федор Данилович возглавил посольство к великому князю с просьбою о заступе, Онцифору же Лукину с Яковым Хотовым (прусским боярином от Людина конца) выделена была малая рать, в четыреста охочих молодцов, для отражения свеев, захвативших ижору. Так город разделил извечных супротивников, каждому назначив свою часть в отражении общей беды.

Ежели считать земные заслуги тех, чьей волею простой поп с Кузьмодемьяней улицы, Василий Калика, стал архиепископом Великого Нова Города, то на первом месте оказался бы неревский боярин Олфоромей Юрьич, умерший пять лет назад в доброй старости, окруженный почетом и уважением сограждан.

В том же году его сын, Лука Варфоломеев, «без новогородского благословенья» пошел в Заволочье, на Двину, «скопив с собою холопов сбоев» (то есть набрал ватагу того голодного и вольного люда, который уже не первый год сотрясал Новгород в пожарах и мятежах), взял ратью на щит все погосты по Двине, поставив свой городок Орлец. Лука был убит в одной из своих грабительских вылазок заволочанами. Сын его, Онцифор, в это время отходил на Волгу.

Когда в Новгород дошла весть о смерти Луки, черные люди поднялись как один против боярина Ондрешка и посадника Федора Данилова, крича, что те нарочно подослали заволочан убить Луку. Началась пря, нередкая в Новгороде. Села и домы Федора с Ондрешком были разгромлены, сами они целую зиму отсиживались в Копорье.

Возвратясь с Волги, Онцифор с Матфеем Козкой подали жалобу на бояр Ондрешка и Федора. Два вечевых схода собрались одновременно. Одно, с Онцифором и Матфеем,— у Софии, другое, с Федором и Ондрешком,— на Ярославле дворе. Не дождав владыки, пытавшегося усмирить страсти, неревляна ударили первые, перейдя мост на ту сторону Волхова, и — не

устояли. Матфей Козка с сыном был ят, а Онцифор убежал. Город разделился на две половины, и лишь с большим трудом Василию Калике с московским наместником Борисом удалось свести своих сограждан в любовь и заключить мир.

С тех пор минуло пять лет. Стал старше Онцифор, стал умнее. И задумывать начал уже не о кровных обидах своих, а об обидах всего Господина Великого Новгорода. Понял, что не в том сила, чья сторона, чей конец одолеют в борьбе за власть, а в том, чтобы притушить саму ту бесконечную прю сограждан своих, объединить Новгород... Но как и чем?

Враги отца, одолевшие в давешнем споре, косились и на Онцифора. Не случись Магнушева нахожденья на Новгород, невесть, и созвали бы его. Но огромная шведская рать, но грозный ультиматум короля Магнуша содеяли то, что и об Онцифоре вспомнили наконец.

Онцифора Лукина с Яковым Хотовым и Михаилом Феофилатовым послали в водскую землю против свейских немцев, пустошивших край, крестя ижору и вожан в свою веру. Рати трем воеводам дали, как сказано, всего четыреста человек. Онцифор не спорил и не просил большего. Людей зато отбирал сам — по старой памяти, по приятству, по навыкам боевым. Про себя подумалось: воюют завсегда не числом, а уменьем! В себя он верил. Товарищи подобрались добрые, коим мочно было и объяснить замысел свой, и потребовать строгого слеженья за ратными. Шли скоро и скрытно, перенимаючи слухи. Ночевали в лесах. Король, по сказкам беглецов, с великою ратью оступил Орехов, а по волости выслал загонные дружины — пустошить край и крестить жителей.

Ночью, в шатре, кинув на еловый лапник попону и сунув седло под голову, Онцифор лежал, слушая тонкий комариный зуд под пологом шатра, изредка рассеянно проводил рукою по челу, стирая кровососов вместе с собственною кровью, думал. Яков Хотов сердито ворочался в темноте, матерился.

— Не успишь от их!

Онцифор посоветовал лениво:

— Давай помене об ём, комар и сам сгинет...

— Словно как к Нову Городу липнут! — отозвался Хотов, вздыхая.— То датски немчи, то ореньски, то свея, то литва, то московици!

— А мы,— возразил Онцифор,— об этом только и мыслим, кому поддатисе, Литве али Москве! А про своих, про новогородчев, и думы нет! Мне коли бают: «Хто тоби люб больши, Ольгирд али князь Семен?» — отвецяю: «Дурни! Господин Великий Новгород мене люб паче всих!» А у нас, гляди, теснота во гради! Кому воли хотца — на Волгу али на Каму подавайсе али на пожарах хоромы разбивать!

— Дак ты за ентих, за шильников? — снедовольничал Яков.

— Не за ентих и не за тех! Пойми! — вскипел Онцифор.— Сила есь! Куда направить ее? Кому направлять?! Вота где скорбь наша! Бояре мы?! А водим цернь ратью друг на друга, конечь на конечь, Торговый пол на Софийску сторону! Тута и надобен нам то Ольгирд, то великий князь, сами за ся решить ницего не можем дак!

— Ну а... Кого ты-то предлагаешь в посадники?

— Кого ни предложи, иныи не стерпят!

— То-то.

— То, да не то... Дума у меня есть одна! Ночами не сплю! А совокупить ежели? Обчий совет посадничь, ото всех концей? Цтоб в кажном конци посадник и печать своя, а надо всеми — степенной. И обид не станет! Как в древлем Риме сенат, али в Афинах гречьких ареопаг ихний, или вон в Венецейском гради, у фрягов... Совет станет совокупною властью — целое! Воля города! Вникни! И — сами за ся! Быть может, от нас тогда затеет новая власть! Не княжая, боярская! С вецем, с советом вятших! Гляди: весь север наш! Заволочье! Великая Пермь! За Камень шагнули, на Волгу! А тамо, может, и Орду мы передолим, и от нас, от нашего града возникнет и утвердит новая Русь! Суздальского князя поддержим по первости-то, в Царьград пошлем! Черква новогорочка древлее володимерьской самой!

— Немалое дело задумал ты, Онцифор! — протянул Яков Хотов.— Немалое дело, великое! Дак прежде тоби надобно до власти досягнуть, не то и не послушають!

— Пото и надобно ноне немечь разбить!

— С четырьмяста рати?! — усомнился Яков.

— С четырьмяста! — твердо отвечал Онцифор.— Иного пути нет!

— Н-да... Верно, что не до комарей тоби! — по-

шутил Яков. Он, впрочем, и сам почти что забыл о комарах. Раздоры да ссоры в Нове Городи стали уже притчею во языцех повсюду окрест.

— Ладно. Давай опочив держать! — строго сказал Онцифор.— Да о моих думах — не очень...

— Вестимо! — донесся до него много спустя, когда Онцифор уже задремывал, голос Якова Хотова из темноты.

К слову сказать, хоть Онцифор через несколько лет и добился своего, став во главе Новгорода, провел реформу, создавшую наконец боярскую олигархию,— нового Рима из Господина Великого Новгорода так и не получилось. Боярская власть вскоре всецело подавила демократию низов и тем, роковым образом, ослабила великий вечевой город. Поднятый волною народного мятежа, не понял Онцифор Лукин, что волна эта сколь губительна, столь же и животворна, и не должно было ему ставить преграду «мощи стихии». Римляне, дав права плебеям, а не только патрициям, сумели создать империю. Афиняне, пока опирались на демократические низы, создали союз городов. Но Венеция, подчинив себя олигархическому правлению меньшинства, замкнулась в себе и пала жертвою сильной монархической власти. То же, меньше чем через полтора столетия, произошло и с Новгородом.

Заутра поимали первого языка. Свейский немец начал запираться было, но, быстро вразумленный Онцифором, который на руку в надобное время бывал очень скор, выложил все начистоту: кто где стоит и с коими силами. Четыре мелких отряда загонщиков взяли без шуму. Кого порезали тут же, не уводя домовь, кого повязали окупа ради. Главную немецкую рать пристигли на Жабьем поле, где свеи, спешно стянув распущенные было по водской земле дружины, пытались построить полк.

Тяжко ополонившиеся, навьюченные добром и лопотью что комонные, что пешие свейские немцы, то ли не сожидая серьезного боя, то ли по спеси своей не помыслив путем, пошли густою непроворотною кучею, увязая в сырой земле. И здесь дурак бы не понял,— как потом объяснил Онцифор свой ратный замысел,— дурак бы не понял, цего нать!

Толпу спешно собранных, почти безоружных вожан, выгнав для отвода глаз на опушку леса, весь свой невеликий отряд оврагом и мелколесьем заведя

немцам в хвост, ударили воеводы новогородские нежданно, рубя со спин стиснутую толпу кметей и рыцарей, и уж тут — раззудись, рука! Недаром Онцифор сам набирал людей. Не подвели молодцы, подобраны были один к одному, с ними и на Волгу, и за Камень хаживать приходило! Только свист разбойный, знаменитый новогородский свист повис над гомонящей толпою ворогов, и сабельный блеск, и — с маху, сплеча! Кто поворотил — лег под сабли, под страшные удары шестоперов, под копыта коней, под рогатины пешей рати. И шли уже по колена в крови, и резали, добивая засапожниками. В мат, в хрип, в кровь... Не почуяли и того, как переломилась рать, как гомонящее, стесненное месиво, где от густоты тел не можно было и оружие вздынуть, стало бегущим стадом, и, топча своих, теряя вьюки с добром, бежали, стеснялись, падали, в смертном ужасе роняя оружие и руками прикрывая шеи и головы от валящих на них безжалостных ударов.

В крови по колена шли и прошли по полю, зверея, добивали ползущих в кусты, немногих и повязали: пятьсот немецких трупов насчитали потом, одирая оружие, доспехи и порты с убиенных. Пять сотен! А своих потеряли только троих, кто костью пал. Прочие, раненые, задетые,— не в счет. Голова цела — мясо на костях нарастет!

После этого боя свейские немцы в смертном ужасе бежали со всех водских погостов назад, к королю, ко своим полкам, под крыло воевод, побросавши вьюки и телеги с награбленным добром. Стало мочно повязать и развешать по деревьям, для острастки, главных вожан-переветников, кто принял свейскую веру, кто поддался королю. Край был вновь укреплен за Новгородом, а Магнушева огромная рать лишилась запасов обилия, которое чаяли свеи задаром набрать у вожан для долгой войны.

С четырьмястами людей дерзать на многотысячную рать королевскую было не можно. Онцифор поворотил с полоном и добычею к Новгороду.

А меж тем в великом городе все шли споры да свары, ореховцам в пору не помогли, и король, осадив крепость кораблями и ратью, лестью — как баяли потом — шестого, в начале августа, на Спасов день, взял городок-остров, забрав в полон всю новогородскую дружину. Укрепив Ореховец своими ратными,

Наримантовых наместников Магнуш отпустил, а Аврама тысяцкого с прочими лучшими боярами Великого Нова Города, числом одиннадцать душ, повел с собою за море.

Одержавшая эту победу королевская рать заперла Новгороду морской торговый путь через Великое озеро Нево и Устье. Устьем в те поры называлась река Нева, в чьих истоках и лежал островок, на котором высилась новогородская твердыня. За многие века до основания Петербурга крепость эта надежно прикрывала русский выход к Балтике, и отдать ее свеям — значило для Новгорода затянуть петлю на шее.

Потому к московскому князю еще в июне месяце и отослали посольство с просьбой о помощи, а другое теперь спешно отправили во Псков, прося псковичей прийти на помочь и предоставляя им наконец все права «младшего брата новогородского», о чем пря шла уже много лет. Новгород убирал из Пскова своих посадников, передавал в руки самих псковичей судебное дело: «посадникам новогородским в Пскове не седети, ни судити, а от владыки судити их брату псковитину, а из Новгорода не позывати их ни дворяны, ни подвойскими, ни софьяны, ни изветники, ни биричи»; признавал и называл Псков уже не пригородом, а молодшим братом своим. Так ратная свейская беда помогла плесковичам добиться того, чего они добивались еще при жизни Александра Тверского. И псковская рать выступила в новогородский поход.

А в Новгороде шумело вече, и Федор Данилович, спешно собиравший полки, тоже тронулся, наконец, с ратью новогородскою и ладожскою под город Орехов. Не в пору для себя затеял Магнуш крестовый поход на Русь!

ГЛАВА 96

Четверть века спустя после описываемых событий московские ратные силы выделялись умением быстро и дисциплинированно к назначенному часу и дню стягиваться воедино из разных земель и княжеств. Подобное умение не приходит само, им отнюдь не блистала русская армия в близком от нас девятнадцатом столетии, когда колонны шли совсем не туда и не в те сроки, теряя связь на марше всего лишь за день пути.

А тогда, при тех дорогах и сборах, когда ратники кормились взятым из дому, а тяжелое вооружение везли на телегах, когда надо было выкликать городовую рать, собирать, подчас отрывая от работ, людей из далеких сел и погостов... И собирались. И приходили. На конях, в оружии и с припасом. И конь был кован, и ратник обут, и достаточный запас сулиц и стрел топорщился из мешка, и вяленая полть или круг сыру и мешок крупы тряслись на телеге или ехали на поводном коне, в тороках. Был и овес, ячмень ли коню на разживу — на одной траве придорожной не продержишь боевого коня! За каждый ратный полк отвечал свой воевода. Тут-то и поверялось, даром или нет дают тебе на прокорм села и города! Над воеводами городовыми стояли чины стратилатские, выше — бояре думные, еще выше их — князь.

Нынче над ратью Семен поставил княжича Ивана (пускай привыкает к делу!). А воеводами при нем — Ивана Акинфова и Костянтина Ростовского. (Брат Андрей с Вельяминовым остался стеречь Москву.)

Июль истекал зноем, шли и рысили в тучах пыли. Мокрые от поту, грязные от пыли, веселые в чаянии настоящего дела: «Наддай, мужики, свеев бить идем!» Ходко шли. Семен, тоже черный от пыли, проносился тенью, меняя коней; петляя проселками, перелетал от дороги к дороге. Полки шли через Волок и через Дмитров, шли от Переяславля и через Переяславль. Ростовская рать валила сквозь леса берегом Волги. И никто не знал, не ведал, кроме двух-трех самых избранных, самых ближних бояринов, что не для одного свейского короля собрана рать и идут полки, подымая слоистую пыль, замглившую солнце. Из Орды еще не было вестей, и где Ольгерд с литовскою силою, не ведал никто.

Потому-то князь и пушил воевод, подымал присевших было передохнуть в неурочный час ратников, поминая им зимние сборы. Скорей, скорей! И, почти не слезая с седла, не спавши почти четверо суток подряд, на пятые знал уже, ведал: полки подойдут к Торжку в единый срок, так, как было начертано на совете боярском. И любо было скакать и сваливаться лицом на час-два в щекотное пахучее сено, встречать утренние зори, золотым столбом света встающие из-за лесов, верхом на коне. Любо было движение конных, тяжелый разгонистый ход пешцев, что валом валили за возами

с оружием: глянешь — вроде нестройною толпою и вразнобой, а на деле — ходко и наступчиво, поприщ по сорока и по шестидесяти в летний-то, долго не потухающий день.

В Торжке Семен выпарился в бане, смыл пот и грязь, озрелся вокруг, сумел и помыслить путем. В Ореховце о сю пору сидят Наримантовы наместники. В самом деле: для Ольгерда или Москвы топчет проселки и пути низовская рать? Тут впервые собрал совет тайный, где говорилось о том, о чем там, на Москве, при послах Великого Нова Города не баял никто. Отбив Ореховец, следовало посадить в нем наместника от Москвы, согнав Наримантова сына Юрия с новогородских пригородов. И сказать об этом новогородцам следовало даже не теперь, а еще спустя, когда полки будут у самого Нова Города. Для такого дела Иван Акинфов подходил дельнее всего. Потому и взят и поставлен во главе. Ему и был вручен негласный наказ великого князя.

Иван Акинфич понял тотчас (сидели впятером только), хитро глянул, огладил вполседую бороду, приосанился. В экую жарынь на совет приволокся в кольчатой рубахе, при дорогой сабле. Гордится воеводством своим, понял Семен. Мало было в жизни Ивана одолений ратных! Когда-то бежал, оставя отца погибать, когда-то сробел, уступив Юрию, и при князе Александре не совершал одолений на враги. А теперь кажет себя в боевом уборе. Свеи те во-о-он где ищо! Пущай. Понимает зато хорошо, на лету схватывает. Иного поставь — из одного пыла воинского полезет в драку, нарушив и позабыв все княжеские наказы.

Почему сказал о том воеводам нынче? Сам ведь покуда ведет полки! Но сердце ведало, что довести самому не придет. Ждал вестей из Сарая. С каждым днем, часом все тревожнее ждал.

Июль истекал зноем и последними днями. Мужики косили на лугах. Скоро убирать хлеб. Вдоль тучных полей, колосящихся нив в клубах пыли шли и шли полки.

Уже у Ситна узнал, что боя не будет — королевская рать отступила за море — и предстоит только осада крепости. Одновременно прискакали гонцы из Москвы с долгожданною вестью от хана. Татарин киличей Аминь, умученный, весь в пыли, посунулся ко кня-

зю, сложив руки лодочкой, воздал поклон и тут же, не передохнув, начал сказывать:

— Привели к тебе! Всех привели, господине! Корьяда, и Михайлу, и дружину литовскую — всех! Джанибек послал! Кланяет тебе хан, на твою полную волю послал!

Семен едва при всех не расцеловал татарина. Следовало немедля скакать на Москву.

Повторив наказ Ивану Акинфову и повестив новогородцам: «Зашли ми дела царевы», Семен налегке, с малой дружиной, окольными тропами, минуя своих же ратных, бредущих к Новгороду, устремил назад. Все еще в тревоге, все еще не вполне веря удаче своей, хотя в груди расплывалась уже горячая светлая волна ликования: нет, не подвел его, не изменил дружбе хан Джанибек! И Ольгерд ныне не страшен: при своей полоненной братье не посмеет выступить противу!

ГЛАВА 97

Вечерняя заря умирала и все никак не могла умереть над рекою. В темном зеркале вод стоял колдовской немеркнущий свет. На той стороне, в высоких травах, скрипели коростели. Семен лежал ничком на расстеленной тканой попоне. Внизу, у холма, ходили, передвигались дружинники, крякал топор, трещало, вспыхивая золотыми клубами огнистого дыма, и гасло вновь, все не желая разгораться, пламя костра. Завороженная, заколдованная туманами, распустив русалочьи косы свои, стояла красавица ночь. Вышел Лель в цветочном уборе, маленькие чертенята-полевики играли и прятались в траве. Уста сами собой улыбались лукаво, в теле маревом ночи мрело и бродило, и кабы не крест на груди, сами ноги заставили б князя вскочить и неслышно бежать в лес, в кусты и туман, вываляться в росах, ловить хохочущих дев лесных над обрывом реки, над омутами, где в тихом мерцании влаги вот-вот покажет девичье бесстыдно запрокинутое нагое тело с тугою грудью и рыбьим хвостом, все в призрачном блеске и влажном серебре чешуи...

Сам велел скакать в ночь и теперь лежит, улыбаясь, слушая землю и свое растревоженное сердце, лежит и слушает темноту, счастливый неведомо чем! А понизу ходят ратники, трещит, разгораясь, костер, и уже

булькает, и сюда, на высоту, тянет уютным дымом, и очи застилает туман, и дрема неслышно берет в полон.

Зачем тебе, Феогност, было рубить Велесову рощу?! Зачем и я допустил, разрешил такое! Мирною проповедью, сиянием веры надобно побеждать мрак, ежели то — мрак. В делах духовных ратная сила бессильна и топор не заменит креста! Тем мы, православные, и отличны от католиков, что не ломим оружием там, где надобно слово, и токмо слово! Не рушим свадебного чина, ни сельских волховных треб, ни зажинок, ни последнего снопа, ни ряженых не гоним, ни Масленой!

Когда-то, бают, люди убивали стариков и старух. А потом двое сынов спрятали своего старого отца, сохранив ему жизнь. И вот подступила суровая пора, и один токмо спасенный старец подал совет, спасительный для всего племени. Уходящая в прошлое старина так же нужна, так же надобна для нового древними истинами своими, как тот спасенный детьми старец! Где-то предохранит, от чего-то остережет неразумную юность, протянет незримую связь из веков уснувших к потомкам своим. Где-то и опасет от гибели, как меня опасла старуха колдунья на заре моего пути!

Он уже задремывал, уже текли, мешаясь, мысли, словно речной туман.

— Вставай, княже! — наклоняет над ним стремянный.— Ужин готов!

В шатер идти Семен отказался. Поевши у костра, тут и заснул, завернувшись в попону, и всю ночь бродило и мрело, и русалочьи хоры блазнили издали, и всю ночь, не смолкая, скрипели коростели за рекой.

ГЛАВА 98

К Москве вылетели на рысях, последним рывком разорвавши объятия леса. Веселый и дымный, шумел, стучал топорами град на горе, украшению коего отдал он сердце свое.

Его едва успели встретить, не ждали так скоро. Лица у бояр были праздничны, на князя своего поглядывали с легкою удивленною оторопью. Не ждал и он сам, не ждал никто на Москве! Джанибек забрал все посольство Ольгердово — князей Кориада с Михаилом, сыном Явнутия, Семена Свислочского, Аикшу, Ольгердова киличея, и всю их литовскую дружину и с пос-

лом Тотуем под охраною своих воинов, чтобы не разбежались дорогой, отослал в подарок князю Семену на Москву.

По-царски поступил. С широтою истинной. Опрокинув все привычные, хитро-коварные подходы и льсти. Бери! Володей! Верю тебе одному!

Семен все еще не берет в толк, прикрывает очи, в памяти пытается восстановить гладкое усмешливое лицо Джанибека, его длинные ресницы, загадочные смеющиеся глаза. Как он одинок, боже мой, как одинок хан среди всех этих поэтов и плясуний, в роскошном кирпичном дворце, с сыном Бердибеком, один взгляд которого рождает неведомый ужас! И все же что-то сдвинулось в мире, что-то сошло со своих предназначенных мест и путей, и неужели слова *честь* и *дружба* вновь станут значить более, чем злоба и корысть.

Литовские князья имели вид смущенный. «Пошли по шерсть, воротили стрижены»,— вспомнил Семен лукавую пословицу, разглядывая поочередно Кориада, Михаила и Семена. Сам он сидел в креслице в думной палате своей. Празднично сияющие бояре расселись по лавкам. Литовские князья стояли без шапок, опустив головы. Ждали, что скажет Семен. Кориад было вскинул голову, начал что-то о правах посольских...

— Не с миром пришли! — сурово перебил Семен.— И головы ваши целы пока, дак почто и баять пустое! Не казню, не мучаю, голодом не морю, дружина здорова! Отдохните у меня на Москве, а вперед, прежде чем ратиться со мною, передумайте путем — и вы, и Ольгерд!

Он махнул рукою. Под одобрительный гул думы незадачливых послов увели и, отделив друг от друга, раздали по боярским домам, повелев держать честно, яко по званию достоит, но за крепкими приставы. Литовскую дружину отослали в Рузу на сохранение тамошним воеводам. Ольгерду Семен не послал ничего. Пускай сам размыслит путем.

Тем часом дошли вести из Новгорода. Поскольку королевская рать ушла за море, новогородцы уперлись снова, не желая брать княжеского наместника на северные пригороды свои. Иван Акинфов не рассудил в толикой трудноте подступать к Орехову, поворотил рать. Да и пора было — уже перестаивали хлеба.

Новогородские полки одни, вкупе со псковичами,

ушли под Орехов и в Госпожино говенье, всего через несколько дней после ухода свейского короля, приступили к осаде.

Они простоят там всю зиму и весной, в марте, по льду перейдя замерзшую Неву, возьмут город приступом, несмотря на уход псковичей, поворотивших защищать волость свою от нового орденского нахождения.

Так ничем окончился Магнушев крестовый поход, а в Новгороде вскоре сочинено было в посмех и в поучение незадачливым свеям «Рукописание Магнушево», где король закаивался и сам, и за детей и внуков своих нападать на Новгород Великий...

Но все это было потом и, когда произошло, уже не затронуло Семена. Осенью заболел сын, только-только отнятый от груди. То ли объелся чего, то ли простыл — невесть. И парили, и поили травами, и отмаливали, и оттирали — не спасли. Умер рождественским постом.

После похорон все блазнило: может, живого зарыли, может, еще отойдет, отдышит, ведь сосал, шевелился, таращил глазенки, садился уже, пробовал и на ножки вставать — как же так?! Но уже от маленького гробика сладко потянуло тлением. Сморщилось пожелтевшее личико, закрылись глазки... Как же так?! После похорон, воротясь в терем, лежал на постеле мертвый. Ничью, плашью, не шевелясь.

Мария давеча обмолвилась: за грех. Не дождали благословения от патриарха, так вот потому. Семен знал иное: не потому! Над ним все тот же, не снятый, не отмоленный ничем, суд господень. За прошлое. Не за нынешние грехи — не грешен он! Теперь. И тем страшнее. Неотмолим, неумолим суд господень. И с праведного боле спросится, чем с грешного. И прав ты, Господь, в высоком равнодушии своем! И только... почто... сына-то... Сам бы собою заслонил, заменил... Или в этом и перст, и кара? Пощади, Господи!

Мария подошла, села на край ложа. Взъерошила волосы. Сказала сурово:

— Ох вы, мужики! Я должна кататься и плакать, не ты! Будут и еще у нас дети! Вставай, Семен!

Князь, сцепив зубы, только застонал в ответ, перекатывая голову по смятому горячему одеялу.

ГЛАВА 99

Стефан достиг вершины успеха. В его руках был лучший столичный монастырь, он стал духовником князевым, а князю вослед потянулись к нему виднейшие бояре московские: Василий Вельяминов, Редегины, Феофан Бяконтов, Афиней... Когда он, высокий, в монашеском одеянии своем, в черном куколе, появлялся на люди или в храме — шепот пробегал по толпе молящихся. На него указывали, ему кланялись земно, купцы и бояре наперебой зазывали его к себе — хоть не отпировать, а почтить дом одним токмо присутствием своим. О святости его жития, еженощных молитвенных бдениях, отшельнической умеренности в пище и питии слагались легенды. Слушать его беседы собирались, как когда-то в келью старца Германа, виднейшие бояре Москвы. В Богоявленском монастыре Стефан наладил переписку книг, переводы с греческого, о чем еще прежде мечтал Алексий, но в многоразличных заботах своих не мог уделить тому достаточного времени. С ним советовались, обращались к нему игумены других монастырей, старцы и архимандриты, просили научить, показать, снабдить книгами.

Сам митрополит Феогност давно уже не гневал на него за своевольное венчание князя Семена, зазывал, подолгу беседовал, то русскою, то греческою молвью. В грядущем маячил пред ним сан архимандрита, и только прежняя семейная жизнь не давала мечтать о епископской кафедре.

Возможно, будь он католическим игуменом где-нибудь во Франции, принятым при дворе короля, езди в карете со слугами на запятках, в шелковой сутане, с золотым перстнем на холеной руке, окруженный почетом придворных и восхищением дам, умей при этом тонко шутить, красноречиво произносить проповеди на классической латыни, ему бы и нечего было больше желать!

Будь он шейхом-мусульманином, совмещающим земную и духовную власти, он бы также упивался собою. Носил чалму и халат, совершил путешествие в Мекку, красноречиво говорил на арабском, собирал ученых мужей, судил прихожан, ссорился с каким-нибудь вельможею, громово призывая кару Аллаха на голову нечестивца, стал, может быть, шейх-уль уле-

мом, главою ученых, и тоже ощущал уверенную полноту бытия.

Будь Стефан буддийским ламой, агваном — настоятелем монастыря или хамбо — учителем лам, «перерожденцем», изучившим «Чжя-дон-па» и другие мудрые книги, постигшим «путь», он бы ходил теперь в желтом платье, жил в особом дворце, принимал паломников, раздавая им священные зерна риса, верил в приход Майтрейи — Будды будущего мира, бесстрастно взирал на окружающее зло, не вмешиваясь в мирские страсти, строго наказывал монахов, уклоняющихся от занятий и «созерцания», и спокойно ожидал своего грядущего нового перерождения в ином облике.

Да и попросту, не имей он за душою великих дум и глубокой веры своей, премного удоволило бы его днешнее почетное состояние.

Но Стефан был нерадошен. Дух его скорбел, ибо все, чего добивался и добился он, была та же суета сует и ничтожна суть пред Господом.

Он приходил в дом богатого сурожского гостя Торокана, и хозяин падал в ноги ему, и его вели к столу, что ломился от снеди, и, забегая сбоку: «Рыбки? Севрюжинки? Жена, кланяй гостю высокому!» — хлопотал и суетился хозяин. И приходило отведывать дорогой рыбы, и благословлять дом, дебелую хозяйку, что, сложив губы куриною гузкой, тянулась ко кресту, смачно и жирно целовала его руку, а потом, в черед, осенять крестом всех разновозрастных чад Торокана — от ражего детины в черной бороде до толстого бутуза на руках у мамки. И, принимая, нехотя уже, щедрое подношение Тороканово — «На монастырь святой!»,— обрызгивая святой водою углы дома, сам себя спрашивал Стефан: «Это?» — и видел, чуял: та же житейская суета окружает его и он сам днесь — неотрывная крупица суеты.

Сядет Торокан в лавке своей, облегчив совесть нескудным даром на монастырь и Стефановым благословением, и учнет наполнять добром свои амбары и магазины (арабское слово это — от «магнуз», спрятанный,— уже начало проникать на Москву), и будет Тороканиха, как прежде, печь пироги и строжить прислугу, и ничто не изменит в мире, и он, вместе со всем Тороканьим семейством, так же далек от света Фаворской горы, как и допрежь того!

Придет ли к нему на исповедь маститый боярин

и, брусвенея ликом, потея в тяжелой бобровой шубе своей, будет бубнить о грехах, о Малаше, девке дворовой, и примет епитимью от Стефана, охотно примет, лишь бы и дале грешить, и не бросит Малашу свою, ибо силен бес и во гресех зачаты есь мы... Так объяснит себе и исповеднику своему. И Стефан для него, обидно сравнить, вроде субботней бани, где возможно смыть до времени душевную грязь. «Это? — спрашивал себя Стефан.— Этого ты хотел и просил у Господа своего?» — и не находил ответа.

И непотребная девка, приволокшаяся в монастырь, валялась в ногах у Стефана, косноязычно выговаривая о грехах, а он видел: не престанет грешить она и к нему прибегла не ради спасения своего, а ради того, что он огнеглаз и красив и у нее во время службы в соборе, глядючи на него, сладко замирает сердце. «Этого ты хотел?» — спрашивала душа Стефана с укором.

И приходил смерд, ремесленник, с руками, темными от железной пыли, строгий мастер, с прокаленным жаром горна лицом, приходил на мал час отдохнуть от трудов, глотнуть иного воздуха — воздуха веры и святости, не чающий сам света фаворского, но строго ждущий вкусить крох со стола горней трапезы. Дай их ему, крохи эти, овей, прикоснись! Из чаши причастной дай вкусить крови и тела агнца, а не вина и просфорного хлеба... Не можешь? Сам из мира сего? Из мира вещного, тварного, зримого и земного! И можешь дать лишь вино и хлеб, можешь дать обряд, но не таинство. А ему не хлеб нужен, на хлеб он заработает сам! Ему нужен луч света фаворского от глаз твоих и слово правды Христовой из уст. Можешь ты дать их ему, способен ли? И паки спрашивала душа: «Ты этого хотел, Стефан?»

Все чаще и чаще с глухим раскаяньем в сердце вспоминал Стефан брата, оставшегося в глухом лесу, к которому нынче, по слухам, начали собираться иноки, устрояя киновию...

В чем-то он изменил, в чем-то предал брата своего! И наместник Феогностов, всесильный Алексий, все реже и реже удостаивает его беседы своей. Не тех прилюдных бесед о божественном, а той прежней, с глазу на глаз, в келье, не для сторонних ушей, не для дела сугубого, а для сердечной услады и дружества творимой. «Так вверх ли, по лествице земного успеха и славы, или вниз, по лествице совершенствования духовного,

грядешь ты, Стефан? — спрашивала душа.— И когда споткнулся ты, перепутав пути: не тогда ли, угодив князю своему, или еще ранее, не выдержавши лесной истомы? Или и еще ранее? Не там ли, в лесу, на поваленном дереве, завлек тебя в сети свои властитель тьмы? И не все ли, что окружает тебя однесь, обман и мара, блестки ложного пламени в непроглядной пляшущей тьме пустоты, вихрь уничтожения, многоразличные личины и хари, застившие единственный путь к горнему свету вечности, к свету Христа?»

Это приходило к нему все чаще и чаще, и он все не решался, но жаждал все более настойчиво душевно поговорить с Алексием. Но встречал строгие замкнутые глаза, видел печати усталости на заботном челе и не мог, не решался прибегнуть к разрешающей беседе.

Наконец, случай представился. Алексий в один из своих частых, но кратких заездов в монастырь скользом завел речь об общежительном уставе, когда-то введенном Феодосием Печерским, а ныне повсеместно заброшенном, почему иноки и инокини жили нынче в киновиях, как в миру: каждый в своей келье, в меру достатка и данного вклада в монастырь. Держали слуг, дорогую утварь, свой стол, свои книги, свои, родовые, иконы, кресты, чаши... Ограбить иную келью было бы соблазнительнее для прохожего татя, чем терем боярский. Да, конечно! Переписывали книги на покое, вышивали пелены и церковные облачения. Все шло в монастырь, на общее дело, завещалось, оставалось после смерти вкладчика в ризнице монастырской — не закажешь, не отберешь! И все же соблазн был явный. Иные, бедные, трудились яко трудницы монастырские, от зари до зари: обстирывали, стряпали, кололи дрова, подметали и прибирали кельи, ходили за больными и немощными... И было от того в киновии, яко в миру. Те же неодиначество, и спесь, и тайные зависти. Но содеять что-либо, изменить сложивший вековой распорядок было безмерно трудно.

Об этом, зайдя в келью, и толковал Алексий с игуменом Стефаном, не чая уже от этой беседы особого толку, когда Стефан, склонившийся к устью печи, дабы помешать огонь, вдруг, голосом глубоким и словно надтреснутым, изронил, не глядя на Алексия:

— Прости, владыко! Давно должен был я сказать тебе о брате моем! Быть может, он там, у себя, возможет...

Алексий весь напрягся, умудренным опытом ведая, что так начинают говорить не о пустом — о кровном. Сел, уложив руки на столешню, слегка согнувши стан. (Топилось по-черному, и слоистый дым клубился над самою головой.) И что-то прорвалось наконец, как давно зреющий нарыв, истекло облегчающим гноем освобождения.

— Мы давно... Я давно так не баял с тобою! — глухо сказывал Стефан, стоя на коленях и глядя в огонь.— Утонул, утопил себя в земном, суедневном, в земных величаниях... И тогда, с князем... Ныне и младенец тот мертв, и ни во что же пришло мое послабление сильному мира сего! И вот днесь думаю я непрестанно: тó ли вершил, тó ли деял? Туда ли устремил стопы свои? А он, Орфоломей, Сергий ныне, остался один, в лесу. Бури, волки, медведи, сила бесовская, гад нахожденье... И одиночество. Никого! И выдержал, выстоял, не ушел, не изнемог духом. И не изнеможет уже! Всегда был таким. Не величался ничем, не красовался собою. Не отступал от Господа ни на час, ни на миг с самого детства. Дитятею молитвы творил по ночам. Я мало взирал на него, все сам с собою... И он... любил меня. И любит теперь. Нет в нем обиды, ни величания. Словно единый из пустынножителей первых времен! Зрел на меня, а ныне, мыслю, я ли, в слабости своей, или он ближе ко Господу?

Тени огня ходят по острому лицу Стефана. Согнувшись, он похож на большую хищную птицу, крылья которой смяты и изломаны ветром.

— Ты мне мало баял о брате своем! — серьезно отвечает Алексий. Он еще не верит, но уже понял, что отмахнуть, забыть о Стефановом брате — не след. Надо испытать послухов, послать кого в Хотьков монастырь к игумену Митрофану, погоднее расспросить Феогноста, он видел обоих, толковал с братьями.

В Стефане ошибся он... несколько, не совсем. Стефан глубже, чем думал он еще день, час назад. А мудрования и ученость книжная Стефановы очень даже надобны церкви московской. Быть должно, что и брат таков же, как и Стефан... И все-таки!

— Владыко! — говорит Стефан, глядя в огонь.— Владыко! Слаб я и недостоин места сего. Отпусти мя в монастырь к брату!

Алексий глядит чуть удивленно. Думает. Молча отрицательно качает головою. Отвечает строго:

— Инок не должен бежать креста своего. В некий час и я скорбел и смутился духом, чая тишины келейной и страшась соблазнов мира сего, а ныне зрю: Господь в мудрости своей недаром поставил мя к служению многотрудному! Терпи, брат Стефан! Киновия брата твоего — не бегство от мира, но, чаю, мирови свет. И от искуса душевного не убежишь, не скроешь себя в дебрь. Врага побарать должно не бегством от мира, но суровостью и постом. Я не отпускаю тебя, Стефане!

Черная птица в багровых отсветах огня вздрагивает, втягивая голову в плечи, замирает пристыженно. Алексий прав, бегством не спастись от себя самого, и врага побеждать надобно там, где он застигнул тебя, а не искать землю обетованную, в ней же тишина и благорастворение воздухов! Нет оной земли, и, напротив, вся она благая для одолевшего зло внутри самого себя.

ГЛАВА 100

Прохожая помочь княжича Михаила перевернула всю Онькину жизнь наново. Вшивый паренек из заброшенной деревни, сын разгульной мерянки-пьяницы стал в мгновение ока уважаемым мужем, хозяином не плоше других. Теперь и деда, Степана, начали поминать путем: мол, от доброго корени и отросль добра пошла!

Таньша не была избалована с детства, а тут свой и добрый дом, свое поле, все свое и — никого кругом! Не настырничают, не остудят, не придут коротать вечер, а ты корми да бегай от печи к столу, а потом пойдут укорять: то-де не вымыто да иное сплошено, и не порядлива-де, и не стряпея вовсе...Ну их! Ночью был рядом мужик, свой, наработавшийся, горячий. Оногды до слез, до самой жалиночки доходило, лежала и плакала от счастья — сама себе хозяйка в дому!

Онька, как освободил себя от горшков да порядни, словно крылья обрел. И время отколь-то взялось, и силы, и ухватка проснулась дедова, родовая, настырная. Зиму отгоревали кой-как, во вшах, в дерьме, со скотом в одной хоромине зачастую, в вони от киснувших кож, в грудах копыльев, среди сохнущих кровавых шкур (с осени сильями имал зайцев и лису не одну приволок домой, лавливал и куниц, и трех бобров поимал для купцов, гостей торговых).

Таньша к весне округлилась животом. Боялись оба: успела бы опростаться-то до покоса! Но уж с весны зато, с первых проталин, взялся за дело Онька совсем не шутя. Все заготовленное зимою теперь пошло в дело. Новая ременная упряжь из сыромяти, новая двоезубая соха, новые сани, волокуша — то все смастерил сам, и успел, не подгадил. С Колянею, в две лошади, подняли, надрываясь, по весне старый затравенелый клин под яровое — вдвое боле засеял хлеба в тот год и не прогадал.

И Таньша успела, к самому-самому покосу сына-первенца принесла и, мало передохнув, взялась за грабли. Сын лежал под кустом, на овчине, гулькал, болтал ножками. Онька косил свирепо, не разгибаясь. Коляня, мокрый до вихрастой макушки, старался не отставать от брата. Травы были добры. Погодье не подвело. Один за другим вставали круглые, осанистые стога, и уже хватило б и сена, но Онька косил, почернев, скрипя зубами, когда одолевала усталь, руганью прогонял слабость и сгибался над горбушею вновь. В полдень, жадно оторвав зубами кусок холодного мяса, крупно зажевывал хлебом, пил терпкий квас, кося на Таньшу, что, вольно вытянув босые ноги и расстегнув рубаху, кормила грудью толстого малыша.

— Куды столь? — прошала, улыбаясь веснушчатым широким лицом.

— Пеструху бить не буду! — отвечал хрипло, севшим от устали голосом Онька.— Мяса хватит, на зайцах одних и то проживем! Двух дойных коров ноне поставлю во дворе! А на то лето — третью, и бык свой, и тёлок вырастить нать, и овцы. Посчитай сама!

— За един год в хозяева выстать хочешь!

— И выстану! — выкрикнул Онька.— И выстану...— Повалился на спину, мгновенно уснув. И пока спал, Таньша сидела подле, улыбаясь. Веткою отгоняла комаров. Хотелось очень наклониться, поцеловать спящего мужа, да боялась разбудить от краткого полуденного сна...

Сено было поставлено, навожены бревна на баню, стая перекрыта, поправлен тын. (От медведя да волков по зиме — немалое дело добрый тын да заворы добрые!) Жали хлеб, молотили. Копали репу, дергали лук, редьку. Ныне и капусты наросло: хватит до самой весны!

И уже по звонкой подстылости первых осенних

заморозков парился Онька в новой бане своей, кидал квасом на каменку, отходил, отмякал, оттаивал. Таньша, со скрученными на затылке волосами, голая, парила, выжигала вшей из рубах, только сухой треск шел от раскаленного каменья, на которое сыпались снулые паразиты.

Дом, преображенный, с лавками, отмытыми до блеска, сверкал. Матка трусливо взглядывает на невестку. Осенью опять запропала недели на три, а тут явилась, сходила в баню и не знает теперь, как сидеть, как вести себя у сына за непривычно чистым и богато уставленным снедью столом.

— Люди по ягоды, а ты по пиво, мать? — грубовато укорил Онька, но, впрочем, тут же и подвинул матери блюдо моченой брусницы.— Ноне капусту руби! Не уходи!

Матка покивала трясущейся головой, прослезилась, отерла глаза концом синего головного платка.

Коляня сидит сияющий. Гляди-ко, парень вымахал, поди, и женить скоро! Две невестки в дому, два мужика — силы-то сколь!

За окошком послышался конский топ и храп лошади. Кого бог несет? Из Загорья, што ль? Скоро в дверь сильно постучали. Вошел мужик, незнакомый, темный (темных не так-то и жаловал Онька), одначе поклонился, крест положил на себя, примолвил: «Хлеб-соль!» Все честь по чести. Пригласили к столу. В разговоре гость назвался купцом из Твери.

— Шкуры продажны есь, лисьи! — степенно отмолвил Онька, облизывая ложку.— Положь еще каши, мать!

Таньша, не жалея, полною поварешкой насыпала черной гречневой каши с рубленым мясом в деревянную миску мужа, сама круглым любопытным глазом оглядывая гостя. «Любует словно!» — приревновал несколько Онька. За Таньшу свою нынче готов всякому горло перегрызть.

Гость отмолвил устало:

— Шкуры, шкуры-ти... Ето, конешно... Дак ноне, не знашь ли чего, хозяин? Беда на Твери! Князи наши промежду собою прю затеяли. Занимать-то стол должон по правде Василий-князь! А хан Чанибек Всеволоду Лексанычу власть передал. Дак теперича полки копят тот и другой, уже наши-то тверичи к Хотилову ходили, Василий Михалыч из Кашина Кснятин ладил

забрать, мало до бою не дошло! Ноне не стало б татар нахожденья! Коли хан своих ратных подошлет Всеволоду в помочь, дак и жди тогды новой Щелкановой рати! Погинем вси! Смерды бегут, и мы бежим где ни то переждать беду! Ты тута укромно живешь, ото всех в стороне, дак не примешь ли на зиму? Меня со женою да с дитем; дите у нас одно, малое, а я бы тебе и помог чем, да и товар у меня, сукно есть, тафта, зендянь, жонке твоей ко глазам! Мне и хоромины не нать доброй. Видал, во дворе у тя старая, где бы товары сложить, а сам проживу!

Гость поник плечами. Видать, купчина был не из видных и запуган вдосталь.

— К вам тут, поди, и Щелканова рать не доходила? — тоскливо спросил-протянул.

— Доходила! — отверг Онька, усмехаясь недобро.— Спалили тута все, тятю порешили мово!

Замолкли все. Гость несмело ковырял ложкой.

— Сенов-то хватит ле? — деловито нарушила молчание Таньша.

— Я и овсеца альбо там ячменя привезу, ты не сумуй, хозяин! Прими только! Нужда смертная! Кто помнит Щелканову рать, кто и не помнит, а вси ноне разбегают в леса!

Вздохнул Онька. Подумал. Прищурясь, примерил мысленно на Таньшу свою тафтяной сарафан, снова вздохнул. Попрошал:

— Княжича Михайлу не знашь ли часом? (В иных князьях плохо разбирался он, а этот был, почитай, свой!)

Гость оживился, начал хвалить настырного и любопытного Александрова сына, с которым уже перезнакомилась вся Тверь.

— Утешен и приветлив, всякому руку подаст, для всякого найдет слово доброе! Бают, ехал сюды из Нова Города, какому-то мужику дорогою избу срубил!

Онька слушал молча, одобрительно покачивая в лад головою. От гордости не сказал, не признался, что он и есть тот мужик. Встал, обдернул сшитую Таньшей холстинную рубаху:

— Что ж, приезжай! Токо про ячмень не забудь, мне с покоса о сю пору кровавых мозолей с рук не избыть!.. Князья, вишь, передрались! — вымолвил на провожании, когда гость уже отъехал от двора и услышать его не мог.— Таки-то у их и князья! Наш-то

бы Михайло ни в жисть того не натворил, уж чего ни то, а придумал, абы не ратитьце!

Таньша только искоса поглядела на мужа, хмыкнула и вытерла нос.

И еще одного беглеца принял Онька в ту осень, медника. Этот пришел пешком. Мастер был добрый. Снаряд свой в баньке старой разложил, там и ковал, мастерил и узорил. Оньке к весне изузорил всю сбрую красною медью, любо-дорого стало смотреть!

Мужика звали Потап. Потапиха всю зиму ткала, в очередь с Таньшею, и девки, дочери Потапа, тоже недаром пришли. Отеребили и спряли весь лен и всю шерсть в доме, что заждалась уже работницких рук; к весне наткали холста и грубого сукна на зипуны да вотолы. Стучал стан, звенели песни, иные впервой и слышанные Онькой, а то купец, гость торговый, зачинал сказывать про Орду и Сарай, про Персию, про Индию богатую, мешая были с небылью, виденное со слышанным от людей.

Трещала лучина. Девки и бабы пели хором. Потап иногда подпевал глухим низким голосом. Когда попадалась знакомая, подхватывал и Онька, и купец выводил строго в лад, и стройнела на трех мужских голосах с бабьим высоким перебором, выставала, ширилась песня, текла золотою рекой, из дали далекой уходя в грядущую мглу, угасала, истомив душу, и долго потом сами сидели, слегка ошалевшие, слушая молчаливо, как звенит и зовет, неслышимая уже грубым ухом, замирающая в сердечном трепете дивная красота... Редко певал в хоре Онька! А петь, оказалось, умел и нынче отводил душу, выпевал-выливал на люди все, что накопилось в сердце.

Потом начинали спорить. Заводил Онька, спрашивал у Потапа, что почем стоит в тверском торгу. Почем бобер, да лиса, да рысьи, да волчьи шкуры, почем медведина, скотинная полть, почем хлеб? Сколь и чего надо давать за постав холста да на сколь обманывают его, Оньку, купцы, гости торговые? Зудил обходом, а затем и прямо брал купчину в оборот. Тот то молчал, то отругивался скучливо, то кричал, срываясь:

— Поезди! Из тоя же Твери хошь до Кашина товар довези! В лодью ложишь — лодейнику давай лодейное, раз! На вымолах виру отдай, два! Мужикам, что носят товар, не одно пуло выложишь, три! За место в торгу — четыре! Да как ищо продашь! А вдруг недород,

лихая година, рать ли? Виру дикую емлют с купцей, князев сбор, ордынское серебро... Тебе што, шкуру снял — и концы, а довези ту шкуру до Сарая! Да ордынскому дарге подай, не греши, да князю ихнему, да...— Он отчаянно махнул рукою.— А с серебром как? Нажил — вроде твое, а довезти до дому? Тать ли, боярин лихой — подай и не греши! Ну и шьешь в пояс, куды подале, и дрожишь — доехать бы до дому! А там иньшая труднота: товар купи у гостя новогородского, а он дешево не отдаст, не-е-ет, помытарит тебя! В Торжок не по раз съезди да поклонись, а на чем? Добро, у кого свой конь да обоз! Я-ста на кони, дак на одном и кони! А уж мелкому купцу сугубая труднота: походи к Якиму, али к Руготе, али к Захарье Нездиничу да покланяйсе в пояс! Глядишь, с товаром пошлет по дворам... Ну ладно, привез я товар с Торжка, жонка просит: посидел бы дома, дети заждались! А тебе недосуг, ладишь опять в лодью да в Орду али на кони по волости по Тверской! Дак должóн ему, купчине, быть и прибыток какой али нет? Да на случай беды, разоренья, грабленья от татей — всяко лишнюю гривну в землю зароешь на черной-то день!

— Оно все так! — раздумчиво возражал Потап.— Оно так, конешно! В етом ты прав. А все же лунско сукно да бухарска зендянь кусаютце у вас, у купцей, больно кусаютце! Нашему мастеру в ину пору и охабня не спроворить себе иного, как из домашнего сероваленого сукна!

— Гостей новогородских прижать! За горло ведь держат! От них вся торговля немецка идет!

— А ордынска — ваша! — не отступал Потап.— За камку, зендянь, за атлас могли б и посбавить чуть. Поболе продай да подешевше — и тебе прибыль, и от людей почет! И нашего товару, глядишь, поболе пойдет! Я вот медник, дак моей работы обруди всё в Орду да в Орду! Знаю, сказывали!

— Князь бы един! — возражал, вздыхая, купчина.— Баешь, обруди... Дак до Сарая: в Кашине мыто, в Нижнем иное, и всюду повозное да лодейное дай! Суздальской князь тоже своего не упустит...

— Мы што,— отвечал медник,— мы-то с им,— кивая в сторону Оньки,— и в поход срядимсе, и на рати выстанем. Как уж бояре да князи! А князи наши в размирье произошли, кабы с кем, а то племяш с дядею стола не поделят! Вот и разбегаемся вси по лесам, по

Онькиным хоромам, переждать ентую беду. Добро, хозяин сходливой, принял, не остудил!

Онька низил глаза, сам растаивал от похвалы. Мáстера-то попервости и пускать не хотелось!

О том, что творилось в Твери, вызнавали случаем, от загорян, а те — от заезжих кашинцев. Передавали, что в княжескую котору вмешался епископ Федор, приезжал в Кашин мирить дядю с племянником, что Всеволод будто отступает тверского стола и что Василий Михалыч поехал к нему на снем.

Не ведали тут, как собравшиеся в тверском княжеском тереме воеводы угрюмо шутили, поминая разбегающихся по лесам и починкам смердов: «Эдак-то скоро и на рати станем одни, безо кметей, един противу другого!»

Не ведали, не знали, как Василий Михалыч, кипя неизрасходованным гневом, стучал кулаком по столу, крича: «Как ты смел, щенок! Меня, дядю своего, за бороду! Я тебе в отца место!» (Справедливости ради стоит напомнить, что первым совершил пакость всетаки не племянник, а дядя, ограбив Холм.)

— Дядя! — серьезно вступал Михаил в княжескую прю, глядя в глаза Василию.— Дядя, послушай! Я из Нова Города ехал, дак ладил к тебе первому, переже матери, в Кашин заглянуть! Вота бояре подтвердят!

— Пусть, пущай...— Василий отворачивал взор, сморкался, стихая.— Пущай. Ну, хошь не ты, дак Всеволод!

Епископ Федор, утишая спор, поднял руку:

— Сынове! Братия моя возлюбленная! Послушайте меня, отца вашего духовного! Кого огорчит, кого обрадует ваша пря? Смерд бежит в тихие палестины, гражане покидают домы свои! Не погубите тверской земли! Воспомните, кто вы и роду какого! Помяните, како погибал в Орде от жестокого Узбека святой Михаил! Ты был младенем сущим тогда, Василий! И там, в ужищах и с колодою на шее, не в силах руками достать до рта своего, не в силах ни ночью лечь на ложе, ни сесть путем, ни вкушать горький свой хлеб без помочи отрочьей, позабыл ли он о тебе, малом дитяти? Не заповедал ли города Кашина, не урядил ли землю свою для вас, возлюбленных чад своих? Сынове! Вот ты, Всеволод, и ты, Василий! Мните ли, яко возможет который из вас схватить на миру и поточить в железа другого? Не возлюбить молю я вас

друг друга, но понять, постичь, яко возлюбленни есьте, и во всякой беде и оскорблении — едина семья и плоть! Зрите, яко смерды тверские: и поспорят, и подерутся овогды на пиру в огорчении сердца, но в скорби и обстоянии помогут, поддержат брата своего по заповеди Христа! Именем Михайлы Святого призываю я вас обоих к совокупной любови!. Пусть та пыльная и морозная площадь в чужой земле, во степи незнаемой, у края Кавказских гор, где пролил кровь, где погинул он, великий, где сердце ему вынули, беспощадно взрезав святую грудь, пусть тот день и час и чудо, Господом ниспосланное, нетленно сохранившего тело мученика своего, пусть они воскресают в ваших глазах каждый раз, когда некая пря, и остуда, и горечь затмят светочи ваших сердец и источники взаимной любови замутят облаком раздора! Зрите ли его? Вот он стоит перед вами! И колодка на вые его, яко крест на раменах Христа! Зрите, вот он пред вами, твой отец, Василий, и твой дед, Всеволод!..

Ничего этого не знали, не ведали в Онькином дому. Не зрели, как Василий Михалыч и Всеволод стояли друг против друга, как Всеволод произнес наконец, что отступает тверского стола, отдает власть дяде. Как Василий, бормоча: «Меня за бороду, меня!» — трепал и целовал попеременно племянника, не взаправду, а только чтоб утишить до конца сердце свое, дергая и его за молодую бороду, и соглашался оставить Настасью с чадами в тверском терему и дать им половину тверских доходов: «Не обедняю, чай!»

Не ведали, не знали и не задумывали даже о том постояльцы в Онькиной хоромине, что от их изволенья, от их упрямого бегства вон из города замирились в конце концов тверские князья...

Весело, дружно прожили зиму! Коляне дак даже словно бы и приглянулась одна из Потаповых дочек, и когда по весне дошли слухи о мире промежду князьями тверским да кашинским и гости засобирались домой, стало жаль расставаться.

Купец тоже слово сдержал. Таньша красовалась теперь в распашном, клюквенного цвета, сарафане расписной бухарской тафты. И такая была красивая, такая ладная! Сердце замирало у Оньки от счастья, глядючи на дорогую жену.

На прощании плакали, целовались. Гости звали бывать во Твери. Таньша совала Потапихе и купчихе

пироги в дорогу. Онька вынес мужикам по бараньей лопатке, тому и другому. Долго глядели вослед, стоючи у ворот, пока тяжелогруженый купеческий конь и бредущие за возом бывальщики не скрылись в лесной чащобе.

ГЛАВА 101

Беда не сбила князя Семена с ног. Помогло и то, что Маша вскоре вновь оказалась беременной. И по трудноте первых месяцев, по частым тошнотным позывам и по иным обычным приметам бабьим яснело — будет сын.

Семен послал сторожевые полки к Ржеве и Волоку, берегучись Литвы. Кориада меж тем приглашал обедать к своей, княжеской, трапезе. В марте дошла весть о взятии Орехова. По раскисающим весенним путям прибыло на Москву жданное посольство великого князя Ольгерда.

Семен с верхнего крыльца глядел, как проводили коней под попонами, протаскивали дикого зубра, страшновато поматывающего косматою огромною головой, проносили поставы датских сукон, кубки, блюда, оружие. Ольгерд присылал богатый выкуп за братью свою, предлагал мир и любовь.

Условия мира обсуждали думой. Ольгерд обещал не вступаться в дела смоленские, хоть и то надобно было сказать, что обещаниям Ольгерда верить до конца нельзя было никогда и ни в чем.

Семен пригласил пленных князей на последний обед, скорее пир, заданный послам Ольгерда и отъезжающей на родину Кориадовой дружине. Мария, на правах супруги великого князя, сидела за столом. Семен был сегодня красив, подбористый, строгий. И чем-то перешибал их всех — рослых, плечистых, выше его на голову. Она всматривалась, старалась понять. Дома, в изложне, Семен был не такой — беззащитный, неровный излиха. Властью? И не тем даже. Подумалось: играет? Личину великого князя на себя надел? Но встал Семен, поднял кубок.

— Русь и литва,— сказал,— православные. Единой греческой церкви дети! И те, кто в язычестве суще, огненным богам кланяете,— яко же и мы, русь, допрежь христианских времен тому же Перуну и Сварожичу, рекомому огню,— и вы братия нам и вороги латинам,

мнящим вас покорити! Скажи, Корьяд, и ты, Михайло, скажи: горек ли был для вас хлеб московский? Ныне, отъезжая восвояси, помыслите о сем: лепше нам с вами в мире быти и от тех несытых орденских немец едину защиту имать, нежели губить друг друга во взаимных которах! Тако и брату моему, великому князю Ольгерду, повестите.

Кончил Семен. Сел. Говор пошел по кругу столов, задвигались чаши. И тут постигла Мария: сказал не лукавя то, что думал. А так говорят немногие. И вера была в словах, вера в добро. И сила была в словах: полки наготове стояли под Ржевой, и знала это Литва.

Мир готов был снова сорваться в бешеное верчение злобы; ползла черная смерть по землям Запада, подбираясь к рубежам Руси; ляшский король все еще занимал Волынь, насильно крестя в католичество православных; немцы рвались к Вильне; свеи, разбитые под Ореховом, все еще упирались, не заключая мира; Костянтин Василич Суздальский по-прежнему строил ковы противу Москвы; но тут, в сердце земли, стояла стена нерушимая. Словно заколдованная от горя и ратной беды лежала Владимирская Русь. И только теперь Мария узрела воочию супруга своего за его непростою работой. «Верно, и там, с ханом, такожде! — догадывала она.— Пото и Джанибек его полюбил!»

Вечером, проводив литовских гостей и освобожденный полон, Семен, смертно усталый, сидел, пригорбясь, над останними грамотами. Маша тихо подступила к нему, обняла, стала молча целовать в кудрявый затылок.

— Ты что? — не сразу понял Семен.

— Какой ты был сегодни... красивый! — вымолвила она наконец и, утопив лицо в его волосах, зашептала: — Сема, а ежели опять, вновь... Ты не покинешь меня? Не сошлешь в монастырь?

Он молча привлек ее к себе, посадил на колени.

— Слушай, ладо, я обрел тебя, понимаешь, обрел! Ты моя радость и мой свет! Быть может — искупление мое! Не тревожься ничем! Одна могила... И за могилой, за гробом, все равно я буду с тобой неразлучен! А теперь беги в постелю, устала, поди! А я посижу еще, надо поглядеть, что пишут из Суздаля...

ГЛАВА 102

На свою дочь, Василису, Семен обращал мало внимания. Хоть княжна и не нуждалась ни в чем, но видела отца редко. Долили заботы. В походах, в отъездах он порою почти забывал про нее. Но, возвращаясь, встречал ласковый голубой взор, тонкая девочка, подбегая, ластилась к отцу, расспрашивала, болтала, поверяя Семену нехитрые тайны свои.

Мария сумела найти верный тон с падчерицею. Учила золотому шитью, читала вслух, почасту сидела вдвоем с подрастающей Василисой за пялами и не прежде уходила ко князю, чем проводив и уложив в постелю приемную дочь.

Жениха для Василисы выбрали давно, и она знала о том и даже не по раз виделась с будущим мужем. Это был юный княжич Михайло, сын Василия Михалыча Кашинского, нынешнего тверского князя. В этом году решили наконец справить свадьбу. Годы подошли: невесте сравнялось уже четырнадцать лет, а жениху семнадцать.

Василий Михалыч мог гордиться и оказанным ему почетом, и свойством с великим князем владимирским. Был доволен Алексий, довольна дума: князь, взбрыкнувший было, дабы получить тверскую жену, уступал вновь начертанной его отцом московской политике: от Тверского княжества сперва один за другим были оторваны и переведены под руку Москвы все князья-подручники Михайлы Святого: ростовский, галицкий, дмитровский и белозерский. Теперь дошел черед до уделов самого тверского княжения. Потирали руки Дмитрий Зерно, Акинфичи, Кобыла, Сорокоум, Бяконтовы, Вельяминов, Окатьевы и Редегины — все были именинниками на кашинской свадьбе. Потому еще и справлялась она с особою пышностью, начатая в Москве, продолженная в Твери и законченная в Кашине.

Каждая свадьба в семье зримо передвигает годы. Когда собственная жена ходит тяжелою, вот-вот родит,— ты еще молод и все впереди. Но вот стройная белокосая красавица дочь с литовскими светло-голубыми глазами стоит в венечном уборе в Спасовом храме рядом с семнадцатилетним своим женихом и, вздрагивая долгими ресницами, взглядывает любопытно и пугливо на стоящего рядом жениха, на золотые ризы

митрополита, на свечи, на плотную толпу, согласно волнуемую соборным чувством радостного ожидания.

И ты стоишь, отец этой дочери, и чуешь, как по каплям уходят годы — или уже ушли? Оставив время подвигам, труду и борьбе и не оставив уже или почти не оставив юношеским радостям бытия!

От Спасовой церкви до теремов разложены сукна, стоят гридни, охраняя путь, и, как некогда, как встарь, как всегда, остолпившие красную ковровую улицу посадские жонки запевают прощальное свадебное величание, провожая и славя молодую:

Разлилась, разлелеялась
По лугам вода вешняя,
По болотам осённая!
Унесло, улелеяло
Со двора три кораблика!
Уж как первой корабель плывет
С сундуками-оковами,
Как второй-от корабель плывет
Со камками персицкима,
Уж как третий корабель плывет
Со душой красной девицей!

А в Твери тоже будут сукна до теремов и тверичи станут петь дружное:

Налетали, налетали ясны сокола,
Ой, рано, ой, рано, ой, рано мое!
Чтой садились соколы да все за дубовы столы,
Ой, рано, ой, рано, ой, рано мое!
Еще все-то соколы, оне пьют и едят,
Ой, рано, ой, рано, ой, рано мое!
Счой один-от сокол, он не пьет и не ест,
Ой, рано, ой, рано, ой, рано мое!
Он не ест и не пьет да все за завесу глядит,
Ой, рано, ой, рано, ой, рано мое!
Все за завесу глядит да голубицу манит,
Ой, рано, ой, рано, ой, рано мое!

Голубица-невеста, четырнадцатилетняя Василиса, его дочь. Все, что оставалось ему от Айгусты, литвинки, первой его жены...

А потом невесту с женихом в разукрашенных лодьях повезут по Волге до Кашина. Станут осыпать зерном, сажать на овчину, стелить постель из снопов, заклиная молодых к плодородию, а утром, побуживая, бить горшки о стену. И опять учнут ловить свата и пороть соломенным кнутом, опять будет озорное веселье, многократное для языка русского и однократ-

ное, единое в жизни для каждого из племени русичей, зато и запоминаемое на всю жизнь.

Уехала свадьба, повернулось еще на один оборот колесо времени. Великий князь остался снова один в изукрашенном своем терему.

Год был урожаен на свадьбы, как и на хлеб и иное обилие. В пору прошли дожди, в пору настала жара, в пору, вовремя подступила жатва хлебов. Еще не убрались с хлебом, как пожаловали послы с далекой Волыни, от князя Любарта Гедиминовича.

Поклонясь дарам, бояре литовского князя в долгих праздничных одеждах русского кроя стали в ряд под матицею, огладили бороды. Князь Семен, упрежденный заранее (уже знал, о чем будет речь), сидел в кресле прямой и торжественный в кругу избранных, также празднично изодетых бояр. Ждал. Старший волынский боярин опустил руку с шапкою, поклонил низко, в пояс, рукою достал до полу.

— Здравствуй, великий князь! Мы к тебе не с бедою, не со враждою. Мыслит с любовью к тебе князь наш, Любарт Гедиминович, и просит за себя сестричну твою, дочерь князя Костянтина Ростовского! Будь отцом, будь и сватом, яко старший ты середи всех князей владимирских и без воли твоей не можно ничто сотворити в русской земле!

Послы еще долго говорили, один сменяя другого, и о Любарте, и о богатствах волынского князя, отбившегося от ляхов, и о том, что не станет утеснения дочери Костянтиновой в исповедании веры православной. Семен, слегка склонив голову, слушал, вспоминая сестру Машу, ее легкую твердую поступь, ее стремительный лик, задышливую в последние годы, торопкую речь... И вот теперь дочерь на выданье! Новое поколение упрямо приходит на смену. Что принесет оно себе и Руси? И на миг, только на миг, так не захотелось отдавать сестричну, племянницу, князю литовскому на далекую и уже чужую Волынь! Перемог. Брак был почетным. И честь — в том, что к первому обратились к нему,— была немалая. Кажется, он за протекшие годы, неведомо сам для себя, сумел-таки утвердить уважение к власти великого князя владимирского, сумел без крови и слез, без войн и почти без походов, не теряя людей и не зоря волости. Еще и то стоило взять в ум, что Любарт приходил родным братом покойной Анастасии-Айгусте,

а также крещенному Симеоном Явнутию, и ежели кто из Гедиминовичей мог еще когда-нибудь противустать Ольгерду и утвердить православие в Литве, то это был и это мог единственно князь Любарт. Послам было дано согласие и обещана помочь в сватовстве.

А вскоре иные послы пожаловали на двор великого московского князя. Сам Ольгерд прислал с тою же просьбой «о славном деле, о сватовстве». Отведя приличный срок после смерти первой жены, литвин обращался теперь к великому князю Семену, прося руки свести Семеновой, тверской княжны Ульяны, дочери покойного Александра.

Сватовство Ольгерда застало Семена врасплох. Только что, седьмого сентября, Мария разрешилась от бремени сыном. Младенца, названного Михаилом, крестил сам митрополит Феогност. Все было очень торжественно, для крещения выставили новую серебряную купель, восприемницами младеня были боярыни виднейших родов — Вельяминова да Клавдия Акинфична... И тут к растерянно-счастливому, захлопотанному отцу подступили Ольгердовы послы.

Давний ворог теперь набивался в родство. С кем? С ним, великим князем владимирским, или с тверским домом, домом покойного Александра? И хотелось, ох как хотелось на радостях думать, что с ним, что проученный Ольгерд утих и оставил свои хитрые ковы, что брезжит заря союза восточных православных государей противу общих ворогов... Ох как хотелось верить!

Знал ли Семен, что вскоре последуют иные свадьбы? Что Ольгерд выдаст свою дочь Аграфену за сына суздальского князя?

Что в один и тот же день двадцатилетний тверской княжич Михайло, которого уже теперь боготворит Тверь, женится на дочери Костянтина Василича Суздальского, старого супротивника Симеонова?

И что не о мире с владимирским князем мыслит Ольгерд, а о том, чтобы помочью родственных связей сколотить союз всех недовольных Москвою, взять в кольцо великого князя Семена, объединив против него Тверское, Ростовское и Суздальское княжества, которые вкупе были не слабее Москвы?

Что вскоре начнет он бешеную борьбу в Цареграде и на Руси, ладя оторвать православную Литву от владимирской митрополии?

Что свадьба его на Ульянии Тверской через два десятка лет выльется в союз с Михаилом Александровичем Тверским, дерзнувшим в ту пору поворотить историю, выльется в бои и походы, затопившие кровью всю залесскую Русь?

Конечно, не знал!

Но почуять мог, и почуял, и начал теперь сомневаться в том, что давеча так охотно пошел навстречу Любарту Гедиминову.

Уважительность Ольгердова была неспроста. Настасья, конечно, согласится на этот брак с радостью. Шутка — выдать двух дочек за великих князей! А он, Симеон, мог бы и помешать опасному браку, и это, конечно, предвидел Ольгерд. И не потому ли первым послал к нему свататься князя Любарта?

На совет призвали самого Феогноста. Ольгерд предвидел все. Торжественно заверил, что его будущая жена будет иметь своего православного попа и домовую церковь. Быть может, убедясь в тщете недавних гонений на христиан, крещеный Ольгерд решил опять перекинуться под крыло греческой церкви?

Но и отказать великому князю литовскому, тем паче после свадьбы Любартовой, было почти что объявлением войны. И перед Машею... Ульяна как-никак сестра ей! Представил высокого, осанистого, крупноносого Ольгерда, в полседой бороде,— пятеро взрослых сыновей, шутка ли! — и юную Ульянию рядом с ним, стало нехорошо. И опять, скользом, поглядел на Марию. И он много старше жены, а уже и не чует разницы. Общая постель и заботы семейные скоро уравнивают супругов!

Решило и то рассуждение: Василий Михалыч, нынешний князь тверской, зело не стар. Скоро ли сядет на стол Всеволод? А и сядет, всех-то Александровичей четверо! Нет, не страшен Симеону и Москве Ольгердов брак!

Предвидеть грядущего не может никто, тем паче такого грядущего, которое надвигалось, пока еще незримо, на Владимирскую Русь. И Симеон совершил ошибку, которой не избежал бы, пожалуй, даже его многоумный отец, дав согласие на брак Ольгерда.

А Ольгерд? Величественный, румянолицый даже в старости, с высоким челом, звучным и приятным голосом, исхитренный в знании языков и навычаев многих стран, не пивший ни вина, ни пива, сохраняя тем бод-

рость телесную и остроту ума,— Ольгерд сумел всецело пленить юную Ульянию, ставшую ему верной и преданной супругой. Он был и вправду красив и порою неотразим. По описанию одного немецкого хрониста, прекрасно ездил верхом и только ходил, слегка прихрамывая на правую ногу — черта чёрта.

Ольгерд, как показало время, предвидел все. И только одного — неисповедимости путей грядущих — не мог ни предвидеть, ни рассчитать, ни преодолеть Ольгерд.

Младенец Михаил, сын великого князя Семена Иваныча, прожив всего несколько месяцев, умер от непонятной хвори в исходе зимы того же 1349/50 года.

ГЛАВА 103

— Князь у себя?

— Сожидает.

Слуги, низко склонясь перед митрополичьим наместником, раздвигают занавесы дверей. Алексий неслышно проходит в покои Семена. Ордынские ковры заглушают звуки шагов.

Князь Семен лежит, скинув зеленые сапоги и ферязь, лежит, хотя еще нет скончания дню. Лежит на застланной постеле, а не на лавке, под раздвинутым пологом из палевой восточной камки, прямо на шубном одеяле, кинув под себя домашний холщовый вотол и положивши курчавый овчинный полушубок под голову. Словно и не в опочивальне княжой, а где-то на путях-дорогах, в гостевой избе.

Завидя Алексия, он с видимым трудом встает, принимает благословение и вновь ложится, валится бессильно навзничь, кинув одну руку под голову.

Мария выходит неслышно из опустевшей детской, подходит под благословение Алексия, подвигает ему сама легкий раскладной стулец от налоя, тревожно окидывает взглядом супруга своего, заботно — изложню, лавки, кованые ларцы, книги, нет ли какой нечистоты, брошенной тряпицы в покое? Но все в порядке: и кувшин с квасом, и тарели с коржами и мочеными яблоками стоят на столе. Она удаляется, дабы не мешать мужской беседе.

— Меня все приходят утешать! — хрипло говорит Семен, глядя в потолок. (В покое полутемно, малень-

кие оконца в косоперевитых переплетах, со вставленными кусочками цветной слюды уже померкли, и лишь последние капли дневного света то старым золотом сквозь кружево морозных цветов, то синью, то густым мерцающим раствором гречишного меда пробегают по оконницам. Горит одинокая свеча, и от нее на лице великого князя желтые обводы теней.) — Даве Андрей Иваныч Кобыла приходил... У самого пятеро сыновей, один другого краше и возрастнее.

— Верный муж, и ратен, и прям! — возражает Алексий.

— Знаю. И люблю. А только... Василий Протасьич приходил, с сыном, с Василием.

— Держатель Москвы! — подсказывает Алексий.

— И дети добры у ево, и внуки! — упрямо продолжает князь.— Иван Акинфич меня утешал. У самого четверо сыновей. Василий Окатьич приходил, Афиней, Мина — у всех ражие сыновья, отцова заступа и опора! Михайло Юрьич Сорокоум даве был — трое сынов у старика; твой брат, Феофан Бяконтов, приходил только что, и он не обижен Господом! Ежели мы все виновны, почто я один наказан пред всеми прочими?

— Не греши, князь. Ты — глава, и грех на тебе, а не на их!

— Знаю, Алексий, прости. Тяжко мне. Скорблю и гневлю жалобами Господа моего... Как легко, как душеприятно быть восприемником славы предков своих! Повторять: великая, Золотая Киевская Русь; мыслить себя сонаследником древних доблестей — как легко! И сколь трудно разделять и нести на себе бремя чужое, отвечать на высшем суде за грехи отцов! Я знаю, ведаю,— возвысил голос Семен почти до крика,— ведаю, что должно мне отвечать за грехи отца, ибо ими укреплено подножие власти моей! Знаю, Алексий! — продолжал он исступленно, приподымаясь на локтях, раскосмаченный, почти страшный, с расхристанным, расстегнутым воротом дорогой рубахи.— Знаю! И устал отвечать! Возьми и меня, Господи, изжени света сего, да не буду зреть длящую гибель рода моего!

Алексий поднял предостерегающую руку, возразил сурово:

— Утихни, князь! И не греши более. Наша соборная апостольская церковь учит веровать в чудо. Зри, происходят исцеления у гроба святителя Петра! Даве

опять жена посадская, много лет лежавшая на гноище без ног, получила прощение, приложась с верою к цельбоносным мощам. Зри! Исцеление — это чудо. А чудо — это то, во что христианин может и должен верить во узищах, скорби, плену, даже во тьме адовой, ибо и оттуда вывел единожды на свет божий грешные души горний учитель наш, Исус Христос! Не речем: всегда совершает чудо; не речем: по прошению нашему или по заслугам пред Господом! Да, все в мире идет и проходит, истекая одно из другого, по данным свыше законам своим, как из семени произрастает цветок, дающий в очередь семя свое. Никто же весть, какою благостынею нисходит чудо в наш мир; но и по прошению, но и по горячей вере случает то иногда, ибо слабость наша требует себе опоры, клюки духовной, да не упасть в отчаянии безверия... Помни об этом, князь, и молись! И даже погибая с верою, знай, не забыта, не отринута вера твоя, и на весах судьбы, пред лицом вечности, зачтется она тебе.

— Мне и земле моей нужен молитвенник,— устало ответил, откидываясь на взголовье, Симеон.

— С тем я и пришел к тебе, князь! — негромко сказал Алексий, внимательно вглядываясь в постаревшее лицо Семена.— Чаю, такой молитвенник найден!

Князь оборотил к Алексию недоуменный, настороженный, еще не пробудившийся взор.

— Молодший брат духовника твоего, Стефана,— спокойно пояснил Алексий,— монашеским именем Сергий. Погоди! — остановил он готовый сорваться с губ великого князя возглас безнадежности.— Его надобно пригласить сюда, на Москву, дабы побеседовать с ним. И пригласить должен не я и не владыка Феогност, а ты, князь!

— Я? — Семен провел рукой по челу, словно бы просыпаясь.— Я?! — повторил опять.— Почто? Или веришь, умолит он за меня?

— Не ведаю,— строго отмолвил Алексий.— Не ведаю даже, не ошибся ли я и на сей раз? Живет он в лесу. В пустыне. Жил сперва совсем один, терпя и от зверей, и от бесов, и от татей нахождения. Ныне к нему сбирается братия. Возникла киновия невдали от города Радонежа и от Хотькова. Молю Господа, чтобы и я нашел в нем духовную опору русской земле! Ищу неустанно! Бают знающие Сергия: новый Феодосий суть! А — бог весть! Созови его, князь, для бе-

седы духовной. Лучше раз узреть, чем сто раз услышать. Созови! И, паки реку, не ропщи на Господа своего!

ГЛАВА 104

Боярский сын Рагуйло Крюк, посланный за Сергием (велено было скакать не стряпая), добрался одвуконь до Хотькова монастыря уже в глубоких потемнях. Долго колотил в ворота, кричал: «Князево слово и дело!» Наконец отперли.

Игумен Митрофан в накинутом на плеча одеянии, щурясь, прочитал грамоту, покивал головой, промолвил:

— Из утра уж...

Крюка накормили, уложили почивать в гостевой избе. Намерзший, поотбивший дорогою бока, он долго ворочался, уминая сено под тюфяком, вздыхал, не мог уснуть. Вставал, пил воду из дубового ведра. Наконец удумал помолиться. Ставши на колени, в лампадной полутьме покоя пробормотал «Богородицу», «Отче наш» и «Верую» — все, что знал. С того, кажись, полегчало. Уснул наконец.

Утром, еще в сумерках, проснулся, будто толкнули. В дверь и вправду стучали. Служка созывал к игумену. Рагуйло торопливо замотал портянки, натянул сапоги, вздел зипун, прокашлял, приосанился: все же от великого князя послан, не как-нибудь!

Игумен принял его в своем покое, перечел грамоту, переспросил, полюбопытствовал о Стефане, отозвавшись с уважительною похвалою о знаменитом богоявленском игумене, впервые восприявшем свет иночества в стенах Хотькова монастыря... Виделось, что Митрофан не понимал и сам толком, для чего Сергия, Стефанова брата, созывают к великому князю владимирскому. Не затем ли, чтобы переманить в обитель Богоявления? Но при чем тогда великий князь? Игумен Митрофан вздохнул. Когда-то со страхом оставив своего постриженника в лесу (не чаял и живым узрети), он теперь уже и полюбил юного старца, и привык к нему, и с гордостью сказывал о нем приходящим в монастырь. Не по раз в мороз и метель сам хаживал к Сергию в лес со святыми дарами, дабы отслужить укромную литургию в лесной церковушке для единого брата внимающего; и дивно казалось, и странно, и — хорошо! Словно бы в древних житиях. И в сей час

понял неложно, что ежели уведут от него Сергия, то и он, игумен Митрофан, осиротеет тою порой.

Но князев наказ следовало исполнить! Игумен сам оделся в толстый дорожный вотол, принял посох и в сопровождении еще одного брата пошел впереди княжого гонца по едва заметной тропинке в лес.

Рагуйло Крюк сперва ехал шагом вослед инокам, потом спешился, повел коня в поводу. Натоптанная людьми тропинка проваливала под коваными копытами коней. Спотыкались кони, а Рагуйло думал со стыдом, что теперь инокам забродно станет ходить по испорченной, в яминах и провалах дорожке своей, что вилась и петляла, ныряя под низко опущенные лапы елей, то выбегая на угор, то просачиваясь частолесьем, где только и можно было пройти человеку, почти задевая плечами плотные стволы молодых елок. Пятнадцать верст до обители Сергиевой шли с лишком четыре часа. Уже поднялось промороженное солнце, просунуло сквозь покрытые инеем стволы свои лучи, осветило лес, осеребрило снега и уже, подымаясь выше, начало пригревать, трогая нежданным предвесенним теплом плечи путников, когда наконец дорожка, сделав еще один извив и поворот, выбежала к горе, покрытой еловым лесом, грива которого обрывалась в белую от кудрявого инея долину ручья, сплошь в круглящихся купах дерев и оснеженном тальнике.

И небо расступилось вширь до дальнего лесного окоема, и облака, растаяв, разбрелись белыми барашками по синему полю, открыв высокую небесную твердь, и выглянула из-за елового заплота островерхая крохотная церковка, ясно повис в голубизне зимнего дня осиновый, светло тающий в воздухе крест над луковкою главы в узорном лемехе.

— А вот и старец! — примолвил спутник игумена Митрофана.

От реки с водоносами на коромысле подымался молодой рослый монах в суконном зипуне. Сложив руку лодочкой и остоявшись, он оглядел издали путников, темных на сияющем снегу, и вновь двинулся со своими водоносами в гору.

Скоро дорожка привела их к ограде монастырька. От лошадей валил пар. Крюк, поискав глазами, накинул повод на один из заостренных кольев ограды; выпростав свернутые попоны, накрыл ими спины коней. Пока возился, монашек уже зашел внутрь и выливал воду в

кадь. Игумен Митрофан с братом тоже были в ограде. Рагуйло обогнул угол, отворил калитку. Дворик был чисто выметен, выпахан снег. Две кельи стояли рядом в ограде, третья — чуть поодаль. Рагуйлу встретил старец, ветхий деньми, глянул подслеповато, зазвал в хижину.

Митрофан с братом сидели, грея руки над золотою грудою уголья истопленной черной печи. Молодого монаха, что носил воду, однако, и тут не было.

— Брат Сергий скоро придет! — пояснил старик инок.— Пошел созывать братию, дровы рубят!

Из разговора иноков Крюк понял, что игумен Митрофан явился сюда недаром и собирается отслужить обедню, зане в пустыньке до сих пор не было своего священника.

— А как же...— Крюк мыслил, что посадит инока на коня и тотчас поскачет с ним на Москву. Великий князь любит, чтобы службу сполняли быстро, без волокиты лишней, и уже гадал, не станет ли его бранить боярин. Но старый монах, поняв недосказанное Крюком, отмолвил просто:

— Ты, коли хочешь, скачи! Сергий все одно на конях никогда не ездит. Пойдет пеш, а будет заранее тебя на Москве!

Крюк хмыкнул. Так и скакать, не видаючи чудно́го мниха, за коим послан?

— Да нет, пожду! — пробормотал, не ведая, как ему тут себя вести. Ни грубости, ни начальственного крика в монастыре явно не признавали.

Скоро из лесу гуськом подошли несколько братьев. Низко поклонились игумену Митрофану, принимая благословение. В негустой толпе братии (Рагуйло Крюк все не мог взять в толк, который из них Сергий) были и молодые и старые. Крюк двинулся было к одному, посановитее на вид, но тот глазами молча указал на молодого инока, который с чем-то возился у крыльца. Оказалось, попросту засовывал топоры под застреху. Инок поглядел на Крюка ясным остраненным взором, безо всякого вопрошания в глазах, явно и не улыбаясь, и не хмурясь лицом, нагнулся, поднял уроненную лопату, приставил ко крыльцу.

— Почто зовет меня великий князь? — спросил негромко, но так, что не ответить было нельзя.

— Почто? — Крюк смутился. Сам не ведал да и не задумывал о том: зовут и зовут! Стало — надоть чего

князю великому... А монашку етого не объяснишь! И Крюк испугался: а ну как возьмет да и не поедет?

— Коней-то почто сюда вел? — укорил монах.— Оставил бы в Хотькове, все одно дорога тут не проездна, а пешеходна!

— Дык, тово, тебе конь...

— Кабы и я ехал на коне, все одно от Хотькова! — возразил монах.— Братии ходить, а ты путь истоптал! Коли от князя скачешь, не боись, что без коней не признают тебя!

Крюк медленно алел, красная краска стыда помимо воли заливала лицо. Пробормотал:

— Прости, отче!

— Не в чем прощать мне тебя, сыне! — возразил монах.— Дело мирское, в миру о том помнить должен: путника не обидь и князеву честь не роняй! В церкву пойдешь?

И Крюк, за минуту до того совсем не собиравшийся в церковь, торопливо кивнул головой.

Втиснувшись в тесный бревенчатый храмик, он стал позади всех, обминая шапку в руках, посапывая. Согласно со всеми склонял голову, крестился и клал поклоны. Иноки пели стройными голосами, и его понемногу охватывало странное успокоение. Да, он послан от князя. И это очень важно, но еще важнее сперва отстоять обедню в этом монастыре (и зря он, в самом деле, мучал коней), хотя бы и ждал его князь, хотя бы и выругал боярин. А почему важнее — он не знал, не задумывал даже. Было важнее, и все. Монахи причащались, он ел из утра и потому только поцеловал крест.

Окончив службу, так же гуськом пошли обратно в келью. Крюк выскочил к коням — повесить тому и другому торбы с овсом, но торбы уже висели на конских мордах, и кони смачно хрупали, переминаясь. Кто-то успел позаботиться о конях прежде него.

Молодой инок, которого называли Сергием, неторопливо подошел с водоносом, поставил бадью перед мордою коня, напоил первого, поправил торбу, мягко отстранив Крюка, начал поить второго.

В келье монахи уже сидели за общею трапезой. Крюк удивился еще более, но, впрочем, скоро понял из разговоров, что общая трапеза и тут не была в обычае, а лишь затеивалась по случаю прихода игумена Митрофана. Не хватило хлеба, и кто-то побежал за ним в соседнюю келью. Прочли молитву, разлили

по деревянным мискам похлебку из репы с луком и постным маслом, положили перед каждым хлебный ломоть, налили кислого хлебного квасу. Изрядно оголодавший Крюк и то покрутил головой: «Ого! Не набалованы тута, видать, мнихи!»

Солнце уже низило, пуская сквозь стволы елей последние свои лучи. Посовещавшись, Митрофан со спутником решили заночевать. Крюк неволею остался тоже. Коней уже кто-то завел за ограду, выстроенную на совесть,— верно, от волков, медведей ли. Сергий отдал свою постель Митрофану, потом на полу кельи настелили холодного лапнику, притащили рогожу, сверху разостлали зипуны, что было, и все улеглись спать. Дотрещав, загасла последняя лучина в светце. И только Сергий еще стоял в темноте, шепча про себя молитву. Наконец, когда Крюк задремывал, улегся и он. Крюку сильно хотелось расспросить и про монастырь, и про самого Сергия, но он побоялся тревожить спящих иноков. Решил: из утра спрошу!

Однако утром Сергия уже не было в келье. Рагуйло напрасно вертел головою.

— В Москву ушел! — пояснили ему.— Торопись, а то не успеешь за ним. Он ить лесами пойдет, на лыжах!

Грубые самодельные лыжи, вроде охотничьих, плетенные из ивовых прутьев и обтянутые лыком, Крюк приметил еще с вечера. Теперь же их не было в избе. Наскоро поснидав, он вывел коней и, не сожидая игумена Митрофана, повел их прежнею тропкою. Впрочем, как ни торопился Рагуйло, времени не выиграл. Когда он, мокрый, как пуганая мышь, подходил к Хотькову, монахи уже нагоняли его.

Отказавшись от трапезы и отдыха, Крюк вскарабкался в седло и погнал изо всех сил запаренного коня и гнал всю дорогу, пересаживаясь из седла в седло. И все же, когда поздним вечером на спотыкающемся жеребце въезжал в Кремник, уже от знакомого сторожевого узнал с невольно упавшим сердцем, что недавно пришел молодой мних — «чуднóй такой!»,— которого, расспросив, тотчас проводили в покои великого князя.

ГЛАВА 105

Сергий сумел обогнать своего гонца потому еще, что почти не спал и вышел в потемнях. К тому же он

хорошо ведал лесные пути, да и лыжи сослужили ему добрую службу.

Прохожего монаха не задержали у внешних ворот Кремника, а когда он, озираясь, подошел к воротам княжого терема и спросил, не здесь ли игумен Стефан, присовокупив, что он зван к великому князю, то один из сторожевых, взявшихся было с хохоту за бока, услышав имя Стефана и вглядевшись в странника попристальнее, воскликнул: «А ну постой! Знаю игумена!» — и, отпустив второму весельчаку затрещину (не шути над иноком, раззява!), развалистой походкою заспешил к теремам. Подбежал боярин, коему наказано было встретить монаха, захлопотал, повел Сергия за собой.

Сергий вошел во дворец, озираясь по сторонам. Он почти был уверен тотчас встретить брата и потому только и не завернул прежде к Богоявлению, как собирался дорогой. Он с удовольствием присел (все-таки поболе семидесяти верст оставлено за спиною!), не отказался и от трапезы, предложенной ему в молодечной княжого дворца. Боярин, сожидавший Сергия, растерялся было, но сам сообразил, что путника прежде следует усадить и накормить, а тем часом повестить о его приходе князю, игумену Стефану и наместнику Алексию. Рагуйло Крюк сумел запоздать как раз настолько, что у боярина отошло сердце и дело окончилось для него хоть и не с наградою, но и без выволочки.

Гость, однако, отодвинул от себя жирные мясные шти, ограничась хлебом и квасом. Боярин, ругнув себя самого (как сообразил монаху мясное подать!), расстарался притащить мису вчерашней разогретой окуневой ухи, и Сергий с веселыми искрами в глазах, только чтобы успокоить боярина, выхлебал деревянной ложкою и ее тоже.

Непривычная сытость клонила в сон. Сергий слегка отвалил к стене, расслабив тело, закрыл на минуту глаза. Заставил себя ни о чем не думать, погрузившись в глубокий покой внутренней тишины. И пока захлопотанный боярин, все еще слегка сомневавшийся, того ли он, кого должно, принял и угощал, бегал в верхние горницы дворца, Сергий спал, или, вернее, пребывал в сосредоточенной полудреме. Нескольких минут ему хватило для отдыха, и когда боярин вновь явился перед ним, он уже был снова бодр и свеж, как давеча.

Спросив, где здесь домовая церковь, Сергий, оставя серую свиту и мешок в молодечной, поднялся вслед

за боярином в терема, прошел длинными лестницами и переходами. У порога княжеской домовой церкви, оборотясь к боярину, сделал ему знак оставить себя одного, и боярин, с некоторым сомнением окинувши княжескую церковную утварь из золота и серебра, послушно отступил, прикрыв за собою двери. Что-то было в этом молодом мнихе, заставлявшее без ропота подчиняться ему.

Тут, в церкви, стоящего на молитве, и нашел брата Стефан. Они обнялись, презрев уставные правила, потом уселись на лавку в крохотном притворе, и Стефан торопливо поведал брату о семейных злоключениях великого князя владимирского, стать духовным лекарем коих сам он затруднялся ныне.

Сергий выслушал молча. Узнав, что за ним посылали с ведома и по совету Алексия, вскинул мгновенный пристальный взгляд на брата. Стефан вдруг как-то иссяк, не ведаючи, о чем еще говорить с Варфоломеем. Начал сказывать о своих многовидных обязанностях и трудах. Младший брат был как бы тот и не тот (и это связывало Стефана, сбивало с мысли и речи). К прежнему, простому и ясному, присоединилось нечто, словно бы отлитое из прозрачного индийского камня. Все зримо, все видно насквозь в сияющих гранях, а уже не порушить, не достать, не тронуть рукой. Сергий внимал, не перебивая, спросил только:

— Тяжко тебе, Стефан?

И Стефан, начавший было незаметно для себя прихвастывать, опустил голову, кивнул и ответил:

— Да.

Алексий вошел в притвор церкви быстрым своим, стремительным и легким шагом. Братья встали. Алексий, благословляя, пристально вперил взор в младшего. Он давно уже умел с первого взгляда понять человека до самой его глубины, но тут было нечто и его сбившее с толку. Перед ним стоял молодой муж, почти юноша, и глядел открыто, твердо, ничего не скрывая в себе. Готовно сожидал вопрошаний. Он только что прошел пешком десятки поприщ пути, прошел потому, что его позвали и, стало, он надобен зачем-то ему, Алексию, и великому князю Семену. И вот он здесь, чтобы исполнить просимое, быть может, произнести всего несколько слов и уйти.

Алексий все продолжал глядеть на Сергия, задумавшись. Ведь он знал, он этого и искал многие годы! По-

чему же теперь он растерян и не ведает, что сказать, о чем повестить? Был бы перед ним муж, убеленный годами, от лица коего струился бы вот такой же точно ясный и белый свет, он бы, может, просто простерся ниц и попросил благословения. Быть может, и сейчас только это и надобно содеять? Да! Именно это! Как поступали древние старцы в пустыне Синайской, встречая брат брата, как содеял бы, верно, святой Антоний на месте его, не величаясь саном своим, ниже возрастием, ни даже святостью, ибо... ибо...

— Благослови меня, отче Сергий! — вымолвил он наконец. И Сергий молча, готовно поднял благословляющую десницу, произнеся краткие уставные слова. И тем уравнял. И, уравняв, снял с души Алексия нужную тяжесть власти. Как-то разом и вдруг попростело. Они уже все трое уселись на узкую лавочку.

— Мне Стефан уже все поведал,— вымолвил Сергий.

— Великий князь очень хочет видеть тебя! — возразил Алексий.— Но после столь тяжкого пути? Ежели завтра?

— Я не устал,— сказал Сергий.— Вернее, уже успел отдохнуть.

Алексий помедлил, встал. Он уже понял, что Сергий всегда говорит и будет говорить только правду. Двинулся было к выходу, но передумал и кивнул Стефану:

— Повести ты великому князю, что Сергий здесь!

Стефан вышел, Алексий с Сергием остались одни. И тут Алексий содеял то, что уже давно хотел содеять, но не мог при Стефане, дабы не обидеть богоявленского игумена. Опустился на колена и молча простерся ниц у ног Сергия.

— Владыко! — услышал он ясный и негромкий голос над своей головою.— Недостоин есмь поклона твоего и несвершен годами пред тобою! Встань, владыко! Приду я, и придет другой, и не изгибнет русская земля, и не престанет свет! Встань, владыко, достоит мне лежать ниц пред тобою!

И когда Алексий поднялся, смущенный, Сергий сам легко опустился на колена пред ним, коснувшись грубою скуфьею церковного пола. И тотчас поднялся с колен, улыбаясь. И опять стало просто. И все было сказано, на что не хватило слов.

— Князь жаждает утешения? — спросил Сергий.

— Он хочет чуда! — возразил Алексий.

— Чудо исходит от Господа, но не по просьбе людей!

— Ведаю. Пото и позвал тебя.

— Опять реку, владыко, недостоин есмь! Я могу помолить Вышнего, как и всякий другой инок на месте моем.

— Только этого и хотят от тебя, Сергий! — Помедлив, Алексий добавил тихо: — Изреки ему что-нибудь, ты возможешь... Дай князю покой!

— Скажи,— перевел речь на другое Алексий,— не мыслишь ли ты, что киновийная жизнь не крепка без общежительного устава студитского, заброшенного ныне на Руси?

— Мыслю, владыко! — отмолвил Сергий.— Но не возмог един убедить братию в том.

— Коея помочь надобна обители от меня?

— Все у нас есть, владыко, а лишнее не надобно иноку!

— Я ждал этого ответа, Сергий, и все-таки... Быть может, книги, свечи, утварь церковная?

— Егда не хватает свечей, горит лучина. А книги, потребные к исправлению церковному, у нас есть. Есть Евангелие, служебный устав, Октоих, труды Василия Великого... И не в книгах, а в подвигах во имя господне иноческое бытие!

— И этих слов я ждал от тебя, Сергий! Но не отринь хотя бы благословение наше!

— Владыко, разве можно отринуть благословляющего тебя, не согрешив пред Господом?

Скорые шаги Стефана уже послышались со стороны сеней. Алексий выпрямил стан, собираясь к делу. Подумал: вот так бы сидеть иногда рядом с ним или стоять на молитве, даже и не говоря ни о чем, просто знать, что он — рядом с тобой! Стефан вошел, повестив громко:

— Князь великий сожидает к себе!

Оба встали, согласно осенили себя крестным знамением и направились вослед Стефану в княжий покой.

ГЛАВА 106

В изложне государевой ясно и жарко горели свечи. Палевый полог кровати был пристойно задернут. Мария вошла, когда уже гости расселись, подошла под благо-

словение сначала к Стефану, потом к Алексию, наконец, помедлив, к молодому иноку в грубом дорожном подряснике, вгляделась ему в глаза, сморгнув долгими ресницами, вздрогнула, произнесла тихонько:

— Благослови, отче!

— Благословляю тебя, жено, и благословляю плод чрева твоего! — серьезно, почти словами молитвы ответил Сергий. Мария вдруг легко опустилась на колени и поцеловала руку Сергия. Встала, глянув на изготовленный стол с рыбными закусками (к коим, впрочем, так и не притронулся никто), глянула с тревогой на мужа, вышла вон, тихо притворив дверь.

Князь Семен все рассматривал Сергия. Почему у него такое белое лицо? С дороги, с постоянного голода? Впрочем, инок отнюдь не выглядел заморышем: широкий в плечах, он легко, не горбатясь, держал свой стан и выглядел свежим после долгого своего пешего путешествия (о чем князю Семену не замедлили повестить.)

— Почто гость не на кони прибыл? — спросил он все-таки, только чтобы начать разговор.

— От пострижения моего положил я завет ходить ногами, якоже и горний учитель наш Исус Христос! — ответил инок, смягчив суровость ответа светлою улыбкою лица.

А лицо и вправду белое у него, словно бы сеяная мука или снег — или свет? Светлое! «Светоносное»,— скажет поздним вечером, проводив гостя, Мария. Семен сам не увидел света, ему казалось только, что в лице инока была необычайная белизна.

Вот они сидят все перед ним: седой, сухоподобранный, словно бы застывший в годах на века Алексий, его совесть, и зов, и совет, и укор; Стефан, коему поверяет он тайны свои и который умеет слушать, и изречь, и утешить порой; и третий, юный, неведомый, пред которым Маша только что невесть почему опустилась на колени...

Вот они сидят и ждут, а он сам ждет. Утешения? Ободрения? Веры?

«Все ли сказано этому иноку?!» — гневает про себя князь, не понимая уже, зачем звал, зачем послушал Алексия. Еще один монах, еще одна исповедь...

— Я позвал тебя...— начинает он затрудненно, сдвигая сердитые складки лба.

— Прости, князь! — перебивает его молодой инок.— Мне уже все ведомо от брата моего Стефана!

— И что скажешь ты, что изречешь? — спрашивает Семен, желая (и не желая вовсе) услышать новые слова утешения, новые ободрения и призывы к твердости духа... И Алексий взглядывает на Сергия сожидающе,— он, верно, тоже хочет тех утешительных слов.

— Кару господню надо принимать без ропота,— говорит молодой монах.

— Кару? — переспрашивает Семен. Ради гостей он приодет и причесан, в зеленом травчатом шелковом сарафане, в тимовых сапогах, шитых жемчугом, но в душе его та же прежняя сумятица чувств, и он не враз и не вдруг понимает молодого инока.

— Для чего ты позвал меня, князь? — спрашивает инок в свой черед.— Любой чернец скажет тебе то самое, что скажу тебе я. Надо трудиться, прилагая все силы свои, до последнего воздыхания, не лукавя и не ленясь. И тогда воздастся тебе то, что должен ты получить по изволению свыше! Так пахарь взрывает землю, и сеет зерно, и знает сроки свои, и верит, что взоранная пашня не зарастет лебедою, что семя взойдет и что хлеб не сгниет на корню. И зная, веря, уповая, все-таки отдает пашне все силы свои, так что и не спит и почти не ест порою. И это каждый год, и всю жизнь, невзирая на тощие лета, на дожди и мразы, губящие обилие, с единым упованием — Господу Богу своему. И пахарь вознагражден всегда, ибо жив народ и хлеб не иссякает у трудящегося в поте лица своего. И это чудо, ибо помысли, князь: единое лето токмо не была бы засеяна земля, и единым летом окончил бы гладом дни свои русский народ! Но прошли века, и лихолетья, и беды, и еще не настало лета без засеянных нив и без урожая хлебов! Тут недород, там война — привезут из соседней земли, из соседней волости. Кольми паче мы все, кормящиеся со стола пахаря, должны работати ближнему? И ты, князь, не прежде ли всех?

— А ежели — прилагаю труды, и пасу, и храню, но за грех, прошлый, минувший грех казнит и казнит мя Господь?

— Ты созвал меня, князь, сюда повестить мне что или спросить? Паки повторю реченное: кару надо принимать без ропота.

— Но свобода воли? Добрые дела? Значит, все тщетно и все предопределено свыше?

— Предопределенное — предопределено, прежде

всех век! Об этом тебе глубже и вернее речет брат мой Стефан. А кара дается за грехи, совершенные в мире сем, а отнюдь не прежде всех век, не до создания мира! Только и то скажу: человек не один в мире, он отвечает и за род, и за народ, и за язык свой — за всех, ибо все вместе и вкупе. И это тебе ведомо, князь! Бояре в думе твоей гордятся делами предков, по местническому счету емлют почет и должности, по грехам предков теряют места и почет. Тако и Господь наказует за грехи обчие! Может и весь народ казнить за нечестье царей своих, может и царя казнить за грехи народа. Помысли о сем: ты что бы предпочел, князь?

— Труден твой выбор, монах, страшен и вышний суд! — мрачно отмолвил Семен, опуская голову.

— Нет! — светло и спокойно возразил Сергий.— Ведь не страшно тебе принимать воздаяние за праведные дела других? И о том помысли такожде: можно ли христианину думать о себе только? Тому, кто неложно служит Господу, монах он или мирянин, смерд или князь, все одно надлежит отвергнуть самость, забыть о величестве своем, ибо никто не выше небесного отца, и работати ближнему, забывая себя самого! Опять скажу: не трудно сие! Взгляни окрест и помысли, княже. Не токмо монах, но и всякая жонка в дому в печаловании о муже и детях не забывает ли о себе самой? Не есть ли этот пример вседневный всем нам в укор и в поучение?

Семен сидел, опустив голову. Монах говорил обычное, ведомое любому и всякому, но говорил необычно: получалось, что весь народ, все окрест него живущие, христиане суть и только он, князь, в гордыне своей мыслит надстоять над прочими, величаяся своею бедою. Мысль была несносна и рождала в его душе тягостный, быть может, греховный отпор.

— Но, значит, ежели свершено зло и кара неизбежна,— спросил он угрюмо и прямо глядя монаху в глаза,— то напрасны и наши старания, тех, кто проклят свыше?

Сергий улыбнулся в ответ.

— Сам же ты не мыслишь этого, князь! — отмолвил с дружелюбным упреком.— И веришь, и хочешь видеть детей своих чистыми от греха? Как же ты добьешься сего, ежели покинешь всякое упование?

— Ну, а злых,— не уступал князь,— тех, кто лишь

для себя? Почему не наказует их Господь, иногда награждая и долгожитием, и роскошью в мире сем?

— Нашими ли смертными очами видеть истину? — усмехнулся Сергий.— Ежели у кого отнята жизнь вечная, долог ли для него самый долгий земной век? А дальше — пустота, ничто!

— Но ежели таковых много? — князь подался вперед, вперив в монаха свой лихорадочный взор.— Не реку о себе, но ежели таковых много?!

Сергий осуровел лицом.

— Надобно помнить,— сказал,— что праведный неправеден есть, ежели снял с себя ответственность за грехи мира. Искуплением — покаянием, кровью, жертвою — смываются грехи. Христос сам взял на себя зло мира, взойдя на крест. Путь указан! И непрестанен путь жертвенности. Опять не надо измысливать излишней трудноты, князь! Такожде вот мужики идут на войну не с мыслию о наживе и грабеже, но зная, что идут умирать, защищая землю свою. Идут принести жертву за други своя. И чья жертва святее, те и побеждают в бою. Я говорю о главном. Надобны и тщание воевод, и оружие доброе, и обилие; и порты, и кони. Но и на все то такожде потребна вера и воля переже всего, дабы сотворить и, сотворивши, доставить, не расхитивши непутем. Трудитеся со тщанием о Господе, и воздастся вам!

— Инок! Помолись обо мне! — тихо просит Семен.

— Я уже благословил супругу твою, князь, и твое будущее дитя! Но молись и ты, молитва моя не святее иньшей. Не ослабы — набольшей трудноты и воли к преодолению ее надобно просить.

И почему Семен, не чаявший делать этого еще минуту назад, вдруг стал на колени и, стоя так, не стыдясь ни Алексия, ни Стефана, робко принял благословение от юного годами инока, непонятного ему и непонятно как, не говоря совсем утешительных слов, успокоившего великого князя, словно передав Семену часть своей незримой силы, часть света от своего светлого лица?

Выходили в глубоких потемнях. Сергий, отказавшись от возка, направил стопы к Богоявлению, дабы, соснув на мал час в келье Стефана, в сумерках раннего утра уже идти по дороге прочь от Москвы и вскоре, обув лыжи, унырнуть в лес, чтобы уже поздно вечером вновь

читать часы в крохотной церковке в своей лесной далекой обители.

А у князя Семена с Алексием назавтра состоял о Сергии разговор.

— Мало их, и живут в ужасающей бедности, верно, как апостолы первых времен,— рассказывал Алексий слышанное от игумена Митрофана.

— Помочь им обилием? — готовно отозвался Семен.

— Нельзя. И не надобно! — со вздохом отверг Алексий.— Пробовал я... Вот что получилось из того!

Князь, нахмурясь, отвел глаза. Оба они любили Стефана и оба поняли недосказанное.

— Сложен и неуследим путь святости и подвига! — продолжал Алексий.— Надобно токмо не подавить, не сломать его в самом истоке, как редкое растение цельбоносное, на которое опасно наступити ногою. Не трогай его до поры! А там и возьми, и прими в себя благая и добрая, и вылечит тя! Тако и праведник в мире сем: от него, егда произрастет и выстанет, истечет свет надмирный и спасение во гресех сущим!

ГЛАВА 107

Казалось, легче усмирить Ольгерда, чем своего соседа, Костянтина Василича Суздальского. Опять возгорелась пря — теперь из-за великокняжеских вымолов в Нижнем, с которых князь Костянтин требовал платить ему мытное и лодейный сбор. Возгорелась пря о причте церковном — праве митрополита и великого князя рукополагать и назначать церковных иерархов Суздалю.

По весне по полой воде княжеские насады опять устремились в Сарай.

Маша была на сносях, на сносях была и Шура Вельяминова, жена Ивана. Московскому дому надобны были наследники, сыновья. Он уже понимал, что всему московскому дому, а не ему одному,— и все-таки...

Из Нова Города опять пришли тревожные вести. После победоносного похода под Выбор и заключения мира со Свеей новгородцы вновь совершили переворот, сместив славлян — сторонников Москвы. Не встанет ли новая пря с Новым Городом? Отец завещал: «Держи, и даже когда станет до ужаса трудно, все равно держи!» Вот он и держит. И, кажется, добился немалого.

Неужели жизнь — это только долг и труд? Должно,

так! Попросту в молодости, когда изобильно кипение сил, кажет, что в жизни есть и утехи, и радости бытия. А есть только долг и труд, подвиг, непрестанное усилие, освободить себя от которого — значит попросту умереть. И ничего нет иного. Все прочее — мара, обман, змеиная пляска восточной рабыни, непонятные слуху стихи, все то, чем прикрывает Джанибек царственное одиночество свое.

Вот он вновь оставил любимую жену, хоть без нее и не может жить, и плывет в Орду судиться с суздальским князем, который расстраивает Нижний, который тоже хозяин, быть может, получше него, Симеона... И все одно не можно ему уступать, иначе не стоять земле! Надо, как прежде, держать Ростов, готовый откачнуть к Суздалю, посылать бояр, хитрить, в срок отвозить дани...

Джанибек встретил Симеона ласково. Вопросил:

— Я отослал к тебе Ольгердова брата, почему ты не убил его? — еще спросил: — А ежели бы тебе попал в руки сам Ольгерд?

— Верно, отпустил бы и его! — устало отмолвил Семен.

— А он тебя? — лукаво возразил Джанибек.

— Не ведаю. Спроси самого Ольгерда! — отозвался Семен.— Быть может, он бы меня и не отпустил!

Джанибек вновь и опять поддержал Симеона. Костянтин Суздальский был вызван в Сарай и отныне должен был считать себя младшим братом великого князя московского. Подписали грамоты. Вскоре состоялся в Переяславле съезд о причте церковном, на коем вновь одолела Москва.

Похоже, незаметно для себя самого Симеон подчинил-таки наконец с помощью хана братьев-князей единой воле Москвы или, во всяком случае, становился уже близок к этому.

Из Орды возвращались посуху. Степь уже выгорела, выцвела. Желтыми островами стояли ломкие пересохшие травы. Низовой горячий ветер тянул и тянул, неся мелкую пыль. Чтобы полюбить эту землю, эти травы, надобно было родиться здесь, и всю жизнь гонять стада коней и отары овец, и всю жизнь прожить в юрте, а не в бревенчатой избе, и не видеть леса, озер, извилистых чистых рек, не слышать серебряного далекого звона праздничных колоколов над Боровицким холмом... Все-таки у него было все это, и жизнь, несмотря на горечь свою, была хороша!

На Москве ломали и строили, возводили каменный

притвор Спасовой церкви. Княгини выехали на Воробьевы горы, где были дивный воздух и тишина.

Александра Вельяминова разрешилась от бремени первой. Двенадцатого октября родился у Ивана сын, нареченный Дмитрием. Вельяминовы, всею семьею, ходили именинниками, хоть и мало кто мог догадать в ту пору, какая судьба ожидает новорожденного княжича, да и вовсе не думал никто!

Великая княгиня Мария разрешилась от бремени в начале зимы, с первым снегом. Сына назвали Иваном, в память деда, Ивана Калиты. Младень благополучно сосал грудь кормилицы, избранной целым боярским синклитом, и упорно, невзирая на все страхи родителей, оставался живым.

Мария всерьез повторяла, что это совершилось по молитвам святого Сергия.

Земля расстраивалась, богатела, полнела людьми. Костянтин Василич, потишев после ордынской сшибки, начал выводить людей на пустые земли по Суре Поганой, деятельно заселял край. Людей хватало. Муромский князь Юрий Ярославич обновил едва не с прошлого века запустевший Муром, поставил княжеский двор в городе, на горах, обновил церкви, украсив иконами и книгами. Муромские вельможи, купцы, смерды, взираючи на князя своего, начали рубить хоромы в возрожденном городе.

Полнилась земля! Все новые росчисти, новые починки и деревни возникали кругом Москвы. Умножались мытные сборы, тучнела торговля. Еще год, вырванный у беды и войны, сосчитывал для себя Симеон, озирая со стрельницы возросший город.

А беда уже шла, уже черная ее тень, обогнув западные страны, коснулась русской страны. Летом открылся мор во Пскове.

Ветер-вестник шумит над землей. Он пришел издалека, он видел Солнечный Град, Сринагар, в далекой Индии, откуда прикатила беда, он видел трупы купцов на дорогах, он пришел повестить, что наплывает беда.

Ветер гудит в высоких кровлях, тяжко рокочут, хлопая друг по другу, тесовые драни на крыше княжого терема. Ветер гудит, завывает в дымниках, ветер вжимает, стараясь выдавить, слюдяные оконницы.

Мария кормит сына, поглядывая с тревогой наверх. Там что-то грохочет, тонкие струи холода ползут по

покою, колеблют желтые огоньки свечей в стоянце. Князь подымает от налоя заботное чело, слушает ветер. Ордынская грамота у него в руках трепещет, чуя застенное дыхание далекого холода. Гудит, высокими голосами переговаривает где-то вверху, колотит и рвет и вот уже с тяжким грохотом рушит куда-то вниз, уносит дощатые кровли. В сумерках на красном, цвета крови, разливе вечерней зари летят по воздуху, ныряя, развихренной птичьею стаей узорные драни с крыш теремов, куски соломенных кровель, какие-то сорванные портна, ветви, хворост и сор. Застигнутые ветром горожане гнутся едва не до земли, двумя руками удерживая платы и шапки, бредут с натугою против ветра, отворачивая лица от упругих струй, а ветер тщится раздеть, сорвать и ферязь, и платье, холодными лапами шарит по телу, взметывает кур, с всполошным криком летящих по воздуху, разом выплескивает воду из бадей, несомых на коромыслах из реки, и вода, точно живая, долгими струями летит, рассыпаясь в мокрую пыль. Ветер выметает улицы, ломает деревья, выглаживает траву...

— Крыши порвет! Опят тес и драны подорожают в торгу! — говорит князь, прислушиваясь к голосу ветра. Княгиня продолжает кормить, прикрывая дитя распахнутыми полами летника, думает: не стало бы иншей беды!

Она слегка раздобрела от третьих родов, уже не прежняя тонкая девушка. Широковатое лицо отвердело, взгляд стал тихим, светящим спокойною радостью материнства. И князь уже не тот, складки на его челе уже не разглаживает улыбкой, жестче стали волосы бороды, костистей лик. Первые, робкие еще нити седины чуть заметно осеребрили волосы. Это еще не старость, далеко не старость! Мужество.

С мужеством приходит покой, яснеют воля и ум. Его тревожат дела в Смоленске, его опять тревожит Ольгерд, и только мор, открывшийся во Пскове, пока еще не тревожит его. Ветер, о чем ты шумишь в вышине над русской землей?

ГЛАВА 108

Милый русский обычай отдавать одежды покойника прохожему нищему или страннику сослужил нынче роковую службу псковской земле. Те, кто надевал

платье умерших черною смертью, сами заболевали и помирали в свой черед. Дошло до того, что никто уже не брал ни портов, ни сукон, ни иной дорогой рухляди. Страшились родных и близких, плакали и молились, ожидая конца. Имущие отдавали имение свое — села, рыбные ловища — в церкви и монастыри, чая тем спастись от напрасной смерти. И уже не хватало мест для могил, уже некому становило и погребать усопших.

Пребыв несколько лет в размирье с новгородской архиепископией, псковичи ныне слезно умолили Василия Калику приехать к ним благословить вымирающий город.

Василий поехал. Он знал, что едет на смерть. Он устал. Более двадесяти лет (и каких лет!) стоял Василий у кормила новогородской духовной власти. При нем выросли каменные стены Детинца и каменные палаты архиепископа, поднялись многие церкви, из камени созиждены. Дивно похорошел и украсился великий город. Многоценною утварью, книгами и иконами наполнились храмы. Звоном колокольным и церковным пением, росписью стен церковных, резьбою теремов, палатным строением, богатствами граждан своих, знаменитой торговлей, сильными ратями — всего еси исполнена ныне новогородская земля!

Он спорил с князем Иваном, защищая гражан своих, он рядился, союзничал и хитрил с князем Семеном, защищал православие от натиска свейских, датских, орденских немец и литвы, он мирил и сводил в любовь славлян и пруссов, черных людей и бояр, устроял крестные ходы и молебные шествия, мыслил в братней любви одержать сограждан своих и потому учил и терпел, снисходил и миловал.

И вот они разорвали власть на куски, устроив по посаднику в каждом конце, и теперь встанут вкупе противу черных людей, словно то главные вороги Господина Великого Нова Города, и вот они разоспорили со Псковом и чают одолеть князя московского, не ведая судьбины своей! А Господь уже наслал кару на землю сию, и уже пришел час воспомнить, что ты — только странник сего преходящего мира, придешь и уйдешь невестимо, и дела, и труды твои смоет в пучину небытия! И что останет от нас, ото всего сущего и прегордого днесь, кроме веры Христовой и любви к ближнему своему?

Да, он устал. Пора и ему в дорогу! Пора уйти, да утихнут злобствующие на мя, да сотворят по хотению своему! Он никого не винил, ни на кого не гневал в сердце своем. Он, быть может, и сам был излиха земным и суетным в сей юдоли, излиха уделял труды и силы свои земному и временному. А между тем он, Василий, всегда был странником, прохожим по жизни земной. Мимо палат и дворцов, мимо градов и храмов, мимо весей, погостов и деревень шел он всю жизнь с посохом, дивясь величию и красоте божьего мира, и теперь достоит ему последний земной путь!

Плесковичи умирали на путях и в домах своих. Улицы были пустынны. В храмах шли моления день и ночь. На его глазах монахи подбирали мертвецов, относили в скудельницы. Василий кропил святою водой, служил панихиды, устроил крестный ход по городу, отпевал мертвецов и причащал умирающих, не гнушая запахом тления, ни пятнами черной смерти на лицах еще живых. Он сам обмывал трупы, подавая пример бесстрашия отчаявшимся гражанам. И казалось, что мор стихает там, где побывал Василий Калика, покропив, освятив и утешив божиим словом мятущихся в страхе и потерявших надежду людей.

Благословив и утвердив город, отслужив последнюю литургию в соборе Святой Троицы, Василий Калика приказал немедля везти себя назад, в Новгород.

По жару и стеснению в членах, по кашлю и тошнотным позывам, по крови, пошедшей горлом вместе с мокротою, он знал, что умирает, и не хотел прилюдною смертью своей заново огорчить плесковичей. И он еще надеялся успеть доехать до Новгорода, умереть при месте, в палатах своих. Однако последнему не суждено было совершиться.

Дорогою, третьего июля, на реке Узе, архиепископу стало совсем плохо. Небо замглилось для него, черная муть накатывала, застилая глаза. Подымая тяжелые, непослушные веки, он видел все тот же недвижный очерк лица пригорбившегося в ногах у себя Лазаря, скорбные морщины его чела, углубленный взгляд, безразличный и неподвластный смерти. Лазарь вставал, подносил Василию бесполезное питье. Калика шелестящим шепотом попросил вынести себя из возка, положить наземь. С нежностью ощутил ласку травы и влажной земли. Свежий ветерок сквозь трупный смрад разложения, уже охватившего тело, овеял его лицо.

Жизнь была пройдена достойно, и достойно было ему умереть в дороге. Он так и понял Господа своего. Открыл глаза, поглядел ввысь, прошептал:

— И в этом прав ты, Господи!

Лазарь наклонился над другом, ловя последние еле слышимые слова Василия:

— Не можно любить равною любовью всех и родимый свой град! — шептал умирающий.— Слишком горько... Люди должны умирать... Должны! Придут иные и по-иному помыслят о нас и о родимой земле! Для них будет родиною вся Русь, а не один только Новогород или Москва! Господь милосерд, что создал человека смертным! — Он вздохнул, примолвив едва слышно: — В руце твоя предаю дух свой! — И умер.

Верный Лазарь, не изменивший Калике и после смерти, вез его тело до Новгорода, и обмыл своими руками, и одел ризами погребальными, и положил в гроб. Черная смерть не тронула Лазаря, ибо промысел судил ему еще долгие годы жизни и подвига на далеком северном острову, в малой обители, среди дикого, неверующего народа, просветить который тщился он словом Христа.

Двадесяти лет ждал в монастыре низложенный прежний владыка Моисей часа сего! И теперь вновь изошел из монастыря и вступил на престол архиепископов Великого Нова Города. Тотчас послал он, невзираючи на черную смерть, ныне охватившую Новгород, послов в далекий Царьград с жалобою «о неподобных вещах, приходящих с насилием от митрополита». И верно углядел, ибо в Константинополе творилась новая замятня, и владыке Моисею были посланы златая печать и крещатые ризы и грамота от нового патриарха Филофея, ссылаясь на которую воздвиг он новую прю противу митрополии московской. Но то уже иная пора и иной рассказ.

ГЛАВА 109

Весною дошли вести, что Ольгерд заключил союз с князем смоленским и уже послал литовскую конницу к городу, мысля, по сказкам, набег на Брянск или, по другим сказкам, на Ржеву.

В думе, обсудив, порешили было послать жалобу хану Джанибеку, но Семен, выслушав всех, покачал головой и, обведя отвердевшим взглядом собрание, рек:

— Ныне надобно слать не грамоты, а полки!

Споров не было. Как-то разом и вдруг поняли, что князь, никогда не жаждавший ратиться, прав. Приходит час, когда на коварство наглеющего врага отвечают ратною силой, и час этот свят, и никто не властен и не вправе положить хулу на воина, защищающего землю свою, свой дом и своих близких.

Грамоты пошли, только не к Ольгерду и не в Сарай, а в Тверь, Кашин, Ростов и Нижний Новгород с требованием прислать полки. Свалив покос, кмети оборужались, чистили брони, острили оружие и выходили в путь. В июле уже поползли по дорогам ощетиненные копьями конные рати, кованые возы с лопотью и оружием, потянулись разгонистым походным шагом пешцы.

Полкам этим не было суждено увидеть боя, и кмети, вышедшие в поход, вскоре почти все погибли от чумы. Но как они шли! Как держали строй, как дружно, единым днем подходили в назначенные места сборов, как не запаздывали возы с обилием, не путались полки на проселках, и князь, что опять сутками не слезал с седла, видел, чуял: труды его не пропали даром и владимирская земля ныне может мощно постоять за себя.

Он скакал, спрямляя пути, продираясь сквозь сосновые боры, выезжал к дорогам, по которым, тяжко пыля, проходили полки, прошал: «Кто?» — «Дмитровцы!» — отвечали ему. И князь, удерживая храпящего скакуна, прикрывая пястью глаза от солнца, глядел и, шевеля губами, припоминал, и выходило, что да, на этой дороге сейчас и должны были быть дмитровские полки. И он скакал по полю, огибая острова спеющего хлеба, и за ним скакали княжие кмети (и каждый, князю вослед, огибал хлеба), и чаял за лесом найти ростовчан, и новая рать пылила дорогой, и он посылал вестонош, глядя с угора вниз, и вестоноша скакал к нему, крича еще издали:

— Ростовчане!

И Семен удоволенно кивал и, шагом одолевая крутую излуку холма, прикидывал, кто должен идти им вослед и кому из московских воевод поручено слеженье за правым крылом широко раскинувшегося войска.

Тверские и кашинские полки, костромская ратная помочь, переяславцы и юрьевцы стягивались к Волоку Ламскому. Основные силы Москвы, владимирский полк

с нижегородскою помочью (Костянтин Василич, памятуя ордынский урок, прислал ратную помогу не умедлив), шли по дороге на Можай. А коломенская ратная сила с полками братьев великого князя двигалась к Поротве. Туда же, к югу, начал уклонять от Можая и большой княжеский полк.

Меж крыльями войска все дороги были заполнены конницей, сновали взад и вперед вестоноши, сторожевые отряды правого крыла были посланы за Ржеву, на земли Литвы, а левого — уже вступили в пределы Смоленской волости.

Ольгерд вовремя уяснил себе размер и мощь московской рати, охватившей полумесяцем более сотни поприщ пути. Выступившему из Можайска Семену скоро привели пред очи литовских гонцов. Ольгерд предлагал мир за себя, отступаясь смоленского князя. Семен продолжал двигаться, сводя воедино широко раскинутые полки.

На Поротве, у Вышегорода, явились в стан великого князя послы от Ольгерда с дарами и грамотами о мире, где Ольгерд торжественно разрывал ряд с князем смоленским. Его конница спешно уходила с захваченных было земель.

Семен сидел в походном шатре за раскладным стольцом. Подъезжали воеводы, потные, покрытые пылью, веселые. Мерно гудела земля от проходящих полков. Литовских послов, подержав для приличия вне стана и показав им вдосталь ратную силу Москвы, наконец приняли. Бояре кланяли, подносили подарки. Семен глядел, сидя на кожаном раздвижном табурете, на столпившихся при входе Ольгердовых вельмож, медленно читал писанную по-русски литовскую грамоту. Поднял сумрачное чело.

— Ратные ваши уходят? — просто спросил и устало, без подходов. Подходы посольские были уже не нужны, полки в боевых порядках переходили Поротву. Бояре наперебой начали уверять, что произошла ошибка, что великий князь Ольгерд не думал...

— Сейчас не думает! — перебил Семен.— С вами пошлю слухачей. Мирную грамоту подпишу ныне, но ежели к завтрашнему дню хоть один литвин останет в пределах Смоленской волости, быть войне! И скажите брату моему, великому князю Ольгерду, боронил бы мир честно и грозно, без лукавства и пакости!

Он приодержался, встал. Махнул рукой. Послов

увели. В раскинутые полы шатра вливалось солнце, ратники проходили с песнями. Видно было вдали, как подрагивают копейные острия и реют стяги над рядами полков.

Семен постоял, вздохнул; оборотя лицо в темень шатра, позвал негромко:

— Михайло Терентьич!

— Здесь я, батюшко-князь!

— Что бают слухачи?

— Уходит литва. Без пакости. Мор отокрылся в Смоленске, да и у нас в полках... умирают иные!

— Повести всем воеводам: ратных в кучу не собирать. Пусть кажен полк станет своим станом. Вестоношам накажи беречись болести. Слыхал я, кто платье с мертвых емлет, умирает в свой черед?

— Так, батюшка! А все же...

— Идем на Угру! — перебил боярина князь.— Чаю, уступит теперь и смоленский князь, не доведет до бою!

Он отогнул полу шатра, вышел на солнце, принял повод коня от стремянного, взмыл в седло. Окинул, сощурясь, тьмочисленное движение ратей. Хорошо шли! Любо было глядеть, радостно было глядеть! Тронул коня.

На Угре рати остановились. Подтягивались, сжимаясь, крылья полков, подходили обозы и отставшие пешцы. Смоленские послы уже прибыли и сейчас толковали о мире с боярами великого князя Семена. Князь требовал разорвать ряд с Литвой, подтвердить все прежние грамоты, по коим Смоленск был в воле ордынского хана и под рукою великого князя владимирского, и, по надобности, предоставлять московскому князю ратную силу свою.

На Угре стояли восемь дней. Восемь дней послы скакали туда и обратно меж Смоленском и ратным станом владимирского князя. В конце концов брошенный Ольгердом смоленский князь соглашался и согласился на все: подписали грамоты и начали отпускать полки по домам. По велению великого князя каждый уходил своею дорогой.

С конца августа мор, выморивший Новгород и уже охвативший Смоленск, начал наползать на земли Великого владимирского княжества.

ГЛАВА 110

Матка, утихшая было, когда разъехались гости, вновь начала загуливать. Пропадала неделями. Онька и вожжами грозил отодрать. Баба глядела виновато, побитою сукой, плакала, отъедалась и исчезала вновь. Отступился, махнул рукой. Когда мать являлась — молча швырял деревянную миску с варевом. Благо, хозяйка ныне была в дому добра: управлялась и с дитем, и со стряпней, и со скотиной.

По осень Онька надоумился поехать на рынок, выменять беличьи шкурки на бочку рыбы у волжских купцов. Так далеко он еще не заезжал ни разу. Дорогою плохо ел, мало спал, и то все в телеге — страшился татей: не свели бы коня! В торгу, во многолюдстве речного торгового починка, едва не растерялся совсем, однако, наученный тверичами, белок своих держал крепко, бочку сиговины купил-таки, хватило и на ордынский плат жене, который тут же сунул за пазуху, и на связку доброго вервия — недаром и съездил за три дня пути!

Веселый, он не стал сожидать ночи (заночуешь, тута коня и сведут!), затарахтел со своею телегою в обратный путь. Увязанная бочка сигов веселила сердце, купленный плат согревал душу.

— Ай да Онька! — нахваливал он самого себя. Разговоры, коих наслышался в торгу,— все больше про черную смерть: хоркнет, баяли, человек кровью и в третий день беспременно помрет,— сейчас плохо помнились. Где там Новгород да град Смоленский! Не ево отчина, не ево и дело, пущай! Жалко, конешно, и жонки мрут, и дети... Хоша и на самого себя скласть! Подумал, прикинул на Таньшу, разом осерьезнел, покрутил головой. Нет, Таньше помирать никак нельзя! Ходом погнал коня, оглянул даже — не гонит ли за ним етая смерть черная?

Но, въехав под кружевную тень леса, заслушавшись птичьего свиста и щебета, вновь позабыл обо всем. Весело, хорошо было на душе!

Уже когда добрался до Загорья, истребив в пути последнюю краюху береженого хлеба, совсем спало с души, совсем отошло посторонь. Завернул к Таньшиной тетке — нынче принимают с почетом, не у порога садят, как когда-то! Вошел, воздал поклон. Жонки, что приволоклись посидеть с прялицами, почесать языки,

уставились на Оньку всем хором. «Што вылупили буркалы-ти?» — захотелось спросить.

— А ты живой?! — воскликнула одна из них, всплескивая руками.— Баяли, кака-то черна смерть, дак уехал, тут уж сплели, и помер одночасьем!

— Помер? Стало, жить буду! — отозвался Онька, не глядючи на глупую бабу.— В Нове Городи мор! А я ищо тамо не бывал покуда! — Боле баять не стал. Хозяйка поставила горячие шти, и Онька с дороги, не отрываясь, опружил полную латку.

— Моей-то хошь не натрепали? — спросил сурово, отвалясь от стола. Жонки заотнекивались, залопотали.— То-то! — прервал полоротых баб Онька.— Я, тетка Окулина, у тя заночую! — сказал и полез на печь. Заснул скоро. Первую ночь не думалось о татях коневых!

Проснулся он в редких сумерках утра, сжевал хлеб, выпил оставленное с вечера молоко и пошел запрягать коня.

Скоро телега с привязанной бочкою углубилась в лес, уже светлый, в хрустальной росе, весь ожидающий солнца, и покатила, оставляя мокрый примятый след на седых травах, глухо стуча по выпуклым корням берез. Хорошая телега! Онькина гордость. Колеса обтянуты железом — без Потаповой помочи ни в жисть бы такую не соорудить! Дак зато теперь — вона! Хошь до Кашина поезжай!

У куста спелой малины трещали и суетились сойки. «Что бабы давешние!» — усмехнул Онька и хотел проехать, но конь прянул в оглоблях, нюхая воздух, натягивая на уши хомут. Зверь? Онька схватил ременный кнут, кое-как успокоив коня, соступил с телеги, сторожко подошел к кусту. И первое, что узрел, была рука человечья. Остоялся, в горле пересохло враз. Ступил еще и еще и по смраду понял, что мертвяк в кусту, а уж потом, узрев плат и сбитый повойник, понял — баба. Кто убил? Кто занес? Сама ли сюда доползла? Со страхом подумалось об оставленной Таньше, но то была не она,— седые волосы разметались по веткам брусники. Нагнулся, еще не трогая тела, и тут и признал матку. По лицу, покрытому черными пятнами, уже ползали хлопотливые муравьи. Темная кровь, засохшая на кустах и траве, плат и край отверстого рта, покрытые темною кровью... Видать, кашляла и кровь горлом шла... И тут вдруг у Оньки все поплыло в глазах, понял: никто

не убил — черная смерть! С того матка и не добрела до дому. И перепал. Так перепал, наверно, впервые в жизни. Закричал: «А-а-а!» — бросился к коню, взвалясь ничью в телегу, слепо погнал вперед, проламывая кусты, где-то на вывороте уронив бочку, и плакал, и бился о дощатые края головой, и гнал ошалелого коня, и кричал неразличимое: «А-а-а-а-а!»

Почти уже перед домом своим опомнил, остановил коня, вылез, дрожа и плача, из телеги. Постоял, яснея умом и медленно приходя в себя. Вдруг, осердясь, рванул вожжи, круто заворотил и погнал назад.

Бочка, слетев с телеги, застряла в ельнике. Он выволок ее, натужась изо всех сил, сделал накат, взвалил бочку опять в короб телеги. Молча погнал домой. Молча сгрузил бочку. Выбежавшей встречу Таньше отмотнул головой, уклонясь от объятий:

— Недосуг! Хлеба дай!

Засунул ломоть за пазуху, не глядя на жену и Коляню, взял острый топор, кинул в телегу заступ, вскочил на грядку, крикнул издали:

— Баню топи! К вечеру возвернусь!

Озадачив обоих, погнал торопливо коня.

Дорогой когда-то приметил Онька толстую осину. Прикидывал еще, на что бы ее пустить. Тут и погодилась к делу. Скинул сероваленый зипун и, засучив рукава, начал рубить свирепо, крякая и откидывая со лба потную прядь. Скоро дерево рухнуло с тяжким гулом, проломив подлесок почти до самой земли. Онька обрубил сучья до полудерева, примерил, сощурив глаз, какова должна быть длина, начал перерубать ствол. Сочная осина чмокала под топором. Белая щепа летела во все стороны. Вот дерево крякнуло вдругорядь, комлевый обруб тяжко отвалил от ствола. Онька снял, надрезав, кору, обровнял края и, примерясь, начал загонять в мокрый ствол один за другим березовые клинья. Скоро послышался натужный треск распираемого ствола, и осина нехотя распалась на две половины. Онька рубил не переставая, рубил, озверев, рубаха потемнела у него на плечах, потом волглое пятно начало расползаться на спину, взмокли и опали, точно политые водой, кудри, с носу капала вода, топорище скользило в руках, а он все рубил и рубил. Надрубив с двух концов в половине колоды поперечные ямки, стал выбирать середину, углубляясь все дальше и дальше, и уже осиновый ствол перед ним начал принимать

вид грубого глубокого корыта, которому, чтобы стать корытом взаправдашним, только еще не хватало тесла.

Кончив одну половину, Онька разогнулся с хрипом, рванул зубами хлебный кус, сжевал, глядя прямо перед собой, и вновь яростно начал рубить. Солнце подымалось все выше, жгло и сушило вновь и вновь вымокающую рубаху, но Онька, оглушенный собственною яростью, словно одержимый продолжал врубаться в мякоть ствола, пока наконец и вторая половина колоды не приняла вид грубого большого корыта.

Онька еще раз прикинул глазом, прилег, меряя колоду на себя, кивнул головою и начал подводить коня. Колодины, хоть и выбранные до тонины, были тяжелы непомерно. Едва-едва, дважды обломив вагу, взвалил Онька обе половины колоды на телегу и погнал застоявшегося коня в лес.

Солнце уже низило, пуская красные лучи сквозь заплот дерев. Над прежним кустом стояло плотное низкое жужжание, мушиное облако словно замерло в воздухе, чуть колеблясь, над разлагающимся трупом. Онька, сцепив зубы, вырубил лесину с отростьем, вроде крюка. Лесиною, не касаясь, подволок тело матери ближе к телеге и остановился в раздумье. Приходило, однако, сгружать колоду на низ! Плохо понимая, что будет делать дальше, он свалил колоду и вагою, как крюком, начал заволакивать в нее почернелый и расхристанный труп матери. Вялое тело вываливалось, не ложилось по-годному, и Онька, ругнувшись про себя, откинул вагу подале в кусты и, отворачивая лицо от тяжкого смрада, уложил мать по-годному, скрестив руки на груди и поправив сбитый платок с повойником. Потом в каком-то исступлении гнева и горя поднял край колоды, положив его на грядку телеги. Натужась до того, что вздулись все жилы на висках, занес другой конец и, едва не вывалив матку наземь, все-таки уложил колоду на дно телеги. Взволочил вторую половину колодины, закрыл и обвязал вервием самодельный гроб. Угрюмо поглядев на свои руки, он долго оттирал их раздавленными листьями малины, а доехав до ручья, еще раз вымыл в воде.

Солнце уже померкло за лесом, оставив на окоеме остывающую светлую желтизну, когда Онька подъехал к маленькому кладбищу, где когда-то схоронил дедушку. Он достал заступ и споро вырыл могилу рядом с дедовой, работая все так же яростно, как и днем,

не переводя дыхания, так что песчаная земля летела сплошной струею из-под лопаты. Кончив, стянул колоду с телеги, оттащив на веревке, завел над яминою один конец, медленно опустил, следя, как тяжко сползает по бугру выброшенной земли противоположный край. Наконец, решившись, дернул, и колодина ухнула вниз, к счастью, почти не перевернувшись и не порвав вервия.

Онька все так же молча и споро вырубил березовый крест — попросту соединил две палки, даже не сняв корья,— и начал забрасывать яму землею. Он ни разу не остановил работу, ни разу не передохнул, пока не кончил всего до конца, не поставил крест и не уровнял заступом холмик земли. После того Онька стал на колени и прочел «Богородицу»:

— Богородице дево радуйся, благодатная Мария, Господь с тобою, благословенна ты в женах и благословен плод чрева твоего, яко Спаса родила еси душ наших...

К матери это не очень подходило. Онька задумался, вспоминая, какие еще знает молитвы. Натужившись, пошептав предварительно про себя, прочел:

— Со духи праведных скончавшихся душу рабы твоея, Спасе, упокой, сохраняя ю во блаженной жизни, яже у тебе, человеколюбче... в покоищи твоем, Господи!

Он еще подумал, пошептал, глядя куда-то вбок, на сумеречный лес и полосу призрачного желтого света над елями, выговорил далекое, детское, чего и не выговаривал уже много лет:

— Мамонька! — и, повалясь в сырую, холодную землю могильного бугра, зарыдал.

Онька еще плакал, всхлипывая и потихоньку затихая, когда голодный конь, волоча телегу, сторожко подступил сзади к нему и, ущипнув зубами за рубаху, потянул, созывая к дому. Онька встал, все еще плача, с лицом, залитым слезами и измазанным землей, и, взвалясь на телегу, покатил назад.

Таньша, испуганная, заждавшаяся, кинулась было к нему.

— Не замай! — заполошно выкрикнул Онька и, вывалясь из короба, качнувшись на враз ослабших ногах, пробормотал: — В баню пойду, туды подай поснидать. Матку похоронил только что... Черная смерть!

Таньша охнула, завыла в голос, а Онька, скрепясь, начал распрягать коня. Крикнул выбежавшему Коляне:

— Сбрую не замай! Подохнешь! — И, раскачиваясь

на ходу, пошел в баню. Таньша, всхлипывая, шмыгая носом, принесла горячую латку мясных щей, хлеба и каши, глиняный жбан с квасом. Попросилась было:

— И я с тобой!

— Дура! Дитё у нас! — грубо крикнул Онька.— Отыдь! Будешь мне наливать сюды, как собаке, а миску не трогай!

Он ел и плакал и снова ел, чуя звериный голод и такую же усталь во всем теле, в руках, ногах и плечах, и думал о том, когда же и он учнет харкать черною кровью, и о том, что надо все-таки выпариться в бане сейчас, чтобы помереть достойно, в чистой рубахе, а баню после него надо беспременно сжечь, не забыть загодя сказать об этом Коляне... И, думая все это, он жадно ел и кашу, и щи, и хлеб, и выпил весь квас до донышка, и тогда только отвалил блаженно, пьяный от сытости, и полез в жар, скинув волглую рубаху и порты, приуготовляя себя к смерти, все еще не веря, что зараза счастливо миновала его, самого безгрешного в нынешней русской беде, и он, просидев четыре дня в истопленной бане, выйдет наконец оттуда и останется жив и будет еще долго-долго жить на земле.

ГЛАВА III

А черная смерть ползла по стране. Вымер целиком Белозерск, вымер целиком город Глухов. Пустыми стояли дворы, только воронье да бродячие псы шастали по дорогам. Некому было хоронить последних мертвецов, некому грабить открытые домы. Тати вымерли тоже, как вымерли бояре и чернь.

Есть известие, что из всего Смоленска к концу мора осталось в живых двенадцать человек. Они вышли из города, эти двенадцать, и закрыли за собою ворота, как уходят хозяева из погибшего дома, куда уже не мыслят воротиться вновь, иногда оставляя двери настежь, иногда запирая их на замок и кладя ключ на обычное место, где-нибудь в щель за притолокою. То и другое — деяния равно бессмысленные, ибо недруги в оставленный дом входят, сбивая замки и вышибая двери, даже ежели проржавевший или позеленевший ключ и висит рядом на полусгнившем снурке, а открытые двери тоже никого не позовут и никому ничего не расскажут, только ветер будет хлопать ими,

пока не сорвет с петель, а странник или злодей даже и не поймут, что двери отверсты для них...

И кто же вновь вошел, кто первый открыл ворота мертвых городов, кто населил и поправил рассыпающиеся хоромы, убрал позеленевшие кости мертвецов, затопил печи, подмел улицы? Кто храбро возродил жизнь, не думая о смерти и гибели, уже показавшей ему свой страшный оскал? Беглец ли, переждавший беду в глухой деревне, заезжий ли гость, ищущий места себе, крестьянин ли, замысливший перебраться на жительство туда, где его когда-то не пускали дальше торга и скобяной лавки? И почему не рвутся навычаи, не исчезает память прошлого, когда вымерший, казалось бы, целиком город населяется вновь? Все теми же именами называют улицы, те же предания старины передают друг другу, поминая славные деяния предков своих... Не чудо ли это? Что такое память народа? Где и кем хранится она? Когда и как исчезает?

Уже установлено, что ни войны, ни моровая беда, ни глады, от коих вымирают целые волости, не способны убить, уничтожить народную память. А убивает ее совсем другое, и не надобно для того ни мора, ни лихих ратных лет, ни иной какой-то беды. Исчезает, пропадает память прошлого в спокойные, даже вроде бы счастливые годы, когда что-то как бы сгнивает, исшаивает изнутри, как то было в позднем Риме или Византии, в которых народу вместо прошлого величия в веках доставались только одни налоги да утеснения. И уже переставала радовать, уже являлась отяготительною, ненужною и пустою древняя слава. Так наступает конец. С упадка духа, с упадка внутренних сил. Византийцы четырнадцатого столетия, ведя бесконечные войны друг с другом, почти без сопротивления отдали туркам три четверти своей империи. Можно ли было тут что-то исправить и возродить этот уставший народ — неведомо.

Так что же такое был великий мор середины четырнадцатого столетия, истребивший треть населения европейского мира? И почему буквально в ближайшие годы по миновении этой беды снова строят города, вновь выходят рати, спорят друг с другом князья, словно бы и не было мора, словно бы и не было тяжкой беды, сравнимой разве с самым страшным, самым великим нашествием беспощадного врага?

В стихийных бедствиях такого размаха современ-

никам событий чудится всегда нечто эсхатологическое потустороннее. Мозг отказывается принять, что перед ним слепая случайность. Мыслится вмешательство высших сил, приходят на ум слова о каре господней, о массовом наказании за грехи.

Черная смерть, родившись в глубинах Индии и пройдя по городам Азии и Северного Причерноморья, выжгла, выморила Италию, Францию, Испанию, Англию, германские страны, Польшу, Литву и Русь, откуда вновь опустилась по Волге, обратным уходящим потоком снова опустошив золотоордынские города. Словно многоглавый дракон, подъяв черные пасти, начал съедать, выжигая, средневековый европейский мир, отворяя дорогу — чему? В этом окольцевавшем Европу движении, в этом шествии смерти из страны в страну, все время по краю континента, постепенном, словно проползание огромного змея, в этой замкнувшейся наконец цепи зла трудно было, в самом деле, не узреть некоего наказания свыше, некоего ниспосланного народам ужаса, кары — или, напротив, испытания мужества и полноты сил...

Почему, например, чума не рванулась три года назад из Сарая на Русь, а прежде обтекла всю Европу? Почему не разошлась по Европе веером? Не проникла по торговым путям из Италии прямо в северные германские страны, а как бы оползала по краю весь европейский мир? И что унесла и что принесла она Западу? Сказалась ли на том смутном, спорном и до сих пор непостижном для историков явлении, которое мы зовем Возрождением или Ренессансом?

А на Руси, всего четверть века спустя вышедшей на Куликово поле? Что сотворила с Русью черная смерть? Что унесла и чему отворила дорогу? Почему сразу и вдруг после чумы, долженствовавшей, казалось бы, на годы и годы задержать и остановить всякое развитие ремесел, торговли и городов, начинается подобное вихрю бурление, сталкивают и рушат и вновь восстают из праха, являя волю и дерзость к борьбе, силы народные, с неслыханными до того упорством и верой?

Чума не выбирает лучших, не губит, как война, сильнейших в нации. Чума убивает всех подряд, но потому и работает она как косарь в поле или как низовой, съедающий сухие травы огонь. И когда схлынула гибель, когда обнажились корни трав и забили вновь родники воды живой, неподвластные уничтоже-

нию, то и произошло так, словно коса смерти, выкосив веси и города, нежданно помогла расти новому, юному, что пробивалось изо всех сил, как лезет молодая трава сквозь прошлогоднюю сухую ветошь.

Молодость языка, молодость Руси Владимирской сказала слово свое, слово жизни, вновь и опять опровергнувшей смерть. И пахарь взялся за рукояти сохи, и воин наострил меч, и новые белоголовые ребятишки веселою беготней наполнили осиротевшие было домы, подобно тому как юная зелень тонкоствольных берез затягивает угрюмую черноту пожоги.

Черная смерть, о которой судачили, спорили, толковали в рынках и на вымолах, в путях и застольях, медленно проползала по стране, начиная со Пскова, волоча за собой свой окровавленный хвост. В Новгороде Великом мор, начавшийся в середине августа, свирепствовал вплоть до весны и стихнул около Пасхи. Когда оставшиеся в живых горожане молили Господа о миновении беды и зарывали последние трупы, мор охватывал Владимирскую Русь, до которой глубокою осенью 1352 года только еще начинал добираться. Смоленск уже вымирал, а по Владимирщине покамест ползли только слухи, люди убирали хлеб, и беда казалась им стороннею и чужой.

ГЛАВА 112

Любава, старшая замужняя Мишукова дочерь, шла по двору от стаи, только что подоив корову, с полным ведром молока. С тех пор как погорели на Москве, ее семья перебралась под Рузу да так и застряла здесь. Никита не раз наезжал, созывал к себе в отстроенный терем, но все не собраться было. И Палька, муж, не хотел жить вместе с Никитою. Объяснял так:

— Там холостежь, ратны мужики! Нагрянет полна изба — да всех пои, корми, ежеден шляться учнут! Никите что — старшой, свои кмети, а я чем буду перед им виноват?

Да и хозяйство держало. Покосы рядом с избою, почитай. Четырех поросенков ноне завели. Лошади, куры во дворе. Не вдруг и двинесси!

Палька промышлял извозом, помалу подторговывал, жили справно, неча бога гневить! Даве, когда рубили Велесову рощу, дубы нипочем взял (прочие покупать

страшились, баяли — грех) и выгодно перепродал потом. Оборотистый мужик! Дочки росли, Маня и Сонюшка, сын ожидался вот-вот — так уж по всем бабьим приметам выходило, что должен быть сын...

С улицы, из-за изгороди, ее окликнули. Любава остановилась, вздымая полный живот, щурясь на солнце, поглядела туда. За изгородью стояла какая-то странница в рванине, хрипло гнусила. Напиться просит! — догадала Любава. Поискав глазами, взяла берестяной ковшик, отлила молока из кленового ведерка, ведро поставила на крыльцо, понесла молоко страннице. Гуси, вразвалку проходившие по двору, с недовольным хлопаньем крыльев тяжко заспешили прочь от хозяйки. Любава вперевалку подошла к плетневой изгороди, не думая ни о чем, только отворачивая глаза от солнца, подала страннице ковшик. Та протянула руку, словно как скрюченную воронью лапу, черная гнилая кость далеко высунулась из рукава.

Любава вздрогнула, ослепленно вгляделась в страннический лик над плетнем. Узрела лоб с обнажившейся костью, трупные клочья мяса, открывавшие провалы выгнившего рта с редкими желтыми зубами. В глазницах, в черной глубине, вздрагивал болотный гнилостный блеск. Там что-то светилось неживым призрачным светом. Тяжелый трупный дух пахнул на нее от лица странницы, смрадно сочилась висевшая клочьями рванина, перемотанная гнилым вервием едва ли не по хребту.

Любава попятилась. На нее глядела, оскалясь в улыбке, смерть.

— Чур меня, чур! — закрестилась Любава, посеревшая со страху. Странница захохотала каркающим вороньим смехом. Любава отступила еще на подгибающихся, неверных ногах, и вдруг ее повело. С дурным криком упала она в траву и видела, теряя сознание, как странница, вырастая, перегибается через плетень и тянет рукою, черною вороньей лапой, к Любавиному лицу.

Очнулась Любава в избе, у нее были одышка и жар, затылок давило разламывающею болью, не хватало воздуха, тошнотная истома подступала изнутри к горлу. Вскоре, как ни крепилась она, начался кашель с пенистой кровавой мокротой.

Так черная смерть вступила в Московское княжество.

ГЛАВА 113

Сила — как и слабость — человека в том, что он никогда не верит и не задумывает всерьез о смерти своей. Даже на пороге иного бытия хлопочет о добре, о зажитке, о рухляди — о земном и тем длит, продолжает бытие детей и внуков. Ибо иначе, поникнув перед лицом вечности, не возможет он заботить себя нуждами преходящего мира сего.

Невзирая на мор, правили свадьбы, ратились, попрежнему кипели страсти, государи разных земель пересылались послами и строили ковы друг другу.

По известиям, дошедшим с юга, некий инок Феодорит явился в Константинополь добиваться владимирской митрополии, уверяя, что митрополит Феогност умер. Разоблаченный как самозванец, он сбежал в Тырнов, где от болгарского патриарха получил сан митрополита русского, после чего приехал в Киев и вселился там, невзирая на осуждение нового цареградского патриарха Филофея. За всей этою нечистою игрой стоял едва ли не сам Ольгерд.

Ни Алексий, ни тем паче Феогност не знали еще, что Ольгерд скоро выступит в открытую, послав в Константинополь на поставление нового кандидата, Романа, в прошлом, до пострижения, тверского боярина, родственника тверских князей Александровичей. Тем не менее и Феогносту, и всем прочим становилось ясно, что надобно принимать решительные меры.

В Константинополе творилась новая замятня. По слухам, император Иоанн Контакузин отрекся от престола и уехал в Солунь. Вослед ему покинул патриарший престол Каллист, и был возведен Филофей, бывший ираклийский епископ. Даже ежели слухи об отречении императора были ложны, становило ясно, что во всей этой замятне прежние грамоты Феогностовы могли и не возыметь силы.

Собралась дума. У бояр были заботные суровые лица. Черная смерть уже добралась до Москвы. Люди умирали кучами. Курились дымы. Странные черные тени ходили по улицам Москвы, звоня в колокольчики. Это иноки, обещавшиеся Богу, подбирали и уносили мертвецов. Заслышав звон, прохожие и проезжие шарахались в стороны, отступали, пропуская страшную ношу смерти, и долго, крестясь, глядели вослед медленно движущимся погребальным дрогам, носилкам или воло-

кушам, за которыми не шло никого из родных, никто со слезами и рыданиями не тщился взглянуть на родимый лик, ни последний раз прикоснуться к дорогому покойнику.

Василий Протасьич разослал своих молодцов по городу в помочь инокам. Кмети, привычные к бою, ворочались белее мела, видя трупы жонок и детей с черными пятнами смерти. Тысяцкий Москвы сам начал объезжать улицы, подавая пример, стыдя и ободряя ослабших. Подчас, с кряхтеньем слезая с седла, сам подымал за плечи мертвецов. На совет Ивана Акинфова уехать хотя на Воробьевы горы решительно отмотнул головой:

— Я тысяцкой! Умру али живой стану со всема вместях!

Смерть покамест, словно завороженная мужеством старого боярина, отступала пред ним.

Многие из бояр умирали. Многие уже умерли. В думе, сожидая князя, шепотом сказывали друг другу, у кого погиб сын, у кого жонка, дочь, сестра, свесть или иная какая родня. Молчали, кивали головами. Несчастье, не разбирающее ни чина, ни звания, не щадящее ни седин старца, ни цветущей юности, сближало, уравнивало между собою. Ныне как никогда чуяли они, что все тут — одна семья московитов, и на князя взирали с готовною преданностью. И Семен оглядывал ряды думцев своих с тем же не выразимым словами чувством глубокого дружества, словно бы в грозной сече, окруженные и остолпленные неприятелем, стоят они, сжимая оружие в дланях своих, тесно сойдясь плечами и спинами, дабы вот так, вместях, победить или погинуть в бою.

Потому и споров не было никаких. Для всех сошедших на эту думу Алексий был свой, едва ли не больше митрополита самого. Да и слухи о цареградских нестроениях встревожили не на шутку московских думцев.

— Похоже, мы одни ныне православную веру храним! — молвил, по обыкновению сказав вслух то, о чем все думали про себя, Андрей Кобыла.— Дак и нать нам свово митрополита, русича!

— Окроме Алексия и назвать некого! — поддержал Андрея Федор Акинфов. Иные многие разом склонили головы. Дело было теперь только за митрополитом Феогностом, что уже с осени прибаливал не на шутку, почему и ныне отсутствовал в думе княжой.

Феогност и верно был болен. Его лихорадило, прежний ордынский холод бил старое тело, несмотря на жарко истопленные покои митрополичьего двора. И все-таки хворь проходила, медленно отступала, освобождая место для дум. Он уже давно привык мыслить Алексия наследником своим на митрополичьем престоле. Но теперь надобно было сделать последний, решительный шаг. И шаг этот был труден. Он не умер и даже не умирал, кажется, наоборот, выздоравливал. Хотя могло случиться всякое, могла и черная смерть заглянуть во владычные покои!

Чумы, впрочем, Феогност не страшил. Ведал, что при всякой нужде тело его не бросят в лесу, не зароют в общую яму, не сожгут, не сволокут крючьями, а, невзирая на черную смерть, омоют и уложат в гроб и отпоют честно, как пристойно митрополиту всея Руси, и о том озаботит себя Алексий или кто другой, ежели и Алексий умрет. И что монахи будут по слову его подбирать с улиц градов и весей и хоронить трупы, даже умирая, даже ежели последний брат, совершив погребение ближнего своего, сам пал бы в корчах, и он бы отпел себя и умер достойною смертию...

На висках появилась испарина, мысли мешались несколько. Феогност отер платом лицо и приказал себе думать только о деле, не поддаваясь телесной немощи.

Православная церковь должна уцелеть в этой стране! И не погинуть, не попасть в руки латинян, ни в Ольгердовы ловкие длани, длани человека, не верующего ни во что, кроме ратной удачи своей. Не воссияй на Руси свет веры Христовой, она бы давно уже погинула, не устояв ни перед татарами, ни перед немцами, ни перед литвой!

И теперь и потому важнейшее дело церкви и его, Феогностово, оставить по себе Алексия, именно Алексия! Он еще не знал решения боярской думы, переданного ему спустя час, но мыслил согласно со всеми.

Он позвонил. Вошел владычный иподьякон. Феогност велел подать чернила и грамоту, не отлагая позвать писца и принести красный воск для печатей. Сил и времени оставалось у него уже очень мало.

Шестого декабря митрополит Феогност, с трудом поднявшийся с постели, рукоположил Алексия во епископа владимирского, передав тому доходы и земли, с коих кормился сам, и благословив после своей смерти на митрополию.

В Константинополь загодя отправилась грамота новому патриарху Филофею: «Яко да не поставит иного митрополита в Русь, кроме сего Алексия епископа». Везли грамоту от великого князя владимирского Дементий Давыдович и Юрий Воробьев, а от Феогноста — Артемий Коробьин и гречин Михайло Щербатой. Оба, Семен и митрополит, не пожалели ни казны, ни подарков. С посланцами великого князя владимирского отправлялись десятки слуг, кметей, толмачей, иереев всяких мастей и званий...

Отсылая посольство, Феогност догадывал уже, что видит посланных им в последний раз.

ГЛАВА 114

Серебряные метели текут по дорогам страны, засыпают леса. Поля и озера неотличимо ровняет белою пеленою. Над землей в черном бескрайнем небе повисла голубая звездная пыль.

Рождественские морозы сковали пути, с гулким треском лопаются бревна в углах домов. Лошади покрыты курчавым инеем. Кажется, и черная смерть отступила перед холодами. Уже не столь много мертвецов по дорогам, ободрились горожане. Святками несколько робких троек проехали по пустынным улицам, промчали и скрылись, испугав сами себя неуместной гульбой.

Зато в храмах — полно народу. И в йордань, что пешали на Москве-реке под Кремником, нынче, невзирая на лютые морозы, люди лезли десятками, выскакивали, ошпаренные ледяным кипятком, крестились:

— Пронеси, Господи!

Всем казалось уже, что мор утихает. По церквам служили благодарственные молебны. Но черная смерть, обманув всех, никуда не ушла. Она только пришипилась, притихла, сожидая весны, первых ранних оттепелей, чтобы стремительно, с новою злобой, обрушить карающий меч на обреченный край.

Симеон отказался покинуть Москву, как ни уговаривали его бояре. Вослед ему и Мария не восхотела отправиться в Воробьево, куда мор, по слухам, не достигал. Маше подходило время родить, дохаживала последний месяц. Тихо было в княжеском терему. Строже, чем обычно, сменялась у ворот стража. Трупы холопов из челядни вытаскивали тайком, ни слова не говоря о том великому князю. Холопки по приказу

ключников мыли, скребли, чистили день и ночь. Семейным кметям запрещено было выходить в город, ночевали в молодечной. У всех ворот Кремника стояла двойная сторожа, не пропуская ни странных, ни нищих,— так распорядился сам Алексий. И все-таки, пока не ударили морозы, черная смерть и в Кремнике косила людей.

Вечера Семен по-прежнему коротал с женою. Сидел, уставясь в ничто, отложив бесполезные грамоты. Молчал. Маша вышивала обетный шелковый воздух. Маленький Ваня возился в своей постельке, сопел, сосредоточенно стукал друг о друга глиняных расписных коней. Маша роняла шитье, подолгу глядела на сына светлыми, словно лесные озера, глазами.

— Ехала бы ты в Воробьево! Бают, там и мора нет! Все, почитай, великие боярыни уже там!

— Мор проходит. Тебя не оставлю, Семен! Ты почто сам-то не покидаешь Москвы?

Семен молчит, смотрит потерянным взором на жену и ребенка. Надобно увезти... Быть может, и правда кончается мор?

— Почто сижу? Вон и Вельяминов сидит! Сам трупы собирает по улицам!

— Василий Протасьич — тысяцкой, ему положено! А ты — князь! — отвечает Мария в сотый раз со спокойным неодолимым упрямством.— Что я без тебя? Тута хошь за прислугой слежу!

— Помнишь... В Ветхом завете, когда бог Израилев наслал гибель на ихней народ за нечестье царя Давида, отнявшего жену у Урии, Вирсавию? Жену отнял, а мужа убил! Господь предложил Давиду самому выбирать кару себе, и тот выбрал болезнь! Может быть, это я виновен в черной смерти! И мне ли ныне бежать от нее? Покинуть смердов, страдающих за нечестие князя своего? Быть может, Господь захочет моею смертью остановить мор!

Маша подходит к нему, останавливается, дыша, словно после бега.

— А мы?! Глупый ты! — говорит она грудным, низким голосом.— Разве можно! А я? А он? Ваня! Ванюша! Поди на руки мои! Вот так! Гляди на батьку, на дурака такого! Хочет помереть, хочет оставить нас одних! Хочет такого маленького бросить! Такого хорошенького маленького мальчика! Ну, проси прощенья сейчас же! У сына проси! Поцелуй его! Вот так, вот так, побей,

побей батьку своего! Тяни его за бороду, тяни! Пущай не говорит неподобного! Мор по всему миру прошел! А ты один в ответе? Как бы не так!

Семен глядит на нее со стыдливой улыбкой. Его борода еще хранит память маленьких цепких ручек дитяти, а лицо — печать мокрого ротика.

— Проси прощенья! — топнув ногою, говорит жена.— Сейчас же проси!

Она опускает Ваняту в кроватку, поворачивается к Семену лицом, держась за полный живот. Стоит, закусив губы, потом улыбается с облегченною, радостной мукой.

— Скоро уже! Воюет! Тоже не хочет остаться без батьки своего...

Она плачет, Семен стоит рядом и неумело утешает жену. Маша привалилась к нему тяжелою грудью, теплым большим животом, положила голову ему на плечо.

— Не говори такого-то больше, хорошо? — просит она шепотом.— Не говори, не гневи Бога! Видишь, и сын жив, и второй скоро уже... Не гневи! Все уж грехи, что и были, отошли посторонь!

Гулко треснуло в доме. Оба вздрагивают, крепче сжимая объятия переплетенных рук.

— Мороз! — первая понимает Маша.

От печи струит уютное разымчивое тепло. Давеча истопника там, за стеною, стошнило кровью. Смерда вытащили еще живого, отнесли в скудельницу умирать. Князю не сказали о том.

Под высокими спелыми звездами лежит оснеженная, притихшая земля. Серебряные метели текут по улицам, обтекая углы клетей. Ветер гудит, завывает в дымниках. В бессонных храмах день и ночь служат молебны.

Монахи с прикрытыми полотном лицами обходят город. Вот еще один странник, замерзший у самых рогаток, с черными пятнами на лице. Двое ставят носилки в снег. Другие двое крючьями подымают мороженый труп, кладут на носилки, шепча молитвы. Давеча утром один из братьев не поднялся с постели. Нынче его похоронят на монастырском кладбище, где ряды выкопанных по осени ям, прикрытых от снега хворостом, ожидают погибающих черною смертью иноков.

В монастырском храме тоже всю ночь напролет читают часы.

— Ну, подымай! — скорее думает, чем говорит старший брат. Второй наклоняет над носилками. Черные отсветы высокими колеблемыми столбами движутся над землей. «Отыди от меня, сатана!» — шепчет он. В голове боль, в глазах плывет и мреет. Чума? Или тяжкая усталь после бессонных ночей? Он разгибает стан, подымает носилки, отяжелевшие в десятки раз, шепчет: «Господи, помози!» И они уходят усталым шагом в ночную тьму, позванивая колокольцем, и серебряный синий снег споро заметает следы.

Третьего февраля у великого князя Семена родился сын, нареченный в святом крещении Семеном, по отцу. Маша, гордая и счастливая, сама кормила младеня. Кормила, и молилась, и плакала, и верила: пронесло лихую беду!

Все еще задували ледяные ветра, но уже ярче и ярче светило солнце, и голос весны, по всем приметам ранней в этом году, вплетался в ледяное неистовство февральских метелей.

ГЛАВА 115

В марте ударила оттепель, потекли ручьи, толпы молящихся заполнили церкви — и мор усилился вновь. Можно сколько угодно говорить с осуждением о тогдашних нравах, об опасности скопления больных и здоровых в одном церковном здании, о причащении из одной чаши как вернейшем пути переноса заразы... Но и то следует заметить, что чума, обрушиваясь на край, словно бы движется, словно бы проползает по земле, губя тысячи и оставляя немногих, проходит и уходит, как полая вода в ледоход, и что никакие преграды — до самого недавнего времени — не могли остановить это движение в самом его начале, а в конце, когда черная смерть, словно насытившись трупами, начинает ослабевать, чудесные излечения происходят сами собой, без всякой помощи медицины. Скажем, что и до сих пор не вполне ясны законы распространения чумной заразы, этого ужаса древних народов, меча Господнего, заставлявшего еще древних хеттских

царей совершать отчаянные моления в храмах, прося милости у богов погибающему народу своему.

Еще не воротились послы из Царьграда, еще не яснела звезда Алексия, начавшего через год многотрудный свой подвиг совокупления русской земли. Еще снежными озерами были прикрыты поля. Март стоял на дворе, синий март, когда совершилась первая большая беда. Заболел, верно заразившись от молящихся, сам митрополит Феогност.

Феогност почувствовал себя плохо за ранней обедней. Отдыхая на раскладном кожаном стульце сбоку от алтаря, привалясь спиною к каменному столбу храма, он чуял, как стесняет в груди, как раскалывает голову, как жар подымается в членах, и, когда ощутил подступающее удушье, понял, что это — черная смерть.

Он все-таки довел до конца службу, но не вышел с крестом к молящимся, отверг лобызания архимандрита и ушел из собора, ведомый под руки иподьяконами, медленным осторожным шагом, точно слепой.

Уже выйдя вон и озрясь, он остоялся, отвел мановением руки спутников и медленно осенил крестным знамением собор и терема, видимые окрест, и, мысленно, весь окружающий мир, ибо знал, что это — последнее благословение. Потом, елико возможно, твердым шагом прошел до владычных палат, поднялся к себе, все еще одолевая тошноту, вызвал служку, зна́ком велел подать себе таз и питье, снял с помощью иподьяконов облачение — алтабасную митру с алмазным навершием, епитрахиль и саккос, поцеловал панагию и крест и, оставшись в палевом светлом подряснике, сел на ковер и в судорожном кашле склонился над тазом.

Оба иподьякона, ставшие белее бумаги, глядели, отступивши на шаг, на ярко-красную, дурно пахнущую мокроту в медном тазу. Фео́гност покивал им головой, разрешая удалиться.

Служка, трепещущий, как и они, помог митрополиту подняться с колен и лечь в постель. Феогност смежил глаза, одолевая давящую боль в груди, потом, справясь с собою, приказал хриплым шепотом:

— Позовите Алексия!

Алексий, уже извещенный обо всем, вошел скорой и твердой поступью. Менее уверенно следовал за ним епископ Афанасий, прибывший с Волыни еще по осени да так и застрявший на Москве.

Феогност поднял веки:

— Мою золотую печать и посох, непременно омывши то и другое вином, тебе, отче Алексий!.. Послы из Царьграда должны скоро прибыть. Ты поедешь туда... Великий князь поможет. Не жалей серебра!

Феогност умолк, слегка застонав, но вновь, справясь с собою, заговорил тихо, но внятно:

— Эту землю, и власть, и труды — тебе, отче Алексий! Я умираю, ибо принял на себя грехи московских князей. Ты пребудешь невредим. Господь да укрепит и опасет тебя от черныя смерти! Ухожу, уповая на Вышнего! Прости, брат Алексий. Порою я гневал на тебя, порою бывал неправеден. Ныне отхожу мира сего. Прости меня, отче! Скажи князю Семену, да простит и он меня, грешного!

Феогност снова умолк, видимо собираясь с силами, и вновь заговорил медленно и внятно:

— Похороните меня близ гроба чудотворца Петра. Это я заслужил! — Феогност снова умолк и еще тише, свистящим шепотом, произнес по-гречески: — Тебе, Господи!

Мелькнули ли перед его очами в тот миг виноцветное море и далекий Царьград, пестреющий на холмах? Или белые берёзы и хвойные океаны лесов его новой родины?

Преставился Феогност одиннадцатого марта и был похоронен в храме Успения Богородицы, близ гроба святого Петра, по слову своему.

ГЛАВА 116

Дети великого князя заболели через день после похорон Феогноста, как будто бы со смертью митрополита обрушился главный столп, поддерживавший кровлю Семенова дома, и с трудом налаженная и устроенная жизнь великого князя начала рушить в ничто.

Болезнь развивалась с ужасающей быстротой. Ночью Семен проснулся, почуяв холод одинокой постели, поднял голову, чумной ото сна. Неровно горела свеча. Большие тени метались по потолку и стенам. Маша что-то вполголоса строго выговаривала девке, звякала посуда.

— Держи! Так! Держи!

— Осподи! Осподи! Што ж деитце-то! — бормотала горничная.

Семен чуть было не уронил голову на взголовье, не заснул вновь. И уронил было, и прикрыл глаза... но стало яснеть в сознании, из тумана сна выделился сперва голос Маши — в нем, в его строгости звучало отчаяние — и испуганный, заполошный шепот прислуги.

Семен откинул одеяло. Вдруг и враз перепав, начал торопливо натягивать порты, и то, что Маша не обернулась к нему, не глянула даже, испугало больше всего. Босой, застегивая на ходу ворот рубахи, подошел к колыбелям и тут услышал тяжелое, хриплое дыхание малышей. Еще билась отчаянная надежда: быть может, остуда? Быть может, сглаз? Но уже и то яснело, что никакая не застуда, не родимец и не иная дитячья болесть, уже яснело, и — о, Господи!..

Дальше был бред, бестолочь, безнадежная (и все ведали, что безнадежная) двухдневная борьба со смертью. Обрывками, клочками поминалось, как Маша совала маленькому Сене грудь, а он захлебывался молоком, уже не в силах глотать, и кашлял, судорожно выхаркивая створоженное молоко с кровавой мокротой, и — эти черные пятна на тельце ребенка!

Кругом суетились, бегали; где-то ополдень узрел, как одна из сенных боярынь походя торопливо закидывала не убранную с ночи постель. Вечером как будто бы что-то ел и пил. Спать из них не ложился никоторый. В изложню заглядывали бояре. Холопка несла лохань со сгустками крови, и от нее шарахались посторонь...

Ваня бредил, с трудом узнавая родителей; потными слабеющими ручками пытался цеплять, лез куда-то, задыхаясь, закидывал голову, захлебывался кровью, трудно дыша. И все тянул, тянул ручки, словно молил взрослых сильных людей пожалеть, спасти его, маленького, вытянуть, изволочить из этой смертной беды...

Сеня назавтра уже и стонать перестал, только еще дышал редко и трудно. Черные пятна на враз опавшем, исхудалом тельце все ширились и ширились.

Семен, безумный, сбежал по ступеням вниз, потребовал коня. Вырвался опрометью вон из Кремника, вон из Москвы... Как на грех, можжевеловой заросли долго не находилось. Наконец узрел одинокий куст на полянке. Верхом, увязая в снегу, добрался до него. Подскакавший кметь молча подал обнаженную саблю. В несколько ударов нарубив целое беремя ветвей, князь поспешил назад.

Оснеженный, усталый, он вновь появился в покое, переполошив дворню. Сеня уже умирал. Ваня еще хрипел, еще дышал, еще боролся и бился со смертью.

— Это Кумопа! — бормотал князь, суя мокрые ветви в огонь свечи.— Это Кумопа! Она! За то, что срубил Велесов дуб! Она принесла к нам черную смерть!

Можжевельник дымил, но не вспыхивал. По горнице легко бродили высокие тени, отливая то синим, то сизым, точно вороненый булат. Изложня была полна ими, и порою начинало блазнить, что уже не черное пятно где-то там и не мгла, сочащаяся в окна, а страшная, разорванная тьма окружает их целиком, тьма, вобравшая в себя князеву семью. А все иное виделось ему уже изнутри этой тьмы, изнутри ужаса.

— Не надо, Семен! — попросила Маша.— Еле дышит и так, а ты чадишь! Все одно не поможет...

Он уронил бесполезные ветви. Князя била дрожь.

Сенные девки, боярыня, горничная прислуга, позабыв страх смерти, сидели вокруг постели тяжко хрипящего малыша. Сеня затих. Верно, уже умер или был близок к тому.

Стефан, молча вступивший в палату, начал соборовать. Семен с ужасом, прочие — с немою скорбью глядели на совершаемый пред ними обряд преддверия смерти.

Помазав младенцев, Стефан стал на колени и начал вполголоса читать молебный канон, поемый в скорби и обстоянии, а за ним — отходную. От ровного голоса игумена истекал безнадежный покой. Две земные судьбы, едва начавшие жить, кончались на глазах, угасали, уходили туда, за грань постижного тварного мира. Стефан читал, и в перерывах слов все слышалось и слышалось хриплое, рвущееся дыхание малыша. Сеня уже упокоился.

Вот Ванята вновь начал выгибаться, весь переламываясь, ловя воздух ртом, и Мария твердыми руками, приподняв наклоняла его на бок, чтобы текущая мокрота и кровь не задушили малыша. Приступ проходил. Ванята затихал на время, и вновь раздавался ровный голос Стефана да тихие всхлипывания няньки. Все знали, что сделать нельзя ничего и надо молить Господа только о том, чтобы мучения младенца окончились возможно быстрей.

Семен с горловым рыкающим стоном вновь начал

ожесточенно совать в огонь изломанные можжевеловые ветви, бормоча обрывки слышанных когда-то и где-то заклинаний:

— Духи земные, полевые, огненные!.. Выстану я под утрянную зорю и под восточную сторону, пойду из западу в восток... Выставает царь — грозная туча, темная, каменная, огненная и пламенная! Под грозною тучей мечется царь-гром, царица-молонья; как от грома и от молоньи бежат враги диаволы, лесные, водяные и дворовые, и мамонт насыльный и нахождый, и всякая нечистая тварь, под пень и под колоду, во езера и во омуты, и так бы бежали и от живущих во оных хоромах, от меня, раба божия Семена, и от сына моего! И бежали бы в свои поместья, под пень, под колоду, во езера и во омуты, безотпятно и бесповоротно, век по веку и во веку; во имя Отца, и Сына, и Святого Духа!

Взгляд князя был безумен, пена сочилась из уст. От чадящего и все не возгорающего можжевельника по изложне изгибающимися змеями тек синий удушливый дым.

Маша подошла, тихо взяла его за запястья поднятых рук, сказала негромко:

— Утихни, Семен! Утихни... И брось... Ванята умер.

ГЛАВА 117

— Проснись, маленький! Проснись! Ты не слышишь меня? Ваня, Ванята... Тебе хорошо теперь? Уже ничего не болит? Ты так задыхался, маленький! Вот и братик твой тоже не дышит... Господи! Прими души их к светлому престолу своему! Грех на мне, грех! Услышь, Господи! Я больше ничего не прошу у тебя, кроме смерти. Услыши мя, Господи! Или еще не исполнена чаша сия? Сколько шагов осталось мне до Голгофы?

Услышь меня, Господи! Ты благ еси и премудр, и не может быть, чтобы малейшее зло истекало от тебя! Я грешен, я виновен в гибели ни в чем не повинных детей моих! Меня казни, Господи! Господи, Боже мой, я требую казни! Сколько еще терпеть, сколько страдать и верить в нежданное чудо?!

Да, я споткнулся, Господи! И возжелал встать — и погиб! И похотел счастья — и горе принес ближним моим! Пусть души детей моих с выси горней осудят

меня, пусть проклянет супруга моя, ибо и на нее легла тень моего греха!

Господи! Истреби меня до зела, но пусть те, кто грядет следом за мною, не свершат никогда убиения близких своих и никогда не забудут заветы Христовой любви!

Меня называют Гордым. Да, Господи! Хочу искупить собою грядущее зло, хочу очистить землю мою от греха! Собою, Господи! Вот эти руки, не спасшие малых детей, вот эта плоть! Этот разум и это тленное тело! Что еще могу я отдать тебе?! Возьми душу мою, и дух мой смири до зела, и ввергни в геенну огненную! Пусть вечный огнь, тьма и червь снидающий будет моим уделом за смертной чертой! Накажи мя, Господи! Накажи так, чтобы не осталось больше ни для кого казней твоих! Над трупами этих детей молю тебя, Господи! Изжени меня и очисти мною скверну земли моея!

Ваня! Семен! Дети мои, убитые вашим отцом! Прокляните и вы тоже меня! Ибо я родил вас во гресех, не подумав о вас, а токмо о себе одном, об утехе моей, желая обмануть Господа! Мать-сыра земля! Праматерь всего живого, и ты днесь прокляни и отступи меня в моем непростимом грехе! Все отступите от меня! Мерзок есмь и недостоин зрака живых!

— Встань, Семен! — скорбно произносит Мария.— Подымись! Я не брошу, и не оставлю, и не прокляну тебя. Встань! У тебя остается земля, язык, а у меня — ты.

Семен молча горбится над гробиком дитяти. Он закрывает лицо и судорожно трясет головой. И Мария опускается рядом с ним на ковер и гладит мужа по плечу, гладит молча, сама не в силах что-нибудь говорить. Слезы текут у нее по лицу и капают на грудь, точно медленные капли осенней сыри. Так они и сидят перед гробом, где рядом, один и другой, покоятся оба Семенова сына — его надежда, вера, упование и любовь.

— Не плачь, Семен! — говорит Мария, сама едва сдерживающая рыдания.— Не плачь, я не покину тебя!

ГЛАВА 118

Великий князь не плакал прилюдно на похоронах своих сыновей. Только вел себя как безумный, совсем, казалось, забыв о существовании черной смерти. Целовал

покрытые черными пятнами трупики, сам поправил молитвы на лбу сыновей, словно бы это была обычная смерть, словно тела не источали смертоносной заразы.

Лик князя был страшен: запали щеки, проявились буграми все жилы, все кости лица. Он словно бы вышел из затвора или голодной тюрьмы, и только непереносимый блеск в обведенных чернотою глазах да стремительная, прежняя, ставшая еще более легкой походка говорили о том, что князь по-прежнему бодр, ежели не духом, то телом.

Мария стискивала его руки, по ночам яростно прижимала князя к своей груди, пробормотала единожды:

— Быть может, я еще понесу от тебя!

Семен поглядел сумеречно и отрешенно, только в глубине глаз проснулась на миг и сгасла прежняя надежда, но слова Марии запомнил. И вспомнил о них на смертном одре.

Проходил апрель, повсюду текли ручьи, обнажалась земля. Вытаивали изо льда забытые по осени трупы. Ржали кони, кричали птицы — все было как прежде, как всегда, когда наступает весна. Князь заболел в конце апреля и не обманывал себя ни часу, ни дня. Он постригся, приняв монашеское имя Созонта, составил завещание.

Вокруг князева ложа собрались думные бояре, оставшиеся в живых, пришли оба брата, испуганно глядевшие на Семена. Прибыл Алексий.

Грамота, составленная по настоянию умирающего, передавала весь Семенов удел, со всеми городами, селами, рухлядью, добром и промыслами, его супруге Марии и ее будущему сыну, ежели он родится у нее.

Был ли Семен в помрачении ума или последний лучик надежды сверкнул перед ним из сказанных недавно наедине слов Марии? Неведомо. Но бояре, собравшиеся у смертного ложа князя своего, не посмели изменить завещания умирающего, оставили место в грамоте, куда должно было вписать имя сына-младенца, буде оный появится на свет.

Алексий, новый епископ владимирский, нынешний местодержатель митрополичьего престола, слегка поправил текст грамоты, указав, что, ежели сына у великого князя не будет, весь удел безраздельно переходит наследнику Семена, князю Ивану. И это приняли молча, не думая о том, даже не очень поняв в сей скорбный час, что местодержатель Алексий пред-

лагает им принять новую форму наследования, небывалую доднесь на Руси, по которой вся власть и все имущество великого князя, вместо того чтобы распылять их среди потомков, сосредоточиваются в единых руках. И дружно, иные с увлажненными очами, выслушали конец скорбной грамоты, в коем Семен обращался к братьям своим:

«А по отца нашего благословенью, что нам приказал жити за один, тако же и яз вам приказываю, своей братьи, жити за один. А лихих бы есте людей не слушали, и хто имет вас сваживати. Слушали бы есте отца нашего, владыки Олексея, тако же старых бояр, хто хотел отцу нашему добра и нам».

Бояре по очереди подходили, ставили подписи свои. На выходе Василий Протасьич первый низко, до земли, поклонился своему князю. За ним и другие подходили к ложу, земно кланяли, прощаясь с князем своим. Иван подошел робко, со слезами в глазах. Семен пошевелился, покивал ему головою. Андрей не выдержал, бросился было на грудь брату. Семен отвел его рукою, примолвил:

— Не смей! Вас двое теперь, живите, как я приказал! — и тихо, когда Андрей последним покидал покой старшего брата, прошептал: — Прощай, Андрюха, Машу мою сбереги! Поди, и не увидимся больше с тобой!

Вечером, оставшись последний раз наедине с князем, Мария горько посетовала:

— Зачем ты так? Мне и не удержать, и не надобе столько! Оставил бы токмо на прожиток!

— Ничего! — проговорил Семен с придыхом.— А вдруг... и вправду... сын? — Он помолчал, прикрывши глаза, вымолвил тихо: — Деток Бог прибрал, а ты, коли... Тебе поклонятце! Дядя Василий поможет... Прочее Алексий содеет... Сам настоял. Прости меня, Маша, за все прости!

Семен сморгнул, слеза, скопившаяся в углу глаза, нежданная, одинокая, скатилась по впалой щеке. И по этой слезе, по беспомощной нежности, что вдруг прозвучала в шепоте князя, поняла вдруг, всем сердцем поняла, что умирает, что стал родным и уже не будет больше, и зарыдала, завыла в голос, припав к горячим бессильным рукам, что шевельнулись слабо, не то привечая, не то отстраняя...

Князь Семен скончался двадцать шестого апреля.

Ненадолго пережил его и старый тысяцкий, Василий Вельяминов. Ненадолго пережил и брат Андрей, погибший шестого июня, за сорок дней до рождения своего сына Владимира, будущего Владимира Храброго, прославленного московского воеводы.

Летом Иван Иваныч, один оставший в живых из всей великокняжеской семьи, поехал на поставление в Орду, куда уже кинулся Костянтин Василич Суздальский со иными князьями и посол Великого Новгорода Смен Судаков, тоже хлопотавший за суздальского князя.

Но Джанибек, выслушав всех, приняв по обычаю от урусутских князей нескудные дары и оглядев спорщиков своим грустно-насмешливым взглядом (даже теперь, после смерти великого князя, они не поняли ровно ничего!), исполнил последний долг дружбы, сотворив то, что еще мог сотворить для покойного, и о чем, наверно, попросил бы его сам князь Семен,— передавши великое княжение, все целиком, без разделов и споров, единственному наследнику Симеона — его брату, князю Ивану Иванычу.

Алексия в ту пору уже не было в Москве. Он по приглашению патриарха уехал на поставленье в Царьград.

ГЛАВА 119

Вечером после похорон князя Семена Алексий остался ночевать в монастыре Святого Богоявления. Ему не хотелось занимать митрополичьи покои до тех пор, пока из Царьграда не воротят послы, хотя как местоблюститель он и имел на это право. Однако у Алексия были свои правила и свой взгляд на природу власти, выработанный единожды и навсегда. Строгий с нижестоящими иерархами, он был строг прежде всего к себе самому и никогда не дозволял себе лишних или поспешных действий, как не дозволял своему телу роскошей и праздного отдыха.

Стефан, который всю зиму исповедовал и причащал умирающих, обмывал трупы, отпевал и хоронил, чудом оставаясь в живых, так что, завидя высокую черную фигуру, москвляне бросались перед ним на колени, словно перед спасителем, в этот вечер вознамерил поговорить с Алексием, ибо из Радонежа дошли

до него слухи, что вся семья брата Петра умерла и дети остались одни.

Алексий выслушал богоявленского игумена молча. Кивнул, о чем-то думая или соображая свое.

— Брат Игнатий заменит меня в управлении монастырем! — присовокупил Стефан.

— Не заменит! — кратко отверг Алексий, слушая и не слыша наступившую в келье тишину.

— Повести мне, сколько осталось в живых монахов? — спросил он после долгого молчания. Стефан ответил. Алексий коротко вскинул глаза. Укорил: — Вот видишь?

Еще помолчал и заговорил спокойно и твердо, глядя в огонь:

— Инок отвержен мира, и мир чужд для него! Уходя в монастырь, мы умираем для мирской жизни и близких своих. Мнишь ли ты, что Господь, в силе и славе своей, не озаботит себя участью младеня? Не пошлет добрую душу, поставив ее на путях сироты? Ты уже впал единожды в обольщение мирского соблазна и видишь сам теперь, к чему это привело! Князь Семен должен был умереть бездетным, и сумел ли ты помешать веленью судьбы?

— Должен был... умереть? — с запинкою повторил Стефан.

— Да! — жестко отмолвил Алексий.— Он знал это сам, хотя до последнего часа и боролся с судьбой!

— Господь карает лучших? — угрюмо вопросил Стефан.

— Мы не ведаем, Стефане, на каких весах и кто весит наши судьбы. Смертному не дано сего знания. К счастью, не дано! Могли ли бы мы жить, зная о том наперед? Князь Семен взял на себя бремя отца своего, но возжаждал утех земного счастья, позабывши страх в сердце своем. Он был лучший князь, а Иван будет худший, и все же кара господня пристигла именно его, а не слабого духом Ивана. Власть должна быть бременем, и пока она бремя — стоит нерушимо. Когда же превращает себя в утеху — всему наступает конец, и даже то, что мнилось твердее твердыни, неостановимо рушит в пыль!

— И князь Семен...

— Исчерпал при жизни своей утехи мира и перед гробом узрел, сколь временен свет земного суетного бытия!

— Но он будет спасен? Там, за гробом?

— Это знает Господь! Не я! Я ведаю только одно: бремя свое он все-таки нес и донес до могилы. Будет прощен народ — и будет прощен князь Симеон вместе с племенем своим. Погибнет народ — и кара господня пристигнет усопшего князя. Грядущие после нас оправдают или осудят наши труды.

— Отпусти меня, владыка Алексий! — тихо попросил Стефан.— Я слаб, я хочу уведать, что сталось с моими детьми!

— Ступай, Стефане! — воздохнув, отмолвил Алексий, помолчав.— Но помни, что ты надобен и обещался не мне, но Господу Богу своему!

ГЛАВА 120

В сумерках весенней ночи по мокрой, местами еще даже не протаявшей дороге на Радонеж шел с посохом высокий черный монах со страннической сумой за плечами. Он явно торопился, хотя и шел размеренною твердою поступью привыкшего к пешему странствию человека. К полудню он отшагал уже более сорока верст. Мертвые деревни встречались ему на пути, с растворенными дверьми, где, наверно, в полутьме клетей лежали непохороненные мертвецы. Он не глядел, не заходил туда. Он шел все вперед, и посох в его руке мерно подкреплял широкий шаг странника. К вечеру он был уже под Радонежом и, услышав издали разноголосый собачий брех, широко перекрестился. Раз есть собаки, значит, есть и жители, значит, Радонеж не вымер целиком, хотя и стоит на проезжем пути!

Уже в сумерках он постучал в двери высокого, потемневшего от дождей и непогод дома рядом с церковью. Изнутри детский голосок ответил:

— Кто там?

Инок отступил на шаг, отер рукавом вдруг и разом вспотевшее чело, прокашлял, прежде чем ответить:

— Это я! Твой отец, Стефан!

Двери отворились. На пороге стоял глазастый тоненький мальчик, до боли в груди напомнивший ему Нюшу.

— Здравствуй... дяденька! — ответил, запинаясь,

отрок и покраснел.— Входи! — примолвил он, отступая внутрь горницы.

Скоро отец и сын сидели друг против друга за грубым кухонным столом. Печь, однако, была истоплена, и на столе лежали хлеб и горка печеной репы. Мальчик рассказывал:

— Тетя Катя умерла, и дядя Петя тоже умер, вслед за нею. И его тоже похоронили. И братик умер, и сестрички все умерли, и их всех похоронили во-о-он там! И я тоже рыл могилки, и обмывал, и все делал! А потом пришла тетя Шура и сказала, что будет тут жить, чтобы я тоже не умер с голоду...

— Какая это тетя Шура?

— А Тормосова!

Стефан покивал головой, украдкой смахнув непрошеную слезу с ресниц.

— Дядя... Батя! — поправился мальчик, покраснев.— А я в монахи хочу! Как дядя Сережа! Как отец Сергий! — поправился он, снова зарозовев.— Отведи меня к нему! Тетя Шура бает, некогда ей и далеко... А землю, и коровок, и коней пусть забирают Тормосовы.

Нюшин сын, кажется, все уже обдумал задолго до прихода отца. Стефан сидел, опустив голову. Покаянно молчал, поминая слова Алексия и свое давешнее неверие в господнюю благость.

— Ты очень хочешь в монахи? — спросил он, подымая голову и строго вперяя взгляд в васильковые очи сына.

— Ага! — кивнул тот.— Я и молитвы читаю, и мясного не ем, как дядя Сережа, как отец Сергий,— снова поправился он,— и с ребятами не играю, могу и ночью не спать! Очень хочу в монахи! Я сам, когда братика хоронил, и обмывал, и рубашечку ему надевал чистую, и не боялся совсем, вот! Я все буду там делать: и воду носить, и дрова колоть, и на молитве стоять с дядею Сережей! Скажем только тетеньке Шуре и пойдем, да?

Стефан сидел за столом, не глядя на отрока, и, опустив голову, тихо плакал. Горячие слезы капали на тесовый пол. Быть может, только теперь ему и предстоит совершить достодолжное: отвести и передать Нюшиного отрока своему младшему брату, попросив Сергия постричь мальчика в иноческий сан. Быть по сему! Он отер слезы тыльной стороною руки и ре-

шительно встал, так и не тронув ни хлеба, ни репы. Быть может, покойная Нюша, воскреснув в этом отроке, сама пожелала заново переиначить свою прежнюю жизнь!

— Пойдем! — вымолвил он.— Отведу тебя к дяде!

Сын с засиявшим лицом набросил на плеча немудреный свой зипунишко, надвинул шапку на уши и доверчиво вложил потную ладошку в широкую руку отца, которого так и не научился называть батей.

— Сперва к тете Шуре, да?

Они притворили за собою двери и вышли в ночь.

ЭПИЛОГ

Деревня, через которую когда-то проезжал князь Симеон, напившийся тут молока, была пуста. Кто не ушел — умер. Марья, последняя оставшаяся в живых, с усилием сложила на груди руки покойнику мужу и, шатаясь от слабости, вылезла на крыльцо. На воздухе ее вырвало кровью. В голове звенело, в глазах все плыло, и тело было легкое, невесомое, только бы полететь, но ноги подвертывались, не давали оторваться от земли.

Она отомкнула стаю, и овцы с блеяньем стрелами, перепрыгивая друг через друга, вырвались на протаявший двор.

Красуля трубно мычала, мучаясь от переполнявшего вымя молока. Марья заставила себя сесть, подоить. Пальцы сперва не слушались, не сжимались ладони, и все-таки молоко текло, наполняя бадейку. Корова, поворачивая морду, раза два благодарно лизнула ее в плечо и голову.

Молоко уже бежало через край, но, перемогая слабость, она доила, пока налитые соски не одрябли и раздутое вымя не стало пустым и мягким. Тогда, волоча за собою бадью и расплескивая молоко, Марья вышла во двор. Остоялась, нагнулась за косарем, чуть не упав, и косарем стала перерезать вервие, привязывающее корову к кольцу в стене хлева. Обрезала пальцы, заплакала, прислонясь к коровьим рогам. На миг стало до ужаса жалко себя. Вновь перемоглась и наконец освободила корову, которая нерешительно, словно удивляясь, мотнула освобожденною головой

и затопталась, не понимая, надо ли выходить из распахнутой стаи.

Марья вытащила заворы у поросенка, остоялась — страшная боль волною поднялась от груди и вновь чуть не опрокинула ее в небытие,— но справилась и на этот раз, протиснулась к коню и долго дергала за цепь, позабыв, что надо просто снять недоуздок. Освобожденный конь, помявшись, тихо пошел вслед за хозяйкой и ржанул, выйдя во двор, не понимая, почему его не запрягают и почему ворота отверсты настежь, а хозяйка упирается в стену и будто ползет — вон из двора.

Марья хотела уже упасть, но тут вдалеке заплакал ребенок. Сквозь мглисто-пропадающее сознание она догадалась, что плачет во дворе у Огибихи. Марья налила туес молока и потащилась вон из двора, цепляясь рукою за огорожу. (Взглянула было на полуопруженную бадейку — не выпить ли? Но от одной мысли о молоке потянуло на рвоту.)

Долго ли она шла, ползла ли, задыхаясь и поминутно теряя сознание, Марья не помнила. Наконец вскарабкалась на крыльцо, сунулась в открытые сени, где ребенок, лежа на лавке, заливался криком. Она поискала рожок, налила, вложила в рот малышу, и он въелся, трясясь, заливаясь молоком, чмокая и мотая головкой.

Марья завернула малыша в рубаху, чтоб не замерз, положила на пол, на овчинный зипун, поставила рядом ночву и вылила в нее остатки молока. Может, догадает подползти и попить? И неверной, колеблющейся походкой поплелась к дому.

Силы уходили, как пролитая вода. (Подумала, что нать бы и тут выпустить скотину из хлевов, но поняла, что уже не сможет.) Она падала, ползла, теряя сознание, ее снова и снова выворачивало в кашле, и кровавая мокрота пятнами пестрила весенний снег.

На каком-то уже сверхусилии она добралась, доползла вновь до своего крыльца, поднялась на ноги и, кое-как взобравшись по ступеням, уцепилась за рукоять дверей. Падать в сенях так не хотелось! Тяжелое полотно наконец подалось, Марья открыла дверь и, облегченно теряя сознание, повалилась в ногах у мертвого супруга, одно лишь поминая в забытьи: по-годному сложить руки у себя на груди! Что-то еще не

было сделано в доме... «Лампада не зажжена! — слабо догадалась она.— Вот полежу...»

Влажный воздух ранней весны, напоенный незримым теплом, ворвался в распахнутую дверь, наполнил избу, начал шевелить солому и сор, заглядывать за занавески в тщетных поисках какого бы то ни живого существа. Но Марья уже не шевелилась и не дышала.

Коротко взоржал конь, жалобно замычала корова в соседнем дворе, а вдалеке вновь требовательно заплакал ребенок.

1984

СОДЕРЖАНИЕ

Балашов Д. М.

Б20 Собрание сочинений. В 6 т. Т. 4. Симеон Гордый. Роман.— М.: Худож. лит., 1992.—538 с.

ISBN 5-280-02037-0 (Т. 4)

ISBN 5-280-01602-0

В этом томе представлен четвертый роман Дмитрия Балашова из цикла «Государи московские» — «Симеон Гордый». В нем рассказывается о правлении князя московского, великого князя владимирского Семена Гордого (1340—1353), сумевшего без войн и кровопролития сохранить и продолжить дело отца своего, Ивана Калиты, по дальнейшему объединению земли Русской вокруг Москвы.

Б $\frac{4702010201\text{-}007}{028(01)\text{-}92}$ **Подписное** **ББК 84 Р7**

ДМИТРИЙ МИХАЙЛОВИЧ БАЛАШОВ

Собрание сочинений в шести томах

Том четвертый

Редактор **Т. Шурыгина**
Художественный редактор **Е. Ененко**
Технический редактор **Л. Синицына**
Корректоры **И. Ломанова, С. Кашина**

ИБ № 6720

Сдано в набор 15.04.91. Подписано к печати 16.09.91. Формат $84 \times 108^1/_{32}$. Бумага тип. Гарнитура «Тип Таймс». Печать высокая. Усл. печ. л. 28,56. Усл. кр.-отт. 28,56. Уч.-изд. л. 30,9. Тираж 100 000 экз. Изд. № III-4241. Заказ № 2436. Цена 12 р.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Художественная литература». 107882, ГСП, Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19

Ордена Октябрьской Революции и ордена Трудового Красного Знамени МПО «Первая Образцовая типография» Государственного комитета СССР по печати. 113054, Москва, Валовая, 28

В издательстве

«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

готовятся:

В. ХЛЕБНИКОВ. Собрание сочинений в шести томах
В. ВЕРЕСАЕВ. Собрание сочинений в восьми томах
В. ШКЛОВСКИЙ. Собрание сочинений в трех томах